

литературное  
**НОВОЕ**  
обозрение

Содержание № **189** [5'2024]

ЭПИСТОЛЯРНЫЕ СВЯЗИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
И ПРОИЗВОДСТВО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗНАНИЯ

- 7** *Дмитрий Арзютов, Лаура Сирагуза.* От составителей
- 10** *Дмитрий Арзютов, Сергей Кан, Лаура Сирагуза.*  
*Res Publica Literaria* Франца Боаса, или как построить  
транснациональную антропологию с помощью писем
- 28** *Игорь Кузнецов.* Трудности и коллизии работы с письмами  
ученых из круга Франца Боаса (ad marginem)
- 45** *Сергей Алымов.* Второй марксизм: история сборника  
«Проблемы истории докапиталистических обществ»  
в письмах и документах

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАНОН И ЖЕНСКОЕ ПИСЬМО

- 61** *Хильде Хогенбом.* Переопределяя смысл жизни: история  
русской литературы XIX века и женщины-писательницы
- 72** Новые перспективы в гендерных исследованиях. Анкета  
(*Сара Дикинсон, Анна Нижник, Надежда Плунгян*)

## ГЕННАДИЙ АЙГИ: НА ГРАНИЦЕ РЕЧИ

- 82** *Ольга Соколова. И голоса умолкшего — прощу — примите место: акты речи и молчания в поэзии Г. Айги*
- 95** *Александр Житенев. «Графография» рукописей Г. Айги и история текста «Без названия» (1964)*
- 111** *Юрий Орлицкий. Вертикальная композиция лирики Геннадия Айги*

## АНТРОПОЛОГИЯ УЛИЧНОГО НАСИЛИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

*Составитель блока: Борис Колоницкий*

- 126** *Владимир Булдаков. Революция или бунт, классовая борьба или погромное хулиганство? Взгляд из сегодняшнего дня*
- 133** *Владислав Аксенов. «Красная баба идет»: женские погромы в годы Первой мировой войны (от базовых эмоций к социально-политическому насилию)*
- 154** *Борис Колоницкий, Константин Годунов, Константин Тарасов. Революция или хулиганство? Уличное насилие в Петербурге в июле 1914 года в интерпретациях современников*
- 170** *Цуёси Хасегава. Самосуды в Петрограде и русская революция (март 1917 года — март 1918 года) (пер. с англ. Анастасии Евнушановой)*
- 183** *Марк Стейнберг. Хулиганские рассказы: уличное насилие, уличные эмоции и уличная мораль в Одессе и Бомбее в 1920-е годы (пер. с англ. Станислава Худзика)*

## «МАШИНА ЖЕЛАНИЙ»: К СЦЕНАРНОЙ ИСТОРИИ ФИЛЬМА «СТАЛКЕР»

- 203** *Сергей Филиппов. Сталкер в поисках сценария*
- 227** *Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. «Сталкер». Сценарий двухсерийного фильма (январь 1978 года) (публикация Сергея Филиппова)*

## АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: АРХЕОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

- 256** *Джузеппина Ларокка. Неизданные письма Льва Васильевича Пумпянского к Борису Михайловичу Эйхенбауму*

## ХРОНИКА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 275** *Анна Нуждина*. Голос, звучащий в пустоте (Рец. на кн.: Барскова П. Соскреб. Стихи военных лет. Иерусалим, 2023)
- 279** *Александр Марков*. Запертый дом бытия (Рец. на кн.: Бордуновский М. Осень на острове Сатурн. М., 2024)
- 284** *Денис Ларионов*. Об ускользающих и преодолевающих (Рец. на кн.: Кононов Николай В. Ночь, когда мы исчезли. М., 2022)
- 288** *Александр Уланов*. Между лицом и мифом (Рец. на кн.: Тавров А. Гимназистка. М., 2024)

## БИБЛИОГРАФИЯ

- 292** *Федор Николаи*. Культурная история и социальные исследования счастья (обзор)
- 304** *Марина Загидуллина*. История литературы как социального института (Рец. на кн.: Институты литературы в Российской империи / Сост. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков. М., 2023)
- 316** *Сергей Фокин*. Марсель Пруст «Против Сент-Бёва»: contra aut pro? (Рец. на кн.: Proust M. Essais / Édition publiée sous la direction d'Antoine Compagnon, avec la collaboration Christophe Pradeau et Matthieu Vernet. Paris, 2022)
- 324** *Сергей Сапожков*. «Невидимая величина» под увеличительным стеклом современной критики (Рец. на кн.: «Невидимая величина». А.В. Сухово-Кобылин. Театр. Литература. Жизнь / Сост. Е.Н. Пенская, О.Н. Купцова. М., 2024)
- 331** *Александр Чанцев*. Селин, contra et pro (Рец. на кн.: Каминский Г.-Э. Селин в коричневой рубашке, или Болезнь нашего времени; Лепети П. Путешествие на край мерзости. Луи-Фердинанд Селин, антисемит и антимазон / Пер. с фр. Ю. Гусевой. М., 2023)
- 336** *Алексей Павловский*. Нужна ли комиксу теория литературы? Comics studies и «марксистская» апология графического романа (Рец. на кн.: Geczy A., McBurnie J. Litcomix: Literary Theory and the Graphic Novel. New Brunswick, 2023)
- 346** *Евгений Савицкий*. Мечь кухарок: репрезентации домашнего труда и судьба советской власти (Рец. на кн.: Klots A. Domestic Service in the Soviet Union: Women's Emancipation and the Gendered Hierarchy of Labor. Cambridge, 2024; Cucuz D. Winning Women's Hearts and Minds: Selling Cold War Culture in the US and the USSR. Toronto; Buffalo; L., 2023)

- 358** *Кирилл Маслинский.* О культуре работы с данными в филологии, или Роль репозитория открытых данных
- 371** *Павел Глушаков, Андрей Дмитриев.* Е.С. Булгакова и Л.Я. Гинзбург в библиотеке Б.Ф. Егорова

**379** Новые книги

## Х Р О Н И К А   Н А У Ч Н О Й   Ж И З Н И

- 392** *Николай Поселягин.* Коллаборация, конфликт, авторефлексия. Международная конференция «Теории и практики литературного мастерства: “Учителя и ученики: преемственность и конкуренция”» (НИУ ВШЭ, Москва, 15—16 сентября 2023 года)
- 405** *Александра Касаткина, Михаил Сергеев.* Вопросы паратекстологии: значение полей в организации информации. Международная научная конференция «Вокруг текста: пара-, мета- и прочие маргиналии» (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, 19—21 октября 2023 года)
- 416** *Ярослава Захарова.* Guilty Pleasure: риторика стыда и вины в русской культуре. Международная конференция «Предсудительные удовольствия: стыд, лицемерие, репрезентация» (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, «Новое литературное обозрение», 13—14 ноября 2023 года)
- 424** *Карина Разухина, Аделия Юсупова.* Автофикшен в контексте современности: теории и практики. Круглый стол «Автофикшен и новые автобиографические практики в русскоязычном пространстве» (МГУ, 24 февраля 2024 года)
- 429** Errata
- 430** Наши авторы
- 433** Summary
- 438** Table of Contents
- 441** Our Authors



## Редакция

- Ирина Прохорова** (основатель и учредитель журнала) *канд. филол. наук*  
**Татьяна Вайзер** (шеф-редактор) *канд. филос. наук; PhD*  
**Арсений Куманьков** (теория) *канд. филос. наук*  
**Кирилл Зубков** (история) *канд. филол. наук*  
**Александр Скидан** (практика)  
**Абрам Рейтблат** (библиография) *канд. пед. наук*  
**Владислав Третьяков** (библиография) *канд. филол. наук*  
**Надежда Крылова** (хроника научной жизни) *магистр культурологии*  
**Александра Володина** (выпускающий редактор) *канд. филос. наук*

## Редколлегия

**Константин Азадовский**  
кандидат филологических наук

**Хенрик Баран**  
PhD. Университет штата Нью-Йорк в Олбани, профессор

**Татьяна Венедиктова**  
доктор филологических наук. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, профессор

**Елена Вишленкова**  
доктор исторических наук. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

**Томаш Гланц**  
PhD. Цюрихский университет, профессор / Карлов университет в Праге, профессор

**Ханс Ульрих Гумбрехт**  
PhD. Стэнфордский университет, профессор

**Евгений Добренко**  
PhD. Университет Венеции Ca' Foscari, профессор

**Александр Жолковский**  
PhD. Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, профессор

**Андрей Зорин**  
доктор филологических наук. Оксфордский университет, профессор / Московская высшая школа социальных и экономических наук, профессор

**Борис Колоницкий**  
доктор исторических наук. Европейский университет, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник

**Александр Лавров**  
доктор филологических наук, академик РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник

**Марк Липовецкий**  
доктор филологических наук. Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор

**Джон Малмстад**  
PhD. Гарвардский университет, профессор

**Александр Осповат**  
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, профессор-исследователь

**Пекка Песонен**  
PhD. Хельсинкский университет, заслуженный профессор

**Олег Проскурин**  
кандидат филологических наук. Университет Эмори (США), профессор

**Роман Тименчик**  
кандидат филологических наук. Еврейский университет в Иерусалиме, профессор

**Павел Уваров**  
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

**Александр Эткинд**  
PhD. Европейский университетский институт (Флоренция)

**Михаил Ямпольский**  
доктор искусствоведения. Нью-Йоркский университет, профессор



# Эпистолярные связи исследователей и производство антропологического знания

Дмитрий Арзютов, Лаура Сирагуза

**От составителей**

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_7

Dmitry Arzyutov, Laura Siragusa  
From the Compilers

Антропология неразрывно связана с письмом. Революция, вызванная сборником статей «Письменная [пишущая] культура» («Writing Culture») в американской антропологии, позволила осмыслить фигуру пишущего антрополога: она или он ведут свой дневник в поле, привозя домой «частичную правду» о своих встречах и путешествиях, которую они затем трансформируют в академические тексты. По этой причине полевой дневник вот уже много лет находится в центре внимания критиков антропологического знания. Но насколько текстуальный мир антропологии ограничен полевым дневником? Две части настоящей журнальной подборки отвечают на этот вопрос, обращаясь к антропологическому и историческому анализу писем между антропологами и их переписке с людьми из поля. Шесть историй, составивших нашу коллекцию, охватывают период с самого начала XX века до конца холодной войны и рассказывают, как небольшие листы бумаги, испещренные зачастую трудночитаемым почерком или же набранные на печатной машинке, соединяли поле и кабинет, студентов-полевиков, аспирантов и их научных руководителей, коллег, живущих в разных городах, странах и на разных континентах и порой не имевших возможности встретиться лично. Как показывают публикуемые статьи, письма — один из уникальных материальных объектов в истории антропологии, благодаря которому происходило формирование отдельных областей самой дисциплины, а вместе с этим как производство и поддержание властных иерархий, так и формирование пространств свободы, едва заметных из властных кабинетов. При этом письма оставались теми объектами, благодаря которым ученые, находящиеся внутри закрытых границ, имели возможность коммуницировать с «внешним миром». И наконец, внутри некоторых областей антропологии, истории и фольклористики письма становились едва

ли не важнейшим источником для формирования архива. И именно в этих архивах сегодня историки науки обнаруживают высказанные, но не опубликованные идеи наших предшественников, оценки событий и людей, которые они могли высказать в переписке.

Обозревая это разнообразие производства антропологического знания, авторы статей предлагают несколько вариантов написания истории антропологии через письма. **Дмитрий Арзютов, Сергей Кан и Лаура Сирагуза** распутывают узлы переписки Франца Боаса, отца американской антропологической традиции. В фокусе их анализа — письменные связи Боаса и основателей советской ленинградской этнографической школы: Владимира Богораза и Льва Штернберга. Авторы, используя понятие из историографии раннего Нового времени — *Res Publica Literaria*, показывают жизнь этой разветвленной сети писем и ее роль в формировании самой дисциплины антропологии (или этнографии, на русском академическом языке того времени), а вместе с этим условность разделения на «публичное» и «приватное» в переписке. Эта статья — сокращенный и переведенный на русский язык вариант введения к двухтомной архивной антологии писем Франца Боаса, которая готовится к печати в 2025 году. **Игорь Кузнецов**, отталкиваясь от классических источниковедческих техник сопоставления документов, предлагает использовать письма для уточнения событий и имен в истории американской и российской антропологии. Он также приходит к выводу, что по крайней мере у некоторых из антропологов эпохи Боаса переписка становилась отдельным жанром научного творчества, наряду с диссертацией, докладом, статьей или лекцией, поскольку зачастую именно в ней излагались и доказывались новые теории, так и не дошедшие до «легитимных» печатных форм. Заключает первую часть подборки статья **Сергея Алымова**, которая посвящена истории писем историков, антропологов и философов времен холодной войны. Используя две метафоры: «сети свободомыслия», о которых говорит его собеседница по переписке Елена Говор, и «невидимый колледж» (*invisible college*) из классической социологии науки, Сергей Алымов продолжает наблюдения, намеченные в первой статье подборки о роли писем в формировании интеллектуальных традиций. Перед читателем открывается советский ревизионистский марксизм («второй марксизм»), представители которого с трудом находили свое место внутри советских академических институтов и университетов, но обрели своих единомышленников по переписке, как внутри страны, так и за ее пределами. Эта статья — часть большого книжного проекта Сергея Алымова по интеллектуальной истории советского марксизма в этнографии и истории позднего социализма.

Вторая часть подборки, которая будет опубликована в следующем номере журнала, посвящена разнообразным диалогам между столичными учеными и их полевыми партнерами. Здесь переписка — важнейший элемент инфраструктуры производства знания и собственно материализация этого знания. **Николай Вахтин и Елена Лярская** показывают роль писем из поля в понимании «столкновения принципов ленинградской этнографической школы с советской реальностью». Их герои — ученики Богораза и Штернберга, отправившиеся в сибирские экспедиции, — ведут интенсивный диалог со своими учителями и через эти письма формулируют своеобразное кредо полевого этнографа. Эта статья — фрагмент масштабного авторского исследования по истории этнографического североведения в Ленинграде. **Мария Момзикова**

продолжает «биографии» писем на примере переписки этнографов и лингвистов с их полевыми партнерами на Советском Севере по возвращении первых из поля. Она показывает, как само поле расширялось во времени и пространстве благодаря письмам, при этом отмечая, что переписка, с одной стороны, воспроизводила формы социального и эпистемического неравенства (столичный исследователь vs. провинциальный информант, учитель vs. ученик), однако с другой — обнаруживала зависимость исследователей от лингвистической, фольклористической или этнографической информации через письма, получаемые от «людей на местах». В заключительной статье второй части нашей подборки **Светлана Подрезова** анализирует, как письма, отправленные уже не из далекой Сибири, а бывшими революционерами, живущими в разных советских городах, превращаются в основной источник для формирования архива революционной песни в Музее антропологии и этнографии в Ленинграде. Переплетение устного и письменного, мобильности и немобильности — в центре рассказа Светланы Подрезовой.

Все истории, вошедшие в настоящую подборку, объединяет еще одно: каждая из них высвечивает разные стороны агентности самих писем, их способность как материальных объектов быть частью социальных отношений внутри и за пределами академии. Двигаясь сложными путями по сибирским дорогам, через государственные границы, внутри институтов и через руки цензоров, бережно собираемые на полках в разных учреждениях, квартирах и домах, письма выступали одним из важнейших субъектов в производстве знания. Глядя на эти замысловатые сети, мы не можем не провести параллель к сегодняшней эпохе, когда ежедневный обмен электронными письмами и сообщениями в мессенджерах между учеными из разных стран, с одной стороны, продолжает космополитичные интеллектуальные традиции Нового времени, а с другой — показывает, насколько «бумажные мосты», построенные и поддерживаемые исследователями, могут морально, а порой и физически спасти людей, оказавших в заложниках у авторитарных режимов.

Дмитрий Арзютов, Сергей Кан, Лаура Сирагуза  
**Res Publica Literaria Франца Боаса,**

ИЛИ КАК ПОСТРОИТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНУЮ  
АНТРОПОЛОГИЮ С ПОМОЩЬЮ ПИСЕМ

Dmitry Arzyutov, Sergei Kan, Laura Siragusa

*Res Publica Literaria* of Franz Boas, or How to Build Transnational Anthropology with Letters

**Дмитрий Арзютов** (Университет штата Огайо, ассистент-профессор; кандидат исторических наук, PhD) arzyutov.1@osu.edu.

**Сергей Кан** (Дартмутский колледж, профессор; PhD) sergei.a.kan@dartmouth.edu.

**Лаура Сирагуза** (Университет штата Огайо, старший преподаватель; PhD) siragusa.8@osu.edu.

**Ключевые слова:** Франц Боас, транснационализм, история антропологии, письма, Север, Сибирь

УДК: 39

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_10

В нашей статье мы стремимся пересмотреть историю взаимоотношений пионера американской антропологии Франца Боаса с его русскими коллегами и друзьями в период между 1897 и 1942 годами через «бумажные инструменты» (paper tools) или «бумажные технологии» (paper technologies) и устоявшееся, но редко применимое к истории антропологии понятие *Res Publica Literaria*. Если первые два «бумажных» понятия имеют материальное и прагматическое значение для описания производства знания, то последнее добавляет к ним транснациональное измерение. Как известно, написание, отправка и получение писем были неотъемлемой частью передачи научных знаний в интеллектуальных кругах Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени и оставались таковыми и в более поздние эпохи. Объединяя материальные и инфраструктурные понятия воедино, мы утверждаем, что собрание писем «отца американской антропологии» Франца Боаса и его российских друзей Владимира Богораза, Владимира Йохельсона и некоторых других фактически выстроило арктическую и сибирскую антропологию первой трети XX века как своеобразную *Res Publica Literaria*. Внимательное чтение этих писем поколениями историков антропологии не только выявило сеть друзей и сферы напряженности, но и, в свою очередь, сформировало генеалогию критики и анализа боасовской антропологии. Другими словами, письма были космополитическим средством транснациональной комму-

**Dmitry Arzyutov** (PhD; Assistant Professor, The Ohio State University) arzyutov.1@osu.edu.

**Sergei Kan** (PhD; Professor, Dartmouth College) sergei.a.kan@dartmouth.edu.

**Laura Siragusa** (PhD; Senior Lecturer, The Ohio State University) siragusa.8@osu.edu.

**Key words:** Franz Boas, transnationalism, history of anthropology, letters, North, Siberia

UDC: 39

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_10

In our paper, we aim to re-examine the history of relationships between the pioneer of American anthropology Franz Boas and his Russian colleagues and friends of the period between 1897 and 1942. For this purpose, we employ two epistemically intertwined concepts: the newly emerged notions of “paper tools” and “paper technologies”, and the well-established but rarely applicable to the history of anthropology concept of *Res Publica Literaria*. If the former has a very strong material and pragmatic dimension in understanding knowledge production, the latter adds to it a tendency to expand our horizons beyond national borders. As historians of science remind us, writing, sending and receiving letters were an essential part of producing scientific knowledge in intellectual circles of Renaissance and early modern Europe and remained the same in later epochs. By merging these notions together, we argue that the voluminous collection of letters of Franz Boas, Waldemar Bogoras, Waldemar Jochelson and some other American and Russian anthropologists materially constituted the pre-war Arctic and Siberian anthropology as a certain *Res Publica Literaria*. The careful reading of those letters by generations of historians of anthropology not only revealed the networks of friends and zones of tensions but also shaped the genealogy of the field. In other words, the letters were a cosmopolitan means of transnational communication of like-minded scholars who epistemically constructed transnational ethnographic regions such as the Arctic. The very material meaning of knowledge production and circulation allowed the letters to intersect the public and the private, the national and the transna-

никации ученых-единомышленников, которые эпистемически конструировали транснациональные этнографические регионы, такие как Арктика. Сам материальный смысл производства и обращения знаний позволил письмам пересекать общественное и частное, национальное и транснациональное и в результате переосмыслить интеллектуальную жизнь арктической антропологии.

tional and as a result to re-imagine the intellectual life of Arctic anthropology.

*Текст настоящей статьи обсуждался на ежегодной антропологической конференции в Королевском антропологическом обществе в Лондоне (6–10 июня 2022 года) и на первой международной онлайн-конференции по истории антропологии «Doing Histories, Imagining Futures» (4–7 декабря 2023 года). Статья представляет собой значительно переработанный и сокращенный вариант введения к двухтомной архивной антологии материалов Франца Боаса: «Paper Bridges Between Franz Boas and Russian Anthropology» [Arzyutov et al. In press]. В тексте настоящей статьи мы постарались минимизировать архивные ссылки, отсылая читателя к нашему двухтомному изданию, содержащему полный корпус документов. Отдельные фрагменты статьи были опубликованы Дмитрием Арзютовым на немецком [Arzyutov 2022]. Мы благодарны Сергею Альмову (Москва, Россия), Дэвиду Андерсону (Абердин, Шотландия), Регне Дарнелл (Лондон, Онтарио, Канада), Эрику Кастену (Фюрстенберг (Хафель), Германия), Игорю Крупнику (Вашингтон, США) и Александру Першаю (Уинсор, Онтарио, Канада) за комментарии к докладам и ранним вариантам текста статьи и докладов.*

## I

Настоящая статья — попытка взглянуть на историю более чем сорока лет отношений одного из основателей американской культурной антропологии Франца Боаса (Franz Boas, 1858–1942) и его российских/советских коллег и друзей через обмен письмами. Несмотря на известный антропологический дискурс второй половины 1980-х годов, выросший из сборника статей «Письменная [пишущая] культура» (Writing Culture) [Clifford, Marcus 1986] и ознаменовавший «литературный поворот» в антропологии, а также наблюдаемый сегодня интерес к материальности языка в лингвистической антропологии (см.: [Cavanaugh, Shankar 2017; Siragusa, Virtanen 2021]), историки антропологии до сих пор обращают мало внимания на материальную роль писем в производстве антропологического знания. Это особенно заметно на примере истории российской антропологии, где критическое осмысление прошлого дисциплины только начинается.

Бумага и конверты, чернила, ручки и карандаши являлись необходимыми инструментами как для полевой работы, так и для кабинетного теоретизирования антропологов на протяжении всей истории дисциплины. Письма, которые мы поставили в центр нашего анализа, были важной частью материальной истории антропологии и, шире, — истории антропологического знания. Для объяснения такого бумажного производства знания современные историки науки предлагают использовать понятия бумажных инструментов (paper tools) [Jardine 2017; Klein 2001] и бумажных технологий (paper technologies)

[Foks 2020; Hess, Mendelsohn 2010]. Так, Борис Жардин в своей статье, посвященной концепции бумажных инструментов, обращает внимание, что уже сама бумага выступает материальным носителем смыслов и одновременно манипулятивной субстанцией [Jardine 2017: 54]. В своем исследовании научных практик раннего Нового времени он обращает пристальное внимание не только на письма, но и на разнообразные печатные материалы, которые циркулировали, будучи вложенными в бандероли или конверты: книги, брошюры и т.п. Как мы показываем в нашей статье, схожие процессы происходили и в эпоху, к которой принадлежал Франц Боас — главный герой нашего повествования. Его переписка со множеством ученых, общественных деятелей и бизнесменов сформировала сообщества как антропологов, так и их читателей, несмотря на тот факт, что они могли не знать друг друга лично, но могли узнавать почерк друг друга, а порой и стили зарисовок, к которым прибегали для визуального объяснения социальных и культурных явлений в поле или чтобы раскрыть свою теоретическую позицию (см.: [Glass 2018]). Все это делало письма элементами большой инфраструктуры знания, а также критическими и аффективными материальными объектами в жизни академических сообществ, что мы как историки антропологии и предлагаем проанализировать в настоящей статье.

Было бы, однако, некоторым упрощением говорить о письмах как об объектах, которые связывают исключительно ученых, сидящих в своих офисах в разных странах мира. Эпистемическая и онтологическая связь дисциплины с полевой работой [Gupta, Ferguson 1997]<sup>1</sup> видна и в циркуляции писем, которые выступали бумажными мостами между кабинетами и полевыми палатками этнографов, а порой связывали и их полевых партнеров<sup>2</sup>. Эти письменные полевые практики, как однажды сформулировал Найджел Раппорт [Rapport 1991], могут быть сведены к записи (inscription), транскрипции (transcription) и описанию (description), которые сегодня, впрочем, значительно расширяются за счет компьютерных программ и медиаплатформ (см.: [Sanjek 1990; Sanjek, Tratner 2015]). Письма же выполняют функции всех этих трех видов записи, формируя инфраструктуру знания и ставя под вопрос концепцию историков науки об антропологии как одном из примеров «науки, делающейся на одном месте» (residential science) [Kohler 2019] (критику этой идеи см.: [Foks 2020: 726]). Другими словами, барьер между кабинетом и полем или между исследователями и информантами является слишком умозрительным для антропологов и не может быть использован в качестве теоретической рамки для описания материальной жизни писем.

Историк британской антропологии Фредди Фокс указывает, что письма, а также многочисленные каталожные карточки и цветные карандаши Бронислава Малиновского, еще одного основателя, но на этот раз британской антропологии, показывают, насколько трудно локализуемыми оказываются «бумажные технологии»:

...антропологическое поле было тесно связано с другими пространствами, в том числе с другими местами проведения полевых исследований (field sites), а также с университетским семинаром, где обсуждались полевые заметки, уточнялись и

1 На примере сибирской этнографии эта связь прослеживается в: [Arzyutov, Kan 2017].

2 Здесь стоит напомнить об огромном архиве писем Боаса и его полевых партнеров — Джеймса Тейта (James Teit) и Джорджа Ханта (George Hunt).



повторялись теории и где нормы и поведение передавались из поколения в поколение. Между тем коллективный характер этого исследования опровергает аргумент о том, что антропологические полевые исследования создали изолированный, индивидуалистический этос [Ibid.: 719].

Этот аргумент может быть перенесен и на документы и письма Франца Боаса и его российских и советских коллег и друзей, которые в переписке обменивались мнениями, решали вопросы трудоустройства, приема в аспирантуру, а также пересылали письма своих коллег другим коллегам или даже публиковали их в журналах. Это, с одной стороны, подтверждает наблюдения некоторых антропологов и историков о письмах как о «дискурсивном ключе к историческим событиям или современным явлениям, которые трудно увидеть иначе» [Ушакин, Голубев 2016: 9], а также об особом жанре научного творчества (см. статью Игоря Кузнецова в этом блоке). С другой стороны, истории писем в антропологии открывают перед нами более сложные инфраструктуры, пересекающие по большому счету иллюзорные границы между полем и кабинетом, а также между множественными организациями внутри и за пределами государственных территорий, создавая транснациональное сообщество антропологов.

И здесь мы подходим к центральной идее нашей статьи — Res Publica Literaria («Республика ученых») Франца Боаса, исследователя, который был одновременно интеллектуальным и административным центром арктической антропологии, а позже и северо-американской антропологии в целом, оказавшей среди прочего формирующее влияние на методы и теорию раннесоветской этнографии Севера, сложившейся в Ленинграде [Arzyutov, Kan 2017; Kan 2006]. Письма из поля (см. об этом жанре этнографической переписки в статьях Николая Вахтина и Елены Лярской, а также Марии Момзиковой в следующей части настоящего блока) его российских коллег Богораза и Йохельсона постепенно стали документами, наполненными эмоциями, в которых те делились своими научными идеями и личными переживаниями и тревогами, вызванными политическими событиями в России. Российская часть боасовской переписки была интертекстуально связана со множеством иных писем, которые он отправлял в самые разные уголки земного шара. Все они и формировали его Res Publica Literaria, которая, как и в раннее Новое время, объединила ученых по всей Европе и даже за ее пределами (см.: [Casanova 2004; Goodman 1996]). Параллели между двумя коммуникативными пространствами не ограничиваются тем, что в обоих случаях в них действовали ученые. Для «убежденного интернационалиста» Боаса [Price 2001: 10] английский выполнял роль латыни, как в классической Res Publica Literaria. При этом английский не был родным ни для одного из наших героев. Они выучили его либо в школе, либо, как Богораз, в ссылке или тюрьме. Более того, российская часть сети Боаса оказалась почти исключительно мужской, что опять-таки является параллелью к Res Publica Literaria. Фигура русской студентки Юлии Аверкиевой, которая провела некоторое время в Нью-Йорке и в поле среди квакиутл (Kwakwaka'wakw) под руководством Боаса, скорее всего, была исключением. Боас также связался по переписке со вдовами своих близких друзей Йохельсона и Штернберга, однако их общение оставалось достаточно формальным.

Обсуждаемые этими учеными идеи и создаваемые ими тексты сформировали несколько поколений антропологов, желавших отправиться в азиатскую часть Арктики и Сибири для продолжения исследований, начатых участни-

ками Джесуповской Тихоокеанской экспедиции 1897—1902 годов (см.: [Вахтин 2005]) — масштабного проекта по изучению истории заселения Америки, предпринятого этнографами, археологами и лингвистами. Причем письма и их мобильность были тесно переплетены как с местной инфраструктурой вроде собачьих и оленьих упряжек<sup>3</sup>, так и с развитием таких крупных социально-технологических проектов, как трансатлантические пароходы, дирижабли или транссибирская железная дорога, по которым перевозились не только грузы и люди, но и почта. Обозревая коллекцию писем экспедиции Джесупа, мы можем проследить, как письма, написанные замерзшими чернилами при тусклом свете ламп на китовом жире, перемещались в этой сложной инфраструктуре, чтобы в итоге оказаться на рабочем столе Боаса сначала в Американском музее естественной истории (далее — АМЕИ), а позже — в Колумбийском университете.

Герои нашей статьи получили и отправили сотни писем своим коллегам и родственникам. Они не только служили для обмена последними новостями, но порой могли выступать в роли контрактов на работу, полевых или финансовых отчеты, как это было особенно заметно во время экспедиции Джесупа, когда Йохельсон, Богораз и Боас составляли список обязанностей, а письма русских участников Боас позже публиковал как часть академического отчета по итогам экспедиции [Boas 1903]. Многообразное назначение писем стало тем важным обстоятельством, которое позволило сохранить часть из них в нескольких копиях, разбросанных сейчас по разным архивам в США и России. В нашем исследовании мы сосредоточились главным образом на собрании Американского философского общества.

Как и классическая *Res Publica Literaria*, боасовская «республика» сформировала также и меньшие круги академической корреспонденции, которые все же оставались связанными с Боасом. Коллекции Владимира Богораз<sup>4</sup> и Льва Штернберга<sup>5</sup> из Санкт-Петербургского филиала Архива РАН достаточно ясно показывают, что большая часть их нероссийских контактов была установлена благодаря Боасу. Более того, попадая в почтовые ящики в разных уголках мира, письма коллег и друзей Боаса продолжали свое движение, никогда не прекращая свою жизнь на столе изначального адресата. Это возвращает нас к самому понятию *Res Publica Literaria*, где *Res Publica* буквально означает «общие вещи» и тем самым раскрывает подвижную границу между частным и публичным (см.: [Хархордин 2009]). Таким образом, письма как частная форма общения становятся тем публичным инструментом, который позволяет строить транснациональные антропологии, в нашем случае антропологию Севера, через полевые исследования, теоретические дискуссии и множественные политические действия. Письма как материальные элементы этой сложной инфраструктуры способствовали созданию новых институтов или поддержанию существующих (см.: [Hull 2012]).

Сделав эти предварительные замечания, мы обратимся к нескольким сюжетам, которые раскрывают конфигурации перемещений писем внутри *Res Publica Literaria* Франца Боаса.

---

3 Сашенков Е.П. Полярная почта. М.: Связь, 1975. С. 27.

4 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 250.

5 СПФ АРАН. Ф. 282.

## II

Одна из наиболее успешных и известных экспедиций в истории американской антропологии — Джесуповская Тихоокеанская экспедиция — началась с писем. Получив работу в АМЕИ в 1895 году, Франц Боас как эмигрант из Германии не только стремился выстроить отношения с новыми для него американскими коллегами, но и поддерживал тесные контакты со своими старыми знакомыми в Западной и Центральной Европе. Уже после первых поездок по Баффиновой Земле в Канаде он задумал крупный проект по международному изучению Арктики с фокусом на истории заселения Америки коренным населением (см.: [Cole 1999; Müller-Wille 2014; Zumwalt 2019; 2022]). И вот, оказавшись в США и получив возможность реализовать эту мечту на деньги Мориса Джесупа, американского филантропа и президента АМЕИ, он немедленно приступил к активному обмену письмами в поисках подходящих участников для этого предприятия. Сама история Джесуповской экспедиции относительно хорошо изучена (см.: [Kendall, Krupnik 2003; Krupnik, Fitzhugh 2001] и др.); мы же остановимся только на роли писем в организации экспедиции.

Зная немецкий, английский и другие европейские языки, а также, вероятно, ограниченно понимая русский язык [Zumwalt 2019: 13], Боас пытается осмыслить гигантский корпус этнографических, археологических и лингвистических материалов и идей, которые могли бы быть использованы для этого грандиозного проекта (см. историю «эскимосологии» в: [Krupnik 2016]). Он пишет письма своим коллегам в Европу и европейским исследователям, живущим и работающим в США. Именно в период между 1895 и 1897 годами и начинает складываться будущая боасовская *Res Publica Literaria*, которая, в свою очередь, очертила контуры формирующейся транснациональной арктической антропологии. Письменные рекомендации его знакомых, норвежско-американского натуралиста Леонарда Стейнегера и датского китаиста Густава Шлегеля, приводят его к австрийскому синологу Эрвину фон Цаху, который и должен был первым отправиться в Сибирь изучать языки местного населения и проанализировать этнографические и, возможно, археологические данные, чтобы помочь Боасу в построении его теорий древних миграций через Берингов пролив. Цепи рекомендаций и перенаправлений переписки позволяли Боасу все лучше и лучше понимать, кто из его коллег мог бы взять на себя риск и ответственность, чтобы прожить продолжительное время в Сибири и привезти уникальные сведения из поля, которые могли бы стать полезными для американских антропологов.

Информация об экспедиции начала стремительно циркулировать в Европе и США через письма и газеты. Так, археолог-выпускник Университет штата Огайо Джерард Фоук, увидев информацию об экспедиции в газете, написал письмо президенту АМЕИ Фредерику Патнэму, а уже вскоре и Боасу, предложив им свои услуги. Исследование сети писем внутри США показывает, что Боас предполагал отправить в поле китаиста Бертольда Лауфера, бывшего, как и сам Боас, немецким эмигрантом. В связи с отказом фон Цаха по неизвестной нам причине участвовать в экспедиции перед Боасом встала острая необходимость создать сибирскую команду, для которой у него не оставалось никого, кроме Лауфера и столь неожиданно появившегося Фоука.

Казалось бы, эти переговоры и переписка должны были успокоить Боаса и дать ему возможность приступить к реализации проекта. Однако уже на

уровне переписки ему становилось понятно, что полагаться на китаиста Лауфера и археолога Фоука, которым только предстояло изучать языки, включая русский, ему не стоит. Нужны были российские коллеги. Довольно насыщенная сеть боасовских писем в Европе мало помогала для установления контактов в России. Сказывался языковой барьер, а кроме того, число российских ученых, которых он знал, был очень невелико. Все это заставляло его расширять главным образом академические границы *Res Publica Literaria* и искать российские контакты через политиков и администраторов. Более того, это расширение было сопряжено с административными трудностями по получению права на проведение полевых исследований от русского посланника в Вашингтоне Эрнеста Коцебу. Забегая вперед, отметим, что боасовское мастерство коммуникации с разного рода чиновниками в США и Германии оказалось плохо приложимо к российским реалиям. Вероятно, понимая эти трудности, Боас всегда пытался найти пути решения через ученых, которым он доверял. После консултации с геологами, направляющимися на геологический конгресс в Петербурге, и различными администраторами он убеждается в необходимость вступить в переписку с Василием Радловым, чье имя было ему известно по тюркологическим работам, вышедшим на немецком. Радлов был директором Музея антропологии и этнографии в Петербурге и известным этнографом и лингвистом, рожденным в Германии, но прожившим всю свою академическую жизнь в России. Николай Вахтин описал позицию Радлова, который взял на себя риск и предложил Боасу сотрудничать с двумя бывшими ссыльными — народовольцами Владимиром Йохельсоном и Владимиром Богоразом [Вахтин 2005]. Период неопределенности подходил к концу. Уже вскоре началась официальная переписка между Боасом и Йохельсоном, а позже к ней подключился Богораз. Теперь можно было заняться описанием исследовательской программы экспедиции и заключением рабочих контрактов.

Итак, через сложные сети переписки были сформированы две группы: Лауфер — Фоук и Йохельсон — Богораз, которые должны были изучать амурский и северо-восточный регионы соответственно. При этом группа Йохельсона и Богораз включала также их жен (Дина Йохельсон (Бродская) и София Богораз (Волкова)) и молодых сотрудников Александра Аксельрода и Нормана Бакстона. Полевая переписка, которая вошла в двухтомник архивных материалов, подготовленных нами к печати под названием «Бумажные мосты между Францем Боасом и российской антропологией» [Arzjutov et al. In press], является теми самыми «бумажными инструментами», которые позволили создавать антропологическое знание Боаса о северо-востоке Сибири, а затем и создавать свою берингоморскую теорию.

Стоит отметить, что в письмах также сообщалось и о тех политических сложностях, с которыми сталкивались исследователи. Здесь речь идет о двух эпизодах, которые потребовали от Боаса значительной мобилизации его сети контактов: преследования со стороны российских властей Йохельсона как неблагонадежного сотрудника, а также препятствия, чинимые все теми же властями по отношению к Лауферу из-за его еврейского происхождения. Боас оказывался в центре этих сложных переговоров, которые целиком осуществлялись по переписке.

Иными словами, боасовские сети писем в их российском измерении теперь охватывали как политические и административные круги США и Российской империи, так и далекие уголки Сибири. Наряду с этим, рабочая переписка

между Йохельсоном и Богоразом и их товарищами-народниками невидимо расширяла интеллектуальные связи Боаса. Именно благодаря ей старый друг Йохельсона и Богораз Лев Штернберг оказался вовлечен в Res Publica Literaria Боаса. Для этого было несколько причин. С одной стороны, многолетние обмены письмами из кабинетов и далеких сибирских стоянок привели к тому, что Йохельсон и Богораз смогли приехать в Нью-Йорк для первичной обработки своих полевых материалов. Это пребывание рядом с Боасом не только окончательно оформило их дружбу, но и дало возможность рассказать об их друге, ссыльном народнике Штернберге, который выучил нивхский язык и сделал уникальные описания нивхской культуры. С другой стороны, Боас оставался не удовлетворен работой Лауфера и Фоуке, которым не удалось выучить местные языки и материалы которых оставались для него малоинформативными. И чтобы дополнить их исследования, Боас решает пригласить Штернберга для написания книги для Джесуповской книжной серии, служившей итоговым отчетом работы экспедиции (историю этой публикации см.: [Grant 1999; Кап 2000]). Таким образом, Богораз, Йохельсон и Штернберг становятся частью боасовской Res Publica Literaria.

### III

В этой части мы хотели бы рассказать о роли писем в поддержании отношений между Боасом и тремя российскими этнографами — Йохельсоном, Богоразом и Штернбергом — после завершения полевых работ Джесуповской экспедиции. Как видно по переписке, эти отношения постепенно из рабочих переросли в дружеские. Эти изменения можно разделить на два периода. Первый охватывает время до революций 1917 года, и относящаяся к нему переписка посвящена преимущественно обсуждению вопросов публикации материалов экспедиции. Второй период начинается с восстановления переписки между Боасом и «этнотройкой» (термин Богораз для описания группы Богораз, Штернберга и Йохельсона) в 1921 году. Социальная жизнь писем первого периода показывает их роль в производстве научных текстов. И несмотря на достаточную однообразность писем этого времени, они позволяют больше понять нам Боаса-редактора, который правит тексты своих друзей, стремится сделать их более стройными и соответствующими его идее дескриптивных этнографических публикаций. Дополнительная сложность в работе над этим проектом была связана с недостатком русско-английских билингв в его окружении, которые смогли бы сделать качественные переводы. Но опять же по переписке Боас знакомит Йохельсонов с Александром Голденвейзером, еврейским эмигрантом из Киева и одним из наиболее успешных своих учеников. Именно Голденвейзеру предстояло переводить «Коряков» Йохельсона (см.: [Кап 2023]). Письма второго периода — это во многом инструменты политической борьбы как внутри советской академии, так и между академиями Советской России/СССР и США. Кроме того, письма 1920-х годов — это еще и «бумажный мост», по которому, в частности, Владимиру и Дине Йохельсонам удается покинуть Россию и поселиться в Нью-Йорке, получая временные контакты от Боаса.

Перепиской между «этнотройкой», точнее, тремя семьями — Богоразов, Йохельсонов и Штернбергов — и Боасом в период между окончанием полевых

работ в рамках Джесуповской экспедиции и первым десятилетием XX века можно проиллюстрировать парадоксальную и во многом трагичную для наших героев ситуацию, которая сложилась в Петербурге. С одной стороны, полевой этнографический и лингвистический опыт вчерашних ссыльных, а затем и участников престижной международной экспедиции был крайне востребован в академической среде. Их приглашают писать научные тексты; некоторые из них даже преподают, как Штернберг, несмотря на все ограничения, вызванные все еще действующим антисемитским законодательством о «черте оседлости». С другой стороны, их интеграция в академический мир происходит крайне трудно: никто из них не может получить постоянной работы, которая приносила бы стабильный доход [Вахтин 2004; Михайлова 2004; Кан 2009]. Все это приводит к постоянным поискам работы. Так, Йохельсоны отчасти от постоянной нехватки средств, а отчасти из-за неиссякаемого интереса к сибирский этнографии и лингвистике отправляются в новую экспедицию на Камчатку (1909—1910), организованную молодым купцом-меценатом Федором Рябушинским. В этой связи довольно требовательные письма Боаса закончить рукописи к определенному сроку, вероятно, досаждали каждому из «этнотройки». Впрочем, Боасу удавалось «добывать» небольшие суммы денег под обещание скорейшей публикации материалов Джесуповской экспедиции и пересылать их своим российским друзьям. Иными словами, само поддержание переписки между Нью-Йорком и Петербургом/Петроградом в этот период было едва ли не жизненно важным для российских друзей Боаса.

Стоит отметить, что Боасу удалось собрать Йохельсонов и Богоразов у себя в летнем доме на озере Джордж в штате Нью-Йорк в 1903 году, что, как отмечает историк антропологии Дуглас Коул, положило начало крепкой дружбе между Боасом и Богоразом [Cole 2001: 41]. Несколькими годами позже Боас шел на самые сложные международные переговоры ради спасения Богораз, то и дело попадавшего в непростые ситуации.

Так, в 1905 и 1910 годах Богораз дважды оказывался в тюрьме из-за своей кипучей политической деятельности, которая брала свое начало в его народническом прошлом. Богораз состоял членом созданного Всероссийского крестьянского союза и в ноябре 1905 года, во время революционных событий в Москве, был арестован. После освобождения через две недели он не прекратил своей политической деятельности и продолжал работать над этнографическими и лингвистическими текстами вместе с написанием политических брошюр и художественных произведений под псевдонимом Тан. Обо всем этом мы читаем и в письмах к Боасу. Не удивительно, что отношения Богораз с властями оставались весьма натянутыми. 29 сентября 1910 года<sup>6</sup> он информирует Боаса, что, вероятнее всего, скоро будет арестован на год. Этот эпизод разбирает в своей статье Игорь Кузнецов (см. в настоящем номере). Мы же только обратим внимание на роль писем в этой истории: непрерывающаяся дружеская переписка между Боасом и Богоразом (а во время ареста — с его женой Софией) довольно хорошо иллюстрирует власть писем.

Сидя в тюрьме, Богораз просит Боаса как можно скорее связаться с министром юстиции Иваном Щегловитовым, чтобы выручить его из заключения. Боас не только отправляет это письмо, но и обращается за письмом поддержки к президенту Американской антропологической ассоциации Уильяму Генри

---

6 Американское философское общество (APS), коллекция Франца Боаса.

Холмсу, что, насколько нам известно, стало самым ранним примером поддержки Американской антропологической ассоциации зарубежного коллеги-антрополога. Известно также и о намерении Софии Богораз, получившей письма о стремительном ухудшении здоровья ее мужа, написать совместное с Боасом письмо российскому монарху<sup>7</sup>, но было ли оно в конце концов написано, нам не известно. Как и в случае с Лауфером и Йохельсоном во время Джесуповской экспедиции, письма коллег и друзей превращались в инструменты сложных политических переговоров. Благодаря усилиям многих людей и множеству писем Богораз был освобожден, а уже в декабре он и Боас смогут ненадолго встретиться в Берлине. Но продлиться их переписке, обмену мыслями и рукописями оставалось, увы, недолго. Из-за начавшейся Первой мировой войны связи между Боасом и «этнотройкой» прерываются. В 1914 году пятидесятилетний Богораз уходит на фронт, где он работает военным корреспондентом для «Биржевых новостей» [Михайлова 2004]<sup>8</sup>. В это время Франц Боас, напротив, занимает не просто пацифистскую, но пораженческую позицию, что спустя годы будет удивлять Богораз<sup>9</sup>. Трудно сказать, следил ли кто-то из русскоязычного окружения Боаса за российскими газетами и сообщал ли об этом ему, но мы знаем точно из его переписки с президентом АМЕИ Генри Осборном, что Боас волновался за судьбу своих российских друзей<sup>10</sup>.

Разорванные связи восстановятся лишь в сентябре 1921 года благодаря письму Боаса, которое, несмотря на все трудности почтовой коммуникации, дойдет до Петрограда. Можно только представить ту радость, которую каждый из так называемой этнотройки испытал 8 сентября 1921 года, когда почтальон принес в здание Музея антропологии и этнографии на Университетской набережной в Петрограде конверт на имя Владимира Йохельсона<sup>11</sup>. Радость от письма была особенной еще и потому, что весной того же года Штернберг и Йохельсон были арестованы и провели несколько дней в тюрьме во время Кронштадтского мятежа как члены партии эсэров и были вызволены лишь благодаря поддержке Максима Горького [Кап 2009: 293—294]. Вполне возможно, что Владимир и Дина Йохельсоны в это время всерьез задумались об эмиграции. Да и для самого Боаса этот период был непростым. В 1919 году он опубликовал в журнале «The Nation» статью «Ученые как шпионы» [Boas 1919], где подверг резкой критике четырех американских антропологов, нанятых американским правительством для секретных исследований в Центральной Америке. За это выступление Боас был подвергнут цензуре Американской ассоциацией антропологов (продлится до 2005 года) и был «сослан» в Барнардский колледж в Нью-Йорке (см.: [Price 2001: 9; Stocking 1968: 270—307]). И вот теперь долгожданная связь со старыми друзьями наконец-то была восстановлена.

Зная о тяжелом экономическом положении в России, Боас незамедлительно отправляет Богоразу, Йохельсону и Штернбергу почтовые переводы по десять долларов каждому. Сентябрьское письмо радикально изменило судьбу всех участников этой истории. Йохельсоны смогут покинуть Петроград и поселиться в Нью-Йорке, проводя некоторое время также на Лазурном берегу,

7 APS, коллекция Франца Боаса. София Богораз — Боасу, 4 февраля 1911 года.

8 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 2. Ед. хр. 42, 108—112.

9 Тан [Богораз В.Г.]. Под флагом Р.С.Ф.С.Р. // Известия. 1924. 7 сентября. С. 2.

10 APS, коллекция Франца Боаса. Письма Боаса — Осборну, 31 января и 3 мая 1918 года.

11 Там же.

но продолжая жить на средства, получаемые ими от или через Боаса (об истории эмиграции Йохельсонов и невозвращении в Советский Союз см.: [Вахтин 2004]). Для оставшихся в России Штернберга и Богораза постоянно получаемые денежные переводы из Нью-Йорка будут существенным финансовым подспорьем, помогавшим выжить в непростое время 1920-х.

Стоит отметить, что фигура Штернберга в переписке советского времени представлена значительно меньше по ряду причин. Во-первых, вскоре после восстановления переписки, в 1927 году, он уйдет из жизни, а во-вторых — между Боасом и Штернбергом сохранялись теплые, но все же скорее рабочие отношения, что, возможно, было связано с приверженностью Штернберга эволюционизму, совершенно не совпадавшей с историческим партикуляризмом и миграционизмом Боаса. История же отношений Боаса и Богораза, напротив, — один из примеров того, как *Res Publica Literaria* Боаса продолжала свою жизнь даже в годы сталинской тирании, хотя их дружба и дала трещину в 1930-е годы (см.: [Кан 2006]).

Опираясь на архив(ы) Боаса, можно сказать, что он никогда не оставлял попыток возобновить масштабное сотрудничество с Советским Союзом. Как левого мыслителя его без сомнения интересовал «советский эксперимент». Он даже собирался посетить Советский Союз в 1925 году, но обстоятельства помешали его поездке. Более того, пока был жив Богораз (он умрет в 1936 году), который, хоть и не вступил в ряды ВКП(б), но успешно строил карьеру в советском Ленинграде и оформил то, что историки советской этнографии называют «ленинградской этнографической школой», Боас надеялся на организацию сотрудничества своих и советских студентов (см.: [Кан 2021]).

Север и Сибирь оставались теми регионами, которыми Боас, ставший к тому времени влиятельным теоретиком, продолжал интересоваться. В это же время Советский Союз начинает активно позиционировать свое присутствие в Арктике (Постановление ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года), что повлекло за собой не только череду публикации о правах на северные территории<sup>12</sup>, но и мобилизацию ученых — таких как Богораз, который был в ту пору активным членом Комитета Севера. Богораз публикует не только статью в журнале «Огонек» под названием «Зачем нам нужны земли у полюса»<sup>13</sup>, но и ведет переписку с руководителями советской Академии наук о необходимости закрытия Арктики для зарубежных этнографов<sup>14</sup>. Богораз, скорее всего, отдавал себе отчет в том, что такого рода действия могут разрушить тот хрупкий «бумажный мост», который связывал его и Боаса на протяжении многих лет. Очевидно, что в переписке с Ольденбургом Богораз имеет в виду активность именно американских антропологов, а также той группы скандинавских антропологов, с большинством из которых его познакомил лично или опять-таки по переписке Боас. При этом сами письма Богораза к Боасу за этот период, взятые вне этого контекста, могут обманчиво привести читателя к заключению,

12 См., например: *Лахтин В.Л.* Права на северные полярные пространства. М., 1928.

13 *Богораз-Тан В.Г.* Зачем нам нужны земли у полюса // *Огонек*. 1926. № 21. С. 13–14.

14 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1 [т. 2] (1926). Ед. хр. 15. Л. 92–93. Богораз — Ольденбургу, 12 декабря 1926 года. Дмитрий Арзютов и Сергей Кан готовят отдельную статью о Богоразе, Боасе и несостоявшемся проекте изучения кольских саамов в контексте закрытия Советской Арктики для научных исследований западными учеными в 1920-е годы.



что к концу 1920-х годов у ученых вновь, как и в самом конце XIX века, возникло желание сотрудничества на Севере.

Именно здесь и стоит, вероятно, искать начало конфликта между Богоразом и Боасом, описанного Сергеем Каном [Кап 2006]. Стоит отметить, что Богораз очевидно надеялся, что его лавирование между советскими чиновниками и академическими партнерами в Европе и США не повлияет по крайней мере на студенческие обмены, которые они с Боасом начали планировать<sup>15</sup>. Все это, впрочем, сделало его фигуру в истории сибирской антропологии крайне противоречивой. И сегодня, когда Российская Арктика вновь закрывается для иностранных исследователей, имя Богоразов всплывает в дискуссиях коллег, размышляющих об интеллектуальных последствиях длившегося десятилетиями прекращения научного сотрудничества на Севере.

#### IV

Границы боасовской *Res Publica Literaria* не ограничивались членами «этнотройки». Студенты Штернберга и Богоразов многократно слышали об их американском друге и коллеге, с которым их учителя состояли в переписке. Боас к этому времени в глазах многих его коллег стал приобретать черты особого человека: «папой Францем» его называли студенты, «выдающимся ученым» он стал для российских коллег. Некоторые из студентов Богоразов и Штернберга в ситуации политической и экономической неопределенности, пришедшейся на их век, решались написать самому Боасу, минуя его «представителей» в России. Они понимали не только значимость фигуры Боаса, но и собственную роль писем как важнейших «бумажных инструментов» в академической инфраструктуре. Они, вероятно, также прекрасно понимали, что подключение к сетям писем могло изменить их судьбу. Мы хотим здесь кратко затронуть две истории, произошедшие вскоре после Октябрьской революции и в год начала Большого террора.

Первая история — история Сергея (1887—1939) и Елизаветы (1884—1943) Широкогоровых — пары российских антропологов-тунгусоведов, оказавшихся в октябре 1917 года во Владивостоке, а затем перебравшихся в Китай (см.: [Anderson, Arzyutov 2019]). Сергей был учеником Штернберга, сохраняя с ним теплые отношения до начала 1920-х годов, когда он вместе с женой вопреки рекомендации Штернберга покинул революционный Петроград, поселившись во Владивостоке и ведя там преподавательскую и политическую деятельность. Дальнейшая переписка показывает постепенно нарастающее глубокое разочарование Широкогорова формирующейся академической политикой Советской России. На вежливые предложения Штернберга вернуться в Музей антропологии и этнографии, где для него сохранялась позиция заведующего отделом антропологии, он отвечал молчанием. К этому времени Широкогоров занял довольно консервативную позицию, и в переписке со своими коллегами, покинувшими Россию, а также в политических брошюрах вышедших, как во Вла-

15 Истории советской студентки Юлии Аверкиевой, проведенной совместно с Боасом в Британской Колумбии, и американского студента-индейца нез-перс Арчи Финни, получившего кандидатскую степень в СССР, см.: [Кузнецов 2018; 2020].

дивостоке, так и в Китае, небольшая часть из которых сохранилась, он весьма иронично отзывался о народнических взглядах Штернберга, отдавая предпочтение монархическим идеям (см. о политике Широкогоровых в: [Arzuotov 2019]). На фоне скитаний, экономического и политического кризиса Широкогоров полностью разорвал отношения со Штернбергом, а вскоре и со всеми коллегами, оставшимися в Советской России.

Однако это не мешало ему все же использовать ресурс боасовской *Res Publica Literaria* и силу имени Штернберга. Первое письмо Широкогорова к Боасу от 10 мая 1920 года, вероятно, утрачено безвозвратно. Ожидая ответа на него, Широкогоров как этнограф, интересующийся физической антропологией, вступает в переписку с Алешом Хрдличкой, коллегой Штернберга и Боаса, с которым у последнего были довольно непростые отношения по целому ряду причин, включая тот факт, что антропологи из Смитсоновского института, где работал Хрдличка, были активно вовлечены в цензурирование Боаса в 1919 году [Price 2001]. Более того, известно, что проводимые Хрдличкой исследования по физической антропологии нарушали этические нормы даже для того времени, что, конечно, не могло не раздражать Боаса (см.: [Brandon 2020]).

Переписываясь с Хрдличкой, Широкогоров просил найти для себя место работы в США. Можно предположить, что Хрдличка, которого интересовало антропологическое изучение коренного населения Сибири и который оказался одним из последних американских археологов и антропологов того времени, проводивших полевые работы на Дальнем Востоке, рассматривал временное трудоустройство Широкогорова как начало интересного для себя сотрудничества. Именно поэтому он берет инициативу в свои руки и обращается к Боасу<sup>16</sup> с рекомендацией Широкогорова как «человека со способностями», которому можно было бы найти подходящую стажировку в США. Мы не знаем точно, что именно побудило Боаса ответить Широкогорову в такой форме, но письмо от 13 июля 1920 года<sup>17</sup> не оставляет сомнений, что он решил для себя не помогать молодому ученому из Владивостока: «...мне кажется, что единственная надежда для Вас и Вашего народа — это признать ту явную силу, которая движет социальное развитие России (читай: признать советскую власть. — *Авт.*), и извлечь из нее максимум пользы, пытаясь на данной основе построить более счастливое будущее». Иными словами, вместо возможных вариантов трудоустройства, которые он буквально год спустя сможет предложить Йохельсону, Боас рекомендует Широкогоровым вернуться в Петроград. Предсказуемо Широкогоровы не последовали этому совету, оставшись во Владивостоке, где Сергей примкнул к так называемому Несоциалистическому движению (известному в то время на Дальнем Востоке как «несосы»), тем самым отрезав все пути для сотрудничества с советской властью. Несмотря на досаду, он все же еще раз постарался убедить Боаса 10 декабря 1922 года, когда писал ему: «...через несколько месяцев после того, как я получил Ваше письмо, общие условия во Владивостоке позволяли мне вернуться обратно. Я пытался реализовать Ваш совет работать на Россию в России. После года политической борьбы и борьбы за жизнь большинство моих коллег по университету, как и я, уехали из Владивостока в другие страны»<sup>18</sup>. Тут важно отметить, что эта пере-

16 APS, коллекция Франца Боаса. Широкогоров — Боасу, 10 июля 1920 года.

17 Там же.

18 Там же.

писка пришлось на то время, когда происходило падение белого движения на Дальнем Востоке и Широкогоровы, не имея никакого иного выхода, переезжали в Китай, одновременно с этим безуспешно пытаюсь найти работу в Японии. Не получив никакого ответа, Широкогоров в последний раз напоминает Боасу о себе в письме от 6 ноября 1923 года: «Я не считаю полезным для успеха моих исследований немедленное возвращение в Петроград, несмотря на весьма неблагоприятные условия моей работы в Шанхае. Я всегда надеюсь, что в США для меня можно найти именно то, что мне нужно»<sup>19</sup>. Ответа опять не последовало...

Спустя немногим более пятнадцати лет Боас повторит свой отказ, но уже в отношении молодого ленинградского студента-эскимосола Богораза Александра Форштейна (1904—1968) (см. о нем: [Krupnik, Mikhailova 2006]). Талантливый лингвист и этнограф, он оказался в очень непростой ситуации после смерти своего учителя Богораза в 1936 году. К этому времени, как мы отметили выше, Богораз проводил довольно амбивалентную политику фактического ограничения полевых работ антропологов-иностранцев на территории Советской Арктики, но при этом стремился к продолжению сотрудничества с западными коллегами через студенческие обмены и обмены музейными коллекциями. Скандинавские антропологи и археологи в это же самое время сформировали Комитет международных исследований по арктической антропологии, который, как планировалось, должен был организовать множество экспедиций для совместного изучения Евразийского Севера<sup>20</sup>. Несмотря на принципиальную неосуществимость этих планов, Богоразу все-таки удалось организовать стажировку для своего студента Форштейна в Датском национальном музее. Понимая катастрофичность ситуации в Ленинграде и в Советском Союзе в целом, Форштейн (а может быть, и Богораз), вероятно, надеялся получить работу в том же музее по окончании стажировки. Но тут приходит весть о смерти Богораза 10 мая 1936 года в поезде по дороге из Ленинграда в Ростов-на-Дону. Форштейн ошеломлен. Он остался без того человека, который мог бы помогать ему в Ленинграде и протезировать в Дании. Скорее всего, он хорошо понимал, что все проекты по сотрудничеству антропологов, которые Богораз хоть противоречиво, но все-таки поддерживал, без сомнения рухнут. В полном отчаянии он пишет письмо Боасу 30 июня 1936 года:

Я искренне убежден, что работа в течение года или двух под Вашим руководством, особенно после смерти профессора Богораза, будет иметь самое существенное значение для моей научной подготовки, хотя я затрудняюсь сказать определенно, какого рода работу, я могу выполнять вместе с Вами. <...> Могу я добавить, что для меня было бы очень важно получить Ваш любезный ответ, пока я нахожусь в Копенгагене (отъезд 25 июля)<sup>21</sup>.

Боас оказался очень занят. Как мы знаем сегодня благодаря скрупулезному анализу его архивов, он активно помогал вывозить своих коллег из нацистской Германии и был предсказуемо завален просьбами о помощи<sup>22</sup>. Увы, пись-

19 APS, коллекция Франца Боаса.

20 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 31. Л. 10—16.

21 APS, коллекция Франца Боаса.

22 Подробнее об этом см. в эпиллоге, написанном Игорем Крупником к нашей архивной антологии [Arzyutov et al. In press].

мо от молодого советского этнографа, живущего в Дании, не попало в число приоритетных.

Только 20 августа 1936 года, то есть почти два месяца спустя после того, как Форштейн отправил свое письмо, Боас отвечает:

Прошу прощения за долгую задержку с ответом на Ваше письмо от 30 июня. Я отсутствовал в городе с момента получения письма и, признаюсь, не знал, что ответить. В этом году я отошел от активной преподавательской деятельности, и, хотя я всегда рад обсуждать вопросы с молодыми учеными, я не могу взять на себя руководство какой-либо новой систематической работой. Тем не менее я верю, что работа в Америке может быть Вам очень полезна, но я не знаю, что предложить. К сожалению, средства, находящиеся в нашем распоряжении, с начала этого года сильно сократились, и единственное, что я мог бы вам предложить, — это составить для Вас определенный план того, что Вам предстоит сделать и который я могу представить Американскому философскому обществу. Как я написал в недавнем письме доктору [Каю] Биркету Смиту<sup>23</sup>, я считаю смерть Богораза большой потерей как для себя, так и для науки<sup>24</sup>.

Фактически это был отказ в предоставлении помощи Форштейну. Мы можем лишь строить предположения, догадывался ли Боас о начале того, что станет известно как Большой террор [Кан 2021], и вместе с этим мог ли он подозревать, насколько тяжелой окажется жизнь Форштейна по возвращении в Ленинград. Но это лишь наши догадки... К моменту получения боасовского письма Форштейн уже сошел с трапа корабля в Ленинграде, где он вскоре будет арестован по делу Института народов Севера и проведет больше десяти лет в сибирских лагерях. Освободившись в 1948 году, он никогда больше не вернется к занятиям этнографией.

Вчитываясь в эти документы, мы можем смотреть на истории этих двух отказов как на столкновение с границами *Res Publica Literaria*, создаваемой Боасом. Его письменные переговоры с меценатами и министрами, коллегами и людьми в поле имели своей целью не только строить мосты, но порой и возводить стены. Его *Res Publica Literaria* при всей кажущейся эгалитарности имела и свои охраняемые границы. Столкновение с ними разрушало иллюзии одних (Широкогоровы), или могло повесить жизнь на волоске от смерти для других (Форштейн). Не стоит, однако, вычитывать в это демиургической власти Боаса или его как будто бы всестороннего знания о том, что происходило на окраинах рушащейся империи или в Ленинграде, взятом в тиски сталинской тиранией. Эти истории говорят нам скорее о власти писем как материальных субъектов истории, вовлеченных в сложную академическую дипломатию первой половины XX века и транспортировавших не только знания, но надежды и разочарования. Написанные в минуты отчаяния, они могли застичь своего адресата врасплох, заставляя взять длинную паузу, чтобы постараться разрешить трудности, изложенные в письме. Пересекаясь на пути своего движения с другими письмами, первые могли быть отложены или оказаться на самом дне выросшей за время отсутствия адресата пачки. Более того, эти пересече-

---

23 Кай Биркет Смит был одним из активных членов Комитета международных исследований по арктической антропологии.

24 APS, коллекция Франца Боаса.

ния писем могли приводить к невольному построению социальных сетей в голове адресата и, как следствие, к отказу в просьбе. Именно на границах Res Publica Literaria эти метаморфозы жизни писем особенно интересны для истории антропологии.

\* \* \*

Очерчивая для себя границы боасовской Res Publica Literaria, читатель может прийти к заключению, что мир писем Боаса, объединявший огромное число людей и институтов во всем мире, ушел в историю вместе с последним его адресатом. Однако это не совсем так. Проведя несколько лет в архивах в разных странах и восстанавливая по фрагментам эту Res Publica Literaria, мы и сами стали ее частью: сначала в разные периоды времени как студенты-антропологи, которые слушали лекции о вкладе Боаса в американскую культурную антропологию и с жадностью штудировали его тексты, а затем внимательно прочитывали сотни его писем на разных языках, чтобы понять, как он думал и кто входил в круг его единомышленников. Работа с архивом Боаса неизбежно вовлекала нас самих в сети его писем, и мы не только воссоздавали тематические, географические и персональные узлы переписки, но и пересобирали интеллектуальные генеалогии тех идей, которые составляют основу антропологии, как мы ее понимаем сегодня (этноистория и историческая антропология для Дмитрия Арзютова и Сергея Кана и лингвистическая антропология для Лауры Сирагузы), и стилей рассуждения, которым мы продолжаем следовать. Res Publica Literaria Франца Боаса, создававшаяся тысячами страниц корреспонденции, была обнесена прочными стенами, преодолеть которые удавалось далеко не всем. Однако эти стены оказались весьма пористыми, будучи помещенными в папки и коробки, а затем упорядоченные на стеллажах в длинных архивных коридорах, где наши предшественники и мы их читали. Распутывание сети писем Боаса столкнуло нас, авторов этой статьи, со своеобразной географией его идей. Она оказалась сетью путей, пройдя по которым можно проследить развитие его мыслей, и пространством новых личных встреч с прошлым антропологии, в диалоге с которым развиваются наши идеи сегодня. В результате использования такого антропологического взгляда на историю антропологии исследование жизни и писем самого Боаса как материальных артефактов позволяет нам расширить пространство антропологии и бесконечно дискутировать с ее прошлым.

## Библиография / References

[Вахтин 2004] — Вахтин Н.Б. «Наука и жизнь»: судьба Владимира Йохельсона (по материалам его переписки 1897—1934 гг.) // Bulletin: Anthropology, Minorities, Multilingualism. 2004. № 5. С. 35—49.

(Vakhtin N.B. "Nauka i zhizn'": sud'ba Vladimira Iokhel'sona (po materialam ego perepiski 1897—1934 gg.) // Bulletin: Anthropology, Minorities, Multilingualism. 2004. No. 5. P. 35—49.)

[Вахтин 2005] — Вахтин Н.Б. Тихоокеанская экспедиция Джесупа и ее русские участ-

- ники // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 241—274.
- (Vakhtin N.B. Tikhookeanskaya ekspeditsiya Dzhesura i ee russkie uchastniki // Antropologicheskii forum. 2005. No. 2. P. 241—274.)
- [Кан 2021] — Кан С.А. Франц Боас и Советская Россия: 25 лет амбивалентности // Сибирские исторические исследования. 2021. № 1. С. 40—61.
- (Kan S.A. Frants Boas i Sovetskaya Rossiya: 25 let ambivalentnosti // Sibirske istoricheskie issledovaniya. 2021. No. 1. P. 40—61.)
- [Кузнецов 2018] — Кузнецов И.В. «Последняя экспедиция» (из истории русско-американского сотрудничества в изучении коренных малочисленных народов) // Этнографическое обозрение. 2018. № 3. С. 53—69.
- (Kuznetsov I.V. "Poslednyaya ekspeditsiya" (iz istorii rusko-amerikanskogo sotrudnichestva v izuchenii korennykh malochislennykh narodov) // Etnograficheskoe obozrenie. 2018. No. 3. P. 53—69.)
- [Кузнецов 2020] — Кузнецов И.В. «Просто молодой турист в нашей стране»: лингвист и антрополог нез-перс Арчи Финни // Антропологический форум. 2020. № 47. С. 53—83.
- (Kuznetsov I.V. "Prosto molodoy turist v nashey strane": lingvist i antropolog nez-pers Archi Finni // Antropologicheskii forum. 2020. No. 47. P. 53—83.)
- [Михайлова 2004] — Михайлова Е.А. Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / Отв. ред. Д.Д. Тумаркин и В.А. Тишков. М.: Наука, 2004. С. 95—134.
- (Mikhaylova E.A. Vladimir Germanovich Bogoraz: ucheny, pisatel', obshchestvenny deyatel' // Vydayushchiesya otechestvennye etnologi i antropologi XX veka / Ed. by D.D. Tumarkin, V.A. Tishkov. Moscow, 2004. P. 95—134.)
- [Ушакин, Голубев 2016] — XX век: Письма войны / Под ред. С. Ушакина, А. Голубева. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
- (XX vek: Pis'ma voyny / Ed. by S. Ushakin, A. Golubev. Moscow, 2016.)
- [Хархордин 2009] — Что такое республиканская традиция / Науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009.
- (Chto takoe respublikanskaya traditsiya / Ed. by O.V. Kharkhordin. Saint Petersburg, 2009.)
- [Anderson, Arzyutov 2019] — Anderson D.G., Arzyutov D.V. The Etnos Archipelago: Sergei M. Shirokogoroff and the Life History of a Controversial Anthropological Concept // Current Anthropology. 2019. Vol. 60. No. 6. P. 741—773.
- [Arzyutov 2019] — Arzyutov D.V. Order Out of Chaos: Anthropology and Politics of Sergei M. Shirokogoroff // In Life Histories of Etnos Theory in Russia and Beyond / Ed. by D.G. Anderson, D.V. Arzyutov, S.S. Alymov. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2019. P. 249—291.
- [Arzyutov 2022] — Arzyutov D.V. Briefe in schwierigen Zeiten, in denen Boas „nein“ sagte: Zwei Erzählungen zu den Rändern von Franz Boas' *Res Publica Literaria* // Franz Boas — die Haltung eines Wissenschaftlers in Zeiten politischer Umbrüche. Fürstenberg; Havel: Kulturstiftung Sibirien, 2022. S. 163—180.
- [Arzyutov et al. In press] — Paper Bridges Between Franz Boas and Russian Anthropology / Ed. by D. Arzyutov, S. Kan, L. Siragusa, A. Pershai. Lincoln: University of Nebraska Press: In 2 vols. (In Press.)
- [Arzyutov, Kan 2017] — Arzyutov D.V., Kan S.A. The Concept of the 'Field' in Early Soviet Ethnography: A Northern Perspective // Sibirica. 2017. Vol. 16. No. 1. P. 31—74.
- [Boas 1903] — Boas F. The Jesup North Pacific Expedition // American Museum Journal. 1903. Vol. 3. No. 5. P. 73—119.
- [Boas 1919] — Boas F. Scientists as Spies // The Nation. Vol. CLIX. No. 2842. P. 797.
- [Brandon 2020] — Brandon M.A. The Racial World of Aleš Hrdlička: PhD Thesis. München: Ludwig Maximilians Universität München, 2020.
- [Casanova 2004] — Casanova P. The World Republic of Letters. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
- [Cavanaugh, Shankar 2017] — Language and Materiality: Ethnographic and Theoretical Explorations / Ed. by J.R. Cavanaugh, S. Shankar. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [Clifford, Marcus 1986] — Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / Ed. by J. Clifford, G.E. Marcus. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1986.
- [Cole 1999] — Cole D. Franz Boas: The Early Years, 1859—1906. Seattle: University of Washington Press, 1999.
- [Cole 2001] — Cole D. The Greatest Thing Undertaken by Any Museum? Franz Boas, Morris Jesup, and the North Pacific Expedition // Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897—1902 / Ed. by I. Krupnik, W.W. Fitzhugh. Washington, D.C.: Arctic Studies Center, NMNH, Smithsonian Institution, 2001. P. 29—70.
- [Foks 2020] — Foks F. Constructing the Field in Interwar Social Anthropology: Power, Personae, and Paper Technology // Isis. 2020. Vol. 111. No. 4. P. 717—739.

- [Glass 2018] — *Glass A.* Drawing on Museums: Early Visual Fieldnotes by Franz Boas and the Indigenous Recuperation of the Archive // *American Anthropologist*. 2018. Vol. 120. No. 1. P. 72—88.
- [Goodman 1996] — *Goodman D.* The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996.
- [Grant 1999] — *Grant B.* Foreword // *L. Shternberg. The Social Organization of the Gilyak* / Ed. by B. Grant. New York: American Museum of Natural History, 1999. P. xxiii—lvi.
- [Gupta, Ferguson 1997] — *Gupta A., Ferguson J.* Discipline and Practice: 'The Field' as Site, Method, and Location in Anthropology // *Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science* / Ed. by A. Gupta, J. Ferguson. University of California Press, 1997. P. 1—46.
- [Hess, Mendelsohn 2010] — *Hess V., Mendelsohn J.A.* Case and Series: Medical Knowledge and Paper Technology, 1600—1900 // *History of Science*. 2010. Vol. 48. No. 3—4. P. 287—314.
- [Hull 2012] — *Hull M.S.* Documents and Bureaucracy // *Annual Review of Anthropology*. 2012. Vol. 41. P. 251—267.
- [Jardine 2017] — *Jardine B.* State of the Field: Paper Tools // *Studies in History and Philosophy of Science. Part A*. 2017. Vol. 64. P. 53—63.
- [Kan 2000] — *Kan S.* The Mystery of the Missing Monograph: Or Why Shternberg's 'The Social Organization of the Gilyak' Never Appeared Among the Jesup Expedition Publications // *European Review of Native American Studies*. 2000. Vol. 14. No. 2. P. 19—38.
- [Kan 2006] — *Kan S.* 'My Old Friend in a Dead-End of Empiricism and Skepticism': Bogoras, Boas, and the Politics of Soviet Anthropology of the Late 1920s—Early 1930s. // *Histories of Anthropology Annual*. 2006. Vol. 2. P. 33—68.
- [Kan 2009] — *Kan S.* Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.
- [Kan 2023] — *Kan S.* A Maverick Boasian: The Life and Work of Alexander A. Goldenweiser. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2023.
- [Kendall, Krupnik 2003] — *Constructing Cultures Then and Now: Celebrating Franz Boas and the Jesup North Pacific Expedition* / Ed. by L. Kendall, I. Krupnik // *Contributions to Circumpolar Anthropology*. Vol. 4. Washington, D.C.: Arctic Studies Center, NMNH, Smithsonian Institution, 2003.
- [Klein 2001] — *Klein U.* Paper Tools in Experimental Cultures // *Studies in History and Philosophy of Science. Part A*. 2001. Vol. 32. No. 2. P. 265—302.
- [Kohler 2019] — *Kohler R.E.* Inside Science: Stories from the Field in Human and Animal Science. Chicago; London: University of Chicago Press, 2019.
- [Krupnik 2016] — *Early Inuit Studies: Themes and Transitions, 1850s—1980s* / Ed. by I. Krupnik. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Scholarly Press, 2016.
- [Krupnik, Fitzhugh 2001] — *Gateways. Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897—1902* / Ed. by I. Krupnik, W. Fitzhugh // *Contributions to Circumpolar Anthropology*. Vol. 1. Washington, DC: Arctic Studies Center, 2001.
- [Krupnik, Mikhailova 2006] — *Krupnik I., Mikhailova E.A.* Landscapes, Faces, and Memories: Eskimo Photography of Aleksandr Forshtein, 1927—1929 // *Alaska Journal of Anthropology*. 2006. Vol. 4. No. 1—2. P. 92—113.
- [Müller-Wille 2014] — *Müller-Wille L.* The Franz Boas Enigma: Inuit, Arctic, and Science. Montréal: Baraka Books, 2014.
- [Price 2001] — *Price D.H.* 'The Shameful Business': Leslie Spier on the Censure of Franz Boas // *History of Anthropology Newsletter*. 2001. Vol. 28. No. 2. P. 9—12.
- [Rapport 1991] — *Rapport N.* Writing Fieldnotes: The Conventionalities of Note-Taking and Taking Note in the Field // *Anthropology Today*. 1991. Vol. 7. No. 1. P. 10—13.
- [Sanjek 1990] — *Fieldnotes: The Makings of Anthropology* / Ed. by R. Sanjek. Ithaca; London: Cornell University Press, 1990.
- [Sanjek, Tratner 2015] — *eFieldnotes: The Makings of Anthropology in the Digital World* / Ed. by R. Sanjek, S. Tratner. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.
- [Siragusa, Virtanen 2021] — *Siragusa L., Virtanen P.K.* The Materiality of Languages in Engagements with the Environment // *Multilingua*. 2021. Vol. 40. No. 4. P. 421—431.
- [Stocking 1968] — *Stocking G.W.* Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. New York; London: The Free Press, Collier-Macmillan Limited, 1968.
- [Zumwalt 2019] — *Zumwalt R.L.* Franz Boas: The Emergence of the Anthropologist. Lincoln: University of Nebraska Press, 2019.
- [Zumwalt 2022] — *Zumwalt R.L.* Franz Boas: Shaping Anthropology and Fostering Social Justice. Lincoln: University of Nebraska Press, 2022.

Игорь Кузнецов

# Трудности и коллизии работы с письмами ученых из круга Франца Боаса (*ad marginem*)<sup>1</sup>

Igor Kuznetsov

Difficulties and Collisions of the Work on the Correspondence of Scholars from the Circle of Franz Boas (*Ad Marginem*)

**Игорь Кузнецов** (Институт языкознания РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) i.kuznetsov@iling-ran.ru.

**Igor Kuznetsov** (PhD; Senior Research Fellow, The Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) i.kuznetsov@iling-ran.ru.

**Ключевые слова:** история антропологии, презентизм, письма, контекст, на-дене, красное десятилетие

**Key words:** history of anthropology, presentism, letters, context, Na-Dene, Red Decade

УДК: 39, 81-11

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_28

UDC: 39, 81-11

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_28

В статье анализируются примеры неверной, по мнению автора, трактовки ряда сюжетов из истории антропологии периода господства школы Франца Боаса в Америке. В частности, обращено внимание на ситуации, связанные с российско-(советско-)американским сотрудничеством. Основным источником служит переписка участников описываемых событий, хранящаяся в Американском философском обществе, Архиве РАН и др. В числе общих выводов — незрелость соответствующей области науки. В заключение автор предлагает внести несколько методологических корректив в исследование истории антропологии.

The article analyzes samples of incorrect, in the author's opinion, interpretation of several cases from the history of anthropology, during the period of dominance of Franz Boas's school in America. Attention is drawn to situations related to Russian-(Soviet-)American cooperation. The main source is the correspondence of the participants in those events, which is stored in the American Philosophical Society, the Archive of the Russian Academy of Sciences, etc. Among the general conclusions is the immaturity of this field of research. In conclusion, the author suggests making several adjustments in methodology of the history of anthropology.

Проблематика представленной статьи, как и в значительной мере ее фактология, подготовлены предыдущими поисками автора в области истории антропологии эры Франца Боаса. Короткие сюжеты, или мини-расследования, родившиеся из того, что можно было бы назвать «заметками на полях» (*ad marginem*, как указано в названии статьи), объединены здесь сквозной темой. Они так или иначе связаны с деятельностью «отца-основателя» современной антропологии — одного из всего-то четырех (вместе с Б. Малиновским, А. Рэдклифф-Брауном и М. Моссом), если доверяться мнению Т. Эриксона и Ф. Нильсена [Eriksen, Nielsen 2001], и, что не менее важно, затрагивают взаимоотношения Боаса и его учеников с российскими этнографами. Несколько менее явно это

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 20-18-00159, <https://rscf.ru/project/20-18-00159/>, организация, осуществлявшая финансирование, — Институт языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН).



делается во втором сюжете, но и он посвящен, так сказать, объекту общего интереса (родству языков Старого и Нового Света). Сюжеты рассматриваются через переписку основных акторов — эго-документы, позволяющие значительно скорректировать последовательность событий, а порой и наши представления об истории развития антропологической мысли. Основной целью настоящей работы является исправление неточностей в истории российско-американских контактов в антропологии.

Большая часть документов, рассмотренных в публикации, хранится в различных коллекциях («Franz Boas Papers» и др.) библиотеки Американского философского общества в Филадельфии, а также в архиве отделения антропологии нью-йоркского Американского музея естественной истории, Архиве Российской академии наук в Санкт-Петербурге и Научном архиве Института этнологии и антропологии в Москве. На сегодняшний момент опубликованы экспедиционные записи и письма Боаса [Rohner 1969], как и переписка «папы Франца» с советским этнографом Ю.П. Аверкиевой [Kuznetsov 2006]. В 2015 году команда исследователей под руководством Регны Дарнелл приступила к масштабному проекту по публикации и комментированию почти всего корпуса профессиональной переписки Боаса; отдельно предусматривается аналогичная работа в отношении «русской» корреспонденции ученого (см. статью Д. Арзютова, С. Кана, Л. Сирагузы в этом номере). Помимо этого, читателям уже доступна переписка боасовских учеников, например А.Л. Крёбера с Э. Сэпиром [Golla 1984], к анализу которой мы также многократно прибегали, готовя этот текст.

## Арест Богораза и «амбивалентность» Боаса

Признано, что отношение к российским коллегам со стороны Боаса, прозванного «папой Францем» его первыми учениками, выходило за пределы сугубо академического. В Американском музее естественной истории хранится адресованная Боасу телеграмма Богораза, на которую впервые обратил внимание, кажется, Стэнли Фрид [Freed et al. 1988a: 100; 1988b: 19]: «Арестован причины неизвестны» («Am arrested reasons unknown»<sup>2</sup>, Богораз — Боасу, 29 ноября 1905 года). На самом деле причина ареста народовольца Богораза вполне очевидна: шла первая русская революция, а он проявил себя как бунтовщик, приняв участие в съезде Крестьянского союза. Известно, что за помощью в его освобождении Боас обратился к В.В. Радлову (Боас — Радлову, 5 декабря 1905 года)<sup>3</sup>. Нью-йоркский руководитель Джесуповской экспедиции явно успел проникнуться дружескими чувствами к ее участнику из России. На кону оказалась также судьба собранных в ходе экспедиции материалов.

Ниже мы постараемся прояснить некоторые важные детали в этой истории, восстановив необходимый контекст. Начнем с того, что в литературе до сих пор существует ошибочная датировка московского ареста Богораза — начало декабря (см., например: [Михайлова 2004: 113]). Источником ее послу-

2 Здесь и далее все переводы с английского и немецкого языков сделаны автором.

3 Архив отделения антропологии Американского музея естественной истории (American Museum of Natural History, Division of Anthropology Archives, AMNH-DAA). Переписка Джесуповской экспедиции.

жила неточность, допущенная Д. Коулом, который излагал ход событий следующим образом: 4 декабря 1905 года Боас будто бы получил телеграмму (никакого документального подтверждения на этот счет у Коула нет), а дальше уже просил Радлова помочь Богоразу [Cole 2001: 41–42].

В действительности арест Богораза произошел 27 ноября 1905 года. А уже 29-го он телеграфировал о случившемся Боасу (эта дата и стоит на процитированной телеграмме), который, в свою очередь, 4 декабря написал В.И. Йохельсону (Боас — Йохельсону, 4 декабря 1905 года)<sup>4</sup> и одновременно пытался заручиться поддержкой нью-йоркского музея. Текст боасовской телеграммы Радлову согласовывался с президентом музея М. Джесупом (Джесуп — Боасу, 5 декабря 1905 года)<sup>5</sup>. Директор музея Х. Бампэс настойчиво призывал Боаса к сдержанности, укоряя за то, что тот действует через голову (Бампэс — Боасу, 4 декабря 1905 года; Боас — Бампэсу, 6 декабря 1906 года)<sup>6</sup>. Наконец, очень осторожное письмо в Санкт-Петербург, послу Северо-Американских Соединенных Штатов, отправил не сам Боас, а Джесуп (Джесуп — Майеру, 6 декабря 1905 года)<sup>7</sup>, что соответствовало бюрократическим правилам. Вероятнее всего, все тянули и ждали новых подробностей происшествия, которые пришли из Цюриха от Йохельсона, как раз и рассказавшего о революционном участии Богораза в съезде, а кроме того, предложившего свои услуги — привести из Москвы искомые материалы, добавив: «[Я] думаю, что в любом случае Богоразу не грозит опасность» («[Ich] denke jedenfalls nicht, den Bogoras Gefohr droht», Йохельсон — Боасу, 21 декабря 1905 года)<sup>8</sup>. И все успокоились, что, видимо, дало успокоение и самому Боасу. Как мы можем судить на основании сопоставлений писем из разных коллекций, его действия выглядят скорее осторожными, чем решительными.

Йохельсону не пришлось никуда ехать, поскольку ровно через две недели из Выборга вышел на связь сам Богораз, рассказав, что Общество писателей Москвы добилось его освобождения, внеся залог в размере 15 тысяч рублей, и что он бежал в Финляндию, захватив интересовавшие всех рукописи (Богораз — Боасу, 10 января 1906 года<sup>9</sup>; см. также: [Freed 2012: 364–370])!

Дальнейшие поступки «папы Франца» позволяют увидеть в его позиции своеобразную амбивалентность, о чем уже писалось [Кан 2021]. Надо учитывать, что он принадлежал к совершенно другому социально-культурному слою со стойкими немецкими традициями, внимательно относящемуся к соблюдению этикетных правил. Так, раз позвав Богораза с Йохельсоном на свою нью-йоркскую квартиру, хозяин нашел их «необычайно чудными» (*very curious*), а его жене они вообще не понравились из-за того, что долго не уходили, злоупотребляя гостеприимством (Боас — Софии Боас, 3 июня 1900 года; Мари Боас — Софии Боас, 23 марта 1900 года<sup>10</sup>; см. также: [Cole 1999: 197]).

В начале 1920-х, когда в Поволжье свирепствовал голод, Боас не только старался возобновить академическое сотрудничество, но и отправлял продук-

4 AMNH-DAA. Переписка Джесуповской экспедиции.

5 Коллекция Франца Боаса в библиотеке Американского философского общества (American Philosophical Society, APS).

6 APS. Коллекция Франца Боаса.

7 Там же.

8 AMNH-DAA. Переписка Джесуповской экспедиции.

9 APS. Коллекция Франца Боаса.

10 Там же.

товые посылки в Ленинград для «этнотройки»<sup>11</sup>, «поскольку все деньги, какие они получают (за работу на Джесуповскую экспедицию. — *И.К.*), все равно будут потрачены на продукты» (Боас — Осборну, 19 июля 1922 года<sup>12</sup>; см. также: [Вахтин 2004: 48, примеч. 12]).

В то же время положение самого Боаса было довольно шатким. Эпизод, ставший уже эпическим, — исключение «отца-основателя» в 1919 году из исполнительного совета Американской антропологической ассоциации из-за публикации «Ученые как шпионы» в журнале «Нация» («*The Nation*»). В ней Боас обличал посланных правительством в Мексику четырех антропологов, которые «проституировали науку, употребив ее как прикрытие для своей шпионской деятельности» [Boas 1919]. Боас был забаллотирован примерно двумя третями голосов [Lesser 1981: 17]. Теперь известно, что в ФБР на Боаса сразу же завели дело, затем еще одно, как на пособника коммунистов, которое официально было закрыто лишь после смерти ученого [Krook 1989: 4–5].

Спустя еще пятнадцать лет, когда Советский Союз погрузился во тьму сталинской тирании, отношения Боаса с учениками его друзей изменились. Летом 1936 года он проявил глухость к просьбе студента Богораза А.С. Форштейна устроить ему одно- или двухлетнюю стажировку в Америке. В это время у Форштейна заканчивалась короткая стажировка в Датском национальном музее, и ему — по понятным нам сегодня причинам — грозила смертельная опасность по возвращении домой [Krupnik 1998: 208, 209, 213, app. 1]. В результате он действительно был приговорен к расстрелу, но приговор заменили десятью годами исправительно-трудовых лагерей, которые Форштейн отбыл не так далеко от мест своей полевой работы — на Колыме (об игнорировании Боасом просьб о помощи Форштейна, как и Широкогорова, см. статью Д. Арзютова, С. Кана, Л. Сирагузы в этом номере).

Думается, что приведенные наблюдения позволяют отказаться от изображения упомянутых событий в духе вигской интерпретации истории (*whig history*). И сделать это нас понуждает изучение всего корпуса переписки указанного периода между Боасом, руководством Американского музея естественной истории и российскими учеными.

## Лингвистические мосты

Публикация писем Боаса из экспедиций по северо-западному побережью Северной Америки позволила получить более реалистичный взгляд на особенности методики его работы. В частности, была раскрыта главная «тайна» исследователя, долгое время считавшегося эталонным полевым этнографом: он общался с информантами, как правило, на английском языке и при помощи переводчиков, а если их не оказывалось, то использовал торговый жаргон чинук (лингва франка в этой части континента) [Rohner 1969: 28]. Однако это не распространялось на многих из его учеников, среди которых были и такие, чьи лингвистические таланты остаются во всех отношениях непревзойденными вплоть до сегодняшнего дня. Мы уже писали, как знаменитые шесть фил (супер-

11 Термин, который с подачи В.Г. Богораза вошел в обиход также и историков советской этнографии. Под ним понимались В.Г. Богораз, Л.Я. Штернберг и В.И. Йохельсон.

12 APS. Коллекция Франца Боаса.

семей) Сэпира, объединившие все аборигенные языки к северу от Мексики, обрастали генеалогическими подробностями в его переписке 1911—1921 годов с Крёбером, Лоуи и Радином; как Сэпир спешил поделиться своим открытием в письме Боасу, но не только не нашел у учителя понимания, а столкнулся с неприятием, правда, скрытым между строк [Кузнецов 2023]. Письма становятся тем важным источником, который позволяет нам раскрыть нюансы теоретических построений в ранней американской исторической лингвистике и лингвистической антропологии. А порой они содержат больше научной информации (или более точных формулировок), чем опубликованные тексты.

В этой части мы постараемся, проведя анализ переписки Сэпира, прояснить обстоятельства появления одной из гипотез дальнего языкового родства — так называемой индо(индейско)-китайской гипотезы. Попытка перекинуть мостик от суперсемьи на-дене, включающей в основном языки северо-западного угла Североамериканского континента, на Дальний Восток содержится в одном его письме, посланном Крёберу:

Меня прямо сейчас заинтересовала еще одна большая лингвистическая возможность. Я с трепетом говорю о ней, хотя эту зародышевую идею носил с собой уже много лет. Я не считаю, что на-дене принадлежит к другим американским языкам. Я ощущаю ее как великую внедрившуюся общину (a great intrusive band), которая, быть может, разорвала старую эскимосско-вакашско-алгонкинскую непрерывность. И я решительно чувствую старую квазиизолирующую основу. Еще есть тон, который кажется старым (высокий и низкий) — я почти уверен, что тоном атабаскские и хайда подобны тлинкитскому. Короче, не считай меня ослом, коль я всерьез развлекаюсь идеей старого индо-китайского ответвления в Северо-Западной Америке (Сэпир — Крёберу, 4 октября 1920 года<sup>13</sup>; см. также: [Golla 1984: 350]).

Дальше перечислялись первые примеры сходств, которые мы здесь опускаем. Р. Дарнелл высказала предположение, что на направление поисков Сэпира повлиял Бертольд Лауфер — еще один сотрудник Джесуповской экспедиции и, в сущности, единственный тогда в Соединенных Штатах профессиональный китаевед и тибетолог [Darnell 1990: 127—131]. Правда, в специально посвященной Сэпиру книге она допускает ряд неточностей, называя письмо своего героя к Лоуи от 15 февраля 1921 года «первым явным заявлением» (the first explicit statement) «индо-китайской» гипотезы. Возможно, это произошло из-за стремления подтвердить наличие лауферовского «следа»: контакты Сэпира с Лауфером имели место после указанного срока. И несколько предложений из приведенного выше письма Сэпира Крёберу по недоразумению попали у Дарнелл в цитату из его же письма Лауферу от 1 октября 1921 года, ср.: «Я не считаю, что на-дене принадлежит к другим американским языкам» («I do not feel that Na-dene belongs to the other American languages»); «Я ощущаю ее как великую внедрившуюся общину» («I feel it as a great intrusive band») и проч. [Ibid.: 128].

Далее исследовательница утверждает, что Сэпиру даже пришлось написать Крёберу повторно (24 ноября), чтобы добиться от него реакции, — 26 ноября 1921 года [Ibid.: 129]. В действительности же крёберовский ответ последовал еще в декабре 1920 года и содержал отдельный абзац, посвященный проблеме родства на-дене:

13 Библиотека Банкрофта Университета Калифорнии в Беркли, коллекция А.Л. Крёбера.

У меня было бы меньше веры в твои открытия, если бы ты объединил их с чем-то американским. Что касается азиатского происхождения на-дене, я слишком невежественен, чтобы обладать мнением, хоть и сильно чувствую предельно моносиллабический и, по существу, изолирующий характер атабаскских (Крёбер — Сэпиру, 27 декабря 1920 года<sup>14</sup>; см. также: [Golla 1984: 358]).

Ясно, что «индо-китайская» гипотеза родилась не позже октября 1920 года и, что важно, до обнаружения зимой того же года на чикагском собрании Американской ассоциации содействия развитию науки результатов семилетнего проекта по группировке североамериканских языков. Впоследствии Дарнелл устранила допущенную оплошность, приведя сэпировское письмо К. Уисслеру от 3 октября 1920 года, красноречиво свидетельствующее: его автор уже тогда задумывался о возможной близости на-дене к (пра-)сино-тибетскому [Darnell 2021: 167—168].

В докладе директора Института языкознания РАН А.А. Кибрика на конференции, посвященной Сэпиру и его наследию (2021), снова прозвучала идея, что возможное родство на-дене с китайским, вопреки только что приведенным фактам, было постулировано достаточно поздно, в 1922—1923 годах, после того как Сэпир натолкнулся на систему тонов в атабаскских языках. Ссылаясь на Майкла Краусса [Krauss 2005], Андрей Алексеевич подчеркнул решающую роль, которую в этом открытии сыграл сэпировский ученик Фан-Гуй Ли. Будто бы Сэпир сперва пропустил тоны в навахо, но расслышал их в сарси, после чего послал в поле в Северную Калифорнию и Канаду более привычного к китайским тонам Ли — расставить все точки над *i*. Тот же обнаружил странную вещь — зеркальные по отношению к сарси, навахо и кучин тоны в чипевайанском и хэр (вместо восходящего нисходящий и наоборот). Уже в конце жизни Сэпир намеревался поехать в Китай, чтобы продолжить исследование самостоятельно, но не успел.

Дабы решить частную проблему такой инверсии, Краусс [Krauss 1964] предположил, что в (пра)атабаском тоны отсутствовали, возникнув позже (причем не во всех дочерних языках) как рефлексии «глоттального сжатия» (constriction), присутствовавшего изначально. Разумеется, это новое обстоятельство выводит соответствующий аргумент из числа возможных доказательств родства на-дене и сино-тибетских. Но, как опять-таки показывает процитированное выше письмо Крёберу, Сэпир задолго до упомянутого срока знал о существовании тонов, обнаруженных в языке тлинкит еще Боасом, и, подчеркнем это, будучи «почти уверен, что тоном атабаскские и хайда подобны тлинкитскому», с самого начала использовал заинтересовавший его факт в своих рассуждениях. Например, в статье 1922 года он прямо пишет об этом: «Тональные соответствия между тлинкитским и атабаскскими представляют собой важный дальнейший аргумент в недавно выдвинутой теории на-дене» [Sapir 1922: 390].

Оба высказанных предположения — не что иное, как презентистское сглаживание шероховатостей истории науки. В аргументации Дарнелл появление «индо-китайской» гипотезы у Сэпира (неважно, подсказал идею Лауфер или нет) выглядит соблазнительно «логично» — как завершающий этап в последовательном восхождении к новой теории и очередному уровню обобщения

14 Там же.

(вначале — формулирование шести фил, затем — вывод о внешнем родстве одной из них). Кибриком (и возможно, Крауссом) успех, к которому в итоге пришли Сэпир и его коллеги, объясняется чрезмерно раздутым участием в открытии носителя китайского языка, что также оказывается не более чем мифом.

В этом сюжете есть еще одна заслуживающая внимания линия, которая раскрывается также благодаря переписке ученых. Осенью 1921 года Сэпир продолжал информировать Крёбера о своих достижениях: «Давно хотел написать тебе о на-дене и индо-китайском, но мои сведения накапливаются так быстро, что тяжело сесть и выдать идею» (Сэпир — Крёберу, 1 октября 1921 года<sup>15</sup>; см. также: [Golla 1984: 374]). Лингвист намеревался подготовить масштабное компаративистское исследование на основе уже собранной им лексики, представляющей все ветви на-дене, — «около трехсот сопоставимых радикальных элементов, к которым я постоянно добавляю»; но прежде собирался «опубликовать специальные статьи по избранным частям грамматики на-дене, например, некоторым архаичным послелогам; или указательным основам; или общим моментам синтаксиса» (Сэпир — Крёберу, 1 октября 1921 года<sup>16</sup>; см. также: [Ibid.: 376]). В письмо, машинописную копию которого получил Лауфер, вошли также примеры вероятных когнатов (тлинкит *k'a* «поверхность», навахо *k'ā* «то же», тибет. *k'a* «то же», кит. *t'an* «уголь», хайда *s-t'an* «то же» и проч.). Но отдельные места этого послания позволили Крауссу сделать вывод, что его автора «занесло далеко за пределы любых объективно оправданных выводов» [Krauss 1973: 963; Sapir 1991: 139]. Рассуждения Сэпира о «групповом параллелизме» (group-parallelism) больших семантических гнезд корней \*lu, \*lu, будто бы обнаруживающихся на глубинном уровне и в на-дене, и в сино-тибетских, могут напомнить историкам российской науки пресловутый четырех-элементный анализ академика Н.Я. Марра. Сэпир писал:

Не вдаваясь в подробности, коснусь еще одной интересной группы. Я говорил об ат(апаскском) \*-lɛ «решать» и его производном \*t'ɛl «сверло для получения огня». К этим же формам принадлежит хайда *li* «окружать, двигаться вокруг». В индо-китайском мы имеем хорошо раскручиваемый комплект из тибетских *ge* и *gi*... (Сэпир — Крёберу, 1 октября 1921 года<sup>17</sup>; см. также: [Golla 1984: 377, 382]).

Нечего и говорить, из запланированной серии публикаций, как это бывало у Сэпира и раньше, вышла лишь статья по частному вопросу (об образовании в атапасских языках относительных форм прилагательных), да заметка репортажного типа в приложении к журналу «Наука» («Science»), анонсирующая «индейско-китайскую» гипотезу в целом [Sapir 1923; 1925]. Неопубликованный дене-китайский словарь, включающий более ста лексических сравнений, хранится в Американском философском обществе<sup>18</sup>. Уже отмечалось, что сэпировские теории и догадки зачастую существуют лишь в переписке и так и не были доведены до статей в академических журналах [Кузнецов 2023: 329].

Американские ученые явно следили за революцией, которую вершили в советском языкознании марристы. Леонард Блумфилд, в широком смысле

15 Библиотека Банкрофта Университета Калифорнии в Беркли. Коллекция А.Л. Крёбера.

16 Там же.

17 Там же.

18 APS MS 497.3 B63c Na20a.3. Vol. 2.

из боасовского окружения, но во многом антипод Сэпира, состоял в переписке со Л.Я. Штернбергом и В.Г. Богоразом и получал от последнего «Яфетические этюды» (Блумфилд — Богоразу, 18 сентября 1933 года)<sup>19</sup>. Об интересе к достижениям «яфетидологии» свидетельствует и еще одно сэпировское письмо:

Сегодня уже хорошо понятно, что ю(жно-)кавказский принадлежит с(еверо-)кавказскому. Может быть, даже мудро будет присмотреться к кавказско-малоазийско- (лидийский, ликийский и др.) -этрusco-баскскому, или «яфетическому» синтезу, который (сейчас) появляется. Кавказско-баскские сходства ни в коей мере не надо обсмеивать (Сэпир — Крёберу, 15 июня 1924 года<sup>20</sup>; см. также: [Golla 1984: 413]).

Как бы то ни было, следующее серьезное обращение к теме возможного дальнего родства сино-тибетских и на-дене принадлежало С.А. Старостину, который в начале 1980-х годов выступил с открытием так называемой сино-кавказской макросемьи, добавив к упомянутым двум семьям еще и северокавказскую, баскскую, бурушаски и енисейскую. Едва ли зная о существовании дене-китайского словаря, как и об остальных успехах своего предшественника, не говоря уже о сохранившейся в архивах переписки, гениальный советский лингвист существенно продвинул вперед пунктирную историю «индо-китайской» гипотезы.

### «Качающаяся из стороны в сторону»

События завершающих сюжетов относятся к 1930-м годам. Этот период часто называют «красным десятилетием» (Red Decade), и абсолютно оправданно: интенсивность российско-американских связей, возможно, достигла тогда максимума за всю историю, во всяком случае в антропологии. СССР посещали А. Хрдличка, Л. Уайт, Б. Стерн, Г. Филд. В те годы в Институте антропологии, археологии и этнографии (ИААЭ), который располагался в Ленинграде, можно было встретить студентов А.Л. Крёбера и Р. Лоуи, протеже М. Херсковица, приезжавших чуть ли не каждый год. Работали обменные программы: в советской аспирантуре обучался боасовский ученик Финни; только что вернулась из американской стажировки Юлия Павловна Аверкиева. В фокусе еще одной истории, которую мы хотели бы разобрать, находится именно она.

Историки советской этнографии уже отмечали, что образ Ю.П. Аверкиевой был значительно романтизирован, в чем нет ничего удивительного, ведь Юлии Павловне единственной из отечественных этнографов удалось вживую слушать лекции «классиков»: Р. Бенедикт, Г. Рейчард (Рейхард) и самого «папы Франца» (Аверкиева — Богоразу, 12 октября 1929 года, 12 января 1930 года, 11 марта 1930 года)<sup>21</sup>, с которым она даже съездила к квакквавакв (квакиутль) в Британскую Колумбию. Так, М. Шерман (антрополог-любитель), инициатор и редактор американской публикации шнуровых фигур, собранных Аверкиевой у квакквавакв, утверждал, что «они почтили ее официальным принятием в свое племя», наградив «личным тотемом в образе орла» — резным изображением, которое исследовательница всю жизнь хранила на своем

19 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН).

20 Библиотека Банкрофта Университета Калифорнии в Беркли. Коллекция А.Л. Крёбера.

21 СПбФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Д. 3.

столе [Averkiewa, Sherman 1992: xvii—xviii]. Более искусственный Э.Л. Нитобург добавлял детали про «специальный обряд принятия Юлии в члены одного из родов племени» и про ее «индейское имя Хвуана», будто бы как-то связанное с этим обрядом [Нитобург 2003: 403]. При этом оба основывались на воспоминаниях старшей дочери и внука Юлии Павловны, которых при всем уважении нельзя считать сведущими в тонкостях этнографической методики.

Но отделить украшения, прибавленные рассказчиками, от фактических событий в поле все же возможно. Прежде всего из переписки Боаса (Боас — сестре Тони, 27 октября 1930 года; Боас — Рут Бенедикт, 9 ноября 1930 года, 13 ноября 1930 года и др.<sup>22</sup>; см. также: [Rohner 1969: 289—293]) следует, что его спутница пробовала общаться с женщинами квакквавакв, выпрашивая самые разные вещи, плетя корзины, разучивая с ними танцы<sup>23</sup>. Как в свое время заметил Билл Холм (личная переписка с автором настоящей статьи), «Хвуана» (кваквала *w<sup>h</sup>āni*, букв. «качающаяся из стороны в сторону») отнюдь не является престижным именем, которое обретают на потлачах. Напротив, оно скорее указывает на неуклюжесть его обладательницы, например на то, что та плохо еще освоила танцевальную культуру, ср. отрывок из боасовского письма: «Джулия изучает танец, но я считаю, что он слишком труден, чтобы изучить его быстро. В любом случае через критику, которую она слышит, я изучаю, что чем тут повсюду является» (Боас — сыну Эрнсту, 18 ноября 1930 года<sup>24</sup>; см. также: [Ibid.: 291—292]). Что же касается доставшейся Аверкиевой фигурки тотемного столба, то, по мнению Холма, это просто подарок, никак не связанный с новым прозвищем.

Да и можно ли было надеяться настолько быстро стать своим, «быть принятым в племя»? Экспедиционный выезд Боаса и Аверкиевой зимой 1930—1931 годов продлился чуть более двух месяцев. Естественно, столь кратковременной полевой работы недостаточно было и для того, чтобы овладеть языком кваквала (квакиутль). «Почти полное отсутствие в работе лингвистического материала» отмечается в отзыве о кандидатской диссертации Юлии Павловны, подготовленном Богоразом — ее руководителем [Кан 2018: 75]. Исходя из здравого смысла, С. Кан предлагает датировать этот хранящийся в архиве Кунсткамеры документ, увы, без даты, коротким периодом 1934—1935 года (защита Аверкиевой состоялась в июле 1935 года). Но эта версия вызывает сомнения.

Научный руководитель хоть и хвалит свою диссертантку за то, что та впервые попыталась подвергнуть имеющиеся данные «социологическому анализу, притом на основе марксистско-ленинского метода», но все же настойчиво советует ей не замалчивать «главенствующее значение Боаса» и активнее упоминать в тексте боасовские работы [Там же]. В обстановке распространявшейся враждебности к зарубежным ученым такое поведение Богораз, умевшего в других ситуациях показать свою лояльность власти, выглядело бы непродуманным и даже провокационным. Не стоит забывать, что в августе — сентябре 1936 года, то есть через год с небольшим после защиты, Аверкиеву по доносу исключают из комсомола и увольют из Музея антропологии и этногра-

22 APS. Коллекция Франца Боаса (Boas Family Papers).

23 Кинохроника танцев квакквавакв, снятая Боасом и Аверкиевой хранится в Музее естественной истории и культуры имени Бёрка в Сизтле.

24 APS. Коллекция Франца Боаса (Boas Family Papers).



фии АН СССР, и это будет только началом мытарств и страданий, выпавших на ее долю. В библиографическом списке к диссертации Аверкиевой значится аж пятнадцать боасовских работ. Ссылок на них предостаточно как в краткой версии ее диссертации, вышедшей в виде статьи тогда же, в 1935 году, так и в пространной, в сотню страниц, опубликованной позже. Вступление к варианту 1941 года содержит еще и реверанс пионеру этнографии северо-западного побережья Северной Америки [Аверкиева 1935; 1941: 3]. Что-то тут не так.

Рискнем предположить: отзыв может относиться и к более раннему времени. Не исключено, что он писался на какой-то неокончательный вариант работы, в который послушная аспирантка постаралась затем внести исправления. Публично защищать кандидатские диссертации начали в СССР лишь за год до этого, и советский ритуал защиты к тому времени еще не установился. А в западной академии докторанты до сих пор перед тем, как сдать итоговый текст в библиотеку, правят его, как того требуют оппоненты.

Судя по переписке, Аверкиева и впрямь просила прислать ей из Нью-Йорка какие-нибудь материалы, необходимые для овладения основами изучаемого языка, и в сентябре 1933 года получила их и, надо полагать, в большом объеме:

Мой дорогой папа Франц.

Огромное спасибо за Ваше сердечное письмо и за Вашу великую доброту, выразившуюся в посылании мне грамматики квакиутль. Все это слишком много для меня, и гораздо больше, чем я ожидала. Я хотела, мой друг, узнать от Вас, где возможно получить такую грамматику. Из США я привезла библиографию литературы по Северо-Западу, но у меня нет ее по грамматике, где и когда она была издана, я не знала. Сейчас я изучаю язык квакиутль и особенно суффиксы, читаю их от начала до конца, но, как я представляю, необходимо выучить их наизусть. Вы думаете, это верно?.. Изучение языка квакиутль займет много времени, но мне надо его знать. Очень жалею, что не учила его, когда находилась с Вами. Теперь это будет гораздо сложнее (Аверкиева — Боасу, 9 октября 1933 года)<sup>25</sup>.

Из содержания письма понятно, что указанная просьба датируется весной-летом 1933 года. А затем все эти суффиксы Юлия Павловна не менее года пыталась «выучить наизусть» (Аверкиева — Боасу, 24 марта 1934 года)<sup>26</sup>. Кстати, тогда же она начала знакомиться с ранними публикациями Боаса: «Нашла сейчас Reports of Br. Ass. For Adv. of Sc. с Вашими отчетами по племенам Северо-Западного побережья, которые могут оказать хорошую помощь» (Аверкиева — Боасу, 9 октября 1933 года)<sup>27</sup>. Если предположить, что богоразовский отзыв датируется примерно тем же временем, тогда все может встать на свои места, ибо 1933 год и даже большая часть 1934-го были совсем не такими «жаркими», как самый конец года после убийства Кирова, и особенно последовавший 1935-й...

Но остается одна неясность — никакая грамматика кваквала на тот момент не была еще опубликована. Скорее всего, то, что Аверкиева и Богораз упорно так называли, представляло собой всего лишь краткое описание соответствующего языка из первого тома «Руководства по языкам американских индейцев»

25 APS. Коллекция Франца Боаса.

26 Там же.

27 Там же.

(«Handbook of American Indian Languages») [Boas 1911], действительно упомянутого среди источников в диссертации. Едва ли, однако, 135 страниц этого очерка, хоть и исключительно емкого, могли настолько поразить ее своим объемом («Все это слишком много для меня, и гораздо больше, чем я ожидала...»). Увы, приведенный в тексте лингвистический материал — два абзаца слов кваквала, связанных с корнем *q'.aku* || *q'.ak'o* «раб» [Аверкиева 1941: 64], без единой ссылки — мог быть почерпнут как из упомянутой публикации, так и из какого-то боасовского манускрипта, оказавшегося, возможно, в руках у Юлии Павловны. По-видимому, мы никогда не узнаем, вложил ли Боас в посылку также рукопись своей работы, готовящейся к изданию (выйдет только в 1947 году)! Ведь большая часть бумаг Аверкиевой ленинградского периода совсем скоро сгинет в кабинетах сталинского МГБ. Сохранилась только выполненная ее рукой девятистраничная рукопись «Основные элементы языка Kwakiutl», опять-таки недатированная<sup>28</sup>.

На наш взгляд, рассмотрение переписки между «папой Францем» и его «Джулией» имеет двоякий смысл, поскольку не только уточняет некоторые биографические детали, а порой и ставит новые вопросы (как в случае с «грамматикой квакиутль»), но и делает более реалистичным, защищенным от ненужной героизации образ советского этнографа раннего периода.

## В стране социализма

Несмотря на то что многие американцы — фигуранты «красного десятилетия» искренне сочувствовали левым идеям, их мысли и деятельность (как и их советских коллег) власть пыталась контролировать, так что переписка, которую они вели с заокеанскими адресатами, в основном не отличалась многословием и информативностью. Однако при рассмотрении следующего сюжета будет показано, насколько даже сухие письма пригодны для анализа, позволяя пополнить наше знание о разветвленной сети взаимоотношений американских и российских антропологов той эпохи.

Нез-перс Арчи Финни был послан в Ленинград по договоренности между Боасом и Богоразом изучать советский опыт «коренизации» с возможностью по возвращении применить его в работе вашингтонского Бюро по делам индейцев (БДИ), которое тогда возглавлял социалист Джон Колльер. Финни занимался также доведением до публикации текстов, собранных еще на родине, в резервации Лапуэй, штат Айдахо, а кроме того, по собственной инициативе вызвался написать грамматику сахаптинского (нез-перс) языка. Уже во втором своем письме он предупредил Боаса, что почту просматривают (Финни — Боасу, 26 декабря 1932 года)<sup>29</sup>.

Молодой американец успел чуть ли не на последний пароход в 1937 году, но и до этого несколько раз порывался уехать домой, и впервые — спустя год и три месяца после приезда в Россию. 1 февраля 1934 года он просил о рекомендации в Йельский университет, где при департаменте расовых отношений для индейских студентов открылась специальная программа под руководством

28 Научный архив Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Ф. 16. Ед. хр. 447.

29 APS. Коллекция Франца Боаса.

профессора Чарльза Лорэма. Уроженец Наталя Лорэм, большой специалист по обучению представителей расовых меньшинств, лишь тремя годами ранее переселился из Южной Африки, чтобы преподавать в Нью-Хейвене. Финни в письме настойчиво подчеркивал, что о стипендии «случайно узнал» через БДИ, и что если ее получит, то окажется «в лучшей позиции, чтобы быть представленным Индейской службе» (Финни — Боасу, 1 февраля 1934 года)<sup>30</sup>. Боас оперативно заполнив требуемую форму, отослал ее в Йель (Боас — Финни, 23 февраля 1934 года)<sup>31</sup>. Но из затеи все равно ничего не вышло, как, к сожалению, часто бывает.

На этой истории стоит остановиться подробнее. Спустя всего лишь три дня после упомянутой просьбы Боас почему-то решил уточнить у Арчи, не написал ли тот Колльеру, что, как он уже говорил, было бы неплохо сделать (Боас — Финни, 4 февраля 1934 года)<sup>32</sup>. При этом и Колльер дважды за это время выспрашивал об Арчи у профессора. Если верить Финни, тонущему всякий раз в царстве бюрократии, то он действительно послал в Бюро документы, но нерадивые клерки их потеряли и продолжали искать еще и в августе (Боас — Финни, 2 августа 1934 года)<sup>33</sup>. Закрадывается, однако, сомнение, были ли у него в действительности такие контакты с БДИ и не находился ли источник информации где-нибудь вне этой организации. Ведь таким «советчиком» мог быть и кто-то непосредственно в Йеле, например Альфред Хадсон или его жена Элизабет Бэкон.

А. Хадсон собирался в СССР, чтобы принять участие в экспедиции под руководством академика А.Н. Самойловича по изучению тюрков. В связи с этим Э. Сэпир, который с 1931 года возглавлял департамент антропологии в Нью-Хейвене, попросил Ф. Боаса написать для Хадсона рекомендацию на получение гранта от Мемориального фонда Джона Саймона Гутгенхайма, но тот отказался, объяснив свое решение тем, что в Ленинград уже пригласили Финни (Боас — Сэпиру, 25 октября 1932 года)<sup>34</sup>; см. также: [Willard 2004: 11]. Возникший конфуз может объяснять, почему Финни неудобно было ссылаться на имя йельского антрополога. Так, еще в начале 1934-го супруги все-таки добрались (Аверкиева — Боасу, 24 марта 1934 года)<sup>35</sup> до ИААЭ, получив финансирование в своем университете. Летом того же года Хадсон и Бэкон посетили Алма-Ату и провели там непродолжительные полевые исследования, в результате которых впоследствии каждый выпустит по добротной книге. Альфред защитит диссертацию в 1937 году в своей альма-матер (Йельский университет), Элизабет — в 1951-м в Университете Калифорнии в Беркли.

Впоследствии Хадсон станет преподавать в Университете Вашингтона, а в 1939—1940 годы, во время сооружения грандиознейшей плотины Гранд-Кули, он вместе с сыном Дж. Колльера Дональдом будет вести раскопки на подступах к резервации Колвилл (штат Вашингтон), сотрудничая с группой нез-перс [Collier et al. 1942]. Хорошо известно о левой позиции Хадсона — в Йеле он вроде бы даже переделывал гимн университета на коммунистичес-

---

30 Там же.

31 Там же.

32 Там же.

33 Там же.

34 Там же.

35 Там же.

кий лад. Безусловно, его деятельность расследовалась, но точных данных у нас нет [Price 2004: 174; 372].

О тесных отношениях Хадсона с Финни свидетельствует следующий факт: после смерти последнего в его кабинете найдут копию хадсоновской диссертации. У. Уиллард ведет как будто бы отдельную линию от Элизабет Бэкон к ленинградскому milieu Арчи. В Музее Бернис Бишоп, где она прежде работала, ее коллегой была Люси Нокс, которая также какое-то время находилась в ИААЭ, но за день до приезда Хадсонов перебралась в Москву [Willard 2004: 12].

Впрочем, и Альфред должен был знать подругу своей жены, сочувствовавшей левым взглядам, поскольку в те же годы вел археологические раскопки в Гонолулу: на сайте «eBay» выставлен раритет — машинопись его неизданной «Археологии Восточных Гавайев» 1931 года. Кроме того, с 1934 года в попечительский совет Музея Бишоп входил все тот же Ч. Лорэм [McLeod, Paisley 2016], а в его личном архиве сохранились три недатированные рукописи, одна из которых принадлежит авторству Бэкон «Физические расовые различия» («Physical Race Differences»), а две других точно связаны с поездкой ее и Хадсона в СССР: «Казахи (краткое описание)» («The Kazaks (Outline)») и «Народы СССР» («Soviet Nationalities»)³⁶. Это еще больше убеждает нас, что между программой Лорэма и нашим героем стояла указанная пара.

Мы уже видели, что изучение переписки позволяет существенно уточнить, как выстраивались взаимоотношения американских и российских антропологов. Последний сюжет, письма Боаса Финни и коллизия, возникшая вокруг возможного трудоустройства последнего по возвращении в Америку, вводят в эту сеть в дополнение к другим, ранее известным фигурам, новые имена — молодых йельских антропологов, десятилетия спустя зарекомендовавших себя в качестве серьезных специалистов по СССР (в этнографии казахов), а кроме того, Сэпира — еще одного боасовского ученика.

\* \* \*

Хочется надеяться, что какие-то из рассмотренных случаев способствуют «работе над ошибками», корректируя ряд гипотез, уже высказывавшихся исследователями, другие же, возможно, уберегут нас от воспроизводства расхожих стереотипов, сопровождающих изучение «героических» периодов в истории антропологии. Однако, взятые в совокупности, эти сюжеты, безусловно самодостаточные, позволяют сделать ряд выводов, приложимых не только к изучению уникального материала, такому, как представленный здесь, но и к любой другой теме или сюжету, заинтересовавшим историка науки. Несмотря на то что речь идет о, казалось бы, хорошо и давно известных вещах, их стоит все же периодически проговаривать вновь. Как еще объяснить, почему такие профессионалы с большой буквы, как Даглас Коул или Регна Дарнелл, стоящие у истоков современной истории антропологии, способны были допустить описанные выше оплошности?

Поворот в сторону активного использования личной переписки в серьезных исследованиях по истории антропологии в США произошел достаточно

---

36 Библиотека Йельского университета. Коллекция Чарльза Лорэма (Charles Templeman Loram Papers). Box 2. Folders 57, 100; Box 7. Folder 147.

поздно, несмотря на длительное знакомство антропологического сообщества с этим материалом. В 1968 году Джордж Стокинг — младший (1928—2013) продемонстрировал, как некорректно подобранная цитата из письма может привести к ошибочным выводам. Накануне среди учеников Боаса (Р. Бенедикт, М. Херсковиц, М. Смит и др.) разгорелась дискуссия по вопросу о роли полевого опыта в становлении его как профессионала. Стокинг же, опираясь на куда более полную коллекцию писем, связанных с пребыванием «отца-основателя» на Баффиновой Земле, заключал: «...к несчастью, письмо, которое попало в руки Херсковицу, волею случая оказалось одним из наименее информативных из серии писем, написанных в течение 1882 и 1883 годов Боасом своему дяде д-ру Абрахаму Якоби» [Stocking 1968: 137]. Широкое привлечение в научные изыскания архивных документов, осуществленное этим блестящим историком антропологии, открыло дорогу обильному цитированию эпистолярного наследия самых разных авторов, которым до сих пор отличаются труды плеяды стокинговских последователей.

На наш взгляд, первый сюжет о помощи Боаса арестованному в 1905 году Богоразу в общем близок ситуации, описанной только что. В обоих случаях исследователи делали выводы, не слишком заботясь о полноте фактического материала. И отсюда первое требование — необходимо отойти от привычного использования писем только лишь как иллюстративного материала, служащего для придания большей эмоциональной выразительности, для расцветивания событий или для того чтобы, выхватив удачно подошедший фрагмент, показать читателю внутренний мир героя повествования. *Переписка должна рассматриваться непременно как комплекс, последовательность текстов, неразрывно связанная логически и сюжетно.*

Письмо, используемое в качестве этнографического источника, может быть сопоставимо с собственно полевым материалом, наличие которого с точки зрения требований профессии делает исследования антрополога легитимными. В сюжете, связанном с Сэпиром, мы обратили внимание на еще одно обстоятельство — иногда общение через послания по почте может заменять ученым более традиционные способы донесения до аудитории своих знаний, наблюдений и даже открытий. Некоторые важные взгляды и находки этого великого боасовца не нашли своего отражения в публикациях, но сохранились в письмах учителю, друзьям и соратникам. Под таким углом *переписку возможно трактовать и как специфический жанр научного творчества* наряду со статьями в реферируемом журнале, диссертацией, докладом на конференции, либо лекцией перед студентами в университете. При этом, несомненно, надо учитывать все специфические черты, сильные и слабые стороны, присущие языку и стилю предполагаемого жанра.

До сих пор мы расширяли полномочия писем как источника, теперь же самое время указать на ограничители их информативности. Ситуация, сложившаяся в СССР в «красное десятилетие», напомнила в очередной раз: не всегда стоит доверять авторам писем, как и понимать все, что ими написано, буквально. Контрапунктом звучит следующее: те самые комплексы, на которые мы так уповали выше, в условиях перлюстрации часто оказывались разрушены. Даже дошедшие из-за океана письма могли частично или полностью уничтожаться адресатом, изыматься в ходе обысков и т.д. и т.п. Поэтому единственный способ разобраться в сложном клубке отношений антропологов той или всякой близкой по своему характеру эпохи — вернуться к решению старой

лотмановской проблемы «автор — аудитория — текст», различая тексты «для всех» и «только для своих». Мы должны попытаться понять, что хотят сказать их авторы, для чего они говорят и что скрывают, оглядываясь на аудиторию, или же ни при каких обстоятельствах не забывают о необходимости тщательного изучения контекста, в котором функционирует переписка.

То, что по какой-то причине всего этого не происходит, свидетельствует лишь о незрелости области науки, которую мы представляем. Причем критика последних десятилетий в этом смысле только развязала руки некоторым современным историографам. В качестве примера можно привести мнение Венди Уикуайр, увидевшей противоречие между стремлением этих исследовательниц к «революционной» фразеологии и, в сущности, старым модернистским антропологическим бэкграундом [Wickwire 2017: 179]. Иронично о сложившейся ситуации высказался в личном сообщении Н.Б. Вахтин: «Какую идею ни возьми, обязательно найдется какой-нибудь монах в XVI веке, который уже все то же самое сказал». Практику, когда исторические цепочки устанавливаются совсем уж свободно, минуя многие важные звенья, контекст подменяется аналогией, разумность — рациональностью, а понимание — оценочным суждением, Стокинг мог бы назвать презентизмом.

## Библиография / References

- [Аверкиева 1935] — *Аверкиева Ю.П.* Рабство у племен северо-западного побережья Северной Америки // Советская этнография. 1935. № 4—5. С. 40—61.
- (*Averkieva Yu.P.* Rabstvo u plemen severo-zapadnogo poberezh'ya Severnoy Ameriki // Sovetskaya etnografiya. 1935. No. 4—5. P. 40—61.)
- [Аверкиева 1941] — *Аверкиева Ю.П.* Рабство у индейцев Северной Америки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
- (*Averkieva Yu.P.* Rabstvo u indeytssev Severnoy Ameriki. Moscow; Leningrad, 1941.)
- [Вахтин 2004] — *Вахтин Н.Б.* «Наука и жизнь»: Судьба Владимира Йохельсона (По материалам его переписки 1897—1934 гг.) // Бюллетень: антропология, меньшинства, мультикультурализм. 2004. № 5. С. 35—49.
- (*Vakhtin N.B.* "Nauka i zhizn'": Sud'ba Vladimira Iokhel'sona (Po materialam ego perepiski 1897—1934 gg.) // Bulletin: anthropology, minorities, multiculturalism. 2004. No. 5. P. 35—49.)
- [Кан 2018] — *Кан С.А.* Юлия Аверкиева и Франц Боас: взаимная симпатия и идеологические разногласия // Этнографическое обозрение. 2018. № 3. С. 70—79.
- (*Kan S.A.* Yuliya Averkieva i Franz Boas: vzaimnaya simpatiya i ideologicheskie raznoglasiya // Etnograficheskoye obozrenie. 2018. No. 3. P. 70—79.)
- [Кан 2021] — *Кан С.А.* Франц Боас и Советская Россия: 25 лет амбивалентности // Сибирские исторические исследования. 2021. № 1. С. 40—61.
- (*Kan S.A.* Franz Boas i Sovetskaya Rossiya: 25 let ambivalentnosti // Sibirskie istoricheskie issledovaniya. 2021. No. 1. P. 40—61.)
- [Кузнецов 2023] — *Кузнецов И.В.* Из истории изучения дальнего родства: шесть фил в Северной Америке // Вопросы языкового родства. 2023. № 21/3—4. С. 300—332.
- (*Kuznetsov I.V.* Iz istorii izucheniya dal'nego rodstva: shest' fil v Severnoy Amerike // Voprosy yazykovogo rodstva. 2023. No. 21/3—4. P. 300—332.)
- [Михайлова 2004] — *Михайлова Е.А.* Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнографы и антропологи XX века. М.: Наука, 2004. С. 95—134.
- (*Mikhailova E.A.* Vladimir Germanovich Bogoraz: uchenyy, pisatel', obshchestvennyy deyatel' // Vydayushchiesya otechestvennyye etnografy i antropologi XX veka. Moscow, 2004. P. 95—134.)
- [Нитобург 2003] — *Нитобург Э.Л.* Ю.П. Петрова-Аверкиева: ученый и человек //

- Репрессированные этнографы. Вып. 2 / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин. М.: Восточная литература, 2003. С. 399—428.
- [Nitoburg E.L. Yu.P. Petrova-Averkiewa: uchenyy i chelovek // Repressirovannyye etnografy. Vol. 2 / Comp. and ed. by D.D. Tumarkin. Moscow, 2003. P. 399—428.)
- [Averkiewa, Sherman 1992] — *Averkiewa J., Sherman M.* Kwakiutl String Figures / American Museum of Natural History, Anthropological Papers No. 71. Seattle: University of Washington Press; New York: American Museum of Natural History, 1992.
- [Boas 1911] — *Boas F.* Kwakiutl // Handbook of American Indian Languages: In 2 pts. Pt. 1 / Bureau of American Ethnology, Bulletin No. 40. Washington: Government Printing Office, 1911. P. 423—558.
- [Boas 1919] — *Boas F.* Scientists as Spies // The Nation. 1919. Vol. CIX. No. 2842. P. 797.
- [Cole 1999] — *Cole D.* Franz Boas. The Early Years, 1858—1906. Seattle: University of Washington Press, 1999.
- [Cole 2001] — *Cole D.* The Greatest Thing Undertaken by Any Museum? Franz Boas, Morris Jesup, and the North Pacific Expedition // Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific Expedition / Ed. by I. Krupnik, W. Fitzhugh. Washington, D.C.: Arctic Studies Center, Smithsonian Institution, 2001. P. 29—70.
- [Collier et al. 1942] — *Collier D., Hudson A., Ford A.* Archaeology of The Upper Columbia Region. No. 1. Seattle: University of Washington Press, 1942.
- [Darnell 1990] — *Darnell R.* Edward Sapir: Linguist, Anthropologist, Humanist. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1990.
- [Darnell 2021] — *Darnell R.* The History of Anthropology. A Critical Window on the Discipline in North America. Lincoln: University of Nebraska Press, 2021.
- [Eriksen, Nielsen 2001] — *Eriksen Th., Nielsen F.* A History of Anthropology. London; Sterling VA: Pluto Press, 2001.
- [Freed 2012] — *Freed S.* Anthropology Unmasked: Museums, Science, and Politics in New York City. Vol. 1. The Putnam—Boas Era. Wilmington: Orange Frazer Press, 2012.
- [Freed et al. 1988a] — *Freed S., Freed R., Williamson L.* The American Museum's Jesup North Pacific Expedition // Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska / Ed. by W. Fitzhugh, A. Crowell. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1988. P. 97—104.
- [Freed et al. 1988b] — *Freed S., Freed R., Williamson L.* Capitalist Philanthropy and Russian Revolutionaries: The Jesup North Pacific Expedition (1897—1902) // American Anthropologist. 1988. Vol. 90. P. 7—24.
- [Golla 1984] — The Sapir-Kroeber correspondence / Ed. by V. Golla. Berkeley: University of California Press, 1984.
- [Krauss 1964] — *Krauss M.* Proto-Athabaskan-Eyak and the Problem of Na-Dene I: Phonology // International Journal of American Linguistics. 1964. Vol. 30. P. 118—131.
- [Krauss 1973] — *Krauss M.* Na-Dene // Linguistics in North America / Ed. by Th. Sebeok. The Hague: Mouton, 1973. P. 903—979.
- [Krauss 2005] — *Krauss M.* Athabaskan Tone // Athabaskan Prosody / Ed. by Sh. Hargus, K. Rice. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2005. P. 51—136.
- [Krook 1989] — *Krook S.* Franz Boas (a.k.a. Boaz) and the FBI // History of Anthropology Newsletter. 1989. Vol. 16. No. 2. P. 4—11.
- [Krupnik 1998] — *Krupnik I.* Jesup Genealogy: Intellectual Partnership and Russian-American Cooperation in Arctic/North Pacific Anthropology. Pt. I. From the Jesup Expedition to the Cold War, 1897—1948 // Arctic Anthropology. 1998. Vol. 35. No. 2. P. 199—226.
- [Kuznetsov 2006] — *Julia Averkieva/Franz Boas Correspondence (1931—37) / Ed. by I. Kuznetsov // Bulletin: anthropology, minorities, multiculturalism 2006. Vol. 1. No. 1—3. P. 117—159.*
- [Lesser 1981] — *Lesser A.* Franz Boas // Totems and Teachers. Perspectives on the History of Anthropology / Ed. by S. Silverman. New York: Columbia University Press, 1981. P. 1—33.
- [McLeod, Paisley 2016] — *McLeod J., Paisley F.* The Modernization of Colonialism and the Educability of the “Native”: Transpacific Knowledge Networks and Education in the Interwar Years // History of Education Quarterly. 2016. Vol. 56. No. 3. P. 473—502.
- [Price 2004] — *Price D.* Threatening Anthropology: McCarthyism and the FBI's Surveillance of Activist Anthropologists. Durham; London: Duke University Press, 2004.
- [Rohner 1969] — The Ethnography of Franz Boas: Letters and Diaries of Franz Boas Written on the Northwest Coast From 1886 to 1931 / Ed. by R. Rohner. Chicago: University of Chicago Press, 1969.
- [Sapir 1922] — *Sapir E.* Athabaskan Tone // American Anthropologist. 1922. Vol. 24. No. 3. P. 390—391.
- [Sapir 1923] — *Sapir E.* A Type of Athabaskan Relative // International Journal of American Linguistics. 1923. Vol. 2. P. 136—142.
- [Sapir 1925] — *Sapir E.* The Similarity of Chinese and Indian Languages (Report of an interview) // Science. 1925. Vol. 62. No. 1607. P. xii—xiii.

- [Sapir 1991] — *Sapir E.* The Collected Works: In 10 vols. Vol. 6. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1991.
- [Stocking 1968] — *Stocking G.* Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. New York: Free Press, 1968.
- [Wickwire 2017] — *Wickwire W.* The Quest for the “Real” Franz Boas: A Review Essay // *BC Studies*. 2017. No. 194. P. 173—193.
- [Willard 2004] — *Willard W.* The Nez Perce Anthropologist // *Journal of Northwest Anthropology*. 2004. Vol. 38. No. 1. P. 5—20.



Сергей Алымов

## Второй марксизм:

### ИСТОРИЯ СБОРНИКА «ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ» В ПИСЬМАХ И ДОКУМЕНТАХ<sup>1</sup>

Sergei Alymov

The Second Marxism: The History of the Edited Volume  
“Problems of the History of Pre-Capitalist Societies” in Letters and Documents

**Сергей Алымов** (Институт этнологии и антропологии РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) alymovs@mail.ru.

**Sergei Alymov** (PhD; Senior Research Fellow, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences) alymovs@mail.ru.

**Ключевые слова:** марксизм, этнография, первобытное общество, шестидесятники, переписка, гуманитарная наука в СССР

**Key words:** Marxism, ethnography, primitive society, Sixtiers, correspondence, humanities in the USSR

УДК: 303.822.3

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_45

UDC: 303.822.3

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_45

В статье рассматривается история сборника «Проблемы истории докапиталистических обществ», который задумывался как серия, однако был опубликован только один выпуск. Автор показывает, как в связи с публикацией этого сборника вокруг его главного редактора Л.В. Даниловой сложилась сеть неформальных контактов и переписки, слотившая ученых разных специальностей, интересовавшихся первобытностью. Делается вывод о том, что эта группа является примером «второго марксизма» в СССР, то есть группы гуманитариев-шестидесятников, стремившихся переосмыслить марксистское понимание истории при помощи критического прочтения трудов Маркса и Энгельса, новых данных науки и ревизии сталинской версии исторического материализма.

The article examines the history of the edited volume “Problems of the History of Pre-Capitalist Societies”, which was conceived as a series, but only one issue was published. The author shows that in connection with the publication of this volume a circle around its editor-in-chief, Luidmila V. Danilova, developed a network of informal contacts and correspondence that brought together scholars of several disciplines interested in the theoretical constructions around the notion of “primitive society”. The author concludes that this group is an example of the “Second Marxism” in the USSR, i.e. a group of scholars and “people of the 60s” who sought to rethink the Marxist understanding of history through a critical reading of the works of Marx and Engels, new scientific data, and a revision of the Stalinist version of historical materialism.

В историографии устоялось представление о том, что «вторая» (неподцензурная) гуманитарная наука, не отягощенная догмами официальной идеологии, существовала в позднем СССР в виде семинаров. Наиболее известны среди них

---

Автор благодарен В.И. Гавриленко, Е.В. Говор, Е.В. Даниловой, А.В. Журавелю, Р. Марквику и Д.А. Москвиной за предоставление доступа к их личным архивам и помощь в работе над статьей.

- 1 Исследование выполнено при поддержке РФФ (проект № 22-18-00241); организация, осуществляющая финансирование, — Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН).

Московский методологический кружок Г.П. Щедровицкого и семинар Ю.А. Левады. М. Пугачева, исследовавшая «семинарское движение» 1960—1970-х годов, причисляет к данному ряду и «семинар по методологии истории М.Я. Гефтера», обозначая тем самым своеобразный континуум, включавший в себя как семинары, вполне официально проводившиеся в научных институтах, так и «домашние» собрания, категорически не вписывавшиеся в официальную науку [Пугачева 2011]. Исследователи позднесоветской социальной мысли также исходят из того, что официальный марксизм к тому времени потерял привлекательность для интеллектуалов [Дмитриев 2023].

Однако «вторая наука», о которой пойдет речь в данной статье, не вписывается в бинарную модель позднесоветского общества, справедливо раскрытую А. Юрчаком [Юрчак 2014]. Ее представители были убежденными сторонниками этого учения, работали в советской академической системе, однако составляли сообщество, с трудом находившее свое место в этой системе и испытывавшее большие сложности с публикацией и распространением своих идей. Если «первым» марксизмом в контексте советской истории можно считать его сталинскую версию, утвердившуюся в 1930-е годы, то «вторым» в данной статье называется марксизм шестидесятников, боровшихся с этой догматичной версией, опираясь на более углубленное прочтение классиков и новые данные конкретных наук.

Непосредственный участник событий востоковед Л.Б. Алаев свидетельствует о существовании в те годы двух типов ученых-гуманитариев: «творческих марксистов» и представителей «догматического направления». После перестройки и развала СССР вторые «куда-то исчезли», а первые, и прежде гонимые, продолжали защищать свои взгляды [Алаев 1995: 41]. В данной статье мы рассмотрим, каким образом «творческие марксисты» поддерживали друг друга и коммуницировали между собой — не столько на семинарах, сколько посредством переписки. Эта переписка позволяла неформальному и междисциплинарному кругу исследователей (среди них были этнографы, историки, философы и экономисты) не только поддерживать связь на протяжении десятилетий, но и искать возможности отстаивать свои взгляды в печати, а также обсуждать текущую ситуацию в области их интересов — а именно в изучении «первобытности» и раннеклассовых обществ. Обмен письмами создавал своего рода «сеть свободомыслия» (метафора, которую предложила в переписке со мной историк Е. Говор) в эпоху, когда всеобщая телефонизация и интернет еще не сделали традиционную бумажную переписку излишней. Данная сеть, в терминологии одного из теоретиков сетевого анализа М. Грановеттера, может быть названа «слабой»: ее члены, судя по всему, не были связаны тесными родственными или дружескими связями. В функциональной классификации позднесоветских социальных сетей, предложенной И. Кукулиным, она отчасти похожа на тип, выполняющий «задачи, противоречащие намерениям властей, но не их официальным декларациям» [Кукулин 2017: 152], однако мало напоминает упоминаемые им международные «сети давления» в защиту гонимых интеллектуалов или памятников архитектуры. Она выполняла скорее функцию «невидимого колледжа» — коммуникативного сообщества ученых, ощущающих себя работающими «на переднем крае науки» [Проценко 2015: 157]. Тем не менее и это понятие не является полностью адекватным для нашего случая. Американские социологи науки, введшие его в оборот, описывали сеть неформальной коммуникации между учеными, составлявшими элитную груп-

пу в своей дисциплине, во многом контролировавшую распределение ресурсов и направления исследований [De Solla Price, Beaver 1966]. Представители же «второго марксизма», использовавшие отчасти те же методы коммуникации (переписка, иногда рассылка текстов для обсуждения), делали это скорее для того, чтобы найти единомышленников в достаточно агрессивной для них среде ортодоксов официального марксизма. «Передний край науки» означал в их случае и зону повышенного риска: творческое развитие марксизма в позднесоветской академии приравнивалось к ревизионизму и подавлялось.

## Зарождение сети свободомыслия

В самом конце 1963 года в Институте истории (тогда еще не разделенном на Институт всеобщей истории и Институт истории СССР) создается сектор методологии истории под руководством специалиста по экономической истории конца XIX — начала XX века М.Я. Гефтера, впоследствии известного диссидента. Гефтер пользовался доверием академика-секретаря Отделения истории Е.М. Жукова после совместной работы над десятитомником «Всемирная история». Сектор сразу стал центром семинаров и междисциплинарных дискуссий, в которых участвовали историки, философы, этнографы и др. [Markwick 2001: 155—196]. Когда один из историков в 1967 году посетовал на то, что не видит результатов дискуссий, Гефтер парировал: «Я думаю, что такое концентрированное во времени противоречие реально существующего движения научной мысли есть в высшей степени позитивный результат, сам по себе являющийся двигателем и крупным вкладом в науку»<sup>2</sup>.

Одним из наиболее активных дискутантов была Людмила Валериановна Данилова (1923—2012), специалист по средневековой истории России, ставшая одним из крупных, хотя и не признанных до сих пор (из-за неопубликованности значительной части ее наследия) теоретиков и историографов [Алымов 2024; Журавель 2014]. В 1964—1965 годах она участвовала в симпозиуме «Учение Л.Г. Моргана о периодизации первобытного общества в свете современной этнографии» на VII Международном конгрессе этнологических и антропологических наук в Москве, дискуссии об азиатском способе производства, а также подготовке коллективного доклада «Переход России от феодализма к капитализму». В рамках сектора методологии истории она стала руководить подготовкой серии «Законы истории и конкретные формы всемирно-исторического процесса». Эта серия, как следовало из ее названия, задумывалась как попытка совместить ядро марксистского понимания истории — наличие общих закономерностей и прогрессивного развития человечества — с анализом «конкретно-исторических форм проявления этих закономерностей... реального многообразия путей и форм общественной эволюции»<sup>3</sup>. Первые два тома серии планировалось посвятить дискуссионным проблемам первобытности и раннеклассовых обществ.

2 Архив Российской академии наук (РАН). Ф. 457. Оп. 1. Д 525. Л. 154. Стенограммы Общих собраний Отделения истории АН СССР. 1967 г.

3 Личный архив Е.В. Даниловой (ЛД ЕВД). Л.В. Данилова. Аннотация на серию выпусков «Законы истории и конкретные формы всемирно-исторического процесса». Ноябрь 1967 г.

К началу 1960-х годов в ленинградском отделении Института этнографии (далее — ИЭ) формируется новое направление во главе с Н.А. Бутиновым, поставившее своей задачей изучение общины как базиса первобытнообщинного строя. Бутинов утверждал, что родовая или большесемейная община является «производственным коллективом», поскольку ее члены совместно живут, трудятся и владеют средствами производства, в то время как род, регулирующий правила родства, наследования и управления, является «социальной надстройкой»<sup>4</sup>. 7 декабря 1965 года Данилова написала письмо единомышленнику Бутинова и специалисту по этнографии Австралии В.Р. Кабо, в котором просила привлечь Бутинова и других ленинградских этнографов к планируемому симпозиуму<sup>5</sup>. Из дальнейшей переписки становится ясно, что темой предполагаемого симпозиума должна стать община. Кабо писал:

Мне нравится, например, то, как определено место общины в доклассовом обществе («община как основная единица общественной структуры при родовом строе»); я бы отметил только, что общине принадлежит это место в любом доклассовом обществе, в том числе и там, где родовая организация отсутствует<sup>6</sup>.

Симпозиум, который обсуждали Данилова и Кабо, по-видимому, не состоялся, зато 1966 год стал началом активной подготовки сборника «Проблемы истории докапиталистических обществ» (далее — ПИДО). Отдельная папка в архиве Даниловой, содержащая более ста писем корреспондентам из СССР, Франции, Чехословакии и Венгрии, свидетельствует о напряженной организаторской работе. Среди адресатов-этнографов Даниловой — авторы статей ПИДО Н.А. Бутинов, В.Р. Кабо, Ю.В. Маретин, С.А. Маретина. Среди зарубежных корреспондентов — Т. Покора, Я. Печирка, Ж. Сюре-Каналь, Ж. Шено, Ф. Тёкеи и др. (работы этих иностранных авторов так и не были опубликованы, хотя переводы были сделаны). Наряду с организационными вопросами, в этой переписке начинали звучать и другие темы — от дружеских шуток до обсуждения научной политики («...в лице Ю.В. Бромлея мы имеем единомышленника, хотя и не по всем пунктам», — писал Бутинов Даниловой 1 октября 1966 года<sup>7</sup>). В архиве отразилось и противостояние В.М. Бахты, Н.А. Бутинова и В.Р. Кабо с Ю.И. Семеновым, статья которого также печаталась в ПИДО. Помимо ряда критических выпадов в письмах Бутинова, сохранился отзыв Кабо о статье Семенова «Проблема начального этапа родового общества». Кабо отмечает обвинения Семенова в переходе на позиции «патриархальной теории»:

Ведь кто-кто, а уж Семенов-то должен видеть разницу между теорией, считающей основой первобытного общества патриархальную семью... и теорией Бутинова, Бахты и Кабо, считающих основой первобытного общества — общину. Если уж нужно название для этой теории, то это общинная теория первобытного общества<sup>8</sup>.

- 
- 4 Научный архив Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН (НА МАЭ). Ф. К1. Оп. 5. Д. 85. Л. 10—12. Заседание сектора Америки, Австралии и Океании. 15 декабря 1961 г.
  - 5 Личный архив Елены Викторовны Говор (Канберра, Австралия) (ЛА ЕВГ). Письмо Л.В. Даниловой В.Р. Кабо от 7 декабря 1965 г. Л. 1—2.
  - 6 ЛА ЕВГ. Письмо В.Р. Кабо Л.В. Даниловой от 18.12.1965. Л. 1.
  - 7 ЛА ЕВД Письмо Н.А. Бутинова Л.В. Даниловой от 1.10.1966. 1 л.
  - 8 ЛА ЕВД. В.Р. Кабо. Отзыв на статью Ю.И. Семенова «Проблема начального этапа первобытного общества». Л. 2.

## Письма во власть

Сборник ПИДО вышел в 1968 году и содержал два блока статей — один был посвящен первобытным обществам, второй — раннеклассовым и античным. Предваряющая сборник статья Даниловой «Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ» [Данилова 1968] стала, пожалуй, самой известной ее работой. Вскоре она была переведена на английский язык, ее разбору в основном посвящена первая статья Эрнеста Геллнера о советской социальной мысли «The Soviet and the Savage» (осторожно переведившейся Даниловой как «Советская наука и первобытное общество»). Прежде всего обращал внимание подход автора к марксизму как развивающейся теории, а не набору догм. Сложившуюся в СССР в 1920—1930-е годы интерпретацию марксизма в виде «пятичленки» она называла «схемой», переставшей соответствовать современному состоянию науки. Так, уже отпало положение об универсальности рабовладельческой формации. Споры о соотношении рода и общины раскололи исследователей первобытности на два противоборствующих лагеря, не решен и вопрос о роли «экономического фактора» на этой стадии. Общества, возникающие из разложения первобытнообщинного строя, также не вписываются в стандартную картину рабовладельческой и феодальной формации, а социальное неравенство возникает задолго до концентрации собственности на средства производства в руках господствующих классов. Это приводит к «постановке вопроса о существовании единой классовой докапиталистической формации, внутри которой следует различать отдельные варианты: феодальный, рабовладельческий, азиатский» [Там же: 46]. Кроме того, «возникновение социального расслоения опережает имущественную дифференциацию» [Там же: 51—52], что противоречит вульгарному экономизму пятистадийной схемы. В докапиталистических обществах производитель «органически» соединен с условиями своего труда (землей), тогда как при капитализме производитель от них отчужден. Следовательно, «господствовавшие во всех докапиталистических структурах связи были неэкономическими», как, к примеру, при кастовом строе [Там же: 59].

Эти идеи явно не вписывались в ортодоксальную версию советского истмата, и реакция на них последовала немедленно. В 1969 году историк-медиевист и министр просвещения РСФСР А.И. Данилов опубликовал в журнале «Коммунист» статью «К вопросу о методологии исторической науки». Главным объектом его нападок был структурализм М.А. Барга и А.Я. Гуревича, однако статья Даниловой в ПИДО упоминалась как «в наиболее последовательной форме» выразившая идею о том, что роль производственных экономических отношений в докапиталистических обществах не была определяющей [Данилов 1969: 74—75]. Данилова немедленно откликнулась на эти обвинения в подробном письме в редакцию «Коммуниста». Она решительно отмежевалась от структурализма и сконцентрировалась на проблеме роли экономики в докапиталистических формациях. Опираясь на многочисленные цитаты классиков, она утверждала, что «в статье ни в малейшей степени не подвергается сомнению определяющая роль производства в общественной жизни... Речь идет лишь о том, что на докапиталистических стадиях эта роль проявляется иначе, чем при капитализме»<sup>9</sup>.

---

9 ЛА ЕВД. Л.В. Данилова <Письмо в редакцию журнала Коммунист>. 19 л. 19.04.1969. Л. 12.

Этот ответ явно циркулировал среди членов «невидимого колледжа», и Данилова получала от них комментарии и советы. Бутинов считал, что письмо недостаточно напористо, в оборонительном тоне. Он заключал:

...быть марксистом это не значит говорить все не так, как у них. Это тоже своего рода зависимость от них, только наоборот, а мы против всякой зависимости от них, как прямой, так и обратной. Быть антимарксистом — это значит говорить не так, как у нас, это проще. А быть марксистом это нечто другое, гораздо сложнее<sup>10</sup>.

Письмо Даниловой экономисту С.Д. Заку свидетельствует о том, что она отнюдь не лукавила, отмежевываясь в письме в «Коммунист» от структурализма:

Хотя Данилов объявил меня самым последовательным структуралистом, я никогда к этому методу не прибегала... [Я] резко отрицательно отношусь к опусам Барга, Штаерман и Бессмертного о структурном методе. (Гуревич, как и я, попал в компанию «структуралистов» по недоразумению)<sup>11</sup>.

«Письма во власть» — жанр письма, чрезвычайно распространенный в советском обществе [Лившин, Орлов 1998]. Из переписки Даниловой очевидно, что она вряд ли надеялась на публикацию своего письма в «Коммунисте». Тем не менее она тщательно оттачивала свою аргументацию в попытке защититься от предчувствуемых последствий опубликованной в нем критики. Ответное письмо в «Коммунист» действительно не было опубликовано, и нам неизвестна какая-либо реакция на него из журнала. Однако, как мы знаем, сама Людмила Валериановна считала статью А.И. Данилова главной причиной запрета на публикацию дальнейших выпусков ПИДО (см. ниже ее интервью Р. Марквику, в котором она называет данную статью «рецензией»).

## Эрнест Геллнер и Людмила Данилова: несостоявшийся диалог?

Пока в советской академии всходили ростки «ревизионизма», мировая антропология вступала в эпоху американоцентричной глобализации. У руля этого процесса стоял основанный в 1959 году журнал «Современная антропология» («Current Anthropology»). Целью этого проекта было развитие коммуникации между антропологиями разных стран и направлений, средством — переписка и массовая рассылка препринтов, а также публикация статей, дополненных дискуссиями с участием мировых экспертов в предложенной теме [Stocking 2000]. В 1975 году в нем появилась статья, посвященная советской этнографии. Обозревая состояние этой дисциплины в статье «Советская наука и первобытное общество», британский антрополог и философ Эрнест Геллнер суммировал основной посыл статьи Даниловой как призыв к отказу от узкоэкономических объяснений динамики и сущности некапиталистических формаций: «...для понимания как до-, так и посткапиталистических обществ нужно смотреть на отношения власти. Экономические отношения не являются детерминирующим фактором и не дают ответов для их понимания» [Gellner 1975: 599]. В архиве

10 ЛА ЕВД. Письмо Н.А. Бутинова Л.В. Даниловой от 26 июня [1966 г.]. Л. 2.

11 ЛА ЕВД. Письмо Л.В. Даниловой С.Д. Заку. 9 июня 1969 г. Л. 2.

Даниловой сохранилось несколько вариантов комментария к статье британского антрополога и телеграммы, свидетельствующие о том, что он был отправлен главному редактору «Current Anthropology» Сириллу Бэлшоу. Имеется также перевод письма Бэлшоу этнографу-американисту и главному редактору «Советской этнографии» Ю.П. Аверкиевой, в котором он высказывает пожелание: «Нам, безусловно, хотелось бы иметь комментарий лично Ваш, Бромлея, Даниловой, Лео Клейна, Ольги Ахмановой и других»<sup>12</sup>. Статья вышла с комментариями (с советской стороны) О.С. Ахмановой, Ю.В. Бромлея, А.И. Першица, Ю.П. Аверкиевой и Ю.И. Семенова. В архиве Даниловой хранятся более десяти версий ее ответа на русском и английском языках, некоторые из них отмечены как «первоначальный?», «второй [вариант]», «редакция Бромлея» и «компромиссный I». Комментарий Даниловой, однако, опубликован не был. Причины этого не ясны, тем более что этот текст был посвящен разъяснению того факта, что Геллнер, бывший сторонником многофакторного объяснения истории, напрасно увидел в ее предисловии к ПИДО свидетельство того, что советские ученые приходят к аналогичному выводу. В ее статье «не высказывается ни малейшего сомнения в примате экономики, способа производства материальной жизни»<sup>13</sup>. Суть в том, что различные способы производства определяют разные типы социальных отношений. Неразрывность связи непосредственного производителя с землей вследствие неразвитости средств производства и преобладания «обмена с природой по сравнению с обменом в обществе» в докапиталистических обществах детерминируют тот факт, что господствующий класс экспроприирует саму личность производителей. Поскольку господствующий класс не участвует в производстве, то его отношения с мелкими производителями-общинниками носят «личный», внеэкономический характер. Таким образом, заключает Данилова, «постановка вопроса о доминировании неэкономических, личных связей не только не снимает вопроса о примате экономического базиса в общественной эволюции, но, напротив, ее предполагает»<sup>14</sup>.

Забегая вперед, отметим, что в 1990 году Геллнер вернулся к обсуждению статьи Даниловой в ПИДО и опубликовал статью «Теория истории: Восток и Запад» [Gellner 1990]. Он сравнивал советскую пятистадийную схему с неким базовым представлением об истории, доминирующим на Западе. Парадоксальным образом оказывалось, что западная трехстадийная схема (охотничье-собирательские, аграрные и индустриальные общества) оказывалась более «материалистической», чем советская «пятичленка», в которой изменения в материальных способах производства не так четко привязаны к формациям. Кроме того, марксизм не определился по отношению к политическому фактору, а возникновение эксплуатации и государства опять-таки не привязаны строго к способу жизнеобеспечения: «...главный упор в марксизме... делается на девальвации политики, отнесении ее к более или менее вторичной надстройке. “Исторический материализм” видит решающий механизм в производительных силах, а не в силах принуждения» [Ibid.: 148].

Есть все основания полагать, что Данилова собиралась публиковать эту статью Геллнера на русском языке: в ее архиве есть несколько экземпляров ее

12 ЛА ЕВД. Письмо С. Бэлшоу Ю.П. Аверкиевой. 1 л.

13 ЛА ЕВД. [Л.В. Данилова. Комментарий на статью Э. Геллнера «Советская наука и первобытность». Л. 5–6.

14 Там же.

перевода, а также адресованная мужу Даниловой историку В.П. Данилову записка Геллнера относительно оформления сносок в ней. Примечательно, что прямой переписки между учеными не велось (по крайней мере, пока мне не удалось ее обнаружить). Встает, однако, вопрос о том, где и как статья Геллнера «Теория истории: Восток и Запад» должна была публиковаться по-русски. Этот вопрос подводит нас к проблеме второго выпуска ПИДО, история которого оказывается несколько более запутанной, чем можно было предполагать.

## Загадка второй части «Проблем истории докапиталистических обществ»

Архив Даниловой содержит несколько вариантов содержания четырех выпусков серии, первые два из которых планировалось посвятить докапиталистическим формациям (включая азиатский способ производства). Значительный объем в нем был отведен для публикации статей иностранных авторов (французов Ж. Шено, Ш. Парена и Ж. Сюре-Каналья, чехов Т. Покоры и И. Печирки, венгра Ф. Тёкеи). Наиболее надежным источником о содержании данного тома представляется подробная рецензия на него. Выдающийся советский этнограф С.А. Токарев отметил дискуссионность и новизну многих статей и рекомендовал сборник к скорейшей публикации. Согласно этой рецензии, в том должны были войти следующие статьи: «Спорные вопросы теории первобытного общества» В.М. Бахты, два текста Ю.И. Семенова («Дискуссия об азиатском способе производства» и «Типы социальных организмов в докапиталистическую эпоху»), «К вопросу об образовании политической организации общества» И.Ф. Кузнецова, «Уклад, формация и основные этапы развития общества» Г.А. Меликишвили, «Азиатский способ производства: некоторые итоги дискуссии и возможные направления поиска» М.А. Виткина, «Характер и структура господствующего класса» М.А. Чешкова и В.А. Тюрина, а также работы С.Д. Зака, Ю.М. Кобищанова, Е.М. Штаерман, Л.П. Лашука и многих других (всего 30 статей)<sup>15</sup>.

В начале 1990-х годов в Россию приехал историк-русист из Австралии Роджер Марквик. 26 мая 1992 года он взял интервью у Людмилы Валериановны Даниловой, в котором она рассказала историю серии ПИДО таким образом:

Вот этот второй том — он был сдан в издательство в 1967 году, и он уже отредактирован был и должен был сдаваться в производство. Но после выхода отрицательной рецензии в «Коммунисте» из издательства этот выпуск сразу нам вернули. И вся работа была прекращена. А этот второй сборник — он по содержанию гораздо более интересный, чем первый. Первый выпуск — это первый приступ был. А второй выпуск был более тщательно организован и посвящен ранним классовым обществам. В основном здесь было несколько общих статей, в первом разделе — общие статьи. Второй раздел — Тер-Акопян — это сотрудник нашего института, а остальные — это все зарубежные авторы: Морис Годелье, Парен, Токёи из Венгрии, Покора из Чехословакии... Я переводила Геллнера из Англии — теоретическую часть...

15 Научный архив Института этнологии и антропологии РАН. Ф. 12 (Токарев). П. 94. С.А. Токарев. Отзыв о 2-ом сборнике «Проблемы истории докапиталистических обществ» (Сектор методологии истории Института истории АН СССР). М., 1967. 14 л.



Когда началась перестройка, спустя двадцать лет, я посоветовалась с Гефтером и через Институт всеобщей истории мы пытались этот второй выпуск издать... некоторые авторы опубликовали свои статьи. Штайерман опубликовала. Маретина опубликовала. Зак опубликовал. Но самые интересные статьи — поскольку они такие наиболее ревизионистские были, их опубликовать авторы не могли. Их не принимали ни в какие другие сборники. Слишком их концепция расходилась с общепринятой... Институт всеобщей истории поставил это в план. Авторы все просмотрели. Причем не появилось в общем материалов таких, которые заставили бы все эти тексты сильно подкорректировать. Большинство авторов даже не дорабатывало свои статьи. Или совсем немного. А теперь вот начался кризис с бумагой, планы, естественно, сокращены, нужно платить огромные суммы в издательство, чтобы книга вышла. Поэтому сейчас, наверное, этот сборник уже не пойдет<sup>16</sup>.

Людмила Валериановна также дала Марквику рукописный листок с содержанием второго выпуска ПИДО, который якобы был сдан в редакцию в 1967 году и планировался к публикации в 1968 году. Первая, теоретическая часть этого сборника, согласно данной рукописи, выглядела следующим образом: Л.В. Данилова, «Пути и формы становления классового общества и государства. Введение»; И.Г. Гавриленко, «Общеисторический процесс: принципы исследования»; Э.Н. Лооне, «Смена стадий общественного развития: переходные состояния»; Е.Т. Бородин, «Производство и воспроизводство общественной жизни на стадии разложения первичной социальности»; С.Д. Зак, «Метод типологии сельской общины в работках К. Маркса»; Л.Б. Алаев, «К проблеме сельской общины в классовом обществе»; Е.М. Штаерман, «Генезис и эволюция частной собственности»; Э. Геллнер, «Запад и Восток: сходство и различия в историческом процессе».

Многие из этих статей, как названных Людмилой Валериановной, так и нет (к примеру, Л.Б. Алаева), были к тому времени давно опубликованы. Наиболее «ревизионистскими», таким образом, можно считать так и не опубликованные статьи И.Г. Гавриленко, Е.Т. Бородина и В.П. Илюшечкина. Тем не менее свидетельство Даниловой смущает, поскольку содержит большое количество несовпадений в содержании в сравнении с той версией ПИДО-2, которую рецензировал Токарев. Особенно это заметно в теоретической части. Статья Геллнера, опубликованная в 1990 году, также явно не могла быть написана к 1967 году, поскольку отсылала к литературе 1970—1980-х годов, включая знаменитое предисловие Даниловой к ПИДО-1. Статьи Бородина, Гавриленко и Илюшечкина, сохранившиеся в архиве Даниловой, также явно написаны в 1980-е. Распутывание этой небольшой источниковедческой загадки возвращает нас к теме «сетей свободомыслия» и взаимодействию исследователей разной степени известности и находящихся на разных позициях в системе «центр — периферия» советской гуманитарной науки.

## Ревизионизм «на краях» советской академии

Как уже было показано, переписка, основанная на общих научных интересах, связывала исследователей не только разных специальностей (философов, этнографов и историков), но и обладавших разным символическим капиталом

16 Личный архив Роджера Марквика (Ньюкасл, Австралия) (ЛА РМ). Интервью Л.В. Даниловой Роджеру Марквику. 26.05.1992.

преподавателей провинциальных вузов и докторов наук из московских академических институтов. ПИДО-2, объединявший эти две категории авторов с всемирно известными авторами типа Геллнера, мог стать своего рода памятником этим «горизонтальным» научным связям.

Написание статьи «Общеисторический процесс: принципы исследования», содержащей, как следует из заглавия, наиболее общие методологические основания и стоявшей в сборнике на первом месте (после предисловия самой Даниловой), было поручено редактором Изяславу Григорьевичу Гавриленко (1924—2003), кандидату философских наук, доценту Горьковского политехнического института. В 1971 году в ЛГУ он защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук «Методологические принципы исследования первичной социальной структуры». Текст диссертации изобилует ссылками на работы Н.А. Бутинова, В.Р. Кабо, В.М. Бахты (последний также был одним из официальных оппонентов) и ПИДО-1. В диссертации обсуждались актуальные на тот момент понятия: выделенные Энгельсом два типа производства (производство средств жизни и производство самой жизни, то есть людей), а также идущее от классиков марксизма разделение на «личные» и «вещные» связи между людьми. Он также рассматривал процесс превращения «социальной» власти старейшин в первобытном обществе в политическую власть. Очевидно, что на момент защиты Гавриленко был лично знаком с Бахтой. С начала 1970-х годов он переписывался также с Кабо, армянским философом Грачем Тер-Григоряном (автором статей о труде в первобытном обществе) и самой Даниловой, в архиве которой сохранился текст его автореферата с многочисленными исправлениями.

В письме, датированном 27 октября 1986 года и адресованном одновременно Даниловой и Бахте, Гавриленко дает свою краткую интеллектуальную биографию, приведшую его к написанию статьи «Общеисторический процесс». Ключевым понятием данной статьи было «общество вообще» или «общее историческое общество», то есть «наиболее общие, простые и непосредственные связи и законы истории, противостоящие связям и законам специфических исторических образований» [Гавриленко 1982: 11]. В письме Гавриленко вспоминал: «Когда же я занялся обществом вообще. Бессознательное представление об объемности истории, наверное, создалось и на фронте, и в студенческие годы. Значительный толчок в этом представлении дало знакомство с этнографией. Особую роль сыграл ваш сборник ПИДО»<sup>17</sup>. Далее он упоминал свои опубликованные работы и неопубликованную и, по всей видимости, утерянную монографию «Общество: историзм теоретико-методологических принципов исследования», заканчивая письмо призывом к своим адресатам: «Не хотите ли ЛВ и ВМ создать со мной кооперацию? И мы бы тогда бросили перчатку официальной формационной теории!»<sup>18</sup>

«Общество вообще» по Гавриленко — это одновременно и общество первобытнообщинного строя, и «низший порог социальности», в любом обществе создающийся из «естественных», кровнородственных уз. Впоследствии исторический процесс как бы раздваивается на этнический (создающий сообщества от племени до нации и базирующийся на энгельсовском «производстве людей») и формационный (основанный на разделении труда и «производстве

17 ЛА ЕВД. Письмо И.Г. Гавриленко Л.В. Даниловой и В.М. Бахте. 27.10.1986. Л. 3.

18 Там же.

жизненных средств», доходящих до максимума при капитализме). Это «двуединое» производство должно исследоваться на всем протяжении истории, и среди исследователей, которые обратились к фундаментальному принципу «производства непосредственной жизни» Гавриленко называет Бутинова, Бахту, Данилову и др.<sup>19</sup> История движется от синкретизма личных, кровнородственных уз к развитым формам специализированных общественных отношений. Гавриленко также предлагал типологию обществ, делящихся на социальные (господство кровнородственных связей), политические (докапиталистические, аграрные) и экономические (капиталистические, индустриальные). Статья заканчивалась прямой атакой на формационную теорию, которая, по его мнению, была воплощением эпохи победы индустриального города над деревней и неприязни ко всему традиционному. Она игнорировала этнический фактор, так как «формационные образования теоретически обособлены от форм этнической общности людей». Она «пробуксовывает на докапиталистических формах», поскольку ей «не подвластно отражение тех социальных структур, сплетенных из прямых, личных связей и отношений личной зависимости». Обществу требуется новая, «этнически-формационная модель», «восходящая от единой родовой социальной основы к ее расходящимся (этническому и формационному) ветвям и их будущему схождению в новом основании единого человечества»<sup>20</sup>.

О другом авторе программной статьи в ПИДО-2, «Производство и воспроизводство общественной жизни на стадии разложения первичной социальности», докторе философских и кандидате исторических наук Евгении Тимофеевиче Бородине, известно немного. Единственная более-менее подробная страница в интернете, ему посвященная, принадлежит «Движению за возрождение отечественной науки». Она сообщает, что Бородин умер в 2016 году, и содержит ссылки на образцы его поздней публицистики, написанной в коммуно-патриотическом и антисемитском духе<sup>21</sup>. Итоговой для себя он считал статью «От родовой общины к всечеловеческой общности — Земляне» [Бородин 2015]. В архиве Даниловой сохранилась монография Бородина «Производство и воспроизводство непосредственной жизни общества (докапиталистические стадии)», депонированная в ИНИОН АН СССР в 1979 году. Судя по шапке рукописи, ее автор работал в Московском государственном заочном педагогическом институте. Дарственная надпись на ней гласит: «Людмиле Валериановне и Виктору Петровичу в знак глубокого уважения и признательности за помощь в работе над рукописью».

Статья Бородина исходила из той же концепции Энгельса о двойном производстве «предметно-вещественных элементов и самих людей со всеми их способностями» с особым вниманием к общине как целостной форме, в которой это производство происходило. В модифицированном виде мелкого семейного землевладения и домашней промышленности эта форма является основой всех докапиталистических укладов, так как «в них еще сохранена исходная целостность социального процесса развития человеческих способ-

19 ЛА ЕВД, Гавриленко И.Г. *Общеисторический процесс: принципы исследования*. Л. 23.

20 Там же. Л. 47–49.

21 *Лисовский Ю.А., Самарин А.Н., Фионова Л.К.* От феодальной вражды — к братству всех землян. Памяти Евгения Тимофеевича Бородина ([https://www.za-nauku.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=10737](https://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10737) (дата обращения: 13.04.2024)).

ностей и создания материальных благ»<sup>22</sup>. Поскольку во всех докапиталистических обществах сохраняется эта нерасчлененность, феодальная и рабовладельческая формы собственности являются одновременно собственностью на личные (работники) и вещные (земля и орудия труда) элементы, то первобытнообщинный, азиатский, рабовладельческий и феодальный порядки представляют собой модификацию одной формации. Только капитализм разрушает эту «целостность процесса общественного развития», насильственно отрывает производство материальных благ от производства человеческих сил и является своего рода исторической аномалией. Таким образом, Бородин приходил к идее существования лишь трех общественных формаций — первобытной, капиталистической и коммунистической.

Давним сторонником идеи единой докапиталистической формации был еще один творческий марксист, китаист, доктор исторических и философских наук В.П. Илюшечкин, в ПИДО-2 представленный статьей «Проблема происхождения сословий, государства, эксплуататорской собственности и общественных классов». Этого ученого сложно причислить к аутсайдерам советской академии, так как он всю жизнь работал в Институте востоковедения АН СССР. Тем не менее свои новаторские теоретические работы он был вынужден публиковать малотиражными изданиями «на правах рукописи» [Илюшечкин 1970]. Данилова и Илюшечкин были единомышленниками, неоднократно печатались в одних сборниках. Переписка между ними сводится к нескольким поздравительным открыткам, так как, будучи москвичами, они могли общаться без посредничества почты. Однако в архиве Даниловой сохранился интересный документ, написанный Илюшечкиным 22 декабря 1986 года. Это своего рода докладная записка, адресованная в Комиссию по подготовке материалов для совещания по исторической науке. Ввиду начинающейся перестройки Илюшечкин писал о необходимости коренных изменений в организации исторической науки и отказу от до сих пор не изжитого «начетничества» и влияния сталинских догм:

Используемый в нашей науке логический аппарат требует существенных уточнений. Целый ряд таких важных понятий, как ступени (системы) производительных сил, исторические типы производственных отношений, рабовладельческий строй, феодализм, крестьянство, общественные классы, сословия и др. подчас употребляются совершенно неадекватно, что отрицательно отражается на исторических исследованиях и их выводах... Примитивность и противоречивость представлений о сословно-классовых обществах ведет к тому, что многие молодые историки пытаются преодолеть эти недостатки, выходя за пределы марксистской науки, обращаясь к буржуазным историко-социологическим теориям<sup>23</sup>.

Указывая далее на отсутствие реальных дискуссий, отсутствие контакта с философией, политэкономией и другими теоретическими дисциплинами, автор предлагал создавать в институтах подразделения, подобные гефтеровскому сектору методологии Института истории: «Такое подразделение в свое время существовало в Институте истории АН СССР, но почему-то было упразднено

22 ЛА ЕВД. Е.Т. Бородин. Производство и воспроизводство общественной жизни на стадии разложения первичной социальности. Л. 27.

23 ЛА ЕВД. В.П. Илюшечкин. В Комиссию по подготовке материалов для совещания по исторической науке. Л. 5.

при разделении этого института на Институт всемирной истории и Институт истории СССР»<sup>24</sup>.

Статья Илюшечкина для ПИДО-2 была посвящена возникновению государства и носила более конкретный (по сравнению с проанализированными выше) характер. На обширном историческом материале автор доказывал, что

при переходе от общинно-родового к сословно-классовому обществу государство совсем не обязательно возникает лишь вслед за появлением частной собственности и раскола общества на антагонистические классы, но в целом ряде случаев складывается еще в условиях господства общинной собственности на тогдашнее основное средство производства — обрабатываемую землю, т.е. до появления частной, тем более эксплуататорской собственности на нее, а следовательно, еще до возникновения последней и связанных с нею систем частнособственнической эксплуатации и антагонистических классов<sup>25</sup>.

Таким образом, ранняя государственность представляла собой не «машину угнетения одного класса другим», а закономерный механизм, возникавший при переходе от общинно-родовой к территориальной системе управления обществом на фоне возникновения пашенного земледелия и скотоводства. Исторически первичной формой эксплуатации, считал Илюшечкин, была не частнособственническая или рабовладельческая, а патриархальная и налоговая. Стратификация общества осуществлялась не на классовом, а на сословном принципе. Все эти положения входили в противоречие с вульгаризированной формой марксизма, господствовавшей в советской историографии.

## Заключение

Статья Илюшечкина для ПИДО-2 является хорошим примером интеллектуальной стратегии представителей «второго марксизма». С одной стороны, историк указывал на ограниченность работ классиков горизонтом исторических знаний их эпохи. Более того, он констатировал, что их выводы, основанные на ограниченном знании истории, приводили к неправильным прогнозам — к примеру, об «отмирании» государства вслед за исчезновением частной собственности и классов. С другой стороны, работы Илюшечкина, равно как Даниловой и многих других авторов поколения шестидесятников, основывались на более углубленном анализе всего корпуса работ Маркса и Энгельса, включая принципиально важные для истории докапиталистических обществ «Экономические рукописи 1857—1859 годов» Маркса, изданные в СССР только в 1939—1941 годах. Принцип творческого развития марксизма требовал критического подхода к наследию классиков: к примеру, Бородин насчитывал у них не менее восьми подходов к периодизации исторического процесса и утверждал: «...мы не можем игнорировать факт неоднозначного подхода основоположников исторического материализма к периодизации общественного развития»<sup>26</sup>.

24 Там же.

25 ЛА ЕВД. В.П. Илюшечкин. Проблема происхождения сословий, государства, эксплуататорской собственности и общественных классов. Л. 10—12.

26 ЛА ЕВД. Е.Т. Бородин. Производство и воспроизводство общественной жизни на стадии разложения первичной социальности. Л. 13.

В ходе такого рода пересмотра формационной схемы представители второго марксизма действительно порой приходили к ревизии, сближавшей их с «буржуазными» авторами. Как мы видели, они склонны были к менее дробной «трехчленной» периодизации всемирной истории, господствовавшей, как указывал Геллнер, на Западе. Впрочем, если у Геллнера эта трехчленная типология сводилась к формуле охотничье-собираательское — аграрное — индустриальное общества, то советские авторы искали более сложные критерии смены эпох, основанные на социальных отношениях и структуре общества.

Представители «второго марксизма» оказались в ситуации, в которой они, как разъяснила Р. Марквику Данилова, «пострадали дважды»:

Со второй половины 1960-х годов, в 1970-е и в начале 1980-х годов нас постоянно критиковали, ставили палки в колеса, не печатали, зажимали нас всячески и во всех грехах обвиняли как отступников от марксизма-ленинизма. А теперь мы страдаем, поскольку не отказались от своих взглядов, не отказались от марксизма, теперь мы уже страдаем как консерваторы. И главное то, что на нас нападают те, кто раньше бил нас за ревизионизм<sup>27</sup>.

После расформирования сектора методологии истории Института истории АН СССР представители «второго марксизма» лишились официальной площадки для проведения семинаров и организации публикаций. В отличие от Ю.А. Левады или «методологов» Г.П. Щедровицкого, Данилова не создала регулярного неофициального семинара. Сеть свободомыслия образовывалось вокруг нее достаточно стихийно и во многом благодаря переписке, которая оказалась важной частью инфраструктуры этого свободомыслия. В нее входили как единомышленники из московских академических институтов, так и малоизвестные интеллектуалы из провинции, тянувшиеся к теоретической работе и пересмотру сталинских догм. Бросается в глаза и их общий интерес к теме общины, возможно, служившей им, как и многим поколениям российских интеллектуалов, своеобразным политическим идеалом. На протяжении двух десятилетий эти ученые поддерживали переписку, в которой обсуждали как теоретические проблемы, так и новости академической жизни. Они также не оставляли надежд на возобновление проекта ПИДО-2, неудача которого объясняется исключительно внешними причинами. Так или иначе, «второй марксизм» оставил богатое наследие, публикация и осмысление которого только начинаются.

## Библиография / References

[Алаев 1995] — *Алаев Л.Б.* Материалистическое понимание истории в обороне // Восток. 1995. № 2. С. 41—49.  
(*Alaev L.B.* Materialisticheskoe ponimanie istorii v oborone // Vostok. 1995. No. 2. P. 41—49.)

[Алымов 2024] — *Алымов С.С.* Как Москва не стала мировым центром марксистской антропологии: историк Л.В. Данилова, теоретические дискуссии 1960-х годов и международные контакты советских

---

27 ЛА РМ. Интервью Л.В. Даниловой Роджеру Марквику. 26.05.1992.

- ученых // Этнографическое обозрение. 2024. № 2. (В печати.)
- (Alymov S.S. Kak Moskva ne stala mirovym tsentrom marksistskoy antropologii: istorik L.V. Danilova, teoreticheskie diskussii 1960-kh godov i mezhdunarodnye kontakty sovetskikh uchenykh // Etnograficheskoe obozrenie. 2024. No. 2. (In print.))
- [Бородин 2015] — *Бородин Е.Т.* От родовой общины к всечеловеческой общности — Земляне // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 12. С. 5—26.
- (Borodin E.T. Ot rodovoy obshchiny k vsechelovecheskoy obshchnosti — Zemlyane // Sotsial'no-gumanitarnye znaniya. 2015. No. 12. P. 5—26.)
- [Гавриленко 1982] — *Гавриленко И.Г.* Соотношение общеисторического и формационного процессов: логико-теоретические средства исследования // Вопросы общественных наук. Вып. 50. Методологические проблемы общественных, естественных и технических наук в свете решений XXVI съезда КПСС. Киев: Вища школа, 1982. С. 11—17.
- (Gavrilenko I.G. Sootnoshenie obshcheistoricheskogo i formatsionnogo protsessov: logiko-teoreticheskie sredstva issledovaniya // Voprosy obshchestvennykh nauk. Vol. 50. Metodologicheskie problemy obshchestvennykh, estestvennykh i tekhnicheskikh nauk v svete resheniy XXVI s'ezda KPSS. Kiev, 1982. P. 11—17.)
- [Данилов 1969] — *Данилов А.И.* К вопросу о методологии исторической науки // Коммунист. 1969. № 5. С. 68—81.
- (Danilov A.I. K voprosu o metodologii istoricheskoy nauki // Kommunist. 1969. No. 5. P. 68—81.)
- [Данилова 1968] — *Данилова Л.В.* Дискуссионные проблемы теории докапиталистических формаций // Проблемы истории докапиталистических формаций / Под ред. Л.В. Даниловой. Вып. 1. М.: Наука, 1968. С. 27—66.
- (Danilova L.V. Diskussionnye problemy teorii dokapitalisticheskikh formatsiy // Problemy istorii dokapitalisticheskikh formatsiy / Ed. by L.V. Danilova. Iss. 1. Moscow, 1968. P. 27—66.)
- [Дмитриев 2023] — *Дмитриев А.* Крот истории в спячке: о закате марксистской теории истории в постсталинском СССР // Неприкосновенный запас. 2023. № 2 (148). С. 28—42.
- (Dmitriev A. Krot istorii v spyachke: o zakate marksistskoy teorii istorii v poslestalinskom SSSR // Neprikosnovenny zapas. 2023. No. 2 (148). P. 28—42.)
- [Журавель 2014] — *Журавель А.В.* По линии наибольшего сопротивления (памяти Л.В. Даниловой) // Российская история. 2014. № 2. С. 90—103.
- (Zhuravel' A.V. Po linii naibol'shego soprotivleniya (pamyati L.V. Danilovoy) // Rossiyskaya istoriya. 2014. No. 2. P. 90—103.)
- [Илюшечкин 1970] — *Илюшечкин В.П.* Система внеэкономического принуждения и проблема второй основной стадии общественной эволюции. М.: [Б.и.], 1970. (На правах рукописи.)
- (Ilyushechkin V.P. Sistema vneekonomicheskogo prinuzhdeniya i problema vtoroy osnovnoy stadii obshchestvennoy evolyutsii. Moscow, 1970. (Manuscript.))
- [Кукулин 2017] — *Кукулин И.* Продисциплинарные и антидисциплинарные сети в позднесоветском обществе // Социологическое обозрение. 2017. № 3. Т. 16. С. 136—173.
- (Kukulin I. Prodistiplinarnye i antidistiplinarnye seti v pozdnesovetskom obshchestve // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2017. No. 3. Vol. 16. P. 136—173.)
- [Лившин, Орлов 1998] — Письма во власть. 1917—1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / Сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 1998.
- (Pis'ma vo vlast'. 1917—1927. Zayavleniya, zhaloby, donosy, pis'ma v gosudarstvennye struktury i bol'shevistskim vozhdyam / Sost. A.Ya. Livshin, I.B. Orlov. Moscow, 1998.)
- [Проценко 2015] — *Проценко Л.Г.* Стратегии исследования неформальных научных сообществ: «невидимые колледжи» vs научные школы // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2015. № 3 (141). С. 153—162.
- (Protsenko L.G. Strategii issledovaniya neformal'nykh nauchnykh soobshchestv: "nevidimye kolledzhi" vs nauchnye shkoly // Izvestia Ural Federal University Journal. Series 1. Issues in Education, Science and Culture. 2015. No. 3 (141). P. 153—162.)
- [Пугачева 2011] — *Пугачева М.* Вторая наука или «игра в бисер». Семинарское движение в социологии 1960—1970-х годов // Новое литературное обозрение. 2011. № 111. С. 67—75.
- (Pugacheva M. Vtoraya nauka ili "igra v biser". Seminarskoe dvizhenie v sotsiologii 1960—1970-kh godov // Novoe literaturnoe obozrenie. 2011. No. 111. P. 67—75.)
- [Юрчак 2014] — *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

- (Yurchak A. Eto bylo navsegda, poka ne konchilos'. Poslednee sovetskoe pokolenie. Moscow, 2014.)
- [De Solla Price, Beaver 1966] — *De Solla Price D.J., Beaver D.* Collaboration in an invisible college // *American Psychologist*. 1966. Vol. 21 (11). P. 1011—1018.
- [Gellner 1975] — *Gellner E.* The Soviet and the Savage // *Current Anthropology*. 1975. Vol. 16. No. 4. P. 595—617.
- [Gellner 1990] — *Gellner E.* The theory of history: East and West // *Cahiers du Monde Russe*. 1990. Vol. 31. No. 2—3. P. 141—151.
- [Markwick 2001] — *Markwick R.D.* Rewriting History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography, 1956—1974. Houndmills, N.Y.: Palgrave, 2001.
- [Stocking 2000] — *Stocking G.W. Jr.* “Do good, young man”: Sol Tax and the world mission of liberal democratic anthropology // Excluded ancestors, inventible traditions: Essays toward a more inclusive history of anthropology / Ed. by R. Handler. Madison: The University of Wisconsin Press, 2000. P. 171—265.



# Литературный канон и женское письмо

Хильде Хогенбом

## Переопределяя смысл жизни:

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
И ЖЕНЩИНЫ - ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Hilde Hoogenboom

Rethinking the Meaning of Life: Nineteenth-Century Russian Literary History and Women Writers

**Хильде Хогенбом** (Государственный университет Аризоны, доцент; PhD)  
hilde.hoogenboom@asu.edu.

**Hilde Hoogenboom** (PhD; Associate Professor, Arizona State University) hilde.hoogenboom@asu.edu.

**Ключевые слова:** история русской литературы, романы XIX века, сентиментальный реализм, долг, женщины-писательницы

**Key words:** Russian literary history, 19<sup>th</sup> century novels, sentimental Realism, duty, women writers

УДК: 821.161.1  
DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_61

UDC: 821.161.1  
DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_61

Хотя феминистская история России существует уже давно, историкам русской литературы, в отличие от их европейских и американских коллег, с намного меньшим успехом удается восстанавливать репутации сочинительниц русских романов XIX века. Русский канон, построенный вокруг фигур Достоевского и Толстого, до сих пор приносит огромное удовлетворение ученым и читателям, однако теперь наступило время его пересмотреть и расширить. В этой статье предлагаются принципиально новые способы рассмотреть литературу в России, показывая, что она парадоксальным образом была по преимуществу иностранной.

While there has long been a good deal of feminist Russian history, feminist literary historians have had much less success recovering the reputations of nineteenth-century women novelists in Russia, when compared with the results of European and American feminist literary historians. The Russian canon of Dostoevsky and Tolstoy has been extremely satisfying, but today it is under a good deal of pressure to expand. This article proposes fundamental ways to change that traditional literary history by examining literature in Russia, which was overwhelmingly foreign, in a European context.

Нелегко переосмыслить место XIX века в русской литературе, — еще сложнее поставить под сомнение историографический нарратив, который уже два столетия воспринимается как удовлетворительный. Люди по всему миру чувствуют потребность читать русские романы. Они редко осознают ее причины, но

часто связывают их со «смыслом жизни». Литературный канон остается неотъемлемой частью русской имперской национальной идентичности, как культурной, так и политической. В первые десятилетия XX века облик русской литературы был буквально высечен в камне благодаря памятникам Пушкину, Гоголю, а позже Толстому и Достоевскому, и названным их именами улицам, который находились по всей Российской империи, а позже Советскому Союзу, особенно недалеко от границ [Reitblat 2021: 58–60, 62]. Большевики использовали классику, чтобы создать новое революционное наследие, превратив имена некоторых писателей в институты, которые продержались дольше Советского Союза. Сегодня украинцы сносят эти памятники и переименовывают улицы, названные в честь русских писателей.

В настоящее время, когда русская культура подвергается деколонизации, фундаментальным культурным вызовом остается такое переосмысление истории литературы XIX века, которое позволило бы включить в эту историю женщин-писательниц. При этом феминистские историки, начиная с Елены Лихачевой, работавшей в XIX веке, давно публикуют важные исследования гендерных вопросов в русской истории [Лихачева 1899–1901; Zirin et al. 2007–2015]. То немногое, что было сделано в области феминистских исследований о русских женщинах-писательницах XIX века, едва ли повлияло на современную ситуацию, хотя новое поколение ученых сейчас занимается этой темой. «Что в них хорошего?» — этот вопрос все еще звучит даже среди феминистки настроенных исследовательниц [Heldt 1992: 3, 5, 62; Kelly 1994: 69–78]. В Европе феминистские ученые успешно восстановили репутации Джейн Остин, сестер Бронте, Джордж Элиот и Жорж Санд. В своей классической истории американской женской литературы XIX века Джейн Томпкинс раскрывает процессы, которые постепенно заменили Харриет Бичер Стоу и других писательниц Готорном и Мелвиллом. Она точно называет свою главу о стирании женщин из канона «“Что в этом хорошего?”: Институционализация литературной ценности» [Tompkins 1985: 186]. Мы понимаем, что каноны преобразуются со временем, по мере изменения вкусов и преподавания литературы как в России, так и в Европе [Dejean 1988: 36; Reitblat 2021].

Двадцать пять лет назад Ирина Савкина изящно сформулировала проблему русских феминистских литературных исследователей: «...вопрос о том, как писать такую историю, не дублируя канон и не создавая “миниканон” или “антиканон”, остается еще открытым» [Савкина 1997: 368]. Недавние исследования о Марко Вовчок, Авдотье Панаевой и сестрах Хвоцинских показывают новые подходы, которые делают канон нерелевантным [Федотов, Успенский 2023; Hoogenboom, Bergman, 2026; Mauny 2022]. Оказывается, что наше внимание к канону заслонило увлекательные и глубокие аспекты русской литературы. В моей готовящейся к печати книге «Благородные чувства и успех русских романов: одна европейская литературная история» [Hoogenboom 2025] я намереваюсь фундаментально изменить наше представление о русской литературе XIX века: представить живую и полную картину истории, включив в нее женщин-писательниц, как русских, так и европейских, и увидеть в новом свете писателей, которых мы считали хорошо известными. Переосмысление истории литературы в России — где, по крайней мере, до 1850 года собственно русская литература играла удивительно незначительную роль, — и более основательная история сентиментализма меняют наше понимание истории книги и социологии чтения и в целом истории эмоций, либерализма и других идей, которые

тесно связаны с интеллектуальной традицией XVIII века. Это эссе позволит познакомиться с некоторыми из моих находок.

Я начала с вопроса, существовали ли влиятельные, выдающиеся женщины-романистки. Что произошло с Евгенией Тур и Надеждой Хвоцинской — двумя романистками, которые больше всего интересовали Достоевского, только что вышедшего из тюрьмы — когда воздвигался русский литературный пантеон?<sup>1</sup> Хвоцинская (1821—1889) — важнейшая писательница XIX века, о которой мы никогда не слышали. В 1870-е годы Хвоцинская была одним из самых высокооплачиваемых авторов толстых журналов, где в основном и публиковалась серьезная литература [Рейтблат 2009: 88; Gheith 2004: 74]. Спрос на ее произведения был таков, что она отказывалась от приглашений Достоевского и Тур (среди других) сотрудничать в их журналах<sup>2</sup>. Старшая из сестер, известных как «русские Бронте», Хвоцинская была либералкой и пацифисткой, она за почти пятьдесят лет своей литературной карьеры написала более десятка романов и два десятка повестей. В 1876 году Иван Крамской написал ее портрет для серии изображений крупных писателей и художников, заказанных Павлом Третьяковым для его музея в Москве<sup>3</sup>. В 1883 году коллеги отметили ее 34-летнюю карьеру и 731 культурный деятель подписал поздравительное обращение. Два полных собрания ее сочинений были опубликованы посмертно<sup>4</sup>, а французский перевод ее повести «Риднева» продавался еще в 1916 году в серии «Littérature russe» издательства «Plon Nourrit». В свое время Хвоцинская была любимицей читателей и критиков. Но к тому времени, когда Д.С. Мирский опубликовал свою классическую «Историю русской литературы» на английском языке (1926), от Хвоцинской не осталось и следа.

Я открыла новый подход к литературным рынкам в двух важных феминистских проектах. Первый — голландская база данных «WomenWriters», которая отслеживает рецепцию женщин-писательниц и переводчиц по всей Европе до 1900 года. Второй — удостоившаяся премии Алдо и Дейн Скальоне за французские и франкофонные исследования Международной языковой ассоциации книга Маргарет Коэн «Сентиментальное воспитание романа», где доказано, что французский рынок написанных женщинами сентиментальных романов о долге был обширен и существовал более столетия. Эти проекты познакомили меня с работой Франко Моретти, посвященной количественному исследованию книжного рынка в Европе, и раскрыли для меня международное значение Жорж Санд. Я осознала, что никто ранее не использовал европейские данные для анализа российского рынка. Эти европейские данные показывают совершенно другую картину литературы в России по сравнению с той, что досталась нам от предшественников [Cohen 1999; Dijk, Wiedemann 2003; Moretti 1999; Dijk 2021].

- 
- 1 *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1985. С. 274. Письмо М.М. Достоевскому от 30 января — 22 февраля 1854 года.
  - 2 Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук. № 12092. Л. 3 — 3 об. Письмо Я.П. Полонскому от 22 сентября 1861 года.
  - 3 Живопись второй половины XIX века = Painting of the second half of the 19<sup>th</sup> century: каталог / Авт.-сост. Я.В. Брук; авт. вступ. ст. Л.И. Иовлева; отв. ред. Л.И. Иовлева. М.: Красная площадь, 2001. С. 300.
  - 4 *Хвоцинская Н.Д.* Собр. соч. В. Крестовского (псевдоним): В 5 т. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1892; *Ее же.* Полн. собр. соч. В. Крестовского (псевдоним): В 6 т. СПб.: Тип. А.А. Каспари, 1912—1913.

Я обнаружила, что истории русской литературы XIX века полны стереотипов. Женщины-писательницы были сентиментальными. Сентиментализм был второсортным. Русская литература была реалистической, а реализм был литературой первого сорта. Великих писателей было очень немного. Их произведения уникально русские. В историях российского книжного рынка я нашла другие стереотипы. Россия была литературным и интеллектуальным захолустьем. Читателей и писателей было немного. Читатели были просвещенными и читали только классические произведения на французском, английском и немецком.

Усомнившись в этих стереотипах, я обратилась к данным. Я познакомилась с разделом Z — библиография, библиотековедение, информационные ресурсы — библиотеки Университета Колумбии. Каталоги содержат полный жизненный цикл произведений в их многочисленных изданиях и переводах. Данные из различных библиотечных каталогов раскрывают скрытую историю переводов и поразительное единство европейских и российского литературных рынков. В России обнаружилось множество женщин-романисток — в переводах.

Данные российского и европейских литературных рынков подрывают саму предпосылку национальных литературных историй. Историки литературы обычно фокусируются на своих собственных нациях и языках, игнорируя переводы и переиздания произведений, исключая из своих исследований то, что на самом деле читали и писали все. Софи Коттен умерла в 1807 году, но ее пять сентиментальных романов были самыми публикуемыми и переводимыми романами в Европе до 1850-х годов, то есть дольше, чем продлился успех произведений Вальтера Скотта, пошедший на спад после его смерти в 1832 году. Даже в Англии и Франции, где производилось много романов, переводы составляли 20% рынка, благодаря чему немцы Август Коцебу и Август Лафонтен были в числе пяти самых успешных и широко читаемых авторов, наряду с мадам Жанлис. На другом полюсе была Россия, где до 1850-х годов переводы составляли 90% рынка романов. Историки игнорируют переводы и переиздания бестселлеров, особенно сентиментальной классики, и забывают впечатляющие международные карьеры популярных авторов, особенно женщин. Когда они создают каноны и пренебрегают популярной литературой и женщинами-писательницами, литературные историки упускают масштабный панъевропейский диалог, который разворачивался на протяжении более чем двух веков.

В России уже давно жалуются на свою географическую изоляцию и отсутствие культуры, но данные показывают, что страна была в центре интеллектуальной жизни Европы XIX века. Санкт-Петербург и Москва вместе формировали один из крупнейших литературных рынков в Европе после Лондона и Парижа. Франко Моретти подчеркивает, почему размер имеет значение: «...меньший рынок... ведет себя не так же, как большой, только в другом масштабе: он ведет себя *иначе*. Вместо того чтобы импортировать треть или десятую часть каждой доступной формы, он выбирает очень мало из них и “вычеркивает” остальные» [Moretti 1999: 177]. В этих двух культурных столицах критическая масса многоязычных читателей могла выбирать из разнообразной европейской литературы на оригинальных языках и в переводах. Российский рынок был переполнен европейской литературой, но это оказалось значительным литературным преимуществом. Писатели и их читатели были чрезвычайно хорошо начитаны, несмотря на опасения, что они находятся слишком далеко от Европы, чтобы оставаться на одном с ней уровне [Meyer 2008: 11, 15–16].

Имея перед глазами европейскую литературную империю, российские писатели читали то же, что и все остальные, — Коцебу, Жанлис, Лафонтена, Коттен и Санд. Эти бестселлеры сентиментальных авторов были ключевыми узлами в интенсивных, продолжительных диалогах, шедших по всей Европе.

Вопреки истории литературы, именно сентиментализм, а не реализм был клеем, который держал вместе международный литературный рынок более столетия<sup>5</sup>. Поскольку при создании литературных хронологий историки учитывают только первые издания канонических произведений, они ошибочно отменяют предыдущее движение, когда появляется новое. Они говорят нам, что на смену классицизму стремительно пришли сентиментализм и романтизм, а затем и реализм, который царил в XIX веке. Мое внимание к переизданиям и переводам обширного спектра литературы, а не только нескольких произведений, позволяет увидеть, что эти течения перекрывали друг друга и вступали в гибридные отношения с сентиментализмом. Писатели ввели моральную драму, лежавшую в основании сентиментализма, в исторические, готические и другие жанры. Все были сентименталистами или сентиментальными реалистами.

Сентиментализм царил более столетия, с 1750 по 1850 год, потому что он вовлекал читателей в драматическую битву между моральной добродетелью и страстью. Маргарет Коэн утверждает, что сентиментальные романы были посвящены сдерживанию эмоций во имя долга перед другими — ради общего блага [Cohen 1999]. Сентиментализм также создал представления о новом, очень спорном долге — долге перед собственным счастьем. Шотландский писатель Генри Маккензи иронично окрестил это «войной долгов», потому что персонажи погружались в переживания, страдая от конфликтующих долгов перед собой и своими возлюбленными, супругами, родителями, правителем и Богом. Литературные герои и читатели вели возвышенные беседы о морали, обсуждая, насколько хорошо персонажи справляются со своими конфликтующими обязанностями. Писатели проявляли свою оригинальность, представляя новые вариации этих обязанностей. Например, в «Мертвых душах» Чичиков читает «Герцогиню де Ла Вальер» (1804) госпожи Жанлис, жгучую критику разврата при дворе Людовика XIV, посвященную Луизе де Лавальер, чьи конфликтующие обязанности связаны с одним человеком: король — ее возлюбленный, отец ее детей и ее король.

Русские переводчики и писатели испытывали заметные затруднения, пытаясь подобрать понятия и слова для «войны долгов». Они привыкли вольно обращаться с текстами, чтобы сделать их приемлемыми и понятными для читателей. Изначально они переводили все ссылки на долг, используя русские слова, чтобы обозначить долг по службе («должность») или долг перед Богом («долг»). Например, переводчики бестселлера Сэмюэля Ричардсона в конце XVIII века описывают основной долг служанки Памелы (ее долг по отношению к добродетели) как «должность».

Когда русские адаптировали европейскую «войну долгов» к своей культуре благородной службы, они разработали более тонкий язык долга. К началу XIX века писатели начали различать четыре его типа: служебный долг (должность), долг (который теперь в основном был не религиозным), моральная обязанность и юридическое обязательство. Каждый русский писатель, которым я

5 По мнению Бенедикта Андерсона, международные сообщества возникли благодаря публикациям реалистических романов Бальзака и других [Anderson 2006: 24].

занимаюсь, последовательно использовал эти термины. Они явно предпочитали либо долг, либо обязанность, оставив ранее преобладающую должность на заднем плане. Пользуясь этим новым моральным словарем, писатели и читатели включились в европейский разговор о человеческой природе и воспитании добродетели и в конечном итоге поставили его под вопрос.

Отличаясь определенным оппортунизмом, сентиментализм позволил писателям и бросать вызов общественному строю, и защищать его. Он был одновременно революционным и консервативным течением. Дворяне могли влюбляться в людей низкого происхождения, прежде чем найти себе супруга из подобающего круга и тем самым восстановить общественный и политический порядок. Слуги и крепостные тоже могли полюбить неподобающего человека. «И крестьянки любить умеют»<sup>6</sup>, — уверял Карамзин читателей «Бедной Лизы». И все же эти крестьянки, как и сама бедная Лиза, приносили свою любовь в жертву правилам общества. Сентиментальные романисты блестяще овладели такой политической и культурной двусмысленностью в отношении общественной иерархии и норм.

Именно этот сентиментализм увлекал великих мыслителей и писателей от французских *философов* до Джона Локка, Адама Смита, госпожи Жанлис, Джейн Остин и Харриет Бичер Стоу. Они обсуждали, как лучше укротить жестокие страсти человеческой природы с помощью нравственного воспитания ради общественного блага. В XVIII веке моральные трактаты по образованию Локка, Смита и Руссо были более влиятельными, чем политические и экономические трактаты, благодаря которым их знают сегодня. В XIX веке такие разные писатели, как Вальтер Скотт, Анна Радклиф, Оноре де Бальзак, Жорж Санд и Энтони Троллоп, использовали нравственные схватки сентиментализма с реализмом в своих исторических, готических, романтических, идеалистических и викторианских романах. Д.С. Мирский и Михаил Бахтин называли эту гибридную эстетику «сентиментальным реализмом»<sup>7</sup>.

Сентиментализм долго высмеивали и не понимали. Это недоразумение удивительно актуально до сих пор, потому что дебаты XVIII века о человеческой природе лежат в основе двух новых областей знания: неолиберализма и истории эмоций. Неолибералы опираются на подход Локка к праву собственности в его трактатах о правлении и на «Богатство народов» Адама Смита. Выбирая из прошлого подходящие для себя фрагменты, они характеризуют Локка как крайнего индивидуалиста, игнорируя его основополагающую веру в обязанности индивида способствовать общему благу, которая станет визитной карточкой сентиментализма. Такое же несоответствие возникает относительно труда Смита. Это называется «проблемой Адама Смита» и остается плодотворным вопросом — как можно согласовать работы, которые он дорабатывал и переиздавал до своей смерти, «Теорию нравственных чувств» (1759) и его поздний экономический трактат (1776) [Fleischacker 2019; Otteson 2002; Sen 2009]. Хелена Розенблатт утверждает, что настоящая история либерализ-

6 Карамзин Н.М. Избр. соч.: В 2 т. Т. 1 / Подгот. текста и примеч. П.Н. Беркова. М.; Л.: Художественная литература, 1964. С. 607.

7 Благодарю свою коллегу Кристин Холбо, обратившую мое внимание на этот термин, который используется и ею самой, и Греггом Кэмфильдом в его работе об американских романах XIX века [Бахтин 1979: 345; 1997: 304–305; Mirsky 1999: 178–179; Holbo 2019: 28].

ма восходит к характерному для XVIII века представлению о нравственном или чувствительном воспитании в человеческом сознании долга перед обществом и общим благом [Rosenblatt 2018].

В своем классическом исследовании истории эмоций Уильям Редди схожим образом игнорирует установку сентиментализма на защиту общего блага. Он сосредотачивается на чувствах, а не на необходимости их сдерживать. Редди утверждает, что сентиментализм наделил бедных тонкой чувствительностью, чтобы представить их как полноправных людей. Даже крестьянки и служанки — «самые простые, мало образованные, скромные Памелы» [Reddy 2001: 166; 2009: 330] — могли выражать свою добрую природу. Но у Сэмюэля Ричардсона служанка Памела не просто утверждает добродетель. В конце романа она критикует трактат Локка «Мысли о воспитании». Скромные Памелы показывают, что низшие классы могут сдерживать свои страсти и формулировать свое чувство долга перед другими и перед Богом. Идея о том, что слуги — а не только собственники — способны управлять собой цивилизованным образом, была действительно радикальной. Читатели просили Ричардсона сделать ее критику более правдоподобной, улучшив в речи Памелы особенности языка рабочего класса. Тем не менее роман заканчивается консервативной нотой, одновременно поддерживая статус-кво и не вполне следуя ему. Памела преображает своего развратного нанимателя, аристократа мистера Б., который женится на ней, несмотря на ее низкое происхождение, и у них рождается сын.

Стереотипные представления о сентиментализме использовались, чтобы принизить значение женщин-писательниц и подорвать их контроль над рынком. Мужчины осуждали женщин-писательниц за сентиментализм, даже когда сами подражали их романам и претендовали на их тиражи и репутацию. Мы долго принимали их точку зрения на веру, предполагая, что произведения женщин не стоили того, чтобы их читали, и плохо продавались. Рыночные данные дают совершенно иную картину. Жорж Санд доминировала на мировых рынках начиная с 1830-х годов, особенно в России. Почему же Тургенев — который еще не написал ни одного романа — критиковал Санд и Евгению Тур в своей статье 1851 года: «...в женских талантах (и мы не исключаем самого высшего из них — Жорж Санда) есть что-то неправильное, нелитературное, бегущее прямо из сердца, необдуманное, наконец...»? Несмотря на это, Тургенев и Достоевский учились писать романы у Санд и Тур и стремились добиться такой же прибыли и такого же успеха<sup>8</sup>.

Это приводит нас к последней некритически усвоенной идее: что русские писатели были уникальны. Действительно, они были необычными, но не в том смысле, в котором мы себе это представляем. Обычно мы отделяем русских писателей от европейских, опираясь на их индивидуальные свойства, такие как литературная техника или тематика. Мы следуем за самими этими писателями, которые определяли себя как уникальных — Пушкин написал роман в стихах, а Толстой заявил, что «Война и мир» вообще не роман. Я обнаружила, что они были уникальны как общественная группа. Русские писатели — и мужчины, и женщины — присвоили себе европейский разговор о «войне долгов». Они адаптировали сентиментальную нравственную драму, заимствованную из европейской литературы, к своей уникальной культуре благородной службы.

---

8 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Наука, 1980. С. 486.

Чтобы русифицировать sentimentalный конфликт между разными типами долга, российским дворянам потребовались десятилетия. Могли ли они принять на себя иные обязанности, кроме служения Российской империи и государю? В «Воскресении» князь Нехлюдов, альтер эго Толстого, разрывается между долгом по службе и долгом перед Богом. Какова была роль благородных героинь в культуре службы? Пушкин поднял этот вопрос в «Капитанской дочке». Могут ли новые обязанности перед обществом ограничить дворянский произвол по отношению к другим? В «Братьях Карамазовых» Дмитрий, уже попав в тюрьму, наконец открывает в себе чувство долга по отношению к другим, а жизнь отца Зосимы и история, которую рассказывает его загадочный посетитель, подсказывают, что без веры в Бога русские люди не могут контролировать свои страсти. Могут ли дворяне оправдать долг перед собой, долг быть счастливыми, учитывая огромные проблемы России, особенно наследие крепостничества? В своем последнем романе «Обязанности» (1886) Надежда Хвоцинская ответила на этот вопрос положительно, как и Тургенев в «Отцах и детях». В нравственном тупике, порожденном крепостным правом, русские писатели и читатели обсуждали смысл жизни, пытались справиться со своими обязанностями и задаваясь вопросом, могут ли представления о долге перед другими радикально изменить Россию.

Я намеренно не занимаюсь оценочными суждениями — в отношении литературных произведений они всегда остаются спорными, потому что вкусы меняются со временем, а воздействие на них рынка всегда актуально. Советские и даже современные феминистские критики утверждают, что Хвоцинская не была Джордж Элиот, или Шарлоттой Бронте, или даже Жорж Санд. Поразительно, что именно с этими романистками критики XIX века сравнивали Хвоцинскую и Тур. Де Вогюэ сопоставлял Тургенева и Толстого с Джордж Элиот, пытаясь убедить европейцев, что их стоит читать. Он пояснял, что Элиот была литературной наследницей великого sentimentalного романиста Сэмюэля Ричардсона [Vogüé 1886: xxxviii—xlii]. Джордж Элиот, которую читатели XIX века любили за ее sentimentalный реализм, — это не та же самая Джордж Элиот, которую современные критики хвалят, а иногда критикуют как реалистку [Ibid.: xxxviii—xlii; Knoepflmacher 1968; Kelly 1994: 69—74].

Еще многое предстоит сделать, чтобы вновь открыть русских писательниц XIX века. Их произведения заслуживают чтения, переиздания, перевода и изучения как части европейской интеллектуальной истории. Произведения женщин до сих пор хранятся в архивах и научных библиотеках. Ученые потратили десятилетия в архивах и библиотеках, чтобы подготовить собрания сочинений и писем, сборники журнальных статей и воспоминаний о Пушкине, Достоевском и Толстом. То же самое и даже больше нужно сделать и для писательниц того времени<sup>9</sup>.

Женщинам, как и мужчинам, нужно, чтобы их жизненные истории были изложены в биографиях, привлекающих внимание читателей и ученых. Уже в XVIII веке издатели поняли важность биографий для маркетинга и продаж книг; в этом жанре работали Сэмюэль Джонсон и Вальтер Скотт. Написанная Элизабет Гаскелл биография Шарлотты Бронте и семейная биография Джейн

9 Славянофилка Надежда Соханская первой из русских писательниц удостоилась полного собрания сочинений под редакцией О.Л. Фетисенко (см.: *Соханская Н.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 7 т. Т. 1. СПб.: Владимир Даль, 2023).



Остин, принадлежащая Джеймсу Эдварду Остин-Ли, создали новое поколение читателей их романов. Редакторы Надежды Хвоцинской понимали этот рыночный принцип и пытались убедить ее — тщетно — отказаться от мужского псевдонима В. Крестовский и разрешить публикацию своей биографии, что привлекло бы новых читателей. Сестры Хвоцинские ревностно охраняли свою анонимность, отвечая отказом на все просьбы предать гласности их биографии или хотя бы имена<sup>10</sup>. Нам нужно написать биографию, которую они заслужили, но не позволили написать.

Наконец, чтобы реконструировать, каковы были влияние и важность писательниц, нужно рассматривать их в международном контексте. Международные литературные сети, в отличие от традиционных историй литературы, не позволяют игнорировать своеобразие, рецепцию и циркуляцию произведений писательниц и переводчиц [Dijk et al. 2004]. Внимание к международным литературным сетям и переводам выделяет недавние многообещающие работы, посвященные Марко Вовчок и Авдотье Панаевой [Mauny 2022; Федотов, Успенский 2023].

Новое поколение ученых работает над важными составляющими этого проекта. В 2022 году, к 200-летию со дня рождения Надежды Хвоцинской, мы проводили конференции, подготовили публикации, переводы и веб-сайт для ее произведений и писем. Ученые прочитали более 500 архивных писем Хвоцинской и уже опубликовали 116 на русском языке<sup>11</sup>. Вместе эти мероприятия и публикации позволяют создать центр по исследованию творчества других женщин. Несколько сотен страниц любовных писем Евгении Тур и ее наставника Николая Надеждина, остающиеся в архивах, могли бы рассказать истории, которые привлекут читателей к ее романам и повестям (только одна из них была переведена). Архивная работа отражает рост исследовательского интереса к малоизученным российским писателям — процесс, который происходит в том числе благодаря двум онлайн-семинарам в Нью-Йоркском университете: «XIX век: рабочая группа по культуре России XIX века» и «Другой XIX век», — создающим возможности для встречи между разными учеными.

Мы уже можем начать количественно оценивать роль российских писательниц и переводчиц в европейских литературных сетях, а также европейских писательниц в России. К счастью, мы можем использовать данные о переводах и переизданиях из каталогов в базе данных «WomenWriters» [Dijk 2021]. Это возможно благодаря проекту «Новые подходы к женщинам-писательницам» («New approaches to European Women's Writing») в Институте истории Нидерландов, входящем в Королевскую нидерландскую академию искусств и наук. Этот проект прослеживает до 1900 года внутреннее и международное восприятие более чем 10 тысяч женщин-писательниц из более чем 25 европейских стран, включая более 500 российских писательниц. Эти данные показывают, что сочинения Жорж Санд были переведены более чем на 20 языков по всему миру. Сара Дикинсон в Университете Генуи обратилась к международным литературным сетям, чтобы раскрыть любопытную историю первого опубликованного романа российской писательницы. В 1784 году Наталья Макарова (Не-

10 «Я живу от почты до почты»: Из переписки Н.Д. Хвоцинской / Сост. А. Розенхолм, Х. Хоремом. Fichtenwalde: F.K. Göpfert, 2001. С. 2. См. также: [Gheith 2004: 195].

11 Khvoshchinskaya Sisters Digital Collection // <https://khvoshchinskies.web.illinois.edu> (дата обращения: 26.11.2023).

елова) включила свое оригинальное произведение «Лейнард и Термилия» в свой перевод романа плодотворной французской писательницы мадам Мадлен-Анжелик де Гомес (1684—1770), пользовавшейся успехом в русских переводах [Dickinson 2023].

Эти связи между Францией и Российской империей лишь часть общей картины. Российские женщины также входили в литературные сети в Скандинавии и Восточной Европе [Partzsch, Parente-Šarková 2023]. Эти региональные сети существовали благодаря тому, что немецкие издательства имели магазины по всей Восточной Европе и Российской империи. Хвоцинская была узлом не только в региональных, но и в основных французских и английских литературных сетях. Она переводила романы на русский с итальянского и норвежского, а также с французского и немецкого — эти переводы составляли более четверти ее творчества. Произведения Хвоцинской были переведены на шведский, сербскохорватский и чешский, а также на французский, немецкий, итальянский и несколько позже на английский. Европейские читатели русской литературы XIX века знали творчество Хвоцинской.

Я надеюсь, что читатели моей книги и этого эссе обратятся с новым интересом к русской и европейской классике, которая кажется нам хорошо знакомой. Пристальное внимание к «войне долгов» меняет наше понимание сюжетов и персонажей от княжны Болконской и Николая Ростова Толстого до Элинор Дэшвуд и Эммы Вудхауз Остин и Эмили Уортон с Роджером Карбери Троллопа. И я надеюсь, что читатели откроют для себя Жорж Санд, столь любимую читателями прошлого. Это она вновь начала международное обсуждение любви, долга и добродетели, на котором выросло новое поколение российских писателей. Когда эти писатели попытались создать новое литературное созвездие, им удалось преобразить всю европейскую литературную империю.

## Литература / References

- [Бахтин 1979] — *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров; примеч. С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова. М.: Искусство, 1979.
- (*Bakhtin M.M.* Estetika slovesnogo tvorchestva / Comp. by S.G. Bocharov; comment. by S.S. Averintsev and S.G. Bocharov. Moscow, 1979.)
- [Бахтин 1997] — *Бахтин М.М.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М.: Русские словари, 1997.
- (*Bakhtin M.M.* Sobr. soch. In 7 vols. Vol. 5. Moscow, 1997.)
- [Лихачева 1899—1901] — *Лихачева Е.О.* Материалы для истории женского образования в России (1086—1856): В 2 т. СПб.: Тип. Стасюлевича, 1899—1901.
- (*Likhacheva Ye.O.* Materialy dlya istorii zhenskogo obrazovaniya v Rossii (1086—1856): In 2 vols. Saint Petersburg, 1899—1901.)
- [Рейтблат 2009] — *Рейтблат А.И.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
- (*Reytblat A.I.* Ot Bovy k Bal'montu i drugie raboty po istoricheskoy sotsiologii russkoy literatury. Moscow, 2009.)
- [Савкина 1997] — *Савкина И.* Кто и как пишет историю русской женской литературы // Новое литературное обозрение. 1997. № 24. С. 359—372.
- (*Savkina I.* Kto i kak pishet istoriyu russkoy zhenskoy literatury // Novoe literaturnoe obozrenie. 1997. No. 24. P. 359—372.)
- [Федотов, Успенский 2023] — *Федотов А., Успенский П.* «Панаевский цикл» Николая Некрасова: поэтика эмансипации и мейнсплейнинга // Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift

- für Slavistik. 2023. Vol. 68. Nr. 1. S. 128—163.
- [Fedotov A., *Uspenskiy P.* “Panaevskiy tsiki” Nikolaya Nekrasova: poetika emansipatsii i meynspleyninga // Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. 2023. Vol. 68. Nr. 1. S. 128—163.)
- [Anderson 2006] — *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso, 2006.
- [Cohen 1999] — *Cohen M.* The Sentimental Education of the Novel. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
- [DeJean 1988] — *DeJean J.* Classical Reeducation: Decanonizing the Feminine // Yale French Studies. 1988. Vol. 75. P. 26—39.
- [Dickinson 2023] — *Dickinson S.* N.A. Neelova’s Literary Experiment: French Novels and the Elite Woman Writer in Eighteenth-Century Russia // Russia, Europe and the World in the Long Eighteenth Century: Proceedings of the Xth International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia / Ed. by R. Baudin et al. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2023. P. 158—166.
- [Dijk et al. 2004] — “I Have Heard about You”: Foreign Women’s Writing Crossing the Dutch Border, From Sappho to Selma Lagerlof / Ed. by S. van Dijk et al. Hilversum: Verloren, 2004.
- [Dijk 2021] — *Dijk S. van.* NEWW WomenWriters // <http://resources.huylgens.knaw.nl/womenwriters>. (accessed: 09.07.2021).
- [Dijk, Wiedemann 2003] — George Sand: La réception hors de France au XIX<sup>e</sup> siècle / Ed. by S. van Dijk and K. Wiedemann // Oeuvres & Critiques. 2003. Vol. 1. N° 28.
- [Fleischacker 2019] — *Fleischacker S.* Being Me Being You: Adam Smith and Empathy. Chicago: University of Chicago Press, 2019.
- [Gheith 2004] — *Gheith J.M.* Finding the Middle Ground: Krestovskii, Tur, and the Power of Ambivalence in Nineteenth-Century Russian Women’s Prose. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2004.
- [Heldt 1992] — *Heldt B.* Terrible Perfection: Woman and Russian Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1992.
- [Holbo 2019] — *Holbo C.* Legal Realisms: The American Novel Under Reconstruction. New York: Oxford University Press, 2019.
- [Hoogenboom 2025] — *Hoogenboom H.* Noble Sentiments and the Rise of Russian Novels: A European Literary History. Toronto: University of Toronto Press, 2025. In press.
- [Hoogenboom, Berman, 2026] — The Sisters Khvozhchinskaia / Ed. by H. Hoogenboom, A. Berman. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2026. In press.
- [Kelly 1994] — *Kelly C.* A History of Russian Women’s Writing, 1820—1992. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- [Knoepfelmacher 1968] — *Knoepfelmacher U.C.* George Eliot’s Early Novels: The Limits of Realism. Berkeley: University of California Press, 1968.
- [Mauny 2022] — *Mauny P. de.* Ivan Tourgueniev, Marko Vovtchok et Pierre-Jules Hetzel: stratégies littéraires et éditoriales. Paris: Université Sorbonne Nouvelle, 2022.
- [Meyer 2008] — *Meyer P.* How the Russians Read the French: Lermontov, Dostoevsky, Tolstoy. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2008.
- [Mirsky 1999] — *Mirsky D.S.* A History of Russian Literature: From Its Beginnings to 1900 / Ed. by F. Whitfield. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1999.
- [Moretti 1999] — *Moretti F.* Atlas of the European Novel: 1800—1900. New York: Verso, 1999.
- [Ottesson 2002] — *Ottesson J.R.* Adam Smith’s Marketplace of Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [Partzsch, Parente-Čapková 2023] — Travelling Texts: The Transnational Circulation of Women’s Writing at the Fringes of Nineteenth-Century Europe / Ed. by H. Partzsch, V. Parente-Čapková. Leiden: Brill, 2023.
- [Reddy 2001] — *Reddy W.M.* The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001.
- [Reddy 2009] — *Reddy W.M.* Emotional Turn? Feelings in Russian History and Culture: Comment // Slavic Review. 2009. Vol. 68. No. 2. P. 329—334.
- [Reitblat 2021] — *Reitblat A.I.* The Making of the Russian Classic // Publishing in Tsarist Russia: A History of Print Media from Enlightenment to Revolution / Ed. by Y. Tatsumi and T. Tsurumi. London: Bloomsbury, 2021. P. 37—67.
- [Rosenblatt 2018] — *Rosenblatt H.* The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-First Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018.
- [Sen 2009] — *Sen A.* Introduction // Smith A. The Theory of Moral Sentiments / Ed. by R.P. Hanley. New York: Penguin Books, 2009. P. VII—XXVI.
- [Tompkins 1985] — *Tompkins J.* Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790—1860. New York: Oxford University Press, 1985.
- [Vogüé 1886] — *Vogüé E.M. de.* Le roman russe. 1<sup>er</sup> ed. Paris: Plon-Nourrit, 1886.
- [Zirin et al. 2007—2015] — Women & Gender in Central and Eastern Europe, Russia, and Eurasia: A Comprehensive Bibliography: In 2 vols. / Ed. by M. Zirin et al. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2007—2015.

# Новые перспективы в гендерных исследованиях

АНКЕТА

*Сара Дикинсон (доцент Университета Генуи, председательница Ассоциации для женщин в славянских исследованиях)*

**1. В последние годы число публикаций о гендерной проблематике в российской истории и русской литературе быстро растет. Как можно объяснить этот рост? Есть ли специфика у гендерных исследований на российском/русском материале и чем они отличаются от современных зарубежных публикаций на эти темы?**

Действительно, в последние годы мы наблюдаем волну интереса к гендерным темам. По моему мнению, на это повлияло несколько факторов.

Во-первых, нынешний рост основан на очень устойчивом фундаменте, который закладывался десятилетиями. Я имею в виду множество прорывных работ исследователей, в центре интересов которых женщины и женское письмо были в течение тридцати, сорока, даже пятидесяти лет. У меня нет возможности перечислить их всех, но среди них, например, Ирина Савкина, Наталья Пушкарева, Мэри Зирин и Дайана Грин. Эти ученые — в большинстве своем женщины — проделали обширную работу, причем для этого им пришлось плыть против течения и постоянно доказывать значимость выбранной ими темы исследований. Благодаря их научной деятельности, а также благодаря их усилиям в сферах преподавания и научного руководства, удалось постепенно привлечь внимание других исследователей к истории женщин и творчеству женщин, изменив состояние этого исследовательского поля для нескольких поколений последовавших за ними молодых ученых. В число основоположников входят, как я уже отмечала, не только женщины и не только специалисты по женской истории или письма, — речь также о тех ученых, которые демонстрируют повышенную чувствительность к гендерным вопросам при обсуждении других тем.

Во-вторых, новая волна гендерных исследований связана с состоянием и с эволюцией научного поиска как такового. Уже несколько десятилетий все больше изучаются вопросы различных отношений власти и подчинения, имплицитно и эксплицитно действующих в истории и в литературе, — от идеологии и институтов до «ориентализма», «постколониализма» или, в настоящее время, «деколонизации». Антропологические и лингвистические подходы также позволили нам лучше понять контекст и содержание наших собственных взглядов и тех позиций, которые мы занимаем. В области литературных исследований эти подходы часто приводят к критике канона или процессов, которые его формируют. Это очень богатая тема, ведь существуют десятки способов рассматривать канон и десятки видов отношений власти — включая гендерные, — которые участвуют в его создании и поддержании. Рефлексия о гендерных вопросах наконец-то стала необходимым ингредиентом практически любого серьезного исследования, которое бы многосторонне освещало какой

бы то ни было феномен или период. Исследование, которое игнорирует гендерные темы, потому что это-де в данном случае не очень важно, в настоящее время можно осудить за недостаточно критический подход к почерпнутым из прошлого идеям и за попытку самоуспокоенно воспроизводить статус-кво.

В-третьих, в самом современном обществе произошел масштабный переворот, который, разумеется, не мог не повлиять на работу ученых. Я не хотела бы утверждать, будто гендерное равенство наконец достигнуто, однако «феминизм» или, пользуясь более обобщенной формулировкой, внимание к гендерным вопросам больше не вызывает у молодых ученых подозрений и не воспринимается как нечто «несерьезное» — напротив, такая позиция стала естественной частью их научного метода. Многие молодые ученые — мужчины, женщины или небинарные — теперь занимаются темами, связанными с гендером, и не нуждаются в оправданиях, чтобы ими заниматься. Иногда это наталкивается на сопротивление со стороны более традиционных исследователей, которые критикуют гендерные исследования как бессмысленное следование правилам «политической корректности». Однако несомненно, что в наше время невнимание со стороны исследователя к гендерным вопросам очень быстро делает его работы неактуальными и сильно затрудняет научную коммуникацию с молодыми учеными. В последние двадцать лет перемены в восприятии гендера были невероятно быстрыми, и даже если не все внимательно за ними следят, эти перемены уже повлияли и еще долго будут влиять на тот контекст, в котором проводятся и воспринимаются исторические и литературные исследования.

Обращаясь к своеобразию научной работы русскоязычных исследователей, я была поражена высоким уровнем работ о женском творчестве, которые в последние годы пишутся молодыми исследователями из России, Украины и Эстонии, причем многие из этих исследователей, как ни странно, мужчины. Они не стесняются сосредоточивать свое внимание на творчестве женщин, на вопросах гомоэротизма или трансгендерной идентичности и обсуждают их с честным профессионализмом, без оправдательных предисловий или иронических комментариев в сторону. Такой глоток свежего воздуха было бы невозможно представить еще двадцать лет назад, и он определенно способствует нормализации и развитию в самых разных странах исследований, посвященных женскому творчеству и гендерным вопросам в русскоязычной литературе и истории. Здесь стоит упомянуть, что рост международного обмена и сотрудничества, начавшийся в 1990-е годы, очень сильно способствовал развитию гендерных исследований в самой России. Этот рост также позволил исследователям из постсоветских стран вступать в прямой контакт с коллегами из-за пределов бывшего советского лагеря и напрямую участвовать в международной науке — к выгоде для всех заинтересованных сторон.

**2. Какие дисциплинарные пересечения (например, гендерные исследования и исследования эмоциональности или социология чтения и т.д.) видятся Вам наиболее продуктивными и перспективными?**

Я думаю, что размышления о гендерных вопросах могут обогатить и обогатиться в контакте с практически любой другой областью научного интереса, — и с огромным интересом слежу за тем, как этот процесс разворачивается в современной науке. Здесь открыты самые разные возможности. Если задуматься

о пересечениях, с одной стороны, истории женского творчества XVIII и XIX веков, а с другой стороны, скажем, истории эмоций, то ясно, что женщины выражали свои эмоции и рефлексировали о них специфическим образом, который оставил след в литературных текстах и который заслуживает больше внимания, чем пока получил. Помимо этого, женщины читали не так, как мужчины. Представления о читательнице отличались от представлений о читателе и у авторов (и мужчин, и женщин), и у издателей, а это во многом определило развитие русскоязычных журналистики и книгоиздания. Другое увлекательное направление — исследование литературных жанров в связи с гендерными вопросами. Женщины играли другую роль в бытовании, скажем, поэзии, романа, биографии или театра (как писательницы, актрисы или часть публики) и т.д. Вообще традиционные истории литературы основаны на представлениях о жанре, которые исключают из нашего поля зрения участвовавших в литературном процессе женщин, — и эти представления не стоит воспринимать как священные или неизменные. Экономическая жизнь женщин также сильно отличалась от мужской и определялась специфическими ограничениями — как и женское образование, профессиональная деятельность, отношения к медицине, к военной службе и т.д. С изучением женщин легко связать такие развивающиеся сферы, как исследования материнства или квир-исследований, — но есть еще исследования ограниченных возможностей, транснациональная или мировая литература, экологическая критика... Мне кажется, здесь нет пределов.

Это поднимает вопрос о другом типе пересечений, заслуживающем нашего внимания, а именно об «интерсекциональности». В общем случае это понятие позволяет обсуждать, как различные составляющие идентичности (такие как гендер, возраст, этничность, класс, экономический статус, географическое положение, физическое состояние) сочетаются, чтобы произвести специфические и особенно сильные формы дискриминации. Однако мы также можем говорить об интерсекциональности в более общем смысле, то есть как об исследовании связи между тем, как гендер сочетается, например, с бедностью или провинциальностью, грамотностью или неграмотностью, дворянским положением или происхождением из ученой среды. Мне кажется, что дисциплинарные пересечения и интерсекциональность невозможно разделить. Например, чтобы говорить о зависимости женского творчества от доступа к печати, нужно учесть, как отдельные женщины взаимодействовали с издательствами и типографиями, а это, в свою очередь, зависит от того, когда и где они жили, кому они приходились родственницами, кто входил в их круг общения и т.д. Внимание к таким факторам позволит нам создать более богатую и сложную историю литературы. Может даже оказаться, что выбор писательницами нарративного голоса связан с их интерсекциональной позицией. В определенный период писательницы из элитных кругов выстраивают связи (и риторические, и эмоциональные) с крестьянами в попытке сопротивляться доминирующему дискурсу империалистического и патриархального государства; эти связи во многом определяют, как они представляют себя в роли писательниц. Еще одна область исследований — женщины и империя. Учитывая этническую идентичность и географическое положение писательниц, мы начинаем видеть, насколько различны литературные возможности женщин на разных территориях Российской империи. Например, в Польше или Украине XIX века женское творчество развивалось не так, как в России.

### **3. Какие темы гендерных исследований кажутся Вам недостаточно раскрытыми в научной литературе на русском материале и требующими большего внимания исследователей?**

Поле для исследований кажется мне широко открытым: оно не «требует» внимания, а позволяет ученым реализовать свои интересы — чем и следует заняться. Мой любимый «проклятый вопрос» связан с перестройкой истории русскоязычного женского творчества. Например, почему всплески активности часто приходится на короткие периоды, а потом заканчиваются? Почему живая и активная традиция женского творчества, существовавшая в России XIX века, исчезает из истории литературы (или никогда не попадает в историю литературы), так что к XX веку кажется, будто она никогда не существовала? Сейчас у неспециалистов может возникнуть ощущение, что до Ахматовой писательниц вообще не было. Карен Оффен предположила, что в Европе XIX века феминистский дискурс подавлялся дискурсом классовым, другими словами, что рост марксизма подорвал позиции феминизма. Думаю, нам следует понять, как этот процесс повлиял на историю русскоязычного женского творчества.

В последние два-три года я с удовольствием прочитала множество прекрасных работ и услышала множество интересных докладов, посвященных женскому творчеству до 1900 года. Примеры включают рассуждения о женском творчестве в связи с феминистским дискурсом, с феноменом жоржсандизма, с актуальными вопросами классового и общественного положения, с проблемами социально-политической мысли (освобождением крепостных и эмансипацией женщин, развитием социализма, государственным и империалистическим дискурсом и проч.). Другие работы посвящены тому, как женщины используют нарративный голос и определяют свою литературную позицию: применению и отказу от определенных повествовательных позиций, экспериментам с различными концепциями женского авторства или с конструированием писательских автобиографий женщин и т.д. Некоторые работы посвящены тому, как в женском письме обсуждается (а возможно, и воспроизводится) скрытое или открытое насилие против женщин, как оно фиксирует проявления вуайеризма или скопофилии, как в женских текстах связаны тематика и позиция имплицитного автора. Наконец, некоторые исследователи обращают внимание на отношения между женским творчеством и преимущественно мужским институтом литературы, тогда как другие обсуждают отношения между писательницами: дружеские и гомоэротические связи, семейные связи и контакты внутри сообществ, создающие устойчивые литературные традиции.

В каждой из этих ситуаций женщины действуют в рамках сети ограничений, которые изменяются в зависимости от исторического контекста и личных обстоятельств, но не совпадают с теми ограничениями, которые накладываются на мужчин. Как женщины изобретают или переизобретают себя и выбирают, каким образом вести себя, несмотря на наложенные на них ограничения? Какие гендерные перформативные акты осуществляют женщины в разных контекстах? Как и когда женщинам дают право говорить или заставляют молчать; когда и каким образом они сами добиваются права говорить? Вопросов очень много, как много и путей исследований, обещающих новые открытия. Работать в этом динамичном и быстро развивающемся поле — поистине захватывающее занятие.

**Анна Нижник** (кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы Новейшего времени ИФИ РГГУ)

**1. В последние годы число публикаций о гендерной проблематике в российской истории и русской литературе быстро растет. Как можно объяснить этот рост? Есть ли специфика у гендерных исследований на российском/русском материале и чем они отличаются от современных зарубежных публикаций на эти темы?**

Парадокс популярности гендерных исследований заключается в том, что интерес к ним вызван внеакадемическими факторами: подъемом консервативной повестки во многих государствах мира, включая Россию, и параллельным ростом женских низовых и официальных инициатив, которые пытаются противостоять гендерному неравенству. Современный феминизм постепенно поворачивается от неolibеральных принципов индивидуальной женской самореализации к широкой демократической повестке (см., например, «Манифест 99%» Чинции Аруццы, Тити Бхаттачарья и Нэнси Фрэйзер<sup>1</sup>, недавно переведенную книгу Сильвии Федеричи «Патриархат заработной платы. Заметки о Марксе, гендере и феминизме»<sup>2</sup>). Тем не менее академические исследования живут по своим законам, поскольку скованы методами научного познания и необходимостью отделять науку от политики, а поэтому иногда в работах сложно выделить тот standpoint (термин, используемый с подачи Сандры Хардинг), который отличает феминистскую эпистемологию от «нейтральной».

Само по себе слово «гендер» очень интересное. Это академическое наименование для символической репрезентации культурно обусловленной системы неравенства, основанного на половых различиях. Акцент на знаковой природе гендера очерчивает и пространство исследований: это изучение репрезентации тех, кто маркируется в западной культуре как «мужчины» и «женщины». Сама эта логика в некотором смысле противоречит изначальной политической заряженности гендерных исследований, наследующих феминистской традиции (на каком-то этапе изучение этой категории было скандальным и освободительным). Изначальное неравенство говорит, что и в рамках логоса эти категории представлены неравномерно, ведь наш мир можно понимать как описанный через доступ к языку. Соответственно, академические гендерные исследования как бы кусают себя за хвост: занимаясь преимущественно текстами, они отражают гендер как категорию, явленную в дискурсе, и при этом сами ее конструируют. Гендер же является знаковой категорией, которая позволяет производить различие и выстраивать аналогии и может привлекаться для анализа многих областей. Спектр этих областей широк: сексуальность, экономика, эстетика, политика, культура, — но не может быть ими исчерпан, поскольку само изучение принципа неравенства или асимметрии позволяет открывать все новые континенты: так, в рамках гендерных исследований появились квир-теория, пост-

1 Аруцца Ч., Фрэйзер Н., Бхаттачарья Т. Феминизм для 99%. Манифест / Пер. с англ. Н. Демьянова под ред. А. Кальк. М.: Радикальная теория и практика, 2020.

2 Федеричи С. Патриархат заработной платы. Заметки о Марксе, гендере и феминизме / Пер. с англ. И. Кушнareвой. М.: Новое литературное обозрение, 2023.



колониальная гендерная теория, экокфеминистские онтологии и эпистемологии и т.п.

Хотя мы находимся в «ловушке логоса», особого внимания заслуживают работы, посвященные пусть и явленному нам в знаках, но материальному состоянию того, что условно называется «гендер»: телесным практикам, которые мы можем реконструировать, истории повседневности, пограничным состояниям, которые так или иначе связаны с аффектами, религиозным и культовым практикам, практикам письма и работы, поскольку они помогают гендер онтологизировать. Перефразируя тезис статьи Эйхенбаума «Литературный быт», «вопрос заключается не в том, что такое женщина, а в том, как быть женщиной».

Искусствоведение здесь выходит на первый план: занимаясь репрезентацией тела или телесной перформативностью, если речь идет о театре и кино, такие исследования показывают, как существует гендер вне словесного выражения. Интересна в этом смысле иллюстрированная книга Н. Плуноян<sup>3</sup>, в которой собраны образы женщин в советском изобразительном искусстве, сопровождаемая нюансированными комментариями, из которых можно узнать, как «делалась» советская женщина и как появление новых понятий и гендерных ролей соотносилось с движениями народных масс, ходом индустриализации, партийными конфликтами и культурной экономикой.

Другая работа, заслуживающая внимания, — «Гендер в советском неофициальном искусстве» О. Авраменко<sup>4</sup>. Поскольку перформативность, оптика практик и особое внимание к быту подсказаны самой логикой «второй культуры» 1970-х годов, постоянно сталкивавшейся с необходимостью таиться, хлопотать, выживать, из книги можно воссоздать советский гендер как сборку разнообразных практик, не только художественных.

Жаль, что гендерные исследования не могут открыто говорить об актуальных аспектах российской действительности, но они легко «прячутся» в историю — тем более что дисциплина *herstory* на русскоязычном материале еще далека от закрытия. Например, современный интерес к статусу «ведьмы», который присваивается феминистками в контексте эмансипаторной повестки, вполне может подсвечиваться русским историческим материалом. В книге Кристин Воробец «Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России»<sup>5</sup> можно найти материалы к истории конструирования инаковости, в том ассоциированной с женщинами и при этом тесно связанной с дисциплинарным воздействием церкви и государства.

Отдельного внимания заслуживает литературная критика, которая обращена к современности, ведь многие приборы гендерной оптики (анализ Адриенны Рич, «женское письмо» Э. Сиксу) развивались в тесной взаимосвязи с литературными практиками. Здесь стоит назвать публикации Д. Ларионова<sup>6</sup>,

3 Плуноян Н. Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

4 Авраменко О. Гендер в советском неофициальном искусстве. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

5 Воробец К. Одержимые. Женщины, ведьмы и демоны в царской России / Пер. с англ. А. Фоминой. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

6 Ларионов Д. «Гендерный ландшафт» актуальной русской поэзии в контексте поэтологии: «женское письмо» Анны Альчук, Марины Тёмкиной, Галины Рымбу и Оксаны Васьякиной // *Litera*. 2019. № 6. С. 58–65.

И. Кукулина<sup>7</sup>, М. Бобылёвой, Ю. Подлубновой<sup>8</sup> и то, чем занимался проект «ф-письмо», породивший заметное число молодых исследовательниц, альманахи издательства «Кабинетный ученый»<sup>9</sup>.

Эти исследования заходят на территорию современной философии и пытаются нащупать экспериментальные формы мышления и высказывания о гендере.

**2. Какие дисциплинарные пересечения (например, гендерные исследования и исследования эмоциональности или социология чтения и т.д.) видятся Вам наиболее продуктивными и перспективными?**

События последних двух лет показали, что вопрос о гегемонии, изысканно затушеванный академическими исследованиями, актуален как никогда, и гендерные исследования предлагают ключи к нему, поскольку сосредоточены на механизмах и источниках власти, порождающей неравенство и насилие. Это означает, что на дисциплинарном уровне также необходим пересмотр привычных нам технологий анализа. Здесь, в частности, важны и ревизия канона, и изучение «миноритарной» по статусу и, парадоксальным образом, мажоритарной по весу популярной (массовой) литературы и культуры, которая все еще вытесняется высокой литературой как недостаточно элитарная. Связь с гендерной проблематикой тут простая: вернакулярная культура государства и капитала, организующая иерархии, в том числе эстетические, родственна механизмам патриархальной маргинализации всего «слабого» и «недостаточно разумного» — того, что ассоциировалось и до сих пор отчасти ассоциируется с женским миром, — с тем, чтобы разделять и властвовать над социальными и гендерными группами. То же касается исследований культуры эмоций, которая, впрочем, все равно изучается главным образом с исторической дистанции, — видимо, чтобы ученые не столкнулись с собственной яростью или тоской. Среди работ о современности стоит назвать исследования эмоционального чтения, которые опираются на уже классическую схему Риты Фелски, а также исследования травмы, которые еще далеки от завершения, поскольку, как оказалось, простого «проговаривания» или констатации недостаточно, чтобы насилие перестало воспроизводиться. Здесь на первый план выходит тема усложненных отношений со временем — различий в темпоральном мышлении разных групп, тесно связанных с гендеризированным вопросом о производстве и воспроизводстве. Есть мнение, что именно специфическая темпоральность (ответственность за детей и привычка оставаться мыть посуду после вечеринки) порождает и тесную связку между гендерной проблематикой и энвайронментализмом. Здесь снова стоит отметить, что литературная практика идет впереди теории — так, феминистский заряд имеет сборник экологической

7 Кукулин И. Двадцать лет пения без аккомпанемента: взлет и кризис инновационного женского письма в постсоветской поэзии // Имидж, диалог, эксперимент — поля современной русской поэзии / Image, Dialog, Experiment — Felder der russischen Gegenwartsdichtung. Берлин; Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 2013. С. 119–154.

8 Бобылёва М., Подлубнова Ю. Поэтика феминизма. М.: АСТ, 2021.

9 Сетка Цеткин. Антология феминистской критики / Сост. Л. Георгиевский, А. Голубкова, Ю. Подлубнова. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2021; Семь текстов о феминизме. Обозоруживая гендер / Сост. Е. Джаббарова. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2022.

прозы «Срок годности» от «Школы литературных практик», где предпринимаются разные по стилю попытки нащупать языки субалтернов и очертить границы ответственности за них.

### **3. Какие темы гендерных исследований кажутся Вам недостаточно раскрытыми в научной литературе на русском материале и требующими большего внимания исследователей?**

Хотя до конца нельзя остановить рост интереса к гендерной проблематике, эти исследования все еще остаются довольно робкими — не в рамках конкретных работ, а в их широте. До сих пор остается непроявленным вопрос о колониальных советских феминистских проектах, нет больших работ про гендерную политику 1990-х годов, а ведь именно этот болезненный переход от государственного гендера к капиталистическому (которые, впрочем, отлично сосуществуют) во многом определил нашу нынешнюю ситуацию. Одно из исключений составляет социологическая работа Джули Хеммент «Расширение прав и возможностей женщин в России. Активизм, спонсоры и НПО»<sup>10</sup> о женских некоммерческих организациях в современной России. Оптика включенного наблюдения позволяет исследовательнице рассказать о столкновениях картин «западного», «советского» и «российского» гендерного порядка.

Другая проблема отмечалась выше: гендерные исследования до сих пор не ответили на вопрос, «судьба» ли — быть женщиной? Долгая дискуссия между гендерной онтологией и конструктивистской оптикой до сих пор не разрешилась, ведь она требует принять во внимание слишком много факторов, которые могут превратить гендерные исследования в «общую теорию всего», а это невозможно для современной академической дисциплины. Феминизм, как и любой проект «избавления от метафизики» («судьбы») движется от материального к знаковому и обратно: конкретные экономические изменения подкрепляются дискурсивными практиками, но через некоторое время материальное снова настойчиво напоминает о себе. Так, например, искусствоведческие и исторические гендерные исследования не так много говорят о материнстве, поскольку это была практика, шедшая вразрез с карьерой успешных художниц или писательниц, о которых у нас есть данные. Это и есть большая проблема: «великое непрочтенное» остается непрочтенным, и увидеть его можно только в разрывах между «исключительным» и «нормативным».

**Надежда Плунгян** (преподаватель НИУ ВШЭ, кандидат искусствоведения, независимый куратор)

### **1. В последние годы число публикаций о гендерной проблематике в российской истории и русской литературе быстро растет. Как можно объяснить этот рост? Есть ли специфика у гендерных исследований на российском/русском материале и чем они отличаются от современных зарубежных публикаций на эти темы?**

10 Хеммент Д. Расширение прав и возможностей женщин в России. Активизм, спонсоры и НПО / Пер. с англ. Н. Вахтиной. СПб.: Библиороссика, 2023.

В России за десять-пятнадцать лет произошли довольно большие и интересные изменения, хотя я помню совсем недавние споры, можно ли употреблять слово «гендер» в искусствоведческих текстах. Сейчас гендерный анализ во многом стал частью мейнстрима. Появилась серия «Гендерные исследования» издательства «Новое литературное обозрение», издается огромный спектр популярных книг по гендеру в самых разных областях: от научной журналистики до детских книг об устройстве общества или пособий по отцовству, не говоря уже про переиздания феминистских эссе Линды Нохлин или Бетти Фридан. Можно назвать издательства «МИФ», «БиблиоРоссика», «РИПОЛ классик», «V-A-C Press», «Garage», «АСТ», «Самокат», но на самом деле почти каждое крупное издательство теперь так или иначе касается темы гендера.

В мою сферу — историю искусства и визуальной культуры — пришла мода на книги о женщинах-художницах и женщинах-коллекционерах Нового времени. В основном они пока переводные и довольно однотипные, и в основном это XX век. Но я вижу результат, например, в том, что каждый второй студент хочет писать что-то о гендере в искусстве. Понятно, что это явление моды, но есть и более глубокая причина: гендерный анализ — короткий путь к умолчаниям эпохи, которые все дальше отступают в глубину времени, а новым поколениям хочется в них разобраться. Наш исторический разрыв с советским искусством растет, и это неизбежно означает, что переводные исследования на темы постсоветского и советского гендера будут уступать место оригинальным российским текстам. Отличаются и будут отличаться они тем, что в них кроется размышление о собственной идентичности. В Европе и в США есть очень четкое понятие о том, чем был модернизм и как он структурирован. России предстоит построить новую детальную картину своего модернизма и по-новому соотнести ее с современностью.

**2. Какие дисциплинарные пересечения (например, гендерные исследования и исследования эмоциональности или социология чтения и т.д.) видятся Вам наиболее продуктивными и перспективными?**

Мне нравится в целом работа с исторической эмоцией в искусстве, а может быть, что-то, что я назвала бы политической или социальной эмоцией. Трудно это пока определить. Я считаю, что искусство крупнее политических процессов, но художник, как свидетель времени, отражает всю тень и весь свет общества, в котором живет. Интересно, когда проблема содержит три темы и больше. Например, советский плакат 1940—1950-х годов как часть угасающей монументальной программы двадцатых, как часть все еще камерной городской повседневности и как манифест особого, всесторонне регламентированного типа телесности человека сороковых. Внутри всей этой конструкции, вроде бы очень жесткой, идет тем не менее интенсивное и таинственное развитие эмоции, которую потом пытались передать некоторые позднесоветские художники и поэты, но все время вуалировали иронией. Мне хочется снять эту иронию и всматриваться в саму вещь, мне интересен гендер в искусстве как вход в пространство между заранее известными значениями.

**3. Какие темы гендерных исследований кажутся Вам недостаточно раскрытыми в научной литературе на русском материале и требующими большего внимания исследователей?**

Есть две темы, которые представляются мне довольно интересными. Первая— это разные ракурсы гендерного диссидентства в советском обществе, которые пока исследуются в основном в поле маскулинности. Мне интересна изменчивая и флюидная феминность в советских декорациях, которая прочитывалась политически, как признак опасного, чужеродного, иностранного или потустороннего, но в то же время действующего субъекта. Я немного об этом писала в нескольких работах.

Второе, о чем мне хотелось бы больше знать или написать, — это реальный гендерный порядок в России 2000—2010-х годов и его отражения в визуальной культуре. Да, есть большая мода на девяностые и устойчивый миф о девяностых, но самым тяжелым, переломным, заряженным временем я считаю именно нулевые. Сейчас нулевые годы описаются как переходный период, как время становления современной политики в том виде, в котором ее знает большинство молодых людей. Однако совсем ничего не понятно о гендерных стратегиях, которые считались нормативными, и о тех вызовах, с которыми столкнулись мои ровесники на фоне демонтажа советской социальной защиты. Это чувствительная область, так как речь об описании недавнего прошлого, и его исследование встречает большое сопротивление. Вопрос о том, что происходило с гендером в нулевые, по-настоящему объединяет и волнует 30—40-летних людей всех идентичностей из постсоветского пространства, и мы недостаточно обсудили это между собой. Поскольку гендерный анализ дает понимание «скелета» многих общественных процессов, такая дискуссия будет иметь очень значимые итоги.

# Геннадий Айги: на границе речи

Ольга Соколова

## *И голоса умолкшего — прошу — примите место:*

АКТЫ РЕЧИ И МОЛЧАНИЯ В ПОЭЗИИ Г. АЙГИ

Olga Sokolova

Of silent voice — I pray — take the position:  
Acts of Speech and Silence in the Gennady Aygi's Poetry

**Ольга Соколова** (Институт языкознания РАН, отдел теории и практики коммуникации имени Ю.С. Степанова, старший научный сотрудник; доктор филологических наук) olga.sokolova@iling-ran.ru.

**Ключевые слова:** современная поэзия, прагматические параметры, речевые акты, Г. Айги, разговорная речь, автокоммуникация

УДК: 81'42

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_82

Статья посвящена анализу речевых актов, которые являются одними из наиболее распространенных прагматических параметров в поэзии Г. Айги. Для поэзии Айги характерен сдвиг от прямых перформативов — к косвенным речевым актам, что связано с поэтической автокоммуникацией, когда сообщение адресуется одновременно внешнему адресату и самому отправителю. Для достижения интерактивного взаимодействия Айги употребляет такие речевые акты, как экспрессивы, которые выражают психологическое состояние субъекта, директивы с функциями вопроса и просьбы, частотно использует глаголы говорения, а также иллокутивные акты, выходящие за границы традиционной классификации: косвенные речевые акты молчания и забывания языка, аналогичные иллокутивному самоубийству.

**Olga Sokolova** (Dr. habil.; Senior Researcher, Yuri Stepanov Centre for Theory and Practice of Communication, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) olga.sokolova@iling-ran.ru.

**Key words:** contemporary poetry, pragmatic parameters, speech acts, Gennady Aygi, colloquial speech, autocommunication

UDC: 81'42

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_82

The paper deals with speech acts, which are one of the most frequent pragmatic parameters in the Gennady Aygi's poetry. The peculiarities of their functioning rely on the characteristics of the communication situation and the performative interaction with the addressee in his texts. The pragmatic feature of Aygi's poetry is a shift from direct performatives to indirect speech acts, which is associated with poetic autocommunication. To achieve interactive communication, Aygi utilizes expressive speech acts that convey the speaker's emotions; directive speech acts with the functions of question and request; the verbs of speaking; as well as illocutionary acts that go beyond the boundaries of traditional classification, such as indirect speech acts of silence and speech acts of forgetting the language, similar to illocutionary suicide.

...поэзия для меня неизменно — тот вид «действия» и «связи», который лучше всего выразить словом «священнодействие».

*Г. Айги*

...термин «языковая игра» призван выразить то обстоятельство, что говорить на языке означает действовать, то есть форму жизни.

*Л. Витгенштейн*

## Поэтическое высказывание: на границе внутренней и разговорной речи

Особенностью поэтики Г. Айги является, с одной стороны, иноязычие, сформированное на границе чувашского и русского языков, внутренней и разговорной речи, шаманского камлания и народных песен, а с другой — выход за границы слова к тишине и — параллельно — в другие семиотические системы<sup>1</sup>. В поэтике Айги интерференция возникает не только между разными языками, но и между различными знаковыми системами. Образуя зоны межсемиотического контакта, в которых взаимодействуют вербальные и невербальные средства, тексты Айги представляют собой полимодальные комплексы, речевые действия, направленные как на внешнего адресата, так и на внутреннего субъекта, а коммуникативная структура «внутренней речи» (по Л.С. Выготскому) накладывается на модель «автокоммуникации» (термин Ю.М. Лотмана)<sup>2</sup>, что выражается посредством многочисленных прагматических маркеров и метаязыковых элементов.

Анализируя глубинную природу поэтического языка Айги, А.П. Хузангай описывает ее через понятие языка как универсальной семиотической структуры (языка поэзии, музыки, живописи — языка искусства вообще), где тексты «возникают из глубинного пересечения сокрытых смыслов, живописных плоскостей, музыкальных интонаций и пауз» [Хузангай 2017: 130].

На волне «перформативного поворота»<sup>3</sup>, распространившегося в 1960-е годы под влиянием философии обыденного языка Л. Витгенштейна и теории речевых актов Дж. Остина, в литературе формируется установка на перформативность (в виде перформанса, активного вовлечения адресата в художественный акт и пр.). Поэтические практики 1970-х также были направлены на перформативное воздействие на адресата. Однако эта перформативность по-разному реализовывалась в концептуализме и в неоавангарде.

Так, концептуалисты, вводя понятия концепта и концепции в центр художественного высказывания, работали с паттернами разговорной речи или фрагментами идеологического дискурса (И. Кабаков, И. Холин, Л. Рубинштейн,

1 Об иноязычии в поэтическом неоавангарде и его отличии от других форм взаимодействия языков в поэзии см. подробнее в: [Соколова 2019].

2 Одно из первых исследований, посвященное поэтическому языку как форме коммуникации, обладающей чертами внутренней и разговорной речи, представлено в: [Ковтунова 1986].

3 Подробнее о влиянии перформативного поворота на гуманитарные науки и литературу см.: [Бахманн-Медик 2017; Фещенко 2022].

Д.А. Пригов и др.), в то время как неоавангардисты погружались от прагматических разрывов на внешней поверхности дискурса к внутренней речи субъекта в форме диалога между разными языками (чувашским, французским, немецким, латынью, как у Г. Айги и Е. Мнацакановой) или в обращении к предшествующим стадиям развития своего языка (к диалектам, диглоссии, древнерусскому, как у В. Сосноры). В неоавангарде формируется особая стратегия поэтической коммуникации, противостоящая, с одной стороны, тоталитарному дискурсу, распространенному в официальной поэзии, а с другой — тем практикам поэтического письма, построенного на переосмыслении и фрагментации разговорной речи как одного из регистров проявления индоктринального дискурса, которые сформировались в концептуализме.

Общей тенденцией, характерной для экспериментальной литературы этого периода, стало «остранение» собственного языка, который с помощью нарушения нормативных синтаксических связей и прагматических функций обретал статус иностранного, чужеродного. В неоавангарде такое «остранение» было связано с преодолением языковой нормы и речевой конвенции с помощью включения в поэзию разговорной речи не столько в формате обрывочных коммуникативных фрагментов, сколько в виде прагматических маркеров, выступающих в функции метаоператоров и дающих новые инструменты для диалога внутри языка. Прагматические связи при этом распространяются двунаправленно, как по направлению между знаком и внешним адресатом (читателем), так и по направлению между знаком и самим отправителем (поэтом), участвуя в процессе автокоммуникации.

## Непредикативные формы глаголов как показатели атемпоральности

Далее мы рассмотрим подробнее прагматические параметры, которые становятся одними из ведущих в поэтическом языке Г. Айги, — речевые акты. Согласно Дж. Остину, это речевые действия, или высказывания, которые организуют коммуникативную ситуацию, выступая одновременно и как продукт речевого акта, и как инструмент достижения иллюкутивной цели<sup>4</sup> [Остин 1986: 117–118]. В основе этой теории лежит разделение высказываний на две основные группы: констативы (высказывания, которые описывают внешнюю ситуацию с точки зрения истинности или ложности) и перформативы (высказывания, которые выступают в роли речевых действий). Будучи действиями, совершаемыми при помощи слов, речевые акты формируют различные коммуникативные ситуации: благодарность, поздравление, вопрос, приказ, объяснение, извинение и т.д. Наряду с «эксплицитными» (или «явными», «чистыми») перформативами, выраженными в форме глагола изъявительного наклонения настоящего времени активного залога (например, *Я объявляю вас мужем и женой*) [Там же: 43], исследователи выделяют также «косвенные» (или «имплицитные», «скрытые») перформативы, которые выражают дополнительные значения помимо

4 От лат. *in locutio* 'говорение' — обозначает внеязыковую цель, ради которой говорящий совершает речевой акт: спрашивает или отвечает, информирует, уверяет, предупреждает и т.п.



того, что они непосредственно означают (например, *Не могли бы вы передать мне соль?* или *Курить запрещено*) [Сёрль 1986а: 196].

Хотя сам Дж. Остин отрицал возможность выявления иллокуции в «поэтическом употреблении языка», в котором нарушаются нормальные условия референции, приводя в пример цитату из Дж. Донна «Пойди и поймай падающую звезду» [Остин 1986: 90], в дальнейшем исследователи стали изучать литературу, опираясь на методы теории речевых актов [Derrida 1988; Hillis Miller 2001; *Literary Pragmatics* 1991] и другие прагматические методы [Радбиль 2012; Van Dijk 1981]. Обзор исследований литературы как коммуникации см. в: [Венедиктова 2015].

В поэтическом языке Айги предикативные формы глагола (спрягаемые формы) регулярно вытесняются с помощью непредикативных форм (инфинитивов, причастий и деепричастий), эллипсиса и номинализаций. Уход от предикативности является значимым маркером прагмасемантического измерения его текстов, прежде всего во временном аспекте. Как в функционально-грамматической, так и в прагматической перспективах, характеристика действия и коммуникативной ситуации в этих текстах выражается с точки зрения «внутреннего времени»<sup>5</sup>. Развивая идею А.В. Бондарко о «внутреннем времени» номинализаций, которое выражается прежде всего посредством семантической категории аспектуальности, можно говорить о разных языковых уровнях и грамматических формах реализации «внутренней темпоральности», основанной на уходе от четкой глагольной детерминации действия, в отдельных авторских поэтиках, как в случае Айги. В его текстах происходит сдвиг от характерного для поэтических текстов настоящего или прошедшего времени (в случае лирической и эпической поэзии соответственно) в область атемпоральности, с характерными для нее процессуальностью, длительностью и отсутствием временных границ.

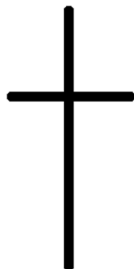
Обращаясь к анализу глагольного времени в поэзии Айги, Н.А. Николина отмечает, что в результате употребления множественных непредикативных форм, в его текстах «форма времени глагола отсутствует как исходный дейктический центр» [Николина 2006: 24].

Это важная проекция грамматического времени в область прагматической категории дейксиса позволяет сделать вывод об употреблении непредикативных форм в роли шифтеров, выражающих особую коммуникативную ситуацию у Айги: сдвиг дейктических координат — от указания на конкретное время и место — в область атемпоральности и пространственной неопределенности. Например, в тексте «Поле старинное» причастия *пробивший* и *неумолкающий* употреблены без основного предиката, который должен был бы задать определенную темпоральную перспективу, и потому выражают атемпоральность как абсолютное время, соотносимое с внеязыковым моментом речи. То же связано и с пространством, где локус *Поле* сопоставляется с числительным *РАЗ*, указывающим на первый элемент числового ряда, но в данном контексте — при отсутствии других числительных или считаемых предметов — обладающим прагматической функцией называния первоэлемента (не случайно слово написано с заглавных букв) в поэтической ситуации:

---

5 О «внутреннем времени» девербативов в контексте функциональной грамматики см.: [Бондарко 1967].

о Божий  
в творении Облика из Ничего  
зримо пробивший  
и неумолкающий  
РАЗ



в образе Поля.

[Айги 2001: 36]

Временная проекция в поэтике Айги выражается разнонаправленно: дейктические маркеры, активно употребляемые в текстах, указывают одновременно на актуальную коммуникативную ситуацию и сдвиг от исходной точки *Origo* (термин К. Бюлера, см.: [Бюлер 1993]) — за границы конкретного времени-пространства, в область атемпоральности и внепространственности как абсолютных категорий.

О таком сочетании абстрактного и конкретного в поэтическом языке Айги как билингва, формирующего свой идиостиль на границе между чувашским и русским языками, разговорной и внутренней речью, пишет А.П. Хузангай:

Его личный поэтический язык может показаться чрезвычайно абстрактным. Слова тяготеют к абсолюту, поэт вопрошает высшие начала бытия, ино-бытия и не-бытия. Его синтаксис словно шифр, целью которого является сокрытие субъекта действия — реально действующей, разлитой во всем, энергии, выражающей представление о неявленном присутствии Бога-Творца в мире. Но, с другой стороны, его слово упирается в обыденность («вещность»). Там обретается теплотворность и пульсация жизни. Слово Айги как бы распято на кресте Неба и Обыденного [Хузангай 2017: 144].

## Речевые действия в условиях интеракции и автокоммуникации

Рассмотренный выше сдвиг от конкретного и относительного времени — к абстрактному и абсолютному характерен и для речевых актов, которые чаще выражаются не прямым, а косвенным образом — с помощью номинализаций и других показателей. Например, косвенное выражение просьбы и благодарности: «(С **просьбой** вложить между следующими двумя страницами лист, подобранный во время прогулки)»; «**благодарение** / воздуху — чреву вторичному».

Хотя в основе поэтического высказывания лежит автокоммуникация, направленность поэзии Айги не только на внутреннего, но и на внешнего адре-

сата, является ключевым фактором перформативной природы его поэтического высказывания как речевого «действия» и «священнодействия» (используя слова самого Айги). Далее мы рассмотрим иллокутивные акты, ориентированные на внешний диалог с адресатом (интеракция) и на внутренний разговор с самим собой (автокоммуникация), которые часто пересекаются.

Поскольку коммуникативная ситуация в текстах Айги балансирует на границе между внешней и внутренней коммуникацией, в его текстах происходит отказ от строгой грамматической маркированности речевых актов, которые часто имеют косвенную форму выражения. Говоря об интерактивной направленности поэзии Айги, необходимо отметить указания на внешнего адресата, выраженного конкретными номинациями («брат мой / прощай»), именами собственными («простите братья Норвида») или абстрактными сущностями («благодарение Сну»; «благодарение воздуху»; «пора благодарности миру»). Кроме того, встречаются речевые акты с местоимением второго лица (*ты, вы*): «однако все это / (я заклинаю) — **вы!**..» Такое разнообразие номинаций в области адресации связано с ориентацией не только и не столько на определенного адресата, сколько на некоего идеального адресата (по В. Беньямину, см.: [Беньямин 2002]), способного совместить все режимы восприятия.

Среди интерактивно-ориентированных речевых актов у Айги часто встречаются акты благодарности, прощения, прощания и пожелания, которые, согласно классификации Дж. Сёрля, относятся к группе «экспрессивов», выражающих психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно наличествующего положения вещей (образцовые глаголы этой группы: *благодарить, поздравлять, извиняться, сочувствовать, сожалеть, приветствовать* и др.) [Сёрль 1986б: 183].

Самая распространенная иллокутивная функция у Айги — это ‘благодарность’, которая вступает в разные прагмасемантические отношения в контексте, указывая на объект благодарения (например, *Сон, мир, воздух*) и каузатор (причина: *за то, что Он — не только тайник; за свето-сгустки*): «Но, в то же время, **благодарение** Сну (хотелось сказать: Матери-Сну, — странен его род — мужской — и в русском, и во французском языках, — видно, все же, он — Бог-Сон), **благодарение** Ему за то, что Он — не только тайник, спальный мешок, — имитация Лона, — **благодарение** Ему за то, что прибор Его волн печет кое-что и для слуха, названного “поэтическим” <...> **благодарение** — за свето-сгустки, просвечивающие — может быть — ликами — еще незнакомыми (о еженощные — во сне — образки световые, — с тенями-иероглифами!)»; «и кажется все же: все больше мы люди / в беззащитности — люди: все больше / и **пора благодарности** миру // с небывалым понятием»; «И пусть, хоть и слабым свечением, дойдет — до вас — / движение и тепло **благодарности**, завершающее — круг»; «**благодарение** / воздуху — чреву вторичному».

В тех случаях, когда в речевом акте благодарности не выражается ни объект, ни каузатор, такая безобъектная конструкция оказывается воплощением благодарности в ее абсолютной функции, выражая благодарность как таковую: «Вместо “я жил” — **благодарность**: сокровищем нищего: / в веяньи этом (как зренье)».

В эту же группу входят иллокутивные функции ‘прощение’ («— **простите** мне слабому — // только уж отблесками малыми плакать о — в складках / (невозможно мне выразить) / в складках»; «я в свете Радости (**простите** братья

Норвида»); ‘прощание’ («Поляна-**Прощание**»; «Прощальное»; (так уж случилось мой друг: лишь теперь завершаю я надпись: / жарко-воздушный / родной золотой антрацитовый! — / брат мой / **прощай**; (“Так и душа...” — колыбельною песней: / **прощанью!** — сложить бы: грустнейшую в мире — из / фразы лишь этой»); «и здесь умолкая смущаем мы явь / но если **прощание** с нею сурово / то и в этом участвует жизнь»); ‘пожелание’ («вот и **желаю** тебе! / (счастье-молитва безмолвно) / в поле умолкнуть душою (“о Бог” говорим мы более-сердцем: долиной»); «**пожелаем себе**, для этого, ясного, словно простившего нас, — сна») и ‘сострадание’ («“я”-**состраданье** “я”-сон и “я”-память образ задерживают»).

Кроме того, встречаются побудительные речевые акты, входящие в группу «директивов», пропозициональное содержание которых состоит в том, чтобы слушающий совершил некоторое будущее действие (в эту группу входят глаголы спрашивать, приказывать, просить, молить, умолять, заклинать, приглашать, советовать, запрещать и др.) [Сёрль 1986б: 182].

Среди направленных на адресата директивов Айги использует глаголы спрашиваю и прошу: «и как — какими ранами — я спрашиваю / теперь друг другу соответствуете: / два странных тела — никому не нужных»; «и с а м подтверждаешь (глазами я спрашиваю) / что да: что ты — смысл: неизменный!»; «и голоса умолкшего — прошу — примите место / в свою семью!.. — умолкнуть — так — и мне / разрешено да будет».

Однако в текстах Айги такие речевые акты, ориентированные на внешнего адресата, регулярно получают автокоммуникативную направленность, как в примере с иллокутивным актом «авторефлексивного моления»: «Чтобы / **собой я молился**, / Ты / не наполняешься мне — молитвой, / и явным отсутствием / крепким / я окружен, как кругом». Или как в следующем примере, где иллокутивный акт выражается с помощью эксплицитного перформатива, но его изолированная позиция (графическое обособление скобками) указывает на отсутствие объекта: при этом заклинание (как интенсивная просьба) может быть и автообращенным речевым актом, и абсолютным актом, направленным на коммуникативную ситуацию в целом:

однако все это  
(я **заклинаю**) — вы!.. —

сплавьтесь — с последнею болью!.. — с пламенем лета!.. — вы вместе с душою в  
Ненастьи-Стране —

Огонь-Отчаянье!..

[Айги 2001: 228]

Наиболее частотными в текстах Айги оказываются иллокутивные глаголы, которые относятся к группе глаголов говорения, или *verba dicendi*: говорить, повторять, прошептать, грохотать, петь и др. В этих глаголах эксплицитруется перформативная формула «Я говорю тебе, что...», но они не выражают отношение говорящего к речевому акту или коммуникативной ситуации (просьбу, убеждение, сожаление и др.). Как отмечает Е.В. Падучева, в разговорной речи такие глаголы «с обязательностью опускаются», но в том случае, если говорящий оставляет их, они получают «не обычное, а какое-то более богатое значение» [Падучева 1985: 138].

Частотность их употребления в текстах неоавангардных поэтов отражает установку на повышенную саморефлексию и автокоммуникацию, реализуемую через диалог не только разных языков, но и внутренней и разговорной речи. Так, Мнацаканова активно использует глаголы *говорю* (*rede*) и *пою*, которые не просто указывают на процесс или ритмичность произнесения речи, но акцентируют значимость самого акта говорения, наполняемый коммуникативным значением, и задает перформативность слова как жеста (см. подробнее: [Соколова 2022: 242]).

У Айги эти глаголы выступают маркерами слова как действия, направленного одновременно на внешнюю коммуникативную ситуацию и создающего связи в пространстве внутренней речи. Это тот самый «разговор на расстоянии» и «разговор с собой», совершаемый внутри поэтического языка, о котором говорил сам Айги и в котором «языковое пограничье» (термин А.П. Хузангая [Хузангай 2017: 133]) соединялось с пограничьем функциональным (поэтическая и магическая функции языка) и перформативным (слово как жест разговорной и внутренней речи).

В таком слиянии внутренней и разговорной речи, поэтического высказывания как интерактивного и автокоммуникативного действия, разных языков и семиотических систем и достигается выражение поэзии как «священнодействия», о котором писал Айги:

В моем эстетическом воспитании, конечно же, многое связано с чувашской культурой. <...> Прежде всего, это наверняка сказалось в том, что поэзия для меня неизменно — тот вид «действия» и «связи», который лучше всего выразить словом «священнодействие». С детства, еще не зная, что это называется «поэзией», я наблюдал вокруг себя именно эту ее «функцию». Позже я все более утверждался в мысли, что она нужна для «оперирования духовными силами», не исключая (а включая) и ту необходимость, что она нужна для «выявления и поддерживания родства» между людьми [Айги 1975: 195].

Если другие речевые акты представлены в поэзии Айги преимущественно в виде косвенных форм, то иллокутивные акты «чистого» говорения регулярно выражаются в форме эксплицитных перформативов: «о эту рану сохранию как центр / пусть **говорю** я светит ею / светит существующее / скользя уходишь и уже звезда»; «и **говорю** я — слава “Ты”»; «(**говорю** я “глазки”: как будто слышны — среди игрушек твоих — слова прекратившегося возраста)»; «и вот за Желтым нарисованным / я сплю и “спите ноги — **говорю** — и спите руки”». Иногда *говорю* употребляется в форме множественного числа, служа для выражения мы-инклюзивного, отсылая к хоровому субъекту и синтетическому народному творчеству, близкому чувашской фольклорной традиции: «“Бог” **говорим** и “бессмертье” и “Ты”».

Метаязыковая функция активизируется в контекстах с многочисленными повторами *говорю* («— и **говорю** ума я **говорю** / не приложить какая же причина / а разве чистое во мне не может произвольно / тоскою веять **говорю** — // <...> мне можно **говорю** мне думаньем / моим тяжелая луна сырая / учит»), в указании на автокоммуникативный режим высказывания («что же? — **себе говорю** / место ль не тронута бывшего взгляда»), в употреблениях *говорю* с другими глаголами говорения, типа *скажу*, *сказать* («— какое дело но: **скажу** / да: в месяц маков **говорю** и роз / чтоб — так **сказать** — смягчить») или в сочетаниях, типа *говорю слова*, тавтологичных по форме, но благодаря

повтору наделяющих каждое слово новым значением: «и склонившись к тебе **говорю** / **слова** от которых глаза в темноте начинают влажно блестеть».

Для акцентирования актуального режима интерпретации поэтического сообщения служат дейктические маркеры, например указатель пространственного дейксиса *здесь*:

(а здесь:  
я говорю: а здесь:  
сеченья: видно:  
тайна:  
золотого:

и здесь мне даже не шептать).

[Айги 1991: 221]

Косвенные речевые акты, относящиеся к этой группе, включают ономотопеи («над снежною песнью ли гречки стуча по-воздушному / **ау-проглянуло** / и — нет?»; «гуляющее “**тук-тук**” дверного косяка»; «одинокое “**угу**” гладиолуса»), характерные для Айги окказиональные композиты с инфинитивами («отблестанье / покрыло: и имени нет / чего-иль-кого-Что-теперь-и-**назвать**-уже-пусто-и-позд-/но! — того: в отстраненье закрытом! — лишь кости сияют скорей чем свет глаз над лицом!»), формы прямой речи с указанием самого поэта как отправителя («вечное “**до свидания**” дяди Айги») и существительные с семантикой речи и говорения:

тааааААААААааааам:

**лиИИик:**

/крика/

[Айги 2001: 63]

(Лес-Мирозданье с единственной птицей:

с **криком**-душой).

[Там же: 217]

Аномальные сочетания с глаголом *говорю* (*я мёртво говорю*) или *забываю* <как говорить> (*забываю слова*) семантически схожи с иллокутивным самоубийством<sup>6</sup>, поскольку само их употребление приводит к коммуникативному дефолту в условиях конвенциональной речевой ситуации. Однако у Айги такие

---

6 Согласно З. Вендлеру, существует группа глаголов говорения, которые содержат семантический компонент, разрушающий иллокутивную цель (так называемый подрывной фактор), такие как *лгать*, *голословно заявлять*, *ругать*, *лстить* и др., употребление которых в первом лице единственного числа настоящего времени не приведет к достижению иллокутивной цели (нельзя обмануть, сказав *я лгу*) [Вендлер 1985: 240–241].

сочетания указывают на переход между внешним диалогом и внутренней речью, обозначают тонкую границу между говорением и молчанием: «в крови “к а с т е т” я вплавил / и теперь / **я мёртво говорю** / и режет — вплавиться — очередное слово / отечественным стать». Часто в роли единиц, косвенно маркирующих иллокутивное самоубийство, выступают глаголы с семантикой забывания, которые относятся в контекстах к акту говорения («голова / ягуаровым резким движением, / и, повернувшись, **забываю слова**») или пения («и я **забывал** это было всю жизнь **забывал** колыбельную голосом бывшую чтобы всю жизнь вспоминать колыбельную будто **безмолвно-первичную** духом меня изначально раскрывшую шириться мне обещая свободно без края»).

Отдельную группу неконвенциональных иллокутивных актов, не выделяемых в рамках традиционных классификаций, составляет акт молчания (и тишины)<sup>7</sup>. Об особой роли молчания в поэзии, неотъемлемого и имеющего определяющее значение для поэтического высказывания, неоднократно высказывался сам Айги: «И вот, парадокс... в поэзии, наряду с говорением, существует и молчание, но даже оно создается только Словом: молчащая Поэзия — говорящая некоторым иным способом...» [Там же: 158].

Выражение тишины и молчания в тексте достигается различными средствами, среди которых Дж. Янечек выделяет редукцию текста, минимализацию выразительных средств и поликодовость: «...все творчество Г. Айги создано под знаком минимализма. <...> Айги показывает, как можно (и лучше) делать поэзию из совсем небольшого. В минимализме поэтических средств необходимо глубокое уважение к словесному материалу и к способу его передачи» [Янечек 2006: 149].

Другим способом выражения молчания становятся преимущественно косвенные речевые акты, в которых оно выражается в номинативной и непредикативной форме: «и одно остается: овраги; **молчание**; вижу; овраги»; «что больше говорим — кружа вокруг **молчаньем**»; «**молчаливое** “здравствуй” гвоздя»; «боярышник — при пении **молчащий** / как бог **молчащий** — за звучащим Словом: / **молчащий** — личностью неприкасаемой: / лишь тронь — и будет: Б о г а н е т»; «События: некоторые часы — **тишины**».

Молчание становится перформативным жестом иного говорения, на доили сверхвербальном уровне. Как черный квадрат становится многомерным знаком на белом фоне, так и молчание обретает звучание через сопоставление со словами, обозначающими слабый звук (*шепот*): («так (если **молчанье** — в словах / и последнее веется): / к вам — слабостью **шепото-ткани** (того же / и в думаньи)») и получает новые значения через паронимическое сближение со словами, обозначающими не обычное говорение, а скорее звучание многочисленных голосов (*моль* — ср. с цитатой «Людская моль и конский топ» из А.С. Пушкина): «веянье: помни: **в молчании — моль**».

В связи со значением молчания в поэзии неоавангарда можно привести примеры из поэзии Мнацакановой, которая использовала глаголы молчания, так же активно как глаголы говорения: «**помолчи нас** и помилуй / нам помилуй нас **молчи нас** и помилуй нам <...> / светлая моряна **помолчи нас!** / святая моряна помилуй нас!». Важно отметить, что в этом примере глагол по-

7 Тишина и молчание у Айги неоднократно становились объектами исследования (см., например: [Маурицио 2016; Постовалова 2016; Янечек 2006] и др.), но не рассматривались прежде с точки зрения теории речевых актов.

*молчи* выражает аномальную форму глагольного управления, поскольку является непереходным и не имеет прямого объекта. У Мнацакановой же сфера его функционирования расширяется за счет формирования новых валентностей.

Итак, анализ речевых актов в текстах Айги позволил выявить значимость прагматического измерения для его поэзии и исследовать особенности поэтической коммуникации. Для поэзии Айги характерен сдвиг от прямых перформативов к косвенным речевым актам, что связано со спецификой его поэтического высказывания как перформативного жеста, направленного одновременно вовнутрь (авто) и вовне (к конкретному и/или идеальному адресату). Поскольку прагматическая ситуация балансирует на границе между внешней и внутренней коммуникацией, высказывание не требует строгой грамматической маркированности. Для самого Айги поэзия представляла одновременно и внешний речевой жест, и автокоммуникативное действие, и «священнодействие», возникающее из синтеза разных режимов высказывания, языков и семиотических систем.

Разнонаправленность диалога — по внутренней и внешней линии референции — выражается в частотности употребления экспрессивных, иллокутивных актов, которые выражают психологическое состояние субъекта (в функции благодарности, прощения, прощания и пожелания, в том числе в форме абсолютной благодарности), и директивов (в функции вопроса и просьбы). Речевые акты, конвенционально ориентированные на внешнего адресата, могут получать у Айги автокоммуникативную направленность на самого поэтического субъекта, как в случае с актом авторефлексивного моления. Автокоммуникативные функции доминируют при употреблении глаголов говорения. Иллокутивные акты молчания, характерные для Айги, оказываются максимально приближенными к автодиалогу и удаленными от внешней коммуникации, выражая функцию поэтического высказывания как действия, в котором молчание оказывается семантически и прагматически равнозначно говорению.

## Библиография / References

- [Айги 1975] — *Айги Г.* Стихи 1954—1971 гг. München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1975.  
(*Aygi G. Stikhi 1954—1971 gg. München, 1975.*)
- [Айги 1991] — *Айги Г.* Здесь: Избранные стихотворения. 1954—1988. М.: Современник, 1991.  
(*Aygi G. Zdes': Izbrannye stikhotvoreniya. 1954—1988. Moscow, 1991.*)
- [Айги 2001] — *Айги Г.* Разговор на расстоянии. СПб.: Лимбус-Пресс, 2001.  
(*Aygi G. Razgovor na rasstoyanii. Saint Petersburg, 2001.*)
- [Бахманн-Медик 2017] — *Бахманн-Медик Д.* Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / Пер. с нем. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017.  
(*Bachmann-Medick D. Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Moscow, 2017. — In Russ.*)
- [Беньямин 2002] — *Беньямин В.* Задача переводчика / Пер. с нем. Е. Павлова // Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. СПб.: Академический проект, 2002. С. 87—111.  
(*Benjamin W. Die Aufgabe des Übersetzers // Derrida Zh. Vokrug Vavilonskikh bashen. Saint Petersburg, 2002. — In Russ.*)
- [Бондарко 1967] — *Бондарко А.В.* Русский глагол: Пособие для студентов и учителей. Л.: Просвещение, 1967.



- (Bondarko A.V. Russkiy glagol: Posobie dlya studentov i uchiteley. Leningrad, 1967. — In Russ.)
- [Бюлер 1967] — Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / Пер. с нем. Т.В. Булыгиной. М.: Прогресс Универс, 1993.
- (Bühler K. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Moscow, 1993. — In Russ.)
- [Вендлер 1985] — Вендлер З. Иллокутивное самоубийство / Пер. с англ. А.А. Зализняка // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. Вып. XVI. М.: Прогресс, 1985. С. 238—250.
- (Vendler Z. Illocutionary suicide // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Lingvisticheskaya pragmatika. Iss. XVI. Moscow, 1985. P. 238—250. — In Russ.)
- [Венедиктова 2015] — Венедиктова Т.Д. Литературная прагматика: конструкция одного проекта (обзор исследований литературы как коммуникации) // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 326—345.
- (Venediktova T.D. Literaturnaya pragmatika: konstruktivnaya odnogo proekta (obzor issledovaniy literatury kak kommunikatsii) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2015. No. 135. P. 326—345.)
- [Ковтунова 1986] — Ковтунова И.И. Поэтическая речь как форма коммуникации // Вопросы языкознания. 1986. № 1. С. 3—13.
- (Kovtunova I.I. Poeticheskaya rech' kak forma kommunikatsii // Voprosy yazykoznaniya. 1986. No. 1. P. 3—13.)
- [Маурицио 2016] — Маурицио М. Роль невербальных элементов в раннем творчестве Г. Айги и Г. Саггире. К постановке вопроса // Russian Literature. 2016. № 79—80. С. 161—171.
- (Maurizio M. Rol' neverbal'nykh elementov v ranem tvorchestve G. Aygi i G. Saggira. K postanovke voprosa // Russian Literature. 2016. No. 79—80. P. 161—171.)
- [Николина 2006] — Николина Н.А. Категория глагольного времени в поэзии Геннадия Айги // Айги: Материалы. Исследования. Эссе: В 2 т. / Сост. Ю.Б. Орлицкий и др. М.: Вест-Консалтинг, 2006. Т. 1. С. 24—33.
- (Nikolina N.A. Kategoriya glagol'nogo vremeni v poezii Gennadiya Aygi // Aygi: Materialy. Issledovaniya. Esse: In 2 vols. / Comp. by Yu.B. Orlicskiy et al. Moscow, 2006. Vol. 1. P. 24—33.)
- [Остин 1986] — Остин Дж.Л. Слово как действие / Пер. с англ. А.А. Медниковой // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986. С. 22—130.
- (Austin J.L. How to do things with words // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Teoriya rechevykh aktov. Moscow, 1986. — In Russ.)
- [Падучева 1985] — Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М.: Языки русской культуры, 1985.
- (Paducheva E.V. Vyskazyvaniye i ego sootnesennost' s deystvitel'nost'yu. Moscow, 1985.)
- [Постовалова 2016] — Постовалова В.И. Слово и молчание в художественном мире Г. Айги (опыт теолингвистического осмысления) // Russian Literature. 2016. № 79—80. С. 99—110.
- (Postovalova V.I. Slovo i molchanie v khudozhestvennom mire G. Aygi (opyt teolingvisticheskogo osmysleniya) // Russian Literature. 2016. No. 79—80. P. 99—110.)
- [Радбиль 2012] — Радбиль Т.Б. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М.: Флинта, 2012.
- (Radbil' T.B. Yazykovye anomalii v khudozhestvennom tekste: Andrey Platonov i drugie. Moscow, 2012.)
- [Сёрль 1986а] — Сёрль Дж. Косвенные речевые акты / Пер. с англ. Н.В. Перцова // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986. С. 195—222.
- (Searle J.R. Indirect speech acts // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Teoriya rechevykh aktov. Iss. XVII. Moscow, 1986. P. 195—222. — In Russ.)
- [Сёрль 1986б] — Сёрль Дж. Классификация иллокутивных актов / Пер. с англ. В.З. Демьянкова // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986. С. 170—194.
- (Searle J.R. A classification of illocutionary acts // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Teoriya rechevykh aktov. Iss. XVII. Moscow, 1986. P. 170—194. — In Russ.)
- [Соколова 2022] — Соколова О.В. О вымолви! Молви! То слово безмолвия!: поэтическая прагмасемантика глаголов говорения в текстах Е. Мнацакановой // Сборник матице Српске за славистику. 2022. № 101. С. 237—255.
- (Sokolova O.V. O vymolvi! Molvi! To slovo bezmolviya!: poeticheskaya pragmasemantika glagolov govorenija v tekstakh E. Mnatsakanovoy // Zbornik matitse Srpske za slavistiku. 2022. No. 101. P. 237—255.)
- [Соколова 2019] — Соколова О.В. От авангарда к неоавангарду: язык, субъективность, культурные переносы. М.: Культурная революция, 2019.
- (Sokolova O.V. Ot avangarda k neoavangardu: yazyk, sub'ektivnost', kul'turnye perenosy. Moscow, 2019.)

- [Фещенко 2022] — *Фещенко В.В.* Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- (*Feshchenko V.V.* Yazyk v yazyke. Khudozhestvennyy diskurs i osnovaniya lingvoestetiki. Moscow, 2022.)
- [Хузангай 2017] — *Хузангай А.П.* Без иллюзий: мой современник. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2017.
- (*Khuzangay A.P.* Bez illyuziy: moy vremennik. Cheboksary, 2017.)
- [Янечек 2006] — *Янечек Дж.* Поэзия молчания у Геннадия Айги // Айги: материалы, исследования, эссе: В 2 т. / Сост. Ю. Орлицкий и др. Т. 2. М.: Вест-Консалтинг, 2006. С. 140—153.
- (*Janecek G.* Poeziya molchaniya u Gennadiya Aygi // Aygi: materialy, issledovaniya, esse: In 2 vols. / Ed. by Yu. Orlicsky et al. Vol. 2. Moscow, 2006.)
- [Derrida 1988] — *Derrida J.* Limited Inc. / Transl. from the French by S. Weber. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1988.
- [Hillis Miller 2001] — *Hillis Miller J.* Speech Acts in Literature. Stanford: Stanford University Press, 2001.
- [Literary Pragmatics 1991] — *Literary Pragmatics* / Ed. by R.D. Sell. London: Routledge, 1991.
- [Van Dijk 1981] — *Van Dijk T.* The Pragmatics of Literary Communication // Van Dijk T. Studies in the Pragmatics of Discourse. The Hague: Motion, 1981. P. 243—264.

Александр Житенев

# «Графография» рукописей Г. Айги и история текста «Без названия» (1964)

Aleksandr Zhitenev

“Graphography” of G. Aygi’s Manuscript and the History of the Text “Untitled” (1964)

**Александр Житенев** (Воронежский государственный университет, профессор кафедры издательского дела, доцент; доктор филологических наук) zhitenev@phil.vsu.ru.

**Aleksandr Zhitenev** (Dr. habil.; Associate Professor, Professor of Department of Publishing, Voronezh State University) zhitenev@phil.vsu.ru.

**Ключевые слова:** генетическая критика, графография, поэтика черновика, современная поэзия, Геннадий Айги

**Key words:** genetic criticism, graphography, poetics of the rough draft, contemporary poetry, Gennady Aygi

УДК: 82.0+82-1+821.161.1

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_95

UDC: 82.0+82-1+821.161.1

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_95

Работа с черновиком для Айги — это медитативная практика сосредоточения и самоорганизации. Для поэта существен не столько результат, сколько протяженная жизнь с текстом. Текст-для-себя и текст-для-других, таким образом, часто оказываются разными текстами. Черновик предстает более аутентичной формой существования стихотворения, чем опубликованный текст. Стихотворение «Без названия» (1964) является, возможно, самой показательной иллюстрацией этих положений. Редкий у Айги пример сочетания словесного, визуального, музыкального и перформативного компонентов, это стихотворение построено на идее авангардного слова как «лиминального», уходящего в зоны молчания. «Погустороннее» существование слова связывается с супрематическими формами — квадратом, крестом, кругом. Контекст черновика, в котором явным образом соотносятся идеи П. Флоренского, В. Хлебникова, К. Малевича, в окончательный текст не попадает. Тем самым поэт намеренно ограничивает читателя в возможностях аутентичного понимания.

It is a meditative practice of concentration and self-organisation for Aygi to work with a draft. For a poet, it is essential not so much the result but the extended life with a text. Therefore, text-for-oneself and text-for-others often turn out to be different. A draft appears to be a more authentic form of a poem’s existence than a published text. The poem “Untitled” (1964) is perhaps the most representative illustration of these points. A rare example of Aygi’s combination of verbal, visual, musical and performative components; this poem is built on the idea of the avant-garde word as “liminal” retreating into areas of silence. The ‘otherworldly’ existence of a word is associated with Suprematist forms, square, cross and circle. The context of the draft, which explicitly relates the ideas of P. Florensky, V. Khlebnikov and K. Malevich, does not make it into the final text. Thus, the poet deliberately limits a reader’s possibilities for authentic understanding.

## 1. Методологические подходы к описанию материальной стороны рукописей

В текстологических работах основное внимание, как правило, уделяется трансформациям авторского замысла, образно-смысловому плану текста. Но черновик способен рассказать не только о становлении текста, но и о логике креативности в ее соотнесенности с особенностями медиа. Восприятие автором

материальности письма косвенным образом сказывается и на тексте — не предопределяя его поэтики, разумеется, но иногда подсказывая те или иные решения.

В генетической критике, более других текстологических традиций приближившейся к исследованию креативности в черновике, было предложено несколько подходов к исследованию материального плана рукописи. Все они решают разные задачи описания творческой работы писателя.

Пьер-Марк де Биазы, описывая логику составления «досье рукописного свода», связывает с ней типологизацию рукописного материала «в соответствии с техническими параметрами», относя к последним «характеристику бумаги (размер листа, качество, цвет, плотность, тип, филигрань, наличие водяных знаков и т.д.), чернил (возможно, карандаша...), графических показателей (определение и подтверждение времени написания) и т.д. [Биазы 1999: 69]. Цель этого подхода — создание документальной базы для последующего анализа «досье».

Жан Бельмен-Ноэль ставит задачу собрать и обобщить «сведения о процессе письма» и его «технических возможностях»:

Процесс письма (scription) — это не почерк (почти всегда связываемый с рукой пишущего), это не работа над текстом (процесс реализации замысла), его, конечно, нельзя обозначить и как письмо... Это скорее совокупность условий работы над текстом, которые относятся к записанным на бумаге текстовым величинам так, как процесс высказывания относится к самому высказыванию, т.е. к самопроявлению пишущего субъекта. <...> Вначале мы видим графическое проявление пишущего: тщательность, небрежность, ясность, резкость, усердие, усталость... но это не индивидуальная графика, характерная для того или иного автора... речь идет о непосредственном, сиюминутном проявлении письма, отраженном в графическом оформлении рукописи, — откажемся, хотя бы ради шутки, на термин «графография» [Бельмен-Ноэль 1999: 106].

«Графография», по Бельмену-Ноэлю, обращена к реальности, существующей в сдвиге между описанием технических характеристик рукописи и описанием работы с ее содержанием. Исследование «жестиколяционных следов» позволяет различать «рабочие» и «текстовые» единицы рукописи: «Рабочие единицы — это фрагменты текста, которые были написаны на одном дыхании или в ходе одного сеанса работы, тогда как термин “текстовые единицы” отсылает к некоей завершенности, к смысловым структурам, не зависящим от способа их создания» [Там же: 105].

Раймонда Дебре-Женетт, стараясь описать «инсценированный процесс письма», предлагает исследователю обратить внимание на «систему, свойственную каждому писателю, в рамках которой развивается его рукопись» [Дебре-Женетт 1999: 152]. Здесь на первый план выдвигается ситуативная логика организации записей на листе и принципы соотнесения листов. Исследование «сценографии страницы» направлено на «содержание страницы с ее форматом, центрированностью или центробежностью письма, сдвигом строк вверх или вниз по горизонтали, пустыми строками внизу, добавлениями на полях» и т.д.; «макроструктуральное направление» предполагает анализ «отношения страниц между собой», выявление условий, при которых письмо «служит способом *аккомодации*» [Там же: 153]. Этот подход, в отличие от подхода Бельмена-Ноэля, предлагает видеть в графике черновика не столько

спонтанные «жестикюляционные следы», сколько более-менее устойчивые принципы организации пространства рукописи.

Попробуем применить эти методические соображения к материалу, представленному в личном архиве Г. Айги в Исследовательском центре Восточной Европы в Бремене<sup>1</sup>.

## 2. «Графография» рукописей Г. Айги: общие замечания

Наиболее представительная часть рукописного корпуса поэта 1960—1980-х годов — это черновики, записанные карандашом на желтоватой хрупкой бумаге формата А4. Практически вся правка делается поэтом в карандаше. С 1960-х по 1980-е распространенной является работа с машинописью, в которую вносятся карандашные исправления; в отдельных случаях для различения правок разного времени используются шариковые ручки разных цветов.

Рукописи рубежа 1950—1960-х годов, сохранившиеся, как правило, в виде разрезанных фрагментов, создавались на разнотипной бумаге с использованием перьевой ручки. В 1990-е годы преобладающей практикой становится работа с использованием шариковой ручки на случайных бумажных листах.

Текст, как правило, располагается по центру и предполагает использование полей — слева обычно более выраженных, справа — близких к нулевым. Поля активно задействованы для вариаций отдельных поэтических формул и подбора разных версий заглавия. Крайне редко — для замечаний или пояснений, связанных с обстоятельствами рождения текста. При этом заполнение полей не является равномерным — текст обычно появляется только рядом с нюансируемым фрагментом. Текст почти всегда располагается с небольшим наклоном, при этом правая сторона обычно выше левой. Обычно используется только одна сторона листа, но и двустороннее размещение текста — не редкость.

Очень распространенной является практика ситуативного членения пространства страницы с помощью отчеркиваний, прямоугольных скобок, выделяющих тот или иной фрагмент, а также прямоугольных блоков, в которые помещаются «готовые» варианты заглавия или устойчивые образно-смысловые формулы. Их расположение в черновике часто уточняется с помощью стрелок. Текст внутри таких фрагментов обычно располагается горизонтально, но возможны и альтернативные варианты, самый частый из которых — снизу вверх.

Интервалы между строками не урегулированы; не всегда очевидно, насколько значительным должен быть отступ. Для необходимых уточнений поэт ставит слева от текста знак >. Практика зачеркиваний единообразна почти во всех черновых листах: текст зачеркивается параллельными косыми линиями, создающими крестообразные пересечения, реже — просто крест-накрест. Отдельные слова или строки зачеркиваются тремя-четырьмя чертами. Иногда в случае напряженной работы могут образовываться целые ряды выстроенных друг под другом близких по виду зачеркнутых строк. Нередко степень «окон-

---

1 Archiv Forschungsstelle Osteuropa an der Universitat Bremen, FSO 01—218. Далее все цитаты по рукописи приводятся по этому источнику. На момент работы с ним автора статьи (2013 год) архив не был разобран, поэтому в тексте не указывается конкретная единица хранения и лист в ней.

чательности» того или иного слова маркируется карандашным нажимом. Подчеркивание обычно сопровождается заглавием; прерывистая линия обычно указывает на разрядку текста.

Обязательный маркер законченности в рукописи — дата, как правило, включающая не только год, месяц и день, но и час (обычно ночь или раннее утро), а также иногда — место написания текста. Достаточно регулярно в рукописях встречается еще один маркер законченности — росчерк с переплетающимися петлями, функционально близкий к перечеркнутому знаку z в документах, защищенных от дополнений. Рисунки для рукописей для Айги не характерны.

Стоит упомянуть и о специфическом способе хранения рукописей. В архиве Айги рукописные материалы упорядочены в серии, вложенные в газеты (как правило) или папки (иногда): «Наброски иркутского периода», «Октябрь 1975», «В.Л. Май — июнь 1980», «Октябрь 1980», «Стихи для работы. Сентябрь — октябрь 1993. 1994», «Р-1999», «Август 1997», «Срочное. Лето 2002. Лето 2003» и т.д. Даты на таких папках не всегда соотносятся с датами в рукописях, заставляя предположить, что таким образом обозначается время работы с текстами, а не время их создания.

Почти все «досье» проектов, над которыми поэт работал длительное время, хранятся компактно, но встречаются и исключения. Нормальной практикой является сохранение большинства черновых листов; история почти каждого текста детально документирована. Утрата отдельных листов, связывающих разные варианты, является исключением.

Соотнесение этих общих замечаний с выводами, сделанными ранее о принципах поэтики черновика [Житенев 2023: 245—249], позволяет интерпретировать «графографию» рукописей Г. Айги в нескольких тезисах.

Работа с черновиком для Айги — это медитативная практика сосредоточения и самоорганизации. Импульсивные записи в корпусе черновиков имеют меньшее значение, чем опыты направленного поиска. Творческий процесс — это рационально контролируемая работа, связанная с альтернированием, нюансированием, развитием ассоциативных возможностей наброска. Протяженные ряды зачеркиваний идентичных или минимально различающихся строк позволяют говорить о строгой дисциплине даже в условиях писательского блока.

Подчеркнутое внимание к объемам затраченного времени, связанного, как правило, с ночными вигилиями, интерпретация письма как «бдения» привносит в творческую практику элементы ритуальности. Работа с отдельным листом приобретает характер творческого «сеанса», а сам лист — вид «этюда». Существенное значение получают паратекстуальные пометы, указывающие на внешние обстоятельства экзистенциального характера. Стихотворный черновик помещается в ряд жизненных событий и сам приобретает вес такого события.

Множественность возвращений к черновику, нередко предполагающих переформулирование написанного с нуля, равным образом как и бережное отношение ко всем этапам творческой работы, позволяет предположить, что для поэта существен не столько результат, сколько протяженная жизнь с текстом, а наиболее аутентичной репрезентацией «поэтического» оказывается многовекторная развертка всех пройденных поэтом путей.

«Сценография страницы» у Айги — это сценография раздвигающегося и пребывающего в состоянии постоянных трансформаций умоглядного про-

странства, в котором важна нацеленность не только на «схватывание» предмета, но и на работу со «свернутыми» блоками значений, связи между которыми постоянно перестраиваются. Черновик — это автокоммуникативное пространство; детализация образа в нем, как правило, заменена указанием на ассоциативный вектор.

Переход к итоговому варианту обычно означает «прописывание» одной из образно-смысловых линий и изъятие остальных. В результате текст не просто предполагает сокрытие связей между элементами, но изменение ракурса, с которого преподносится лирическая ситуация. Текст-для-себя и текст-для-других, таким образом, часто оказываются разными текстами. Черновик в этом смысле предстает более аутентичной формой существования стихотворения, чем текст опубликованный, вынесенный поэтом в культурное поле.

### 3. Интерпретация рукописей и реконструкция аллюзивного фона стихотворения «Без названия»

Стихотворение «Без названия», примечательное единственным в своем роде сочетанием текстового, визуального (разноразмерные красные квадраты), музыкального (два нотированных фрагмента) и перформативного компонентов (инструкция о порядке чтения)<sup>2</sup>, представляет собой яркий пример, иллюстрирующий описанные выше закономерности.

В бременском архиве поэта сохранились девять листов с черновиками стихотворения. Все листы формата А4, почти все они выцвели и потемнели по краям, на некоторых края с разрывами и заломами. Текст на восьми листах карандашный, на одном — машинописный; на двух листах, близких к опубликованному тексту, рисунки квадратов выполнены красным карандашом.

На всех листах текст расположен по центру; в большинстве случаев парные строки, составляющие «рабочую единицу» и отделенные друг от друга отступом, размещены правее, чем строки выше. Возникает условная, непоследовательно выдерживаемая «лесенка». В черновике используется нажим, подчеркивающий окончательность той или иной формы слова, и стрелки, размечающие связи между отдельными строками и словами. Особенностью черновика именно этого текста оказывается выразительное использование отточий, которые на нескольких листах располагаются в несколько строк, материализуя паузу, а на одном листе образуют векторы, маркируя несемантические связи между словами.

На трех страницах в финале текста используются элементарные фигуры — квадрат, крест, круг, треугольник. В листах, близких к окончательной версии текста, остаются только квадраты.

Точкой отсчета, с которой началась работа, была, насколько можно судить, мысль о средствах перевода цветовой интенсивности в звуковую, и о том, что эти средства являются дорациональными. Первый черновой набросок крайне далек от окончательного текста, но в нем уже есть мысль о цветовой интенсивности, способах ее передачи и принципах чтения текста:

---

2 Если, конечно, рассматривать его в комплексе в текстом-пояснением «О чтении вслух стихотворения “Без названия”» (1965).

инструменты неназванные  
для озвучивания белого  
есть

инструменты неназванные  
для озвучивания белого

«я не знаю» — это видимость твоя  
«чувствую» — близкая белизна

«я не знаю» — это то что ты существуешь  
«чувствую» — близкая белизна  
«боюсь» — догадка

Попытка конкретизировать образ «инструментов» далее, как можно предположить, с одной стороны, вызвала идею эффекта, который они могут производить (выворачивание пространства), а с другой — мысль об условности знакового оформления «озвучивания» (символичность графем):

а — эль

ярче меня  
и сердца дерева

:

и если  
от дна луга

уменьшающегося  
воронкой

по ту сторону выйти

—

— искрою быть

в конце

и там начинается

1964

Упоминание о спуске в «воронку», по ту сторону которой — выход в иную реальность, заставляет вспомнить образ, который в своей работе «Мнимости в геометрии» (1922) использует П. Флоренский:

Итак, припомним путь Данта с Вергилием. <...> Оба поэта спускаются по кручам воронкообразного Ада. Воронка завершается последним, наиболее узким кругом



Владыки преисподней. <...> Но, когда поэты достигают приблизительно поясницы Люцифера, оба они внезапно переворачиваются, обращаясь ногами к поверхности Земли, откуда они вошли в подземное царство, а головою — в обратную сторону [Флоренский 1922: 46—47].

Флоренский — значимая для Айги фигура. В интервью И. Врубель-Голубкиной он упоминает о весьма раннем знакомстве с его работами: «Знакомство с кругом Красовицкого показало мне, как это важно для меня — русская боль и русские переживания. Я от них впервые услышал о Флоренском» [Айги 2019: 514]. В другом разговоре Айги прямо возводит свое понимание поэтического слова к идеям Флоренского:

Я вообще, в смысле понимания слова, себя считаю последователем отца Павла Флоренского. Его понимание слова мне очень близко. Так вот, он слово рассматривает как маленькую Троицу. Слово — это смысл, звук, но в слове есть еще третья «инстанция». Это сила, которая связывает одно слово с другим. Вот такая «троица» и работает. Само по себе слово ничего не может, оно мертво, оно ничего не может и, только действуя, оно начинает работать [Там же: 501].

Формула «а — эль», с которой стихотворение начинается, особенно в соотношении с нарисованной в черновике вертикалью и упоминанием о водоеме посреди луга («дно луга»), заставляет вспомнить В. Хлебникова с его «Словом об Эль» (1920), особенно образный ряд в финале:

Нить ливня и лужа.  
Эль — путь точки с высоты,  
Остановленный широкой  
Плоскостью.  
В любви сокрыт приказ  
Любить людей,  
И люди — те, кого любить должны мы.  
Матери ливнем любимец —  
Лужа-дитя.  
Если шириною площади остановлена точка — это Эль.  
Сила движения, уменьшенная  
Площадью приложения, — это Эль.  
Таков силовой прибор,  
Скрытый за Эль.

[Хлебников 1986: 121]

Уместно вспомнить и другой хлебниковский фрагмент, связанный с теоретизацией заузного языка в «Нашей основе»:

Значение *Л* — «переход тела, вытянутого вдоль оси движения, в тело, вытянутое в двух измерениях, поперечных пути движения». Например, площадь лужи и капля ливня, лодка, лямка. <...> Возьмем ловца на лодке: его вес распределяется на широкую поверхность лодки. Точка приложения силы разливается на широкую площадь, и тяжесть делается тем слабее, чем шире эта площадь. Пловец делается легким. Поэтому *Л* можно определить как уменьшение силы в каждой данной точке, вызванное ростом поля ее приложения [Там же: 627—628].

О пересечении Хлебникова и Флоренского в интересе к мнимостям писал В.П. Кузьменко:

Синхронность и созвучность открытий Андрея Белого и Павла Флоренского объясняется довольно просто тем фактом, что отец первого — математик и философ Н.В. Бугаев — автор книг по монадологии и аритмологии в духе идей Г.В. Лейбница, был учителем второго в стенах МГУ... Несколько иные основные истоки открытия сущности мнимости у Велимира Хлебникова, который был непосредственным учеником одного из наиболее ярких представителей казанской математической школы — А.В. Васильева [Кузьменко 2003: 181].

Рассуждения Флоренского и Хлебникова совпадают в пункте, связанном с осмыслением трансформаций пространства в некой «лиминальной» точке. Именно точка перехода в иной мир и связанные с ней изменения поэтического языка и поэтического субъекта интересуют Айги. Оборванность фразы («и там начинается...») заставляет предположить неизбежность выхода за пределы конвенционального языка, а избранная для субъекта метафора («искрою быть») позволяет допустить изменение его физической природы. Образом, маркирующим границы бытия, становится все заливающий свет («ярче меня и сердца дерева»).

На последующих листах поэт предпринимает попытку найти какие-то средства для выражения «потустороннего» опыта. Такие средства предлагает «малевичанский» язык элементарных геометрических форм. Трансформации текста идут далее в нескольких направлениях.

Во-первых, на одном из черновиков появляется указание на значимый для поэта медитативный «жанр» — «страницу»: «Гале. “Страница пустоты и благоговения”. Примечание автора. В кавычках — слова Хлебникова». Во-вторых, яркость как знак «лиминальности» отрывается от конкретных реалий и соотносится с бытийственностью, «есмостью» вещей: «ярче меня / и сердца есмости (есмь)». В-третьих, сама проговоренность идеи предела как предполагающей глубинные трансформации языка и говорящего субъекта кажется исчерпавшей лирический порыв, в связи с чем в черновике появляется маркер завершенности — дата, на одном листе — даже с именем поэта: «16 сент. 1964», «~~16 сентября 1964 айги~~».

Но самое главное — в последующих листах переход по ту сторону связывается с появлением супрематических фигур, актуализирующих новый — малевичанский — контекст. «Пульсирующий» квадрат, размер которого и расположение на странице вариативны, оказывается способом выразить то «там начинается», для которого не находится обычных слов:

*Гале*

«Страница пустоты и благоговения»

Примечание автора. В кавычках — слова Хлебникова

а — эль

ярче меня  
и сердца-дерева

и если

от дна луга

уменьшающегося  
воронкой

по ту сторону выйти

(то)

искрою быть  
в конце



и там начинается

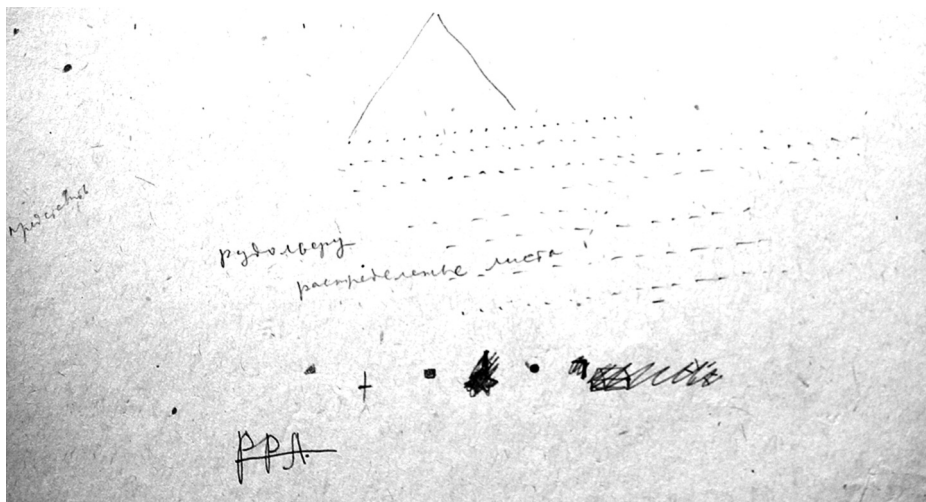
и там начинается

и там начинается

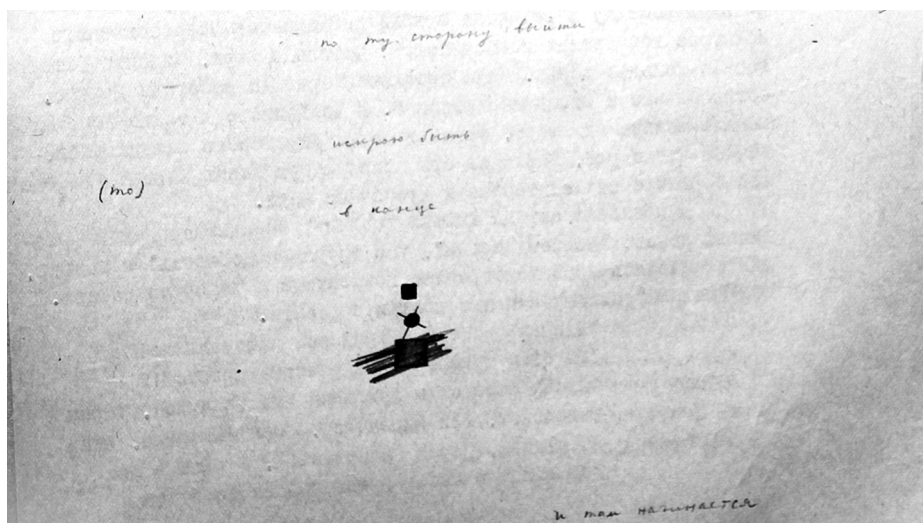
16 сентября 1964 айги

Интересно, что в черновике Айги последовательно перебирает разные супрематические формы, варьируя и сам их набор, и способ расположения на странице, и их последовательность. В то же время логика обращения к ним при всех различиях деталей неизменна: для «потусторонности» не находится слов, и это единственно аутентичные ей формы.

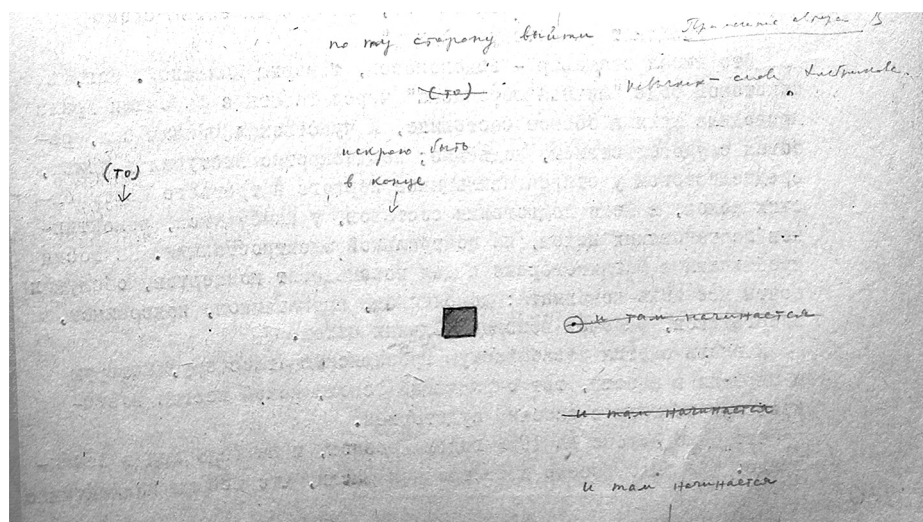
На одном из листов в ряд расположены крохотные треугольник, крест, квадрат и круг (ил. 1); на другом друг под другом — маленький квадрат, зачеркнутый круг и более крупный квадрат — тоже зачеркнутый (ил. 2); на третьем — небольшой квадрат (ил. 3). Два цветных листа позволяют отметить колебание в художественном решении: в более раннем варианте было два красных квадрата одного размера, и они были расположены один под другим, позднее нижний квадрат был стерт и заменен на квадрат меньшего размера, расположенный выше и сдвинутый вправо (ил. 4).



Ил. 1



Ил. 2



Ил. 3

Появление супрематических форм обуславливает радикальную трансформацию черновика: описание лирической ситуации («луг», «воронка», выход «по ту сторону») оказывается изъято, заменено «конспективной» формулой, в которой зафиксировано качество интенсивности в соотнесенности с природным пространством с выраженным центром-«сердцем» («ярче сердца любого единого дерева»). Тем самым черновой текст не просто оказывается сжат до наиболее выразительного элемента, но изменен таким образом, чтобы скрыть от реципиента сам лирический повод, оставив на первом плане только описание характера переживания (с маркерами исключительности, интенсивности, центрированности). «Малевичанство» Айги тем самым оказывается весьма существенным фактором, определяющим и содержательные, и формальные трансформации текста.

Без названия



арте сердца любого одинокого дерева



и:

(Писане места - споры наибольшей  
силы перья. Она отменяет там  
всичность, не выдерживая себя.  
Места нежности, - если покаяно  
»нет").

1964

#### 4. Айги-«малевичеанец»: «потусторонняя» семантика супрематических форм

О «малевичианстве» Айги уже достаточно много написано, но тема, кажется, по-прежнему требует конкретизаций и уточнений. Самая выразительная самоаттестация Айги как последователя Малевича появляется в цитированном выше интервью И. Врубель-Голубкиной: «Настоящим хлебником я так и не стал. Я — малевичеанец. Мое постижение Хлебникова продолжалось очень долго, мне многое было чуждо» [Айги 2019: 514]. О смысле этих и других «малевичеанских» контекстов у Айги существуют разные мнения.

К. Дедедиус в одной из первых работ на эту тему высказался очень развернуто:

У Айги мы встречаем тот же, «архаический, медитативный и почти мистический» звук, что и у Малевича. Оба они по-серьезному, почти по-жречески относятся к своему искусству, понимая его как долг достижения абсолютной формы. Их рефлексии и рефлексии трансцендентны и суть «иконы» некоего состояния сознания... Малевич хотел все заставить «пылать в красках», Айги — «пылать в речи». Живопись Малевича иконографична, поэзия Айги литургична (цит. по: [Ракуза 2006: 43]).

И. Ракуза, принимая без возражений эти соображения, старается конкретизировать их, установив более точные содержательные пересечения:

Что касается Айги, то он разделяет эстетические воззрения Малевича по всем пунктам. <...> Определение Геннадием Айги поэзии как «мышления ритмами» соответствует малевичеанскому определению беспредметности как «чистого ритма возбуждения». Аналогично Малевичу, который единственно «возбуждение» признает как реальное восприятие... Айги обозначает поэтический объект как силовую точку... В то время как Малевич проявление «первичной силы возбуждения» называет абстракцией... языковое проявление «силового поля» понимается Айги как... выявление «существенного» [Там же: 44–45].

О. Соколова, комментируя стихотворения Айги, посвященные Малевичу, выявляет широкий спектр пересечений, не совпадающий с уже отмеченными выше чертами:

Среди художественных открытий и эстетических идей Малевича, оказавших влияние на Айги, можно назвать обоснование и поэтическое развитие верлибра, установку на «свободный стих», модификацию плана выражения; акцентирование белизны у Малевича, которое воплощается в поэтике «цветописи» у Айги... супрематическая концепция Малевича, направленная на целостное выражение бытия через прорыв за грань формы, знака и цвета, дополняется направленностью на попытку воплощения онтологии у Айги [Соколова 2008: 78].

Разбираемый пример позволяет существенно сузить поле научного поиска, сведя исследование «малевичеанства» в данном конкретном случае к ответам на три вопроса: какие именно супрематические элементы используются Айги в черновиках? почему эти элементы сменяют друг друга? почему из всех вариантов поэт останавливается на двух красных квадратах?

Проще всего, исходя из знания контекста, дать ответ на последний вопрос. Красный квадрат в контексте рассуждений К. Малевича связан с динамикой и радикальными средствами переустройства мира:

Супрематические три квадрата есть установление определенных мировоззрений и миростроений. Белый квадрат, кроме чисто экономического движения формы всего нового белого миростроения, является еще толчком к обоснованию миростроения как «чистого действия», как самопознания себя в чисто утилитарном совершенстве «всечеловека». В общезитии он получил еще значение: черный как знак экономии, красный как сигнал революции и белый как чистое действие [Малевич 1995: 188].

В сознании Г. Айги супрематический квадрат рассматривается как знак человеческой реальности:

Почему он не с круга начал? Ведь Вселенная состоит из кругов — звезды, Солнце, Луна. Бог создал их круглыми. А что человек делал на свете для того, чтобы жить? Он делал кирпич, он дом стал класть. Это первый элемент человеческого творения. Малевич, видимо, тщательно это обдумывал. Он как бы говорил: с этого началось. Он возвращает к самой, самой основе [Айги 2001: 287].

Производным от этого значения оказывается трактовка квадрата как эмблемы авангардной креативности: «Известный “квадрат” Малевича, “врезавшись в небеса”, стал творить новое представление о времени и пространстве. Поэзию творит не инертный мелос, хранящийся в языке, а по-новому, “с треском” поворачиваемое фактурное Слово Строителя-Мастера» [Айги 2019: 145].

А.П. Хузангай, комментируя семантику белого в поэзии Айги, связывал ее с традиционной семантикой цветов в чувашской культуре [Хузангай 2006: 218]. Если исходить из этого принципа, можно попробовать выявить круг релевантных значений красного цвета квадратов в стихотворении.

А. Трофимов, исследуя символику цвета в традиционной чувашской вышивке, замечает:

В анализе нагрудных медальонов кёскё мы пришли к тому, что красный цвет является признаком красивого, цветом огня, светил, жизни и т.д. С ним связано все прекрасное, возрождающее. <...> С этим связано, стало быть, и изображение «поверхности земли», «гор», птиц, стоящих у Древа познания, «свода неба» и т.д. — всего мира, помещенного мастерицей на небольшом куске домотканого белого холста. Итак, красный цвет в вышивке выступает вообще как средство образной характеристики. Вместе с тем символическая сторона его по сравнению с другими цветами прослеживается очень четко, и он в узорах держится выкристаллизованно [Трофимов 1974: 115].

В исследованиях, посвященных языковой семантике цветообозначений, при характеристике разных лексем неизменно акцентируется «огненная» составляющая красного. Л.Л. Габышева констатирует:

Слово \*quzuł ‘красный’ имеет в чувашском языке переносные значения ‘солнечный’, ‘яркий’; этимология имени \*quzuł связана не с цветом, а с идеей сильного нагревания и накаливания; функционируя в системе геосимволики в качестве обозначения солнечной южной стороны, оно, вероятно, символизировало солнечный жар и тепло [Габышева 2019: 59].

Близкими к этому выводу оказываются и наблюдения Е.Е. Калининой:

Красный цвет ассоциируется с огнем и пожаром, что актуализируется в следующих загадках: *самки хура, чёлхи хёрлэ* ‘лоб черный, язык красный’ (дымовое окно); *аслак айёнче хёрлэ автан хирёлсе автатъ* ‘под навесом красный петух заливается’ (топка печи); *пёрт синчен пёрт сине хёрлэ автан сиксе сурет* ‘с избы на избу скачет красный петух’ (пожар) [Калинина 2021: 142].

Очевидно, что устойчивая связь «красного» и «огненного» вполне соотносима с логикой стихотворения Г. Айги, в котором акцентируется световая интенсивность, «яркость» и «озаренность». Разноразмерность квадратов и их смещенность друг относительно друга, в свою очередь, могут быть истолкованы как пульсация, перебой ритма, репрезентация перехода от одного состояния земного мира к другому, между которыми уместается строка-реплика, отражающая лирическую затронутость («ярче сердца любого единого дерева»).

При этом квадраты в итоговой версии стихотворения одновременно соотносены и насыщенной природной тишиной, и с интенсивностью музыкальных аккордов («О чтении вслух стихотворения “Без названия”», 1965): «Тихие места — опоры наивысшей силы пения».

Об эквивалентности визуального и музыкального и о расшифровке нотной записи существует свидетельство Т. Грауз:

Как заметила композитор Ираида Юсупова, когда я попросила ее уточнить, что за музыкальную фразу использует в этом стихотворении Айги: *«Это не фразы. Это один и тот же аккорд, по-разному ритмически оформленный. Гармония довольно современная»*. Позже, благодаря помощи Г.Б. Куборской-Айги и композитора И.Г. Соколова выяснилось, что эти два музыкальных отрывка написал... композитор Андрей Волконский... *«Вместо плоских квадратов из стихотворения “Без названия” (1964 года) появились два аккорда, состоящие из шести нот. Это своеобразный тетраэдр, создающий новое — многомерное — измерение. Оба музыкальных отрывка — сумрачные, суховатые; первый отрывок чуть больше второго, как и красные квадраты, первый — чуть больше второго»*, — так прокомментировал этот нотный текст Иван Соколов [Грауз 2016: 205].

Если после этих замечаний вернуться к заданным ранее вопросам о том, какие супрематические фигуры использовал Айги в черновиках и какова логика их смены, то ответы, видимо, будут такими. На одном из черновых листов на одной линии помещены треугольник, крест, квадрат и круг (см. *ил. 1*). Маленький размер и выстроенность в ряд заставляет видеть в этих рисунках знаки, своего рода алфавит, абстрактный набор возможностей. Использование таких форм просто маркирует смену языка. Позднее было принято решение о необходимости выбрать какую-то одну форму, сделать «высказывание», с этим связаны колебания между кругом и квадратом (см. *ил. 2, 3*). Логика выбора квадрата была объяснена выше: круг — небесная форма, квадрат — земная. Последующее появление двух квадратов, уточнение их размера, цвета и расположения стали шагами по конкретизации исходной «земной» интуиции.



## Библиография / References

- [Айги 2001] — *Айги Г.Н.* Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. СПб.: Лимбус Пресс, 2001.
- (*Aygi G.N.* Razgovor na rasstoyanii: Stat'i, esse, besedy, stikhi. Saint Petersburg, 2001.)
- [Айги 2019] — *Айги Г.Н.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4 / Сост. А.П. Хузангай. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2019.
- (*Aygi G.N.* Collected works: In 4 vols. Vol. 4 / Ed. by A.P. Khuzangai. Cheboksary, 2019.)
- [Бельмен-Ноэль 1999] — *Бельмен-Ноэль Ж.* Воссоздать рукопись, описать черновики, составить авантекст / Пер. с фр. О. Торпаковой // Генетическая критика во Франции. Антология / Ред. Т.В. Балашова, Е.Е. Дмитриева, А.Д. Михайлов, Д. Феррер. М.: ОГИ, 1999. С. 93—114.
- (*Bellemin-Noël J.* Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte // Geneticheskaya kritika vo Frantsii. Antologiya / Ed. by T. Balashova, K. Dmitrieva, A. Mikhailov, D. Ferrer. Moscow, 1999. P. 93—114. — In Russ.)
- [Биази 1999] — *Биази Пьер-Марк де.* К науке о литературе. Анализ рукописей и генезис произведения / Пер. Е. Дмитриевой // Генетическая критика во Франции. Антология / Ред. Т.В. Балашова, Е.Е. Дмитриева, А.Д. Михайлов, Д. Феррер. М.: ОГИ, 1999. С. 58—92.
- (*Biasi P.-M. de.* Vers une science de la littérature. L'analyse des manuscrits et la genèse de l'oeuvre // Geneticheskaya kritika vo Frantsii. Antologiya / Ed. by T. Balashova, K. Dmitrieva, A. Mikhailov, D. Ferrer. Moscow, 1999. P. 58—92. — In Russ.)
- [Габышева 2019] — *Габышева Л.Л.* Символические значения имени красного цвета в языках и культуре тюркских народов // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019. № 6 (74). С. 57—75.
- (*Gabyshева L.* Simvolicheskie znacheniya imeni krasnogo tsveta v yazykakh i kul'ture tyurkskikh narodov // Vestnik of North-Eastern Federal University. 2019. No. 6 (74). P. 57—75.)
- [Грауз 2016] — *Грауз Т.* О стихотворениях «Без названия» Геннадия Айги // Волга. 2016. № 5—6. С. 203—208.
- (*Grauz T.* O stikhotvoreniyakh "Bez nazvaniya" Gennadiya Aygi // Volga. 2016. No. 5—6. P. 203—208.)
- [Дебре-Женетт 1999] — *Дебре-Женетт Р.* Эскиз метода / Пер. М. Ариас // Генетическая критика во Франции. Антология / Ред. Т.В. Балашова, Е.Е. Дмитриева, А.Д. Михайлов, Д. Феррер. М.: ОГИ, 1999. С. 142—168.
- (*Debray-Genette R.* Esquisse de méthode // Geneticheskaya kritika vo Frantsii. Antologiya / Ed. by T. Balashova, K. Dmitrieva, A. Mikhailov, D. Ferrer. Moscow, 1999. P. 142—168. — In Russ.)
- [Житенев 2023] — *Житенев А.* Геннадий Айги: поэтика черновика. СПб.: Jaromir Hladik press, 2023.
- (*Zhitenev A.* Gennadiy Aygi: poetika chernovika. Saint Petersburg, 2023.)
- [Калинина 2021] — *Калинина Е.Е.* Цветовая лексика в чувашских загадках // Russian Linguistic Bulletin. 2021. № 4 (28). С. 141—144.
- (*Kalinina E.E.* Tsvetovaya leksika v chuvashskikh zagadkakh // Russian Linguistic Bulletin. 2021. No. 4 (28). P. 217—222.)
- [Кузьменко 2003] — *Кузьменко В.П.* Синхронное открытие физической сущности мнимости Велимиром Хлебниковым, Андреем Бельм и Павлом Флоренским // Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры XX века: VIII Международные хлебниковские чтения: В 2 ч. / Сост. Н.В. Максимова. Ч. 1. Астрахань: Изд-во АГУ, 2003. С. 180—188.
- (*Kuzmenko V.P.* Sinkhronnoe otkrytie fizicheskoy sushchnosti mnimosti Velimirom Khlebnikovym, Andreev Belym i Pavlov Florenskim // Tvorchestvo Velimira Khlebnikova v kontekste mirovoy kul'tury XX veka: VIII Mezhdunarodnye khlebnikovskie cheniya: In 2 pts. / Comp. by N.V. Maksimova. Pt. 1. Astrakhan, 2003. P. 180—188.)
- [Малевич 1995] — *Малевич К.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1 / Ред. А.С. Шатских. М.: Гилея, 1995.
- (*Malevich K.* Sobranie sochineniy: In 5 vols. Vol. 1 / Ed. by A.S. Shatskikh. Moscow, 1995.)
- [Ракуза 2006] — *Ракуза И.* Лирический супрематизм Геннадия Айги // Айги Г. Материалы. Исследования. Эссе: В 2 т. / Сост. Ю.Б. Орлицкий и др. Т. 2. М.: Вест-Консалтинг, 2006. С. 42—52.
- (*Rakuza I.* Liricheskij suprematizm Gennadiya Aygi // Aygi G. Materialy. Issledovaniya. Esse: In 2 vols. / Comp. by Yu.B. Orlicskiy et al. Vol. 2. Moscow, 2006. P. 42—52.)
- [Соколова 2008] — *Соколова О.В.* «Беспредметная живопись» К. Малевича и «беспредметная поэзия» Г. Айги // Вестник

- Томского государственного университета. Филология. 2008. № 1 (2). С. 67—79.  
(*Sokolova O.V. "Bespredmetnaya zhivopis"* K. Malevicha i "bespredmetnaya poeziya" G. Auyi // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2008. Vol. 1 (2). P. 67—79.)
- [Трофимов 1974] — *Трофимов А.П.* Цвет в чувашской вышивке // Чувашское искусство. Вып. 3. Чебоксары: Чувашский НИИ языка, литературы и истории, 1974. С. 99—126.  
(*Trofimov A.P. Tsvet v chuvashskoy vyshivke* // Chuvashskoe iskusstvo. Iss. 3. Cheboksary, 1974. P. 217—222.)
- [Флоренский 1922] — *Флоренский П.* Мнимости в геометрии. М.: Поморье, 1922.  
(*Florensky P. Mnimosti v geometrii.* Moscow, 1922.)
- [Хлебников 1986] — *Хлебников В.* Творения / Общ. ред. и вступ. ст. М.Я. Полякова; сост., подгот. текста и коммент. В.П. Григорьева и А.Е. Парниса. М.: Советский писатель, 1986.  
(*Khlebnikov V. Tvoreniya* / Ed. and introd. art. by M.Ya. Polyakov; comp., prep. and comments by V.P. Grigoriev and A.E. Parnis. Moscow, 1986.)
- [Хузангай 2006] — *Хузангай А.П.* Вопрошание о божестве // Новое литературное обозрение. 2006. № 3. С. 217—222.  
(*Khuzangay A.P. Voproskanie o bozhestve* // Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. Vol. 3. P. 217—222.)

Юрий Орлицкий

## Вертикальная композиция лирики Геннадия Айги

Yury Orlitskiy

Vertical Composition of Gennady Aygi's Lyrics

**Юрий Орлицкий** (РГГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории мандельштамоведения; доктор филологических наук) ju\_b\_orlitski@mail.ru.

**Yury Orlitskiy** (Dr. habil.; Leading Researcher, Laboratory of Mandelshtam Studies, Russian State University for the Humanities) ju\_b\_orlitski@mail.ru.

**Ключевые слова:** Геннадий Айги, стихотворная поэтика, свободный стих, гетероморфный стих, вертикальная композиция, строфика

**Key words:** Gennady Aygi, verse poetics, free verse, heteromorphic verse, vertical composition, stanza

УДК: 82.09

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_111

UDC: 82.09

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_111

В статье на материале анализа особенностей вертикального строения лирики Г. Айги доказывается оригинальность поэтики автора, заключающаяся прежде всего в создании им особо изощренной системы фиксации и разграничения пауз, фиксирующих авторскую ритмику и интонацию. В этом Айги следует за характерными для мастеров свободного стиха принципами свободной (смысловой) строфики, развивая и детализируя ее. В связи с этим в статье поднимается также вопрос о разграничении в новейшей русской лирике свободного и гетероморфного стиха.

In the article, based on the analysis of the features of the vertical structure of G. Aygi's lyrics, the originality of the author's poetics is proved, which consists primarily in his creation of a particularly sophisticated system of fixation and delimitation of pauses that fix the author's rhythm and intonation. In this, Aygi follows the principles of free (semantic) stanza, characteristic of masters of free verse, developing and detailing it. In this regard, the article also raises the question of the distinction between free and heteromorphic verse in modern Russian lyrics.

Если попробовать определить важнейшие особенности стихотворной поэтики Геннадия Айги, то в первую очередь бросятся в глаза две черты, отличающие его стихи от произведений подавляющего большинства современников: принципиальное отсутствие в них рифмы и столь же принципиальный отказ от строгого строфического упорядочивания вертикального строения текста. Именно эти внешние признаки нередко провоцируют исследователей (особенно далеких от стиховедения) относить всю его поэзию к свободному стиху.

Однако в действительности дело обстоит значительно сложнее: используя приметы современного верлибра, Айги одновременно не отказывается в большинстве своих произведений от силлабо-тонической метрики, используя, правда, чаще всего ее нетривиальные формы: различные, чаще всего вольные варианты традиционных метров и стихи с переменной анакрусой, то есть подразумевающие осознанное смешение строк различной природы, причем как двух-, так и трехсложниковой, а также сочетание силлабо-тонических и дольниковых строк. Все это позволяет трактовать большинство произведений поэта как факты так называемого гетероморфного стиха [Орлицкий 2005], о чем нам уже приходилось писать [Орлицкий 2006; 2009а; 2019].

При этом в современной науке о стихе — вслед за Ю. Лотманом, М. Гаспаровым, О. Федотовым, С. Кормиловым — сложилось понимание свободного стиха (верлибра) как самостоятельного стихового типа, обязательным для которого является принципиальный отказ от всех вторичных признаков стихотворной речи: силлабо-тонического метра, рифмы, регулярной строфики, изотонии и изосиллабизма [Орлицкий 2002: 321—330]. То есть в свободном стихе всех перечисленных способов организации стихотворного текста нет и не может быть. Во всех остальных случаях перед нами не свободный стих в строгом смысле слова, а его переходные формы, большинство из которых вписываются в рамки гетероморфного стиха.

У Айги собственно свободного стиха очень мало: в основном это ранние опыты конца 1950-х — начала 1960-х годов, а также отдельные тексты в композициях более позднего периода и некоторые поздние опыты. Отдельно стоит выделить написанные свободным стихом «вариации на темы народных песен Поволжья» «Поклон пению», создававшиеся поэтом с 1988-го по 2000-й, но опубликованные только в 2001 году [Айги 2001]; выбранная для этих демонстративно модернизированных стилизаций форма несомненно соотносилась поэтом, часто имевшим в своей творческой практике дело с переводной поэзией (в том числе французской), с переводами традиционных типов стиха верлибром, как это принято во многих европейских странах.

Прежде чем перейти к цитированию произведений Айги, необходимо обосновать выбор издания, по которому приводятся ниже все цитаты из его произведений. Это второй том выходящего в Чебоксарах Собрания сочинений поэта (вышло четыре тома, сейчас готовится пятый), выходящего под научной редакцией А.П. Хузангая [Айги 2009]. Этот том, составленный вдовой поэта Г.Б. Айги, представляет собой наиболее полное собрание его стихотворений, написанных на русском языке (604 названия), и содержит указания на первые публикации произведений и минимальные комментарии к ним. Пока это единственный опыт издания наследия поэта, приближенный к научному.

Соответственно, мы принимаем предложенное составителями деление тома на разделы, ориентированное на рукописи поэта и его книги, несмотря на то что это деление носит относительный характер, что особенно заметно при публикации ранних произведений<sup>1</sup>.

Теперь, прежде чем перейти непосредственно к вертикальной композиции стихотворений Айги, напомним основные случаи его отступлений от классического канона силлаботоники — как раз те, которые нередко принимаются за свободный стих, но им не являются: без понимания специфики горизонтального ритма невозможно понять особенности вертикального.

Это могут быть стихи, написанные одним метром, но в нерифмованном вольном (то есть имеющем разное количество стоп в строке) варианте, причем нередко с неупорядоченными окончаниями. Например, вольным белым ямбом, как стихотворение «Снег в саду» (1965), строки которого колеблются по длине от одной до четырех стоп этого размера (в схемах знаком «0» обозначается безударный звук, «1» — ударный):

---

1 Поэтому после цитат в скобках указывается только номер страниц, на которых они напечатаны в указанном томе.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| чиста проста                 | 0101       |
| глубоко и почти без места    | 010001010  |
| и тих и незаметен            | 0100010    |
| светлы и широки              | 010001     |
| сплю весь                    | 01         |
| и — сейся                    | 010        |
| мерцать замешиваться взорами | 0101000100 |
| и сеется                     | 0100       |
| и суть<br>(149).             | 01         |

Перед нами — белый разноstopный (1—4) ямб с неупорядоченными окончаниями (клаузулами, от 0 до 2 слогов) и такой же нерегулярной строфической структурой (строфоиды 4—2—1—1—1). Таким же размером написано и более позднее стихотворение «Дождь» (1977; 300) — вольным белым ямбом 46733.

Другим размером — вольным белым дактилем — написано стихотворение Айги «Поле: в разгаре зимы» (1970; 229). Эти варианты традиционного русского стиха довольно часто встречаются в русской поэзии разных веков, ничего специфически «свободного» в них нет.

Следующая ступень раскрепощения метрики, активно практикуемая Айги — так называемые стихи с переменной анакрусой (СПА), то есть состоящие из строк разных силлабо-тонических размеров. Чаще всего это трехсложники (соответственно ТПА), которыми писал, например, Лермонтов. Правда, у него все они были равноstopными, то есть выровненными по количеству стоп в строке.

У Айги встречаются СПА как на трехсложниковой, так и на двухсложниковой основе, причем всегда нерифмованные и чаще всего — вольные. Более того: в рамках одного стихотворения могут встречаться как трехсложниковые, так и двухсложниковые строки — как в стихотворении 1976 года «Образ: клен»:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| в воздухе            | 100       |
| каракули бога-дитяти | 010010010 |
| взрагивая            | 0100      |
| от Дуновенья         | 00010     |
| (292).               |           |

Здесь короткая первая строка может интерпретироваться как хорейческая или дактилическая, вторая — как амфибрахическая, а третья и четвертая — как одно- и двустопный ямб; то есть три из четырех строк написаны двумя разными двусложниками (хорей и ямб), а одна — трехсложником (амфибрахий).

Надо сказать, что именно таких, смешанных СПА у Айги подавляющее большинство, тогда как в русской поэзии их всегда были единицы, только в конце XX века ими начинают писать младшие современники поэта С. Стратановский и Е. Шварц. Вообще же, этот тип стиха встречался уже в поэзии Серебряного века (например, У Волошина), но очень редко, и именно его В. Брю-

сов называл в свое время «свободным стихом французского типа» [Брюсов 1919: 119].

В нескольких стихотворениях находим еще один (тоже восходящий к Волошину) вариант стиха на переменной силлабо-тонической основе — стих, распадающийся на полустрочия разных метров. Например, в стихотворении 1962 года «Без названия» («Все так же с тех пор...») так устроена третья строка (после схем сокращенно указаны размеры и стопность строк: Я — ямб, Амф — амфибрахий, Амф2 — двустопный амфибрахий и т.д.):

|                                      |                |          |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| посредником было окно слуховое       | 010010010010   | Амф4     |
| между душою и небом!                 | 10010010       | Дак3     |
| а окольное зрение без крапинок глаз! | 00100100/01001 | Ан2+Амф2 |
| тревожило детскую память             | 010010010      | Амф3     |
| как золотистую женскую стенку        | 00010010010    | Дак4     |
| меж нами и миром                     | 010010         | Амф2     |
| и тогда зафиксировались              | 001001000      | Ан2      |
| беспамятством мысли                  | 010010         | Амф2     |
| в лете четвертом увиденные           | 1001001000     | Дак3     |
| тени ладоней                         | 10010          | Ан2      |
| заовражных существ                   | 001001         | Ан2      |

(64).

Стихотворение написано, как видим, вольным белым ТПА, кроме третьей строки, которое очевидно распадается на два полустрочия разных метров (кстати, тоже трехсложников). Это тоже образец довольно редкого отклонения от канонической силлаботоники, появившийся в Серебряном веке и получивший определенное распространение в новейшей русской поэзии (кроме Айги, например, у А. Альчук [Орлицкий 2009б]).

Нередко в гетероморфном стихе Айги встречаются также стихотворения, в которых, наряду с силлабо-тоническими строками, появляются отдельные неметрические строки, которые можно интерпретировать как имеющие тоническую природу (то есть дольники (чаще всего), тактовики или акцентный стих). Например, в стихотворении 1966 года «К свадьбе друга» основу составляют амфибрахии (их 8) и дактили (7), еще одна строка — ямбическая, а еще одна строка полностью выпадает из силлаботоники и может рассматриваться как вставная — акцентного стиха; при этом стопность силлабо-тонических строк колеблется от 2 до 4:

|                                   |              |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| друзья,                           | 01           | Я1          |
| сегодня серебряный день           | 01001001     | Амф3        |
| будто по снегу Очакова            | 100100100    | Дак3        |
| слезы тюленьи струятся            | 10010010     | Дак3        |
| счастье мучительно                | 100100       | Дак2        |
| день намекает на образ его:       | 1001001001   | Дак4        |
| оно чтобы длительным быть         | 01001001     | Амф3        |
| удерживает себя от прозрачности — | 010000100100 | Акц3        |
| как от конца!                     | 0001         | Я2 или Дак2 |

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| позвольте же к ней не стремиться             | 010010010     | Амф3 |
| позвольте взглядеться                        | 010010        | Амф2 |
| сквозь это ненастье сегодняшнее              | 01001001000   | Амф3 |
| в вашу судьбу удаляющуюся —                  | 10010010000   | Дак3 |
| что — ей желать?.. — прояснения длительного: | 1001001001000 | Дак4 |
| лишь — к завершению жизни! —                 | 10010010      | Дак3 |
| да скоры не будут                            | 010010        | Амф2 |
| и радость и горе —                           | 010010        | Амф2 |
| в содействии этому                           | 0100100       | Амф2 |
| (153).                                       |               |      |

Читая все перечисленные стихи, приходится для каждой строчки определять ее размер, что заметно замедляет скорость чтения и усложняет его процесс. Однако в основе таких стихов все равно остается силлабо-тонический принцип, только в той или иной мере реформированный автором. Однако называть их свободными не имеет смысла — как раз наоборот, они требуют от читателя не расслабленности, а особой ритмической работы, причем в рамках традиционной версификации. Описанными типами стиха написано у Айги более 90% произведений.

Однако особый интерес представляет используемая поэтом строфика. В свое время М. Гаспаров утверждал, что свободный стих не знает строфики, имея в виду, скорее всего, вертикальную организацию стихотворной речи в традиционном понимании, — то есть охватывающее текст целиком регулярное членение его на одинаковые (или соизмеримые) отрезки: именно такое понимание закреплено в большинстве существующих описаний структуры русского стиха (Холшевников, Федотов, Кормилов, Гаспаров; основательный обзор этой проблемы см.: [Федотов 2002: 4—18]). Тем не менее понятие «строфика», как и многие другие основные категории теории стиха, до сих пор принадлежит к числу наиболее спорных: единственное, с чем соглашаются по сути дела все исследователи, что критерием строфичности (в отличие от астрофичности) является авторское деление стихотворного текста на соизмеримые по объему фрагменты, отделяемые друг от друга пробелами; но и тут есть определенная проблема: например, до сих пор нет окончательного решения, как быть со стихами, отчетливо разделяемыми на строфы благодаря системе рифмовки и упорядоченности окончаний, но не разделяемыми при этом пробелами.

При этом в случаях, когда вертикальные единицы стиховой композиции не поддаются процедуре упорядочивания, выручает понятие «строфоид», обозначающее в теории стиха любое объединение строк, отделенное от соседних пробелами. Именно из таких единиц строился, в частности, ранний русский свободный стих (далеко не всегда являющийся верлибром в строгом понимании), в том числе разного рода переходные формы этого типа стиха, которые использовали М. Кузмин, В. Хлебников, М. Волошин.

Таким образом, применительно к свободному стиху действительно правильнее говорить не о строфической, а о строфоидной композиции — или, по крайней мере, всегда помнить, что здесь мы имеем дело именно с ней.

Новый способ вертикальной организации стихотворной речи, напрямую связанный с появлением и развитием свободного стиха (например, Гейне, Уитмена, Рембо, французских поэтов рубежа XIX—XX веков), возникает в русской

поэзии уже в творчестве первых авторов, сознательно работавших с этим новым способом ритмической организации речи: Александра Добролюбова, Владимира Гишпиуса, позднее — Федора Сологуба, Александра Блока, Михаила Кузмина. Поскольку здесь главную роль играет не формальная конвенция, требующая завершения одной вертикальной единицы (строфы) и перехода к другой, а представление автора о завершенности одного высказывания и перехода к следующему, такую композицию имеет смысл называть смысловой и говорить, таким образом, о «смысловой» или свободной строфике [Орлицкий 2022].

Семантическая мотивация строфodelения нередко используется и в силлаботонике, однако именно в верлибре, свободном от диктата формальных конвенций, она становится одной из характерных особенностей нового типа стиха — кстати, одновременно формирующей и его «свободный», принципиально нерегулярный визуальный образ.

Напомним, как это работает, например, в хрестоматийном примере раннего русского верлибра — стихотворении Александра Блока «Она пришла с мороза...» (1905):

Она пришла с мороза,  
Раскрасневшаяся,  
Наполнила комнату  
Ароматом воздуха и духов,  
Звонким голосом  
И совсем неуважительной к занятиям  
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол  
Толстый том художественного журнала,  
И сейчас же стало казаться,  
Что в моей большой комнате  
Очень мало места.

Все это было немножко досадно  
И довольно нелепо.  
Впрочем, она захотела,  
Чтобы я читал ей вслух Макбета.

Едва дойдя до пузырей земли,  
О которых я не могу говорить без волнения,  
Я заметил, что она тоже волнуется  
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот  
С трудом лепится по краю крыши,  
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,  
Что целовались не мы, а голуби,  
И что прошли времена Паоло и Франчески.

6 февраля 1908  
[Блок 1997: 199]



Комментаторы новейшего академического Полного собрания сочинений поэта свидетельствуют, что эта стройная композиция, предполагающая последовательное уменьшение объема строфоидов (7—5—4—4—3—3), была нарушена Блоком только однажды, в разрозненных листах наборной рукописи книги 1912 года<sup>2</sup>, где пропущен (нельзя определить, вольно или неволью) пробел между четвертым и пятым строфоидом, что, однако, не было зафиксировано ни в одной в публикации [Там же: 501, 886]. Указанная особенность композиции этого стихотворения была неоднократно отмечена как содержательно важная во многих разборах его композиции (см., например: [Жовтис 1976] и др.).

Однако Айги идет намного дальше поэтов-верлибристов, разделяя пробелами не только смысловые блоки, но и минимальные ритмические единицы, создавая таким образом максимально подробную партитуру членения и, соответственно, «правильного», авторского чтения текста.

Так, его стихотворение 1966 года «Образ в устремлении (Н.А.)» выглядит в книге следующим образом:

безумье птицы —  
бьющейся о стекла!..

всегда:

в воспоминании:

красно!

как струйка крови  
это смешано  
с серебряным простором в воздухе! —

когда-нибудь:

в лицо направленное:

разрушит! —

и тогда увижу:

глаза лесной крестьянской девочки:

и лоб инфанты —

в двадцать лет  
(121).

Однако, если отказаться от дробного авторского членения, стихотворение можно записать как вполне традиционный ямбический текст, который интерпретируется как два катрена нерифмованного разностопного ямба, в первых двух строках — пятистопного, в остальных — четырехстопного:

---

2 Блок А. Собрание стихотворений: В 3 кн. Кн. 3. Снежная ночь (1907—1910). М.: Музагет, 1912.

безумье птицы — бьющейся о стекла!..  
всегда: в воспоминании: красно!  
как струйка крови это смешано  
с серебряным простором в воздухе! —

когда-нибудь: в лицо направленное:  
разрушит! — и тогда увижу:  
глаза лесной крестьянской девочки:  
и лоб инфанты — в двадцать лет.

Нерегулярность традиционного размера проявляется здесь в нарочитой неупорядоченности окончаний: два из них — мужские, два — женские, три — дактилические и одно — гипердактилическое, причем расположены они в тексте совершенно бессистемно. Однако, с другой стороны, первые две строки условного первого четверостишия воспринимаются как вполне традиционное по структуре первое полустиишие обычного пятистопноямбического катрена с соблюдением правила альтернанса, а предпоследняя строка — как такой же образцовый пример строки четырехстопного ямба (заметим — демонстративно не подвергшейся авторскому членению).

Следует отметить и еще одно явное движение поэта в сторону традиционного стиха — рифмоподобное созвучие второй и третьей условных строк, правда, неравносложное. Таким образом, Айги умело балансирует между традицией (использованием в качестве метрической основы стихотворения двух наиболее традиционных метров русской силлаботоники) и авангардной формой ее письменной реализации.

Вертикальная организация текста, предлагаемая поэтом, выражается прежде всего в использовании различных средств, используемых для обозначения пауз. О том, что характер и протяженность пауз имели для поэта важное значение, свидетельствует, в частности, его заметка 1965 года «О чтении вслух стихотворения “Без названия”» (имеется в виду произведение 1964 года, состоящее из двух красных квадратов, помещенной между ними одиночной строки, еще одной строки, состоящей из одиночного «и» с двоеточием и прозаического комментария, помещенных после второго квадрата); в заметке читателю предписывается:

Спокойно и негромко объявляется название.

После продолжительной паузы следует:

(идет нотный фрагмент — ЮО)

Пауза, не превышающая первую.

Строка: «ярче сердца любого единого дерева» произносится четко, без интонирования.

После длительной паузы:

(снова ноты — ЮО)

Снова длительная пауза.

Строку: «и» следует произнести с заметным повышением голоса.

После паузы, вдвое превышающей предшествовавшую, прочитывается прозаическая часть: медленно, с наименьшей выразительностью (107—108).

Нередко для ритмической разметки текста Айги использует пробелы разной величины — условно говоря, одинарные, двойные, а иногда и более протяженные (особенно в текстах, содержащих пиктограммы разного рода):

СНОВА:  
ВОЗДУХ В ВЕРШИНАХ — БЕРЕЗ

светлее:

свобода:

(давно)

1987  
(483).

Достаточно часто Айги использует для удлинения пауз также строки, состоящие из отточий; причем у него также встречаются одиночные и сдвоенные строки такого типа. Приведем пример таких строк из стихотворения 1976 года «Ветка вербы в окне» (Памяти Константина Богатырева):

<...>  
.....  
...а золотится душа и задерживается  
живая  
в окне... —  
.....  
(и чистые в днях и ночах  
только ветер да свет! —  
  
не-текущее время — застывшее поло-бесцветно  
пустым монументом победы Не-жизни:  
  
время которое высосано  
до пустоты  
где проклятье не действует) —  
.....  
(друг — знавший начало безмолвия друга) —  
.....  
.....  
...тьма  
я  
на ощупь...  
  
как в поле сыром... —  
.....  
(273).

Иногда же ряды отточий, наоборот, занимают только часть строки, представляя собой своего рода удлиненное многоточие:

СНОВА — СПЯЩАЯ

вновь  
тишиной беспокоя  
особою  
(будто  
из духа).....и дорога мне  
как рана.....склоняюсь....и рдеет  
перекрещением  
Склона — как Матери.....вея трюичностью  
Боли.....воздушный тот Склон  
чуть  
на меня  
излучая

1983, июль  
(434).

Еще один авторский типографский знак, появляющийся в позднем творчестве поэта для обозначения протяженности и особого характера межстрочной паузы, — занимающее отдельную строку двоеточие, причем «зависающее» (используя приведенное выше выражение самого поэта) между пробелами — как это происходит, например, в стихотворении 1977 года «К розам моим у порога (Сон с Поэтом — II)»:

светоломкостью и ветроломкостью  
тронул под утро:

(с сыном — таким же как мой — где-то рядом  
— моложе меня — здесь играл мой отец:

Карелия: год 41-й) —

тронул — час утра  
как свет — разрываемый — сна! —

:

днем — так молчаще-белели — как будто  
слова — как в уме — берегли они  
сдержанно-грустно:

«в сон это было...» —

(и был — этот сон):

:

(я...) —

ведь молчит и земля!.. —  
<...>  
(299).

Использование именно этого знака для обозначения паузы важно для Айги еще и потому, что он вообще обращается к нему очень часто, причем как внутри текста, так и максимально сильных позициях заглавия — как правило, это ненормативное, чисто авторское понимание возможностей и семантики довольно редкого у других русских поэтов знака препинания.

Можно также заметить, что в обозначении горизонтальных паузировак именно двоеточие как разъединяющий знак противопоставляется у Айги дефисам, соединяющим слова в единое смысловое и интонационное целое; как писал поэт в автокомментарии к стихотворению 1964 года «Ты с конца»: «Несколько слов, связанных дефисами, следует рассматривать как одно имя существительное» (95). Интересно, что в свое время этот же прием наглядной демонстрации тыняновских «единства и тесноты стихового ряда» [Тынянов 2002] предложил В. Третьяков, назвав дефисы, «обозначающие слитное произношение слов, объединенных общей интонацией» «единитными палочками» (см.: [Тимофеев 1963: 28]).

Сюда же, к средствам постоянной актуализации читательского внимания, следует добавить регулярное использование Айги шрифтовых выделений (прежде всего курсива и разрядки), ненормативных тире и «незаконных» объединений разных знаков препинания — все это, наряду с выражением смысловых оттенков текста, служит также замедлению чтения, появлению у читателя неосознанной рефлексии по поводу неожиданных пауз.

Таким образом, в распоряжении поэта оказывается достаточно широкий — по крайней мере, в сопоставлении с нормативной пунктуацией — спектр средств, призванных обозначать различные по природе и продолжительности паузы, причем как в горизонтальном течении текста, так и в его вертикальной композиции, интересующей нас сегодня.

Возвращаясь к ней, мы должны хотя бы приблизительно наметить классификацию авторских единиц вертикального ритма, используемых Айги на протяжении всего его творчества.

Тут в первую очередь, как мы уже говорили, обращает на себя внимание особый интерес поэта к сверхкратким однострочным строфоидам, нередко представляющим собой, как мы уже показали, аналогичные «ступенькам» «лесенки» начала XX века фрагменты вполне традиционных строк, чаще всего силлабо-тонических. Однако из-за частого использования Айги разного рода эллипсисов и нарочитых нарушений линейного протекания речи в большинстве случаев простая реконструкция «правильного» линейного смысла представляется сильно затрудненной, а иногда и принципиально невозможной.

Особенно это касается «зависающих» между строками служебных слов, образующих отдельные строки-строфы и выступающие как своего рода указатели, лишённые — в отличие от нормативных строк и слов — самостоятельного вербального смысла.

Следующими после строфоидов-полустроков единицами вертикального ритма в лирике Айги оказываются строфоиды, равные одной полной строке — они в произведениях поэта встречаются чаще всего и распределяются по тексту достаточно равномерно, однако имеют тенденцию к сосредоточиванию их в сильных позициях: в начале и особенно в конце стихотворения.

Убедительный пример такого распределения строфоидных объемов — стихотворение 1965 года «Приближаемся к лесу»:

в дневном — сияющем — девичьем сне:

рассеянно прослеживаешь  
сырость облачную:

как за висками:

тени-жемчуга! —

подобно  
этой смеси нежной:

туманный леса край:

распределяя по себе движения  
себя тревожит:

изнутри! —

и: как душа чиста лишь тени есть и много  
неясно только от чего над чем:  
о удивии утешь из них одна! —

такие  
острова темнеющие:

другим для зрения  
не указуемые:

не торопясь друг друга ищут:

по краю леса

вверх

(113).

Надо сказать, что у раннего Айги на короткие строфоиды делятся практически все стихотворения. При этом однострофоидные композиции в это время встречаются у него крайне редко, и в основном это очень короткие стихотворения: «Сад ноябрьский — Малевичу» (1961, 8 строк; 136); «Дерево: набросок» (1963, 6 строк; 139); «Белые розы для Ханны» (1966, 6 строк; 157); «Запись» (1967, 4 строки; 160), «Деревья в мае за окном» (1970, 3 строки; 175).

Однако даже самые короткие свои ранние стихи поэт нередко делил на строфоиды: «В честь А.» (1964, 6 строк (4+2); 134); «Январь: с кутежа» (1964, 5 строк (3+2); 140), «К стихотворению “Окно=сон”» (1965, 4 строки (1+2+1); 145).

Позднее Айги нередко обращается, наряду с полистрофоидами, к нерасчлененным на вертикальные блоки монострофоидным стихам большого объема («Снова — ивы» (1980, 21 строка; 336), «Подступы к подсолнухам» (1980, 27 строк; 340), «Маки этого года» (1985, 24 строки; 466).

В отличие от стихотворных произведений большинство прозаических миниатюр, нередко включавшихся Айги в его стихотворные книги, представляют

собой вполне традиционные по структуре тексты (в чебоксарском томе их 49; еще 22 содержат, как писал сам поэт, наряду со стихотворной «прозаическую часть», то есть это прозиметрические композиции [Бурич 1989]). Однако среди них можно выделить два, условно говоря, «стихотворения в прозе» («Озеро и птица» (1976) и «Стланник на камне» (1982), прозаические строфы (абзацы) в которых дополнительно отделяются пробелами — по образцу французской прозаической миниатюры, в русской традиции активно использовавшемуся, например, Вадимом Козовым (подробнее об особенностях прозы Айги см.: [Орлицкий 2016]).

Вот пример такого отделения, безусловно ориентированного на традиции стиховой культуры:

#### СТЛАНИК НА КАМНЕ

Землю и почву — более суровую знал он, чем ту, в которую ныне хороним.

Прощаемся с Шаламовым.

Тело Литературы, мясо Поэзии, при «градусах» ада колымского, оторвать от железа, с кусками железа, с его плотью! — такое он совершил.

Был — как умерший при жизни для жизни. Говорил — Абсолют: свет, из костей выжимаемый, более верный, чем если бы было — из «душ».

(Живые? — да были — «постольку поскольку»: строили комбинаты-«романы» — говоря об освенци-ме-мире; а было: пожарите —на месте что «было!» — с замерзшим-в-незримость кайлом-«языком».)

Мало уже значит, что тело его — мертвее земли. (С ним это было и раньше, я знал, что бывало с рукой, которую он подал мне дважды; прочтите в его томе, что бывало — с умом.)

Оставляем здесь то, из чего было выжато — все, ставшее Геометрией (не видим, но знаем) Трагедии.

Вернемся в город — в Провинцию Живых. Где будет иное отныне — пространство-и-тело Поэзии: живые для жизни не владеют Ее языком.

19 января 1982

(377)

Наконец, несколько слов необходимо сказать о любимых Айги в последние годы сверхкоротких (однострочных) текстах — удетеронах, по определению В. Бурича. По мнению этого исследователя, такие произведения (обычно не совсем точно называемые моностихами) неправомочно относить ни к стиху, ни к прозе («Законченный текст, состоящий из одной авторской строки, называется удетероном (от греческого “удетерос” — ни тот, ни этот)» [Бурич 1989: 144]), то есть эти минимальные тексты представляют собой совершенно самостоятельную, независимую группу произведений, занимающую особое место на оси «стих — проза» — точнее говоря, вне этой оси.

В чебоксарском томе удетеронами (целиком или по большей части) написано четыре из пяти больших текстов, составивших условную книгу «Листики — в ветер праздника» (1991–1997): «Мир Сильвии» (1992), «Лето с анге-

лами» (1992), «Лето с Прантлем» (1997) и «Что забредает в сломанную флейту» (1995).

Эти произведения правильнее всего определить как циклы удетеренов, безусловно имеющих особую выразительность и с точки зрения их вертикальной композиции. С одной стороны, они могут рассматриваться как своеобразные аналоги однострочных строф, изъятые из стихотворного (или прозаического) контекста, однако с другой — это безусловно самостоятельные произведения, хотя и объединенные в циклы, что дополнительно подчеркивается их сквозной нумерацией («Лето с Прантлем», «Что забредает в сломанную флейту») или нумерацией в сочетании с заглавиями («Лето с ангелами»).

Несомненно, все эти циклы обладают особой выразительностью, в том числе и благодаря своей вертикальной организации: для того чтобы показать самостоятельность составляющих цикл текстов, автор разделяет их несколькими пробелами, так что на книжной странице помещается всего по три строчки (или по шесть, считая заглавия, в «Лете с ангелами»); только в «Мире Сильвии» 32 удетерона размещены на трех страницах. Таким образом, пробелы во всех случаях занимают большую часть каждой страницы, образуя, как и в некоторых других стихотворениях Айги («Спокойствие гласного», «Нет мыши», «Снова: воздух в вершинах — берез») обширный пустотный фон для минимального вербального сообщения.

Приведенные примеры, как нам представляется, достаточно убедительно показывают, что в организации вертикального строения своей лирики Геннадий Айги в значительной степени опирался на строфический опыт свободного стиха, на его смысловую, свободную строфику, развивая ее принципы, что позволило ему создать уникальную систему ритмической организации вертикальной составляющей стихового целого.

## Библиография / References

- [Айги 2001] — Айги Г.Н. Поклон — пению. Сто вариаций на темы народных песен Поволжья М.: ОГИ, 2001.
- (Aygi G.N. Poklon — peniyu. Sto variatsiy na temu narodnykh pesen Povolzh'ya. Moscow, 2001.)
- [Айги 2009] — Айги Г.Н. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009.
- (Aygi G.N. Sbranie sochineniy: In 4 vols. Vol. 2. Cheboksary, 2009.)
- [Блок 1997] — Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. Кн. 2: Стихотворения (1904—1908) / Отв. ред. А.В. Лавров, З.Г. Минц. М.: Наука, 1997.
- (Blok A.A. Polnoe sbranie sochineniy i pisem: In 20 vols. Vol. 2. Bk. 2: Stikhotvoreniya (1904—1908) / Ed. by A.V. Lavrov, Z.G. Mints. Moscow, 1997.)
- [Брюсов 1919] — Брюсов В.Я. Наука о стихе. Краткий курс науки о стихе. Ч. I (и единств.). Частная метрика и ритмика русского стиха. М.: Альциона, 1919.
- (Bryusov V.Ya. Nauka o stikhe. Kratkiy kurs nauki o stikhe. Pt. I (and only one). Chastnaya metrika i ritmika russkogo stikha. Moscow, 1919.)
- [Бурич 1989] — Бурич В.П. Типология формальных структур русского литературного текста // Бурич В.П. Тексты. М.: Советский писатель, 1989. С. 143—156.
- (Burich V.P. Tipologiya formal'nykh struktur russkogo literaturnogo teksta // Burich V.P. Teksty. Moscow, 1989. P. 143—156.)
- [Жовтис 1976] — Жовтис А.Л. Верлибры Блока // Проблемы стиховедения. Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1976. С. 125—147.



- (Zhovtis A.L. Verlibry Bloka // Problemy stikhovedeniya. Erevan, 1976. P. 125—147.)
- [Орлицкий 2002] — Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. М.: РГГУ, 2002.
- (Orlitskiy Yu.B. Stikh i proza v russkoy literature. Moscow, 2002.)
- [Орлицкий 2005] — Орлицкий Ю.Б. Гетероморфный (неупорядоченный) стих в русской поэзии // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 187—202.
- (Orlitskiy Yu.B. Geteromorfnyy (neuporyadochennyy) stikh v russkoy poezii // Novoe literaturnoe obozrenie. 2005. No. 73. P. 187—202.)
- [Орлицкий 2006] — Орлицкий Ю.Б. О стихосложении Геннадия Айги // Айги Г. Материалы. Исследования. Эссе: В 2 т. / Сост. Ю. Орлицкий и др. Т. 2. М.: Вест консалтинг, 2006. С. 154—173.
- (Orlitskiy Yu.B. O stikhoslozhenii Gennadiya Aygi // Aygi G. Materialy. Issledovaniya. Esse: In 2 vols. / Comp. by Yu. Orlitskiy et al. Vol. 2. Moscow, 2006. P. 154—173.)
- [Орлицкий 2009а] — Орлицкий Ю.Б. Гетероморфность как основной принцип стихотворной поэтики Геннадия Айги // Творчество Геннадия Айги: литературно-художественная традиция и неоавангард. Материалы международной конференции: Тезисы, статьи, эссе. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук, 2009. С. 19—21.
- (Orlitskiy Yu.B. Geteromorfnost' kak osnovnoy printsip stikhotvornoy poetiki Gennadiya Aygi // Tvorchestvo Gennadiya Aygi: literaturno-khudozhestvennaya traditsiya i neoavangard. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii: Teziy, stat'i, esse. Cheboksary, 2009. P. 19—21.)
- [Орлицкий 2009б] — Орлицкий Ю.Б. Заметки о «свободном стихе» Анны Альчук // Дети Ра. 2009. № 11 (61). С. 16—18.
- (Orlitskiy Yu.B. Zametki o "svobodnom stikhe" Anny Al'chuk // Deti Ra. 2009. No. 11 (61). P. 16—18.)
- [Орлицкий 2016] — Орлицкий Ю.Б. Проза поэта Геннадия Айги // Russian Literature. 2016. № 79—80. P. 196—205.
- (Orlitskiy Yu.B. Proza poeta Gennadiya Aygi // Russian Literature. 2016. No. 79—80. P. 196—205.)
- [Орлицкий 2019] — Орлицкий Ю.Б. Еще раз о так называемом «свободном» стихе Геннадия Айги // Поэтическое и культурное пограничье/безграничье творчества Геннадия Айги / Сост. и отв. ред. И.Ю. Кириллова. Чебоксары: ГИГН, 2020. С. 11—18.
- (Orlitskiy Yu.B. Eshche raz o tak nazyvaemom "svobodnom" stikhe Gennadiya Aygi // Poeticheskoe i kul'turnoe pogranich'e/bezgraniich'e tvorchestva Gennadiya Aygi / Comp. and ed. by I.Yu. Kirillova. Cheboksary, 2020. P. 11—18.)
- [Орлицкий 2022] — Орлицкий Ю.Б. Свободная строфика свободного стиха: случай Алексеева // Восемь великих: [Сборник докладов] / Отв. ред. Ю.Б. Орлицкий. М.: РГГУ, 2022. С. 110—120.
- (Orlitskiy Yu.B. Svobodnaya strofika svobodnogo stikha: sluchay Alekseeva // Vosem' velikikh: [sbornik dokladov] / Ed. by Yu.B. Orlitskiy. Moscow, 2022. P. 110—120.)
- [Тимофеев 1963] — Тимофеев Л.И. Василий Кириллович Третьяковский (1703—1769) // Третьяковский В.К. Избранные произведения. М.; Л.: Советский писатель, 1963. С. 5—52.
- (Timofeev L.I. Vasilii Kirillovich Trediakovskiy (1703—1769) // Trediakovskiy V.K. Izbrannye proizvedeniya. Moscow; Leningrad, 1963. P. 5—52.)
- [Тынянов 2002] — Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция: Избранные труды. М.: Аграф, 2002. С. 29—166.
- (Tynyanov Yu.N. Problema stikhotvornogo yazyka // Tynyanov Yu.N. Literaturnaya ehvolyutsiya: Izbrannye trudy. Moscow, 2002. P. 29—166.)
- [Федотов 2002] — Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 кн. Кн. 2. Строфика. М.: Флинта; Наука, 2002.
- (Fedotov O.I. Osnovy russkogo stikhoslozheniya. Teoriya i istoriya russkogo stikha: In 2 vols. Vol. 2. Strofika. Moscow, 2002.)

# Антропология уличного насилия в начале XX века

Составитель блока: Борис Колоницкий

Владимир Булдаков

## Революция или бунт, классовая борьба или погромное хулиганство?

ВЗГЛЯД ИЗ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_126

Vladimir Buldakov

Revolution or Riot, Class Struggle or Pogrom Hooliganism? View from Today

**Владимир Булдаков** (Институт российской истории РАН, главный научный сотрудник; доктор исторических наук) kuroneko@list.ru.

**Vladimir Buldakov** (Dr. habil.; Chief Researcher, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Russia) kuroneko@list.ru.

Авторы предлагаемых ниже статей стараются показать то, чего наши современники, включая профессиональных историков, стараются не замечать. Это не удивительно — историческое сознание несовершенно *suī generis*. Человеку нужна не беспощадно реалистическая картина собственной исторической судьбы, а понятное и релаксирующее представление о прошлом. Это в первую очередь относится к таким турбулентным периодам истории, как войны и революции, — им лучше не беспокоить спящий разум современности.

О российской революции — не только великой, но и страшной — написаны горы книг и статей. Их главная слабость — невнимание к тому, что двигало «маленьким» человеком, оказавшимся внутри грандиозных событий. Ему приписывается то рациональность (в современном ее понимании) действий и поступков, то связанная с его «недоразвитостью» стихийность и импульсивность поведения. Авторы стараются по-своему подойти к давним спорам на этот счет.

Насилие пронизывает всю историю человечества. Интенсивность его возрастает в «эпоху перемен», но наблюдателей особенно впечатляют и возмущают его неупорядоченность и вандализм. В связи с этим у «цивилизованного» человека возникает ряд закономерных вопросов. Предшествует ли интен-

сификация «бытового» насилия масштабным смутам, войнам и революциям, или, напротив, они являются их следствием? Где искать истоки хулиганства, погромов, бунтов: в глобальных подвижках или в самой природе человека, не выдерживающей возросшего социального напряжения? С какими социальными слоями связывать рост насилия: с возросшей массой маргиналов или надломленной психикой «обычного» человека? В каком отношении находится «архаичная» бунтарская стихия с классовой борьбой, направляемой радикальными идеологами и подталкиваемой всевозможными провокаторами? Как анализировать природу сопутствующих массовых девиаций: с помощью позитивистской социологии или средствами социальной психиатрии?

Все эти вопросы ставились не раз и не всегда безуспешно. Так, полосу европейских войн и революций начала XX в. связывали с невиданными ранее социально-демографическими подвижками: взрывоподобным ростом народонаселения, стихийной урбанизацией, нарушением привычного гендерного равновесия, происходящими в условиях тогдашней информационной революции. Все это сочеталось с феноменом ресентимента (Фридрих Ницше, Макс Шелер) — агрессивностью, накопленной ранее в удушающей атмосфере благополучных, казалось бы, обществ. Отсюда распространение «хулиганских» видов насилия, психологически подталкивающих и мировую войну, и ее антипод — мировую революцию.

Проблема, однако, в том, как проявляют себя «универсальные» ресентиментные интенции в той или иной культурной среде. Как это влияет на контактируемость новых идей в различные — застойные или турбулентные — периоды истории? Как соотносится все это с традиционной криминогенной средой? Наконец, на основе каких источников следует разрабатывать комплекс возникших вопросов?

Известно, что молодежь «всегда бунтует», те или иные формы «озорства» пронизывали всю историю России. Но человек по своей природе не только бунтарь, но и конформист, причем порой удивительно терпеливый. Однако исследователь активизируется, когда тот взрывается, впечатляясь следствием, а не причиной. Забывается, что за спонтанными актами насилия снизу могут стоять годы, десятилетия и даже столетия привычно незамечаемого насилия сверху.

Все связанное со смутой и насилием сопровождается повышенной эмоциональностью. Баланс между реальным, воображаемым, символическим (Жак Лакан) в сознании человека меняется в пользу воображаемого. А последнему столь же неслучайно придается символическая значимость, которая, в свою очередь, способна «материализоваться» (феномен реификации). В таких условиях отношение к актуальным формам асоциальности оказывается амбивалентным. Максим Горький в предреволюционное время восторгался «босяками» (диссипативными элементами), а в 1917 году выступил в роли социально-политического моралиста, осуждавшего погромно-самосудные действия толп. В свою очередь, Леонид Андреев воспевал «морально упорядоченную» политическую революцию и возмущался анархическим «бунтом» (то же самое ранее проделывал Ч. Ломброзо). Да и крайние политики — от идейных анархистов до «патриотичных» черносотенцев — осуждали стихийное насилие. Всякий революционер будет поощрять (в том числе имплицитно) насилие, помогающее расшатывать «отживший» режим; всякая власть, включая революционную, будет отстаивать свою монополию на насилие, подавляя погромные и бунтарские действия в качестве «контрреволюционных».

Авторы представляемых текстов предлагают взглянуть на явления, упорно не замечаемые историками. Каждый читатель может либо принять, либо отвергнуть их видение и интерпретации. Но не стоит забывать, что историческая действительность в любом случае много сложнее и неожиданней, чем нам бы хотелось.

Статья **В.Б. Аксенова** «Красная баба идет»: женские погромы в годы Первой мировой войны (от базовых эмоций к социально-политическому насилию)» сразу же погружает нас в странные, казалось бы, коллизии творчески воображаемого и ассоциативно-надуманного. Действительно ли «экспрессивный импрессионист» Филипп Малявин в знаменитом полотне «Вихрь» изобразил «загадочную» пляску русских баб «в хаосе окровавленных лохмотьев»? Или его учитель — знаменитый Илья Репин — следуя народническо-передвижнической традиции явно «ко времени» (революция 1905 года!) навязал самозабвенно танцующим крестьянкам образ «холодной оргии медленных движений и затаенной жестокости на спокойных с виду лицах»?

Лично у меня малявинские бабы никогда не ассоциировались с революцией. Еще до «Вихря» Малявин отметил безудержно оптимистичным и ничуть не бунтарским «Смехом» тех же крестьянок. Да и сам И. Репин в картине «17 октября 1905 г.» изобразил «розовую» (оптимистичную), а отнюдь не кровавую революцию.

Каждый видит то, что ему хочется видеть. Особенно в турбулентные времена. Некоторые используют перверсии общественного воображения вполне прагматично. Хитроватый Репин имел обыкновение не только потакать вкусам «всякой» публики — от царей до социалистов, — но и восхвалять собственных учеников, включая таких антиподов, как Филипп Малявин и Исаак Бродский. Разумеется, не без греха иллюзорности и историка — те, которые не относятся к многочисленной армии «бесчувственных» позитивистов.

Фантасмагория бунтарских образов применительно к пресловутым «бабам» на этом не закончилась. Как показывает Аксенов, идею «красной» (кровавой, а не красивой!) бабы подхватил В.В. Розанов. По мнению Н.А. Бердяева, Розанов сам являл собой воплощение «мистической» русской бабы. При этом в самом писателе не было ничего непосредственно бунтарского, скорее наоборот. Своей пугливой эмоциональностью (чисто женским смирением перед «мужской» силой, насилием, властью) Розанов провоцировал общественные страхи (от которых затем сам же приходил в панический ужас). Этот фактор получил гипертрофированное звучание накануне новой революции — в декабре 1916 года на выставке работ Малявина в Москве, где он представил галерею старых и новых «баб». Некий критик тут же возопил: «Красная баба идет... Кажется, она все испепелит и своротит на своей дороге».

Между прочим, обращаясь к творчеству Бердяева, стоило бы обратить внимание на «темное вино» — то «темное иррациональное начало», которое, по мнению философа, «опрокидывает все теории политического рационализма». Дело не в «мистической бабе» — она лишь актуальное воплощение исторического подсознания народа, перегруженного напластованиями «отеческого» насилия, практикуемого самодержавной властью. Позднее это впечатляюще показал выдающийся художник Борис Григорьев в портретном цикле «Расея». Его безмолвствующие образы крестьян в полном смысле таили в себе ступок почти физически ощущаемых ресентиментных интенций.

Впрочем, общественная психология связана не с социологическими и тем более не с психоаналитическими абстракциями, а со своими собственными образами, метафорами, символами. С легкой руки живописцев и литераторов бунтарские беспорядки в России времен Первой мировой войны стали ассоциироваться не только с «красной бабой», но и с «красным смехом». Последний образ использовал Леонид Андреев. За ним последовал Давид Пасманик, увидевший в революции сардонический «красный смех», «вызванный стопами миллионов людей, погибших на кровью пропитанных полях Западного и Восточного фронтов». Примечательно, что в связи с революцией пробовали издавать сатирический журнал «Красный смех». В иные времена из трагического делают комическое — страхи прикрываются смехом.

Как бы то ни было, общественные страхи (всегда преувеличенные) способны накликать реальные потрясения. Разумеется, при условии, что последние имеют под собой некие «материальные» основания. В соотношении реального и воображаемого применительно к женскому бунтарству в тылу Первой мировой войны и пытается разобраться Аксенов.

Автор привлек к своему исследованию громадный, при этом весьма разнородный документальный материал. Однако на его основании можно сделать лишь самые общие выводы. Во-первых, «эмансипаторского» бунтарства российских «равноправок» (в отличие от британских суфражисток, о которых упоминает автор) не было заметно — они получили возможность общественного самоутверждения на почве благотворительности и каритативной деятельности. Во-вторых, в городе «красные бабы» не просматриваются — хорошо известные по 1905 году кумачовые флаги они не использовали. В-третьих, и городское и деревенское бунтарство было связано главным образом с бытовыми нуждами (денежное довольствие, продовольственное снабжение), а не гендерно-эгалитаристскими претензиями. Наконец, специфически женского (мстительного) насилия (если таковое в природе существует) совсем немного. И главное: женщины своим поведением (подчас истеричным) скорее провоцировали маскулинный тип социального буйства. Последнее, как принято, неуклонно «этнизировалось». В целом, образ собственно «красной бабы» материализовался лишь после Февраля 1917 года, что было вызвано общим «покрашением» общества.

Очерк **Б.И. Колоницкого, К.В. Годунова, К.А. Тарасова** «Революция или хулиганство? Уличное насилие в Петербурге в июле 1914 года в интерпретациях современников» фокусируется на событии, именуемом некоторыми авторами «началом отложенной в связи с войной революции». Подразумевается, что вторая после 1905 года революция могла бы случиться много ранее февраля 1917 года. Как бы то ни было, исследователи показывают, что спонтанными актами хулиганства сопровождалась и политические выступления рабочих, и патриотические демонстрации, связанные с началом войны. Наконец, хулиганство приняло характер масштабного бунта, обернувшегося погромом немецкого посольства. При этом некоторое недоумение у авторов вызывает вопрос о соотношении «немотивированного» хулиганства и «сознательного» социального протеста.

Представляется, что вопрос не столь сложен. Изначально британский по своему происхождению феномен хулиганства содержал в себе эпатажный вызов викторианскому застою. Российские рабочие, особенно молодые, также могли самоутверждаться с помощью вызывающих (особенно по отношению

к «буржуазной» среде) поступков. С другой стороны, российское «революционное хулиганство» психогенетически связано с традиционным юношеским «озорством», наиболее характерным для патерналистских систем. В общем, одни и те же рабочие-мужчины могли демонстрировать и «пролетарскую солидарность», и индивидуальное, и групповое хулиганство. А в целом основная масса рабочих всегда предпочитала экономические формы сопротивления. Собственно классовая борьба была связана прежде всего с завоеванием достойного положения в существующем буржуазном обществе.

Характерно, что на этом фоне призрак «красной бабы» оказался далек от масштабной «материализации», хотя женщины участвовали в захвате германского посольства, а на окраинах столицы жены мобилизованных, возмущенные скачком цен, приняли участие в разгроме нескольких базаров. Тем не менее не приходится сомневаться, что женщины-работницы в будущем могли как присоединяться к масштабным «мужским» забастовкам, так и ситуационно включаться во всевозможные (прежде всего продовольственные) погромы, устраиваемые хулиганствующими люмпенами. Кому-то хотелось увидеть во всем этом проявление классовой борьбы, кто-то объяснял его деградацией городских низов, морально сросшихся с преступной средой, а некоторые связывали стихийное насилие с подстрекательством неких «темных сил». Картина происходящего не могла не меняться с изменением угла зрения очевидца.

**Ц. Хасегава** в статье «Самосуды в Петрограде и русская революция, март 1917 — март 1918» обратился к одной из самых неприглядных сторон революционной обыденности — расправам толп над преступниками, как реальными, так и мнимыми. На протяжении многих лет историки старались не замечать этого явления. Между тем в сознании столичных (и не только) обывателей именно погромы, постоянно оборачивающиеся самосудными акциями, постепенно занимали главное место в формирующемся образе революции.

Февральский переворот по-своему актуализировал феминистический нарратив революционной действительности. Однако востребованным оказался не фантом архаичной «богини-мстительницы», не фигура «Свободы на баррикадах» Э. Делакруа, а благостный образ античной девы, возвещающий с обложек популярных изданий о наступлении царства Свободы, Равенства, Братства. Таковы были старые как мир иллюзии, нашедшие свое преломление в сознании интеллигентов. Тем временем на улицах происходило нечто иное. В связи с растущим дефицитом нарастала волна беспорядков (прежде всего продовольственных), «революционная милиция» оказывалась бессильной перед разгулом преступности, а воображение горожан рисовало типаж грязной торговли-спекулянтки, который со временем приобретал еще более отвратительный образ — «Слепая бабища — Резня» (Аркадий Бухов). С некоторой натяжкой можно сказать, что действительно появилась «красная баба». Однако теперь она казалась окрашенной в иной цвет — черный цвет анархии.

Власть, возникшая после Февраля, отменив смертную казнь и распустив ненавистную полицию, не смогла восстановить монополию на насилие с помощью случайно набранной милиции и столь же профессионально беспомощных «революционных» судов. Население реагировало соответственно: толпы самостоятельно творили суд и расправу не только над ворами, но и над укрытателями продовольствия и дефицитных товаров, торговцами-спекулянтами и даже милиционерами, в которых не без оснований подозревали бывших уголовников. При этом былая ненависть к «немцу» переместилась на «жидов».

Похоже, что даже «цивилизованные» граждане, отнюдь не одобрявшие самосудных расправ, в душе им сочувствовали.

Преступников то расстреливали (соответственно военным навыкам), то забивали насмерть, не забывая по деревенскому обычаю позорно их стигматизировать. Еще чаще жертв топили — то ли отзвук средневековых представлений о «высшем» суде («либо потонет, либо выплывет», хотя выплывать не давали), то ли обеспечивая (в соответствии с общинными практиками) некую анонимность преступления. Однако до тогдашнего сельского изуверства, когда преступников сжигали или забивали в пятки гвозди (об этом не раз писали газеты), в столице дело не доходило. Не было и случаев публичных садистских расправ над аристократками, которыми в свое время упивалась парижская чернь.

Всякая революция демонстрирует свою культуру насилия. Последняя впитывает в себя не только архетипические жестокости прошлого, но и карательные навыки современности. Однако во всяком стихийно разрастающемся насилии рано или поздно прорежутся устрашающие доисторические изуверства. От этого не спасут никакие призывы к справедливости и гуманности.

Из кого состояли толпы, творящие расправу? Ц. Хасегава отмечает, что рабочих среди них не было заметно. Вероятно, это справедливо. В 1917 году рабочие сконцентрировались на внедрении собственных порядков в заводских и фабричных цехах. Впрочем, в погромах и самосудах могли участвовать их жены и повзрослевшие дочери. Возмущенных обывателей, конечно, подначивали хулиганы. Несомненно, активно участвовали в расправах солдаты (в основном бывшие крестьяне), заполонившие городские пространства. Независимо от ссылок автора на Эмиля Дюркгейма и Гюстава Лебона, пытавшихся проникнуть в психологию толпы (список авторитетов по этой части можно продолжить), очевидно, что урбанизированная петроградская среда оказалась пропитана архаичными (деревенскими) представлениями о преступлении и наказании. Естественно, в провинции происходило нечто подобное.

Самосудные расправы не случайно множились по мере приближения к большевистскому перевороту. Характерно, что если ранее большевики воспринимали их как проявление классовой борьбы, то, придя к власти, они объявили их «контрреволюционными». Автор считает, что большевикам удалось остановить вакханалию самосудов внесудебным путем, расстреливая на месте и пойманных преступников, и участников расправ над ними. Не приходится сомневаться, что существовала прямая зависимость между архаикой разрушенных социумов, агрессивностью сформировавшихся из их обломков толп и уровнем репрессивности выросшего из бывшего беззакония политического режима.

**М. Стейнберг** предложил рассмотреть постреволюционную «хулиганскую» ситуацию под весьма необычным углом зрения, сравнив «уличные эмоции и уличную мораль» в Одессе и Бомбее. Этот прием выглядит оправданным. В том и другом случае население находилось как бы под внешним — отчужденным от своей культурной среды — управлением.

Хулиганство, особенно в деревне, беспокоило царские власти еще перед войной, не справилось с ним и Временное правительство. Сходным образом как советские власти, так и британские колониальные управленцы усматривали в уличном насилии политическую и моральную угрозу своему существованию. Было известно, что большие города втягивают в себя всевозможных социальных отщепенцев. Само своеобразие Одессы — южнорусского портового города,

известного как талантами, так и подонками, — могло предстать в глазах большевиков вызовом их устремлениям к новой морали и новому человеку.

1920-е годы следовало бы рассматривать в контексте постреволюционной общественной фрустрации. Однако большевистский режим вольно или невольно нагнетал новую волну агрессивности и в городе, и в деревне. Трудность борьбы с хулиганством связывалось с тем, что теперь его сложно было связать с деятельностью враждебного контрреволюционного класса — активно хулиганили молодые рабочие. Можно было, конечно, объявить хулиганство еще одним пережитком прошлого, однако, вопреки ожиданиям, этот пережиток прогрессировал и даже становился модой.

Нечто подобное происходило в Бомбее. При этом если в Одессе хулиганство все основательнее подпитывалось антисемитизмом, то в Бомбее оно отягощалось межобщинными противоречиями. В Индии и колониальные власти, и местные культурные элиты не находили иного объяснения этому явлению, помимо указаний на деградацию низов и ревитализацию религиозно-этнических практик. Между тем хулиганство можно интерпретировать как ответ на моральную немощь общества и управленческую несостоятельность власти, претендующей на тотальный характер своего господства. В общем, иных способов борьбы с хулиганством, кроме властного насилия, его же стигмулировавшего, не находилось.

Несомненно, в том и другом случае определяющим фактором хулиганского поведения был ресентимент. Репрессивный тип власти способен нагнетать его весьма эффективно. Ныне почти забытый в Европе (он был очень популярен в 1960-е годы) темнокожий философ и психоаналитик Франц Фанон в своей знаменитой книге «Проклятем заклейменные» (в оригинале «Les damnés de la terre») не случайно писал о «закипающей под кожей» «концентрированной ярости», готовой прорваться в любой момент у предельно униженных людей (вспоминаются строки А. Блока: «Темная, земная кровь...»). Со своей стороны, Славой Жижек, фрейдомарксист и последователь Ж. Лакана, считал, что хулиганские акции являются не столько формой протеста, сколько языком безмолвных существ, лишенных конструктивных жизненных ориентиров. Бесплезно морализировать по этому поводу, а равно искать виновных. Исправить положение можно было только «изнутри», активизируя творческие, а не разрушительные потенции общества. Революции, напротив, мобилизуют иррационально-агрессивные пласты культурно-исторической сути человека.

Каждый из авторов представленных очерков сообщает о «своей» разновидности насилия, не сообразуясь с соседствующими текстами ни в фактографическом, ни в терминологическом отношении. Однако их автономные тексты органически сливаются в единый метанарратив «красной смуты» — этого «сумбурного» апофеоза системного кризиса империи. Историки редко отваживаются на исследование этого феномена «изнутри», а некоторые даже пытаются заслониться от него с помощью марксистско-ленинских анахронизмов. Но явление, впитавшее в себя и модернизаторские позы извне, и эндогенные архаизмы, не могло стать ни антиподом капитализма, как воображали марксистские доктринеры, ни социально справедливым, как мечтали низы, ни тем более демократичным, как надеялись культурные элиты.

Разумеется, авторы очерков не смогли ответить на все возникающие по военно-революционной теме вопросы. Но на данной стадии исследования важно было хотя бы обозначить наиболее неудобные из них.



Владислав Аксенов

# «Красная баба идет»: женские погромы в годы Первой мировой войны

(ОТ БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ К СОЦИАЛЬНО-  
ПОЛИТИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ)

Vladislav Aksenov

“The Red Woman is Coming”: Women’s Pogroms During World War I  
(From Base Emotions to Sociopolitical Violence)

**Владислав Аксенов** (Институт российской истории РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) vlaks@mail.ru.

**Vladislav Aksenov** (Dr. habil.; Senior Research Fellow, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences) vlaks@mail.ru.

**Ключевые слова:** женские погромы, Первая мировая война, солдатки, красная баба, история эмоций, гендерная история

**Key words:** women’s pogroms, World War I, female soldiers, red woman, history of emotions, gender history

УДК: 94.4+94.5

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_133

UDC: 94.4+94.5

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_133

В статье анализируется феномен бабьих бунтов периода Первой мировой войны в социально-психологическом и культурном контекстах. Автор обращает внимание на рождение в начале XX века образа «красной бабы», который современники посчитали символом революционной стихии. В годы Первой мировой войны в этой стихии проявились архаизация сознания и высокая роль слухов как фактора протестной активности, усиление ксенофобий и связанных с ними этнических стереотипов, аккумуляция ненависти к низовым представителям власти. Распространявшееся за пределы сельской местности насилие крестьянок, беженок превращало города в пространство эмоциональных, культурных, социально-политических конфликтов и в каком-то смысле «раскультивировало» современный город. При этом женское погромное движение нельзя объяснять исключительно экономическими факторами военного времени, в нем проявился социально-ролевой конфликт традиционного и современного статусов женщины.

This article analyzes the phenomenon of women’s revolts during the World War I period in socio-psychological and cultural contexts. The author pays attention to the birth in the early twentieth century of the image of the “red woman,” which contemporaries considered a symbol of the revolutionary element. During World War I, this element manifested the archaization of consciousness and the outside role of rumors as a factor of protest activity, the strengthening of xenophobia and the ethnic stereotypes associated with it, and the accumulation of hatred towards local representatives of power. The violence of peasant and refugee women, which spread beyond the rural areas, turned cities into spaces of emotional, cultural, and sociopolitical conflicts and, in a sense, “uncultivated” the modern city. At the same time, the women’s pogrom movement cannot be explained solely by the economic factors of wartime; it revealed the social and role conflict between the traditional and modern statuses of women.

Во время декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве художник Ф.А. Малявин пишет картину «Вихрь», на которой в импрессионистической манере изображает пляшущих крестьянок. Их красные сарафаны и платки развиваются как языки пламени, а полные торжества смуглые лица как будто таят угрозу. И.Е. Репин оставил о ней восторженный отзыв:

А у нас в России гениальным представителем нового вида искусства я считаю Ф. Малявина. А самой яркой картиной революционного движения в России — его «Вихрь». Еще издали это большое полотно поражает вас цветом свежей крови, залившей всю картину... Подходя, вы замечаете в хаосе окровавленных лохмотьев загадочно пляшущих русских баб... В лицах и движениях фигур видна холодная оргия медленных движений и затаенной жестокости на спокойных с виду лицах<sup>1</sup>.

Характерно, что спустя несколько лет Репин в картине «17 октября 1905 г.» также использует образ дородной, одетой в красное платье женщины, высоко поднявшей красный букет, и уже В.В. Розанов в своей рецензии на полотно Репина, рассуждая о женской революционной активности, использует слово «вихрь» — сближая тем самым холсты Малявина и Репина. Хотя сам Розанов давал антисемитско-конспирологическую интерпретацию событий 1905 года, описывая репинскую картину, он отметил стихийную народно-архетипическую природу революции: «Русская масленица. Репин, не замечая сам того, нарисовал “масленицу русской революции”, карнавал ее, полный безумия, цветов и блаженства»<sup>2</sup>.

Образ красной бабы оказался востребованным в художественном и публицистическом пространствах империи, так как перекликался с модерными гендерными процессами, протекавшими в России с конца XIX века [Стайте 2004; Щербинин 2004; Энгельштейн 1996]. Эти процессы пугали консервативно настроенных современников в силу того, что разрушали некоторые стереотипы традиционно-патриархального общества. Даже некоторые либеральные издания не без тревоги рассказывали о феминизме и устрашали своих читателей фотографиями уличных акций английских и американских суфражисток. «Петербургский листок» описывал устроенное суфражистками побоище в Лондоне, во время которого женщины избивали кнутами и палками полицейских, для пущей убедительности иллюстрируя рассказ рисунком<sup>3</sup>. Примечательно, что одна из статей на эту тему в «Синем журнале», несмотря на очевидную принадлежность суфражисток к образованным слоям общества, была названа «Бабий террор». В ней автор перечислял методы борьбы женщин за избирательные права, к которым относил поджоги церквей и уничтожение произведений искусства<sup>4</sup>. Тем самым «хулиганствующая баба» становилась символом архаичного бунта модерного времени, в чем нет ничего удивительного: культура модерна, как лотмановская «культура взрыва», формировавшаяся в противостоянии с традицией, унаследовала от последней ее родовые архаические формы. Вместе с тем архаика и модерн — это не только культуры и типы обществ с их формальными социальными структурами, но еще пласты сознания, сосуществующие на разных уровнях в каждом человеке. В кризисные периоды архаика вырывается наружу через эмоции и аффекты, в результате чего даже с образованных женщин слетает налет культуры, и они целиком отдаются погромному настроению. Это происходило, например, во

- 
- 1 Новое о Репине: Статьи и письма художника, воспоминания учеников и друзей, публикации / Ред.-сост. И.А. Бродский, В.Н. Москвинов. Л.: Художник РСФСР, 1969. С. 20.
  - 2 *Розанов В.В.* Среди художников. СПб.: Тип. тов-ва А.С. Суворина «Новое время», 1914. С. 457.
  - 3 Петербургский листок. 1914. 1 марта.
  - 4 Синий журнал. 1914. № 22. С. 12.

время разгрома немецкого посольства в Петербурге 22 июля 1914 года или во время антинемецкого погрома в Москве 26—29 мая 1915 года.

Метафора бабьего бунта подчеркивала эмоциональную природу и стихийность женского движения, которое противопоставлялось организованно-рациональной деятельности мужчин. Соответственно, слово «баба» обрело новые смыслы: помимо крестьянок или впавших в состояние аффекта дам из высшего общества, оно обозначало мужчин, чья эмоциональность в суждениях и поступках не соответствовала известным стандартам. Так, восторгавшийся репинским безумным карнавалом революции Розанов стал в 1914 году объектом критики со стороны Н.А. Бердяева. В очерке «О “вечно-бабьем” в русской душе» Бердяев обвинял Розанова в языческом мистицизме, подчинении разума чувствам, которые становятся угрозой для России:

Розанов — гениальная русская баба, мистическая баба. И это «бабье» чувствует себя в самой России... «Розановское», бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще очень сильно в русской народной стихии. «Розановщина» губит Россию, тянет ее вниз, засасывает, и освобождение от нее есть спасение для России<sup>5</sup>.

Следует заметить, что некоторые патриархальные стереотипы о женской психологии находили известные подтверждения в силу их социальной детерминированности. Так, более низкий уровень женского образования не способствовал последовательности в суждениях, высказываниях крестьянок, заставляя недостаточную аргументированность компенсировать излишней эмоциональностью. Тяжелое положение в городах мигранток из деревень заставляло их действовать более агрессивно. Город становился пространством эмоциональных конфликтов, столкновения двух эмоциональных режимов: закрытого, сдержанного, городского и открытого деревенского. При этом гендерные стереотипы предопределяли снисходительное отношение к женщинам со стороны представителей силовых структур, чем нередко пользовались представительницы низших сословий. Как следствие, протест женщин-работниц в городах нередко принимал более острые формы, чем у мужчин [Astashov 2022: 92].

В деревнях складывалась своя традиция участия крестьянок в погромах, в которых за бабами закреплялись определенные роли. Исследователи обращают внимание, что еще накануне первой революции мужики прикрывались женщинами, пуская их первыми в «бой». Часто крестьянский погром начинался с того, что громить усадьбу принимались бабы, а мужики присоединялись только после того, как удостоверяться в отсутствии карательных инициатив представителей власти. Управляющий именем Тrepке Полтавского уезда сообщал в 1902 году следственной комиссии: «Сначала явились бабы и занялись мелким хищением, а мужчины прятались, выглядывая по временам из-за изгородки и вошли в дело лишь тогда, когда убедились в безнаказанности баб» [Кабытов 1999: 57]. В июне 1914 года в Ставропольской губернии вспыхивали протесты крестьян против введения земств (ходили слухи, что это приведет к возвращению крепостного права). Жандармы писали в отчетах, что агрессивнее всего вели себя бабы, объясняя это тем, что «женщины, как наи-

---

5 Бердяев Н.А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. М.: Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1918. С. 32, 41, 42.

более консервативный элемент, реагируют сильнее на новшества», и отмечали, что мужики сознательно выдвигали «на первый план женщин — в наивной уверенности, что “на бабу суда нет”» [Шестаков 1927: 116].

Другая функция бунтующих крестьянок и работниц — эмоциональное стимулирование мужчин. Во время рабочих беспорядков весны — лета 1914 года, когда городовые с дворниками пытались убедить митингующих разойтись, нередко истеричные крики женщин (а также подростков) провоцировали агрессию толпы против представителей власти. Помимо этого находящимся в состоянии аффекта бабам приписывалась особая жестокость, что, например, отмечалось во время беспорядков на Лысьвенском заводе в июле 1914 года. Толпа не просто убивала представителей администрации, но и предварительно издевалась над ними — в раны умирающих вставляли папиросы [Забуга 2010: 136]. В рапорте окружного инженера А.А. Иванова сообщалось: «Особенно, говорят, бесчинствовали женщины»<sup>6</sup>.

Это несколько расходится с традиционными взглядами на женскую психологию, приписывающими женщинам большую эмпатию. Исследования не подтверждают гендерно-биологическую предрасположенность к эмпатии, равно как и связь агрессии с тестостероном [Берн 2001: 102, 109]. Более значимой причиной склонности к агрессии является социальный фактор. А. Моц, клинический психолог, работавшая в женских исправительных учреждениях, рассматривает превращение женщины-жертвы в женщину-убийцу как акт восстания против установившихся ролей [Моц 2021: 351]. В российском женском насилии периода модернизации можно отметить фактор конфликта старых и новых социальных функций, который обостряется с началом Первой мировой войны. Женщина во время войны неизбежно эмансипируется, берет на себя часть мужских обязанностей, мужских профессий, но по-прежнему сталкивается с правовой и экономической дискриминацией. Традиционное общество требует от женщины быть женой и матерью, но начатой мобилизацией государство ограничивает такие возможности, а социальная роль хозяйки ущемляется инфляцией и продовольственным кризисом, в результате чего возникает когнитивно-ценностный диссонанс. Однако было бы ошибкой считать единственной причиной этого социально-ролевого конфликта политику власти — нередко сами крестьянки оказывались ментально не готовы к исполнению новых ролей, предпочитая архаические формы протеста против несовершенства современности. Ряд исследователей считают, что Первая мировая война усилила патриархальность общества и гендерные стереотипы. Даже те женщины, которые активно включались в освоение мужских профессий, делали это вынужденно, воспринимали свои новые социальные роли как временные, считая, что выживание их семей зависит от стабильности патриархальных отношений [Davydov, Kozlova 2022; Kuhlman 2008; Worobec 1991].

Наблюдая за тем, как женщины из низших сословий осваивали профессии кондукторш, извозчиц и дворниц, некоторые современники надеялись, что энергия «некрасовских женщин» поможет им не только адаптироваться к мужским профессиям, но и отреагировать на новые вызовы времени в соответствии с патриотическими задачами. Корреспондент «Огонька» сопоставлял солдата, воюющего на фронте с немцами, и дворницу, борющуюся в тылу с «темными

6 Кошко И.Ф. Воспоминания губернатора. Пермь (1911—1914). Екатеринбург: Демидовский ин-т, 2007. С. 339.

силами»: «В то время, как муж... геройски сражается с коварным внешним врагом, жена его — бляха № 138 — помогает вести борьбу с все еще бодрствующим внутренним врагом»<sup>7</sup>. Но на практике произошло нечто иное: широко трактуемое понятие «внутреннего врага» в условиях социально-ролевого кризиса неизбежно политизировало и революционизировало активность баб. Тем самым женское бунтарство 1914—1917 годов можно рассматривать как феномен кризиса патриархального общества периода модернизации, усиленный войной.

В историографии женского насилия справедливо делается акцент на бунтах солдаток — наиболее уязвимой категории женщин [Энгл 2010; Vadcock 2004; Baker 2001; Morrison 2023]. При этом исследовательский фокус чаще ограничивается событиями 1917 года, когда происходит стихийная самоорганизация различных групп населения, в том числе и солдаток. Вместе с тем, хотя феномен бабьих бунтов известен с давних времен, именно Первая мировая война положила начало новому, весьма специфическому периоду женского бунтарства. Предопределенные, как и продовольственные беспорядки, проблемами распределения благ, бунты солдаток демонстрируют вместе с тем и гуманитарную сторону женского протеста, связанную с разрушением семейных отношений, переживаниями за жизнь мужчин, ушедших на фронт, оставшихся без отцов несовершеннолетних детей (что провоцировало нервные и психические расстройства у женщин<sup>8</sup>). Ряд историков рассматривают крестьянское движение (в том числе бабьи погромы) в контексте теории А. Чаянова — Э. Томпсона о «моральной экономике», когда традиционные представления о справедливом распределении товаров вступали в противоречие с рыночными отношениями [Энгл 2010; Smith 2011]. В этом также обнаруживается инерция традиционного мышления модерной эпохи, архаическая модерность как ментальный феномен<sup>9</sup> (в том числе проявлявшаяся в сопровождавшей городские бабьи бунты ксенофобии). Очевидно, что именно комплекс проблем, а не только банальная «жажда хлеба» толкал российских женщин на проявления жестокости и насилия.

Показательно, что положение солдаток было маргинальным в традиционно-патриархальной системе и провоцировало различные конфликты. Матери солдат — большачки — не готовы были мириться со снижением своего статуса в сравнении с невестками и возмущались тем, что царь, выдавая деньги солдаткам, считает матерей «дешевле жен». Мужики, недовольные ростом финансовой независимости женщин, заявляли, что пособия развращают крестьянок, которые начинают вести праздный образ жизни<sup>10</sup>. В конце концов, в патриархальном сознании формируется мнение, что «солдатки за деньги продали своих мужей»<sup>11</sup>. Это, конечно, не соответствовало действительности. «...его матери, нехай верне мини мужа, я его грошами не нуждаюсь», — матерно об-

---

7 Огонек. 1915. № 46. С. 15.

8 Бутенко А.А. Война и психические заболевания у женщин // Обзорение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Ежемесячный журнал. 1914—1915. № 10—12. С. 523.

9 Или то, что И.В. Герасимов в своей не бесспорной работе назвал «плебейской модерностью», с поправкой, что это понятие не столько социальное, сколько психологическое [Gerasimov 2018].

10 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 101 об., 123.

11 Там же. Л. 530 об.

ругала Николая II тридцатилетняя крестьянка Киевской губернии Александра Побережная в ответ на напоминание о том, что царское правительство заботится о солдатках, выплачивая им пособия<sup>12</sup>.

В период мобилизации едва ли не самым ярким символом России стал образ плачущей женщины, который врезался в память многим свидетелям. Офицер И. Ильин описывал психологическую атмосферу на железнодорожной станции 19 июля 1914 года:

На станции Спасская Полесье стон и плач. Откуда-то вдруг взялась масса женщин. Пристают, спрашивают — правда ли, что война? Одна баба так рыдает, что меня даже зло взяло: и чего ревет! Ведь даже точно ничего еще не знает. Она была в шляпке и, видимо, не крестьянка, бабы попроще, деревенские, ее же утешали<sup>13</sup>.

И. Зырянов вспоминал отправку запасных в губернский город:

В деревне самый разгар полевых работ, а бабы, приехавшие в городок с мобилизованными мужьями, ни за что не хотят уезжать домой, дожидаются отправки. Они, как тень, как жалкие, покорные собачонки, бродят за мужьями, голосят, причитают... Горе сразило баб. Лица у баб красны и опухли от слез... Бабы задержали отправку поезда на два часа... После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей. Это проводы<sup>14</sup>.

Молодая дворянка Х.Д. Семина, жена военного врача, описывала похожие сцены в городе Шемаха Бакинской губернии, когда после объявленной мобилизации «поднялся такой плач и вой женщин и детей, что прямо жутко стало»<sup>15</sup>. Дорогу на станцию, проходившую мимо ее дома, Семина назвала «дорогой слез». Тем не менее говорить об осознанном антивоенном движении солдаток не приходится. Эмоции выражали неприятие войны и мобилизации, но не обретали идейного и тем более деятельно-политического высказывания, оставаясь в рамках традиционных ритуальных проявлений.

Плачущие женщины вызывали сильное раздражение у преисполненной энтузиазма «патриотической общественности». Зырянов описывал реакцию знакомого вольноопределяющегося, рассуждавшего о солдатках:

Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба «заслуживает не больше внимания, чем босой гусь»<sup>16</sup>.

Конфликт эмоциональных состояний разных групп населения усиливал нервозность общества и в конечном счете приводил к выплеску агрессии.

---

12 Там же. Л. 388.

13 Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина. 1914—1920 / Подгот. текста, вступ. ст. В. Жобер; примеч. В. Жобер и К. Чащина. М.: Книжница: Русский путь, 2016. С. 19.

14 *Арамилев В.В.* В дыму войны: записки вольноопределяющегося: 1914—1917 годы. М.: Кучково поле, 2015. С. 8—10.

15 *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия: Кавказский фронт, 1914—1918 / Вступ. ст. и примеч. Д.И. Бологиной. М.: Кучково поле: Горные технологии, 2016. С. 24.

16 *Арамилев В.В.* В дыму войны... С. 8.

Довольно скоро эмоция горя у женщин стала вытесняться эмоцией гнева. Крестьянки почувствовали, как война легла на их плечи тяжелым физическим трудом. В заметке «Женщины», опубликованной «Русским словом», крестьянка-торговка, отправившая на войну всех своих шестерых сыновей и потому вынужденная в одиночку тянуть торговлю, рассказывала о феминизации сельского хозяйства: «Вся деревня теперь бабья. Бабой Русь православная держится... Изо всех губерний, сдается, наша, Калужская, самая бабья губерния. Баба пашет, баба сеет, баба косит, баба жнет. Баба в мужики пошла»<sup>17</sup>. В самом начале войны А.В. Чайнов пытался успокоить читателей тем, что в тех губерниях, где мужское население традиционно было занято промысловыми работами, в то время как «женщина пашет, женщина косит, женщина молотит», «выемка мужского труда... значительно меньше затрагивает сельское хозяйство», однако по мере затягивания военного конфликта утешительные прогнозы не оправдывались<sup>18</sup>. В составленных на подданных Российской империи полицейских протоколах за оскорбление представителей династии особенно эмоциональные высказывания принадлежат женщинам-крестьянкам, в которых нередко высказывались угрозы физической расправы над Николаем II: «Когда его поймут, то я первая выколю ему глаза вилкой и чтобы его порубили на котлеты»; «Если бы он мне попался, я бы его, сукина сына, так, вот так разорвала»; «Взяла бы я царя и разорвала его пополам за то, что он требует недоимку»; «Если бы этот царь попался мне на глаза, то я бы его зубами и руками раздернула, а если бы попало мне ружье, то я бы его из ружья застрелила»; «Если бы я теперь встретила этого глупого Николашку, то вцепилась бы в него и вырвала бы ему кишки»<sup>19</sup>.

С течением времени именно в женской среде ярче всего начало проявляться раздражение от войны. В июле 1916 года начальник Московского губернского жандармского управления сообщал директору департамента полиции, что в губернии пожелания мира чаще всего высказывают бабы, «не интересующиеся тем или иным исходом войны». При этом ждущим мира крестьянкам противопоставлялось фабричное население «как более развитое и разбирающееся в создавшемся положении» и потому желавшее не мира, а победы<sup>20</sup>. Те же настроения крестьянок отмечал весной 1916 года предводитель тверского дворянства П.П. Менделеев, когда передавал разговор с бабами, спрашивавшими, скоро ли будет мир. Менделеев ответил, что сначала нужно прогнать врага, не то «он придет и к нам, в Тверскую губернию». «Так что же, пускай приходит, — говорят бабы, — нам под немцем, может, выгоднее жить будет»<sup>21</sup>.

Необразованные крестьянки не только наиболее ярко выражали свои эмоции, но и становились разносчицами абсурдных слухов. Военные власти организовывали даже массовое выселение женщин без определенных занятий из городов прифронтальной полосы, опасаясь не только разлагающего воздействия слухов, но и того, что вместе с ними бабы могли выдать военные тайны [Asta-

17 Русское слово. 1916. 9 октября.

18 Чайнов А. Война и крестьянское хозяйство. М.: Т-во И.Н. Кушнерев и К<sup>о</sup>, 1914. С. 10.

19 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 77 — 77 об., 216 об., 309, 423, 506.

20 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. Оп. 125. Д. 4. 1916. Д. 42, ч. 9. Л. 24—24 об.

21 Менделеев П.П. Свет и тени в моей жизни: Обрывки воспоминаний. 1864—1933 / Вступ. ст. К. А. Соловьева; коммент. А.В. Сазанова, К.А. Соловьева. М.: Кучково поле; Имп. Русское историческое о-во, 2017. С. 381.

show 2022: 80—82]. Но остановить стихию слухов было не просто, в конце концов они проникали в города и начинали повторяться представителями образованных слоев населения. Л.А. Тихомиров пересказывал разговоры на рынках:

Вот, например, толкуют бабы, крестьянки, привезшие на продажу всякие продукты. Она громко говорит, что везде во власти изменники. На возражение, что не нужно верить этому вздору, — она говорит: «Какой там вздор, царица чуть не каждый день посылает в Германию поезда с припасами; немцы и кормятся на наш счет, и побеждают нас». Напрасны возражения, что это нелепость, и что физически невозможно посылать поезда... баба отвечает: «Ну уж там они найдут, как посылать»... Ей говорят, неужто она, дура, не понимает, что Государь ничего подобного не допустит? Она отвечает: «Что говорить о Царе, его уже давно нет в России». — «Да куда же он девался?» — «Известно, в Германию уехал». — «Да, глупая баба, разве Царь может отдать свое царство немцам?» — Она с апломбом отвечает: «Да ведь он уехал на время — только переждать войну»<sup>22</sup>.

Охранное отделение и Департамент полиции отмечали, что подобные абсурдные слухи, демонстрировавшие кризис общественного доверия к власти, становились причинами стихийного погромного движения. Например, летом 1916 года в Балтском уезде Подольской губернии было зафиксировано 25 выступлений солдаток-крестьянок, закончившихся уголовными делами. Поводом к этим выступлениям послужил слух, что производившаяся в это время по распоряжению министерства земледелия статистическая перепись населения имеет целью возвращение крепостного права<sup>23</sup>. Во время беспорядков в Балтском уезде толпы солдаток избивали земских служащих и священников. Бабы бунты в деревне имели и вполне рациональную причину — протест против земельных переделов до возвращения мужей с войны, что имело место уже в сентябре 1914 года. Случалось, что собиравшиеся в деревнях женские толпы отправлялись чинить погром в ближайшие уездные города. Толпа солдаток в сто человек села Четвертаково Симбирской губернии в 1915 году устроила погром отрубников, два дня забрасывала камнями их дома, выкрикивая: «Наши мужья проливают кровь на войне, а вы хотите без них отобрать у нас землю» [Шестаков 1927: 115]. Затем солдатки организовали поход в уездный город Ардатов, где их разогнала полиция. Это стирало различия между деревенским и городским женским погромным движением.

Если классифицировать бабы бунты по их причинам, то можно выделить следующие основные группы: бунты солдаток и беженок из-за невыплаченных или задержанных пособий; продовольственные погромы хозяек и работниц; беспорядки работниц из-за условий труда или угрозы увольнений; бунты крестьянок в связи с земельными разделами<sup>24</sup>. Помимо этого, в зависимости от места и времени, во время погромов проявлялись конфликты на этнической и религиозной почве, а также могли звучать и политические лозунги. В городах агрессия женщин часто оказывалась обращена на полицию не только в связи с тем, что та противодействовала бунту, или из-за того, что полиция

22 Дневник Л.А. Тихомирова. 1915—1917 гг. / Сост. А.В. Репников. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С. 95—96.

23 Русское слово. 1916. 23 октября.

24 В данной статье изучается женское погромное движение в городах, поэтому конфликты на почве земельных разделов рассмотрены не будут.



была доступным представителем ненавистной власти, но и потому, что женщины, особенно солдатки, видели в полиции трусов и предателей («фараонов»), вместо которых их мужья ушли на фронт. Важно, что практика погромов формировала тактику и стратегию уличного протеста, использованные в феврале 1917 года. Не случайно генерал-майор отдельного корпуса жандармов А.И. Спиридович называл женщин и детей «застрельщиками революции»<sup>25</sup>.

Уже в первые дни войны задержки с выплатами денежных пособий солдаткам становились поводом к бабьим бунтам в городах. Один из первых непосредственно женских бунтов произошел в последних числах июля в Царицыне: собравшаяся у здания мужской гимназии толпа женщин стала требовать письменного удостоверения относительно выдачи дальнейших пособий и после отказа принялась избивать полицейских. К ним присоединились запасные и учащиеся. В итоге были вызваны войска, открывшие огонь по толпе. В частном письме указывалось, что при подавлении беспорядков было убито 20 и ранено 80 человек<sup>26</sup>.

Монархистка С.Л. Облеухова вынуждена была признать, что власти не справляются со взятыми обязательствами поддержания семей запасных. В письме от 11 августа 1914 года она так описывала сложившуюся в Петрограде ситуацию:

Дело в том, что несмотря на широко поставленную помощь семьям запасных, во многих попечительствах относятся к ним с возмутительной грубостью и денег не дают. Происходят сцены прямо невероятные. 400—500 женщин приходят каждый день за пособием, им ничего не объясняют и гонят прочь. В другом месте на 600 женщин сторож выбрасывает в толпу 150 билетиков на право получения нескольких рублей. Происходит свалка, жандармы на лошадях врзаются в толпу и «оттесняют» женщин. Сегодня в 7-й роте, д. 10, во время давки из-за брошенных билетов задавили насмерть ребенка. Я не верила всему этому, но ко мне лезут бабы с детьми, плачут и клятвенно уверяют, что это правда<sup>27</sup>.

Судя по частной корреспонденции, самое сильное возмущение солдаток вызывало отношение к ним властей в Одессе. Здесь в течение трех недель не выдавали пособий. В итоге протест одесситок вылился в погром, в котором проявились не только экономические, но и политические мотивы: женщины, вероятно, в память о бунтах 1905 года наспех сооружали красные знамена, которые затем у них отбирала полиция. В письме из Одессы от 12 августа современник сообщал:

Вчера здесь был бабий бунт. Жены запасных, не успевшие получить в Гор. Думе денег, собрались, вероятно, под влиянием чьей-то агитации, большой толпой и направились к зданию Думы. Здесь они учинили дебош: побили стекла и т.д. Между прочим, ранен пристав один. Затем устроили они дебош в «Европейской» гостинице, у кондитерской Робина и др. местах. В конце концов у одной отобрали «знамя», какую-то широкую деревяшку, аршина два длины. Потом группы одесских «суфражисток», человек по десять, заходили в магазины и просили денег<sup>28</sup>.

25 *Спиридович А.И.* Великая война и февральская революция. 1914—1917 гг.: В 3 т. Т. 3. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 36.

26 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1121.

27 Там же. Д. 993. Л. 1225.

28 Там же. Л. 1242.

Протестные выступления солдаток в Одессе продолжались весь август. Монархист, председатель Одесского союза русских людей Н. Родзевич писал 1 сентября 1914 года:

В здешней городской управе оппозиция крепнет. Недавно бабы, жены запасных, разгромили камнями всю городскую управу, — снаружи не осталось ни одного целого стекла. Три недели их водили за нос, приказывая придти «завтра». Вдобавок С. Альбрандт предложил им заработок на Дерибасовской улице, — это и было искрой. Едва усмирили. Потом толпа пошла по городу, врываясь в магазины съестных припасов и требуя хлеба. Только к вечеру все успокоилось. Около 40 баб арестовали, а управская сволочь осталась безнаказанной<sup>29</sup>.

Симптоматично упоминание послания солдаток «на Дерибасовскую». На протяжении Первой мировой войны власти недооценивали революционно-политический потенциал бабьих бунтов, рассматривая их как проявление низкой сознательности. В отчетах полиции о продовольственных беспорядках женщины обычно фигурировали в связке с подростками и хулиганами, но в некоторых случаях (как, например, во время самарского погрома 5 ноября 1916 года) делался акцент на том, что бунтующие бабы — это проститутки<sup>30</sup>.

С течением времени ситуация с пособиями становилась все более тяжелой. В 1915 году в очередях за пособиями к солдаткам добавились беженки, попечительства при городских управах не справлялись с наплывом женщин и постепенно становились эпицентрами скандалов. Петроградское охранное отделение отмечало в августе 1916 года, что женщины-энтузиастки из высшего общества, работавшие в попечительствах на добровольных началах в первые месяцы войны, эмоционально выгорали и увольнялись, а на их место брали неопытных барышень или аферисток, которые приворовывали или обсчитывали одних и назначали большие выплаты другим. Но и просительницы набирались «опыта» и старались обмануть попечительства. Например, подавали листы на имя умершего ребенка или уехавших в другой город людей. В докладе охранки отмечалась распространявшаяся среди женщин психология иждивенчества, при этом некоторые из них, в соответствии с усвоенными традиционно-патриархальными ролями, отказывались искать работу, ожидая возвращения мужей-кормильцев с фронта:

Обилие пособий в начале войны развратило женщин, приучило их к пользованию бесплатными обедами, квартирами и т.п.; в результате развилось страшное попрошайничество солдаток: многие из них предпочитают потерять целый день, ожидая очереди выдачи 3 руб., в то время как они за это время могли бы заработать на фабрике не менее 6—7 руб. Попечительства пытались бороться против превращения солдаток в своего рода «пенсионерок» попечительств, но из этого ничего не вышло: при случаях отказа солдатки грубили и дерзко кричали — «сами приучили к казенным деньгам, а теперь отнимаете их, верните нам мужей и мы сами не пойдём к вам...» Вообще же отношение женщин к попечительствам за последние месяцы стало просто невозможным: матерная брань, которой обсыпают разъяренные бабы служащих, висит, например, в воздухе при раздаче пайка в XIII попечительстве. Обычны выражения, когда женщина, изнуренная

29 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 994. Л. 1393.

30 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 125. Д. 5, ч. 11. Л. 19.

дороговизной и недостатком продуктов, утомленная бесконечным ожиданием в очереди, кричала служащим попечительства: «ты украла мои деньги... Я пойду жаловаться... этого не прощу тебе, сук... дочери». Со служащими от этого сначала делались обмороки, но теперь они привыкли к этому...<sup>31</sup>

Вместе с тем отмечалось, что и служащие женщины позволяли себе несдержанность в отношении просительниц, в частности тыкали и называли последних «подлыми бабами» и «хулиганками»<sup>32</sup>. Нередко вспыхивавшие конфликты, когда работницы попечительств прекращали прием разгневанных женщин, приводили к погромам: просительницы от угроз переходили к действиям и начинали бить стекла и выламывать закрытые двери. Полиция составляла протоколы после разгрома попечительств и отмечала, что практика выстаивания очередей в попечительствах формировала тактику коллективных действий и своеобразную «бабью солидарность», которая проявлялась и во время продовольственных бунтов.

Продовольственные погромы в России начались одновременно с бунтами солдаток из-за пособий. «Петербургский листок» уже 26 июля 1914 года сообщал о погроме в селе Смоленском за Невской заставой:

Вчера хозяйки, явившись в рынок, узнали о новом повышении цен почти на все продукты первой необходимости. Они напали на ларьки торговцев и уничтожили весь товар. Разгром рынка отличался не меньшей жестокостью и не меньшим озлоблением, чем разгром немецкого посольства... Торговцы понесли весьма существенные убытки и после этого согласились понизить цены на все продукты до прежней нормы.

28 июля разгрому подвергся рынок в Петербурге на Безбородкинском проспекте<sup>33</sup>. При этом продовольственные погромы, устраивавшиеся хозяйками и работницами из низов, имели как минимум одно принципиальное отличие от бунтов солдаток: к первым нередко присоединялись мужья, — как правило, возвращавшиеся со смены рабочие, — что расширяло социальную базу и поднимало градус агрессии. Случалось, что на следующий день после женского погрома начиналось брожение в рабочей среде — мужики бросали работу и шли освобождать арестованных жен [Кириянов 1993: 5—6].

Продовольственные погромы сопровождалась агрессией женщин в адрес полиции, тем самым экономические мотивы легко трансформировались в политические акты. В июне 1915 года в селе Гордеевка Нижегородской губернии 10-тысячная толпа женщин устроила «ревизию» запасов сахара в лавках. Полиция ничего не могла поделать с женщинами, в то время как последние кидали в них камни. 7 августа 1915 года женский погром произошел в Колпине Петроградской губернии, в котором участвовало 400 человек. Поводом стал рост цен на овощи. В полдень одна из покупательниц обвинила торговца в спекуляции, вспыхнула ссора, женщины устроили погром, но вскоре были разогнаны полицией. Однако они не успокоились и отправились за подмогой к своим мужьям. К 5 часам вечера собралась уже смешанная толпа мужчин и женщин, с которой полиция не могла справиться шесть часов. Лишь в 11 часов вечера

31 Там же. Д. 61, ч. 9, лит. А. Л. 63 — 63 об.

32 Там же. Л. 64.

33 Петербургский листок. 1914. 29 июля.

погром был остановлен. Любопытно, что разгрому подверглись заведения разного характера: не только продовольственные лавки, но и парикмахерская (вероятно, украли одеколон, который поднялся в цене в условиях сухого закона), табачные и писчебумажные лавки. В итоге полиция арестовала десять женщин-зачинщиц<sup>34</sup>.

Поводами для продовольственных погромов становились не только высокие цены на продукты, но и низкое качество товаров (например, испортившийся продукт или продажа мороженого мяса под видом парного) или их отсутствие. Часто возникали подозрения, что продавцы прячут продукцию. Так, в апреле 1915 года на рынке села Смоленского женщины, возмущенные отсутствием мяса, стали громить подряд все лавки. Прибывший наряд полиции задержал 22 наиболее активные женщины и 19 мужчин<sup>35</sup>. Позже стали распространяться слухи, что существует «черный рынок», на котором лавочники продают продукты лишь тем, кто заранее согласился покупать их по завышенным ценам. В этом случае толпа женщин не только набрасывалась на лавочников, но и могла отомстить хозяйкам, заподозренным в уплате повышенных такс. Так, 7 ноября 1915 года во время погрома в Новой Деревне была избита крестьянка Молчанова, якобы переплатившая за муку в одном из лабазов<sup>36</sup>.

Следует заметить, что во время женских продовольственных погромов проявлялся как стихийно-иррациональный вандализм, так и вполне расчетливое поведение, в котором обнаруживается сознательная инициатива по низовому реформатированию экономического пространства, общественная самоорганизация в рамках традиционной логики. Примером первого можно считать бессмысленные акции по уничтожению товара, когда он просто разбрасывался по улице, топтался ногами, разрывался или резался на куски. Это были проявления аффективного характера, до которого женщины были доведены крайней нуждой и потому выплескивали эмоции на конкретных лавочников, желая им отомстить. Описывая подобное уничтожение товара летом 1914 года, корреспондент назвал это «женским самосудом»<sup>37</sup>. Когда в феврале 1916 года в Баку случился четырехдневный погром, в донесениях свидетелей упоминалось как «истребление» товара, так и воровство. Газеты писали: «Беспорядки начались на базарах. Там женщины начали разбивать лавки со съестными припасами. Лавки громили, товары выбрасывали на улицу, часть уносили домой»<sup>38</sup>.

Примером расчетливого поведения можно считать шантаж лавочников угрозами погрома, благодаря чему последние нередко шли на снижение цен. В июле 1915 года на Таганском рынке Москвы женщины подняли крик по поводу повышенных цен на молодой картофель, угрожая разгромом рынка, в результате чего купцы были вынуждены снизить цены. Случалось, что полиция, видя возбужденное состояние толпы, в целях предотвращения погрома разрешала под собственным присмотром произвести ревизию товаров в лавках, что произошло, например, в Подольске 1 сентября 1916 года<sup>39</sup>. В других случаях

34 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 8, 9 августа.

35 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 124. Д. 4. 1915. Д. 61, ч. 10, т. 2, л. А. Л. 108.

36 Там же. Д. 61, ч. 10, т. 5, л. А. Л. 122 — 122 об.

37 Петербургский листок. 1914. 26 июля.

38 Русские ведомости. 1916. 27 февраля.

39 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 125. Д. 42, ч. 3. Л. 2 — 2 об.

женщины искусственно создавали кратковременный беспорядок на рынке, чтобы похитить приглянувшийся товар. Так, 5 марта 1916 года после получения денег работницы вигониевой фабрики Шлихтермана в селе Богородском Московской губернии проходили через рынок, когда одной из женщин приглянулся ситец. Услышав его цену и возмущившись, она стала разбрасывать продукцию по земле. Ее товарки присоединились к этой акции, причем закончили погром так же быстро, как его начали (погром продолжался не более трех минут). Когда торговец собрал разбросанную мануфактуру, оказалось, что ситец был украден. Характерно, что другие вещи работницы не тронули<sup>40</sup>.

Чувствуя свое возрастающее влияние, женщины на местах пытались оказывать давление даже на губернаторов. Так, начальник Владимирского губернского жандармского управления сообщал в Департамент полиции в декабре 1916 года: «Было много случаев, когда к дому губернатора стекались толпы женщин и подростков с нареканиями на недостаток или на невыдачу населению того или другого продукта, и был случай, когда губернатор лично повел эту толпу к Городскому Голове местному купцу Н.Н. Сомову»<sup>41</sup>. Характерно, что упомянутый эпизод с владимирским губернатором В.Н. Крейтоном преподносился в положительном ключе (как противодействие преданного царю губернатора либеральному городскому голове и депутату-прогрессисту Сомову), хотя опыт московского погрома мая 1915 года показывал опасность заигрывания с эмоциями толпы.

В апреле 1915 года Министерство внутренних дел, озабоченное ростом протестных погромов в различных частях империи, за подписью министра Н.А. Маклакова распространило секретный циркуляр губернаторам и градоначальникам, в котором призывало беспорядки «предупреждать и немедленно прекращать самыми решительными мерами, но при этом отнюдь не прибегать к действию оружием. Употребление оружия может вызвать сильнейшее раздражение населения против полиции и правительства»<sup>42</sup>. На основе этого циркуляра московский градоначальник А.А. Адрианов в том же месяце сделал распоряжение, в котором специально отметил недопустимость применения оружия против женских толп, «так как нельзя расстреливать жен и родных солдат, сражающихся на фронте»<sup>43</sup>. Отчасти это распоряжение стало причиной пассивного поведения полиции во время майского антинемецкого погрома в Москве, однако прелюдией его можно считать беспорядки 5 апреля 1915 года на Преображенском рынке, в которых в концентрированной форме выразились характерные черты бабьего бунтарства.

Властями было объявлено, что погром произошел на почве дороговизны, однако в действительности торговля в то воскресное утро велась по ценам ниже таксы. Проблема была в том, что установленные городскими управами цены публиковались в газетах, однако необразованные и бедные женщины газет не читали, поэтому при определении дороговизны исходили из собственных представлений о справедливом ценообразовании (в частности, возмущались, что торговцы скупают товар по низким ценам, а продают его втридорога, что называлось мародерством). Дежуривший на рынке околоточный надзи-

40 Там же. Л. 1 — 1 об.

41 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 246. Д. 20, ч. 13. Л. 2 — 2 об.

42 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 125. Д. 42, ч. 3. Л. 3.

43 Русское слово. 1916. 16 января.

ратель Быков несколько раз по инициативе женщин перепроверял цены торговцев, и каждый раз они не превышали таксу. Это лишь усиливало недоверие хозяек к околоточному. Когда Быков очередной раз подтвердил цены в мясной лавке братьев Лебедевых, про старшего из которых ходили слухи, что он обставил свою квартиру золотыми вещами, в околоточного полетели камни. На Преображенский рынок был вызван пристав Шульц с городовыми, однако его появление направило экономический протест в политическое русло: «Долой полицию!»; «Зачем приехали? И без вас обошлось бы!»; «Приехали немцев защищать; наших там немцы бьют, а вы их защищаете!»; «Зачем полицию не берут на войну?»<sup>44</sup>. В целях успокоения толпы цены на мясо у Лебедевых были снижены, однако это возымело обратный эффект: бабы усмотрели в этом подтверждение своих подозрений, что Лебедевы мародеры, в результате начался масштабный погром. К женщинам присоединялись мужчины. Предводительницами оказались две крестьянки — Елена Широкова и Мария Белых, — первая из которых направляла ненависть толпы на полицию, вторая — на торговцев. К часу дня на рынок прибыл помощник градоначальника полковник В.Ф. Модль (В.А. Марков)<sup>45</sup>. Послышались свистки и крики: «Приехал немец бить нас!»; «На что нам немцы? Они рады, что у нас дорого!»; «Ура! Долой немцев, бей немцев, бей полицию!»<sup>46</sup>. Характерно появление в этот момент «кровавого мальчика» — сильного архетипического образа, стимулирующего эмоцию ненависти: к полковнику подвели окровавленного подростка с разбитой головой. Сказали, что его ударил городской. После этого в Модля и сопровождавших его чинов полиции полетели камни. Раненый полковник хотел вернуться в свой автомобиль, но тот оказался занят возбужденными женщинами и подростками; тогда он попытался сесть в трамвай, но кондуктор его не пустил. Полковник решил уйти от толпы пешком, но на Стромынке кто-то ударил Модля камнем по голове, и он упал, потеряв сознание. В это время одна из женщин, Александра Бабкина, по-видимому, не участвовавшая в погроме, старалась защитить полковника: она предупредила его, что в толпе раздаются призывы его убить, а когда он оказался ранен, она перевязала его голову своим шарфом, пытаясь остановить кровь. Однако в результате досталось и ей: кто-то из толпы ударил ее по лицу, пригрозив, что ее бросят в Язу. В это время в толпе предлагали утопить в Язу самого Модля. В конце концов полиции удалось отбить полковника, а толпа продолжила погром магазинов на Преображенской площади и Черкизовском шоссе. Власти пытались остановить погром с помощью воинской части, но солдаты стали кричать: «Нас... бьют немцы, неужели мы из-за них будем еще стрелять в наших жен, сестер и братьев!» [Савинова 2007: 180]. Характерным эпизодом стало появление на Преображенской площади «русского» полицмейстера генерала В.Н. Золотарева. Толпа встретила его криками «Ура!», но потом брошенным камнем ранила в голову и его<sup>47</sup>. Тем самым антиполицейские настроения оказывались сильнее герmanoфобии.

---

44 Русское слово. 1916. 23 февраля.

45 Ирония ситуации заключалась в том, что Владимир Францевич Модль в 1915 году изменил свое имя на Владимира Александровича Маркова, но толпа не оценила это патриотическое преобразование и продолжала считать его немцем-предателем.

46 Там же.

47 Русское слово. 1916. 23 февраля.

Примечательно, что на суде некоторые свидетели-полицейские отказывались верить в стихийный характер погрома, доказывая, что он заранее был спланирован, указывая, что камни якобы поднимали не с земли, а доставали из карманов и из-за пазух, что мужчины использовали специально обработанные железные прутья. Тем самым погром пытались преподнести как технологию иностранных агентов революции. В этом обнаруживается конспирологическое мышление, приводившее к недооценке стихийной самоорганизации толпы и предопределявшее ошибочные стратегии властей, которые в итоге привели к революции.

Московский майский антинемецкий погром также начался с протестной активности женщин. 26 мая солдатки в количестве ста человек собрались на Тверской улице в надежде получить от Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны свою еженедельную работу — шитье для армии. Но им было объявлено, что нет пошивочного материала. Тогда женщины стали возмущаться. Проходивший в те часы по Тверской журналист И.В. Жилкин описал толпу:

Преобладали женщины, бедно одетые, в платочках, исхудалые, утомленные. У некоторых были дети на руках. Женщины эти или принимались что-то выкрикивать с надрывом и болезненным озлоблением, или замолкали, поджимая губы, с какой-то угрозой на темных лицах<sup>48</sup>.

Корреспондент отметил, что одним из факторов раздражения был стоявший у входа большой, шикарный черный автомобиль. Толпа ждала, кто выйдет и сядет в него, вероятно, не из простого любопытства. Кто-то крикнул, что работы нет потому, что «немка» великая княгиня отдала все заказы немецкой фабрике «Мандль» (следует заметить, что заказы действительно были переданы бывшей австрийской фирме «Мандль», которая была преобразована в акционерное общество во главе с графом Татищевым, но по решению не великой княгини, а интендантского ведомства<sup>49</sup>). Слухи о предательстве верхов уже давно будоражили общество, в числе главных подозреваемых среди малообразованной публики числились обе сестры — императрица Александра Федоровна (будто бы сообщавшая по телефону императору Вильгельму II военные планы России) и великая княгиня Елизавета Федоровна (будто бы скрывавшая в своем Марфо-Мариинском монастыре великого принца Гессенского), — поэтому данная версия была легко принята на веру<sup>50</sup>. В сторону проезжавшего экипажа с великой княгиней раздавались проклятия, летели плевки и камни. К тому времени толпа распаленных женщин увеличилась до нескольких сот и стала угрожать штурмом здания, но подоспевший наряд полиции предотвратил беспорядки. Тем не менее по городу поползли слухи о произошедшем бабьем бунте на Тверской, возбуждая часть москвичей<sup>51</sup>. В последующие дни на улицы Москвы вышли представители разных социальных слоев и под патриотическими лозунгами устроили массовый разгром фирм иностранных и российских подданных с сопутствующими убийствами людей с немецкими фамилиями.

48 Жилкин И.В. Московский погром // Вестник Европы. 1915. № 9. С. 300.

49 Джунковский В.Ф. Записи прошлого: Воспоминания: В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. А.Л. Паниной. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997. С. 563.

50 Более подробно о политических слухах см.: [Аксенов 2020; Колоницкий 2010].

51 Жилкин И.В. Московский погром... С. 301.

Характерны погромы, прошедшие в Петрограде в августе 1915 года в связи с «медным голодом», в которых экономические причины также были перемешаны с ксенофобиями военного времени. 17 августа в разных частях столицы случились погромы торговых заведений ввиду отсутствия разменной монеты. Охранное отделение отмечало, что «в этих беспорядках принимали участие главным образом женщины и подростки»<sup>52</sup>. Причиной стали слухи о том, что ввиду инфляции бумажный рубль сильно обесценится по сравнению с медной и серебряной монетой, в результате чего хозяйки с 14 августа начали ходить по лавкам и разменивать кредитные билеты на медь и серебро. Очень скоро владельцы лавок стали отказываться принимать бумажные рубли, объясняя это тем, что «кредитный рубль стоит 60 копеек», и требовали или серебряных рублей или принимали кредитные рубли за 60 копеек<sup>53</sup>. Конфликты на этой почве вспыхивали не только на рынках, но и в трамваях, в кинематографах<sup>54</sup>. 18 августа Государственный банк открыл в разных частях города разменные кассы, пытаясь удовлетворить «медный голод», но в районе Охтенского участка погромы магазинов продолжались, причем три чина полиции получили ушибы камнями. Петербуржец писал в Москву:

Вообще в городе был большой переполюх из-за мелкой разменной монеты, разгромили везде много лавок. И у нас, на Охте, бабы устроили бунт, разбили почти все лавки в д[оме] П. Иванова... Были вызваны солдаты и конные городовые; убили одного городского<sup>55</sup>.

Часть современников считала, что причина медного голода заключалась в специфике женской психологии. В статье «Вечернего времени» «Разменный психоз» сообщалось, что женщины «без всякой нужды собирали мелкую разменную монету, но теперь выяснилось, что она очень неудобна для ношения и хранения, а потому они стараются сдать ее обратно поскорее»<sup>56</sup>. «Медный бунт» 1915 года был ожидаемо окрашен в цвета ксенофобии: многие женщины в удержании разменных денег обвиняли немцев и евреев. Так, 17 августа в Петрограде была разгромлена булочная швейцарского гражданина Мюллера, которого ошибочно приняли за немца и посчитали, что он прячет медь и серебро<sup>57</sup>. Вплоть до октября обывателями обсуждались сообщения о задержании скупщиков-евреев якобы с сундуками медных денег<sup>58</sup>. Тем не менее «разменный психоз» распространился далеко за пределы столицы, и некоторые обыватели еще долго продолжали делать запасы. Как отмечал начальник Витебского жандармского управления, в ночь с 5 на 6 января 1917 года во время рейда по поимке дезертиров в домах на окраинах Витебска «было обнаружено хранение серебряной монеты в значительном количестве в одном месте»<sup>59</sup>.

8 сентября 1915 года начался антиперсидский погром в Астрахани (пострадали также этнические немцы и евреи). Его зачинщиками были ратники-

52 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 124. Д. 61, ч. 7, л. А. Л. 53.

53 Там же. Л. 57 об. — 58.

54 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 124. Д. 61, ч. 10, т. 4, л. А. Л. 44 — 44 об.

55 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1008. Л. 24.

56 Вечернее время. 1915. 27 августа.

57 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 124. Д. 61, ч. 7, л. А. Л. 92.

58 Дневник Л.А. Тихомирова... С. 104; Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 2 октября.

59 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 126. Д. 10, ч. 4. Л. 1 об.



татары, но с 9 сентября усилилось представительство женщин. Помимо привычного стихийного течения, он отличался и вполне рациональным и в некотором роде «героическим» поведением баб: свидетели отмечали, что в то время, как одни погромщики просто уничтожали товар, другие, преимущественно женщины и дети, аккуратно его заворачивали и забирали с собой. Многих удивляло, с какой легкостью некоторые женщины убегали от полиции с мешками-пудовиками (16,3 кг) с мукой. После мучного ряда погромщицы переключились на магазин швейных машин компании «Зингер»<sup>60</sup>. Участие в погроме женщин заставляло вызванных казаков пассивно наблюдать за грабежом<sup>61</sup>.

По мере накапливания опыта погромов, сопровождавшихся пассивностью властей, росло ощущение безнаказанности. Описывая челябинский бабий бунт 23 ноября 1915 года, полиция не без тревоги обращала внимание на сочувствие солдат погромщикам:

В толпе женщин было несколько нижних чинов, которые говорили, что если женщин-солдаток будут бить, то все казармы выступят на защиту женщин-солдаток, а в другом месте женщины говорили, что «если в нас заставят стрелять, то неизвестно еще, кто в кого будет стрелять»<sup>62</sup>.

Затягивание войны осложняло ситуацию с женскими погромами. Исследователи отмечают, что только за 1915 год в России было зафиксировано 654 бунта, вспыхнувших на почве роста цен и недостатка продовольствия, а с января по май 1916 года, то есть за неполные полгода, произошло уже 510 выступлений [Щербинин 2004: 266]. В январе 1916 года охранный отдел Петрограда отмечало «волну погромного настроения», поднятую слухами о том, что «в ближайшем будущем столица окажется совершенно лишенной предметов первой необходимости и что неимущим классам угрожает опасность голодовки»<sup>63</sup>. При этом появившаяся в низах населения идея устроить погром преподносилась как способ «обратить внимание администрации на различные злоупотребления в деле обеспечения столицы продуктами». На практике погром был направлен не только против мародеров-лавочников, но и администрации, не справлявшейся с распределением товаров.

В 1916 году системный кризис в империи все чаще проявлялся в усилении внутренних этнических конфликтов, накладывавших свой отпечаток и на бабьи бунты. Впрочем, современные исследователи отмечают, что даже в период Среднеазиатского восстания 1916 года в бабьих бунтах решающими были именно классово-гендерные, а не национальные противоречия [Morrison 2023: 36]. Тем не менее нередко именно вспышки женских эмоций запускали механизм националистических страстей. Седьмого мая 1916 года в Красноярске произошел большой антиеврейский погром, начавшийся с очередного бабьего бунта. Современник так описывал события:

В мясной лавке крупного торговца Марксона бедная солдатка затеяла спор по поводу отпущенного ей недоброкачественного мяса с приказчиком лавки, как гово-

---

60 Против этой американской компании было предубеждение, что она немецкая, которое использовалось в качестве повода для грабежа.

61 РГИА. Ф. 1284. Оп. 47. Д. 363. Л. 3 — 4 об.

62 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 125. Д. 47, ч. 3. Л. 112.

63 Там же. Д. 4. 1916. Д. 61, ч. 9, л. А. Л. 9.

рят евреем — пленным австрийцем<sup>64</sup>. Во время перебранки последний куском мяса ударил покурательницу два раза по лицу... Кто-то крикнул: «Жида бьют солдаток», — и началась свалка. Первой разгромили мясную лавку Марксона на базаре, а потом начали громить все лавки подряд, а спустя 20—30 минут толпа женщин и подростков громила окна магазинов на Большой ул., сначала без разбора, а позже только еврейские. Одновременно с разгромом начался грабеж. По городу в разных местах одновременно толпы баб и разных подонков общества в 20—30 человек разбивали и грабили магазины, мелочные лавки, еврейские дома, торговые бани и проч... Однако ни усиленные наряды полиции, ни солдаты, ни тем более казаки не препятствовали толпе бесчинствовать и грабить... Можно было наблюдать такие картины: у мелочной лавки стоят 15—20 человек солдат с винтовками. Лавку громит толпа в 5—10 человек баб и подростков, которая, выходя из разграбленной лавки, угощает награбленными папиросами солдатиков... По городу носятся упорные слухи, что солдаты убили прикладами жандармского ротмистра, зарубившего солдата за неисполнение приказа бить баб прикладами<sup>65</sup>.

В 1916 году бабьими бунтами было охвачено Поволжье. Большой погром, вызванный недовольством хозяек от продажи тухлого мяса, произошел в Самаре 5 ноября 1916 года. Во время него было разгромлено 56 лавок и магазинов. 12 июля 1916 года бабий бунт в Симбирске, во время которого погибло три человека и десяток оказались ранеными, обсуждался на секретном заседании Совета министров<sup>66</sup>.

Женский фактор социально-политического кризиса кануна российской революции осознанно или нет отмечался разными современниками и входил в российское семиотическое пространство. Например, характерна карикатура декабря 1916 года, на которой Россия была изображена «упрямой бабой», противостоявшей городовому. Городовой, засучив рукав и сжав кулак, орет на бабу: «Да ты оглохла, что ли? Тебе говорят, осадь назад, а ты все вперед прешь!!!»<sup>67</sup> Тогда же в Москве состоялась очередная выставка работ Малявина, на которой он представил своих как прежних, так и новых «баб». Критик записал впечатления от выставки:

Красная баба идет... Кажется, она все испепелит и своротит на своей дороге. Гудит эта картина, к зрительному впечатлению как будто примешивается и слуховое... Страшные бабы... Недаром Малявин возвращается к ним так настойчиво. Он в них почувлял Россию<sup>68</sup>.

Предчувствия художников и критиков оправдались. Российская революция 1917 года началась с очередного бабьего бунта — петроградские пролетарки вышли в День женщины-работницы 23 февраля на улицы города с требованиями хлеба и прекращения войны, увлекая за собой рабочих-мужчин, а затем

64 По другим сведениям, это был не еврей-военнопленный, а еврейка-торговка, поздоровившая с покурательницей.

65 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1045. Л. 40 — 40 об.

66 Совет министров Российской империи в годы первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (Записи заседаний и переписка) / Публ. Р.Ш. Ганелина и др.; примеч. Р.Ш. Ганелина и др. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 348.

67 Вечернее время. 1916. 27 декабря.

68 Московский листок. 1916. 20 декабря.

студентов, солдат, представителей интеллигенции и простых обывателей. Характерно, что современники не сразу опознали в очередных продовольственных беспорядках начало революции — сказывался стереотип об обязательном организованном и целерациональном характере революционных выступлений, а также недооценка бабьего бунта. Справедливо считается, что именно участие женщин повысило шансы на победу Февральской революции, так как направленные на подавление бунта конная полиция и казаки изначально действовали более сдержанно, воспринимая женщин в качестве матерей солдат, проливающих кровь на фронте, а затем и вовсе перешли на сторону восставшего народа. Помимо этого, истеричными криками бабы подстегивали революционно настроенных мужчин, заставляя их действовать более решительно [Булдаков 1997: 55]. В 1917 году женские бунты продолжались, и уездные комиссары докладывали, что иногда отправленные на их подавление солдаты просто разбегались, не желая связываться с крестьянками<sup>69</sup>.

Бабье бунтарство выступает своеобразной лакмусовой бумажкой социально-психологических процессов, предшествовавших Февральской революции 1917 года: архаизации сознания и возрастания роли слухов как фактора протестной активности, усиления ксенофобии и связанных с ними этнических стереотипов, аккумуляции ненависти к низовым представителям власти (прежде всего полиции). Кроме того, специфическими чертами бабьих бунтов можно считать повышенную эмоциональность и агрессивность, связанную не только с отмеченными психологическими особенностями малообразованных крестьянок и работниц, оказавшихся в годы войны в особенно ущемленном положении, но и чувством безнаказанности, развивавшимся ввиду более лояльного к ним отношения со стороны патриархально мыслившей полиции, казаков и солдат. Распространявшееся за пределы сельской местности насилие крестьянок, беженок превращало города в пространство эмоциональных, культурных, социально-политических конфликтов и в каком-то смысле «раскультивировало» современный город. При этом женское погромное движение нельзя объяснять исключительно экономическими факторами военного времени, в нем проявился социально-ролевой конфликт традиционного и современного статусов женщины.

## Библиография / References

- [Аксенов 2020] — Аксенов В.В. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914—1918). М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- (Aksenov V.V. Slukhi, obrazy, emotsii. Massovye nastroyeniya rossiyan v gody voyny i revolyutsii (1914—1918). Moscow, 2020.)
- [Берн 2001] — Берн Ш. Гендерная психология / Пер. с англ. С. Рысев и др. СПб.: Прайм-Еврознак; М.: ОЛМА-Пресс, 2001. (Burn Sh. The Social Psychology of Gender. Saint Petersburg. Moscow, 2001. — In Russ.)
- [Булдаков 1997] — Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 1997.

---

69 Крестьянское движение в 1917 году / Подгот. к печати К.Г. Котельников и В.Л. Меллер. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 278.

- (Buldakov V.P. Krasnaya smuta. Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya. Moscow, 1997.)
- [Забуга 2010] — *Забуга Н.А.* Протестные выступления рабочих Лысьвенского завода в 1914 г. // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: Сборник материалов четвертой региональной молодежной научной конференции / Отв. ред. Р.Е. Романов. Новосибирск: Параллель, 2010. С. 131—137.
- (Zabuga N.A. Protestnyye vystupleniya rabochikh Lys'venskogo zavoda v 1914 g. // Istoricheskie issledovaniya v Sibiri: problemy i perspektivy: Sbornik materialov chetvertoy regional'noy molodezhnoy nauchnoy konferentsii / Ed. by R.E. Romanov. Novosibirsk, 2010. P. 131—137.)
- [Кобытов 1999] — *Кобытов П.С.* Русское крестьянство в начале XX века. Самара: Изд-во СГУ, 1999.
- (Kabytov P.S. Russkoe krest'yanstvo v nachale XX veka. Samara, 1999.)
- [Кирьянов 1993] — *Кирьянов Ю.И.* Массовые выступления на почве дороговизны в России (1914 — февраль 1917) // Отечественная история. 1993. № 3. С. 3—18.
- (Kir'yanov Yu.I. Massovye vystupleniya na pochve dorogovizny v Rossii (1914 — fevral' 1917) // Otechestvennaya istoriya. 1993. No. 3. P. 3—18.)
- [Колоницкий 2010] — *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (Kolonitsky B.I. "Tragicheskaya erotika": Obrazy imperatorskoy sem'i v gody Pervoy mirovoy voyny. Moscow, 2010.)
- [Моц 2021] — *Моц А.* Психология женского насилия. Преступление против тела / Пер. с англ. Е. Вейцман. М.: Когито-центр, 2021.
- (Motz A. The psychology of female violence. Crimes against the body. Moscow, 2021. — In Russ.)
- [Савинова 2007] — *Савинова Н.В.* Антинемечкие настроения населения российской империи в 1914—1917 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2007. Вып. 2. С. 179—186.
- (Savinova N.V. Antinemetzkie nastroyeniya naseleeniya rossiyskoy imperii v 1914—1917 gg. // Vestnik of Saint Petersburg University. History. 2007. Iss. 2. P. 179—186.)
- [Стайтс 2004] — *Стайтс Р.* Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860—1930 / Пер. с англ. И.А. Школьникова, О.В. Шныровой. М.: РОССПЭН, 2004.
- (Stites R. The women's liberation movement in Russia. Moscow, 2004. — In Russ.)
- [Шестаков 1927] — *Шестаков А.В.* Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению в годы войны и перед октябрем 1917 г. Л.: Прибой, 1927.
- (Shestakov A.V. Ocherki po sel'skomu khozyaystvu i krest'yanskomu dvizheniyu v gody voyny i pered oktyabrem 1917 g. Leningrad, 1927.)
- [Щербинин 2004] — *Щербинин П.П.* Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII — начале XX в. Тамбов: Юлис, 2004.
- (Shcherbinin P.P. Voennyy faktor v povsednevnoy zhizni russkoy zhenshchiny v XVIII — nachale XX v. Tambov, 2004.)
- [Энгельштейн 1996] — *Энгельштейн Л.* Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX—XX веков / Пер. с англ. В. Павлов. М.: Терра, 1996.
- (Engelstein L. The keys to happiness. Sex and the search for modernity in fin-de-siècle Russia. Moscow, 1996. — In Russ.)
- [Энгл 2010] — *Энгл Б.* Не хлебом единым: женщины и продовольственные беспорядки в Первую мировую войну // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. История. 2010. Т. 4. № 1. С. 148—178.
- (Engel B. Ne khlebom edinyim: zhenshchiny i prodovol'stvennye besporядki v Pervuyu mirovuyu voynu // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. Istoriya. 2010. Vol. 4. No. 1. P. 148—178.)
- [Astashov 2022] — *Astashov A.B.* Women's Labor on Russia's Defence in the First World War: Work and Gender // Women and gender in Russia's Great War and Revolution, 1914—1922 / Ed. by A. Lindenmeyr, M.K. Stockdale. Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2022. P. 79—103.
- [Badcock 2004] — *Badcock S.* Women, Protest, and Revolution: Soldiers' Wives in Russia During 1917 // International Review of Social History. 2004. Vol. 49. Iss. 1. P. 47—70.
- [Baker 2001] — *Baker M.* Rampaging Soldatki, Cowing Police, Bazaar Riots and Moral Economy: The Social Impact of the Great War in Kharkiv Province // Canadian-American Slavic Studies. 2001. No. 2—3. P. 137—155.
- [Davydov, Kozlova 2022] — *Davydov D., Kozlova O.* Emancipation "Soviet-style": Changes in the Status of Rural Women, 1914—27 (Based on Materials from Kazan' Province and the Tatar Republic) // Women and gender in Russia's Great War and Revolution, 1914—1922 / Ed. by A. Lindenmeyr, M.K. Stockdale. Bloomington, Indiana, 2022. P. 53—77.
- [Gerasimov 2018] — *Gerasimov I.* Plebeian modernity: social practices, illegality, and the

- urban poor in Russia, 1906—1916. Rochester: Boydell & Brewer, 2018.
- [Kuhlman 2008] — *Kuhlman E.* Reconstructing Patriarchy after the Great War: Women, Gender, and Postwar Reconciliation between Nations. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- [Morrison 2023] — *Morrison A.* Bab'i Bunty in Semirech'e: Gender, Class, and Ethnicity in Central Asia during the First World War // *Revolutionary Russia*. 2023. Vol. 36. No. 1. P. 34—55.
- [Smith 2011] — *Smith S.A.* 'Moral economy' and peasant revolution in Russia: 1861—1918 // *Revolutionary Russia*. 2011. No. 24. P. 143—171.
- [Worobec 1991] — *Worobec C.* Victims or Actors? Russian Peasant Women and Patriarchy // *Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800—1921*. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 177—206.

Борис Колоницкий, Константин Годунов,  
Константин Тарасов

## Революция или хулиганство?

УЛИЧНОЕ НАСИЛИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В ИЮЛЕ 1914 ГОДА  
В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ<sup>1</sup>

Boris Kolonitskiy, Konstantin Godunov, Konstantin Tarasov

Revolution or Hooliganism? Contemporaries' Interpretations of St. Petersburg Street Violence in July 1914

**Б.И. Колоницкий** (Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) kolon@eu.spb.ru.

**К.В. Годунов** (Европейский университет в Санкт-Петербурге, научный сотрудник; кандидат исторических наук) kgodunov@eu.spb.ru.

**К.А. Тарасов** (Европейский университет в Санкт-Петербурге, научный сотрудник; кандидат исторических наук) ktarasov@eu.spb.ru.

**Ключевые слова:** стачки, погромы, манифестации, Первая мировая война, культура насилия

УДК: 94(47):323.1“1914”  
DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_154

В статье исследуются разные формы насилия во время забастовок, демонстраций и манифестаций, прошедших в Санкт-Петербурге летом 1914 года. На основании репортажей журналистов, полицейских отчетов, листовок, писем и дневников современников анализируются риторические тактики легитимации и осуждения насилия. Особое внимание уделено словам «хулиганы», «хулиганство», с помощью которых люди разных взглядов описывали виновников конфликтов.

**Boris Kolonitskiy** (Dr. habil.; Professor, European University in St. Petersburg; Head Research Fellow, St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences) kolon@eu.spb.ru.

**Konstantin Godunov** (PhD; Research Fellow, European University in St. Petersburg) kgodunov@eu.spb.ru.

**Konstantin Tarasov** (PhD; Research Fellow, European University in St. Petersburg) ktarasov@eu.spb.ru.

**Key words:** strikes, pogroms, demonstrations, World War I, culture of violence

UDC: 94(47):323.1“1914”  
DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_154

This article investigates the various forms of violence that occurred during the St. Petersburg strikes and demonstrations in the summer of 1914. Using a range of sources including journalistic reporting, police accounts, leaflets, letters, and the diaries of those who witnessed these events, rhetorical tactics of legitimizing and condemning violence are analyzed. Special attention is given to the terms “hooligans” and “hooliganism,” which were used by people with differing perspectives to describe the instigators of these conflicts.

В июле 1914 года митинги и демонстрации петербургских рабочих переросли в массовую стачку, сопровождавшуюся столкновениями с полицией, став самым масштабным конфликтом со времен Первой революции. Стачечники швыряли камни, блокировали транспорт, громили трамваи и строили баррикады. Волнения происходили на фоне международного кризиса, вызванного убийством наследника венского престола. С середины июля в Петербурге на-

1 Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого в Европейском университете в Санкт-Петербурге при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00369-П «Процессы легитимации насилия: культуры конфликта в России и эскалация Гражданской войны».

чались патриотические манифестации, во время одной из них толпа разгромила германское посольство и торговые заведения подданных враждебных государств.

Эти события давно стали предметом изучения. Советские историки преувеличивали масштабы и организованность рабочего движения, рассматривая стачки как результат большевистского руководства, и поддерживали концепцию «отложенной революции»: «Подъем революции был прерван мировой войной, в которой царское правительство искало спасения от революции»<sup>2</sup>.

С конца 1950-х годов тезис о том, что власти пытались предотвратить революцию с помощью войны, оспаривался; отказ от курса на революцию связывался с продуманной позицией большевиков, считавших подобную тактику несвоевременной [История рабочих 1972: 458]. Исследователи, однако, продолжали утверждать, что развитие рабочего движения определялось большевиками.

Р. МакКин оспорил эти выводы, доказывая, что влияние большевиков и других революционных групп на стачечников было ограниченным [McKean 1990]. Дж. Нойбергер обратила внимание на взаимосвязь феномена хулиганства и социального протеста в 1914 году [Neuberger 1993]. В последние годы историки вновь обратились к изучению июльских забастовок и патриотических манифестаций [Аксенов 2018; 2020; Булдаков, Леонтьева 2015; Колоницкий 2010; Румянцев 2016; 2021; Kolonitskii et al. 2022].

В предлагаемой читателю статье мы рассмотрим, как переплетались разные формы насилия во время забастовок, демонстраций и манифестаций. В центре внимания будут описания насилия, риторические тактики его легитимации и осуждения в репортажах журналистов и полицейских отчетах, в листовках подпольщиков, в письмах и дневниках современников.

Нас интересует, в какой степени российская политическая культура и городская политическая традиция Санкт-Петербурга влияли на ход конфликтов. При описании разных акций насилия использовались слова «хулиганы», «хулиганство», поэтому мы уделяем им особое внимание, продолжая исследование Дж. Нойбергер.

## Хулиганы и рабочие

В конце XIX века в английском языке появились слова «хулиганы» и «хулиганство»; публицисты, описывая «организованный уличный терроризм», искали причины новой социальной болезни [Pearson 1983: 74–116]. Модный англицизм был востребован и в России. Современник отмечал:

...слово «хулиган» вошло весело, без всякой трудности, не протискиваясь между другими словами, можно сказать, играючи, в русский язык. И как-то вдруг газетные столбцы стали наполняться целыми отделами, и статьями, и репортерскими отчетами о хулиганах и хулиганстве. Потом это слово перекинулось в деревню<sup>3</sup>.

Массовые газеты и юридические издания все чаще использовали слова «хулиганы» и «хулиганство», описывая различные преступления: от убийств до

---

2 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / Под ред. комиссии ЦК ВКП(б). Л.: ОГИЗ, 1946. С. 153.  
3 *Елпатьевский* С. Бесчинство // Русское богатство. 1912. № 5. С. 85.

непристойного поведения, а некоторые вызывающие действия хулиганов не считались преступлением. В отличие от профессиональных преступников, хулиганы прилюдно и вызывающе нарушали нормы закона и требования морали, открыто бросая вызов общественному порядку и социальной иерархии. Их насилие часто было внезапным, неспровоцированным и казалось безмотивным. Они пересекали реальные и символические рубежи, которые ранее ограничивали зоны уличного насилия. Хулиганов отличала манера говорить, одеваться, вести себя<sup>4</sup>.

Неологизмы отражали новые тревоги благополучных горожан, ранее защищенных от насилия низов. Страх перед хулиганством достиг уровня моральной паники перед нашествием орд новых варваров, угрожающих современной цивилизации. Некоторые же современники не противопоставляли хулиганство и городскую культуру, считая преступность неизбежным порождением бездушной и неестественной цивилизации. Петербург, центр и символ российской модернизации, был и олицетворением кризиса современности [Steinberg 2011: 154–159, 171].

Применение силы со стороны хулиганов и забастовщиков могло быть в равной степени жестоким, но оно отличалось по своему характеру. Насилие хулиганов часто было внезапным и безмотивным, нередко его жертвами становились женщины. Насилие стачечников было адресным, направленным против администрации, мастеров и штрейкбрехеров, против полицейских и жандармов. Оно применялось против штрейкбрехеров любого пола. Наконец, во время острых социальных конфликтов рабочие прибегали к формам насилия, недопустимым в «мирные» периоды.

Невский проспект притягивал и хулиганов, и стачечников. Рабочие стремились там провести демонстрации, сделав протестную акцию общегородским политическим событием. Для хулиганов же бесчинство на этой престижной территории было особенно заманчиво. Современники противопоставляли районы города: «Хулиганство, если не злоупотреблять словами, есть явление больших городов, тесно связанное с городским люмпен-пролетариатом, с контрастом между блестящими улицами городского центра и темными, смрадными окраинами»<sup>5</sup>.

Но оппозиция благополучного центра и беспокойных окраин не соответствовала угрозам, которые представляло хулиганство. В быстрорастущих новых районах комфортабельные дома соседствовали с жилищами бедноты. Да и в старых частях города были традиционные криминогенные зоны, прежде всего прилегавшие к рынкам и линиям железных дорог, а в огромных доходных домах жили люди разного достатка.

На дискуссии о хулиганстве повлиял опыт революции 1905 года, граница между политическими акциями и уголовными преступлениями становилась в это время менее ясной. Одни современники видели в действиях хулиганов стихийные проявления народного бунтарства, а другие криминализировали акции политических противников, именуя их хулиганством. В пропаганде со-

- 
- 4 Тайны Петербургской стороны (С рисунками) / Составил на основании исторических и легендарных данных почет. гражд. Л.Ф. Соловьев. Вып. 1. СПб.: [Б.и.], 1908. С. 24; Громов В.И. Безмотивные преступления (По вопросу об ответственности за хулиганство) // Журнал министерства юстиции. 1913. № 5. С. 56–57.
- 5 Заславский Д. Борьба с хулиганством // Современный мир. 1913. № 1. С. 126–127.



циалистов и либералов слово «хулиган» употреблялось для описания участников антиеврейских и антиинтеллигентских погромов [Neuberger 1993: 44]. Консервативные деятели, а затем и некоторые либералы именовали различные проявления революционного насилия хулиганством<sup>6</sup>.

Эта дискуссия проявлялась в описаниях культуры рабочих и забастовок. Протестные акции сопровождались насилием, в котором нередко участвовали и хулиганы, среди них было немало подростков, но вряд ли насилие забастовщиков можно объяснить только воздействием хулиганов. «Кулачное право» было частью жизни городских окраин, насилие издавна было присуще и конфликтам на предприятиях, а агрессивность полиции способствовала его эскалации.

В начале 1910-х годов усилился интерес к теме хулиганства, слова «хулиган» и «хулиганство» получали еще более широкое распространение. Дж. Нойбергер отметила, как в петроградской прессе менялись и оценки хулиганства. Исследовательница пишет, что некоторые массовые газеты в 1905—1907 годах не ставили знака равенства между хулиганами и рабочими, но затем эта разграничительная линия стала размываться, хулиганство все чаще описывалось как признак дегенерации низших классов. Журналисты писали о хулиганах-рабочих, рабочих-хулиганах. Хулиганство связывалось именно с рабочими, хотя арестованные хулиганы были часто заняты поденной и неквалифицированной работой или являлись безработными. Немало среди хулиганов было и лиц без определенных занятий [Ibid.: 232].

Во время революции часть уличной прессы с симпатией относилась к рабочему движению. Даже осуждая насилие стачечников, журналисты находили смысл в их действиях. Затем хулиганство, бывшее признаком иррационального поведения, стало приписываться низшим классам. Различие между честно трудящимися бедняками и бедняками-преступниками сохранялось, но тема отсутствия культуры и отрицания ценностей цивилизации ассоциировалась с социальными низами, а различия в оценках хулиганов и бедноты размывалась. Бедняк все реже представлял жертвой, и все чаще — опасным агрессором [Ibid.: 234—246]. Это влияло и на отношение к революционному насилию и перспективам его использования. Дж. Нойбергер утверждает, что в 1912—1914 годах культура рабочих испытывала влияние хулиганства, оказав затем воздействие на революцию [Ibid.: 6]. Этот вывод нельзя считать доказанным, но историк права, когда отмечает чрезмерное использование дискурса «хулиганства», который все чаще применялся для описания социальных конфликтов. Традиция употребления слов «хулиган» и «хулиганство» делала неизбежным их использование для описания забастовок и демонстраций в июле 1914 года.

## Забастовка

С 1 (14) июля 1914 года петербургские рабочие проводили митинги и стачки солидарности с нефтяниками Баку. Вечером 3 (16) июля на Путиловском заводе начался митинг, принятая им резолюция призывала к однодневной за-

---

6 Рябченко А.Е. О борьбе с хулиганством, воровством и бродяжничеством. СПб.: Тип. «Бережливость», 1914. С. 5; Благовещенский П.А. О борьбе с хулиганством: сообщение П.А. Благовещенского: из епархиальной жизни. СПб.: Синод. тип., 1914. С. 4, 6—7.

бастовке протеста. Раздался заводской гудок, рабочие потянулись к выходу, но путь им преградили городовые, которые при арестах использовали нагайки и шашки, а затем применили огнестрельное оружие. В ответ рабочие бросили «несколько камней»<sup>7</sup>. Вторым залпом, по сведениям социалистических изданий, двое рабочих было убито, около пятидесяти ранено<sup>8</sup>. По-видимому, эти газеты не критически отнеслись к слухам о стрельбе на поражение и способствовали их распространению. Бесспорно, однако, что среди рабочих имелись пострадавшие. Предприниматели объясняли забастовку действиями революционеров<sup>9</sup>. Правая печать утверждала, что конфликт искусственно создан социалистами, которые-де манипулируют несознательным «стадом»<sup>10</sup>.

Неуклюжие попытки полиции замолчать неприятные факты дали повод для новых слухов, настраивали общественное мнение в пользу рабочих. Социалистическая и либеральная пресса подозревала полицию в провокации, после Ленского расстрела 1912 года и дела Бейлиса этому готовы были поверить многие. Весть о «новой Лене» с негодованием встретили в рабочих кварталах.

4 (17) июля, по данным большевистской газеты, бастовало не менее 71 тысяч человек (до 18% промышленных рабочих города), на Выборгской стороне встали почти все предприятия [McKeap 1990: 301]<sup>11</sup>. В большинстве случаев забастовщики спокойно расходились, иногда же стачки сопровождались демонстрациями, звучали революционные песни, видны были красные флаги. Демонстрации прекращались по требованию полиции, но порой рабочие оказывали сопротивление, швыряли камни. Городовые использовали холодное оружие, в двух случаях они стреляли<sup>12</sup>. Власти официально признавали, что 4 (17) июля полиция стреляла на поражение<sup>13</sup>.

Насилие происходило и в самой рабочей среде: инициаторы стачки силой останавливали работы, колеблющихся избивали, но и те порой сопротивлялись. Немало людей не были готовы начать забастовку, но они шли навстречу призывам инициаторов стачек: угроза насилия воспринималась как оправдание для «вынужденного» участия в забастовке. Некоторые рабочие, прежде всего молодые, демонстрировали склонность к уличному насилию, стачка дала им возможность проявлять свою агрессию. В то же время не все стачечники участвовали в демонстрациях и не все демонстранты готовы были к противостоянию с полицией.

Разногласия в рабочей среде не ограничивались конфликтами между сторонниками стачки и ее противниками: одни выступали против перерастания забастовки в революцию, а другие желали этого. Некоторые бастовали, но не принимали участия в демонстрациях. Одни использовали революционную

7 Расстрел митингов путиловцев // Трудовая правда. 1914. 4 июля; На месте расстрела // Трудовая правда. 1914. 5 июля.

8 Кровопролитие на Путиловском заводе // Наша рабочая газета. 1914. 4 июля; Расстрел митингов путиловцев // Трудовая правда. 1914. 4 июля.

9 Российский государственный исторический архив. Ф. 150. Оп. 1. Д. 668. Л. 267.

10 Обо всем // Русское знамя. 1914. 6 июля.

11 Июльские волнения 1914 г. в Петрограде // Пролетарская революция. 1924. № 7 (30). С. 182, 191.

12 А. Ч. День кровавых столкновений // Петербургский листок. 1914. 5 июля.

13 [Б.а.] Июльские волнения 1914 г. в Петрограде // Пролетарская революция. 1924. № 7 (30). С. 192; Ведомость о происшествиях по городу С.-Петербургу 5-го июля 1914 года // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. Оп. 123. Д. 61. Ч. 2. Лит. А. Т. 2. Л. 136 об.

символику, других это отпугивало. Пожилые рабочие обычно были умеренными, им противостояла радикально настроенная молодежь. Подростки охотно участвовали в акциях насилия, но они не были инициаторами забастовок и демонстраций. В одних случаях несколько полицейских могли остановить большие толпы, не применяя оружия, а в других стачечники бросали вызов значительным нарядам городских.

В забастовке участвовали многие рабочие. Если суббота 5 (18) и воскресенье 6 (19) июля прошли без значительных выступлений, то с началом рабочей недели демонстрации приобрели большой размах, иногда в них участвовали тысячи человек, полиция сдерживала забастовщиков, рвавшихся в центр города<sup>14</sup>. На Выборгской стороне появились баррикады, стачечники защищали их, кидали камни, иногда стреляли из пистолетов. В забастовке участвовала значительная часть рабочих Петербурга: 7 (20), 10 (23) и 11 (24) июля число стачечников доходило до 110 тысяч, а 9 (22) июля достигло даже 117 тысяч [McKean 1990: 301]

В воскресенье наряды полиции были усилены казачьими подразделениями [История рабочих 1972: 457; McKean 1990: 306]<sup>15</sup>. Это способствовало эскалации насилия: военнотружущие в еще большей степени, чем полицейские и жандармы, были склонны к применению оружия. 7 (20) июля полицейские воздерживались от чрезмерного насилия, но иногда и они использовали огнестрельное оружие. Стреляли и казаки, при этом они вели огонь по окнам домов, порой страдали посторонние люди.

Советские исследователи полагали, что 7 (20) июля забастовки переросли в общегородскую всеобщую стачку, этот термин встречается и в синхронных источниках. Большая часть металлистов столицы, за важным исключением рабочих государственных заводов, действительно поддержала забастовку (до 80% работников отрасли не вышли на работу). Забастовка не оказала особого воздействия на повседневную жизнь центра, хотя возникали трудности с приобретением хлеба. Повысилась стоимость съестных припасов, а извозчики отказывались везти пассажиров на беспокойные окраины [McKean 1990: 302]<sup>16</sup>. Толпы продолжали нападать на трамваи, движение вагонов на окраинах города было приостановлено<sup>17</sup>. Все чаще в разговорах и в прессе звучало осуждение нападений на трамваи, которые являлись собственностью города и приносили пользу многим горожанам.

Большевики и некоторые другие социалисты призывали к трехдневной забастовке, которая должна была завершиться 7 (20) июля, но 8 (21) и 9 (22) июля стачка продолжилась. Не прекращались столкновения, строились баррикады. Полицейские и казаки применяли огнестрельное оружие, были раненные и убитые, жертвами становились случайные прохожие. Полиция блокировала мосты, предотвращая движение тысяч забастовщиков, устремившихся в центр. Многие представители правопорядка получили ранения [Ibid.: 308]<sup>18</sup>.

14 Рабочие беспорядки. Официальное сообщение // Голос Руси. 1914. 8 июля; Забастовки в столице // Петербургский листок. 1914. 8 июля; Июльские волнения 1914 г. в Петрограде // Пролетарская революция. 1924. № 7 (30). С. 182, 198.

15 Среди рабочих // Газета-копейка. 1914. 7 июля.

16 Забастовка булочников // Газета-копейка. 1914. 7 июля.

17 Рабочие забастовки и демонстрации // Колокол. 1914. 10 июля.

18 На Сампсониевском проспекте // Газета-копейка. 1914. 9 июля; Вчера в Петербурге // Газета-копейка. 1914. 10 июля; А. П-ий. Забастовки в столице // Петербургский листок. 1914. 11 июля; ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 80. Л. 7, 8.

10 (23) июля Общество заводчиков и фабрикантов объявило локаут металлостов, начались увольнения. Уровень противостояния с полицией снижался, власти постепенно восстанавливали движение трамвая, казаки и полицейские предотвращали порчу рельсовых путей<sup>19</sup>. Все же ситуация оставалась сложной, были вызваны полки гарнизона из летних лагерей, в город вошла гвардейская кавалерия<sup>20</sup>.

Хотя забастовка еще продолжалась, наблюдались признаки успокоения, многие рабочие пытались вернуться на предприятия. Полиция зафиксировала лишь несколько стычек забастовщиков с полицией<sup>21</sup>. Начальник Петербургского Охранного отделения телеграфировал товарищу министра внутренних дел: «Беспорядки считаю ликвидированным, новой вспышки их не ожидаю»<sup>22</sup>. Этот прогноз в целом оказался верным.

И для властей, и для предпринимателей, и для социалистов, и для городских обывателей масштаб забастовки и уровень насилия были неожиданными. Для объяснения этого использовались разные интерпретационные схемы.

Стачка не могла не сравниться с революцией 1905 года, а некоторые современники воспринимали забастовку как начало новой революции. В то же время слово «революция» ставилось порой в кавычки, тем самым подобное сравнение подвергалось сомнению. В частности, столичная жительница писала известному правому политику В.М. Пуришкевичу:

Вчера, 10-го, после ловкого и своевременного ареста забастовочного комитета, рабочее стадо сразу охладело и пошло на убыль, хотя предводители этой «второй революции», хулиганы и подростки, продолжают бесчинствовать. Сегодня из лагерей вернулись четыре кавалерийских полка и пехотный. Это производит на «революцию» впечатление ушата воды. Подводя итоги «революции», которая сегодняшним днем, вероятно, закончится, видим: забастовка поднята на чисто политической почве<sup>23</sup>.

Для интерпретации забастовки привлекались и различные теории заговора. Некоторые конспирологические построения уже упоминались: немало современников верило в то, что полиция намеренно провоцировала рабочих на выступление. Люди же правых взглядов видели в движении результат провокации подпольщиков. Распространение получила и другая теория заговора: стачка якобы была делом рук агентов Германии и Австро-Венгрии, которые опирались на этнических немцев, живших в России.

Наконец, протестное движение описывалось как результат действий хулиганов. Сторонники такой интерпретации упоминали жестокие и иррациональные, с их точки зрения, действия забастовщиков. Речь шла о насилии и разрушении городской собственности. В некоторых текстах различные трактовки совмещались. Упомянутая корреспондентка Пуришкевича писала ему: «Рабочие сыграли позорнейшую роль бессмысленного стада, а громили город беспаспортные хулиганы, бродяги и школьники от 10—16 лет. Жители го-

---

19 Вчера в Петербурге // Газета-копейка. 1914. 11 июля; А. П-ий. Забастовки в столице // Петербургский листок. 1914. 11 июля.

20 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 80. Л. 21.

21 А. П-ий. Забастовки в столице // Петербургский листок. 1914. 12 июля.

22 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 80. Л. 25.

23 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 990. Л. 910 — 910 об.

рода, служащие и мирное рабочее население, как и следовало ожидать, оказались совершенно беззащитными перед хулиганским нашествием»<sup>24</sup>. Описание забастовки как проявление культуры хулиганства часто встречалось в газетах всех направлений. Разнообразные действия забастовщиков — разгром трамваев, битье окон в фабричных цехах и т.п. — описывались как «хулиганские»<sup>25</sup>.

Нельзя отрицать участие хулиганов во многих актах насилия, сопровождавших забастовку, но все же подобная трактовка представляется упрощенной. Движение вышло из-под контроля партийных организаций, отчасти это было следствием полицейских арестов. Молодые рабочие активисты, считавшие, что время для революции уже наступило, порой были инициаторами акций насилия, но вряд ли можно говорить о преобладающем влиянии хулиганов и доминировании культуры хулиганства в рабочих кварталах.

## Патриотические манифестации

Забастовки на некоторых предприятиях Петербурга продолжались, когда 13 (26) июля в городе начались манифестации: в этот день истек срок австрийского ультиматума, предъявленного Сербии, с утра горожане напряженно ждали вестей из Вены и Белграда.

Вечером на Невском начались манифестации, среди участников которых преобладали молодые мужчины — офицеры, студенты, гимназисты, рабочие, в толпе были и дамы. Двигались шествия к посольству Сербии, расположенному на Фурштатдтской улице. Оно, однако, находилось в опасной близости от посольства Австро-Венгрии на Сергиевской улице, к которому полиция не допустила манифестантов. В последующие дни толпы следовали схожим маршрутом: приветствовали сербских дипломатов, а затем безуспешно пытались пройти к посольству Австро-Венгрии. Манифестанты направлялись и к германского посольству на Исаакиевской площади, эти попытки также пресекались полицией. Чаще всего звучали лозунги «Да здравствует Сербия!» и «Долой Австрию!», но репортеры зафиксировали и крики «Да здравствует война!»<sup>26</sup>.

Первоначально полиция пыталась вообще не допускать манифестации: действовал запрет на проведение публичных шествий, принятый во время забастовок в предшествующие дни. Однако, в отличие от стачечников, использовавших революционные символы, манифестанты несли национальные флаги и портреты царя, пели государственный гимн. Руководители полиции осознавали деликатность сложившейся ситуации, понимали, что запрет манифестаций чреват последствиями, поэтому они допускались, но не разрешались шествия к миссиям Германии и Австро-Венгрии. Власти первоначально не пускали манифестантов и на Дворцовую площадь, сакральный политический

---

24 Там же.

25 Вечернее время. 1914. 7 июля; Московские ведомости. 1914. 11 июля; Газета-копейка. 1914. 10 июля.

26 Новое время. 1914. 14 июля; Земщина. 1914. 13 июля; Вечерняя хроника // Голос Руси. 1914. 14 июля; Манифестации // День. 1914. 14 июля; Вчерашние манифестации в Петербурге // Петербургский листок. 1914. 14 июля; Манифестации в Петербурге // Речь. 1914. 14 июля; Патриотические манифестации в Петербурге // Колокол. 1914. 15 июля.

центр столицы. Полиция использовала силу и производила аресты, организовывались даже импровизированные баррикады, блокировавшие путь цепью остановленных повозок и автомобилей.

14 (27) июля в Петербурге прошли новые манифестации. В этот день возобновлялись работы на всех промышленных предприятиях, теперь они нарушались лишь выражением патриотических чувств — пением гимна в мастерских и обсуждением новостей<sup>27</sup>.

15 (28) июля стало известно, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, на следующий день начались боевые действия. 18 (31) июля стало днем объявления мобилизации в России, 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, а 20 июля (2 августа) царь объявил в Зимнем дворце манифест о войне. Центром зарождения многих демонстраций становился угол Невского проспекта и Садовой улицы, где в окнах газетных контор вывешивали свежие новости. Шествия организовывались панславистскими объединениями, но они возникали и стихийно.

Состав участников манифестаций был разношерстным: офицеры, студенты, отставные военные, дамы. Студенты порой возглавляли шествия, образовывали цепи, придавая движению толпы характер организованной демонстрации. В газетах указывалось и на участие в манифестациях рабочих, присутствие которых демонстрировало атмосферу патриотического единства, преодолевавшую классовую рознь<sup>28</sup>. Консервативные публицисты с умилением отмечали:

В огромной уличной толпе, предоставленной самой себе, нет ни одного проявления растленного хулиганства. <...> Вчерашний забастовщик, взывавший к «товарищам», нашел своих сограждан и сегодня уже говорит и чувствует, как истинный гражданин обновленной России<sup>29</sup>.

Это суждение с сочувствием перепечатывали другие издания<sup>30</sup>.

Манифестации происходили главным образом в центре: на Невском проспекте и прилегающих улицах, у памятников царям и полководцам, у казарм гвардейских полков. Символическое пространство города давало немало поводов для выражения патриотизма. Перед памятниками тысячные толпы становились на колени, а у православных церквей происходили публичные молебствия, особое значение имело пространство перед Казанским собором. Манифестанты стремились к сербскому посольству, а также к французской и британской миссиям. Толпы пытались пробиться и к посольствам враждебных держав, и полиция с трудом сдерживала их натиск<sup>31</sup>. Лишь несовпадение во времени шествий, умелое маневрирование силами жандармерии и полиции, и мастерство переговорщиков, продемонстрированное офицерами полиции, не допускали опасного конфликта.

---

27 А. П-ий. Патриотические манифестации // Петербургский листок. 1914. 15 июля.

28 Новое время. 1914. 14, 15 июля; Манифестации в Петербурге // Газета-копейка. 1914. 14 июля.

29 Половина победы // Новое время. 1914. 22 июля.

30 Обзор печати // Петербургский курьер. 1914. 23 июля.

31 Манифестации // Речь. 1914. 17 июля; Манифестации в Петербурге // День. 1914. 18 июля; Манифестации // Газета-копейка. 1914. 19 июля; Голос Руси. 1914. 19 июля; Патриотические манифестации // Петербургский листок. 1914. 19 июля; Манифестации // Речь. 1914. 19 июля; Патриотические манифестации рабочих // Голос Руси. 1914. 19 июля.

Патриотические манифестации происходили и в рабочих районах<sup>32</sup>. Их, однако, не пропускали в центр. Шествия происходили и в пригородах, хотя полиция в некоторых случаях пыталась их рассеять. За разгон демонстрации в Шувалово полицейские офицеры были преданы суду. Окружной суд приговорил пристава к заключению в крепость на два месяца, а его помощника — к аресту при тюрьме на два месяца<sup>33</sup>.

Был ли этот случай исключительным? Имели место и иные столкновения патриотически настроенных манифестантов с полицией, которая применяла силу. Нам не известны, однако, другие случаи, когда офицеры полиции предавались суду. Возможно, это было связано с беспрецедентно жестоким поведением стражников, а может быть, свою роль сыграл высокий статус пострадавших. Насилие по отношению к простолюдинам не влекло таких серьезных последствий для полицейских.

Но и демонстрации в центре принимали характер, нежелательный для их организаторов. Газета сообщала: «Под предводительством подростков и подчас сомнительных на вид личностей манифестации разбрасываются по Невскому проспекту и боковым улицам, прекратив всякое движение»<sup>34</sup>. Манифестанты прорывали цепи жандармов, пытавшихся регулировать движение толпы, иногда это сопровождалось ожесточенными стычками<sup>35</sup>.

Скопления людей, затруднявшие движение транспорта, способствовали обострению криминогенной обстановки, число заявлений о кражах существенно возросло. «Озорство» ночных манифестантов встревожило городских обывателей, которые недавно читали в газетах о хулиганах-стачечниках, рвущихся в центр города. Власти решили не допускать после полуночи демонстрации, и толпы, в которых было немало подростков, рассеивались полицией, которая, впрочем, действовала «с большой осторожностью»<sup>36</sup>.

В газетах появилось официальное объявление, задававшее рамку для проявления патриотического энтузиазма:

Не прекращающиеся повсеместно манифестации, все более многочисленные и происходящие даже в ночное время, побуждают правительство, вполне разделяющее этот патриотический порыв, вновь обратиться к населению с призывом соблюдать спокойствие и сдержанность и избегать проявлений возбужденного народного чувства, которые могут осложнить создавшееся положение<sup>37</sup>.

Опасения властей были небезосновательны: объявление войны и начало мобилизации создавали новую психологическую ситуацию, можно было предвидеть, что действия манифестантов станут более агрессивными.

---

32 Патриотические манифестации рабочих // Голос Руси. 1914. 19 июля; Патриотические манифестации // Петербургский листок. 1914. 19 июля; Патриотические манифестации // Голос Руси. 1914. 22 июля.

33 ГА РФ. Ф. 102, делопроизводство 3. Оп. 112. Д. 44. Л. 329—331; День. 1914. 11 декабря.

34 Манифестации // День. 1914. 16 июля.

35 Манифестации в Петербурге // Газета-копейка. 16 июля. 1914; Манифестации // Речь. 1914. 16 июля.

36 Манифестации в Петербурге // Газета-копейка. 1914. 18 июля.

37 Официальное сообщение // Газета-копейка. 1914. 19 июля; Правительственное сообщение // Голос Руси. 1914. 19 июля (1 августа); Призыв правительства к населению по поводу манифестаций // Петербургский листок. 1914. 19 июля.

Возбужденное настроение выражалось в насильственных действиях: манифестанты сопровождали партию запасных, шедших по Невскому проспекту. Позади запасных шла небольшая группа, кричавшая «Долой войну!» и певшая «Марсельезу». С криками «Изменники, предатели!» манифестанты бросились на противников войны и избивали их [Кириянов 1992: 72–73].

Некоторые люди левых взглядов осуждали манифестации, показательно, что они говорили о хулиганстве. Так, неизвестный автор письма, датированного 18 (31) июля, писал сотруднику «Русских ведомостей» И.Н. Игнатову: «В Петербурге — гнусные времена. На три четверти все манифестации — хулиганские, а что еще хуже, так это заражение рабочей среды националистическим духом. Мыльными пузырями разлетелись все успехи рабочей организации; впереди — новый громадный труд»<sup>38</sup>.

Обвинения в хулиганстве, адресовавшиеся ранее стачечникам, теперь предъявлялись манифестантам.

## Разгром германского посольства

Атмосфера была уже наэлектризована манифестациями предшествующих дней, когда 22 июля (4 августа) появились вести, что русские туристы и дипломаты в Германии подвергаются насилию, а поезд с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, возвращавшейся в Россию, не был пропущен через Берлин. Матери царя пришлось ехать окольным путем<sup>39</sup>.

Информация об оскорблениях русских дипломатов была опубликована во влиятельной газете под заголовком «Немецкое хулиганство»<sup>40</sup>. Возник слух, что в Берлине толпа разгромила православную церковь посольства. Слух не подтвердился, однако нашел отражение на страницах газет [Аксенов 2020: 105]. Тема оскорбления России, которое невозможно оставить без ответа, звучала в прессе, в публичных выступлениях, в частных разговорах. Вечером громадная толпа двинулась по Невскому проспекту с криками: «Долой немцев!», «Долой Германию!». Люди шли с портретами императора и национальными флагами, звучал гимн.

На углу Невского и Садовой было разгромлено кафе «Рейтерн», которое манифестанты ошибочно считали принадлежащим немцу<sup>41</sup>. Потом манифестанты атаковали редакцию газеты «St. Petersburgische Zeitung» и немецкий книжный магазин. Толпа затем двинулась к германскому посольству, по дороге был разгромлен магазин венской мебели и выбиты стекла в венской булочной [Румянцев 2016: 70]<sup>42</sup>.

---

38 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 1.

39 Наглость германцев // Петербургский курьер. 1914. 22 июля; Безграничная германская наглость // Голос Руси. 1914. 22 июля; Голос Руси. 1914. 23 июля; Всеобщий подъем на защиту отечества // Там же.

40 Немецкое хулиганство // Русское слово. 1914. 24 июля.

41 Эксцессы // День. 1914. 23 июля; Н.В. Столичные заметки // Русское знамя. 1914. 24 июля; Разгром германского посольства // Речь. 1914. 23 июля; Разгром германского посольства // Колокол. 1914. 23 июля.

42 Эксцессы // День. 1914. 23 июля; Н.В. Столичные заметки // Русское знамя. 1914. 24 июля; Разгром германского посольства // Петербургский листок. 1914. 23 июля; Разгром германского посольства // Речь. 1914. 23 июля; Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербург (ЦГИА СПб). Ф. 569. Оп. 10. Д. 191. Л. 22.



Здание посольства, покинутое дипломатами, охранялось жандармами и полицией. Манифестанты все прибывали на площадь, газеты сообщали о 40 тысячах. Полицейские и жандармы отступили к посольству под напором толпы, по словам полицейского офицера, состоявшей преимущественно из «рабочих низшего класса и малолетних». С криками: «Ура!», «Долой немцев!» они стали закидывать здание булыжниками, а затем ворвались в него [Там же: 70—71]<sup>43</sup>. С флагштока был сброшен германский герб, его место занял российский флаг. Медные статуи диоскуров, украшавшие здание, были повержены<sup>44</sup>. Здание было подожжено<sup>45</sup>.

В разгар погрома на площадь прибыл градоначальник князь А.Н. Оболенский во главе нарядов конной полиции и жандармерии. Полиция стала освобождать здание от дебоширов, хотя и не производила арестов. Часть толпы с царскими портретами и флагами направилась к Невскому проспекту, по дороге громились «немецкие» магазины [Там же: 70]<sup>46</sup>.

Появились вести, что толпа двинулась к австрийскому посольству, значительные силы полиции были переброшены туда с Исаакиевской площади. Здание австрийской миссии удалось отстоять. Слух о том, что германское посольство горит, привлек на Исаакиевскую площадь новых людей, и вскоре толпа, видя незначительность оставшихся полицейских сил, вновь подошла к посольству. Манифестанты, среди которых было немало женщин, разбив окна, проникли в здание и учинили в нем новый погром. Лишь после возвращения на площадь усиленных нарядов полиции начались аресты, погромщики отбивались, швыряя камни. Полиция заняла здание, площадь была очищена около трех часов ночи.

Было задержано примерно сто человек, среди них преобладали «рабочие низших классов» и «малолетние». В большинстве своем они были работниками мелких мастерских и торговых предприятий, подмастерьями, мелкими служащими, официантами, прислугой. Встречались студенты и актеры. Промышленных рабочих среди арестованных было мало. Большинство погромщиков было молодыми людьми 17—25 лет [Аксенов 2020: 105; Румянцев 2016: 72—73]<sup>47</sup>.

Газеты, однако, отмечали, что среди инициаторов шествия к посольству преобладала интеллигентно выглядящая публика. «Интеллигенты» наряду с прочими разворотили мостовую и швыряли камни в окна здания. Среди задержанных полицией было много молодых людей, которые выглядели как «хулиганы». Можно предположить, что полиция осторожно и выборочно производила аресты «чистой публики», зато без колебаний задерживала представителей городских низов [Аксенов 2020: 105—106].

43 Разгром германского посольства // Петербургский листок. 23 июля; ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 191. Л. 22.

44 Разгром германского посольства // Петербургский листок. 1914. 23 июля; Разгром германского посольства // Колокол. 1914. 23 июля; ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 191. Л. 22—22а.

45 Эксцессы // День. 1914. 23 июля.

46 Новое время. 1914. 23, 24 июля; Разгром Германского посольства // Газета-копейка. 1914. 23 июля; Разгром здания германского посольства // Петербургский курьер. 1914. 23 июля; Эксцессы // День. 1914. 23 июля; Разгром германского посольства // Речь. 1914. 23 июля; ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 191. Л. 22а.

47 Эксцессы // День. 1914. 23 июля; Разгром германского посольства // Речь. 1914. 23 июля; ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 191. Л. 22а.

Задержание погромщиков продолжалось недолго: секретная телеграмма столичного градоначальника предписывала «немедленно освободить всех задержанных за бесчинство и озорство в отношении здания германского посольства» [Румянцев 2016: 75—76]<sup>48</sup>. Подобное решение можно объяснить сочувствием части общества погромщикам, судебное преследование «патриотов» могло повлечь нежелательные последствия.

Штурм немецкого посольства обеспокоил власти, они осознавали, что полностью контролировать патриотическое возмущение невозможно: Эрик Лор заметил, что «с самого начала войны государство столкнулось с определенной дилеммой. Оно желало поощрить патриотические манифестации и выражения воинственного энтузиазма, но при этом так же необходимо было поддерживать порядок» [Лор 2012: 23]. Неконтролируемые и буйные проявления патриотизма угрожали общественной безопасности и негативно влияли на репутацию империи. В постановлении, принятом на следующий день после разгрома посольства, столичный градоначальник напоминал о постановлении, воспрещавшем демонстрации<sup>49</sup>. Тем самым ограничивались и возможности патриотической мобилизации — поддержание общественного порядка для властей было более приоритетной задачей.

У полиции, однако, появились и новые причины для беспокойств: рабочие окраины стали местом конфликтов между торговцами и возмущенными покупателями, особенно решительно проявили себя жены мобилизованных, недовольные скачком цен. Было разгромлено несколько базаров<sup>50</sup>. Сочетание продовольственных бунтов и манифестаций могло привести к социальному взрыву.

Общество обсуждало разгром посольства и погромы немецких предприятий. Кадетская «Речь» решительно осудила «прискорбные эксцессы». Газета выражала надежду, чтобы «безобразные уличные сцены, в которых хулиганство пользуется вывеской патриотизма, больше не повторялись»<sup>51</sup>.

Отношение большей части печати можно назвать осторожным осуждением происшествия. Пресса разной ориентации использовала тему хулиганства. «Патриотически настроенный народ не должен обращаться в толпу хулиганов», — заявляла националистическая газета<sup>52</sup>. Ответственность за эксцессы возлагалась не на политические группы, создавшие в предшествующие дни условия для этого погрома, а на анонимных хулиганов, преступников и маргиналов. Черносотенная газета осуждала погромщиков:

К ночи манифестации приняли необузданный вид, получив окраску хулиганства. <...> Такие «манифестации» сулят нам впереди только анархию и не отражают глубокого, искреннего патриотического настроения. Несомненно, здесь большую роль сыграли провокаторы, эксплуатировавшие народное чувство<sup>53</sup>.

Газета ставила под вопрос приверженность немецких дипломатов международному праву, возлагая на них ответственность за нагнетание атмосферы на-

---

48 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 191. Л. 27.

49 Запрещение манифестаций // Новое время. 1914. 24 июля.

50 Разгром рынка // Газета-копейка. 1914. 26 июля; Бесчинства потребителей // Газета-копейка. 1914. 29 июля; Разные известия // Газета-копейка. 1914. 28 июля.

51 Прискорбные эксцессы // Речь. 1914. 24 июля.

52 Прискорбное событие // Голос Руси. 1914. 23 июля.

53 Манифестации // Земщина. 1914. 23 июля.

сия. Германских представителей обвиняли в подстрекательстве русских рабочих к беспорядкам<sup>54</sup>.

Некоторые же современники считали разгром германского посольства проявлением патриотизма. Так полагал, например, В.В. Розанов<sup>55</sup>. Писатель не был исключением, порой осуждалось само употребление слова «хулиганы» по отношению к погромщикам<sup>56</sup>.

## Заключение

Некоторые современники, а вслед за ними и историки, противопоставляли действия рабочих и манифестантов, акты насилия толпы оценивались по-разному. Большевицкая мемуаристика и советская историография противопоставляли организованные акции сознательных пролетариев погромам «шовинистов». Эту же оппозицию — с обратным знаком — использовали в 1914 году люди правых взглядов. Они осуждали хулиганство забастовщиков и с пониманием относились к разгневанным патриотам, громившим «немецкие» заведения. Однако нельзя не видеть связь этих форм насилия. Рабочий протест эпохи Первой мировой войны содержал изрядную долю германофобии, мишенью атак становились немецкие предприниматели, управляющие, инженеры. Антигерманские акции, сопровождавшиеся насилием, переплетались с развитой традицией рабочего протеста. Их сочетание представляло опасность для режима, наиболее яркий тому пример — антинемецкий погром в Москве в мае 1915 года. Это свидетельствует о революционном потенциале националистической и милитаристской пропаганды. Она выходила из-под контроля элит и могла быть направлена против режима. Полиция сочувствовала патриотическим манифестациям, но осознавала их опасность для общественного порядка и политической стабильности<sup>57</sup>.

Разные группы городских низов были носителями политической культуры, которая допускала и оправдывала применение насилия по отношению к оппонентам и силам правопорядка. Полиция быстрее и охотнее применяла силу к рабочим и социалистам. Свою жестокость власти объясняли насилием, к которому прибегали революционеры и забастовщики. Власти допускали гораздо большую степень насилия по отношению к простолюдинам, чем к «образованной публике», поэтому манифестации, имевшие смешанный социальный состав, представляли для полиции особый вызов.

Широкое использование слова «хулиганы» для описания разных оппонентов и противников свидетельствовало о тактике криминализации политических оппонентов. Хулиганство представляло собой новое и сложное культурное явление. Исследователи уличного насилия особо выделяют в его развитии летние забастовки 1914 года, которые некоторые современники аттестовали как «революционное хулиганство» [Neuberger 1993: 256—271]. Культура хулиганст-

---

54 Вести и слухи // Земщина. 1914. 26 июля.

55 Розанов В.В. Война 1914 года и русское возрождение. Пг.: Тип. т-ва А.С. Суворина — «Новое время», 1915. С. 8, 13, 15, 31—32.

56 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 10. Д. 188. Л. 138.

57 О связи патриотической экзальтации с социальной агрессией, опасной для государства, пишет современный исследователь [Sanborn 2000].

ва могла проявляться и во время патриотических манифестаций, это слово использовалось для их описания. Во время Февральского восстания 1917 года движение жителей окраин в центр носило политический характер, однако порой сопровождалось «хулиганскими» действиями, в которых были замешаны прежде всего молодые люди и подростки. В отличие от забастовок 1914 года, после свержения монархии такие акции описывались большой прессой как революционные, а не хулиганские. В этом проявлялось иное отношение горожан к стачечникам: в 1917 году забастовщики ощущали сочувствие, а иногда и поддержку других групп населения.

Связь феномена хулиганства с политической культурой рабочих и культурно-политической топографией города проявлялась в действиях забастовщиков, манифестантов и полицейских. Забастовщики, следуя традиции политического протеста, пытались прорваться в центр города, но полиция сдерживала это движение при сочувствии горожан, опасавшихся нашествия «хулиганов». Патриотические же манифестации начались в центре города. Полиция сначала пыталась предотвращать их, но затем ограничилась недопущением манифестантов к посольствам, предотвращением погромов, локализацией патриотических манифестаций, возникших на городских окраинах. Некоторое время эти задачи удавалось решать, но в конце концов полиция не смогла противодействовать толпам, которые громили «немецкие» торговые заведения, а затем штурмовали германское посольство.

Горожане, которых современники именовали хулиганскими, были активными участниками конфликтов, сопровождавших стачки, демонстрации и манифестации. Среди них было очень много молодых людей и подростков. Вместе с тем осуществляли насилие и противостояли полиции и те мужчины и женщины, которых в обычное время никто бы не назвал хулиганскими. Вряд ли силовое противостояние можно объяснить влиянием культуры хулиганства, хотя именно такая интерпретация предлагалась современниками разных взглядов. Корни уличного насилия, получавшего политическую легитимацию, были разнообразными.

## Библиография / References

- [Аксенов 2018] — Аксенов В.Б. Патриотизм-1914: от историографических противоречий к поиску психологической структуры // Историческая экспертиза. 2018. № 3. С. 232—252.
- (Aksenov V.B. Patriotizm-1914: ot istoriograficheskikh protivorechiy k poisku psikhologicheskoy struktury // Istoricheskaya ekspertiza. 2018. No. 3. P. 232—252.)
- [Аксенов 2020] — Аксенов В.Б. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914—1918). М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- (Aksenov V.B. Slukhi, obrazy, emotsii. Massovye nastroyeniya rossiyan v gody voyny i revolyutsii (1914—1918). Moscow, 2020.)
- [Булдаков, Леонтьева 2015] — Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. М.: Новый хронограф, 2015.
- (Buldaikov V.P., Leont'yeva T.G. Voyna, porodivshaya revolyutsiyu. Moscow, 2015.)
- [История рабочих 1972] — История рабочих Ленинграда. 1703—1965: В 2 т. / Отв. ред. В.С. Дякин. Т. 1: 1703 — февраль 1917. Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1972.

- (Istoriya rabochikh Leningrada. 1703—1965: In 2 vols. / Ed. by V.S. Dyakin. Vol. 1: 1703 — fevral' 1917. Leningrad, 1972.)
- [Кирьянов 1992] — *Кирьянов Ю.И.* Демонстрации рабочих в 1914 — феврале 1917 г. // Рабочий класс капиталистической России (Сборник обзоров) / Отв. ред. Ю.И. Кирьянов, В.М. Шевырин. М.: ИНИОН, 1992. С. 67—109.
- (Kir'yanov Yu.I. Demonstratsii rabochikh v 1914 — fevrale 1917 g. // Rabochiy klass kapitalisticheskoy Rossii (Sbornik obzоров) / Ed. by Yu.I. Kir'yanov and V.M. Shevyrin. Moscow, 1992. P. 67—109.)
- [Колоницкий 2010] — *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (Kolonitskii B.I. "Tragicheskaya erotika": obrazy imperatorskoy sem'i v gody Pervoy mirovoy voyny. Moscow, 2010.)
- [Лор 2012] — *Лор Э.* Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- (Lohr E. Russkiy natsionalizm i Rossiyskaya imperiya: kampaniya protiv "vrazheskikh poddannykh" v gody Pervoy mirovoy voyny. Moscow, 2012.)
- [Румянцев 2016] — *Румянцев А.Г.* Разгром германского посольства в июле 1914 года — мифы и реальность // Петербургские военно-исторические чтения. Межвузовская научная конференция, 20 марта 2015 г. / Отв. ред. А.Б. Николаев. СПб.: [Б.и.], 2016. С. 67—77.
- (Rumyantsev A.G. Razгром germanskogo posol'stva v iyule 1914 goda — mify i real'nost' // Peterburgskie voenno-istoricheskie chteniya. Mezhvuzovskaya nauchnaya konferentsiya, 20 marta 2015 g. / Ed. by A.B. Nikolaev. Saint Petersburg, 2016. P. 67—77.)
- [Румянцев 2021] — *Румянцев А.Г.* Рабочее движение в Петербурге в преддверии Первой мировой войны глазами чинов полиции // XVI Петербургские военно-исторические чтения: Всероссийская научная конференция. Санкт-Петербург, 25—26 сентября 2020 года / Отв. ред. А.Б. Николаев. СПб.: [Б.и.], 2021. С. 86—103.
- (Rumyantsev A.G. Rabochee dvizhenie v Peterburge v predverii Pervoy mirovoy voyny glazami chinov politzii // XVI Peterburgskie voenno-istoricheskie chteniya: Vserossiyskaya nauchnaya konferentsiya. Sankt-Peterburg, 25—26 sentyabrya 2020 goda / Ed. by A.B. Nikolaev. Saint Petersburg, 2021. P. 86—103.)
- [Kolonitskiy et al. 2022] — *Kolonitskiy B.I., Godunov K.V., Tarasov K.A.* Strikes and Demonstrations, Manifestations and Pogroms: Violence on the Streets of St. Petersburg (July 1914) // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2022. Sci. 92. Suppl. 11. P. 1024—1033.
- [McKean 1990] — *McKean R.* St. Petersburg between the revolutions: Workers and revolutionaries, June 1907 — Febr. 1917. New Haven; London: Yale University Press, 1990.
- [Neuberger 1993] — *Neuberger J.* Hooliganism: Crime, Culture and Power in St. Petersburg, 1900—1914. Berkley; Los Angeles: University of California Press, 1993
- [Pearson 1983] — *Pearson G.* Hooligan: A History of Respectable Fears. London: Macmillan Press, 1983.
- [Sanborn 2000] — *Sanborn J.* The Mobilization of 1914 and the Question of the Russian Nation: A Reexamination // Slavica Review. Vol. 59. No. 2. P. 267—289.
- [Steinberg 2011] — *Steinberg M.D.* Petersburg. Fin de Siècle. New Haven; London: Yale University Press, 2011.

Цуёси Хасегава

# Самосуды в Петрограде и русская революция

(МАРТ 1917 ГОДА — МАРТ 1918 ГОДА)

Tsuyoshi Hasegawa

Samosudy in Petrograd and the Russian Revolution, March 1917—March 1918

**Цуёси Хасегава** (Университет Калифорнии в Санта-Барбаре, факультет истории, заслуженный профессор; PhD) thasegawa@ucsb.edu.

**Tsuyoshi Hasegawa** (PhD; Professor Emeritus, Department of History, University of California at Santa Barbara) thasegawa@ucsb.edu.

**Ключевые слова:** самосуды, механическая солидарность, органическая солидарность, толпа

**Key words:** samosudy, mechanical solidarity, organic solidarity, crowd

УДК: 94.4

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_170

UDC: 94/4

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_170

Статья посвящена исследованию реакции людей на катастрофический развал системы уголовного правосудия, выразившийся в широком распространении самосудов. Автор анализирует, где происходили самосуды, кто в них участвовал, против кого были направлены эти расправы и как частота случаев самосуда соотносилась с политическим и социальным развалом. Это исследование подчеркивает важность изучения городской бедноты, которой историки не уделяли должного внимания. Рассматриваются и политические последствия самосуда. Большевики приветствовали самосуды как выражение народного гнева на Временное правительство и использовали их как средство для продвижения к власти. Однако после Октябрьской революции самосуды не прекратились, став еще более многочисленными и масштабными. Не в силах остановить их, большевистский режим счел самосуды контрреволюционными и поручил борьбу с ним ВЧК. Таким образом, самосуды послужили плацдармом для установления авторитарной власти большевиков.

This article attempts to examine people's reactions to the catastrophic breakdown of the criminal justice system expressed in widespread samosudy. It analyzes where samosudy took place, who participated in them, at whom samosudy were directed, and how incidence of samosudy corresponded with political and social breakdown. This analysis underscores the importance of the urban poor that historians have neglected to examine. It further examines the political implications of samosudy. The Bolsheviks welcomed samosudy as the expression of people's anger for the Provisional Government, exploiting them as a vehicle for their road to power. Samosudy, however, did *not* stop after the Bolshevik revolution, but further expanded in number and in scope. Unable to stop them, the Bolshevik regime considered samosudy to be counterrevolutionary, and assigned the Cheka to deal with them. Samosudy served as a springboard for the establishment of the Bolshevik authoritarian rule.

4 марта 1917 года, по мнению многих современников, Россия возродилась, завершилась Февральская революция. Царь Николай II отрекся от престола, и на смену старому режиму пришло новое Временное правительство. Представители всех слоев общества вышли на улицы Петрограда, охваченные счастьем, совершенно незнакомые люди приветствовали друг друга, как на Пасху [Колоницкий 2012: 57–87].

Через год у власти оказались большевики. В годовщину Февральской революции не было никаких торжеств. Ни демонстраций, ни транспарантов, ни речей. Улицы были пустынные. Все, кто выходил под серое, гнетущее небо, мол-

ча спешили домой, закрывали лица воротниками шинелей, надвигали шапки на глаза, чтобы никого не видеть<sup>1</sup>.

Как могли надежды марта 1917 года так быстро обернуться горьким разочарованием? Ответ кроется в катастрофическом социальном кризисе, последовавшем за Февральской революцией. Временное правительство ликвидировало систему уголовной юстиции, но новая система, созданная им, не смогла обеспечить безопасность жизни и имущества простых людей<sup>2</sup>. Старая полиция при царизме не только поддерживала порядок, но и выполняла многочисленные муниципальные функции, такие как регистрация жителей и выдача справок, санитарная проверка заведений общественного питания, уборка улиц и обеспечение сбора мусора и отходов жизнедеятельности, проверка проституток на венерические заболевания и т.д. Неэффективность новой системы означала парализацию этих важнейших муниципальных служб.

Улицы, даже некогда нарядный Невский проспект, стали грязными, пыльными, заваленными мусором, отбросами, шелухой от семечек. Во дворах скапливались неубранный мусор и человеческие отходы, наполняя воздух едким запахом [Николаев 2015: 145–147]. Среди бела дня повсюду бегали крысы. Не имевшие никаких разрешений уличные торговцы продавали непроверенную еду и напитки, часто отравляя покупателей. Старинные статуи греческих богинь в Летнем саду стали мишенями для хулиганов. Распространялась эпидемия азартных игр, в них играли не только в дорогих частных клубах, но и во дворах, темных задворках и прямо на улицах, а иногда и в парках, и на открытых площадках. В театрах разыгрывались порнографические сцены. Процветала деятельность нелегальных проституток, распространявших венерические заболевания. Бульварные газеты сообщали о многочисленных случаях передозировки кокаином [Hasegawa 2017: 54–64, 105–106].

Помимо социального кризиса, население испытывало и экономические трудности. Февральская революция началась с требования работниц обеспечить снабжение хлебом, но реальный дефицит продовольствия начался только после революции. Цены на продукты питания и товары повседневного спроса резко возросли. Люди преодолевали большие расстояния до рынков, чтобы купить продукты, выстаивая многочасовые очереди [Аксенов 2002: 119–120, 132–134, 136–138; Hasegawa 2017: 71–73, 76–78].

## Рост преступности

Наиболее серьезной угрозой для горожан стал экспоненциальный рост преступности. В геометрической прогрессии росло не только количество преступлений, но и их жестокость. Количество краж увеличилось со 190 в апреле до 689 (май), 788 (июнь), 857 (июль), 1277 (август), 1271 (сентябрь) и 1170 (по 20 октября)<sup>3</sup> [Ерещенко 2003: 112]. Уже в конце апреля — начале мая крупные кражи стали

1 Вечернее слово. 1918. 23 марта (3 апреля).

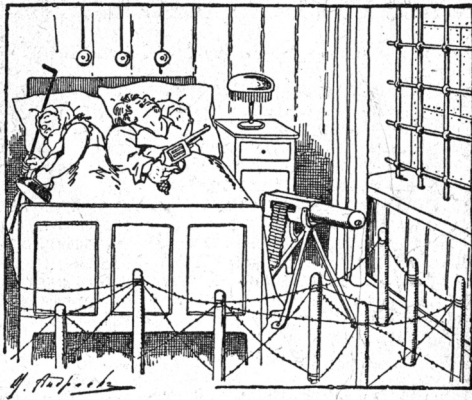
2 О неэффективности городской милиции, созданной городской думой, см.: [Hasegawa 2017: 116–137, 141–158; Хасегава 2001]. О преступности и полиции в годы революции и Гражданской войны в России см.: [Мусаев 2000; 2001].

3 Эти цифры приблизительны, так как в прессе и милиции было больше сообщений о таких случаях.

настолько частыми, что «Петроградский листок» решил создать новую рубрику «Столичные хищники». 16 июня газета информировала читателей о более чем сорока заявлениях о кражах в течение суток. С чувством тревоги пресса сообщила о «небывалой анархии»<sup>4</sup>. Накануне Октябрьской революции «Петроградский листок» сообщил о более чем восьмистах зарегистрированных кражах за предыдущие 48 часов<sup>5</sup>. В переполненных трамваях процветали карманники, о преступлениях которых часто не сообщалось.

Пугающе возросло число грабежей, при которых жертвам угрожали или нападали на них. Если в 1915 году в среднем регистрировалось 5,3 случаев в месяц, то в апреле число грабежей возросло до 8, в мае — до 11, в июне — до 13, в июле — до 18, в августе — до 27, в сентябре — до 30, к 20 октября — до 43 [Там же: 123]. Наиболее пугающим аспектом преступности в Петрограде стал рост числа убийств. По данным, с марта по 20 октября было совершено 163 убийства, в среднем по 18,1 убийств в месяц. Особенно увеличилось количество убийств после августа — 19 в августе, 34 в сентябре и 53 в октябре [Там же: 126].

Одно из самых громких убийств произошло в октябре, когда в здании, где располагался второй комиссариат милиции Лесной части, были зверски убиты дворник Петров, его жена и трое маленьких детей. Поползли слухи о причастности милиции к этому убийству, и вскоре у комиссариата милиции собралось более тысячи возмущенных жителей, которые заблокировали машину, перевозившую тела погибших на вскрытие. Для разгона толпы пришлось вызывать военные части<sup>6</sup>.



*В постели спит семейная пара, вооруженная пулеметом, револьвером и кочергой, спальня окружена колючей проволокой, на окне — железные решетки. Надпись гласит: «При 400 ограблениях за ночь как может спать петроградец?»<sup>7</sup>*



*Пара на улице сталкивается с безвыходной ситуацией. «Ужас! Сзади грабитель, впереди милиционер!»<sup>8</sup>*

- 4 Петроградский листок. 1917. 17 июня.
- 5 Петроградский листок. 1917. 14 октября.
- 6 Петроградский листок. 1917. 2, 4 октября; Газета-копейка. 1917. 5, 6 октября; Вечернее время. 1917. 4 октября. Оказалось, что убийства совершала китайская банда. Роль китайских банд в преступной среде города особенно тревожила горожан.
- 7 Огонек. 1917. 22 октября. № 41. Подпись неразборчива.
- 8 Петроградский листок. 1917. 10 октября. Подпись — Дядя Саша.



## Распад системы уголовного правосудия

Преступность угрожала повседневной жизни граждан, а развал системы уголовного правосудия еще больше ее усугублял. Городская милиция была неопытна, часто пополнялась бывшими преступниками и была совершенно не способна справиться с криминалом. Временный суд, созданный Керенским, часто выносил мягкие приговоры преступникам, а когда в августе даже этот суд был упразднен, людям стало некуда обращаться с жалобами. Даже если преступников ловили, охрана тюрем была настолько слабой, что многие заключенные возвращались на улицы [Николаев 2017; Hasegawa 2017: 86—92, 95—96, 133—137]. Профессиональные преступники и дезертиры стекались в столицу, чтобы, воспользовавшись хаосом, совершить свои «подвиги».

## Расцвет самосудов

Как люди реагировали на эту катастрофу повседневной жизни? Не доверяя городской милиции, судебной и тюремной системе, они брали закон в свои руки, прибегая к самосуду. Люди ловили карманников и грабителей, толпой окружали их, тут же избивали, иногда расстреливали на месте или бросали в каналы или реки.

20 октября в консервативной газете «Вечернее время» комментатор, писавший под псевдонимом П.Р., рассказал о страшном нашествии преступников в Лесном. Некогда тихий пригород заполонили убийцы и воры, некоторые из них орудовали прямо среди бела дня. Когда грабители врываются в дома посреди ночи, жители знали, что нужно притвориться спящими, опасаясь, что их могут убить. П.Р. описал психологический упадок среди жителей:

— А что делает милиция?

Злобный ответ: милиционеры сами грабят, под боком у комиссариата так же страшно ходить, как в одиночку... <...> ...и те, кого милиция не охраняет, сами становятся преступниками. Это страшная психология, начало немилосердного и чудовищного по жестокости самосуда. Грабители знают, что их ждет в случаях, если они попадутся в руки толпы<sup>9</sup>.

Подобные опасения разделяли и левые. В октябрьском номере газеты «Новая жизнь» Максим Горький писал:

...все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухою жизни, ложью и грязью политики — люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости. На улицу вышлзет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут «творить историю русской революции»<sup>10</sup>.

13 мая «Петроградский листок» сообщил о трех случаях самосуда за предыдущий день. После этого упоминаний случаев в газетах стало так много, что 20 июня «Газета-копейка» открыла новую рубрику «Сегодняшний самосуд»<sup>11</sup>.

9 Вечернее время. 1917. 20 октября.

10 Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917—1918). М.: МСП «Интерконтакт», 1990. С. 148. Цит. по: [Аксенов 2002: 58].

11 Петроградский листок. 1917. 13 мая; Газета-копейка. 1917. 20 июня.

На основе материалов газет и архивных источников Д.И. Ерещенко зафиксировал 85 случаев самосуда в период с марта и до Октябрьской революции. Используя похожие источники, я обнаружил еще шесть случаев самосуда [Ерещенко 2003: 171; Hasegawa 2017: 169, 307]. Если не принимать во внимание небольшие статистические расхождения, то несомненно, что в этот период число случаев самосуда неуклонно росло. По данным Ерещенко, в период с мая по июль примерно по одному случаю самосуда происходило каждые три дня. В период с августа по 24 октября — более чем по одному случаю в день<sup>12</sup>.

Резкий рост количества самосудов совпал со скачком преступности и отменой временных судов. Есть все основания полагать, что именно эти факторы — беззаконие и невозможность его контролировать — вызывали общественное негодование. Я собрал 86 дел с известными объектами атак, из которых 52 были подозревались в совершении преступлений. Двадцать два из них были мелкими ворами и карманниками, 17 — вооруженными грабителями, не наносившими телесные повреждения, 10 — вооруженными грабителями, наносившими телесные повреждения, двое — убийцами и один — насильником. Среди других жертв самосуда было двенадцать милиционеров, девять торговцев, девять политических противников, двое случайных прохожих и два сотрудника больницы. В основном самосуды применялись либо к лицам, не совершавшим преступлений, либо за мелкие проступки. Редко можно сказать, что наказание соответствовало преступлению.

Практически все случаи самосуда над милиционерами были совершены после августа, что говорит о том, что людям надоела неэффективность милиции в обеспечении правопорядка. Пик нападений на торговцев — семь из девяти — пришелся на июль и август, в октябре произошел только один такой случай, в то время как в августе было четыре продовольственных бунта, а в сентябре — шесть. Большинство политических конфликтов, приведших к самосуду, происходило после июльских дней [Hasegawa 2017: 169–170].

## Жестокость и зверство самосудов

Одним из самых пугающих аспектов самосуда была жестокость толпы по отношению к мелким преступникам. Здесь я приведу только один случай, иллюстрирующий жестокость самосуда. 14 октября в один из магазинов на Апраксином рынке вошел мужчина в военной фуражке. Его сопровождали элегантно одетая женщина лет двадцати и молодой человек в солдатской форме. Они украли различные товары, но при попытке скрыться были пойманы. Один из покупателей громко крикнул: «Давайте накажем этих преступников!» Через десять минут у Апраксина рынка собралась толпа из сотен человек, которая блокировала движение трамваев по улицам. Районный комиссар немедленно направил милицию, но толпа потребовала выдать преступников. На место происшествия был направлен отряд солдат, но толпа встретила их враждебно. Толпа бросилась к магазину, ворвалась внутрь и вытащила мужчину в военной фуражке на улицу. Женщина скрылась в телефонной будке, но толпа вытащила и ее на улицу. Мужчина в офицерской форме крикнул: «Не надо цере-

12 По моим данным, с мая по июль происходило два случая самосуда за пять дней, с августа по 24 октября — два самосуда за три дня.

мониться!», достал револьвер, произвел два выстрела и убил вора в военной фуражке. Через несколько минут другой мужчина из толпы застрелил женщину. Третьего конвоировали в комиссариат, но перед комиссариатом собралась многотысячная толпа, требовавшая выдать его. Милиционеры незаметно перевели его в другой комиссариат. Разъяренная толпа двинулась дальше, разбивая витрины магазинов<sup>13</sup>.

Люди страдали от резкого роста цен на продукты питания и другие товары ежедневного спроса. Разногласия по поводу справедливости цен, обвинения в спекуляции и воровстве были повседневным явлением. Порой эти конфликты перерастали в самосуд.

2 августа в Третий Спасский районный комиссариат поступило сообщение о том, что у склада Беккера на Сенной площади собирается толпа людей, подозревающих, что там хранится большое количество мыла. На место происшествия выехали заместитель комиссара Шариков и несколько милиционеров. После проверки выяснилось, что запасы Беккера легальны, и Шариков организовал продажу мыла людям на улице. Спор о цене привел к дальнейшим разногласиям. По случайному совпадению мимо проходил другой торговец, везший на двух телегах кожаные изделия. Толпа остановила телеги и попыталась конфисковать товар. Шариков проверил документы торговца кожами. Они тоже оказались в порядке, и Шариков признал конфискацию незаконной. Возмущенная толпа «женщин, детей, рабочих и солдат» окружила Шарикова и стала его избивать. Раздавались голоса: «Убейте его, убейте!», «Бросьте его в канал и утопите!». Но возобладали более умеренные элементы. Они решили привязать Шарикова к телеге и привезти в исполком Петроградского совета. Часть толпы отделилась и пошла со своим пленником по улицам, избивая его по пути. Когда они прибыли в Петроградский совет, Шариков был почти без сознания. Его тело было покрыто синяками и порезами, все в крови. В критическом состоянии он был доставлен в больницу. Вернувшись на Сенную площадь, толпа напала на купца-еврея, выступившего против самосуда над Шариковым. Под крики «Бей жида!» толпа решила бросить купца-еврея в реку Фонтанку. Избитый и окровавленный, купец бежал в Третий Спасский комиссариат. Толпа преследовала его, ворвалась в здание комиссариата и попыталась вытащить милиционеров на улицу. Несколькими предупредительными выстрелами милиционеры разогнали толпу. Оставшиеся на Сенной площади люди поймали еврейского мальчика, работавшего на скотобойне, привязали его к телеге и повесили на него таблички «Мародер» и «Эксплуататор». Как и в случае с Шариковым, толпа потащила мальчика по улицам, избивая его по пути. К этому моменту на Садовой улице собрались тысячи людей, которые останавливали трамваи и били стекла. В одном из трамваев молодой человек пытался сдерживать толпу, призывая: «Такое насилие нарушает дух революции и угрожает жителям». Толпа ответила криками: «Он, наверное, еврейский спекулянт. Бей его!» Они ворвались в трамвай и стали избивать юношу. Когда милиция пришла ему на помощь, он был без сознания<sup>14</sup>. Этот самосуд имел ярко выраженный антисемитский подтекст.

После июльских событий политические страсти вспыхивали с новой силой, и часто политические дебаты перерастали в самосуды. Кроме того, известны

13 Петроградский листок. 1917. 15 октября; Газета-копейка. 1917. 15 октября.

14 Петроградский листок. 1917. 3 августа; Газета-копейка. 1917. 3 августа.

случаи, когда под самосуд попадал медицинский персонал за якобы неудачно проведенные операции [Hasegawa 2017: 175—177].

## Участники самосудов

Кто участвовал в самосудах? Газеты часто называли участников «толпой». Кроме этого упоминалось, что в них участвовали «неизвестные». Хотя люди, составлявшие толпу, скорее всего, навсегда останутся неизвестными, то описания газет позволяют строить осторожные предположения. Хотя толпа состояла преимущественно из мужчин, женщины также активно включались в самосуд, особенно против купцов, которых подозревали в эксплуатации жителей, нуждающихся в продуктах питания и предметах быта.

Есть основания полагать, что толпа состояла в основном из городской бедноты, а не из организованных рабочих или более привилегированных членов общества. Обращение «товарищи», распространенное среди организованных рабочих, не использовалось во время самосудов<sup>15</sup>. В свидетельствах современников часто встречается другое слово — «буржуй». Этим термином обозначались все лица, которые не принадлежали к низшему сословию. В ходе самосуда голоса несогласных, призывавших к осторожности и умеренности, часто заглушались криками «Бей буржуев!». В конце июля, когда некий Дубровин, назвавшийся членом исполкома Петроградского совета, попытался остановить самосуд над купцами на Васильевском острове, то его избили, толпа кричала: «Ты буржуй, мы тебя проучим»<sup>16</sup>. В отличие от слова «товарищ», использование формулировки «буржуй» было очень распространено в лексиконе городской бедноты.

Представители среднего класса, напротив, не упоминаются в этих свидетельствах. Действия толпы также дают понять, что ее участники не проявляли особого интереса к институтам среднего класса. В одном из примеров, приведенных выше, толпа тащила милиционера в Петроградский совет, а не во Временное правительство или городскую думу.

Из кого же состояла городская беднота? По данным переписи 1910 года, в Петрограде проживало 234 тысячи промышленных рабочих, 77 тысяч служащих, 52 тысячи транспортных рабочих, 25 тысяч официантов и поваров, 41 тысяча городских служащих, 58 тысяч ремесленников и 260 тысяч домашних слуг и дворецких<sup>17</sup>. К служащим Дэниел Орловски относит клерков, кассиров, бухгалтеров, сотрудников аптек, почт, телеграфов и железных дорог, руководителей среднего звена, муниципальных и государственных служащих, средний медицинский персонал, учителей и технических специалистов низшего звена [Orlovsky 1997]. Те, кого я определяю как городскую бедноту, располагаются за чертой низшей страты среднего класса. К ним, в частности, относятся ремесленники, низкооплачиваемый гостиничный персонал, уличные торговцы, извозчики, дворники, домашняя прислуга и неквалифицированные рабочие. Они не были объединены в профсоюзы. Городская беднота, безусловно, была частью

15 Об изменении языка обращения к людям см.: [Колоницкий 2012: 275—277].

16 Петроградский листок. 1917. 28 июля; Газета-копейка. 1917. 29 июля.

17 Петроград по переписи 15 декабря 1910 года. Ч. II. Распределение населения по группам занятий. Вып. I. Пг.: Изд. Гор. управы по Стат. отд-нию, 1914. С. 39.

«трудящихся масс», но в то же время она отличалась от промышленного пролетариата. Помимо постоянных и полупостоянных жителей, ряды городской бедноты пополняли сезонные рабочие, не имеющие документов, и неквалифицированные рабочие, ищущие работу. К ним следует добавить армию безработных. Численность городской бедноты, не состоящей в профсоюзах, превышала численность более организованных промышленных рабочих более чем в два раза, однако городская беднота в основном ускользала от анализа историков.

Другой важной группой, участвовавшей в самосудах, были солдаты. Дерзкие, бежавшие с фронта, бродили по улицам, и их вооруженное участие придавало самосудам насильственный характер. Другой группой участников, охотно присоединявшихся к самосудам и явно получавших от этого зрелища удовольствие, были хулиганы [Hasegawa 2017: 181—182].

Географическое распределение случаев самосудов показывает, что особенно часто они происходили вблизи рынков, в частности Апраксина, Сенного и Александровского рынков в Третьем Спасском подрайоне<sup>18</sup>. В тех частях этих районов, где преобладала городская беднота, также наблюдались частые случаи самосуда. Нередкими случаи самосуда были и в криминогенных районах Песков и Лиговки. В центре города и в рабочих районах, таких как Выборгский и Петергофский, случаев было зафиксировано немного [Ibid.: 180—181].

## ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ

Как люди могли совершать подобные зверства? Для ответа на этот вопрос полезно обратиться к работам двух французских социологов начала XX века — Эмиля Дюркгейма и Гюстава Лебона<sup>19</sup>.

Дюркгейм утверждал, что первобытное общество объединяет «механическая солидарность», в то время как «органическая солидарность» служит клеем для развитого индустриального общества. Механическая солидарность обеспечивается репрессивными правилами и родственными узами, основанными на эмоциональной связи. Здесь сильное чувство коллективного сознания превосходит индивидуальные интересы. Органическая солидарность, напротив, обеспечивается не коллективным сознанием, а высокой степенью взаимозависимости, обусловленной разделением труда и опорой на организации.

Механическая солидарность не просто переходит в органическую и тем самым исчезает. Два вида солидарности могут сосуществовать. В развитом капиталистическом обществе преобладает органическая солидарность, но сохраняется и элемент механической солидарности. Отсюда следует, что, когда органическая солидарность атрофируется, заявляет о себе механическая солидарность (см.: [Clinard 1964; Durkheim 2014; Lewin 1989]). Именно это про-

18 Распределение по районам случаев самосудов, местонахождение которых известно, выглядит следующим образом: Спасский (20), Невский (10), Александро-Невский (9), Московский (8), Литейный (6), Васильевский (5), Петроградский (5), Коломенский (5), Рождественский (4), Выборгский (4), Казанский (3), Полостровский (2), Охтинский (1), Петергофский (2) [Hasegawa 2017: 308].

19 Полезным подходом для исследования самосуда является применение методологии психологических и исторических исследований толпы, разработанных Гюставом Лебоном, Жоржем Лефевром, Джоржем Руде, Чарльзом Тилли и др. Об этом см.: [Holton 1978].

изошло в Петрограде в 1917 году. Эпидемия самосудов может быть интерпретирована как обратный процесс модернизации — используя терминологию Дюркгейма, регресс от органической солидарности обратно к механической; процесс, который Моше Левин назвал «примитивизацией» [Lewin 1989].

Когда коллективное сознание, связывающее сообщество, ослабевает, утверждает Дюркгейм, «энергичная реакция на причину, угрожающую нам таким умалением, неизбежна: мы стремимся устранить ее для сохранения целостности нашего сознания» [Дюркгейм 1996: 105]. Далее социолог продолжает:

Но когда речь идет о дорогом нам веровании, мы не позволяем и не можем дозволить, чтобы на него безнаказанно замахивались. Всякое направленное против него оскорбление вызывает более или менее сильную реакцию, обращенную против оскорбителя. Мы восстаем, мы возмущаемся, мы на него за это сердимся, и поднятые таким образом чувства не могут не выразиться в поступках: мы его избегаем, мы держимся от него на расстоянии, мы изгоняем его из общества и т.д. [Там же: 106].

При механической солидарности наказание — это «страстная реакция», осуществляемая «ради наказания. Наказание, часто чрезмерное, не столько исправляет ошибку или корректирует неправильное поведение, сколько восстанавливает солидарность» [Durkheim 2014: 68]. Дюркгейм подчеркивает «единодушие» и роль «эмоций», которые они играют в насилии. Толпа собирается, устраивает «народный суд», единогласно выносит приговор, значительно превышающий тот, которого требовало преступление, и тем самым заглушает любое несогласие, оспаривающее солидарность, которую она сконструировала с помощью коллективных эмоций. Анализ Дюркгейма позволяет предположить, что самосуд был направлен на восстановление прав и возможностей толпы, беспомощной и бессильной во время революции.

Социальный психолог Гюстав Лебон рассматривал насилие толпы как одно из важных проявлений формирующегося массового общества. В толпе массового общества, толпе, обладающей неким коллективным сознанием, «индивид приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда бывает один» [Лебон 1995: 93; Le Bon 2002: 6]. Согласно Лебону, толпа характеризуется четырьмя признаками: анонимностью, заразительностью, внушаемостью и единодушием. Погружаясь в толпу, человек становится анонимным. Будучи анонимными, члены толпы менее склонны к сдержанности и ответственности. Это усиливает возможности заражения: «В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному» [Лебон 1995: 93; Le Bon 2002: 8]. Толпа также легко поддается внушению и готова «совершать известные действия с неудержимой стремительностью» [Le Bon 2002: 8]. Толпа ведет себя единодушно, поскольку несогласные голоса заглушаются и подвергаются нападкам. В толпе человек перестает быть самим собой, люди превращаются в автоматы, которые перестают руководствоваться собственной волей. Нахождение в толпе также придает индивидам ощущение власти, расширения их прав и возможностей. «В толпе дурак, невежда и завистник освобождаются от сознания своего ничтожества и бессилия, заменяющегося у них сознанием грубой силы, преходящей, но безмерной» [Лебон 1995: 103; Le Bon 2002: 22].

Описание Лебона как нельзя лучше иллюстрирует петроградское самосуды. Анонимность «толпы» усиливала страсти толпы и служила средством заражения. Толпа заглушала инакомыслие. Освобожденная анонимностью и наделенная властью консенсуса, она потворствовала таким жестокостям, на которые отдельные люди, эту толпу составляющие, никогда бы не пошли. Как только жертвы были принесены толпе, люди молча расходились [Le Bon 2002: 6–8, 22].

## Большевики и самосуды

В сентябре 1917 года была опубликована статья Ленина «Русская революция и гражданская война», в которой он характеризовал эпизоды самосуда как «стихийные движения», свидетельствующие о недовольстве народа и его требованиях социалистической революции<sup>20</sup>. Ленин приветствовал распад общества до состояния анонии, что создавало благоприятные условия для захвата власти большевиками.

После Октябрьской революции, несмотря на утопические представления большевиков о том, что социализм искоренит преступность, она не только возросла, но и стала более жестокой. Точных данных о преступности нет, но согласно газетным сообщениям, 31 ограбление было совершено в октябре до Октябрьской революции, 41 после нее, 42 в ноябре, 94 в декабре, также 94 в январе 1918 года, 137 в феврале и 101 в марте. По мере роста тяжких преступлений в газетах уже не оставалось места для освещения менее серьезных правонарушений, таких как карманные кражи и другие ненасильственные мелкие хищения<sup>21</sup>.

Частота и интенсивность самосудов значительно возросли после прихода к власти большевиков. В ноябре было зарегистрировано шесть случаев, в декабре — 11, в январе — 14, в феврале — 21 и два случая в марте<sup>22</sup>.

Один из таких случаев произошел 9 декабря. Женщина средних лет, ожидавшая трамвая у Невских ворот, заметила, что у нее пропал кошелек. Будучи уверенной, что его украли, она обвинила в краже подростка, стоявшего на трамвайной остановке. Толпа окружила юношу, но кошелек не нашла. Подростка все равно избили. Прибыли красногвардейцы, но вместо того чтобы прекратить насилие, они присоединились к толпе и помогли бросить подростка в ледяную Неву. Он попытался доплыть до берега, но один из красногвардейцев застрелил его, прежде чем он достиг берега реки. Затем толпа обыскала женщину и обнаружила, что ее кошелек завалился за подкладку шинели. Тогда разъяренная толпа бросила в реку и ее. Что стало с женщиной, неизвестно, а толпа после происшествия молча разбрелась<sup>23</sup>.

20 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34. М.: Изд-во политической литературы, 1974. С. 217.

21 Эти данные основаны на материалах газет, выходивших нерегулярно из-за большевистской цензуры. Среди использованных газет: «Газета для всех», «Газета-друг», «Петроградский вестник», «Петроградская вечерняя почта», «Петроградский голос», «Петроградская газета», «Вечерний час».

22 Основано на материалах газет «Петроградский голос», «Петроградская жизнь», «Газета для всех», «Газета-Друг», «Вечерний час», «Вечерний звон» и «Красная газета».

23 Газета для всех. 1917. 10 декабря.

3 (16) февраля в «Новой петроградской газете» была опубликована статья «Очевидец», в которой автор отметил возбуждение простых граждан, бросивших вора в Фонтанку, и подчеркнул значение самосуда как зрелища для простых людей, оказавшихся свидетелями. По имеющимся данным, в толпе было много женщин, в том числе группа хихикающих школьниц. Толпа смотрела на жертву в реке, вопрошая: «Неужели он утонет?» Автор был потрясен тем, что жертва не молила о пощаде. По его предположению, вор знал, что любые крики только еще больше спровоцируют толпу. Он отчаянно плыл к сваям моста. Очевидец писал:

Толпа, заполнившая оба берега реки, спокойно и внимательно наблюдала за борьбой грабителя за свою жизнь. Один мальчик бросил в жертву кусок льда со словами: «Не пускайте его на сваю». Мальчика никто не остановил. Больше всего меня поразила жуткая тишина в толпе.

В Древнем Риме преступников сталкивали с Тарпейской скалы. В Петрограде XX века вместо этого у нас есть Фонтанка. Жестокость толпы в Петрограде равна жестокости римских толп<sup>24</sup>.

Максим Горький не стеснялся критиковать большевистский режим за эпидемии самосудов. 21 декабря он писал: «Уничтожив именем пролетариата старые суды, господа народные комиссары этим самым укрепили в сознании “улицы” ее право на “самосуд”, — звериное право»<sup>25</sup>.

В конечном итоге самосуды стали вызывать серьезную озабоченность и у режима. В феврале «Известия» писали: «Самосуды — пятно на революции. Они позорят ее честь. ...не допускайте самосудов и решительно пресекайте их!»<sup>26</sup> «Красная газета» соглашалась с тем, что революция должна наказывать своих врагов, но утверждала, что насилию толпы нет места в революционном правосудии. Особенно газета сетовала на жестокие наказания, такие как четвертование и погружение в кипящую воду, о которых сообщалось в некоторых провинциальных городах. Враги революции заслуживали наказания лишь методами, подобающими новому просвещенному государству<sup>27</sup>.

16 февраля (1 марта) нарком юстиции Исаак Штейнберг объявил самосуд «контрреволюционным». До революции большевики воспринимали самосуд как выражение народного гнева. Отныне же каждый, кто был уличен в самосуде, направлялся не в созданный большевиками уголовный суд, а в другое, новое для российской уголовной юстиции учреждение — трибунал по борьбе с контрреволюцией<sup>28</sup>. Большевистская власть, не справлявшаяся с преступностью, постановила расстреливать пойманных преступников на месте. Участники самосуда получали аналогичное наказание. После этой драконовской меры, принятой новой властью, в марте было зафиксировано всего два случая самосуда.

Большевистскому режиму не удалось создать эффективную полицейскую систему, сдерживающую рост преступности, самосудов и ужасающих пьяных

24 Новая петроградская газета. 1918. 3 (16) февраля. Также см.: *Томский О.* Петроград в эти дни: кровожадная публика // *Вечерний час.* 1917. 14 декабря.

25 *Горький М.* Несвоевременные мысли... С. 21.

26 *Известия.* 1918. 9 января.

27 *Красная газета.* 1918. 15 марта.

28 *Петроградское эхо.* 1918. 16 февраля.



погромов. В конечном итоге режим был вынужден передать борьбу с преступностью и самосудами в ведение внеправового органа — ЧК. Таким образом, можно сказать, что самосуд стал одним из важных шагов большевиков по созданию тоталитарной полицейской системы.

Пер. с англ. Анастасии Евнушиановой

## Библиография / References

- [Аксенов 2002] — *Аксенов В.Б.* Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2002.
- (*Aksenov V.B.* Povsednevnaya zhizn' Petrograda i Moskvy v 1917 godu: PhD Thesis. Moscow, 2002.)
- [Дюркгейм 1996] — *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1996.
- (*Durkheim É.* De la division du travail social. Moscow, 1996. — In Russ.)
- [Ерещенко 2003] — *Ерещенко Д.Ю.* Преступность в Петрограде в 1914—1917 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2003.
- (*Ereshchenko D.Yu.* Prestupnost' v Petrograde v 1914—1917 gg.: PhD Thesis. Saint Petersburg, 2003.)
- [Колоницкий 2012] — *Колоницкий Б.И.* Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб.: Лики России, 2012.
- (*Kolonitskij B.I.* Simvol'y vlasti i bor'ba za vlast': K izucheniyu politicheskoy kul'tury Rossiyskoy revolyutsii 1917 goda. Saint Petersburg, 2012.)
- [Лебон 1995] — *Лебон Г.* Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1995.
- (*Le Bon G.* Les Lois Psychologiques de l'Évolution des Peuples; La Psychologie des Foules. Saint Petersburg, 1995. — In Russ.)
- [Мусаев 2000] — *Мусаев В.И.* Петроград на переломе эпох: город и его жители в годы революции и гражданской войны / Отв. ред. В.А. Шишкин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
- (*Musaev V.I.* Petrograd na perelome epokh: gorod i ego zhiteli v gody revolyutsii i grazhdanskoj vojny / Ed. by V.A. Shishkin. Saint Petersburg, 2000.)
- [Мусаев 2001] — *Мусаев В.И.* Преступность в Петрограде в 1917—1921 гг. и борьба с ней. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
- (*Musaev V.I.* Prestupnost' v Petrograde v 1917—1921 gg. i bor'ba s ney. Saint Petersburg, 2001.)
- [Николаев 2015] — *Николаев А.Б.* Домовладельцы перед временным судом (Петроград, весна — лето 1917 г.) // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды: Сб. науч. статей / Отв. ред. и сост. А.Б. Николаев. СПб.: [Б.и.], 2015. С. 139—155.
- (*Nikolaev A.B.* Domovladel'tsy pered vremennym sudom (Petrograd, vesna — leto 1917 g.) // Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novyye podkhody i vzglyady: Sb. nauch. statey / Ed. and comp. by A.B. Nikolaev. Saint Petersburg, 2015. P. 139—155.)
- [Николаев 2017] — *Николаев А.Б.* Временные суды в Петрограде (март — июль 1917 г.): взлет и падение // Эпоха войн и революций: 1914—1922. Материалы международного colloквиума / Ред. Б.И. Колоницкий. СПб.: Нестор-история, 2017. С. 87—99.
- (*Nikolaev A.B.* Vremennyye sudy v Petrograde (mart — iyul' 1917 g.): vzlet i padenie // Epokha voyn i revolyutsiy: 1914—1922. Materialy mezhdunarodnogo kollokviuma / Ed. by B.I. Kolonitsky. Saint Petersburg, 2017. P. 87—99.)
- [Хасегава 2001] — *Хасегава Ц.* Государственность, общественность и классовость: преступление, полиция и государство во время Русской революции в Петрограде // Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей / Под ред. Г. Бордюгова. М.: Аиро-XX, 2001. С. 218—246.
- (*Hasegava T.* Gosudarstvennost', obshchestvennost' i klassovost': prestuplenie, politiya i gosudarstvo vo vremya Russkoy revolyutsii v Petrograde // Novyy mir istorii Rossii. Forum yaponskikh i rossiyskikh issledovateley / Ed. by G. Bordyugov. Moscow, 2001. P. 218—246.)

- [Clinard 1964] — *Clinard M.* Theoretical Implications of Anomie and Deviant Behavior // *Anomie and Deviant Behavior: A Discussion and Critique* / Ed. by M. Clinard. New York: Free Press, 1964. P. 1—56.
- [Durkheim 2014] — *Durkheim E.* The Division of Labor in Society / Ed. by S. Lukes. New York: Free Press, 2014.
- [Hasegawa 2017] — *Hasegawa T.* Crime and Punishment in the Russian Revolution: Mob Justice and Police in Petrograd. Cambridge, Mass.: Belknap Pres of Harvard University Press, 2017.
- [Holton 1978] — *Holton R.* The Crowd in History: Some Problems of Theory and Method // *Social History*. 1978. Vol. 3. No. 2. P. 219—233.
- [Le Bon 2002] — *Le Bon G.* The Crowd: A Study of the Popular Mind. Mineola, N.Y.: Dover, 2002.
- [Lewin 1989] — *Lewin M.* The Civil War: Dynamics and Legacy // *Party, State, and Society in the Russian Civil War* / Ed. by D. Koenker. Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 263—289.
- [Orlovsky 1997] — *Orlovsky D.* Lower Middle Strata in Revolutionary Russia // *Critical Companion to the Russian Revolution* / Ed. by E. Acton, V. Cherniaev, W. Rosenberg. London: Arnold, 1997. P. 248—268.

Марк Стейнберг

## Хулиганские рассказы:

УЛИЧНОЕ НАСИЛИЕ, УЛИЧНЫЕ ЭМОЦИИ И УЛИЧНАЯ  
МОРАЛЬ В ОДЕССЕ И БОМБЕЕ В 1920-е ГОДЫ<sup>1</sup>

Mark D. Steinberg

Hooligan Stories: Street Violence, Street Emotions, and Street Morals  
in Odessa and Bombay in the 1920s

**Марк Стейнберг** (Иллинойский университет в Урбане-Шампейне, исторический факультет, почетный профессор; PhD) steinb@illinois.edu.

**Mark Steinberg** (PhD; Professor Emeritus, Department of History, University of Illinois at Urbana-Champaign) steinb@illinois.edu.

**Ключевые слова:** насилие, город, нравственность, нарратив, эмоции, хулиганство, Одесса, Бомбей

**Key words:** violence, cities morality, narrative, emotions, hooligans, Odessa, Bombay

УДК: 94.4+94.5

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_183

UDC: 94.4+94.5

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_183

В статье рассматриваются смыслы и способы употребления категории «хулиган» в советской Одессе и в колониальном Бомбее в 1920-е годы. В этом сравнительном исследовании автор подчеркивает общие аспекты «повествований с моралью» (moral storytelling) об уличном насилии и его значениях в рассказах журналистов, полиции, государственными деятелей, социальных элит и самих «хулиганов».

This article examines the meanings of uses of the category “hooligan” in Soviet Odessa and colonial Bombay in the 1920s. This comparative study emphasizes commonalities in “moral storytelling” about street violence and its meanings — by journalists, police, state authorities, social elites, and “hooligans” themselves.

Демонстрируя неожиданное единодушие, британские колониальные и советские коммунистические власти 1920-х годов рассматривали уличное насилие не только как политическую опасность, но и как моральную угрозу их ценностям и ожиданиям. Пробным камнем было «хулиганство». Разумеется, оно не было статичной социальной категорией, хотя именно так к нему относились представители власти и граждане. Хулиганство являлось социальным и культурным конструктом. Типы поведения, определяемые как «хулиганские» (в том числе при помощи различных синонимов), были связаны с явными и даже демонстративными действиями нарушителей общественного порядка, осуждавшимися властями как признаки моральной деградации и психологической испорченности. В качестве категории интерпретации (и вероятно, как практика), хулиганство сформировало плотный узел, связавший воедино различные аспекты общественной, моральной и духовной жизни. Во многих отношениях в этой категории отразились (непосредственно в Индии и имплицитно в Советском

1 Я благодарен Борису Колоницкому, Владиславу Аксенову, Тарику Али (Tariq Ali), Санче деСоуза (Sanchia deSouza) и анонимным рецензентам за их экспертные и критические комментарии к предыдущему варианту статьи, а Станиславу Худзику — за его прекрасный перевод.

Союзе) колониальные системы классификации — «грамматики различия», необходимые для установления (или хотя бы для представления) порядка и прогресса в социальных и политических условиях, которые были «в конечном счете неустойчивыми, изменчивыми и неуправляемыми» [Tambe, Fischer-Tiné 2009: 11] (см. также: [Cooper, Stoler 1997]). Они также постоянно предавали политической практике моральное измерение. Действительно, элиты в обоих городах переживали нечто сродни «моральной паники» относительно массовых уличных беспорядков — в смысле преувеличенных страхов, укорененных в глубоких и непрекращающихся тревогах о людях, сама природа которых мыслился как угроза основополагающим общественным ценностям [Cohen 1969; 1972].

Рассказы о хулиганстве — и я бы хотел подчеркнуть центральное значение искусства рассказчика для нашей истории — рассказы, представленные журналистами, полицией, чиновниками, а порой и самими «хулиганами», — были особенно острым и заметным явлением в космополитичных портовых городах. Как и другие морские порты, Одесса и Бомбей были центрами иммиграции и этно-религиозного разнообразия, но они же осуждались как магниты для «дурных типов» (*bad characters*), склонных «безобразничать» (*to make mischief* — широко распространенный и важнейший британский термин). Очевидно, между «колониальным» Бомбеем и «коммунистической» Одессой 1920-х годов имелись значительные социальные и политические различия, но эти простые политические ярлыки только подводят нас к разговору о реальном политическом, идеологическом, социальном, этно-религиозном и культурном многообразии этих городов<sup>2</sup>. И мы их не можем игнорировать. Я хочу, однако, сделать акцент на сходствах в морализаторских рассказах, посвященных уличному насилию и его смыслу, особенно касательно употребления и значения «хулиганства». Таким образом, это не чисто «сравнительная» история (в смысле систематического и структурированного анализа локальных случаев как автономных и самостоятельных феноменов, приводящего к обоснованным выводам) и не чисто «глобальная» история (подход, который подчеркивает связь транснациональных и транслокальных обменов и потоков). Это нечто более гибридное: так сказать, депроvincialизированные локальные истории и партикуляризированные глобальные истории<sup>3</sup>.

Современный город и городское пространство находятся в центре этих рассказов. Начиная с самых ранних употреблений термина «хулиганы» в английском языке, они определялись как «уличные громилы», не сдерживаемые моралью, атаковавшие полицейских и других представителей власти, нарушавшие общественное спокойствие постоянными драками между собой, донимавшие безобидных прохожих без видимой причины и не демонстрировавшие особого почтения ни к собственности, ни к людям, ни к жизни как таковой, — типы поведения, считавшиеся признаками моральной и духовной патологии [Frosdick, Marsh 2005; Humphries 1981; Pearson 1983]. Вину за это моральное

2 Исследований по истории этих двух городов намного больше, чем можно упомянуть здесь. Ключевыми работами, уделяющими значительное внимание улицам и насилию в 1920-е годы (наименее изученный период), являются: [Савченко 2012; Chandavarkar 1998; 2009].

3 Последние исследования по проблемам и перспективам сравнительной истории и глобальной истории обширны. См., например: [Steinmetz 2014]. Пример такой сравнительной истории можно найти в: [Prestel 2017].

разложение часто вменяли условиям современного города. «Хулиганство, — заявляла в 1898 году лондонская “Daily News”, — плодится в мерзких, источающих миазмы проулках» таких мегаполисов, как Лондон<sup>4</sup>. В дореволюционной России порицались и назывались «хулиганскими» типы поведения, возвращенные современным городом, которые публично нарушали рациональные нормы цивилизованной общественности. Многие видели в хулиганстве не только внешнюю угрозу цивилизованной нормальности, но симптом внутреннего общественного и культурного слома, зеркальное отражение собственного морального вырождения и психологической испорченности, вскормленное в «безднах» современных «улиц» [Gerasimov 2018; Neuberger 1993; Steinberg 2011], — в процессе модернизации городская жизнь вызывала такие тревожные и даже панические чувства по всему миру. Как утверждала в 1921 году англоязычная газета «Times of India», выходявшая в Бомбее, угроза нормальной городской жизни исходила «из масс тех бадмашей, хулиганов низшего сорта, которых можно найти в трущобах и на бульварах всех великих Городов, канализационных крыс Цивилизации»<sup>5</sup>. Для властей город был не только местом исполнения изнурительной цивилизаторской миссии, но и ареной борьбы, решающей борьбы за контроль над городскими публичными пространствами, борьбы за «право на город» [Lefebvre 1968]. По всему миру «хулиганство» стало современным «ключевым словом», выражающим антисоциальное и нецивилизованное «расположение» (disposition), которое необходимо преодолеть: «хулиган» воспринимался как признак необходимости переработать и перековать человеческое сознание, чтобы превратить людей в цивилизованных современных граждан [McDonald 2011: 207—208; Schwarz 1996]. А рядом с нервными и осуждающими рассказами городских элит были еще и рассказы самих улиц, исповеди самих «хулиганов».

## Осуждая хулиганов

### *Советская Одесса*

Превращение Одессы в стабильный советский город после потрясений революции и Гражданской войны было сложным и неравномерным. И годы спустя следы физических разрушений и социальных беспорядков были характерны для городского ландшафта. Наряду с работой по восстановлению и переустройству, проект по созданию «нового быта» и «нового человека» требовал внимания к настроениям людей, нравам и духовным установкам. И среди наиболее тревожащих угроз новой жизни было хулиганское уличное насилие. Оно понималось как пережиток прошлого, обреченный на исчезновение в ходе триумфального марша истории. И все же его настойчивое присутствие, временами даже усиливающееся, стало угрозой, которую нельзя было игнорировать, она требовала объяснения.

«Хулиганство» было гибкой категорией, без разбора применявшейся для описания множества типов общественных беспорядков. В милицейских свод-

4 Цит. по: Hooligan // Oxford English Dictionary (<https://www.oed.com> (дата обращения: 29.09.2023)).

5 Times of India. 1921. November 18. P. 12.

ках и местной прессе слово «хулиганство» использовалось, например, в рассказах о группах молодых рабочих, которые швыряли камни в трамваи, проезжавшие по их району (особенно в населенной преимущественно евреями Молдаванке и в Пересыпи, где преобладали русские и украинцы). «Хулиганы» избивали случайных пешеходов (периодически нападая на прохожих-евреев); участвовали в уличных «разборках»; преследовали и сексуально домогались женщин; совершали мелкие правонарушения и насильственные действия в пивных, закусовых и кафе, обычно определявшиеся как «дебош» и «скандал»; избивали милиционеров, когда те пытались предотвратить происшествие или просто стояли на посту. Хулиганы часто нарушали общественный порядок громкой руганью и криками, — своего рода вербальное уличное насилие. Инциденты нередко были сопряжены с пьянством. Как и до революции, утверждалось, что хулиганское насилие совершалось «без всякой причины», из хамства и чистой агрессии, — другими словами, было проявлением морального падения и духовной патологии и, следственно, — угрозой цивилизаторскому проекту социализма<sup>6</sup>. Как мы увидим, и в Бомбее, и в Одессе внешняя иррациональность атак и их повторяемость указывали на их смысл и причины.

Как тип преступления в советском законодательстве, «хулиганство» было особенной категорией. Украинский уголовный кодекс, как и кодекс Советской России, определял «хулиганство» как ряд связанных категорий дурного поведения: буйство, бесчинство и дебоширство (или просто «дебош», от фр. *débauche*)<sup>7</sup>. Газеты вторили законодательству, определяя «хулиганство» через те же понятия, часто в одном ряду с еще менее ясными «озорством» и «скандалом». Иногда пресса использовала только эти понятия, особенно «озорство» и «дебош», именуя правонарушителей назывались «дебоширами» или «буянами», но по прошествии времени все они превратились в «хулиганов». И все же «хулиганство» было шире простой суммы форм правонарушений, поскольку оно осуждалось не просто как *физический акт*, — хотя неуправляемые и виктимизированные тела были одной из очевидных форм его проявления, — но и как *моральное* преступление (нарушение социально приемлемых определений нормальности, порядочности, разума, культуры, цивилизации, ценностей, сформировавших советский моральный кодекс, несмотря на идеологическое отрицание универсальных ценностей), а также как *эмоциональное* преступление (особенно иррациональная и бесцельная чрезмерность эмоциональных проявлений).

Социалистическая революция и марксистская идеология переопределили представление о цивилизованной и культурной жизни, которому противопоставлялось «хулиганство», осуждаемое как вызов более высокому моральному идеалу, нежели тот, который могло себе позволить буржуазное общество: строительству радикально нового общества, уважавшего и воспитывавшего человеческую личность так, как считалось немислимым в контексте капитали-

- 
- 6 Данное резюме основано на широком круге источников, в частности газете «Вечерние известия» («Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП(б)У и Губпрофсовета: Вечерний выпуск») 1923—1930 годов и архивах: Державний архів Одеської області (ДАОО): Ф. Р-107, Одесское губ. управление милиции и уголовного розыска, 1919—1925; Ф. Р-4550, Одесское городское управление советской рабоче-крестьянской милиции, 1920—1928; Ф. П-7, Одесский окружком КП(б)У, 1923—1930; Ф. П-9, Одесский городской комитет Компартии Украины, 1930—1991.
- 7 Вся одещина на 1926 год. Одесса: Известия Одесского Окружкома КП(б)У, 1926. С. 63.

стического неравенства, эгоистического индивидуализма и материальных и культурных ограничений. Одесский журналист в 1926-м году счел важным отличать акты хулиганства, которые легко можно было понять как «преступление», от «чистопробного» хулиганства», которое всегда попирало человеческое достоинство, базовый принцип социалистической морали<sup>8</sup>. Многие советские должностные лица и институции схожим образом определяли хулиганство как преступления против высшей ценности социализма: «уважения к личности человека»<sup>9</sup>, «человеческого достоинства»<sup>10</sup>, «жизни, здоровья, свободы и достоинства личности»<sup>11</sup>.

Термин «хулиганство», казалось, классифицировал уличное насилие как аполитичное буйство пьяных молодых людей. Однако в контексте советских усилий по созданию социалистического «нового быта» и «нового человека» оно неизбежно становилось политическим, причем со стойкой моральной окраской. Нигилизм и бессознательность в «хулиганстве» осуждались как противоположность социалистическим взглядам и энтузиазму. По всему СССР «нравственность», «мораль» и «нравы» стали навязчивыми идеями, породившими нескончаемый поток статей, книг и лекций о «морали с марксистской точки зрения», «новой морали», «коммунистической нравственности»<sup>12</sup>. В Одессе милиция, комсомол, Коммунистическая партия и ГПУ составляли регулярные «политико-экономические» отчеты о «настроениях рабочих», заполненные замечаниями о «разочаровании» и «разложении». Хулиганство находилось в центре этой дискуссии как посягательство на «общественную мораль» и как политическая аномалия, бросающая вызов курсу властей [Лебина 1999: 57–59, 62–63; Gorsuch 2000: 169–176; McDonald 2011: 206–224].

Советская борьба с хулиганством, по крайней мере к середине 1920-х годов, имела многие отличительные черты морального крестового похода и даже «моральной паники», выразившейся во все более резком языке и призывах принять меры. В Одессе массовый поход против хулиганства начался в 1924 году, до начала всесоюзной кампании: милиция оштрафовала и арестовала много людей, преимущественно молодых, за публичное буйство, бунтарство, драки, приставание к прохожим на улице, — типы поведения, все чаще определявшиеся через правовую категорию «хулиганство»<sup>13</sup>. Редакция одесской ежедневной газеты «Вечерние известия» озвучивала официальный курс, вновь и вновь повторяя, что «борьба с хулиганством» направлена против врагов «нового быта», против недуга, унаследованного из прошлого, вредящего молодому организму революции, недуга, который следовало исцелить кампанией социального «оздоровления»: «Грубость, хулиганство, озорство — это печальное наследие буржуазного строя, к сожалению, наблюдается среди бессознательной части рабоче-крестьянской молодежи»<sup>14</sup>. Поскольку к середине

8 Вечерние известия. 1926. 12 августа. С. 2.

9 Вечерние известия. 1926. 26 сентября. С. 2.

10 Юный коммунист (Москва). 1926. № 19 (Октябрь). С. 47.

11 Вся одещина на 1926 год. С. 63.

12 См., например: Каким должен быть коммунист: старая и новая мораль: сб. / Под ред. Е. Ярославского. М.; Л.: Молодая гвардия, 1925; *Луначарский А.* Мораль с марксистской точки зрения. Харьков: Пролетарий, 1925.

13 См.: ДАОО. Ф. Р.-107. Д. 827 (1924). Л. 95, 138; Ф. Р-4550. Оп. 1. Д. 251 (1925). Л. 129, 152; Вечерние известия. 1924. 6 декабря. С. 3.

14 Вечерние известия. 1924. 25 июля. С. 3.

1920-х годов кампания по преодолению таких «аномалий» усилилась, рассказы о них стали более резкими, а язык и тон осуждения — более нравочительными и тревожными.

Репортаж о суде над тремя одесскими кожевниками, обвиненными в хулиганстве в июле 1925 года, представляет типичный пример. Факты были просты: основательно выпившие молодые рабочие избili проезжавших велосипедистов, затем — милиционера, после чего начали бить прохожих, пытавшихся остановить дебош. Эта история получила обычную интерпретацию: «...есть еще целина, не затронутая плугом Октября, есть еще язвы, старые, неизжитые болячки — наследие прошлого», сохраняющееся в жизни рабочих. Суд был с этим согласен. Обвиняемые просили о снисхождении в соответствии со знакомым судом сценарием: «были пьяны и ничего не помним». Судья предложил смягчить приговор по иной, но связанной со сказанным причине — из-за «низкого культурного развития» всех троих<sup>15</sup>.

Хотя эра массового уличного насилия против евреев прошла, антисемитизм и нападения на них были теми «уродствами» прошлого, которые не только сохранились, но и окрепли в конце 1920-х годов. Начиная с 1926 года отчеты милиции и ГПУ фиксировали бесчисленные антисемитские «инциденты», «дебоши» и «хулиганские действия» на рабочих местах и на улицах. Нападения на людей, выглядевших как евреи, часто сопровождалось старым погромным лозунгом «Бей жидов!»<sup>16</sup>. Бывало, что и коммунисты потакали антиеврейскому «хулиганству». О двух ответственных работников Союза работников коммунального хозяйства и трамваев, обвиненных в 1928 году в сексуальных домогательствах, пьянстве и других «хулиганских действиях», сообщалось, что иногда они развезжали на автомобиле, выкрикивая: «Бей жидов, спаси Россию!»<sup>17</sup> Партийные руководители навешивали на антисемитизм ярлык хулиганства, чтобы представить еще очередную причину необходимой моральной трансформации советского общества. Автор статьи об «антисемитах-хулиганах» (распространенная фраза в репортажах) в одесской комсомольской еженедельной газете «Молодая гвардия», антисемитизм был одним из многих социальных «извращений и болезненных явлений», с которыми советское общество боролось уже десять лет<sup>18</sup>. Антисемитизм часто носил открыто политический характер. «Жидоедство», констатировало ГПУ, широко распространено среди одесских рабочих, часто проявлявших враждебность к евреям на ответственных постах в правительстве, партии и профсоюзах и винивших евреев в своей бедности. В ухудшавшихся экономических условиях 1930—1931 годов некоторые рабочие высказывались, что евреи мстят русским людям за погромы 1905 года, считая, что пришло время «уничтожить жидов»<sup>19</sup>. Именованное антисемитизма «хулиганством» позволяло переопределить все более опасный способ политического мышления как еще один знак культурной и моральной отсталости, обреченный на исчезновение.

Многие рассказы о хулиганах касались рабочих клубов, которые должны были стать новыми «крепостями культуры» и штабами «фронта культурной

15 Вечерние известия. 1925. 29 июля. С. 6.

16 См.: ДАОО. Ф. Р-4550. Оп. 1. Д. 420 (1928). Л. 87.

17 ДАОО. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 1606 (1928). Л. 120.

18 Молодая гвардия. 1929. 23 февраля. С. 2.

19 ДАОО. Ф. П-9. Оп. 1. Д. 75г (1931). Л. 43, 44, 48, 153, 157, 235, 371.



революции»<sup>20</sup>, ситуация в клубах была тревожной: «...почти каждый день бывают скандалы и драки, пьянство и сбой в планомерной деятельности рабочих клубов по всему городу», — жаловался журналист<sup>21</sup>. В год публикации этой статьи судья Одесского окружного суда Штейнберг, который участвовал во многих процессах над хулиганами, работал с «типичным» случаем повсеместного явления: «бесцеремонными дебошами хулиганов», которые «срывают культурно-просветительную работу в рабочих клубах и театрах», часто заканчивавшихся избиванием выступавших. Четверо 18-летних «хулиганов» затеяли скандал, когда им не разрешили войти в театр без билетов, неистово ругались («матерной бранью») и избили милиционера, пытавшегося их уговорить<sup>22</sup>. Карикатура в «Вечерних известиях» наглядно представляла идею, что хулиган буквально являлся лицом нездоровой, даже выродившейся личностью (ил.).

### КОДАКОМ С НАТУРЫ.



Ил. «Кодаком с природы. Хулиган — гроза всех клубов» (Вечерние известия. 1926. 20 февраля. С. 3)

Гендер имел центральное значение для рассказов о хулиганстве. Хулиганство часто виделось как мужской порок. Несколько упоминаний «женщин-хулиганок», появлявшихся в прессе и отчетах милиции, как, например, женщина, которая «без всякого повода» подошла и стала бить другую женщину, идущую вниз по улице Лассаля (она же бывшая Дерибасовская), были представлены как исключение, подтверждающее правило<sup>23</sup>. Женщины появлялись в рассказах о хулиганах главным образом как жертвы. Домашнее насилие, против которого советские культурные институты регулярно инициировали кампании, клеймилось как хулиганство. Утверждалось, что мужья, избивавшие своих жен, были не только противни-

ками социалистической морали, отказывавшимися преодолеть дореволюционное отношение к женщине, но «мужьями-хулиганами»<sup>24</sup>. Молодые люди, хватавшие, толкавшие и избивавшие женщин на улицах<sup>25</sup> или же домогавшиеся их на пляжах<sup>26</sup>, именовались «хулиганами». После получившего большую огласку в 1926 году ленинградского процесса о групповом изнасиловании в Чубаровом переулке даже изнасилование было определено как хулиганство.

Решительная победа в культурной войне на «хулиганском фронте» никак не наступала. В конце 1920-х годов продолжали звучать моральные и полити-

20 Примеры использования этих распространенных фраз см.: Вечерние известия. 1923. 16 мая. С. 3; Юный коммунист (Москва). 1926. № 19. С. 47; Молодая гвардия (Одесса). 1927. 28 июля. С. 3.

21 Вечерние известия. 1925. 25 сентября. С. 3.

22 Вечерние известия. 1925. 5 ноября. С. 4.

23 Вечерние известия. 1925. 7 декабря. С. 3; 1926. 1 февраля. С. 3.

24 Вечерние известия. 1926. 3 августа. С. 3—4.

25 Вечерние известия. 1925. 7 декабря. С. 3.

26 Вечерние известия. 1924. 25 июля. С. 3.

ческие причитания о «хулиганстве», признавалось даже, что проблема обостряется, предлагались новые планы ее решения. С началом первой сталинской пятилетки одесский журналист раздраженно писал, что «сейчас, когда советская общественность ополчилась культпоходом на все уродливое в нашем быту», необходимо усиленно вести «войну» против хулиганского культурного «вандализма»<sup>27</sup>. «Хулиганство» останется присуще советскому обществу и переживет его.

### *Колониальный Бомбей*

В глазах колониальных властей и индийских элит городской пейзаж Бомбея был наводнен беспорядочно властвующими в нем «дурными типами» (*bad characters*), — общераспространенный термин, несший одновременно духовное и моральное осуждение, смешанное с классовым, кастовым и расовым. И консервативная газета «*Times of India*», защищавшая идеалы имперского правления, и антиколониальная газета «*Bombay Chronicle*» были обеспокоены «хулиганством». Оба издания определяли его как иррациональное, низменное и общественно опасное поведение. В их внимании к хулиганству ощущалась нарастающая моральная паника. Читатели, например, жаловались, что «в такой стране как Индия... преступный элемент только сейчас выступил настолько рельефно»<sup>28</sup>. Подобное суждение не делало особых различий между политическими антиколониальными протестами и повседневным уличным насилием — главным было требование защиты граждан. Многие призывали к «облавам» и скорейшей депортации нежелательных элементов из города. Полиция предлагала публичные телесные наказания, уже запрещенные к тому времени, в качестве лучшей меры воздействия на людей такого сорта<sup>29</sup>.

Колониальные власти безостановочно жаловались, что Бомбей притягивал как «магнит» беспутных и «бесчестных» «нежелательных персонажей», город стал «Меккой преступников», привлекающей разнообразных «хулиганов», «мавали» (*mavalis*), «бадмашей» (*badmashes*), «гунда» (*goondas*) и других «дурных типов» (*bad characters*). «Полиция, как бы она ни старалась, не может сдержать их натиск», — сокрушалась газета «*Times of India*»<sup>30</sup>. Язык публикации показателен: регулярное использование англоязычными представителями власти и журналистами терминов, заимствованных из языков Индии, при описании городских правонарушителей, было обыденной практикой социальной категоризации и упорядочивания, практикой закрепления инаковости нарушителей с помощью категорий, совмещавших расовые, социальные и моральные иерархии и разграничения. С городскими пространствами они поступали точно так же, в особенности с незнакомыми районами, где жила индийская беднота. Представители власти жаловались: когда полиция преследовала хулиганов и других преступников, они с легкостью «исчезали»

27 Вечерние известия. 1928. 10 ноября. С. 3.

28 *Times of India*. 1926. May 8. P. 19.

29 Maharashtra State Archives (MSA). Government of Bombay, Home Department (Special). Mumbai. File 543 (10) E (B): P. 125.

30 *Times of India*. 1925. March 25. P. 8.

в бомбейских «галлис» (gullies) — переулках и «чолс» (chawls) — многоквартирных домах, квартиры которых сдавались в аренду. Образ темнокожего горожанина, ускользающего от властей в местах, известных лишь для туземцам, вызывал тревогу колонизатора<sup>31</sup>. В подобном конструировании инаковости мораль и психология перерабатывали категории расы, касты и класса, усиливавшие друг друга, для определения и поддержания силами правопорядка социальных и моральных границ<sup>32</sup>. Для рассказчиков из среды полицейских чиновников, преимущественно британского происхождения, хулиганы были «ущербными персонажами» из «менее благоустроенных кварталов» [Edwards 1924: 11, 35]. Как объяснял правительству в 1926 году Патрик Келли, комиссар полиции (1922—1929), многие городские хулиганы, мавали и бадмаши, были не «обыкновенными» индийскими жителями, но «сбродом», «подонками» и «нежелательными лицами» по рождению (цит. по: [Chandavarkar 1998: 161]).

Этот способ суждения о моральном и духовном различии не ограничивался колониальными властями и «европейскими» переселенцами. Разнообразные сообщества Индии (индуисты, мусульмане, парсы, христиане и другие) осуждали другие сообщества, особенно представителей городской бедноты. Речь идет, в частности, об индийских элитах, судьях, юристах, чиновниках, членах правительственных комиссий — их роль возросла после 1919 года, когда индийцы получили ограниченные права на участие в местном самоуправлении согласно Акту о правительстве Индии. Молодые мужчины нападали с ножами на случайных прохожих, оказавшихся в их районе, дрались, шумели и проявляли агрессию во время религиозных праздников, они не следовали принципу ненасилия во время политических демонстраций (чего требовало учение Ганди), они нападали на других индийцев во время «межобщинных волнений» (communal riots) — эти проступки осуждали самые разные обитатели Бомбея, считая их морально безответственными и иррациональными действиями хулиганов, мавали, бадмашей. Разумеется, эти суждения носили моральный характер и были связаны с суждениями о расе, этничности, классе, касте и гендере. Как показал историк Раджнараян Чандаваркар, и европейские, и индийские элиты с нарастающей паникой утверждали, что «бадмаш и мавали правят на улицах», в рабочих районах, шатаясь по переулкам и чайным, — щепка на ветру, легко воспламеняющаяся и способная поджечь все вокруг [Ibid.: 143, 159—61]. На некоторые группы, такие как пуштуны (называемых *Pathans* в Индии), почти все смотрели как на жестоких, коварных и склонных к насилию по своей природе. Во время беспорядков, вызванных межобщинными столкновениями, индуисты и мусульмане время от времени прибегали к схожим ярлыкам, рассматривая собственное насилие как оправданную защитную реакцию, а насилие других — как иррациональное и чрезмерное. Как показал историк Джунед Шайх, даже бомбейские коммунисты использовали понятие «мавали» вместе с «далит» (обозначение касты неприкасаемых) для описания «концептуального другого» рабочего класса, «люмпен-пролетариата» со «склонностью к насилию» и штрейкбрехерству [Shaikh 2011: 69—72; 2021: 63, 69—70].

31 См., например: Times of India. 1919. August 8. P. 7; 1920. December 23. P. 9; 1925. March 25. P. 8; 1926. February 25. P. 13.

32 О переплетении «класса» и «касты» см.: [Shaikh 2021].

Как и в Одессе, иррациональная чрезмерность была основной призмой для социальных и моральных суждений. Бомбейская пресса почти ежедневно сообщала об уличном насилии, демонстрируя дурную природу нападавших, их унижительные и нетерпимые условия существования. Предлагались объяснения причин насилия или, по крайней мере, поводов для него: реакция на публичное оскорбление (включая именование мавали, бадмашем или хулиганом), соперничество за внимание женщин, ссора из-за денег, попытка ограбления. Многие инциденты считались следствием пьянства, особенно когда речь шла о драках и поножовщине у магазинов, продававших алкоголь. Но более глубокими причинами представлялись патологии морали и характера. Это проявлялось и в том, как многие судьи, офицеры полиции и журналисты использовали эти категории. Так, во время процесса над мусульманским мавали, ранившим двух мусульман, видимой причиной было желание «обрушить возмездие» на голову одной из жертв за нанесенное ранее оскорбление. Комментарий судьи относительно свидетельств предполагаемых жертв позволяет взглянуть на дело под иным углом: «Его Сиятельство, подытоживая дело, отметил, что свидетельства двух истцов, которым были нанесены ножевые ранения, не вполне связны, однако от такого рода людей, принадлежащих к низшему классу общества, нельзя ожидать чего-то большего». В его глазах все они были мавали и то, что они были мусульманскими мавали, делало их только хуже. Он приговорил обвиняемого к четырнадцати годам каторжных работ, но в каком-то смысле осуждал всех представителей «нижнего класса» как расово, социально, морально и умственно нечистоплотных<sup>33</sup>.

Преследование девушек и женщин, преследование, имевшее сексуальный подтекст, было таким же лейтмотивом рассказов о хулиганах в Бомбее, как и в Одессе. Часто встречался рассказ о том, как мужчины, стоявшие темной порой на обочинах улиц, поджидали молодых женщин, возвращавшихся из кино, чтобы «столкнуться с девушками, а затем грубо отпихнуть их в сторону, сопровождая это сквернословием», и, возможно, продолжить преследовать их в трамвае<sup>34</sup>. Особенно популярны были газетные репортажи с судебных слушаний о мужчинах, на улице «надругавшихся над благопристойностью» (outraged the modesty) женщин, — категория Индийского уголовного кодекса, которая включала действия от оскорбительных слов и «непристойных предложений» до физического преследования и сексуального насилия (изнасилование было отдельной категорией преступлений). Публичный интерес к подобным пикантным моральным и социальным драмам привлекал толпы зрителей, заполнявших залы судов.

И здесь город был ключом к пониманию этих морализаторских рассказов, особенно определенные городские пространства, неизбежно классово, расово или этнически маркированные. Для газетной статьи или отчета полиции было достаточно лишь упомянуть, что инцидент приключился в Каматипуре, Бхенди базаре или Чор базаре (буквально переводившимся как «Воровской базар»), дабы дать понять, что случилось что-то дурное, необычайное и иррациональное. Когда «Роберта Себастиана, христианской веры» пырнули ножом в спину и ограбили на Фолклендской дороге, на окраине Каматипура, то магистрат Б.Н. Атхавле, пытаясь избежать «бунта», признал, что его вердикт про-

33 Times of India. 1924. August 7. P. 8.

34 Times of India. 1920. November 23. P. 12.

тив «толпы хулиганов» определялся репутацией района: «...отрезок Фолклендской дороги между Углом Грант Роад и Голпитхой имеет дурную славу места кишачего дурными типами, и Его Милость, соответственно, приняла этот факт к сведению». Сославшись на другие «гнусные акты жестокости» в районе, судья заключил, что это дело из-за его места происхождения «требует самого сурового приговора, который способна вынести Его Милость»<sup>35</sup>. Обвиняемые обжаловали приговор. Их адвокат настаивал, что судить о преступлении на основании других правонарушений, произошедших в районе, было неверно с юридической точки зрения и «мстительно» с моральной. Апелляция была отклонена<sup>36</sup>. Обвиняемые остались приговоренными, как и место, где они жили. Это был распространенный способ судить о городских пространствах. В 1923 году бомбейский писатель О.У. Кришнан в своем сенсационном повествовании о «ночной стороне Бомбея» описал Каматипуру как «непрерывающуюся Трагедию Бомбея, место, не чуждое многим преступлениям, поджогам, убийствам... территорию Сатаны, землю обетованную чада и обломков, потерянных для человечества, отверженных, униженных, нечистых, отравленных и распущенных»<sup>37</sup>.

Уличные празднования были отдельной проблемой, особенно Мухаррам. Чиновники полиции утверждали, что фестиваль почти превратился в «ежегодную оргию на улицах», в чем они обвиняли хулиганский элемент, и инициировали кампанию, чтобы «взять под контроль» и «очистить» Мухаррам [Edwardes 1923: 181, 187]. Представители мусульманских элит были с этим согласны. Во многих отношениях в «оргию» Мухаррам превратил конфликт между местными молодыми рабочими и купечеством квартала, осложненный тем, что молодые люди, почитавшие традицию шестивей, в основном принадлежали к суннитам, а местные торговцы были по преимуществу шиитами Бохра. «Уважаемые» люди Бохра были оскорблены шумом и буйством уличного празднества. Годами кушцы Бохра жаловались городской администрации, что каждый Мухаррам улицы захватывались «беззаконными буянами», «магометанскими бадмашами» и «крикливыми» бандами, создававшими «великий шум голосами и там-тамами», часто прямо перед их мечетями, и доставлявшими «неудобства самого грязного толка», оскорблявших Бохра «используя самые скверные и неприличные выражения»<sup>38</sup>.

«Беспорядки» (riots) были редки, но они обнажали напряженный социальный и политический ландшафт позднеколониального Бомбея. Уличное насилие вырывалось наружу во время забастовок и антиколониальных протестов. Однако в этом необыкновенно пестром городе, где этно-религиозные сообщества были связаны сильной внутренней солидарностью и почти за каждую улицу бились как за отдельное этно-религиозное пространство, — что сильно отличалось от более слабых и подвижных связей внутри сообществ Одессы, — большая доля коллективного уличного насилия принимала форму «межобщинных» конфликтов, в особенности между мусульманами и индуистами. В остроте и жестокости конфликтов, в том, что и самый «пустяковый»

35 Times of India. 1921. December 21. P. 12.

36 Times of India. 1922. February 17. P. 9.

37 *Krishnan O.U. The Night Side of Bombay*. Bombay: Tatva-Vivechaka Press, 1923. P. 43–44.

38 “Regulating Muharram for 1923”, MSA. Home (Political). File 167 (1923); “Regulating Muharram for 1929”. MSA Home (Political). File 84 (1929); [Kidambi 2016: 141–142].

повод мог легко вылиться в «бойню» (holocaust)<sup>39</sup>, обвиняли хулиганов, наводивших и обезобразивших общественную жизнь Бомбея; создателей «бесчинств» (mischief), готовых воспользоваться беспорядками и даже упивавшихся ими. Это были неизменно индуисты и мусульмане низших экономических классов.

Для объяснения насилия во время политических протестов показателен комментарий известного бомбейского владельца недвижимости Васантрао Анандрао Дабхолкера, касавшийся насилия, совершенного индуистами и мусульманами во время протестов против репрессивного Закона об анархических и революционных преступлениях 1919 года: «...силы бесчинства (forces of mischief), которые всегда вырываются на свободу в таких случаях, множатся и становятся неконтролируемыми, и хулиганы поэтому могут повеселиться на славу, несмотря на лучшие намерения лидеров»<sup>40</sup>. Когда волна уличного насилия, в частности атак на трамваи и магазины, прокатилась по Бомбею в 1921 году во время визита принца Уэльского, Махатма Ганди направился в район, в котором происходили беспорядки, и выразил досаду по поводу «неистовства толпы», «упивавшейся» собственной разрушительной мощью, которая, — он настаивал, — наносила вред антиколониальному движению, и даже заставила его усомниться в том, следует ли ему призывать людей выходить на улицы, пусть и для мирных протестов<sup>41</sup>. Эти стенания, ставшие уже привычными, продолжатся и в последующие годы, особенно в отношении вспышек насилия между общинами.

В 1929 году первое с 1893 года крупное столкновение между индуистами и мусульманами разгорелось из-за слуха о том, что мусульмане-пуштуны похищали детей на улицах города. Этот рассказ начал «царство террора» против пуштунов, как ситуацию описывали газеты и полицейские отчеты. В ответ пуштуны «обезумели от ярости» и бросились нападать на индуистов. В последовавшей «оргии бунта», согласно докладу полиции, индуистские и мусульманские мавали рыскали по улицам, охотясь друг на друга, начались «побоища» в Каматипуре и других районах, «толпы» напали на докторов, пытавшихся помочь жертвам, группы лежали на улицах и на дорогах, никто не осмеливался подобрать их<sup>42</sup>.

В том же году имел место другой случай массовых беспорядков. Индуистская процессия подошла к мечети в районе хлопкопрядильных фабрик Парэла. Услышав барабаны и пение, из мечети появились мужчины, швырявшие бутылки и камни; вооружившись палками и ножами, они атаковали индуистов. По мере того как уличные бои распространились по всему городу, росло и число жертв с обеих сторон. Нападения на индуистских женщин и детей, которых вытаскивали прямо из такси, согласно многим свидетельствам, начиная от публикаций «Times of India» и кончая Ганди, были одним из признаков ис-

39 Times of India. 1932. May 24–25. P. 6.

40 British Library Manuscripts and Archives. India Office Records and Private Papers. London. (IOR/L). Public and Judicial Department (PJ). File 839 (“City of Bombay Disturbances, April 1919”), January 1920 — February 1920. P. 6, 99–100.

41 Times of India. 1921. November 19. P. 10.

42 Evening News of India (Bombay). 1929. February 4–11; MSA. Home (Special). File 543 (10) E (B). P. 32–33, and 344 (1929). P. 21–23; IOR/L/PJ/6/1974. File 362. 1929; The Police Report on the Bombay Riots. February 1929. Bombay: Government General Press, 1929.

ключительной иррациональности происходящего. В свою очередь, мусульмане жаловались на уличный «беспредельный террор», не позволивший им передвигаться по району Парэл, делая невозможным посещения мечетей, они характеризовали ситуацию как «царство гундаизма»<sup>43</sup>.

Казалось, что насилие не имело цели. Причиной происшедшего, по наблюдениям многих, было не исполнение на улицах музыки индуистами и не оскорбление, которое это нанесло мусульманам, но «желание устроить безобразия». Газеты, читавшиеся мусульманами, жаловались: индуисты знали, что «вызвать возмущение» можно было исполнением музыки у мечети. А мусульмане — сообщали газеты для индуистов — просто-напросто ждали повода для драки, держа наготове для этого случая арсенал из «камней, кирпичей и бамбуковых палок». Как и хулиганы Одессы, всегда расположенные подрасться, бомбейские хулиганы были постоянно готовы оскорблять и возмущаться<sup>44</sup>.

Хулиганство было ключевой категорией, применявшейся элитами с обеих сторон для объяснения беспорядков. Когда Законодательный совет Бомбея — часть системы «диархии», позволявшей выборным представителям индийского населения участвовать в местном самоуправлении, — обсуждал взрыв уличного насилия в 1929 году, К.М. Мунши, влиятельный активист движения за свободу Индии, с пылом утверждал, что «по природе своей эти беспорядки не имели ничего общего с общинами», но являлись делом рук «профессиональных мавали города»<sup>45</sup>. Газета «Indian Daily Mail» соглашалась: не религия была истинной причиной столкновений, а городской «хулиганский класс», подталкивавший толпу к межобщинному насилию; эти хулиганы «оборачивали» свои истинные цели в религиозные лозунги, в то время как источник их мотивации «на самом деле происходил из их природной испорченности». Газета «Bombay Chronicle» делала акцент на «омерзительном спектакле мелкого хулиганства, которое превратилось в ужасающую угрозу нормальной жизни горожан». Газеты на языке гуджарати сходным образом обвиняли в насилии «мавали радж» (mawali raj, в приблизительном переводе — «царство хулиганов»), которому полиция позволила установиться на улицах<sup>46</sup>. Официальный Комитет по расследованию бомбейских беспорядков, назначенный губернатором Бомбея и возглавляемый британским юристом и чиновником П.Э. Персивалем, проректором Университета Бомбе Мирзой Али Мухаммед Ханом и ученым индуистом-гуджаратцем и отставным судьей Моханлалом Джхавери, обвиняла в подстрекательстве к этим бунтам коммунистов, утверждая даже, что они могли быть изобретателями и распространителями слухов о похищениях<sup>47</sup>. Однако главным их грехом — сходились во мнении эти представители верхов колониальных, индуистских и мусульманских сообществ города — были

43 MSA. Home (Special). File 344 (1929), 49, 53, 103, 115, 120, 123; Reports on Native Newspapers in the Bombay Presidency. Bombay: Government Central Press, 1929. Week ending May 11. P. 587 (Gujarati).

44 Reports on Native Newspapers. 1929. Week ending April 27. P. 528—529 (Insaf and Nava Samachar). P. 554—555: May 4 (Insaf). P. 586—587: May 11 (Gujarati).

45 “Extract from the Official Report of the Bombay Legislative Council Debates.” 1929. February 26, 602—603, in IOR/L/PJ/6/1974, File 362 (“Rioting in Bombay, 1929”).

46 Indian Daily Mail (Bombay). 1929. May 7; Bombay Chronicle. 1929. May 6. P. 1; May 7. P. 1; Reports on Indian Newspapers. 1929. Week ending February 23. P. 231.

47 IOR/L/PJ/6/1974. File 362 (1929)]; MSA. Home (Special). File 543 (10) E (B), 49; 793 (1), 1932, 94.

«безрассудные» призывы, обращенные к публике и приводившие в возбуждение «крупный хулиганский элемент» и «банды мавали». «Бомбей имеет незаслуженно высокую численность хулиганов, — заключали они, — и мы того мнения, что следующей по серьезности после коммунистической угрозы в Бомбее является хулиганская»<sup>48</sup>.

## Голоса хулиганов: «Могут ли угнетенные говорить?»

Можно ли узнать хоть что-то о моральных ценностях и эмоциональных переживаниях самих «хулиганов»? Можем ли мы объяснить вспышки агрессии, беспорядки и насилие, не прибегая к упорядочивающей и отчуждающей категории «хулиганство»? Способны ли мы услышать их голоса, узнать что-то об их собственном складе ума, помимо психологического и морального осуждения, а также политических ориентиров и интересов осуждавших? Не можем ли мы прочесть насилие и нарушение закона как своего рода социальный язык (см.: [Аксенов 2020; Gerasimov 2018])? Как ответим мы на знаменитый вопрос: «Могут ли угнетенные говорить?», на который Гаятри Чакраворти Спивак дала пессимистичный ответ [Spivak 1988]?

Можно попытаться высказать предположение относительно того, что мы могли бы услышать, используя сравнительные исследования и теорию. Авторы, изучающие «футбольных хулиганов» современной Британии, например, утверждают, что их поведение является ответом на условия социальной исключенности и подчиненного положения, ограничивающие их способность действовать. Хулиганское насилие можно рассматривать как грубый способ самоутверждения — если и не «сознательный», то осознанный — или, по меньшей мере, как выражение фрустрации и скопившейся ярости вперемешку с удовольствием от возможности выплеснуть ее. В связи с этим утверждением находится аргумент о том, что все это — перформативные выражения маскулинности, мужской агрессии, особенно в условиях, подрывающих статус их мужественности. Схожим образом, по наблюдениям исследователей, почвой подобного рода наклонностей является социальная ненависть (классовая, расовая, этническая, религиозная) и страх, внимание, уделяемое медиа, «выброс адреналина», получаемый от самого насилия, и алкоголь [Frostdick, Marsh 2005].

Возможности для интерпретации перспективы самих хулиганов были предложены теоретиками насилия. Наблюдая и анализируя опыт населения колониальной Северной Африки, психиатр и философ Франц Фанон описал феномен, названный им «атмосфера насилия», — «аффективность» всегда «на грани, как гноящаяся язва, содрогающаяся в преддверии прикосновения разъедающего вещества», концентрированная «ярость», «закипающая под кожей», готовая вырваться наружу в «периодических извержениях» «кровавых потасовок» даже среди самих колонизированных [Fanon 2004: 16—19, 31, 219]. Его представление, что опыт унижений и отсутствие результатов собственных действий может стать топливом для ярости и насилия, было развито Славоем Жижекком, писавшим о бунтах жителей предместий Парижа, бедноты и им-

---

48 MSA, Home (Special). File 543 (10) E (B), 47, 73, 125; Evening News of India. 1929. June 24. P. 16.



мигрантов в 2005 году: «...труднее всего принять бессмысленность этих бунтов», они скорее были не «формой протеста», но являли собой «импульсивный переход к действию, который невозможно перевести в речь или мысль». Это не означает отсутствие «смысла» или самовыражения: даже в самом бесцельном насилии можно увидеть попытку утвердить отрицаемое «присутствие», собственную «зримость», «создать проблему», даже если действовавшие «не предлагали решения и не создавали движения для того, чтобы предложить такое решение» [Žižek 2008: 76—77, 179, 185, 200—202].

Эмоции и аффект занимают центральное место в теоретизировании субъективности хулиганов, особенно в понимании того, как люди переживают социальные травмы, раны и боль. В условиях относительного бессилия бурные эмоции могут стать знаком, способом совершить высказывание. Они могут быть в ряду того, что Сиэнн Нгаи назвала «уродливыми чувствами», такими как отвращение, зависть и ненависть, а могут привести к насилию. Однако «критический потенциал» скрыт даже в уродливых чувствах и действиях — опять же, не как непосредственный способ изменить ситуацию и даже не как адекватный катарсис, но как выразительный знак разочарования, недовольства и отказа и, возможно, даже потребности почувствовать себя «свободным» [Ahmed 2004: 33—34, 169, 193—194; Ngai 2005: 1—29, 161, 188].

Ни один из упоминаемых исследователей не думал о советских или об индийских «хулиганах» 1920-х годов. Но мы можем это сделать. Современники, пытавшиеся осмыслить уличное насилие в Бомбее и Одессе, сами замечали переплетение социальных переживаний (особенно неравенства), неспособность изменить собственное положение и сильных эмоций в пробуждении насилия. Они говорили о чувствах фрустрации, цинизма, безразличия, отвращения, ненависти, ярости и вожделения — возможно, не самые «рациональные» эмоции, но не лишённые социальной направленности и смысла. В глазах большинства представителей власти это были эмоциональные реакции, укоренённые в исторической отсталости и часто в социальной, этнической и расовой инаковости. Однако мы можем пойти против течения в толковании их аргументов и увидеть что-то более основательное, более позитивное, чем порочность.

В «чрезмерности», определявшей хулиганство, его характерной эмоциональной и физической диспропорциональности может быть услышан некий голос. Один из самых жестоких «бунтов общин», например, разразился в 1933 году из-за происшествия, которое в «Times of India» было названо «пустяковой ссорой из-за мяча для игры в крикет на детской площадке»<sup>49</sup>. Воскресным вечером 8 января десятка три «кабульских пуштунов» собрались в Норсбрук Гарденс на южной границе Каматипуры, ожидая закат, чтобы отметить конец дневного поста в Рамадан. Мальчики-индуисты также играли в крикет в парке. До какого-то момента ситуация выглядела вполне нормальной, но, когда случайный мяч попал в одного из пуштунов, она быстро приняла драматичный оборот. Один пуштун дал мальчишке подзатыльник. Проходивший через парк рабочий-индуист, который уже успел пропустить стаканчик после завершения трудового дня на хлопкоперерабатывающей фабрике, «выразил протест пуштуну» — такие слова использовал автор полицейского отчета. В ответ последовал удар палкой. Началась массовая драка между индуистами и мусульманами, она распространилась на соседние улицы. Нападениям под-

49 Ibid.

верглись не только местные жители, но и пассажиры трамваев и машин, которых вытаскивали на улицы и избивали<sup>50</sup>.

И в Одессе многие рассказы о хулиганах начинались с незначительных на первый взгляд пустяков: пьяный рабочий, зайдя в популярный ресторан «Английский уголок», подошел к столу и потребовал, чтобы посетители его угостили. Получив отказ, он отвесил оплеуху одному из присутствующих<sup>51</sup>. Случались и «неприятные “курьезы” — физические и моральные» (так описывал их репортер): пациенты напали на персонал скорой помощи и докторов, пытавшихся им помочь<sup>52</sup>. Были отмечены нападения толпы на трамваи и их водителей, задавивших пешеходов<sup>53</sup>. Правонарушители избивали милиционеров, пытавшихся остановить «дебаш на улице», а когда двое из них оказались в отделении милиции, то они разорвали устав, вылили чернильницу на пол, пытались вырвать телефон с проводом<sup>54</sup>.

Эти истории могут быть прочитаны как выражения голоса хулиганской субъективности. Личность хулигана была наполнена бурными чувствами и отмечена тем, что Фанон назвал «аффективностью... на грани». Некоторые диагностировали этот тип личности как присущий детям — озорство молодости, психологическая склонность молодежи проверять границы дозволенного и бросать вызов авторитетам, рисковать и искать запретных острых ощущений. В менее сочувственной интерпретации хулиганское поведение было ментальной патологией: если использовать слова советского медика, выступавшего в 1927 году в суде, хулиганские действия обвиняемого имели «признаки психопатии и травматического невроза» (мужчина был уволен с работы за буйство и хулиганские «скандалы», угрожал застрелить ответственных за увольнение, а потом избил женщину-врача во время осмотра)<sup>55</sup>.

Также мы можем узнать социальные характеристики главных целей хулиганов: представители всех видов властей, автомобили и трамваи как классово маркированные виды транспорта, нарушавшие границы районов, беззащитные женщины. Мы видим чувства фрустрации и гнева в этих историях, включая социальный ресентимент (и зависть), а также разочарование. Действия, о которых идет речь, были не спланированными актами открытого неповиновения социальной норме, но стихийными и импровизированными. Они являлись — заимствуя выражения исследователей других эпох и территорий — ответами на депривацию и остракизм; выражением издевательского антагонизма по отношению к социальным и культурным гегемониям и нормам; утверждением отрицаемого присутствия и видимости; импульсивным выражением скопившейся фрустрации и ярости наряду с удовольствием от выражения этих чувств; нарушением повседневного течения жизни; жестоким способом самоутверждения.

Городские публичные места играют центральную роль в рассказах о хулиганах и в расшифровке их возможного значения. В отличие от обычных пре-

50 MSA. Home (Special). File 793-A, 1933, 1—19; Times of India. 1933. January 9. P. 3—4; Bombay Chronicle. 1933. January 9. P. 1; Annual Report of the Police on the City of Bombay for the Year 1933. Bombay: Government Press, 1934. P. 53.

51 Вечерние известия. 1926. 1 февраля.

52 Вечерние известия. 1926. 14 августа. С. 3; 19 августа. С. 4.

53 Вечерние известия. 1927. 1 июня. С. 4.

54 Вечерние известия. 1926. 28 января. С. 3.

55 Вечерние известия. 1927. 8 августа. С. 3.

ступников, прячущихся и носящих маски, хулиганы действовали открыто. Уличное насилие, осуществляемое народными массами, по утверждению разных исследователей различных эпох и стран, является грубым и непосредственным утверждением собственной власти в публичных пространствах. Шум и вызывающее исполнение музыки на улице, захват тротуаров в приступах буйства, атаки на трамваи и бросание камней, даже обычные ограбления — все это может быть рассмотрено как примеры «перформативного местопроизводства» [Jones 2007] на улицах того, что некоторые жители Бомбея называли «хулиганским царством» (мавали радж). Это было царство карнавала в понимании Михаила Бахтина — временное переворачивание и высмеивание иерархий. Найл Грин описывал бомбейский Мухаррам как «рабочий карнавал», время, когда мусульманские бедняки возвращали себе улицы, захватывая их у социальных и колониальных элит, используя собственные тела и производимые ими звуки: «бешеную» игру на барабанах, трубах и танцы [Green 2011: 53—56]. Улица в этих историях — территория участия, различия, власти и ее оспаривания, поле битвы за то, кто контролирует городское пространство, кто имеет «право на город».

Комсомольский лидер М. Рафаил в конце 1920-х годов беспокоился, что слишком много молодых людей романтизировали хулиганство «как вид особого “свободного героизма”»<sup>56</sup>. Вопрос о «свободе» в хулиганстве заслуживает рассмотрения в качестве телесной и эмоциональной политики освобождения. В феврале 1926 года в передовице «Вечерних известий» отмечалось, что хулиганское «озорство» одесской молодежи может быть понято «как реакция против косности окружающего быта, как проявление свободы личности». И разумеется, по мнению редакции, чтобы общество могло существовать и развиваться, необходимо «наложить на эту личность узду общественной дисциплины»<sup>57</sup>. Хулиганы отказывались от этой узды — метафора, которую можно распространить на все рассмотренные случаи.

«Веселье» — говорящий лейтмотив всех рассказах о хулиганстве как «свободном героизме». Мы можем расслышать его в описаниях одесских хулиганов как «веселых» и в рассказах о том, как бомбейские хулиганы «весело проводили время», устраивая свои «безобразия». Это была значимая тема новостных репортажей в Одессе. В 1928 году, например, «Вечерние известия» сообщали, что некие «веселые ребята» были арестованы и осуждены за свои жестокие выходки на Молдаванке. «Был тихий, мирный советский вечер», когда трое парней пожелали «хулиганить и дебоширствовать», совершив целую «цепь веселых походов». Для начала они швыряли камни в рабочих на улице. Этого им было мало: решив «повеселиться по-настоящему», они стали кидать камни в окна, наводя ужас на жителей. «Осада» домов, «населенных рабочими и просто гражданами», не принесла им удовлетворения, поэтому они напали на клуб рабочих трамвайного депо. Затем вооруженные ножами «веселые ребята» продолжали свои походы, когда им встретился Виктор Шварцман, наслаждавшийся мирной прогулкой. Его они решили побить и украсть его одежду, но тут наконец появилась милиция, арестовавшая «весе-

56 Рафаил М. Беспощадная борьба с чубаровщиной // Чубаровщина: По материалам судебного процесса. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 10; Рафаил М. За нового человека. Л.: Прибой, 1928. С. 75.

57 Вечерние известия. 1926. 9 февраля. С. 1.

люю компанию»<sup>58</sup>. Слово «веселье», конечно, использовалось рассказчиком иронически, даже саркастически, поэтому кавычки неотступно осаждали его. Но они также намекали на агрессию, которую не удавалось контролировать, ибо она позволяла насильникам «весело провести время».

Порой можно было расслышать и настоящие хулиганские рассказы, особенно в зале суда. Там советские хулиганы Одессы объясняли свои действия: «Я — молодой»; «Я не виноват... Я, может, больной... Может, у меня припадок такой приключился. Я, товарищи, человек, — не больше»; «Был пьян... Началась драка... Я оборонялся... Как, не помню»; «Это была “простая забава” подвыпившего человека»<sup>59</sup>. Сложно назвать это чистосердечной исповедью, ведь все говорилось для тех, в чьей власти было отправить их в тюрьму. Но это не значит, что их рассказы, содержащие неприменный нравоучительный вывод, вообще не содержали истины или что они не принадлежали хулиганам. В 1925 году «Вечерние известия» опубликовали интервью с уличным «героем» Одессы, — как всегда, такие истории рассказывались в саркастическом ключе, — который оплакивал растущую тенденцию советского общества морально оценивать и контролировать каждый шаг в повседневной жизни граждан, что ощущалось им как объявление войны веселью. Жизнь в прошлом была лучше — по мнению героя: можно было напиться, устроить публичный скандал, затеять заваруху в трамвае, а затем быть отпущенным из зала суда, потому что пьянство принималось в качестве достаточного оправдания за уличный дебош. Теперь же «безобразничать» стало намного сложнее: «Трудно стало жить веселому человеку, ей-богу трудно»<sup>60</sup>.

## Заключение

Критически читая суждения «хулиганов», интерпретируя их физические действия как экспрессивные жесты, понимая признаки эмоций как форму самовыражения, внимательно вслушиваясь в их слова и удерживая в уме контексты динамики класса и общественной власти, в которых им приходилось действовать, мы можем узнать из них нечто большее, чем отражение их умственной и моральной отсталости и уродства. Безусловно, услышанное сложно назвать сознательным протестом или сопротивлением. Однако оно может быть рассмотрено как нечто политическое: как отрицание, как импровизированное освобождение, как наслаждение безобразием. На языке теории мы можем понять хулиганов как осознанно, пусть и не «сознательно», подрывавших структуры распределения власти и неравенства, делавших себя видимыми и учреждавших собственное присутствие вопреки условиям подчинения и маргинализации, сопротивлявшихся дисциплинирующим нормам, ненадолго бравших под контроль время и пространство улиц, даже «героически» воплощавших своеобразный дух свободы и наслаждения. Городские улицы были их средой обитания и сценой, где непростые судьбы и переживания приходили в столкновение с авторитетными и даже претендующими на гегемонию идеями о морали

58 Вечерние известия. 1928. 10 января. С. 4.

59 Вечерние известия. 1926. 6 апреля. С. 3; 1927. 10 октября. С. 3; 1926. 4 октября. С. 3; 1929. 20 июня. С. 4.

60 Вечерние известия. 1925. 19 ноября. С. 3.

и нормальности, а также с гегемонными политическими и общественными структурами и, напротив, с условиями жизни «неустойчивыми, изменчивыми и неуправляемыми» [Tambe, Fischer-Tiné 2009: 11]. Города являются местами, где люди с полным на то основанием могут чувствовать себя исключенными, принужденными к дисциплине и раздавленными. Но они были также местами, где — как писала историк Садиа Хартман об афроамериканках той же эпохи (ведь это была глобальная эпоха с глобальной историей) — были возможны и «эксперименты в поисках иной жизни» [Hartman 2019: 33].

Авториз. пер. с англ. Станислава Худзика

## Библиография / References

- [Аксенов 2020] — Аксенов В. Слухи, образы, эмоции: Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914—1918). М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- (Aksenov V. Slukhi, obrazy, emotsii: Massovye nastroyeniya rossiyan v gody voyny i revolyutsii (1914—1918). Moscow, 2020.)
- [Лебина 1999] — Лебина Н.В. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920—1930 годы. СПб.: Нева; Летний сад, 1999.
- (Lebina N.V. Povsednevnyaya zhizn' sovetskogo goroda: normy i anomalii. 1920—1930 gody. Saint Petersburg, 1999.)
- [Савченко 2012] — Савченко В. Неофициальная Одесса эпохи нэпа, март 1921 — сентябрь 1929. М.: РОССПЕН, 2012.
- (Savchenko V. Neofitsial'naya Odessa epokhi nepa, mart 1921 — sentyabr' 1929. Moscow, 2012.)
- [Ahmed 2004] — Ahmed S. Cultural Politics of Emotion. New York: Routledge, 2004.
- [Chandavarkar 1998] — Chandavarkar R. Imperial Power and Popular Politics: Class, Resistance and the State in India, c. 1850—1950. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- [Chandavarkar 2009] — Chandavarkar R. History, Culture, and the Indian City. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [Cohen 1969] — Cohen S. Hooligans, Vandals, and the Community: PhD thesis. London, 1969.
- [Cohen 1972] — Cohen S. Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London: MacGibbon and Kee, 1972.
- [Cooper, Stoler 1997] — Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World / Ed. by F. Cooper and A.L. Stoler. Berkeley: University of California Press, 1997.
- [Edwardes 1923] — Edwardes S.M. Bombay City Police: A Historical Sketch, 1672—1916. London: Oxford University Press, 1923.
- [Edwardes 1924] — Edwardes S.M. Crime in India. London: Oxford University Press, 1924.
- [Fanon 2004] — Fanon F. The Wretched of the Earth / Transl. by R. Philcox. New York: Grove Press, 2004.
- [Frosdick, Marsh 2005] — Frosdick S., Marsh P. Football Hooliganism. Cullompton, UK: Willan, 2005.
- [Gerasimov 2018] — Gerasimov I. Plebeian Modernity: Social Practices, Illegality, and the Urban Poor in Russia, 1906—1916. Rochester: University of Rochester Press, 2018.
- [Gorsuch 2000] — Gorsuch A. Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents. Bloomington: Indiana University, 2000.
- [Green 2011] — Green N. Bombay Islam: the Religious Economy of the West Indian Ocean, 1840—1915. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- [Hartman 2019] — Hartman S. Beautiful Experiments: Intimate Histories of Social Upheaval. New York: Norton, 2019.
- [Humphries 1981] — Humphries S. Hooligans or Rebels? An Oral History of Working-Class Childhood and Youth, 1889—1939. Oxford: Basil Blackwell, 1981.
- [Jones 2007] — Jones R. Sacred Cows, Thumping Drums: Claiming Territory as 'Zones of Tradition' in British India // Area. 2007. Vol. 39. No. 1. P. 55—65.
- [Kidambi 2016] — Kidambi P. The Making of an Indian Metropolis: Colonial Governance and Public Culture in Bombay, 1890—1920. London: Routledge, 2016.
- [Lefebvre 1968] — Lefebvre H. Le droit à la ville. Paris: Éditions Anthropos, 1968.

- [McDonald 2011] — *McDonald T.* Face to the Village: The Riazan Countryside under Soviet Rule, 1921—1930. Toronto: University of Toronto Press, 2011.
- [Neuberger 1993] — *Neuberger J.* Hooliganism: Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900—1914. Berkeley: University of California, 1993.
- [Ngai 2005] — *Ngai S.* Ugly Feelings. Cambridge, Mass.: Harvard, 2005.
- [Pearson 1983] — *Pearson G.* Hooligan: A History of Respectable Fears. London: Macmillan, 1983.
- [Prestel 2017] — *Prestel J.B.* Emotional Cities: Debates on Urban Change in Berlin and Cairo, 1860—1910. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- [Schwarz 1996] — *Schwarz B.* “Night Battles: Hooligan and Citizen // In Modern Times: Reflections on a Century of English Modernity / Ed. by M. Nava and A. O’Shea. London: Routledge, 1996. P. 101—128.
- [Shaikh 2011] — *Shaikh J.* Translating Marx: Mavali, Dalit and the Making of Mumbai’s Working Class, 1928—1935 // Economic and Political Weekly. 2011. Vol. 46. No. 31. P. 65—73.
- [Shaikh 2021] — *Shaikh J.* Outcaste Bombay: City Making and the Politics of the Poor. Seattle: University of Washington Press, 2021.
- [Spivak 1988] — *Spivak G.C.* Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / Ed. by C. Nelson and L. Grossberg. Urbana: University of Illinois, 1988. P. 267—310.
- [Steinberg 2011] — *Steinberg M.* St. Petersburg Fin de Siècle. New Haven: Yale University, 2011.
- [Steinmetz 2014] — *Steinmetz G.* Comparative History and Its Critics // A Companion to Global Historical Thought / Ed. by P. Duara, V. Murthy and A. Sartori. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. P. 412—436.
- [Tambe, Fischer-Tiné 2009] — The Limits of British Colonial Control in South Asia: Spaces of Disorder in the Indian Ocean Region / Ed. by A. Tambe and H. Fischer-Tiné. London: Routledge, 2009.
- [Žižek 2008] — *Žižek S.* Violence. New York: Picador, 2008.

# «Машина желаний»: к сценарной истории фильма «Сталкер»

Сергей Филиппов

## Сталкер в поисках сценария

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_203

*Г. Рерберг.* ...здесь, на мой взгляд, он взял не свой материал.  
*М. Чугунова.* И долго и упорно превращал его в свой.  
*Г. Рерберг.* В результате он все-таки превратил его в свой.  
<...> Но какой ценой это достигнуто?..<sup>1</sup>

### 1. История. Одна серия

То, что Андрей Тарковский приступил к съемкам «Сталкера» в силу стечения разных довольно случайных обстоятельств, теперь хорошо известно. 26 февраля 1976 года он отправил «письмо в президиум XXV съезда о <своей> безработице по вине Госкино»<sup>2</sup>. И тогда эта машина желаний в исполнении ЦК КПСС<sup>3</sup> повелела председателю Госкино немедленно дать режиссеру работу: «В Госкино Тарковскому сказали: “Мы вас сейчас же запускаем. Что у вас есть?” А у Андрея Арсеньевича в тот момент был сценарий “Светлый ветер”, о котором они категорически и слышать не хотели, и вот этот сценарий — “Машина желаний”. Больше у него ничего готового не было»<sup>4</sup>. Откуда же взялся «вот этот сценарий»?

Тремя годами раньше Тарковский, прочитав «Пикник на обочине» братьев Стругацких, записал в дневнике, что из этой повести «можно было бы сделать

- 
- 1 *Рерберг Г., Чугунова М., Цымбал Е.* Фокус на бесконечность. Разговор о «Сталкере» // Искусство кино. 2006. № 4. С. 119.
  - 2 *Тарковский А.* Мартиролог. Дневники. 1970—1986. [Б.м.]: Международный институт имени Андрея Тарковского, 2008. С. 150.
  - 3 По меткому выражению авторов-составителей: *Косинова М., Фомин В.* «Музыка Баха звучит как-то не по-советски...» История создания фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР. «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». М.: Канон-плюс, 2017. С. 333.
  - 4 *Рерберг Г., Чугунова М., Цымбал Е.* Указ. соч. С. 109.

лихой сценарий для кого-нибудь»<sup>5</sup>, и затем, в 1974—1975 годах, регулярно обсуждал со Стругацкими такой «лихой сценарий» по четвертой главе повести в расчете главным образом на Георгия Калатоцишвили (сына Михаила Калатозова). Однако по дневнику режиссера, равно как и по переписке Стругацких, видно, что он постепенно примеривал этот замысел и на себя, хотя и не считал его вполне своим, даже когда создавался первый вариант сценария, оконченный 25 января 1976 года<sup>6</sup>, за месяц до открытия съезда КПСС. В результате единственный приемлемый для Госкино из двух имевшихся у Тарковского готовых сценариев был ему все еще достаточно чужд.

Действительно, сценарий, называвшийся тогда «Машина желаний»<sup>7</sup> (в дальнейшем будем иногда кратко называть его *МЖ*), производит шокирующее впечатление, поскольку этот материал едва ли возможно связать с другими фильмами Тарковского как тематически, так и драматургически<sup>8</sup>. Даже если забыть о тривиальном ходе с высыпающимися из рюкзака золотыми монетами в финале, существенно, что сценарий не строится вокруг экзистенциальной проблематики, его драматургия — чисто приключенческая, конфликты не столько внутренние, сколько возникающие между персонажами. С этим связана и самая большая, как теперь понятно, проблема сценария, для решения которой потребовались полтора года и остановка производства уже на четыре пятых официально отснятого фильма: центральный персонаж, сталкер, — откровенно криминальный тип. Такого мы не найдем ни в одном фильме режиссера, в которых главные герои всегда — рефлектирующие интеллигенты, и даже второстепенные персонажи не совершают прямолинейных незаконных действий<sup>9</sup>.

В то же время уже в этой, самой первой законченной версии сценария выявились две особенности, значительно отличающиеся от первоисточника и остававшиеся неизменными до самого конца. Вместо двух человек, опытного сталкера и юноши, в Зону идут трое персонажей: проводник, зовущийся здесь Виктором, писатель, зовущийся Антоном, и собирающийся взорвать Зону профессор, иногда называемый Филиппом. И главное, оформилась структура: прощание с женой (пока еще совершенно мирное), путь в Зону, долгое блуждание по ней вплоть до места осуществления желаний, и резкий переход обратно, где героя встречает жена. Таким образом, здесь имеется классическое триединство, о котором Тарковский всерьез озаботился в конце декабря 1974 года

5 Тарковский А. Указ. соч. С. 81.

6 Стругацкий А., Стругацкий Б. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 22. 1977. Иерусалим: Млечный Путь, 2019. С. 316. В дальнейшем на этот том мы будем ссылаться прямо в тексте как на ПСС-22, а другие обозначать в примечаниях как ПСС.

7 Впервые опубликован: Стругацкий А., Стругацкий Б. Собрание сочинений: В 10 т. + 4 доп. Т. 1, доп. М.: Текст, 1993. С. 109—149. Доступен в интернете.

8 Показательно, что похожее — хотя и с противоположным знаком — ощущение вызвала заявка на этот сценарий и в руководстве «Мосфильма», которое облегченно вздохнуло, что Тарковский «взялся за ум» (*Нехорошев Л. Тесные врата. Свидетельство о «Сталкере» // Андрей Тарковский: начало... и пути: Сб. / Сост. и ред. М. Ростоккая. М.: ВГИК, 1994. С. 70*), то есть из неуступчивого самостоятельного художника решил превратиться в правильную советскую кинематографическую обслугу.

9 Даже самые мрачные и brutальные персонажи «Андрея Рублева» использовали насилие легальным по тем временам образом, а в остальных фильмах Тарковского людей, склонных к прямой агрессии и насилию, нет ни одного. Тем удивительнее, что в рассматриваемом случае у режиссера ушло так много времени на то, чтобы отказать от столь органически чуждого ему психотипа, да еще и в заглавной роли.



(и именно обдумывая «фильм по Стругацким»<sup>10</sup>, у которых триединство в последней главе соблюдается еще более неукоснительно) и которому по большей части соответствуют три его последние картины. По-видимому, именно это — наряду с исполнением *сокровенных желаний*, что в повести было лишь обозначено, но не развивалось, — и привлекло его в четвертой главе «Пикника на обочине».

Еще до съезда компартии, до того, как Тарковский неожиданно для себя столкнулся с необходимостью снимать этот интересный, но пока не вполне еще свой материал, он высказал Аркадию Стругацкому свои претензии к первой версии сценария, «выразил ФЕ»: «Ему не надо, чтобы был атомный взрыв. Главным образом потому, что а) это значит, что ученый вышел с заранее обдуманным намерением и оно претворил в жизнь...; вот если бы он вышел с этой идеей и в ходе перехода ее изменил, тогда другое дело (или если бы он вышел с другой идеей, а в конце пришел к выводу о взрыве, тогда тоже другое дело). б) Зону вообще не надо взрывать... ибо она, Зона, есть квинтэссенция нашей жизни. Тут, естественно, у меня глаза на лоб полезли»<sup>11</sup>.

Не очень понятно, почему Стругацкого удивляет требование, чтобы персонаж обязательно проделал определенную моральную эволюцию (что в данном случае выражается в изменении его намерений от начала к концу фильма): в конце концов, и главный герой «Пикника...» шел в Зону с одной целью, а пришел в итоге с другой. Возможно, для писателя оказалось неожиданным, что это требование относится не только к главному герою. Так или иначе, это легко решаемая проблема, и уже во втором варианте сценария эволюцию проделывал и профессор, а начиная с третьего — и писатель (интересно, что в итоге в самом фильме заглавный герой изменяется меньше двух других). А вот второе замечание, от которого у Стругацкого полезли на лоб глаза, свидетельствует о существенных концептуальных расхождениях в понимании исходной ситуации повествования (Зона как внешнее по отношению к человечеству явление vs. как внутреннее; люди изучают Зону vs. Зона испытывает людей), то есть о том, что Тарковский и в самом деле взял не свой материал.

Таким образом, при наличии в первом варианте сценария сложившегося каркаса структуры и троицы главных героев перед его авторами остались такие проблемы: характеры персонажей и их эволюция; сущность места действия и его взаимоотношения с героями. Изменения каждого из этих компонентов неизбежно влекли за собой и изменения самой основы драматургии сценария, природы его драматического конфликта. В этом и состояли главные перипетии развития уже самого сценария фильма в последующих его вариантах.

Написанный 16—23 марта 1976 (ПСС-22: 323) — то есть уже через пару недель после окончания партийного съезда — текст под названием «Сталкер. Второй вариант литературного сценария “Машина желаний”»<sup>12</sup> (кратко — *С/МЖ.2*) отличается от первой версии приблизительно на четверть, причем почти все изменения приходятся на вторую его половину, тогда как в первой половине

10 Тарковский А. Указ. соч. С. 129.

11 ПСС. Т. 21, 1975—1976. 2019. С. 463.

12 Впервые опубликован: ПСС-22: 328—371. Архивные экземпляры: Архив «Мосфильма». Оп. 12. Д. 1328; Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2944. Оп. 6. Д. 4511. Доступен в интернете.

различия состоят практически лишь в притчевой анонимизации персонажей, которые теперь проводник, Писатель и Профессор (но иногда все еще Филипп). Однако и во второй половине изменения имеют пока что не принципиальный характер, и в основном связаны со смягчением прямолинейных ходов первого варианта. Прежде всего, история перестает быть кровавой: если в первом варианте из Зоны возвращался один лишь проводник, то здесь возвращаются все трое. Писатель с уже более сложным характером сначала остается было в Зоне, но потом появляется вновь; Профессор теперь и сам не погибает, и Зону не взрывает. Из-за этого два самых страшных места в Зоне становятся менее опасными: труба с огнем, едва не сгубившая Писателя, все еще грохочет и лязгает, но огня больше не изрыгает, а мясорубка, в которой погибал Профессор, «сдохла». Проводник же теперь не просто сталкивается с тем, что вместо здоровья дочери получает золото (уже в качестве не примитивной финальной морали, а логичного сюжетного хода), но и делает из этого некоторые жизненные выводы для себя, которые он и озвучивает Профессору.

Из этого варианта к ноябрю был раскадрован режиссерский сценарий<sup>13</sup>, с которым фильм был запущен в производство, и вот только тогда Тарковский взялся за сценарий всерьез: в середине декабря Стругацкие пишут третий его вариант<sup>14</sup>, называющийся уже просто «Сталкер», без подзаголовка<sup>15</sup> (кратко — С.3), и обновленный более чем наполовину (что является самой большой долей нового текста из всех сохранившихся последовательных версий сценария). Изменения в нем касаются решительно всех его частей. Прежде всего, трансформируются функции жены — и в начале, где возникает скандал, и в финале, где она произносит монолог про счастье, горе и надежду<sup>16</sup>, и превращается, таким образом, из декоративного обрамления в полноценную роль. Выброшен длинный информационный видеоролик, занимавший четыре страницы текста; почти вдвое расширены реплики Писателя, и он больше не пытается остаться в Зоне; к месту исполнения желаний теперь не идет никто. Забегая вперед, отметим, что здесь уже оформилась не только драматургическая, но также и статистическая структура сценария, оставшаяся далее достаточно стабильной: общий объем; соотношение описаний и реплик; распределение последних между персонажами.

А главное, из сценария наполовину ушла фантастика. Среди явлений, отсутствовавших в четвертой части «Пикника...» и придуманных к первой вер-

13 Архив «Мосфильма». Оп. 12. Д. 1330 (дубликат: Д. 1331). РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 6. Д. 4513. Единственное отличие структуры этого режиссерского сценария от второй версии литературного заключается в том, что в нем информационный видеоролик передвинут в самое начало — что, очевидно, лучше соответствует классическому триединству.

14 Скорее всего — с 15 по 19 декабря 1976 года (ПСС-22: 382), но передан Тарковскому он был только 3 января 1977 года (ПСС-22: 551).

15 Этот вариант был опубликован первым, причем, наоборот, под названием «Машина желаний», даже без подзаголовка «Сталкер» (Сборник научной фантастики. Вып. 25. М.: Знание, 1981. С. 7—39). Доступен в интернете.

16 Ход со скандалом придумал Тарковский в первой половине сентября 1976 года (*Тарковский А.* Указ. соч. С. 163), о том, что это станет контрастом «нежности, верности и твердости» в финале, он сообщил в письме в начале октября (ПСС. Т. 21. С. 504), а непосредственно о монологе первые сведения содержатся в записи Аркадия Стругацкого после разговора с Тарковским 11 декабря: «Финальная сцена. Монолог женщины. История их отношений со Сталкером» (ПСС-22: 381).

сии сценария, исчезли вертикальный столб, волшебное кино, заморозившее Писателя, и даже петля времени — очевидно, замораживавшая самого Тарковского, — а остался только вечно работающий грузовик. Из явлений, перешедших из повести в первые варианты, больше нет гравиконцентрата («комариной плешки»), а работает ли волшебное место, теперь неизвестно. Осталось только «изумрудное зарево — нечеловеческая заря Зоны» (вероятно, послужившая потом причиной странного аквариумного эффекта в первых партиях съемочного материала), но была, правда, добавлена сцена, где Писатель намокает и затем лысеет. Если убрать эту сцену, лязгающую трубу, зарю и грузовик, фантастики в сценарии не останется никакой, и Зона действительно станет «квинтэссенцией нашей жизни» — опасной, но не слишком фантастичной. А если еще и должным образом изменить характер заглавного героя, получится текст, драматургически почти идентичный фильму «Сталкер». Но на эти, казалось бы, последние штрихи пришлось наибольшее напряжение драмы написания его сценария.

Есть хорошо известное высказывание Станислава Лема, что Тарковский превратил его «Солярис» в «Преступление и наказание». В случае «Сталкера» потребовалось куда более серьезное преобразование: сначала пришлось превратить «Пикник на обочине» в «Солярис»<sup>17</sup>, что в основном и произошло к третьему варианту сценария, а уж только потом получившийся «Солярис» нужно было долго и мучительно переделывать в «Преступление и наказание».

## 2. Текстология. Две серии

Видимо, перед началом павильонных съемок в феврале 1977 года (или вскоре после этого) на ротапринте был размножен текст под названием «Уточненные диалоги по объектам режиссерского сценария кинокартины “Сталкер”»<sup>18</sup> (кратко — *С/УД*). Вопреки названию, он состоял отнюдь не из одних лишь диалогов, да и к режиссерскому сценарию (выполненному, как мы помним, по второму варианту литературного) он, невзирая на педантичные отсылки к его кадрам, имел мало отношения, поскольку представлял собой несколько видоизмененный *третий* вариант сценария. Очевидно, такой двойной подлог был вызван необходимостью доступа к множительной технике, который предоставлялся только для официальных целей. Изменения в сценарии, которые могли внести как братья Стругацкие вместе, так и один Аркадий, равно как и Андрей Тарковский, сводились к его сокращению менее чем на 2% и многочисленным небольшим правкам, составившим в общей сложности 5% объема текста — без каких бы то ни было изменений драматургии.

17 Здесь забавной иллюстрацией будет рассчитанные не позднее 5 августа 1976 года предварительные «Состав и зарплата штатных и нештатных актеров», где на главные роли «Сталкера» намечена троица из «Соляриса»: Банионис — Сталкер, Ярвет — Ученый, Солоницын — Писатель (для полноты картины здесь не хватает только Натальи Бондарчук в роли Жены, но на эту роль пока что предполагается Терехова, см.: РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 4. Д. 4780. Л. 24). Понятно, что это совершенно условные прикидки, и на такой кастинг никто на самом деле не рассчитывал, — и уж на Баниониса, о работе с которым у Тарковского остались не лучшие воспоминания, во всяком случае никто не рассчитывал, — тем не менее показательны.

18 Архив «Мосфильма». Оп. 12. Д. 1333. Л. 46—103.

Как называть такую модификацию сценария? Традиционно существенная переработка текста называется «редакцией», тогда как незначительная — «вариантом редакции» или просто «вариантом». Но в сценарном случае вместо редакции как раз и используется слово *вариант*, что мы уже видели на титульном листе второй версии и увидим на некоторых других. Поэтому для небольших изменений нам нужен какой-то особый термин — пусть это будет *вариация*. В универсальном же значении будем использовать слово *версия*.

Дальнейшие съемки фильма, особенно после выезда в экспедицию в мае 1977-го, сопровождались куда более крупными переработками сценария, от которых сохранилась лишь пара десятков страниц чернового текста<sup>19</sup>. Судя по этим материалам, где-то в процессе их создания произошел переход от свободной прозаической формы литературного сценария, в которой написаны первые три варианта, к больше похожей на пьесу форме киносценария, в которой написаны последние версии. Сколько при этом было промежуточных вариантов, неизвестно, хотя мы ниже постараемся оценить их количество. Третьего августа съемки были остановлены из-за аварии камервагона, упавшего со всей съемочной аппаратурой в кювет<sup>20</sup>. Одновременно набирал силу скандал из-за технического брака части материала<sup>21</sup> и продолжала развиваться сложная интрига по переводу фильма из односерийного в двухсерийный формат, которую Тарковский затеял еще в июле<sup>22</sup>.

И вот в такой обстановке простоя и полной неясности было принято решение, окончательно сформировавшее облик произведения. Аркадий Стругацкий пять лет спустя вспоминал это так: Тарковский говорит: «...поезжай в Ленинград, вот тебе десять дней, и напиши двухсерийный сценарий, в котором сталкер был бы совсем другим, не тем, что он есть». — «А каким?» — «А я, говорит, не знаю уж. Мне нужен другой...» Ну, я поехал. Получил от Бориса большой втык за неопределенность. И Борису пришла в голову идея: дать в фильме нечто вроде нового мессии. <...> Тарковский говорит: «О, это то, что нужно»<sup>23</sup>. Конечно, мемуары — крайне ненадежный источник<sup>24</sup>, но запись в дневнике

19 Опубликованы в: ПСС-22: 429—448.

20 *Цымбал Е.* Рождение «Сталкера»: попытка реконструкции. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 438. Уточненная датировка по: ПСС. Т. 25. 1981—1982. Кн. 2. 2020. С. 721.

21 Эту историю, приведшую в том числе к изгнанию оператора Георгия Рерберга с картины, мы детально разобрали в другой работе (*Филиппов С.* Брак. Что случилось на «Сталкере». Часть I. Что это было? // Киноведческие записки. 2022. № 116/117. С. 291—309), так что здесь нет смысла в нее углубляться — тем более что она не имеет прямого отношения к обсуждаемой сценарной эпопее.

22 Это следует, например, из письма Аркадия Стругацкого от 30 июля, где он со слов Тарковского пишет, что председатель Госкино Филипп «Ермаш без звука подписал приказ о переводе “Сталкера” в двухсерийную картину» (ПСС-22: 527). Это было отнюдь не так (в действительности соответствующий приказ был подписан только полгода спустя), и зачем Тарковскому потребовалось дезинформировать своего сценариста, совершенно непонятно. Публикаторы письма дают этому несколько конспирологическую интерпретацию (ПСС-22: 427—428), хотя на деле никакого резона обманывать Стругацких у Тарковского не было: новые варианты сценария они написали бы и так, а увеличения объема текста в связи с двухсерийностью, как мы увидим, не произошло.

23 ПСС. Т. 25. Кн. 1. 2020. С. 497.

24 Это верно и вообще, и, в частности, в данном случае Стругацкие оставили несколько разных воспоминаний о событиях августа 1977 года, не всегда стыкующихся друг

режиссера от 26 августа подтверждает их в главном: «...сейчас Аркадий и Борис пытаются написать все заново из-за нового Сталкера, который должен быть не разновидностью торговца наркотиками или браконьера, а рабом, верующим, язычником Зоны»<sup>25</sup>.

Так Андрей Тарковский в конце концов превратил материал в свой, а Сталкер (что персонаж, что фильм) нашел себе сценарий. Но все-таки не вполне понятно, почему на это ушло столько времени и сил — тем более что еще летом 1976 года (то есть между вторым и третьим вариантами сценария) Тарковский хотел «выразить, что сталкер на этот раз не профессионал, не преступник, а идет в Зону с мольбой»<sup>26</sup>. Возможно, производственная гонка помешала тогда сделать столь очевидные постфактум выводы из этого прозорливого замечания.

Где же этот правильный сценарий? Очевидный и пока единственный кандидат — это опубликованная в 1990 году версия под названием «Сталкер (Пикник на обочине)»<sup>27</sup>, где Сталкер уже явно «язычник Зоны». И хотя Стругацкие охарактеризовали этот текст как «последний из сохранившихся вариантов»<sup>28</sup>, однако «это на самом деле сделанная в 1984 году позднейшая авторская реконструкция, подготовленная уже не для кино, а для публикации на основе фрагментов из нескольких черновых и беловых рукописей примерно одного периода» (ПСС-22: 299). «Видимо, к этому моменту в пределах досягаемости Авторы не осталось ни единой целостной рукописи хоть какого-то позднего варианта, так что пришлось идти на решительные меры, собирая искомый текст по всем доступным источникам» (ПСС-22: 453–454).

В архиве Стругацких целостного экземпляра нет, но он или они могут быть в других архивах. Например, там есть 67-страничный машинописный текст «СТАЛКЕР. | литературный сценарий двухсерийного фильма»<sup>29</sup> (кратко — С-67), на титульном листе которого указано: «ТАЛЛИН 1977 г.». Двухсерийность здесь может означать одно из двух: либо это первый вариант с «другим» Сталкером, который, как мы помним, Тарковский отправил Стругацкого писать к брату в Ленинград; либо же это последний вариант со Сталкером-«браконьером», написанный Аркадием Стругацким единолично, во время его пребывания в эстонской экспедиции в конце июля — начале августа. Город Таллин на титуле явно свидетельствует в пользу второго предположения, да и если заглянуть в монолог Жены на предпоследней странице сценария, никакого «другого» Сталкера там еще нет: «...он же был совершенный бандит.

---

с другим и плохо согласующихся как с их же синхронными свидетельствами, так и с установленными данными. Прочитированное интервью выбрано среди них как одно из ближайших по времени к событиям мемуарное свидетельство и как наименее противоречащее проверяемым фактам.

В этом плане уместно подчеркнуть, что более нигде в данной статье, кроме самого ее начала (примечания 4 и 8), никакой опоры на воспоминания как на источник информации нет.

25 Тарковский А. Указ. соч. С. 176–177.

26 Письмо Аркадия Стругацкому брату от 23 июля 1976 года (ПСС. Т. 21. С. 494).

27 Стругацкий А., Стругацкий Б. Пять ложек эликсира. Избранные сценарии. М.: Наука, 1990. С. 57–93. Доступен в интернете.

28 Там же. С. 59.

29 Архив «Мосфильма». Оп. 12. Д. 1329; РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 6. Д. 4512. Знак « | » здесь и далее обозначает новую строку.

Вся округа его боялась. Он был красивый, легкий такой» вместо «...он же блаженный... Вся округа над ним смеялась. Он был растяпа, жалкий такой» впоследствии.

Однако это *единственные* во всем тексте две строчки, где Сталкер предстает бандитом, а не блаженным, видимо, оставшиеся в сценарии по чистому недосмотру, поскольку остальные реплики самого Сталкера, да и вообще почти весь материал здесь текстуально совпадает с напечатанной в 1990 году версией. При этом немногие страницы, значительно отличающиеся от опубликованного текста, в основном соответствуют описанию вклеенных в последний страниц, происхождение которых «непонятно»: «две ближе к началу, две в самом конце и одна добавка в сцену с телефоном» (ПСС-22: 451). Это — ближе к началу — страницы 7–8 (и частично 9) в эпизоде «В кафе», страницы 63–65 — в самом конце в эпизоде «Снова в кафе» — и страница 50 (и верхняя часть 51), добавленная в эпизод «Комната с телефоном». Правда, кроме того, страницы 22–25 вставлены в эпизод «Зона», а самая последняя страница представляет собой эпилог, в опубликованном варианте отсутствующий.

Итак, перед нами оригинал первого двухсерийного варианта, написанный в Ленинграде 23–27 августа 1977 года<sup>30</sup>, в котором впервые появляется новый, другой, блаженный Сталкер. Однако если это Ленинград, то что же означает слово «Таллин» на титульном листе? Ответ здесь, хотя и непроверяемый, но достаточно очевидный: дело в том, что Аркадий Стругацкий был прикомандирован к съемочной группе, получал в ней зарплату и, соответственно, формально должен был там и находиться. Поэтому сценаристы не могли в официальных текстах прямо демонстрировать начальству, что они пребывают где-либо еще (а именно в Ленинграде, где они обычно и работали, когда собирались вместе) — вот и пришлось им пойти на этот хотя и безобидный, но сбивающий с толку подлог.

Что касается содержания, то изменился не только Сталкер, но и Зона, из которой окончательно ушла вся явная фантастика (кроме зеленой зари), так что сюжет стал чисто психологическим — как в плане развития самой истории, так и в сути якобы фантастических элементов: и про машину желаний, называемую здесь терраской, и про мясорубку мы знаем лишь из слов и поведения героев, но никакого видимого действия они не производят. А если опасность Зоны больше в головах, чем наяву, не удивительно, что теперь на терраску ходят многие люди (в ранних версиях это прежде удавалось только Дикобразу), но, правда, самим сталкерам посещать ее теперь нельзя. Наконец, эпизоды до Зоны расширены в полтора раза, там появляется тепловоз, и добавлен эпилог, в котором Мартышка рассказывает о своих желаниях. Этот сценарий, в принципе, можно опубликовать, но поскольку он почти весь совпадает с уже напечатанным, а дополнения по большей части совпадают с соответствующими эпизодами варианта, публикуемого здесь, то в этом нет особого смысла.

21 сентября на заседании бюро мосфильмовского худсовета, посвященном обсуждению первого двухсерийного варианта сценария фильма, Андрей Тарковский огорошивает присутствующих сообщением, что прочитанный ими текст устарел, поскольку уже есть новый, который он и кладет «на стол перед

30 ПСС-22: 450. Очевидно, именно этот вариант был официально направлен в Госкино 2 сентября (Архив «Мосфильма»). Оп. 12. Д. 3777. Л. 107).

товарищем Орловым»<sup>31</sup>. При этом он называет весьма существенные для нас параметры обоих вариантов: «Здесь уже не 67 страниц, которые вы взяли на себя труд прочесть, а 57 страниц»<sup>32</sup>. Таким образом, мы, во-первых, получаем еще одно подтверждение правильности атрибуции только что рассмотренного варианта, в котором, как мы знаем, ровно 67 страниц. А главное, во-вторых, здесь указано дальнейшее направление поисков: 57-страничный сценарий на две серии.

И действительно, вариант именно такого объема удалось обнаружить в мосфильмовском архиве<sup>33</sup>. На его титульном листе написано: «“СТАЛКЕР” | Сценарий двухсерийного фильма. | (IX вариант) || ТАЛЛИН | сентябрь 1977 года» (С-57). Чему и в какой мере здесь можно верить? То, что таллинская локация — это очковитирательство для начальства, мы уже понимаем. Насколько этот вариант может быть девятым, мы, как уже говорили, обсудим позже — пока в этом плане важнее то, что на сохранившемся в архиве Стругацких титульном листе 67-страничного варианта «к подзаголовку... почерком АНС добавлено: “Вариант 8”» (ПСС-22: 450). Так что какими бы эти варианты ни были в действительности, они, надо полагать, являются двумя последовательными. Наконец, что касается датировки, то ее можно подтвердить по двум имеющимся синхронным записям.

3 сентября Аркадий Стругацкий пишет из Таллина брату о реакции режиссера на первую двухсерийную версию: «Новый вариант Тарковскому очень понравился. Разумеется, тут же взыграла в нем творческая жилка, принялся он дополнять и уточнять, дал мне десяток инструкций и укатил в Москву утверждать новый вариант. <...> Мы сейчас будем дододельвать его» (ПСС-22: 530). А двенадцатого числа он пишет в своем дневнике после месячного перерыва в записях: «9.45. Прилетел в Москву» (ПСС-22: 576) — понятно, что от брата из Ленинграда, а не из Таллина, где ему в тот момент было уже нечего делать (Тарковский, как следует из той же записи, в эти дни находился в Москве<sup>34</sup>). Таким образом, второй двухсерийный вариант на 57 страницах был, очевидно, написан в Ленинграде в интервале 4—11 сентября 1977 года.

Этот вариант, по сравнению с предыдущим, был переработан одновременно и очень сильно, и очень слабо. С одной стороны, он был сокращен — хотя и не настолько, как может показаться по десятистраничному уменьшению его толщины: из-за более плотного форматирования реальное уменьшение объема текста составило не пятнадцать, а только шесть процентов, и при этом под сокращение не попало ничего существенного. Однако и добавления тоже

31 Цит. по: *Цымбал Е.* Указ. соч. С. 745. Неделю спустя Даль Орлов, главред Госкино, официально отправит этот вариант, публично, но неофициально полученный им «от режиссера А. Тарковского», обратно на студию для рассмотрения (*Нехорошев Л.* Указ. соч. С. 73).

32 Цит. по: *Цымбал Е.* Указ. соч. С. 745.

33 Изначально не описанный, он теперь значит как: Оп. 12. Д. 1329а.

34 К сожалению, у нас нет возможности более надежно установить хронологию событий и перемещений Стругацкого и Тарковского по синхронным источникам: совместный рабочий дневник братьев за 1977 год обрывается 12 июля, личных дневниковых записей Аркадия нет с 9 августа по 11 сентября включительно, а в их переписки в этом промежутке лишь уже процитированное письмо от 3 сентября. Более того, даже в опубликованном дневнике Тарковского нет записей после 26 августа и до конца декабря.

в основном не принципиальны. Машина желаний здесь впервые называется Комнатой<sup>35</sup>, и здесь впервые напрямую формулируется сомнение в ее эффективности: «Откуда вы взяли, что это чудо есть на самом деле?» Добавлен сюжетный ход, когда Профессор отцепился от процессии в Сухом тоннеле и вернулся за рюкзаком, и здесь появляются стихи, якобы написанные братом Дикобраза. Только это еще не «Вот и лето прошло...», а «На пространство и время ладони...» того же автора. Два этих стихотворения, первоначально опубликованных в сборнике «Вестник» восемью годами раньше<sup>36</sup> и, таким образом, известных советской интеллигенции, внешне объединяет только анапест и то, что оба явно написаны рукой зрелого поэта, так что их едва ли мог сочинить талантливый юноша. Тематического единства в них нет ни друг с другом, ни с фильмом («На пространство...», где прославляется «звезда нищеты», к последнему, пожалуй, даже ближе), и в этих обстоятельствах их общее авторство наводит на сильное подозрение, что главная цель их присутствия в сценарии и картине — сделать приятное отцу режиссера<sup>37</sup>.

В целом формально текст обновлен довольно значительно: почти наполовину по сравнению с предыдущим вариантом — в основном за счет переписывания диалогов, иногда с частичным их восстановлением из более ранних версий. Но с точки зрения используемой в данной статье дальнейшей оптики, оптики крупных драматургических решений, существенных изменений сюжета и характеров персонажей, этот вариант не отличается от предыдущего ничем сколько-нибудь заметным. Очевидно, что съемки фильма, ненадолго возобновившиеся после полуторамесячного простоя в конце сентября, велись именно по нему, да и сама картина «Сталкер», полностью переснятая в следующем году, в основном соответствует именно этой версии — во всяком случае, соответствует ей больше, чем любому другому из сохранившихся вариантов сценария Стругацких.

Означает ли это, что 57-страничный вариант был окончательным? По многочисленным синхронным источникам можно восстановить следующую хронологию. Седьмого октября, вскоре после полного прекращения киносъемок 1977 года, руководство «Мосфильма» дает заключение на 57-страничный вариант с несколькими поправками к нему<sup>38</sup>. 26 числа Аркадий Стругацкий записывает в дневнике: «Вчера был Тарковский. Обсудили с ним предложения “Мосфильма” по 2-серийному “Сталкеру”. Вчера же предложения выполнил на 5 стр<аницах>. Сегодня утром приехала М. Чугунова, забрала. Будет печат-

35 В первых двух вариантах сценария Золотой шар из повести был Золотым Кругом, в третьем — просто местом или Тем Самым Местом. В первом двухсерийном варианте это, как мы видели, была терраска, и только здесь было найдено окончательное слово Комната.

36 Тарковский А. Вестник. М.: Советский писатель, 1969. С. 276, 283.

37 Некоторая семейственность кинопроизводства «Сталкера» обратила на себя внимание и в Госкино: в деле фильма на распечатке его титров выцветшими лиловыми чернилами подчеркнуты все вхождения фамилии Тарковский(-ая) — постановка, главный художник, режиссер, стихи (РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 4. Д. 4780. Л. 94). Хорошо еще, что Андрей Тарковский не стал, как это было тогда принято в советской кинематографии, вписывать себя в соавторы сценария...

38 РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 4. Д. 4780. Л. 58—60 (опубликовано в: Цымбал Е. Указ. соч. С. 475—476; Косинова М., Фомин В. Указ. соч. С. 386—388).



тать»<sup>39</sup>. Позже он пишет брату, что 31 числа «Тарковский был у Ермаша и передал ему экзы варианта “Сталкера”, в который внесены исправления согласно пожеланиям редколлегии “Мосфильма”» (ПСС-22: 535—536). И с тех пор никаких свидетельств дальнейшей работы кого-либо из братьев Стругацких над сценарием нет. Аркадий Стругацкий регулярно созванивается (и иногда встречается) с Тарковским, обсуждает с ним перипетии прохождения сценария и возможности будущих (пере)съемок фильма (ПСС-22: 537, 544, 587, 588, 593, 603) — но не уточнения самого текста. В конце ноября он съездил с женой в Ленинград, там они общались с семьей Бориса, гуляли по городу, обсуждали планы на будущую работу, однако, судя по всему, не писали не только сценарий «Сталкера», но и вообще ничего (ПСС-22: 590—592). Так что 25 октября 1977 года можно считать днем окончания сценарной эпопеи братьев Стругацких.

Эпопеи Стругацких, но не самого их сценария: он продолжает жить своей жизнью, и 23 ноября «Мосфильм» официально представляет его в Госкино<sup>40</sup>, откуда 28 числа приходит умеренно скептический отзыв<sup>41</sup>, после чего 11 января 1978 года киностудия посылает «на рассмотрение новый вариант сценария двухсерийного фильма “Сталкер”, в котором учтены основные замечания Госкино СССР»<sup>42</sup>, и который в конечном счете и был принят к производству. Кто именно учел замечания Госкино, понятно: в личном архиве тогдашнего главного редактора студии Леонида Нехорошева «сохранился экземпляр сценария двухсерийного фильма “Сталкер”, довольно нахально — вплоть до вписывания кусков диалога — исчерканный моим карандашом. Поверх них — исправления Тарковского, сделанные шариковой ручкой. С очень немногими моими сокращениями и изменениями Андрей согласился, большинство исправленных реплик он восстановил или переиначил их по-своему»<sup>43</sup>. Так что выходит, что окончательную доводку сценария — и уже не столько по художественным требованиям, сколько для компромисса с начальством, — вел Андрей Тарковский.

Таким образом, после написания последнего решавшего творческие задачи варианта (57-страничного) было сделано несколько его вариаций, ориентированных на административные цели. Сколько их было? Максимум три: отданная 31 октября лично в руки Ермашу и официально направленные в Госкино 23 ноября 1977-го и 11 января 1978 года. Но возможно, что две, и тогда октябрьская и ноябрьская вариации — один и тот же текст, просто сначала переданный неофициально, а потом уже, три недели спустя, и по формальным каналам. В пользу этого говорит то, что никаких следов октябрьской передачи в документообороте не сохранилось (что весьма нехарактерно для отлаженного бюрократического механизма Госкино), и мы даже не можем быть уверены, что она имела место на самом деле<sup>44</sup>. А если и имела, возникает вопрос:

39 ПСС-22: 579. Марианна Чугунова — бессменный ассистент Тарковского, готовившая в том числе многие его документы для руководства. Поэтому то, что она «забрала» и «будет печатать» дополнения к сценарию, явно свидетельствует о подготовке полноценной его версии.

40 РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 4. Д. 4780. Л. 68 (опубликовано в: *Цымбал Е. Указ. соч. С. 482*).

41 Там же. Л. 71—72 (опубликован в: *Косинова М., Фомин В. Указ. соч. С. 389—390*).

42 Там же. Л. 75.

43 *Нехорошев Л. Указ. соч. С. 74*.

44 Мы уже видели, что Тарковский в разговорах со своим сценаристом иногда выдавал желаемое за действительное (см. примечание 22), а про передачу сценария Ермашу известно только со слов Тарковского Аркадию Стругацкому.

для чего председателю Госкино мог понадобиться сценарий фильма, который уже год как в производстве?

Основная задача, над которой Андрей Тарковский тогда работал четвертый месяц, — это перевести картину в двухсерийный формат, что действительно (в отличие от утверждения очередного варианта сценария) решалось на уровне министра. И прийти на прием к нему с папочкой с надписью «Сценарий двухсерийного фильма» в руках, конечно, куда убедительнее, чем прийти с пустыми руками. А вот передавать ее министру совершенно не обязательно: читать он все равно не станет, поскольку у него есть специально предназначенная именно для этого сценарно-редакционная коллегия. И уж та, в соответствии с установленными процедурами, либо отправит на «Мосфильм» свой отзыв, либо вернет туда сам сценарий для рассмотрения, что в свое время и произошло с 57-страничным вариантом, положенным «на стол перед товарищем Орловым», главой этой коллегии. Но ничего подобного, как мы уже отметили, до конца ноября не обнаруживается. Поэтому «административных» вариаций почти наверняка было только две: пять страниц, написанные Стругацким 25 октября по пожеланиям «Мосфильма», и дальнейшая доработка, выполненная Тарковским в декабре по замечаниям Госкино.

Естественно предполагать, что исправления в «нахально исчерканном» экземпляре внесены поверх последней на тот момент версии — то есть вернувшейся 28 ноября из Госкино вариации «+5 страниц». Если так, то она должна была остаться в архиве Леонида Нехорошева, и хотя ее нет в доступной для исследования его части<sup>45</sup>, по крайней мере, версию от 25 октября рано считать утраченной. Результат же исправлений Тарковского на 54 страницах все эти десятилетия лежал никем не замеченный или, по крайней мере, никем не атрибутированный и не опубликованный, в архиве Госкино<sup>46</sup>. На его титульной странице от руки вписана входящая дата «17.01.78 г.», а сам титул выглядит так: ««СТАЛКЕР» | Сценарий двухсерийного фильма. || МОСКВА | январь 1978 г.» (С-54). Здесь не вызывает сомнений место написания — что А. Стругацкий, что А. Тарковский тогда работали в Москве, — но теперь не столь надежна датировка, так как кажется более правдоподобным, что изменения вносились в декабре 1977-го. Но и в начале января 1978-го, конечно, тоже могли добавиться какие-то штрихи.

Хотя этот текст на три страницы короче, чем С-57, по объему он не меньше его, а даже на пару тысяч знаков больше — опять же, за счет монотонно возрастающей в двухсерийных версиях плотности машинописи<sup>47</sup>. По сравнению с тем, он обновлен довольно мало, всего на десять процентов, однако сам характер обновлений доказывает, что этот вариант отличается от версии «+5 страниц» Стругацкого. Во-первых, даже если бы эти пять страниц были бы обновлены целиком, это дало бы несколько меньший процент, а во-вторых, здесь очень много стилистической правки — мелкой, зато почти на каждой

45 Центральный государственный архив Москвы. Ф. Л-269. Оп. 1. Этот фонд состоит из документов, которые Нехорошев сам передал за семь лет до смерти, из чего не следует, что он передал весь свой архив.

46 РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 6. Д. 4510. Судя по вклейке за последней страницей текста, в архиве он находится с 8 апреля 1980 года, то есть был доступен для исследователей сорок лет и четыре года.

47 В первом двухсерийном, 67-страничном, варианте это в среднем 1060 знаков на страницу, во втором, 57-страничном, — 1160, а здесь уже 1260.

странице, — и действительно, как и сказано Нехорошевым, в диалоге кое-где дописаны отдельные фразы и небольшие реплики. Больших вставок нового текста четыре — две на одну, одна на две и одна на половину страницы, — которые, очевидно, в сумме и представляют собой *пять последних страниц работы Аркадия Стругацкого*. Их общий объем составляет почти семь из десяти процентов нового текста в 54-страничной версии, так что на последующую правку Тарковского остается около трех процентов. Поэтому даже если бы между версиями «+5 страниц» и *С-54* и была бы какая-то промежуточная, объем правок в ней не превышал бы одного-двух процентов, что делает сам вопрос о ее существовании чисто схоластическим.

В первой из вставок Профессор подробно рассказывает Писателю, «откуда эта зона взялась» и «что она такое», — сразу отметим, что это единственная из вставок, оставшаяся в фильме: остальные, несомненно, переносить на экран никто и не собирался, и мы прямо сейчас увидим почему. Вторая, самая длинная вставка — это «комариная плешь», гравиконцентрат, фантастический-префантастический элемент, от которого отказались еще после *С/МЖ.2* (откуда он, собственно, и был восстановлен с некоторыми текстуальными изменениями) и который, понятно, никаким образом не мог вписаться в уже давно оформившуюся концепцию фильма. Третья, короткая, вставка тоже фантастическая, но уже неоднозначная: перед мясорубкой вдруг вспыхивает «ослепительное дрожащее сияние», но Сталкер объясняет, что это всего лишь «прос-то свет». Такой сцены нет ни в других версиях сценария, ни в сохранившихся фрагментах, написанных во время съемок. Тем не менее сцена эта не вполне нова: на съемках эпизода, где Писатель намокал, «вспыхивала и начинала накаляться лампа... сияя ослепительным светом»<sup>48</sup>. Наконец, в последней вставке оказывается, что Комната не работает! Там Писатель, как и в 57-страничном сценарии, как и в фильме, спотыкается на ее пороге, а затем... Но не будем спойлерить.

В итоге здесь парадоксальным образом фантастики одновременно становится и радикально больше, и принципиально меньше. Однако в самом наборе вставок никакого парадокса нет, они вполне системно соответствуют мосфильмовским поправкам<sup>49</sup>, просто, как это нередко бывает с руководящими указаниями, парадоксальны именно они. Первая вставка исполняет требование «определить происхождение “Зоны” как порождение внеземной цивилизации». Вторая и третья — «внести в событийный ряд сценария элементы фантастические», «продемонстрировать нарушение физических законов в отдельных местах “Зоны”». И наконец, последняя вставка с неработающей Комнатой, противоречащая предыдущим, видимо, отвечает сразу двум другим требованиям. Во-первых, «определеннее выразить сомнение Писателя в существовании в “Зоне” чуда исполнения желаний» — куда уж определеннее... А во-вторых, касательно желания Профессора взорвать Комнату, «четче мотивировать его отказ от этого взрыва» — нет машины желаний, незачем ее и взрывать. Конечно, соблазнительно было бы думать, что в процессе работы над своим сценарием Стругацкие дошли до логического предела отказа от фантастики — а этом варианте нет даже «изумрудного зарева», ну а гравиконцентрат, понятно, что для начальства, —

48 Цымбал Е. Указ. соч. С. 384—385. Хотя и не сохранилось сценарного текста с этой сценой, зато сохранился рерберговский кадр с этой лампой.

49 См. примечание 38.

но для начальства оказалось и то, что Комната не работает, да и Тарковскому, очевидно, требовалась некоторая остаточная неопределенность.

Однако некоторые из студийных замечаний в пяти добавленных страницах были проигнорированы: например, «должно быть совершенно ясно, что действие происходит» в «буржуазной стране» или «уменьшить многословные высказывания Писателя». Это не прошло мимо внимания сценарной коллегии Госкино, которая в своем отзыве<sup>50</sup>, в частности, потребовала «прописать еще более глубоко» приметы места действия и конкретизировала, что именно лишнее в монологах Писателя. Изменения в *С-54*, которые не входят в пять октябрьских страниц Стругацкого — то есть те поправки, которые Тарковский делал в декабре, — в основном соответствуют этим требованиям. Дописан абзац с новыми рекламами напитков и сигарет, и еще один абзац с надписью на английском языке возвращен из самого первого варианта сценария, а из монологов Писателя выброшены в общей сложности тысяча с лишним знаков. А вот «стихи брата Дикобраза», которые тоже не понравились коллегии, остались на своем месте, как ни в чем ни бывало. И наконец, Тарковский немного поправил диалоги в сторону их большей простоты и лаконичности (например, вместо «вы здесь не выживете и нескольких часов» — «вы здесь и часа не выдержите»).

Однако и на этом приключения сценария не закончились. Третьего мая 1978 года на «Мосфильме» подписана к печати следующая брошюра, изданная типографским способом тиражом 110 экземпляров: «СТАЛКЕР | Режиссерская разработка сценария по мотивам одной из глав повести А. и Б. Стругацких “Пикник на обочине”»<sup>51</sup> (*С/PP*). Вообще говоря, режиссерская разработка — синоним режиссерского сценария, который komponуется покрупно и в несколько столбцов, что к данному тексту, написанному в формате киносценария, никакого отношения не имеет. Как и в случае с «уточненными диалогами», это, видимо, объясняется тем, что Тарковский хотел размножить окончательный вариант литературного сценария перед съемками, но поскольку на студии такое не практиковалось, он напечатал его под видом режиссерского. Также достаточно ясно, что он был единоличным автором правок — и из хронологических соображений<sup>52</sup>, и из стилистических: при почти неизменных описаниях действия, многие реплики сокращены (общий объем уменьшился на 13%) и, как и в прошлый раз, лаконизированы. При этом выброшены октябрьские вставки Стругацкого, кроме «откуда зона взялась», и несколько реплик добавлено. Так что фактически это 57-страничный сценарий братьев Стругацких с правками Тарковского от декабря 1977-го и, видимо, февраля-марта 1978-го<sup>53</sup>, и одной-единственной страницей, дописанной Аркадием 25 октября 1977 года. Конечно, такой текст нельзя считать последней авторской версией, да и чисто формально он не был назван словом «сценарий».

50 См. примечание 41.

51 «Мосфильм», 1978. 36 с. Хранится в Архиве «Мосфильма» (Оп. 17. Д. 1644).

52 В январе-мае 1978-го — как и в конце 1977 года — в переписке и дневниках братьев Стругацких упоминается только общение с Андреем Тарковским, но никаких следов работы над сценарием нет. И даже в дневнике Аркадия под названием «Рабочие записи по сценарию “Сталкер”, 1978» (ПСС. Т. 23. 1978. Кн. 2. 2019. С. 795—797) из сценариев обсуждается только «Берегись! Змеи!».

53 После возвращения из Парижа, где Тарковский был в связи с французской премьерой «Зеркала» во второй половине января, и до инфаркта, который случился с ним в апреле.

Поэтому мы публикуем здесь 54-страничную версию, несмотря на некоторую долю ее конъюнктурности. Во-первых, это последняя доступная авторская редакция (хотя и с декабрьской правкой Тарковского), а давняя филологическая традиция обращает основное внимание именно на финальный вариант — традиция, возможно, не лучшим образом соответствующая кинематографическим реалиям, но не нам ее ломать. А во-вторых, сам по себе ход с неработающей Комнатой представляется настолько интересным, что даже несмотря на то, что конъюнктурным является и он, стоит опубликовать содержащий его текст целиком. Более того, поскольку помимо четырех вставок этот текст отличается от *С-57* лишь на пару тысяч знаков диалоговых добавок и пару тысяч знаков купюр, то, печатая его, мы одновременно фактически публикуем с необходимыми пояснениями сразу два варианта сценария — последний художественный и последний административный — друг с другом вместе.

### 3. Статистика. Версии

Прежде чем от установления фактов переходить к предположениям и выводам, сведем данные о шести доступных авторских версиях сценария «Сталкера» в единую таблицу 1. Кроме того, мы наконец набрали достаточно сведений, чтобы составить таблицу 2 с динамикой фантастики.

Таблица 1. Сохранившиеся полные авторские версии сценария фильма

|            | Сценарий      | Место и время написания           | Год публикации | Объем              |                  |
|------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
|            |               |                                   |                | общий, тыс. знаков | нового текста, % |
| Одна серия | <i>МЖ</i>     | Комарово, 10—25.01.1976           | 1993           | 80,5               | —                |
|            | <i>С/МЖ.2</i> | Ленинград, 16—23.03.1976          | 2019           | 88,4               | 26,2%            |
|            | <i>С.3</i>    | Комарово, 15—19.12.1976           | 1981           | 67,6               | 54,0%            |
| Две серии  | <i>С-67</i>   | Ленинград, 23—27.08.1977          | 1990 (5ЛЭ)     | 71,0               | n/a (*)          |
|            | <i>С-57</i>   | Ленинград, между 4 и 11.09.1977   | —              | 66,9               | 48,6%            |
|            | <i>С-54</i>   | Москва, 25.10.1977 и декабрь 1977 | 2024 (здесь)   | 68,1               | 9,6% (**)        |

5ЛЭ — здесь и ниже означает частичную публикацию сценария *С-67* в сборнике «Пять ложек эликсира»;

\* — неприменимо, поскольку неизвестна предшествующая версия. По отношению к предыдущему сохранившемуся варианту *С.3* новизна составляет 84,6%;

\*\* — по сравнению с *С-57*. Фактически это суперпозиция двух вариаций с примерно 7 и 3% новизны соответственно.

Таблица 2. Фантастические элементы в повести, версиях сценария и в фильме

|                    | Повесть | МК | С/МК.2 | С.3 | С-67 | С-57 | С-54 | Фильм |
|--------------------|---------|----|--------|-----|------|------|------|-------|
| Зеленая заря       | +       | +  | +      | +   | +    | +    | -    | -     |
| Комариная плешь    | +       | +  | +      | -   | -    | -    | +    | -     |
| Вертикальный столб | -       | +  | +      | -   | -    | -    | -    | -     |
| Писатель намокает  | -       | -  | -      | +   | -    | -    | -    | -     |
| Грузовик           | -       | +  | +      | +   | -    | -    | -    | -     |
| Труба/огонь        | +       | +  | *      | *   | -    | -    | -    | -     |
| Молнии             | +       | -  | -      | -   | -    | -    | -    | -     |
| Волшебное кино     | -       | +  | +      | -   | -    | -    | -    | -     |
| Петля времени      | -       | +  | +      | -   | -    | -    | -    | -     |
| Мясорубка          | +       | +  | *      | *   | *    | *    | *    | *     |
| Машина желаний     | +       | +  | +      | *   | *    | *    | -    | *     |

\* — формально существует, но фактически не проявляется.

Итак, у нас есть три последовательно написанных первых варианта и два последовательно написанных первых двухсерийных (С-67 и С-57; сценарий С-54 является не полноценным *вариантом*, а второй — после версии «+5 страниц» — *вариацией* сценария С-57). Что было между ними — там, где в таблицах проходит жирная черта, отделяющая сохранившиеся односерийные варианты от двухсерийных, — неизвестно, но именно там и прячется ответ на давно занимающий коллег вопрос: сколько версий сценария было всего?

Поскольку у нас есть какая-никакая выборка — и, пожалуй, довольно значительная для такого рода исследований, — то можно попробовать оценить число промежуточных версий статистически. Как нетрудно подсчитать по последнему столбцу первой таблицы, средняя доля нового текста в последовательных *вариантах* составляет 43%, то есть в каждом следующем варианте в среднем остается 0,57 от предшествующего ему. В 67-страничном сценарии, по сравнению с последним известным до него, третьим односерийным, создано 85% нового текста, то есть 0,15 осталось. Значит, если вариант С-67 —  $n$ -ный по сравнению с С.3, то  $0,57^n = 0,15$ , и тогда искомое  $n$  есть обратная функция степени, то есть логарифм по основанию 0,57:  $n = \log_{0,57}(0,15) \approx 3,3$ . Таким образом, 67-страничный сценарий отстоит от третьего односерийного на три или, возможно, четыре варианта, то есть *между ними* может быть два или три промежуточных. Тогда вариант С-67 будет шестым или седьмым, а не восьмым, как сказано на черновике его титульной страницы. Но конечно, такой метод оценки и вообще довольно приблизителен, а в данном случае, при малой выборке с двухкратным разбросом (от 26 до 54%), он совсем неточен. Поэтому обратимся к более традиционным гуманитарным методам, а именно зададимся вопросом, сколько версий сценария братья Стругацкие могли написать в интересующем нас интервале и, главное, *когда*.

С января по июль 1977 года Стругацкие съезжались четыре раза — точнее, это Аркадий приезжал к Борису, который тогда столицы избегал, и даже съёмочную площадку «Сталкера» в эстонской экспедиции, куда ему было ехать намного ближе, чем брату, он посетил лишь однажды, да и то неудачно<sup>54</sup>. Первый раз они вместе работали в начале февраля, когда им еще незачем было переделывать свежепереписанный сценарий, и они полностью сосредоточились на повести «Возлюби дальнего», которую делали с отвращением, но писали только ее (ПСС-22: 549—550, 558—559). Хотя, конечно, могли заодно сделать и «уточненные диалоги», что вполне подходит по датам. Второй раз Аркадий приехал в конце марта, но Борис тогда заболел и попал в больницу, так что никаких текстов они не писали (ПСС-22: 564—565). С 6 по 13 мая они работали над тремя сценариями, включая и «Сталкер», в результате чего сделали «для Тарковского недостающие диалоги»<sup>55</sup>. И наконец, с 6 по 12 июля они «почти не работали. Немного над сценариями, немного над СЗод»<sup>56</sup>, что звучит не слишком оптимистично, но, учитывая трудоспособность братьев Стругацких, даже «почти не работая» неделю, они вполне могли написать существенные дополнения к сценарию «Сталкера». Однако никаких свидетельств в пользу этого нет, поэтому такая версия выглядит хотя и возможной, но маловероятной.

Конечно, заниматься сценарием мог и один Аркадий Стругацкий — в отличие от прозаических произведений, которые братья писали вместе, сценарии он иногда писал один, и, как мы уже видели выше, на «Сталкере» такое тоже практиковалось. Но до конца июля этому нет свидетельств, а по его дневнику видно, что в течение всего рассматриваемого времени он регулярно трудится над сценарием — но для первой жены Тарковского (между прочим, по «Трудно быть богом»). 23 июля он впервые приезжает в экспедицию в Таллин, и там активно включается в работу: как он сообщает брату 9 августа, «я написал уже за 20 страниц нового сценарного текста и являюсь непрерывно просим писать дальше и исправлять уже написанное» (ПСС-22: 530). За двадцать страниц — это не меньше трети объема сценария, что, по нашей статистике, вполне может соответствовать полноценному варианту. Но скорее всего, дописан этот вариант не был, поскольку на следующей неделе Тарковский понял, что ему нужен «другой» Сталкер, и все пришлось начинать сначала.

Наконец — и это мы видели тоже — над текстом сценария мог работать и сам режиссер. 15 июля Аркадий пишет брату про Тарковского: «Звонила Лариса, его жена, и извиняющимся тоном объясняла, что Андрей поперedelал наши диалоги и чтобы мы не сердились. Ха!» (ПСС-22: 526—527). Отсюда можно сделать два вывода: во-первых, ровно в те дни, когда сценаристы «почти не работали» в Ленинграде, режиссер в Таллине переписывал их сценарий — а значит, сами они точно этим не занимались. Во-вторых, что важнее, раз Ларисе Тарковской пришлось извиняться за переделки, то определенно речь идет не о каких-то текущих мелочах, а о достаточно значительной переработке.

Таким образом, мы знаем следующее: в мае братья Стругацкие написали несколько диалогов к фильму, в начале июля Андрей Тарковский некоторые диа-

54 Приехал в начале июня, но никого на месте не застал (ПСС-22: 525).

55 ПСС-22: 550, 569. На всякий случай отметим, что «недостающие» диалоги, то есть большое количество фрагментов нового текста, не могут иметь ничего общего с «уточненными», то есть просто правкой сценария С.З.

56 ПСС-22: 550. СЗод — это «Стояли звери около двери», будущий «Жук в муравейнике».

логи переписал, а в конце июля — начале августа Аркадий Стругацкий написал два десятка страниц фактически нового сценария. Все: никакой иной существенной работы с января и до четвертой недели августа над сценарием «Сталкера» не велось. При этом более или менее ясно, что хотя эти переработки были довольно крупными (как подсказывает наша статистическая оценка, любая из них могла быть эквивалентом полноценного варианта), ни одна из них не приводила к оформлению законченного текста: две первые — поправки к диалогам — на такое и не претендовали, а третья, скорее всего, просто не была дописана.

И теперь мы вплотную подошли к ответу на вопрос о том, сколько же всего было версий сценария. Правильный ответ, как известно, начинается с правильно поставленного вопроса, и таковым в данном случае будет следующий: а что считать версией сценария? Очевидно, здесь есть два критерия: *формальный* — то есть законченный и переплетенный текст, и *содержательный* — то есть материал любой степени целостности, вплоть до каких-то разрозненных листочков, но в любом случае значительно меняющий сценарий по существу. Соответственно, получаются четыре разных ответа: *сильный*, когда текст должен отвечать обоим критериям сразу (то есть полноценная редакция, *вариант*); *два средних*, когда текст рассматривается по тому или иному критерию в отдельности; и *слабый*, когда мы требуем от текста лишь того, чтобы он отвечал хотя бы одному из критериев. Сведем все версии сценариев в таблицу 3.

Таблица 3. Все известные версии сценария фильма «Сталкер»

|                 | Односерийные версии |               |            |                              |                |                |               |
|-----------------|---------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                 | До съемок (1976)    |               |            | На съемках (до августа 1977) |                |                |               |
|                 | Январь              | Март          | Декабрь    | Февраль                      | Май            | Июль           | Август        |
| Версия          | <i>МЖ</i>           | <i>С/МЖ.2</i> | <i>С.3</i> | <i>С/УД</i>                  | <i>диал.-С</i> | <i>диал.-Т</i> | <i>20+ с.</i> |
| Формально       | +                   | +             | +          | +                            | -              | -              | - (?)         |
| Содержательно   | +                   | +             | +          | -                            | + (?)          | + (?)          | + (?)         |
| Автор           | <b>АБС</b>          | <b>АБС</b>    | <b>АБС</b> | ?                            | АБС            | ААТ            | АНС           |
| Задача          | художественная      |               |            |                              |                |                |               |
| Объем, тыс. зн. | 80,5                | 88,4          | 67,6       | 66,5                         | ?              | ?              | ?             |
| К предыдущей    | -                   | 26%           | 54%        | 5%                           | ?              | ?              | ?             |
| Сохранилась     | +                   | +             | +          | +                            | -              | -              | -             |
| Опубликована    | +                   | +             | +          | -                            | -              | -              | -             |

|               | Двухсерийные версии<br>(август-декабрь 1977, 1978) |             |                  |             |                |
|---------------|--|-------------|------------------|-------------|----------------|
|               | Август   | Сентябрь    | Октябрь          | Декабрь     | Март           |
| Версия        | <i>С-67</i>  | <i>С-57</i> | <i>+5 с.</i>     | <i>С-54</i> | <i>С/РР</i>    |
| Формально     | +  | +           | +                | +           | +              |
| Содержательно | +  | +           | -                | -           | -              |
| Автор         | <b>АБС</b>   | <b>АБС</b>  | АНС              | ААТ         | ААТ            |
| Задача        | художественная                                     |             | административная |             | художественная |
| Объем         | 71,0   | 66,9        | 70,8 (*)         | 68,1        | 59,6           |
| К предыдущей  | ?  | 49%         | 7% (*)           | 3% (*)      | 6%             |
| Сохранилась   | +  | +           | (**)             | +           | +              |
| Опубликована  | 5ЛЭ  | -           | -                | здесь       | (***)          |



АБС — Аркадий и Борис Стругацкие, АНС — А.Н. Стругацкий, ААТ — А.А. Тарковский;

\* — оценка;

\*\* — вариант мог сохраниться в личном архиве Л. Нехорошева (а если нет, то его трудно реконструировать);

\*\*\* — хотя и изданный типографским способом, в библиотеках этот вариант по-видимому, отсутствует.

Итак, сильному требованию вполне отвечают лишь *пять* вариантов сценария. Все они написаны обоими братьями Стругацкими вместе, все они полностью сохранились и доступны. Среднему содержательному требованию отвечают максимум *восемь* вариантов: те же пять плюс, возможно, три доработки мая — начала августа 1977 года. Среднему формальному — *девять*: те же пять плюс две вариации октября-декабря для начальства (возможность существования еще одной, ноябрьской административной вариации мы отбросили выше), «уточненные диалоги» и «режиссерская разработка». А слабому — соответственно *двенадцать*. Таким образом, в зависимости от методики подсчета, можно получить *от пяти до двенадцати* версий сценария фильма «Сталкер». А если рассматривать только те из них, которые были подготовлены вместе или по отдельности братьями Стругацкими, то их будет *от пяти до восьми или девяти*, и никак не меньше и не больше.

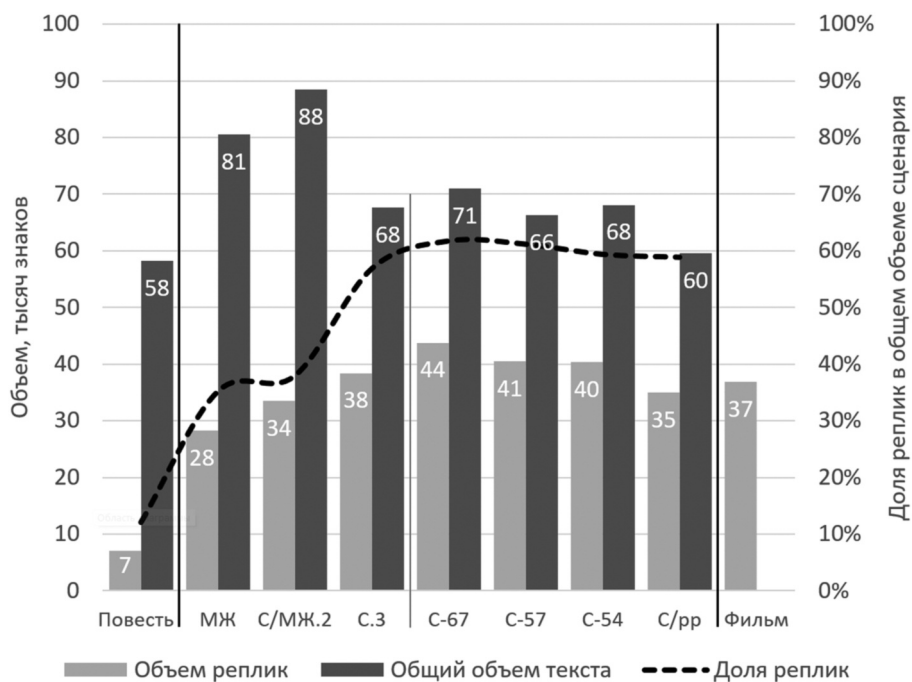
## 4. Графика. Характеры

В принципе, на этом можно и закончить, но было бы странно не воспользоваться массивом статистических данных, набранным для узких текстологических задач, в более широких литературоведческих целях.

На ил. 1 в абсолютных и относительных числах показано, как менялось от версии к версии соотношение реплик и остального текста — то есть, по сути дела, разговоров и действий. Если в первых двух вариантах сценария, как и в повести, недиалоговый текст составляет около пятидесяти тысяч знаков, то дальше он сокращается почти вдвое, до тридцати тысяч и меньше. Так что чем длиннее фильм, тем, получается, короче действие: в любом из двухсерийных (то есть значительно более долгих по экранному времени) вариантов объем текста от автора меньше, чем в любом односерийном. Параллельно увеличивается объем диалога: если в повести его было совсем чуть-чуть, то в первых двух сценариях он разрастается до трети общего объема текста, а начиная с третьего варианта сценария (который мы выше уже оценивали как поворотный), он занимает стабильные шестьдесят процентов<sup>57</sup>. Так постепенно сценарий сначала структурно, а потом и внешне все больше приближается к пьесе: в двухсерийных версиях типичный эпизод начинается с нескольких абзацев описания действия (в основном откуда и куда идут герои) и затем продолжается несколькими страницами сплошного диалога.

---

57 А на самом деле даже немного больше, поскольку в учет объема реплик идут только их слова, а имена действующих лиц перед ними, таким образом, оказываются подсчитанными как остальной текст.

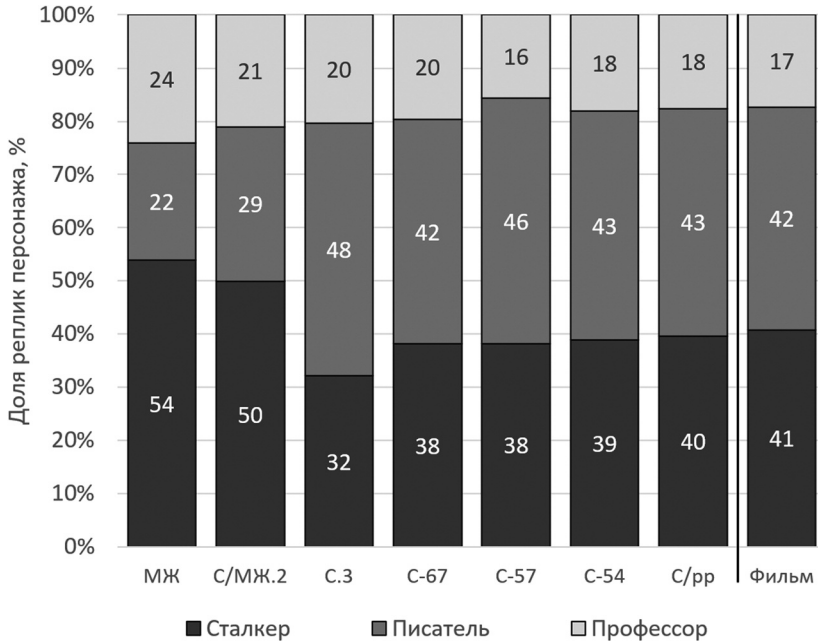


Ил. 1. Общий объем текста и доля реплик в нем

Распространяются и чисто диалоговые сцены — здесь очень показательна динамика эпизодов в баре/забегаловке/кафе, где кроме разговоров больше ничего и не происходит в принципе. Появившись во втором варианте сценария, в котором он составляет меньше трех процентов текста, этот эпизод затем раздваивается и к первым двухсерийным вариантам разрастается до двенадцати процентов общего объема, что составляет почти половину текста всех локаций вне Зоны вместе взятых. Разумеется, меняется и характер самого диалога: если в первом варианте сценария все разговоры относились к непосредственно происходящему и к свойствам самой Зоны, причем 16% объема реплик занимал информационный ролик, то с каждой новой версией диалог становится все более и более отвлеченным. В нескольких последних его абстрактность доходит до того, что Писатель в баре, к вящему неудовольствию Профессора, долго распространяется о том, в чем состоит смысл жизни. В самом фильме, правда, этой теории нет, но зато Тарковским там дописан длинный эстетико-философский монолог Сталкера о музыке.

Существенно меняется и распределение реплик между центральными персонажами. На ил. 2 видно, что в первых вариантах сценария проводнику принадлежит примерно столько же текста, сколько остальным персонажам вместе взятым, и, соответственно, разговор преимущественно идет между ним и двумя другими поочередно. А дальше даже по одной лишь статистике легко догадаться, насколько изменился характер диалога в третьем варианте сценария, где уже скорее Писатель по очереди разговаривает со своими спутниками. Преобразование настолько сильное, что этот вариант, впервые называющийся просто «Сталкер» без уточняющего подзаголовка, по праву мог бы имено-

ваться и «Писатель» (тем более что сам Сталкер здесь пока еще фигурирует как Проводник). При этом, хотя доля реплик Профессора регулярно уменьшается, его философские дискуссии с Писателем становятся все активнее (понятно, что за счет его разговоров со Сталкером). В последующих, двухсерийных сценариях их постоянное переругивание станет одной из главных движущих сил всей драматургии<sup>58</sup>.



Ил. 2. Распределение реплик между тремя главными героями

Вместе с развитием диалога меняются и раскрывающиеся в нем характеры персонажей. Преображение Сталкера, без которого не сложился бы фильм, известно хорошо, и его характер изменился радикально — сильно огрубляя, можно сказать, что он одновременно превратился из Мити в Алешу Карамазова, — но он изменился только однажды, а до и после того он практически стабилен (хотя далее, в фильме, он приобретет некоторые черты философа-книгочая). А вот двое других героев претерпели не менее интересную и более сложную эволюцию, меняясь постепенно, от варианта к варианту.

58 Показательно, что кульминационный момент этой линии, когда Писатель язвит, что Профессор идет в Зону за Нобелевкой, набив рюкзак «манометрами-дермومتрами», а Профессор в ответ советует ему «стены в сортирах расписывать», сконструирован из реплик, изначально принадлежавших Проводнику. В первых двух вариантах сценария он демонстрировал Профессору свою пронизательность насчет его намерений пойти за премией, а в третьем Писатель в продолжении этого разговора довольно презрительно говорил Проводнику, что тот идет за деньгами, на что Проводник и огрызнулся «писателишкой задрипанным». Но конечно, при этом ему не были свойственны ни присущий Писателю сарказм, ни имманентная Профессору (в поздних версиях сценария) вялость.

Сильнее трансформировался, конечно, Писатель. В первом варианте это уставший, жаждущий покоя человек, довольно нелепый, хотя и проникательный (догадывается, что его с профессором взяли в Зону в качестве «живых тральщиков»). Во втором он уже не столько усталый, сколько страдающий, что следует из его нового монолога про бессмысленность и не востребованность творчества, без существенных изменений дошедшего до фильма. Уже здесь появляется мотив беспокойства о том, что он «мог натворить, дорвавшись до этого самого Круга»<sup>59</sup>, но пока еще как второстепенный по сравнению со стремлением к покою. А вот в третьем варианте эта тема предельно заостряется: с одной стороны, Писатель там прямо формулирует, что его во всем мире «интересует только один человек», он сам, а с другой — «много дряни у меня в душе за жизнь накопилось. Не хочу эту дрянь людям на голову выливать, а потом, как Дикобраз, в петлю лезть». То есть превращается в примерно следующего человека, хотя и с поправкой на всеобщее смягчение нравов, конечно: «...хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны».

В первом двухсерийном варианте к и без того уже многогранному характеру Писателя добавляются еще две черты: он становится записным хохмачом, а главное, внешний комизм оттеняется внутренним, связанным с неожиданной трансформацией его проникательности. С первого по третий вариант сценария она постоянно усиливается, вплоть до того, что в третьем к нему переходят некоторые бывшие рассуждения проводника о том, что людям нужны одни лишь материальные блага (чем он разубеждает теперь уже самого Проводника идти к Тому Самому Месту), и там же он наконец прямо формулирует, отчего повесился Дикобраз. В то же время он все чаще начинает ошибаться, так что Профессор уже начиная со второго варианта говорит ему, что «для писателя вы довольно скверно разбираетесь в людях». И наконец, в 67-страничном сценарии и далее он ошибается в людях всегда — притом что людей, с которыми он имеет дело, немного, всего двое, однако в каждом из них он умудряется ошибиться дважды: про юродивого Сталкера он сначала думает, что ему нужны одни лишь деньги, потом — что власть, Профессор же идет за Нобелевкой, а явно задуманное тем невообразимое благодеяние не вызывает у него никакого беспокойства. Да и саму атомную мину<sup>60</sup> он расценивает как «Прибор для измерения параметров чуда! Чудомер» (впоследствии «душемер») — и таким образом, здесь внутренний комизм соединяется с внешним.

Сам Профессор предстает сначала бодрым туристом-шестидесятником, цитирующим стихи и прибаутки, и экспертом по Зоне. При этом он подозре-

59 См. примечание 35.

60 Во всех версиях сценария, равно как и в процессе работы над картиной, приспособление, которое таскал в своем рюкзаке Профессор, совершенно справедливо именовалось атомной миной. И лишь в апреле 1979 года, за пару дней до окончания производства фильма, по требованию Госкино оно было зачем-то переозвучено на «бомбу» (РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 4. Д. 4780. Л. 96–97).

Заодно добавим, что в двухсерийных сценариях Писатель сумел ошибиться даже и в бармене: когда тот приносит им пиво, Писатель решает, что он это делает как его преданный читатель, тогда как на самом деле бармену заплатил Сталкер. При этом в ранних вариантах (С/МЖ.2 и С.3) бармен действительно приносил пиво сам, чем подтверждал проникательность Писателя.

вает Писателя, что тот «человеколюбец» и «благодетель», что придает некоторое личностное измерение его абстрактной идее уничтожения машины желаний. Но начиная с 67-страничного варианта этого уже практически нет, зато с третьего варианта возникает и затем усиливается раскрывающийся в телефонном разговоре мотив его ревности к коллегам. Рассуждает он все меньше и меньше, стихов уже не цитирует, так что из благородного идеалиста он постепенно превращается в лично уязвленного человека, обиженного на весь мир. Драматургически он в итоге становится главным образом партнером для бесед с Писателем, но, однако, со своей червоточиной и с тайной подрывной идеей катастрофической разрушительной силы — то есть оказывается таким постаревшим подпольным человеком<sup>61</sup>.

Так на первом двухсерийном варианте сценария не только вполне сложилась драматургическая структура фильма и решилась давно назревшая проблема с характером заглавного персонажа, но и окончательно сформировались характеры двух других главных героев, что и превратило тем самым импровизированный «Солярис» в выстраданное «Преступление и наказание».

\* \* \*

Итак, с января 1976-го по сентябрь 1977 года Аркадий и Борис Стругацкие написали *пять законченных и значительно отличающихся между собой вариантов сценария* фильма «Сталкер».

Три первых варианта были написаны еще до съемок, в 1976-м, а во время них, вплоть до начала августа 1977-го сценарий активно перерабатывался как сценаристами, так и режиссером, но ни одна из этих переработок не привела, по-видимому, ко сколько-нибудь завершенной версии сценария фильма. В августе — сентябре Стругацкие написали два варианта сценария, в которых его структура сложилась окончательно. Затем, с октября по декабрь 1977 года, последний существенно измененный сценарий (С-57) несколько раз модифицировался в соответствии с пожеланиями студийного и министерского руководства, но на фильм эти модификации в основном не повлияли: хотя официально утвержден был сценарий С-54, картина снималась по версии С/РР, которая ближе к сентябрьскому варианту С-57. Несмотря на то что структура сценария в основе своей оформилась уже в самом первом его варианте (МЖ), в дальнейшем, вплоть до написания первого двухсерийного варианта включительно, драматургия значительно менялась, причем наиболее важные изменения произошли в третьем односерийном (С.3) и в первом двухсерийном (С-67) вариантах.

Все это время братья Стругацкие своими руками превращали свой собственный материал, чуждый режиссеру, в материал, органичный для него, но

---

61 Возможно, с этим связана и странная сцена, впервые появляющаяся в 57-страничном сценарии, где Профессор неожиданно решает остаться и подождать, «пока вы назад не пойдете, ошастливленные». Когда в третьем варианте с такой идеей выступал запутавшийся в жизни Писатель, это выглядело вполне органично, но для целеустремленного Профессора это явно непоследовательно. Поэтому не исключено, что все дело в его следующей реплике (которой не было в С.3 у Писателя): «...у меня с собой бутерброды, термос...», явно ассоциирующейся со «чтоб мне чай всегда пить».

уже не особенно близкий им. Выглядит довольно странным, что Андрей Тарковский обратился к мастерам закрученной сюжетной интриги и лихих жаргонных диалогов, блестящим изобретателям разнообразных фантастических явлений, для того чтобы они в итоге написали почти бессюжетную пьесу с тягучими разговорами в духе Достоевского, да еще и лишённую к тому же фантастики. Нельзя сказать, чтобы авторы были этим недовольны — во всех без исключения связанных с этой историей воспоминаниях и интервью они подчёркивали, что этот опыт был им интересен, важен и поучителен, — но, конечно, на пути превращения чужого материала в свой это было не самым продуктивным решением.

Поэтому, с одной стороны, довольно занимательно попробовать вообразить, кто из работавших в то время советских писателей и сценаристов лучше бы справился с задачей прямого превращения «Пикника на обочине» в «Преступление и наказание», минуя стадию «Соляриса». Например, Фридрих Горенштейн (с которым, впрочем, после того же «Соляриса» Тарковский вряд ли захотел бы работать, помня о неуживчивости и недипломатичности писателя), или же, скажем, Людмила Петрушевская, ещё не писавшая к тому времени сценариев игровых фильмов (но тем не менее это было бы особенно интересно, учитывая, что Тарковский никогда в своей жизни не работал с женщинами-сценаристами). Но с другой стороны, поскольку основная сценарная проблема «фильма без интриги» не в том, что в нём почти ничего не происходит, а в том, что небольшое происходящее все же должно интриговать зрителя, то, возможно, именно умение братьев Стругацких писать увлекательные диалоги и помогло Андрею Тарковскому создать фильм с минимумом действия, но все же захватывающий своего зрителя.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

# Сталкер.

СЦЕНАРИЙ ДВУХСЕРИЙНОГО ФИЛЬМА<sup>1</sup>

МОСКВА

Январь 1978 г.

## 1. ДОМ СТАЛКЕРА

Грязная захламленная квартира. Ночь. Сталкер тихонько выбирается из-под одеяла, берет в охапку одежду и на цыпочках выходит в ванную. Одевается и не замечает, как в дверях появляется его жена, заспанная, неопрятная, в заношенной ночной рубашке.

Ж е н а. Ты зачем мои часы взял? Куда ты собрался, я тебя спрашиваю?

Он молчит, глядя в сторону.

Ж е н а. Ты же слово дал, я же тебе поверила...

Он нелепо пожимает плечом и не отвечает.

Ж е н а. Ну, хорошо, о себе ты не хочешь думать... А мы? Ты о ребенке своем подумай! Она еще к тебе даже привыкнуть не успела, а ты снова за старое? А обо мне ты подумал? Ведь я старухой стала, ты ведь меня доконал! Я не могу тебя все время ждать, я умру! Ну зачем тебе сейчас идти? Деньги пока есть... С биржи труда повестку прислали...<sup>2</sup>

С т а л к е р. Тише, ребенка разбудишь!

Ж е н а. Ребенка пожалел! Эх ты! Где же твое слово? Как вор, на цыпочках...

С т а л к е р. Я сказал — тише!

Ж е н а. Тебе же обещали нормальную человеческую работу! Ты же соби-  
рался работать!

С т а л к е р. Ну, хватит, надоело! Я скоро вернусь...

Ж е н а. В тюрьму ты вернешься! Только теперь дадут тебе не пять лет, а десять!.. И десять лет у тебя ничего не будет! И ни зоны, и ничего! А я за эти десять лет сохну!

С т а л к е р. Ты меня тюрьмой не пугай, мне везде тюрьма... Отойди!

Ж е н а (хватает его за рукав). Не пушу!

С т а л к е р. Отойди, говорят тебе!

Он вырывается, отпихивает ее и устремляется к выходу.

Ж е н а (кричит). Ну и катись! Чтоб ты там сгнил! Проклят будь день, когда я тебя встретила! Подонок! Сам бог тебя таким ребенком проклял! И меня из-за тебя, подлеца! Подонок!

---

1 Публикуется по тексту из архива Госкино (РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 6. Ед. хр. 4510). Это первый экземпляр машинописи через полтора интервала, в котором 54 страницы, не считая титульной. Текст реплик выполнен заглавными буквами. Есть четыре незначительные правки от руки — все они отмечены в примечаниях. Также в примечаниях указаны основные отличия этой версии от 57-страничного сценария, написанного в сентябре 1977 года, и от «режиссерской разработки», сделанной Андреем Тарковским весной 1978-го. Об истории создания публикуемого варианта и его текстологических особенностях см. во втором разделе статьи «Сталкер в поисках сценария», напечатанной выше. — *Здесь и далее примеч. С.Ф.*

2 Эта фраза вписана от руки.

Громко заплакал ребенок.

Грязноватый пролет тускло освещен лампочкой без плафона. Сталкер сбегает по лестнице.

## 2. ПИСАТЕЛЬ

У подъезда стоит роскошный автомобиль. Дверцы раскрыты, рядом стоят Писатель и его знакомая. Писатель в длинном черном пальто и без шляпы разглагольствует, делая широкие движения рукой с рюмкой. Дама внимает, в одной руке у нее бутылка, в другой — рюмка.

П и с а т е л ь. Дорогая моя! Мир непроходимо скучен. И поэтому ни телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок... Ничего этого... Быть не может.

Д а м а. Но я читала меморандум Кемпбелла...

П и с а т е л ь. Кемпбелл — романтик. Рара авис ин террис. Таких больше нет. Мир управляется унылыми чугунными законами, и это невыносимо скучно. Серая чугунная скука чугунных законов... И законы эти — увы — не нарушаются. Они не умеют нарушаться. Не надейтесь на летающие тарелки, это было бы слишком интересно...

Д а м а. А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить...

П и с а т е л ь. Стану. Спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник а-бэ-це, который равен треугольнику а-прим бэ-прим це-прим. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении?.. Вот в Средние века было интересно. В каждом доме жил домовый, в каждой церкви — бог... Люди были молоды! А сейчас каждый четвертый — старик. Скучно, мой ангел, ой как скучно!

Д а м а. Но вы же не будете отрицать, что Зона... порождение сверхцивилизации, которая...

П и с а т е л ь. Да Зона не имеет никакого отношения к сверхцивилизации! Просто появился еще один какой-то паршивый скучный закон, которого мы раньше не знали... А хотя бы и сверхцивилизация... Тоже, наверное, скука... Тоже какие-нибудь законы, треугольники, и никаких тебе домовых и, уж конечно, никакого бога... Потому что если бог — это тот самый треугольник, то я просто не знаю...

Сталкер выходит из подъезда. Писатель оборачивается.

П и с а т е л ь. Ага. Это за мной. Прелестно... (Забирает у Дамы бутылку.) Прощайте, друг ситный...

С т а л к е р. Пойдемте.

П и с а т е л ь. Одну минуту. Эта дама любезно согласилась итти с нами в Зону. Она — мужественная женщина. Ее зовут... э... Простите!

Дама загорается интересом.

Д а м а. В Зону? Так вы — сталкер?

Сталкер наклоняется к ее уху и что-то шепчет. Дама вспыхивает.

Д а м а. Кретин!

Она захлопывает дверцу и укатывает.

Сталкер крепко берет Писателя за локоть и увлекает его по улице.

С т а л к е р. Все-таки напились.

П и с а т е л ь. Я? В каком смысле? Ни в коем случае. Я просто выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина — да, напивается. Женщины и дети включительно. А я просто выпил...



Сталкер. Вам же машину вести...

Писатель. Подумаешь! Не беспокойтесь, все будет в лучшем виде...

Спотыкается, валится в лужу. Сталкер помогает ему подняться.

Писатель. Черт подери... Поразивали здесь луж, ступить некуда...

### 3. БАР

Сталкер и Писатель входят в бар, открытый круглые сутки. Пусто. За стойкой дремлет кельнер.

У одного из столиков сидит над чашкой кофе Профессор. При виде Сталкера он смотрит на часы и приподнимается, но Сталкер машет ему рукой.

Сталкер. Сидите, сидите, Профессор. Рано еще.

Он усаживается напротив Профессора. Писатель садится рядом, достает из кармана бутылку.

Писатель. Посошок на дорожку? Как вы считаете?

Сталкер молча берет бутылку, закупоривает и сует ее Писателю обратно в карман.

Писатель. Понятно, сухой закон. Алкоголизм — бич народов. Будем пить кофе.

Встает и отходит к стойке.

Профессор (тихо). Что это за... Зачем Вы взяли этого... интеллектуала?

Сталкер. Ничего, он протрезвеет. Ему тоже нужно. А потом он уже заплатил, так же как и вы.

Писатель возвращается с чашкой кофе, усаживается.

Писатель. Вы действительно профессор?

Профессор. Да.

Писатель. Гм. Ну что ж... В таком случае позвольте представиться. Меня зовут...

Сталкер. Вас зовут Писатель.

Профессор. Прелестно. А как зовут меня?

Сталкер. А Вас — Профессор.

Профессор. Рад сделать знакомство. Итак, я — писатель, и меня, естественно, почему-то зовут Писатель.

Профессор. И о чем же вы пишете?

Писатель. О читателях. Они ни о чем другом читать не хотят.

Профессор. Наверное, ни о чем другом и писать не стоит...

Писатель. Писать вообще не стоит. Ни о чем. А вы что — химик?

Профессор. Скорее физик.

Писатель. Тоже, наверное, скука, а? Поиски истины. Она прячется<sup>3</sup>, а вы ходите и ищете, то там копнете, то здесь... В одном месте копнули — ага, ядро состоит из протонов. В другом копнули — красота: треугольник а-бэ-це равен треугольнику а-прим бэ-прим це-прим... Вот у меня — другое дело. Я эту

---

3 Выброшен следующий фрагмент: «а мы ее зачем-то ищем...

Профессор. Это от вас она прячется. “Бог хитер, но не злонамерен”.

Писатель. Дьявол.

Профессор. Эйнштейн говорил — “бог”, а имел в виду природу.

Писатель. А манихейцы говорили — “дьявол” и имели в виду дьявола... Так вот, спрятал он в начале начал вашу истину. Он спрятал».

самую истину выкапываю, а в это самое время с нею что-то такое делается, и получается так, что выкапывал-то я истину, а выкопал, извините, кучу не скажу чего. (Пауза.) Вам-то хорошо! А вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок. В свое время в него объедки кидали, а нынче он вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью формы, и все вокруг ахают и охают, и вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь шутничок... Для веселья. И форма у него осталась неповторимой, и рисунок лаконичным, но аханье, как ни странно, стихает...<sup>4</sup>

П р о ф е с с о р. Господи. И вы об этом все время думаете?

П и с а т е л ь. Боже сохрани! Я вообще редко думаю. Мне это вредно...

П р о ф е с с о р. Ведь невозможно писать и при этом все время думать, будут ли вас читать, скажем, через сто лет.

П и с а т е л ь. Натюрлих! Но с другой стороны, если через сто лет его<sup>5</sup> не станут читать, то на кой хрен его писать? Скажите, Профессор, ради чего вы впутались в эту историю? Зачем вы идете?

П р о ф е с с о р (уклончиво). Н-ну... Что может физику понадобиться в Зоне? А вот что нужно в Зоне Писателю? Модный писатель, женщины, наконец, на шею вешаются гроздьями.

П и с а т е л ь. Вдохновенье, Профессор! Утеряно вдохновенье. Иду выпрашивать.

П р о ф е с с о р. То есть вы что же — исписались?..

П и с а т е л ь. Что? Пожалуй... В каком-то смысле.

Сталкер смотрит на часы.

С т а л к е р. Простите. Пора.

#### 4. ЗАСТАВА

Они выходят из кафе. За углом застыл у обочины большой черный автомобиль. Писатель открывает дверцы, садится на водительское место. Сталкер и Профессор усаживаются на заднее сиденье.

С т а л к е р. Поехали.

Писатель заводит мотор, и вот уже машина несется по темным ночным улицам.

На темных фасадах и в черном небе над крышами пестрят и посвечивают мертвенными неоновыми красками рекламы напитков, сигарет, названия кинотеатров, страховых агентств<sup>6</sup>.

Профессор дремлет, откинувшись головой в угол. Сталкер горбится рядом с ним, зябко засунув руки в рукава куртки. Писатель лихо правит машиной, срезая повороты по тротуарам, чудом увертываясь от фонарных столбов.

---

4 Выброшен фрагмент: «П р о ф е с с о р. Ну, это вы о снобах говорите...

П и с а т е л ь. О каких там снобах? Я о горшках говорю! Вот почитает мои книжки какой-нибудь умный мальчик и в один прекрасный день заорет на весь мир про голого короля... А пройдет еще сто лет, и какой-нибудь авторитетный идиот объявит меня гением. И такие случаи бывали...».

5 «его» — то есть роман: в предыдущих версиях сценария Профессор говорил не «вас читать», а «ваш роман».

6 Этот абзац добавлен в данной версии сценария.

Впереди в свете фар появляется огромный щит с флюоресцентной надписью на английском языке: «Внимание! Сбавить ход! Приготовить пропуска! До границы Зоны — 300 метров»<sup>7</sup>.

С т а л к е р. Здесь направо...

Писатель <с>ворачивает машину в узкий, заросший травой проулок.

С т а л к е р. Остановите, пожалуйста...

Машина останавливается. Сталкер выходит, прокрадывается до угла, выглядывает.

Перед ним — военная застава, охраняющая въезд в Зону. Бетонные стены, узкие, как амбразуры, окна. Прожектора на крышах. Прожектора и пулеметы на башнях. Броневики с мокрыми от дождя клепанными бортами. Часовые в мокрых от дождя металлических касках. Блестят под дождем в темноте мокрые рельсы. Железнодорожная ветка упирается в наглухо закрытые ворота.

Некоторое время Сталкер внимательно разглядывает заставу, затем возвращается к машине.

С т а л к е р (усаживаясь). Вперед и налево, пожалуйста. Вон к тем кустам... Надо спрятать машину...

Писатель трогает машину. Она медленно, как бы крадучись, выезжает из проулка, приближается к зарослям кустарника неподалеку от железнодорожного полотна и застывает в густой тьме под мокрой листвой.

С т а л к е р. Теперь подождем...

Он откидывается на спинку сиденья.

С т а л к е р (Профессору). Вы канистру вы не забыли?

П р о ф е с с о р. Полная. В багажнике.

С т а л к е р (наклоняется к Писателю). Я хочу напомнить, как только пройдет тепловоз и я дам знак — сразу за ним. Не отставайте ни на метр. За воротами сразу налево. Там будет улочка. А дальше я вам буду показывать.

П и с а т е л ь. А зачем в Зоне тепловоз?

С т а л к е р. Он эту заставу только обслуживает. Дальше он не ходит. (Смеется.) Они туда вообще не любят ходить<sup>8</sup>.

Пауза.

Писатель нервно позевывает, крутится, потом вдруг перегибается назад к Профессору.

П и с а т е л ь (тихо). Вот я давеча говорил вам, вранье все это. Плевал я на вдохновенье... А может быть, я и в самом деле иду за вдохновеньем... Откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего я хочу? Или что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это какие-то неуловимые вещи: стоит их назвать, и смысл их исчезает, тает, расплзается, как медуза на солнце. (Пауза.) Положим, я — убежденный вегетарианец. Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире. Подсознание мое изнывает по куску сочного мяса. Спрашивается: а чего же хочу я?

П р о ф е с с о р. А на самом-то деле вы хотите мирового господства?

С т а л к е р. Чш-ш-ш...

Слышится гул и позвякивание приближающегося теплового.

---

7 Этот абзац, отсутствующий в предыдущих версиях, восстановлен с изменениями из первого варианта сценария.

8 Две последние реплики добавлены.

С т а л к е р. Приготовились! Держитесь крепче, ногами упирайтесь! Поехали!

Писатель с места рывком бросает машину вперед. Машина выскакивает на железнодорожное полотно и мчится по шпалам следом за тепловозом в распахнувшиеся ворота.

## 5. ПРОРЫВ<sup>9</sup>

С т а л к е р. Налево!

Сразу за воротами Писатель круто бросает машину с железнодорожного полотна налево, в темноту.

Прыгает на сиденье Профессор, цепляясь то за спинку переднего сиденья, то за колени Сталкера, а тот растопырился, уперся руками и ногами во все, что возможно, и только время от времени подает Писателю негромкие команды: «Теперь направо... Налево... Еще раз налево...»

А уже бегают суматошно во тьме прожектора, и трещат пулеметные очереди. Машина стремительно мчится по мертвым, давным-давно заброшенным кварталам, мелькают в бегучем свете прожекторов запыленные окна, стены с осыпавшейся штукатуркой, повалившиеся заборчики. Пулеметные очереди крошат ветхие стены, вдрызг разносят грязные стекла и ставни, вздымают фонтаны воды в стоячих лужах.

С т а л к е р. Здесь! Стой!

Машина резко тормозит.

С т а л к е р. Вылезайте быстрее! Канистра где?

Распахиваются дверцы, Сталкер, Профессор и Писатель вываливаются из машины.

С т а л к е р. Канистра где!

Профессор рывком откидывает крышку багажника, выхватывает канистру.

Пулеметная очередь крошит черепицу на крыше над их головами.

С т а л к е р (торопливо). Ложись!.. За мной давайте, за мной ползком... Голову не поднимать! Канистру держите слева... Если кого-нибудь зацепит, не кричите, не метайтесь... Увидят — убьют! Потом, когда стихнет, ползите назад, к воротам... Утром подберут...

Он ловко ползет на четвереньках, виляя тощим задом. Профессор волочит канистру, пыхтя, ползет Писатель.

Они оказываются в полуразвалившемся сарае. Под его крышей проходят железнодорожные рельсы, а на рельсах красуется крошечная дрезинка с бензиновым моторчиком. Сталкер, то и дело оглядываясь на треск пулеметных очередей, оскалившись, отвинчивает пробку бензинового бачка.

Вдвоем с Профессором они заливают бачок, затем Сталкер отбрасывает пустую канистру и принимается заводить мотор.

С т а л к е р. Садитесь. Скорее!

Профессор и Писатель лезут на узкую платформу и кое-как рассаживаются, держась друг за друга.

Писатель (очень нервно). А они нас не догонят?

С т а л к е р. Не догонят... Они ее боятся как огня...

П и с а т е л ь. Кого?

---

9 От руки вписано и зачеркнуто: «Зона (Город)».

Мотор раздражается залпами выхлопов. Мигающая от прожекторов полутьма сарайчика заполняется клубами бензиновой гари.

Дрезина трогается с места и мчится в темноту по мокрым рельсам. А позади по-прежнему бегают прожекторные лучи и грохочут пулеметные очереди.

И катится в ночной темноте дрезина, ровно тарахтит мотор. Впереди, держась за рычаг управления, сидит по-турецки Сталкер. За его спиной, прижавшись друг к другу спинами, сидят Писатель и Профессор. Профессор придерживает на коленях неуклюжий угловатый рюкзак.

## 6. В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА

Впереди из тумана выдвигается какое-то полуразрушенное станционное здание.

Дрезина останавливается. Сталкер спрыгивает на шпалы.

Сталкер. Ну вот мы и дома.

Писатель. Ф-фу. Наконец-то...

Он тоже слезает с дрезины, за ним спрыгивает Профессор.

Профессор. Тихо как...

Сталкер. Здесь всегда тихо. Это самое тихое место на Земле. Здесь некому шуметь.

Сталкер очень возбужден, ноздри его раздуваются, глаза блестят.

Сталкер. Вы потом увидите. Здесь удивительно красиво... Странно! Цветами почему-то не пахнет... Или я отвык? Вы не чувствуете?

Писатель. Болотом воняет — это я чувствую...

Сталкер. Нет-нет, это рекой, здесь река близко... (Показывает в сторону здания.) А вон там был огромный цветник. Дикобраз его засыпал, затоптал, с землей сровнял, но запах оставался много лет... А вот сейчас я его не чувствую...

Профессор. А зачем он это сделал?

Сталкер. Что — затоптал? Не знаю. Дикобраз был странный человек. Я, помню, его тоже спрашивал: зачем? А он мне отвечал: потом сам поймешь. Но я так и не понял. Наверное, он просто ненавидел Зону.

Писатель. А кто это такой — Дикобраз? Это фамилия такая?

Сталкер. Нет, это кличка. Самый лучший из всех сталкеров. Он годами водил людей в Зону, и никто ему не мог помешать. Он был моим учителем, он мне глаза открыл, и звали его тогда не Дикобраз, звали его тогда Мастер... А потом что-то с ним случилось, сломалось что-то в его характере или переродилось, не знаю... Я думаю, что он просто был наказан.

Он уходит в туман.

Сталкер. Не ходите здесь!

Писатель. Куда это он?

Профессор. Не знаю. Может быть, просто хочет побыть один.

Писатель. Зачем? Тут и втроем-то как-то неуютно...

Профессор. Свидание с Зоной. Он ведь сталкер.

Писатель. Ну и что же?

Профессор. Настоящий сталкер — это не профессия. Это в каком-то смысле призвание.

Писатель. Ну?

Профессор. Всё.

Писатель. Спасибо. Было очень интересно.

Профессор. Сядьте, посидите спокойно. Здесь не так уж много мест, где можно посидеть спокойно. Не суетитесь.

Писатель. Удивительно красиво. Туман, темно и ничего не видно. Ну хорошо, а что там насчет Дикобраза? Что это значит — был наказан? Это что — фигура речи?

Профессор. В один прекрасный день он вернулся отсюда и через некоторое время разбогател. Немыслимо разбогател...

Писатель. Ну? Это что — наказание такое?

Профессор. А через неделю повесился.

Писатель. Почему?

Из тумана появляется Сталкер.

Сталкер. А цветы снова цветут! Только не пахнут почему-то... Вы извините, что я вас тут бросил, но сейчас идти все равно рано... Туман...

Длинный скрежещущий звук прерывает его. Все, даже Сталкер, вздрагивают. Лицо у него становится напряженным.

Писатель. Господи, что это?

Профессор (нерешительно). А может быть, это все-таки правда, что здесь живут?

Сталкер. Кто?

Профессор. Ну, вы же знаете эту легенду... Ну, туристы эти, которые стояли будто бы здесь в ту ночь, когда возникла Зона...

Сталкер. Нет. В Зоне никого нет и быть не может.

Писатель. Это почему же — быть не может? Мы же вот здесь есть... А кстати, профессор, откуда эта Зона взялась, что она такое, по-вашему?

Профессор. Трудно сказать. Об этом почти ничего не известно. Примерно четверть века назад сюда будто бы упал метеорит, вдребезги разрушил электростанцию, спалил дотла поселок... Метеорит этот искали экспедиции — сначала научные, затем даже любительские, и, конечно, ничего не нашли... Потом здесь стали пропадать люди. Уходили сюда и не возвращались...

Писатель. Ну?

Профессор (пожимает плечами). Наконец решили, что метеорит этот был не просто метеорит... Для начала поставили кордоны, чтобы любопытствующие не рисковали жизнью. Вот тогда-то и появились слухи, что в недрах Зоны существует место, где исполняются желания... И тогда было принято решение охранять Зону как зеницу ока... Мало ли у кого какие могут возникнуть желания...

Писатель. А что же это было, если не метеорит?

Профессор. Я же говорю: неизвестно.

Писатель. Ну а вы сами что думаете?

Профессор. Да что угодно. Послание... Из космических глубин, как вырываются в газетах... Или подарок.

Писатель. Ничего себе — подарочек! Исполнение желаний! Для чего им это понадобилось?

Сталкер (тихо). Чтобы сделать нас счастливыми.

Писатель скептически хмыкает. Профессор глядит на Сталкера, хочет что-то сказать и молча отворачивается.

Сталкер. Ну вот, нам пора<sup>10</sup>.

Тумана больше нет. С высоты насыпи открываются зеленые просторы, озаренные утренней зарей Зоны.

Сталкер. Пойдем, как условились. Я иду последним. Вы будете прокладывать дорогу по очереди. Каждый раз я буду указывать направление. Отклоняться от этого направления опасно. Первое направление — вот тот столбик. Сначала пойдет Профессор. Прямо на тот столб. Идите.

Профессор начинает спускаться с насыпи. Отпустив его шагов на пятнадцать, Сталкер поворачивается к Писателю.

Сталкер. А теперь вы. Старайтесь след в след.

Профессор идет впереди, и перед каждым шагом настороженно высматривает место, куда поставить ногу. Писатель идет следом, глядя не столько себе под ноги, сколько под ноги Профессору. И бредет он невнимательно, то и дело сбиваясь со следа Профессора. Сталкер, замыкающий «колонну», видит это, но пока молчит<sup>11</sup>. Наконец зеленая стена листвы слева обрывается, и наши герои выходят на высокий речной берег. Страшная и жуткая картина открывается перед ними.

Совсем рядом, уткнувшись в траву слепыми фарами, громоздится санитарный автофургон, облезший и помятый, а рядом валяются полуистлевшие носилки, куча сгнивших одеял, серые от грязи ленты бинтов.

А на противоположном берегу реки — и того хуже. Там сгрудился десяток танков. Железные чудища стоят в беспорядке, пушками в разные стороны, некоторые почему-то без гусениц, некоторые вросли в землю по самые башни, одни наглухо закупоренные, другие — с настежь раскрытыми люками.

Писатель (пораженно). Господи! А где же... Они что, так все здесь и остались? Люди?

Сталкер. Неизвестно. Помню, как они грузились у нас на станции, чтобы идти на Зону, сюда. Я еще ребенком был, тогда все думали, что нас завоевать хотят. Умники... Хорошо еще, что на этом остановились... Быстро поняли...

Писатель передергивает плечами и поворачивается в другую сторону.

Писатель. А там что такое?

В километре от них в утреннем мареве виднеется бело-серое здание с черными провалами окон.

Сталкер. Вон там и есть ваша комната. Нам — туда.

Писатель. Так вы что ж... Цену набивали? Это же рукой подать...

Сталкер. Да. Но рука должна быть очень длинная. У нас такой нет.

Он достает из кармана горсть гаек...

10 Здесь добавлен фрагмент от реплики Писателя «Это почему же...» до данного места. В «режиссерской разработке» ниже добавлен следующий фрагмент: «Заводит дрезину, ставит рычаг на заднюю скорость и толкает ее назад. Дрезина медленно тает в тумане.

Писатель. А как же мы вернемся...

Сталкер. Здесь не возвращаются...».

11 Здесь удалена фраза: «И так они идут молча, а тем временем заканчивается зеленая заря Зоны и растворяется в обычном солнечном свете.» — последний оставшийся в сценарии след «нечеловеческой зари».

## 7. ОКОЛО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

— и начинается работа. Сталкер бросает гайку, внимательно следит за ее полетом, затем посылает к месту ее падения Писателя. Писатель, дойдя до этого места, останавливается, после чего к нему подтягивается Профессор, а следом за ним и Сталкер. Отсюда Сталкер кидает новую гайку, посылает к ней Профессора.

Это настолько похоже на игру, настолько несовместим с понятием об опасности мирный зеленый пейзаж, залитый утренним солнцем, что Писатель понемногу забывается. Он поглядывает по сторонам, насвистывая, и, наконец, забывшись окончательно, останавливается на дороге и наклоняется, чтобы поднять из травы какую-то палочку. И тогда Сталкер точным и уверенным броском посылает гайку ему в затылок. Веселое насвистывание сменяется коротким поросычьим визгом.

Писатель хватается за голову и падает на колени. Сталкер останавливается над ним.

С т а л к е р. Встаньте.

П и с а т е л ь. Вы что, спятили? Вы что?

С т а л к е р. Я просто хотел вам показать, как будет, если... Здесь не место для прогулок, Зона требует к себе уважения. Иначе она карает.

П и с а т е л ь. Ладно... Хорошо, понял... Только попробуйте еще что-нибудь такое... У вас что, языка нет?

С т а л к е р. Поняли? Вот и хорошо. Я знал, что вы поймете. Я же просил...

Они спускаются по отлогому склону, и тут Сталкер вдруг командует негромко:

— Стой!

Шедший впереди Профессор замирает на месте и осторожно приставляет поднятую было для следующего шага ногу. Все сходятся в плотную кучку и смотрят вниз. Там открывается обширная проплешина, начисто лишенная растительности, гладкая и даже отсвечивающая на солнце, как мутное стекло. Посередине ее красуется что-то вроде большой металлической лепешки, в которой по вдавленным в грунт лопастям можно узнать остатки вертолета.

П и с а т е л ь. Эх его припечатало... Что это с ним?

П р о ф е с с о р. Гравиконцентрат.

П и с а т е л ь. Как вы сказали?

Профессор не отвечает. Сталкер прищуренными глазами внимательно разглядывает проплешину, затем извлекает из кармана несколько гаек.

П р о ф е с с о р (не сводя глаз со Сталкера). Это область повышенной гравитации. В этом месте сила тяжести в тысячи раз выше обычной...

С т а л к е р. Это верная смерть.

Нешироко размахнувшись, он кидает гайку. Описав высокую дугу, она падает в десятке шагов впереди.

С т а л к е р. Теперь идите за мной. Шаг в шаг, пожалуйста.

Остановившись на месте падения гайки, он бросает вторую, целясь правее края проплешины. Сначала гайка летит по обычной дуге, а потом невидимая сила срывает ее с траектории, она исчезает из виду, и в ту же секунду раздается грохот, земля вздрагивает, и у края проплешины возникает страшная дымящаяся дыра.

С т а л к е р. Вот видите, она сдвигается вправо. Все здесь меняется...



Писатель смотрит, приоткрыв рот. Сталкер бросает следующую гайку — еще правее от проплешины. На этот раз гайка летит, как полагается, и падает шагах в тридцати впереди.

Сталкер. За мной, прошу. Шаг в шаг.

Они переходят на место падения третьей гайки, причем Писатель следует за Профессором в ногу и, прижимаясь грудью к его рюкзаку, опасливо косясь на черную дымящуюся дыру в траве<sup>12</sup>.

И вот они стоят у растрескавшейся бетонной плиты шагах в ста от угрюмого бело-серого здания с ободранными стенами, и отчетливо виден ведущий в черноту широкий прямоугольный вход и обвалившиеся цементные ступени, ведущие к нему.

Профессор. Это там?

Сталкер. Да. Подняться, войти и сразу налево.

Профессор. Войти и выйти...

Сталкер. Рукой подать, правда? Только мы здесь не пойдем. Мы пойдем в обход.

Писатель. Почему?

Сталкер. Здесь не ходят. В Зоне вообще прямой путь — не самый короткий.

Писатель. А в обход — это что, очень далеко?

Сталкер. И далеко и рискованно. Но чем дальше, тем меньше риска...

Писатель. А если все-таки здесь!?!.. Рискнуть?

Профессор. Не валяйте дурака.

Писатель. Погодите... А вот если я сейчас пойду напрямик — это что, смертельно? Там тоже этот... концентрат?

Сталкер. Нет. Но там тоже очень опасно.

Писатель. А в обход — не очень?

Сталкер. Тоже опасно, конечно, но я же вам говорю: здесь не ходят.

Писатель. Мало ли кто где не ходит... А если я все-таки...

Профессор. Послушайте, Писатель, или как вас там...

Писатель. Да погодите вы! Тащиться куда-то в обход, а здесь все перед носом... И здесь риск, и там риск... Какого черта?

Сталкер. Знаете, вы очень легкомысленно к этому относитесь...

Писатель. Да просто... надоели мне эти перебежки... по одному... Вы как хотите, а я пойду!

Он достает из бокового кармана бутылку и, не спуская глаз со здания, принимается свинчивать колпачок.

Профессор. Да он просто невменяем...

Писатель. Сами вы, знаете ли...

Подносит к губам горлышко бутылки, но Сталкер отбирает бутылку и молча выливает спиртное на землю. Затем аккуратно кладет пустую бутылку к ногам. Писатель оторопело следит за его действиями, затем спохватывается.

Писатель. Ага... Тогда тем более.

Делает шаг вперед. Сталкер придерживает его за рукав.

Писатель. Да уберите вы руки!

---

12 Фрагмент от ремарки «Они спускаются...» и до данного места восстановлен с небольшими поправками из первого варианта сценария. В «режиссерской разработке» этот фрагмент снова удален.

С т а л к е р. Вы все-таки настаиваете? Хорошо. Пусть тогда Профессор будет свидетелем: я вас туда не посылал. Вы сами идете, по доброй воле...

П и с а т е л ь. Да, да. Сам и по доброй. Что еще?

С т а л к е р. Ничего. Идите. И дай бог, чтобы вам повезло. Только... Идти надо очень осторожно. Если вы что-нибудь увидите или услышите, или даже просто почувствуете что-то... особое, тут же останавливайтесь и возвращайтесь. Иначе — уже не вернетесь никогда. Вы меня слышите?

П и с а т е л ь. Только не кидайте мне гайки в затылок.

Он зверски оскаливается и ступает в пространство за бетонной плитой. Сталкер и Профессор напряженно глядят ему вслед. Сталкер отходит от Профессора и, чтобы лучше видеть, взбирается на бетонную плиту.

Писатель замедляет шаги... Шаг... еще один шаг... еще один... До здания остается не более десятка шагов.

И вдруг чей-то крик:

— Стой!

Писатель застывает на месте. Затем медленно-медленно поворачивается. Лицо его лоснится от пота.

Сталкер поворачивает к Профессору помертвевшее лицо.

С т а л к е р. Зачем вы?..

П р о ф е с с о р (шепотом). Что — зачем?

С т а л к е р. Зачем вы его остановили?

П р о ф е с с о р. Как? Я думал — это вы...

Писатель стоит в десятке шагов от здания, не смея пошевелинуться, и смотрит на них.

С т а л к е р (Писателю). Возвращайтесь! Быстрее!

Писатель, запыхавшись, останавливается возле них.

П и с а т е л ь. Что случилось? Зачем вы меня остановили?

С т а л к е р. Это не мы вас остановили.

П и с а т е л ь. А кто?

Он поворачивается к Профессору. Тот отрицательно мотает головой. Писатель обессилено садится на землю.

П и с а т е л ь. Черт ее знает...

Профессор вдруг ухмыляется и грозит ему пальцем.

П р о ф е с с о р. А вы — хитрец, господин Хемингуэй! Назад идти совестно, вот и скомандовал сам себе!.. Даже протрезвел со страху.

Писатель вскакивает на ноги.

П и с а т е л ь. Что-что?

П р о ф е с с о р. Ладно, я вас не виню.

П и с а т е л ь. Да вы...

С т а л к е р. Перестаньте... Вы все-таки не совсем понимаете, где находитесь. Мне, что, снова объяснять вам?..

П и с а т е л ь. Вот зачем вы мою водку вылили...

С т а л к е р. Подождите... Выслушайте меня, ради бога...

Пауза.

С т а л к е р (медленно, тщательно подбирая слова). Зона — это очень сложная система... ну, что ли... ловушек, и все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствие человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Наши настроения, наши помыслы, чувства, все наши переживания вызывают здесь перемены. И постичь их мы не в состоянии.

Прежние ловушки исчезают, и возникают новые, безопасные места становятся непроходимыми, и путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это — Зона. Может даже показаться, что она капризна, на самом деле она в каждый момент такова, какой мы ее сделали своим состоянием... Не скрою, были люди, которым приходилось возвращаться с полдороги, не солоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнаты... Но все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от тех, кто сюда приходит.

П и с а т е л ь. Хороших она пропускает, а плохим — от ворот поворот...

С т а л к е р. Не знаю... Не уверен. Мне-то кажется, что пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось... Не плохих или хороших, а несчастных... Только и самый разнесчастный гибнет здесь мгновенно, если он не умеет себя вести. Вам повезло, вас она предупредила... А могла бы и не предупредить. И поэтому я настоятельно прошу вас впредь слушайте меня во всем.

Пауза. Профессор вдруг отстегивает лямки рюкзака и опускает рюкзак на землю.

П р о ф е с с о р. Вы знаете, я, пожалуй, дальше не пойду. Вы идите, а я вас здесь подожду, пока вы назад не пойдете, очастливленные.

П и с а т е л ь. Ай-ай-ай!..

С т а л к е р (мягко). Это невозможно, Профессор.

П р о ф е с с о р. Уверяю вас, я прекрасно дождусь вас здесь, у меня с собой бутерброды, термос...

С т а л к е р. Не в этом дело. Во-первых, без меня вы здесь и часа не выдержите.

П р о ф е с с о р. Так. А во-вторых?

С т а л к е р. Во-вторых, возвращаться мы будем не здесь. Здесь не возвращаются тем путем, каким приходят...

П р о ф е с с о р. И все же я бы предпочел...

С т а л к е р. Тогда нам придется сейчас же возвращаться всем вместе. Деньги я вам верну... За вычетом, конечно, некоторой суммы за... Ну, за беспокойство, что ли...

П и с а т е л ь. Протрезвели? А, Профессор?

Профессор молча поднимает рюкзак, взваливает его на плечи и угрюмо застегивает карабины.

П р о ф е с с о р. Хорошо. Пошли. Бросайте свою гайку.

## 8. В ТУМАНЕ

Профессор, Писатель и Сталкер по колено в воде бредут по подземному туннелю. Клубы тумана, озаренные серыми отсветами недалекого выхода, ползут над водой. Профессор и Писатель страшно утомлены, они спотыкаются и то и дело падают.

С т а л к е р. Ну, еще немного... выход уже виден...

Они выбираются из прямоугольной ямы на бетонную площадку. Сталкер озабоченно озирается.

С т а л к е р. Ну, кажется, все в порядке... Вот и рукомойник... Можно передохнуть немного...

Профессор стягивает с плеч рюкзак и устало усаживается на него. Писатель со стоном облегчения валится рядом. Один Сталкер остается стоять. Он озирается, задрав голову, словно бы принюхиваясь. Над площадкой стучается туман.

С т а л к е р. Туман... Ах ты господи! Вы отдохните немного, я тут схожу... Только сидите на месте, и особенно не вздумайте подходить к этой двери... (Показывает на дверной проем, в котором раскачивается подвешенная на шнурке гайка.)

П и с а т е л ь (вяло). А что там такое?

С т а л к е р. Здесь Дикобраз специально гайку повесил... Нельзя туда.

Сталкер уходит.

Писатель опрокидывается на спину, закладывает руки за голову.

П и с а т е л ь. Ну, нельзя — и слава богу... Что он нас все пугает? Неприятный какой тип. Я их себе совсем другими представлял.

П р о ф е с с о р. Какими?

П и с а т е л ь. Ну, вроде этих... Кожаный чулок там, Чинганчгук, следопыты, трашперы...

П р о ф е с с о р. У этого биография пострашнее, чем у ваших следопытов. Несколько раз сидел в тюрьме, здесь калечился страшным образом... И дочка у него — мутант... Как пишут в газетах — жертва Зоны...

П и с а т е л ь. А вы откуда знаете?

П р о ф е с с о р. Он несколько лет назад у меня лаборантом работал...

Из тумана раздается голос Сталкера.

С т а л к е р. Эй, вы где? Идите-ка сюда!..

П и с а т е л ь. О господи! Опять будет лекцию читать про свою Зону...

Они поднимаются и, осторожно ступая, углубляются в туман.

С т а л к е р. Сюда, сюда! Я здесь... Писатель, давайте руку... Понимаете, положение немного осложнилось. Обычно я иду этой дорогой, но сейчас такой туман... Осторожно!.. Осторожно, держитесь друг за друга!.. Если бы тумана не было, здесь можно было бы увидеть забавные надписи... Никто уже не знает, кто их сделал... Теперь сюда... Здесь должна быть моя палка... Ага, вот она!

П и с а т е л ь. Какая-нибудь знаменитая палка?

С т а л к е р. Нет, обыкновенная палка, можете убедиться.

П и с а т е л ь. Спасибо, я верю.

С т а л к е р. Профессор, держитесь за Писателя? А то потеряетесь... Возьмите его за полу, так удобнее... А вы держитесь за меня, да покрепче, не стесняйтесь... В каком-то смысле нам даже повезло: если бы мы вышли к ручью-нику в таком тумане, то могли бы угодить прямо под гайку, такие случаи бывали...

Все это время они движутся через волны густого тумана. Сталкер, не переставая говорить, ощупывает перед собой землю палкой.

С т а л к е р. Очень неплохо мы идем. Сейчас будет Сухой тоннель, а там уж туман нам больше не страшен...

П и с а т е л ь. Смотрите, накаркаете...

И тут Профессор вдруг останавливается.

П р о ф е с с о р. Подождите! Мы что — уже идем?

С т а л к е р. Конечно... А что случилось?

П р о ф е с с о р. Позвольте! Я так понял, что вы хотите нам что-то показать! А как же мой рюкзак?

С т а л к е р. А что случилось с рюкзаком?

П р о ф е с с о р. То есть как — что случилось? Я же не знал, что мы идем! Я его там оставил!

Сталкер. Теперь уже ничего не поделаешь...

Профессор. Нет уж, давайте вернемся.

Сталкер. Но это невозможно! Посмотрите, что делается!

Профессор. Я не могу без рюкзака.

Сталкер. Нельзя возвращаться, поймите! Потом, дело не только в тумане! А в том, чтоб возвращаться!.. Никто по этой дороге не возвращался!

Писатель. Действительно, плюньте вы на этот рюкзак. Что у вас там — брильянты?

Сталкер. А потом, вспомните, куда мы идем. Комната даст вам все, что захотите.

Писатель. Сверх головы закидает рюкзаками.

Профессор (угрюмо). Возможно. Но я все же предпочитаю синицу журавлям в небе...

Писатель. Ага. Есть все-таки опасение, что водичка, по которой мы намерены брести яко посуху, все же расступится у нас под ногами...

Сталкер (решительно). Очень жалко, но про рюкзак вам придется забыть. Идемте.

Профессор колеблется, затем молча берется за полу Писателя. Они возобновляют движение.

Писатель. Вы удивительно нелогичны, Профессор. Если такая комната существует, можно в нее либо верить, либо не верить. Но если не верить, то зачем вообще сюда итти? Оставьте свой ползучий эмпиризм. Чудо вне эмпирики...

Профессор. А далеко отсюда до комнаты?

Сталкер. Да нет, мы все время ходим вокруг нее...

Профессор. Примерно с километр?

Сталкер. Меньше! Гораздо меньше! По прямой — метров триста, не больше... Только здесь не бывает прямых, вот в чем беда...

Воцаряется молчание.

Они идут и идут, и вот впереди в тумане возникает темное пятно, и они вступают под гулкие своды нового тоннеля по колена в воду. Туман здесь гораздо реже, в сероватом свете видны бетонные своды, по которым струится влага. Сталкер останавливается.

Сталкер. Ну вот и Сухой тоннель...

Писатель. Ничего себе — сухой...

Сталкер. Это местная шутка. Обычно здесь вообще по шейку...

Писатель (испуганно). А где Профессор?

Сталкер. Что такое?

Писатель. Профессор пропал!

Сталкер. Как пропал?

Он подскакивает к выходу из тоннеля, вглядывается.

Сталкер (кричит). Профессор! Эй, Профессор!

Крик глохнет в тумане, как в вате.

Сталкер. Как же вы! Он же за вас держался!

Писатель. Отцепился, видно, и заблудился...

Сталкер. Нет, он не заблудился... Помогите ему бог теперь! Он за рюкзаком пошел...

Писатель. Может, попробуем поискать?

Сталкер качает головой.

С т а л к е р. Бесполезно...

Некоторое время они молча вглядываются в туман.

С т а л к е р (горестно). Теперь он, можно сказать, как собачонка в клетке с тиграми... И дался ему этот рюкзак несчастный!

П и с а т е л ь. Значит, и здесь каждому<sup>13</sup> по вере его...

С т а л к е р. Что?

П и с а т е л ь. Может, подождем?

Сталкер молчит, опустив голову.

П и с а т е л ь. Мы что? Никак ему помочь не можем?

Сталкер проводит ладонью по лицу.

С т а л к е р. Да. Никак. Пойдемте.

И они идут дальше. Впереди Писатель, за ним Сталкер, и они идут молча, не говоря ни слова. И только когда впереди возникает светящееся пятно — выход, Сталкер разлепляет запекшиеся губы.

С т а л к е р. Добрались, кажется. Сейчас отдохнем.

Писатель вдруг останавливается, и Сталкер наталкивается на него.

П и с а т е л ь (неуверенно). Там костер как будто...

С т а л к е р. Костер?

Но и вправду, сквозь стену тумана за прямоугольником выхода виднеется алое светящееся пятно.

С т а л к е р. Откуда?.. Осторожно!

Они ощупью приближаются к выходу, выбирают из тоннеля и останавливаются в изумлении. Перед ними у костра на своем злосчастном рюкзаке сидит пропавший Профессор.

П и с а т е л ь (облегченно и обрадованно). Ну вот! Вот и он!

П р о ф е с с о р. Все-таки вернулись. Я, разумеется, весьма вам признателен, только...

С т а л к е р. Как вы сюда попали?

П р о ф е с с о р. Гм... Большую часть пути прополз на четвереньках...

С т а л к е р. Невероятно... Но как вам удалось обогнать нас?

П р о ф е с с о р. Обогнать? Я вернулся за рюкзаком...

С т а л к е р. За рюкзаком?..

Он резко оборачивается. И видит рукомоийник, видит гайку, подвешенную в прямоугольном проеме. Сияющими глазами обводит он Профессора и Писателя.

С т а л к е р. Вот оно что... Мы не только вас нашли, но и под гайкой прошли! Невероятно. Она вернула нас и пропустила мимо рукомоийника! Теперь будем ждать... Я теперь пальцем не шевельну, пока туман не разойдется.

Сталкер, Писатель и Профессор располагаются на отдых.

С т а л к е р. Вы ей понравились, теперь я это знаю. Я ведь никогда не знаю заранее, каких людей я выбрал... Это вообще нельзя угадать, и все выясняется только здесь, когда уже поздно. А Зона не ошибается. Никогда! Смотрите, как мягко она с вами обошлась! Я уже грешным делом думал, что Профессор не выберется.

П и с а т е л ь. Мы-то ладно! Главное — профессорский мешок с подштанниками цел остался...

---

13 «каждому» исправлено от руки вместо «коемужды».

П р о ф е с с о р. Послушайте! Не суйте вы нос в дела, в которых ничего не понимаете!

П и с а т е л ь. А чего здесь понимать? Тоже мне — психологические бездны... В институте мы на плохом счету, средств на экспедицию нам не дают, набьем-ка мы наш рюкзак всякими там манометрами-дерьмометрами, проникнем в Зону нелегально и все здешние чудеса поверим алгеброй... Никто в мире толком про Зону не знает, а тут выходит наш Профессор весь в белом и объявляет: мене, текел, фарес... И все раскрывают рты и хором кричат: Нобелевскую ему, Нобелевскую!

П р о ф е с с о р. Писателишка вы задрипанный, трепло бездарное... Вам бы стены в сортирах расписывать, психолог доморощенный...

П и с а т е л ь. Вяло. Вя-ло! Не умеете. Не знаете вы, как это делается. А потом, психология — это не моя сфера. Мое дело — улавливать социальные тенденции повышенным чутьем художника. Вы, ученые, эти тенденции создаете. Не спорю. Но сами вы в них ни черта не понимаете.

П р о ф е с с о р. Ну, хорошо. Я иду за Нобелевской премией. А вы зачем поспешаете? Хотите подарить человечеству перлы своего попуного вдохновенья?

П и с а т е л ь. Плевал я на человечество. Во всем вашем человечестве меня интересует только один человек — вот этот. (Тычет себя в грудь пальцем.) Стоит он чего-нибудь или он такое же дерьмо, как некоторые прочие.

П р о ф е с с о р. Ну и что будет, если вы узнаете, что вы действительно<sup>14</sup>...

П и с а т е л ь. Знаете что, господин Эйнштейн? Занимайтесь своей наукой, своим человечеством! Но только человечество минус я! И вообще не желаю я с вами спорить. В спорах рождается истина, будь она проклята! (Он поворачивается к Сталкеру.) Послушайте, Чинганчгук, вы ведь приводили сюда множество людей...

С т а л к е р. Не так их было много, как бы мне хотелось...

П и с а т е л ь. Ну, все равно, не в этом дело... Зачем они шли сюда? Чего они хотели?

С т а л к е р. Скорей всего... Счастья...

П и с а т е л ь. Это-то понятно, за несчастьем никто не пойдет... Но какого именно счастья?

С т а л к е р. Было бы нехорошо, если бы я рассказывал о том, что мне доверили... Это ведь ни вас не касается, ни меня... Да и знаю-то я немного. Люди не любят говорить о сокровенном...

П и с а т е л ь. Да, пожалуй... В любом случае вы на своем веку повидали множество счастливых людей... Я вот за всю жизнь ни одного не видел...

С т а л к е р. А я тоже. Они возвращаются из комнаты, я веду их назад, и больше мы никогда не встречаемся... Ведь желания исполняются не мгновенно... Наверное, какое-то время должно пройти, прежде чем каждый получит свое...

П и с а т е л ь. А сами вы... никогда ничего не хотели?

С т а л к е р. А я и так счастлив. Больше мне ничего не надо.

Все молчат.

П и с а т е л ь. Профессор, послушайте... Я все насчет попуного вдохновения... Положим, войду я в эту комнату и вернусь в наш богом забытый город гением. Вы следите? Но ведь я тогда больше ни строчки не напишу! Ведь че-

---

14 Зачеркнуто от руки слово «дерьмо».

ловек пишет потому, что мучается, сомневается в себе... Ему необходимо все время доказывать себе и людям, что он — гений... А если я буду знать наверняка, что я — гений, зачем мне писать тогда? Какого рожна? Вы слушаете меня, Профессор?

Сталкер спит. Ему снится сон. Он слышит неразборчивые голоса жены и дочери, слышит и улыбается во сне, а затем голоса постепенно стихают, и он, уже проснувшись, но не открывая глаз, молится про себя.

Сталкер. Пусть будет, как всегда было. Пусть все останутся живы, пусть все будут счастливы. А если для всех это невозможно, пусть я сумею быть жестоким с добрыми и пусть я сумею быть добрым с жестокими. А главное — пусть будет как всегда, пусть стена останется стеной, тупик останется тупиком, а дорога останется дорогой, и пусть никто не останется обделенным...

Он открывает глаза. Тумана как не бывало. Он бесшумно поднимается, подходит, мягко ступая, к спящим спутникам и останавливается над ними. Какое-то время он внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенно, взгляд оценивающий<sup>15</sup>.

Сталкер. Вставайте, туман кончился...

## 9. В ЗАЛЕ

Перед ними обширный мрачный зал — бетонные плиты пола, бетонные стены, обшарпанные бетонные колонны.

Сталкер. Нам надо пройти через этот зал. Но только здесь я приказывать не могу. Тут нужен доброволец. Вы должны сами решить, кто из вас пойдет.

Писатель (раздраженно). Что это за военные игры? «Доброволец»... Вот сами и идите. А, Соколиный Глаз?

Профессор. Перестаньте!

Писатель. Почему — перестаньте? Почему это мы с вами должны выбирать из себя смертника? Сам я идти не хочу, но и вас посылать не намерен! (Сталкеру.) В конце концов, вам за это деньги платят...

Профессор. Будет вам. Я пойду.

Писатель. Никуда вы не пойдете! В благотворительности не нуждаюсь! Пусть он идет!

Сталкер. Я не могу идти. Это бессмысленно.

Писатель. Ах, бессмысленно!

Сталкер (терпеливо). Поймите: если со мной что-нибудь случится, то вы здесь погибнете оба.

Профессор. Да давайте я пойду, что вы все спорите?

Писатель. А вы перестаньте строить из себя героя! Он, видите ли, пойдет — герой — а мне всю жизнь от срама корчиться... Тогда уж давайте жребий!

Профессор. Да пройду я без всякого жребия! (Он хлопает ладонью по рюкзаку.) Зона совершенно явно хочет, чтобы я донес этот горб до самой комнаты.

Писатель. Господи, ну и логика! Вы что — свихнулись?

---

15 Удалена ремарка: «Затем он задумчиво качает головой. Смотрит на часы, наклоняется над спящими, и говорит негромко:».



П р о ф е с с о р. Логика, может быть и странная, но ведь мы имеем дело с чудом... (Поворачивается к Сталкеру.) Как идти?

С т а л к е р. Хорошо... Значит, пойдете вы... Я сперва брошу гайку, и вы тихонечко, не торопясь, пойдете вон к той колонне. Там вы остановитесь, тогда я брошу вторую...

Писатель отходит в сторону и спокойно, с какой-то даже ленцой направляется к указанной колонне.

П р о ф е с с о р. Куда?! Стойте! Вы, самоубийца!

Сталкер торопливо кидает вслед Писателю гайку.

Гайка ударяется в бетонный пол, подскакивает и медленно-медленно плывет по воздуху.

С т а л к е р. Ложитесь!

Он хватается Профессора за плечо, валится вместе с ним на пол и, скорчившись, прикрывает голову обеими руками.

Гайка медленно опускается на пол, медленно катится по бетонным плитам и застывает неподвижно у ног остановившегося Писателя.

Тот некоторое время смотрит на нее словно бы в задумчивости, затем возвращается назад и смотрит на лежащих Сталкера и Профессора.

П и с а т е л ь. Нельзя туда. Там... Это... Гайка как-то не так.

Он отходит в сторону и садится на обломок бетона, уронив между колен сцепленные руки и опустив голову.

Пауза.

П и с а т е л ь. Вот и еще эксперимент... Еще один факт... Эксперименты, факты, истина в последней инстанции... Только фактов не бывает. Их вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдуманно, неужели вы не чувствуете? Все это чья-то идиотская выдумка!

Сталкер осторожно выглядывает из рва, находит взглядом Писателя и приоткрывает в изумлении рот.

П и с а т е л ь. А вам-то, конечно, до разреза надо знать чья. Только какая разница чья? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — еще рана... Душу вложишь, сердце свое вложишь — сожрут и душу и сердце. Мерзость из души вынешь — жрут мерзость... Они же все поголовно грамотные, у всех у них сенсорное голодание... И все клубятся вокруг — журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные... И все требуют: давай! давай!

Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать, если для меня это мука, болезненное и постыдное занятие.

Профессор и Сталкер поднимаются на ноги, испуганно глядят на Писателя.

П и с а т е л ь. Я ведь раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому! У меня один особняк за душой. С финской баней. Я сдохну, а через два дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Я пытался переделать их, а переделали меня, по своему образу и подобию!.. Раньше будущее было только повторением настоящего, и все перемены маячили где-то там, за горизонтами. Ритм жизни был не тот! А будущее слилось с настоящим. Как мы поступим — так и будет в будущем! Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать! Они только жрут!

Писатель смолкает, проводит рукой по лбу. Сталкер и Профессор тихонько подходят к нему.

Сталкер (восторженно). Ну и везет же вам! Ведь здесь... (Обрывает себя.) Теперь вы сто лет жить будете!

Писатель. А вот этого бы не надо... Ну так что? Значит, через зал нас не пускают. Куда дальше.

## 10. КОРИДОРЧИК

Они стоят перед прямоугольным жерлом коридора, черного, закопченного, и под ногами у них черная обугленная земля.

Писатель. Это что же — туда идти?

Сталкер. К сожалению. Другого пути нет.

Он напряжен и несчастен.

Писатель. Как-то там... тускло, а, Профессор?

Профессор подавленно молчит.

Писатель. Ну, что, может здесь тоже добровольцы найдутся? Профессор, вы там что-то говорили насчет логики чуда...

Сталкер. Простите. Видимо, надо тащить жребий. Вы ведь сами предлагали?

Писатель. Здесь я бы, пожалуй, предпочел добровольца.

Сталкер достает спички, отвернувшись, что-то делает с ними, потом выставляет зажатые между пальцами две спичечные головки.

Сталкер. Пойдет длинная. Тащите...

Писатель вытаскивает спичку.

Сталкер. Длинная. На этот раз не повезло.

Он отбрасывает оставшуюся спичку далеко в кучу мусора. Писатель несколько секунд смотрит на него, затем поворачивается к входу в коридор. Вглядывается, гоня спичку из одного угла рта в другой.

Писатель. Вы бы хоть гаечку туда бросили, что ли...

Сталкер. Да, разумеется... Берегите глаза!

Он достает гайку, прикрывает левой рукой лицо и швыряет гайку в черное жерло. Отскакивает в сторону.

Слышно, как гайка ударяется в цементный пол, и вдруг ослепительное дрожащее сияние заливает мрачный проход. Профессор и Писатель пятятся, закрываясь ладонями. Сияние продолжается несколько секунд, затем медленно затухает.

Писатель. Что это было?

Сталкер. Ничего. Это не опасно. Просто свет. Идите.

Пауза. Писатель заглядывает в коридор.

Писатель. Ладно. Иду<sup>16</sup>.

Он засовывает руки в карманы и, ернически посвистывая, то и дело оборачиваясь и подмигивая стеклянным от ужаса глазом, входит в коридор.

Сталкер хватает Профессора за плечо и силой оттаскивает его в сторону с полосы обожженной земли. Замерев, они слушают стук, гул, лязг прерывающееся посвистывание, доносящиеся из коридора. Затем становится тихо, и напряженный голос Писателя произносит:

— Здесь дверь какая-то... Входить?

---

16 Вставлен фрагмент от реплики «Да, разумеется...» и до этого места. В «режиссерской разработке» большая часть вставленного удалена.

Сталкер бросается в коридор, Профессор, придерживая на носу очки, за ним. Они останавливаются около Писателя, который топчется возле массивной двери, замыкающей коридор.

П и с а т е л ь. Дальше что?

С т а л к е р. Дальше — туда... Открывайте дверь и входите.

П и с а т е л ь. Опять я? Входить.

С т а л к е р (напряженным голосом). Вам же выпал жребий... Идите, тут нельзя долго...

Писатель достает из заднего кармана пистолет, решительным движением оттягивает затвор и берется за ручку двери. Сталкер хватает его за руку.

С т а л к е р. Стойте! Что вы делаете? Не надо!

П и с а т е л ь. А вам-то что?

С т а л к е р. Отдайте! Вы же погибнете так! И нас погубите! Вспомните танки! Здесь нельзя с оружием!

Писатель колеблется.

С т а л к е р (умоляюще). Я вас очень прошу — отдайте... Ну в кого вы там будете стрелять? В собственную судьбу?

Писатель отдает пистолет Сталкеру. Тот брезгливо берет его двумя пальцами и осторожно кладет в сторону на пол.

С т а л к е р (Профессору). А у вас, надеюсь, ничего такого нет?

П р о ф е с с о р. У меня на этот случай ампула...

С т а л к е р. Что? Ампула?

П р о ф е с с о р. Ампула зашита. Яд.

С т а л к е р. Боже мой! Вы что же — умирать сюда пришли?

Писатель тянет за дверную ручку. Дверь медленно, со скрипом растворяется.

## 11. КОМНАТА С ТЕЛЕФОНОМ

Насквозь пропыленная комната, заставленная старинным мебельным хламом. У входа на стене висит обросший пылью телефон. Профессор, стащивши со спины рюкзак, тяжело опускается в кресло под телефоном. Писатель, руки в карманах, присев на край замызганного стола, усмехаясь, следит за Сталкером, который всячески суетится вокруг него, оглаживает, придвигает кресло, усаживает.

С т а л к е р. Вы сядьте, сядьте поудобнее, вот, садитесь! Ничего, ничего... Все мы перенервничали, правда, но теперь все позади... Как же я рад за вас! Прекрасный вы человек! Правда, я уж и не сомневался почти, но все же вы такую муку выдержали! Это же страшное место, самое страшное в Зоне! У нас его зовут мясорубкой, но это хуже любой мясорубки! Сколько людей здесь погибло! И брат Дикобраза тут погиб, такой тонкий, талантливый! Вот, послушайте:

На пространство и время ладони  
Мы наложим еще с высоты.  
Но пойдем, что в державной короне  
Драгоценней звезда нищеты,  
Нищеты, и тщеты, и заботы.  
О нерадостном хлебе своем,  
И с чужими созвездьями счесть  
На земле материнской сведем...

Хорошо, правда? Это его стихи.

Профессор и Писатель молчат, хмуро глядя на него.

С т а л к е р. Ну и слава богу! Это ведь не часто, ох, как нечасто бывает, чтобы дошли все, кто вышел... А вы правильно вели себя... Вы не представляете себе, как я рад! Вы — добрые, честные, хорошие люди, и я горжусь тем, что не ошибся!

Писатель молча глядит на него. Молчит, потом вдруг взрывается.

П и с а т е л ь. Да что ты все юлишь! Что ты суетишься? Сядь, смотреть тошно!

Сталкер послушно садится в углу. Улыбается сконфуженно и заискивающе.

П и с а т е л ь. Рад он до смерти, что все хорошо получилось! Я, видите ли, прекрасный человек! Ты думаешь, я не видел, как ты мне две длинных спички подсунул? Судьба! Зона! А сам жульничает, как последняя дешевка...

С т а л к е р. Нет-нет! Вы не понимаете...

П и с а т е л ь. Ну, конечно, конечно, куда мне! Опять психологические бездны! (Профессору.) Вы меня извините, Профессор, я ничего дурного в ваш адрес не хочу сказать, но вот этот поганый гриб почему-то выбрал вас своим любимчиком, а меня, как существо второго сорта, сунул, видите ли, в мясорубку! (Сталкеру.) Да какое ты имеешь право, сморчок поганый, выбирать, кому жить, а кому умирать?

С т а л к е р. Я ничего не выбираю, поверьте! Вы сами выбрали!

П и с а т е л ь. Что я сам выбрал? Одну длинную спичку из двух длинных?

С т а л к е р. Спички — это ерунда. Это результат! Вы сами выбрали еще там, в зале! Там Зона пощадил вас, и ясно стало — уж если кому суждено пройти мясорубку, так это вам! Только вам!

П и с а т е л ь. Ну, знаете!..

С т а л к е р. Я никакая не судьба, я только... ее рука! Я никогда сам не выбираю, я всегда боюсь ошибиться. Вы не представляете, как это страшно... Но ведь кто-то должен идти первым!..

В этот момент гремит телефонный звонок. Все вздрагивают, испуганно глядят на телефон. Снова гремит звонок. Профессор и Писатель вопросительно смотрят на Сталкера. Тот явно испуган.

Тогда Профессор поднимается и берет трубку.

С т а л к е р. Не трогайте!

П р о ф е с с о р. Слушаю...

В ответ слышится размеренный квакающий голос.

Г о л о с. Это два-двадцать три-сорок четыре-двенадцать?

П р о ф е с с о р. Д-да...

Голос. Как работает телефон?

П р о ф е с с о р. Я не... Н-нормально...

Г о л о с. Благодарю, проверка.

Слышатся короткие гудки. Профессор медленно кладет трубку.

С т а л к е р. Значит, он все-таки работает?

Профессор вдруг поворачивается к спутникам спиной, загораживая телефон, быстро снимает трубку и набирает номер.

Несколько длинных гудков, затем женский голос:

— Да?

П р о ф е с с о р. Заведующего лабораторией, пожалуйста!

Ж е н с к и й г о л о с. Одну минуту...

Профессор ждет. Поворачивается, мельком взглядывает на спутников и снова поворачивается к ним спиной. Раздается мужской голос:

— Слушаю.

П р о ф е с с о р. Надеюсь, я тебе не помешал?

Пауза.

Мужской голос (сухо). Что тебе надо?

Профессор. Всего несколько слов. Вы спрятали, а я нашел. Старое здание, четвертый бункер.

Пауза.

Профессор. Алло! Ты слушаешь?!

Мужской голос (яростно). Только посмей! Я немедленно сообщаю в корпус безопасности!

Профессор злорадно смеется.

Профессор. Можешь, можешь теперь сообщать, писать доносы, учреждать медицинские экспертизы, можешь угрожать и натравливать на меня моих сотрудников, только поздно! Никакие твои подлости мне уже не помешают. Я нахожусь в двух шагах от места. От того самого места. Слышишь? (Пауза.) Ты слушаешь?!

Мужской голос. Ты понимаешь, что это конец тебе как ученому?

Профессор. Это я переживу легче всего.

Мужской голос. Ты понимаешь, что тебя ждет?

Профессор. Опять пугаешь? Я действительно всю жизнь чего-то боялся. Даже тебя боялся. Но теперь мне совсем не страшно, уверяю тебя...

Мужской голос. Боже мой! Ты ведь даже не Герострат... Ты... Тебе просто всегда хотелось мне нагадить, и мы оба знаем — за что. За то, что двадцать лет назад я переспал с твоей женой, за то, что она всегда любила не тебя, а меня... И теперь ты в восторге, что тебе наконец удалось со мной поквитаться... Ладно, иди. Совершай свою гнусность. Но я тебе все-таки напомню... Не смей вешать трубку! Тюрьма — это не самое страшное, что тебя ожидает. Ты сам себе никогда не простишь, я знаю... да я просто вижу, как ты висишь над тюремной парашей на собственных подтяжках!..

Профессор резко вешает трубку и стоит, не оборачиваясь.

Писатель (негромко). Что это такое вы затеяли, Профессор?

Профессор поворачивается.

Профессор (бешено). А вы представляете, что будет, когда в ту самую комнату поверят все? Когда они все кинутся сюда! Ведь это же вопрос времени! Не сегодня, так завтра... И не десятки, а десятки тысяч! Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры, этакие благодетели рода человеческого! Не за деньгами, не за вдохновением, а мир переделывать!.. По своему отвратительному образу и подобию!

Сталкер (торопливо). Нет-нет! Я таких сюда не беру! Я же понимаю!

Профессор. Да что вы можете понимать, смешной вы человек! Да и не один вы на свете сталкер! И не все сталкеры такие, как вы! И никто из сталкеров не знает, с чем сюда приходят и с чем отсюда уходят те, которых они ведут... Вы же сами признались, что не знаете! А уровень мотивации преступлений падает! Из-за медяка могут зарезать человека! Может быть, это ваша работа? А военные перевороты, «гориллы» у власти, мафия в правительствах — может быть, это тоже ваши клиенты? Откуда вы можете это знать? А лазеры, а чудовищные сверхбактерии, вся эта угрюмая мерзость, запрятанная до поры сейфах...

Писатель. Да прекратите вы этот социологический понос! Неужели вы сами способны поверить в эти сказки?

Профессор. В страшные сказки я верю! В добрые — нет. А в страшные — сколько угодно!

П и с а т е л ь. Бросьте, бросьте!<sup>17</sup> Не может быть у отдельного человека такой ненависти или такой любви, которые касались бы всего человечества! Деньги, баба, ну месть какая-нибудь — чтобы начальника своего машиной задавило... Это еще туда-сюда, а власть над миром! Справедливое общество! Царство божье на земле! — это ведь не желания, это слова, идеология, лозунги... Действие, концепции. Неосознанное сострадание — не может реализоваться как простое желание. Инстинктивное!

С т а л к е р. Конечно! Ведь счастье — это очень личное. Не может быть счастья за счет несчастья других...

П и с а т е л ь (не слушая). Вот я совершенно ясно вижу, что вы замыслили сокрушить человечество каким-то невообразимым благодеянием. А я совершенно спокоен! И за вас, и за себя, и уж тем более за человечество. Ничего у вас не выйдет. Ну, в лучшем случае получите вы свою Нобелевскую премию, или, скорее всего, будет вам что-нибудь совсем уж несообразное, о чем вы вроде бы и думать-то не думаете... Телефонное... Это же закон! Мечтаешь об одном, а получаешь совсем-совсем другое.

Он замолкает, отдуваясь.

С т а л к е р (робко). Может быть, пойдем в Комнату? Скоро вечер, темно будет возвращаться...

## 12. КОМНАТА

И вот они стоят перед широким, как ворота, дверным проемом на пороге Комнаты — совершенно пустого помещения. На цементном полу — черные лужи, сквозь проломленный потолок светит вечернее небо.

Профессор опускает к ногам рюкзак. Писатель делает шаг к порогу, но Сталкер движением руки останавливает его.

С т а л к е р (мягко). Одну минуточку, не надо торопиться.

П и с а т е л ь. А я и не тороплюсь никуда.

С т а л к е р. Я знаю... Вы будете сердиться... Но все равно. Я должен сказать вам несколько слов. (Прокашливается в волнении.) Вот мы с вами стоим на этом пороге. Наступает наверняка самый важный момент в вашей жизни. Вы должны знать, что здесь <ис>полнится только самое заветное ваше желание, самое искреннее, самое глубокое. Самое выстраданное. Никакие слова вам не помогут. Да вам и не надо ничего говорить. Вам нужно просто сосредоточиться и попробовать вспомнить свою жизнь. Когда человек думает о прожитом, он становится добрее. Вам нужно быть очень добрыми сейчас. Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь — идите. Кто хочет первым? Вы?

П и с а т е л ь. Я? Нет. Я не хочу.

С т а л к е р. Я понимаю. Это не так-то просто. Но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет...

П и с а т е л ь. Едва ли это пройдет. Во-первых, если я стану вспоминать свою жизнь, вряд ли стану добрее... А потом, разве ты не чувствуешь, как это все срамно? Унижаться, сопли распускать... Молиться...

---

17 Здесь удалено «Да что такое фюрер, в конце концов? Всего-навсего несостоявшийся живописец, да еще импотент вдобавок... Неужели вы думаете, что, придя в комнату, он получил бы мировое господство? Чуть! Он получил бы прекрасную потенцию, да умение малевать пейзажи лучше прежних».

С т а л к е р. А что дурного в молитве? Это вы от гордости так говорите. Вы успокойтесь. Вы просто еще не готовы. Это бывает... довольно часто... (Профессору.) Может быть, раньше вы?

Профессор сидит на корточках и расшнуровывает рюкзак. Обнажается массивный металлический цилиндр.

П и с а т е л ь. Вуаля! Перед вами новое гениальное изобретение профессора... Профессора! Прибор для исследования судьбы человеческой души! Душемер!

П р о ф е с с о р (не поднимая головы). Нет. Это атомная мина.

Пауза.

П и с а т е л ь. Шутка?

П р о ф е с с о р. Нет. Атомная мина. Двадцать килотонн.

П и с а т е л ь (глупо). З-зачем?

П р о ф е с с о р. Мы собрали ее с... бывшими моими коллегами. Никому никакого счастья место это не принесет, а если попадет в дурные руки... Впрочем, теперь я уж и не знаю... Им вдруг взбрело в голову, что делать это все-таки нельзя. Если это даже и чудо — то прежде всего это часть природы и, значит, надежда... В определенном смысле... Они спрятали эту мину, но я ее нашел. Котельная, четвертый бункер.

Все очень просто: набрать четыре цифры и... ну, в общем, не будет больше этого места на свете...

Видите ли — существует общий принцип — никогда не совершать необратимых действий. Я понимаю, я ведь не маньяк. Но пока эта язва здесь открыта для этой сволочи — ни сна, ни покоя... Ни сна, ни покоя... Или, по-вашему, сокровенное не позволит? А? Как вы думаете?

П и с а т е л ь. Бедняжечка... Нашел себе проблемку... Ай да дьявол!

И тут Сталкер кидается к Профессору и вцепляется в мину. Профессор тоже вцепляется в мину, и тогда Сталкер с визгом принимается неумело, по-бабьи, его избивать, валит, царапает, пинает коленками. Профессор почти не сопротивляется. Набегает Писатель, отрывает Сталкера от Профессора, бьет его — расчетливо, профессионально, и после каждого удара Сталкер летит на землю, но каждый раз как заведенный вскакивает и слепо бросается к Профессору. В конце концов Писатель скручивает руку Сталкеру и приводит его в относительную неподвижность.

П и с а т е л ь. Ишь ты, хорек вонючий... задело-таки тебя за живое... крыса смиренная... А ну, стой смирно!

С т а л к е р (всхлипывая). За что? Вы подумайте... Почему вы меня?.. Он же хочет все это уничтожить... счастье, надежду... Он ведь и вашу надежду хочет уничтожить...

Писатель отшвыривает его в угол. Он оглушен, но продолжает что-то лихорадочно бормотать.

С т а л к е р. Ведь ничего не осталось у людей в этом мире больше!.. Только эта комната... ведь это единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что... Ведь вы же сами сюда пришли!.. Зачем же вы разрушаете... веру!..

П и с а т е л ь. Замолчи! Я же насквозь тебя вижу! Плевать ты хотел и на людей и на их счастье! Ты же деньги зарабатываешь на нашей тоске! И не в деньгах даже дело... Ты же здесь наслаждаешься, ты же здесь царь и бог, ты, мелкая лицемерная крыса, решаешь, кому жить, а кому умереть... Ты выбира-

ешь! Решаешь! Теперь я понимаю, почему ваш брат сталкер сам никогда не ходит в Комнату... А зачем? Вы здесь властью упиваетесь, тайной, авторитетом! Какие уж тут еще желания!

С т а л к е р (исступленно). Это неправда! Вы ошибаетесь! Не так все это, не так! Сталкеру нельзя входить в комнату! Нельзя! Сталкеру вообще нельзя приходить в Зону с корыстной целью! Вы вспомните Дикобраза! (Поднимается на колени.) Да, вы правы, я — крыса, я ничего не сделал там, в том мире и ничего не могу там сделать... Я счастья даже жене и дочери не сумел дать!.. Друзей у меня нет и быть не может. Но моего вы у меня не отнимайте. У меня и так все уже отняли — там, за колючей проволокой. Все мое — здесь! Понимаете, здесь, в Зоне. Свобода моя, счастье мое — все здесь... Ведь я привожу сюда людей таких же как и я, несчастных, замученных. Они ни на что больше не надеются — только на Зону! А я могу! Я могу им помочь! У меня сердце кровью обливается, когда я на них смотрю, я от счастья плакать готов, что я могу им помочь! Весь этот огромный мир не может. А я — могу! Вот и вся моя жизнь. И я больше ничего не хочу. А когда придет мне пора умирать, я приползу сюда, в эту комнату, и последняя мысль моя будет — счастье для всех! Даром! И пусть никто не уйдет обиженным!

Писатель с кряхтением опускается на пол.

П и с а т е л ь. Ну, может быть... Не знаю... Но все равно — ты меня извини, но все, что ты сейчас говорил здесь, — глупо. Ты просто юродивый. Ты же понятия не имеешь, что здесь происходит. Почему, по-твоему, повесился Дикобраз?

С т а л к е р. Да вся-то беда в том, что он пришел в Зону с корыстной целью... И загубил брата своего в мясорубке, чтобы богатым стать...

П и с а т е л ь. Это я понимаю. А почему он все-таки повесился? Почему он не пришел в эту комнату еще раз — теперь уже точно не за деньгами, а за братом... А?

С т а л к е р. Он хотел, он все время говорил об этом... Он даже пошел, но... Не знаю. Через несколько дней он повесился.

<П и с а т е л ь.><sup>18</sup> Он понял, что в комнате этой не просто желания, а сокровенные желания исполняются. А что ты там в голос кричишь! Брата, мол, хочу вернуть единственного, счастья, мол, для всего человечества, вдохновенья мне, умоляю! На месте этом то сбудется, что натуру твою составляет, суть! О которой ты понятия не имеешь, а оно в тебе сидит, и всю жизнь тобой управляет! Ничего ты, Кожаный Чулок, не понял, Дикобраза не алчность одолела. Да он по этой луже на коленях ползал, брата вымаливал, а получил кучу денег, и ничего иного получить не мог. Потому что Дикобразу — дикобразово. А совесть, душевные муки — все это придумано, от головы. А суть его дикобразова была. Понял он это и повесился...<sup>19</sup>

Не пойду я в твою комнатку! Не хочу дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать. Даже на твою. А потом, как Дикобраз, в петлю лезть. Лучше уж я в своем вонючем писательском особняке сопьюсь тихо и мирно. Нет, Большой Змей, паршиво ты в людях разбираешься, если таких, как я, в Зону водишь...

18 Реплика идет как продолжение реплики Сталкера — очевидная незамеченная описка.

19 Удалено: «Мне все время казалось, что мы какой-то дурацкий спектакль разыгрываем. В особенности наш ангел-хранитель старался... Только не думаешь ли ты, что если мы с Профессором живы еще, то ты нас не убивал? Убил! Хоть мы и живы, и не надейся!».



Наступает долгое молчание. Сталкер плачет.

Писатель вскакивает.

П и с а т е л ь. Потом... Откуда вы взяли, что это чудо есть на самом деле? Кто вам сказал, что здесь действительно желания исполняются? Вы видели хоть одного человека, который был очастливлен? А? Может, Дикобраз?

В запале Писатель спотыкается. Он испуганно зависает на одной ноге на самом пороге Комнаты, нелепо расставив руки для равновесия. Профессор и Сталкер, замерев, с ужасом глядят на него. И он, не удержавшись на ноге, с жалобным ревом валится на бок, падает на цементный пол и выкатывается по черным лужам на самую середину Комнаты.

Несколько секунд он лежит неподвижно, затем медленно поднимается и садится, размазывает по лицу грязную воду. Оглядывается, смотрит на Профессора и Сталкера, жалобно улыбаясь.

П и с а т е л ь (невнятно). Я не хотел... (Прокашливается.) Право, я совсем не хотел... Это нечаянно... Но я... Вы не бойтесь... Я вас люблю... То есть не то чтобы люблю... Мне просто вас жалко... Я не желаю вам плохого...

П р о ф е с с о р. Да вылезайте вы оттуда, черт вас подери!

П и с а т е л ь. Сейчас, сейчас... Сию минуту... ноги что-то...

Он неловко, задирая зад, на четвереньках выползает за пределы комнаты и садится рядом со Сталкером. Его всего трясет. Сталкер успокаивающе оглаживает его, бормочет что-то утешительное, по щекам его по-прежнему текут слезы.

П и с а т е л ь. Ну вот... И ничего не случилось... Все в порядке... А вы говорите — чудо...<sup>20</sup>

Небо за проломленным потолком темнеет, уже почти не различить лиц. И тут раздается голос Профессора. Он говорит, а руки его как бы механически с натугой отвинчивают верхнюю часть цилиндра, обрывают тянущиеся провода и принимаются разбирать мину, разбрасывая деталь за деталью во все стороны.

П р о ф е с с о р. Наверное, прав Писатель: космический подарок сейчас бесполезен для человечества. Как бесполезен и безопасен был бы электродвигатель для неандертальцев... Но ведь настанет время, когда мы научимся понимать и подчинять себе наши самые сокровенные желания... И тогда мы посмотрим!<sup>21</sup>

Сталкер и Писатель, как замороженные, следят за движениями Профессора. Сталкер, словно ища защиты, прижимается к Писателю, и тот обнимает его за плечи грязной исцарапанной рукой. Все темнее становится на пороге. Пронесшийся ветерок рябью подергивает черные лужи на полу Комнаты под темнеющим небом...<sup>22</sup>

20 Добавлено, начиная с фразы «Профессор и Сталкер, замерев, с ужасом глядят на него», и до данного места. Вместо этого фрагмента было (и потом в основном восстановлено): «Еще немного — и он бы выпал через порог на цементный пол Комнаты, но Профессор вовремя хватает его за штаны. Сталкер подходит и успокаивающе оглаживает его, бормочет что-то утешительное, но при этом всхлипывает, и по его щекам по-прежнему катятся слезы».

21 Эта реплика заменила собой другую: «П р о ф е с с о р. Только я не понимаю... Кому же тогда сюда ходить?..».

22 В «режиссерской разработке» затем добавлена следующая реплика: «С т а л к е р. Как там, не помню? “И предал сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем”...».

### 13. СНОВА В БАРЕ

Грохот электрички смолкает в отдалении.

И опять они сидят в том же кафе-забегаловке и за тем же столиком, только теперь они грязные, оборванные, заросшие, а за окнами не ночь, а хмурый слезливый день, и кельнер не дремлет за стойкой, а перетирает пивные кружки.

Сначала наши герои молчат, словно бы расслабившись, время от времени пригубивая из полупустых кружек, затем Писатель вдруг решительно залпом допивает свое пиво.

П и с а т е л ь. ...Я представляю себе все это в виде гигантского храма. Все, что создало человеческое воображение, фантазия, дерзкая мысль — все эти кирпичи — золотые кирпичи, из которых сложены стены этого храма: философия, книги, живописные полотна, эстетические теории, трагедии, симфонии, даже, черт возьми, наиболее смелые, основополагающие научные идеи<sup>23</sup>.

П р о ф е с с о р. Не хотите ли вы сформулировать смысл жизни?

П и с а т е л ь. Не перебивайте! Человечество существует лишь затем, чтобы создавать произведения искусства! Образы! Иллюзии абсолютной истины! Это, по крайней мере, бескорыстно, в отличие от всех других человеческих действий.

Пауза. Писатель вдруг неловко ухмыляется.

П и с а т е л ь. Шутка. Это все от пива. Пиво здесь... Разве это пиво? Давайте еще по одной, что ли?

П р о ф е с с о р. У меня больше нет денег.

П и с а т е л ь. И у меня нет...

П р о ф е с с о р (желчно). Вы же хвастались, что у вас везде кредит.

П и с а т е л ь. Да! Везде! А здесь — нет!

Профессор шарит в карманах, извлекает несколько монет пополам с мусором, выкладывает на стол.

П и с а т е л ь (с отворачиванием). Здесь и на кружку не хватит...

В этот момент у столика появляется хозяин, ловко расставляет перед ними полные, с шапками пены кружки, забирает кружки со спивками.

П и с а т е л ь (поднимает указательный палец). Ага! Мой читатель! Узнал!

Сталкер взглядывает поверх его головы на хозяина. Они ухмыляются друг другу, хозяин подмигивает Сталкеру и исчезает.

П и с а т е л ь. Ибо волей небес лишь поэт босоногий розы рвет без шипов на житейской дороге!

Сталкер и Профессор смотрят на него — на его небритую физиономию, на окровавленную тряпицу, съехавшую на лоб, — смотрят, а потом, не говоря ни слова, надолго припадают к своим кружкам.

С т а л к е р. Раньше меня всегда здесь жена встречала, когда я возвращался. У нее там целая десятка оставалась...

П и с а т е л ь. Какая десятка? Да я сейчас...

---

23 Удалено: «так уж и быть... А вот вся эта ваша технология, все эти домны, колеса, вся эта маяга-суета для того только, чтобы меньше работать и больше жрать, — все это стропила, леса, в общем, костыли. Они, увы, необходимы для построения нашего храма, он без них был бы совершенно невозможен, но... Все умирает, все забывается. Все исчезает. Остается только это здание. Честно говоря, человечество вообще-то существует лишь затем...».

С т а л к е р. Нет... Вы не понимаете. Я угощаю.

Он отходит к автомату, набирает номер и в тот же момент видит через окно жену и дочь, которые подходят к кафе. Тогда он вешает трубку и возвращается на свое место<sup>24</sup>.

Жена и дочь подходят к столику.

Ж е н а. Вернулся?..

С т а л к е р. Садись... И Мартышку посади.

Писатель вскакивает, придвигает к столику стулья. Жена усаживает Мартышку, садится сама и, взяв Сталкера за руку, обводит взглядом Писателя и Профессора.

Ж е н а. Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь уже поняли, наверное, он же блаженный... Вся округа над ним смеялась. Он был растяпа, жалкий тачкай... А мама говорила: он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант... И дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров... А я даже не спорила. Я и сама знала все это: и что смертник, и что арестант, и про детей... Только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, конечно, что и горя будет много, но только уж лучше горькое счастье, чем унылая серая жизнь. А может быть, это я уже потом придумала. А тогда он просто подошел ко мне и сказал: «Пойдем со мной». И я пошла. И никогда об этом не жалела. Никогда! И плохо было, и страшно было. И стыдно было. И все-таки я никогда не жалела и никому не завидовала. Просто судьба такая, жизнь такая, мы такие. А если бы не было бы в нашей жизни горя, то не было бы лучше. Хуже было бы. Потому что счастья не было бы тоже, и не было бы надежды. Вот. А теперь нам пора. Мартышка устала.

Она встает. Сталкер тоже поднимается.

С т а л к е р. Это вот мои друзья. И больше я туда никогда не пойду.

Он берет дочь на руки и идет к выходу, и она идет следом, а Писатель и Профессор смотрят им вслед.

#### 14. УТРО

Они идут по грязной мощеной улице вдоль обширной грязной лужи, за которой тянутся в туманной дымке грязные заборы и грязные заводские строения. Мартышка сидит верхом на плечах отца, держась за его уши, а он придерживает ее за щиколотки, а рядом с костыликами в руке идет жена. И Мартышка рассудительно разглагольствует, задирая к небу худое лицо, словно стараясь выглянуть из-под повязки, закрывающей ее глаза.

М а р т ы ш к а. И еще я желаю пирожных, шоколадных бутылочек с сиропом и копченых угрей... А потом все, чтобы нюхать, — цветы, приятные духи... Грибной суп хорошо пахнет. И еще шелковое платье, чтобы шуршало, если погладить... А еще у меня есть самое сокровенное желание — муфта меховая, чтобы мех был мягкий, теплый, пушистый, гладкий...

Нарастает, накатывается и заглушает ее голос грохот пролетающей электрички.

*Публикация Сергея Филиппова*

24 В «режиссерской разработке» вся сцена, начиная со слов «Сначала наши герои...» и до этого места удалена.

# Архивные материалы: Археология филологического знания\*

Джузеппина Ларокка

## Неизданные письма Льва Васильевича Пумпянского к Борису Михайловичу Эйхенбауму

Giuseppina Larocca

Unpublished letters by Lev Vasil'evich Pumpyanskiy to Boris Mikhailovich Eikhenbaum

**Джузеппина Ларокка** (Университет г. Мачерата, Италия, доцент русской литературы и русского языка; PhD) giuseppina.larocca@unimc.it.

**Ключевые слова:** интеллектуальная история, русская литература XIX—XX веков, формальная школа

УДК: 82.09

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_256

Шесть неизданных писем Л.В. Пумпянского к Б.М. Эйхенбауму, написанных между июнем 1937 года и февралем 1940 года, свидетельствуют об их исключительной близости в 1930-е годы и тем самым позволяют понять присущий им обоим общий круг научных интересов. Так, Пумпянский, не оставляя своего внимания к теории прозы, воспроизводит теперь те же самые категории, которые были представлены в его символистских работах о Достоевском 1919 и 1922 годов, такие, например, как *релятивизм*, *автор*, *герой*, *суд*, *пролитие крови* (с отсылкой к преступлению в романах Достоевского), с неизбежными уточнениями, но совсем в другом стиле, менее метафоричном и пафосном. В те же годы Б.М. Эйхенбаум, исходивший из совсем других теоретических пред-

**Giuseppina Larocca** (PhD; Associate Professor in Slavic Studies, Department of Humanities, University of Macerata, Italy) giuseppina.larocca@unimc.it.

**Key words:** intellectual history, 19<sup>th</sup>—20<sup>th</sup> century Russian literature, Russian formalism

UDC: 82.09

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_256

This paper presents and analyses six previously unpublished letters from L.V. Pumpyanskiy to B.M. Eikhenbaum, written between June 1937 and February 1940. These letters provide invaluable insight into the close relationship between the two scholars during the 1930s, highlighting their shared intellectual pursuits and the convergence of their theoretical interests. Pumpyanskiy, while maintaining his focus on the theory of prose, revisits and refines the categories he explored in his earlier symbolist works on Dostoevskii from 1919 and 1922. These categories include *relativism*, *author*, *hero*, *judgment*, and *shedding of blood* (in the context of crime in Dostoevskii's novels). Pumpyanskiy's approach in these letters is notably different from his previous one of 1910s, that is, less metaphorical and imbued with less pathos, reflecting a matured perspective.

\* Этой статьей наш журнал открывает новую периодическую рубрику «Археология филологического знания».

посылок, стал продвигаться в типологически сходном направлении, интересуясь в первую очередь такими жанровыми элементами, которые касаются эволюции и, следовательно, имеют чисто исторический характер.

During the same period, Eikhenbaum, despite starting from different theoretical premises, began to explore themes which paralleled Pumpyanskiy's interests. Eikhenbaum's focus shifted towards genre elements related to literary evolution, adopting a primarily historical approach. This typological convergence between the two scholars, despite their differing starting points, illustrates the dynamic and evolving nature of their intellectual engagement. By examining these letters, we gain a deeper understanding of the intellectual climate of the 1930s, particularly the ways in which Pumpyanskiy and Eikhenbaum influenced each other. Their correspondence not only documents their personal closeness but also illustrates the broader scholarly dialogues of their time.

В истории советской интеллигенции и, соответственно, в истории советского литературоведения раз за разом открываются интереснейшие материалы, касающиеся в первую очередь тех ученых, которые не принадлежали к официальной науке и неоднократно подвергались критическим нападкам со стороны ее представителей.

Публикуемые шесть писем Л.В. Пумпянского к Б.М. Эйхенбауму, написанные между июнем 1937 года и февралем 1940 года, показывают их бесспорную близость в 1930-е годы и позволяют понять круг научных интересов, связывавших двоих ученых. Эти документы принадлежат периоду, когда Пумпянский стал профессором кафедры истории русской литературы на филологическом факультете Ленинградского университета, где его студентами, а потом и учениками были, в частности, Л.М. Лотман и Г.П. Макогоненко. В эти годы он не только неоднократно посещает научные заседания в Пушкинском Доме, но и делает там ряд вызывавших очень оживленные дискуссии выступлений, среди которых следует отметить доклады «Кантемир и итальянская культура» (1934)<sup>1</sup> и «Творчество Третьяковского», прочитанный 11 ноября 1938 года<sup>2</sup>. Среди присутствовавших на этих докладах был и Эйхенбаум. О жизни и творчестве Эйхенбаума в 1930-е гг. подробно написал Евгений Тоддес, выделяя литературоведческий путь ученого и определяя его понятиями «интериоризация» и «адаптация» [Тоддес 2019: 220, 221, 224, 234]. Это десятилетие как для Эйхенбаума, так и для Пумпянского стало особенным временем не только их личной биографии, но и научного творчества.

Именно в это время Пумпянский вновь обращается, хотя и с дополнительными уточнениями, к положениям своих концепций философско-филологического периода конца 1910-х — начала 1920-х годов и, фактически употребляя ту же самую концептуальную систему, разработанную в предыдущий период, обновляет ее в соответствии со стилистическими парадигмами нового общества. Те категории, которые обсуждались автором в работах о Достоевском 1919 и 1922 годов, написанных в символистском духе, как например, *релятивизм*, *автор*, *герой*, *суд*, *пролитие крови* (с отсылкой к преступлению в романах Дос-

1 РО ИРЛИ РАН (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук). Ф. 150. Оп. 1 (1934). № 6.

2 Там же. Оп. 1 (1938). № 32.

тоевского), теперь повторяются и уточняются, но только в другом стиле, менее метафоричном и пафосном. Релятивизм, определяющий творчество Пушкина и Гоголя<sup>3</sup>, уступает место социальному реализму<sup>4</sup>; автор и герой более детально проанализированы в статьях о Тургеневе (1929—1930), где речь идет о «герое в поиске себя» или о «непродуктивном человеке», «суд» превращается в «государственный суд», а «пролитие крови» стало «романом поступка» Достоевского. Очевидно, что социологический язык Пумпянского тех лет достаточно условен, это не язык вульгарного или ортодоксального социологизма; его отношение к марксизму, как и у Бахтина, не было эпигонским и догматическим и возникло уже в самом начале 1920-х годов. В июне 1921 года Пумпянский принимал участие в беседе о философии марксизма в петроградской Вольфиле, а весной 1923 года читал книгу Карла Форлендера «Кант и Маркс», в которой доказывалась необходимость восполнения марксизма этическим учением Канта (ср.: [Николаев 2004: 323, 324]). В своем докладе «<О марксизме>» (1924) он отказывался рассматривать марксизм в качестве научной гипотезы, а его собственная идея социализма была более близка этическому подходу в неокантианской интерпретации [Там же]. Краткий социологический период Пумпянского (1927—1930), возможно, отвечал необходимости сочетания этики с практикой. Эта попытка Пумпянского, которую он сам признал неудачной, была частью процесса оформления его мировоззрения, постоянно возвращающегося, с уточнениями, к открытиям и идеям невеликого периода. Здесь, в случае с Пумпянским, подтверждаются слова Эйхенбаума, что «наука — не поездка с заранее взятым билетом до такой-то станции» [Эйхенбаум 1928: 7].

Знакомство Эйхенбаума и Пумпянского, скорее всего, произошло в конце 1920-х годов (хотя, может быть, они встречались в студенческие годы в рамках венгеровских семинариев на филфаке), как об этом Эйхенбаум пишет в своем дневнике (запись от 23 мая 1928 года):

В воскресенье, 20-го, у Мандельштамов знакомство с Л.В. Пумпянским (читал доклад о «Медн<ом> Всадн<ике>»). Было очень интересно, исторично. Пумпянский неокантианец, необычайный эрудит; интеллектуалист, почти астральный человек. Фетишизм «научного» метода — и потому глубокое понимание, но бесплодное. Пафос методизма, а не эпохи. Хорошо понимает нас, хотя называет религиозной сектой и сближает с марксистами. Разговаривать с ним очень любопытно [Устинов 2001: 249].

- 
- 3 «Жажда свободы прямо пропорциональна ее отсутствию, а ее отсутствие есть следствие десимволизации мира и дегероизации лица, т.е. релятивизма» [Пумпянский 2000: 566]. Ср. в книге о Гоголе: «Мир составлен Гоголем все в том же разорванном, релятивистическом состоянии...» [Там же: 588].
  - 4 Данная категория с этой дефиницией впервые обсуждалась в статье «Сентиментализм» (1947; опубликована посмертно): «...русский сентиментализм в высшей точке, которой он достиг, — в “Путешествии из Петербурга в Москву”, превращается в нечто выходящее за пределы сентиментализма, а именно — в социальный реализм, в завещание Радищева веку Пушкина, Гоголя и Толстого» [Пумпянский 2000: 445]. Несмотря на то что очерк опубликован в 1947 году в академической «Истории русской литературы», в нем отражены темы и подходы, изложенные в лекциях по «Истории русской классической литературы» 23, 26, 30 июля и 2 августа 1923 года. Нужно сказать, что курс «История новой русской литературы» (1921—1922) тесно связан с «Историей русской классической литературы» (1923) и работой «К истории русского классицизма» (1923—1924). Все они содержат насыщенную систему отсылок друг к другу [Николаев 2012: 290].

Запись Эйхенбаума подчеркивает, что доклад Пумпянского имел переключки с неокантианским методизмом (его подход, отмеченный Эйхенбаумом, характеризуется «фетишизмом “научного” метода», «пафосом методизма»), несмотря на то что в эти годы сам Пумпянский уже критически относился к неокантианству. Однако одновременно Эйхенбаум оценивает глубину доклада, в основе которого лежал, как мы знаем, ряд исследований Пумпянского о поэме и о творчестве Пушкина, писавшихся с конца 1910-х по первую половину 1920-х годов. Речь идет о докладе «Смысл поэзии Пушкина» (1919), лекциях по истории русской литературы 1922—1924 годов, работе «Петербург Пушкина и Достоевского» (1922), наброске «О “Медном всаднике”, о Петербурге, о его символе» (1925), за которыми в 1939 году последовало исследование «Медный всадник и поэтическая традиция XVIII века». В корпусе этих текстов Пумпянский выделяет три положения относительно развития стилей, топики и жанров: 1) «Медный всадник» — это произведение, в огромной степени отражающее традицию оды XVIII века, прежде всего с точки зрения воспроизведения формульных выражений (то же самое будет сказано в упомянутом исследовании «Медный всадник и поэтическая традиция XVIII века»); 2) поэма воспроизводит также серию тем и мотивов («оссианический гигант», «явление памятника»), присутствовавших в предшествующей литературной традиции, в основном у Державина и в европейском романтическом наследстве; а также 3) произведение представляет собой эмблематический конец неоклассической традиции, «конец оды», ибо в центре внимания Пушкина больше не Муза, согласно Пумпянскому, символ-вдохновительница оды по преимуществу, а история, в данном случае история города (то, что фактически определяется как «релятивизм»). С этой точки зрения не случайно в лекции о «Медном всаднике» 17 октября 1929 года (до нас дошли записи Н.Н. Кузнецова) Пумпянский утверждал, что самый главный элемент в литературном анализе — «литературный процесс, а не литературное произведение» [Пумпянский 2000: 672] (ср.: [Там же: 813, 816]). Таким образом, посредством анализа пушкинского стиля и топики Пумпянский демонстрирует эволюцию литературных жанров, в данном случае переход от оды к поэме и от поэмы к роману.

По всей видимости, доклад, где присутствовал Эйхенбаум, был по манере рассмотрения стилистическим, вернее, историко-литературным — однако не без утверждений, свойственным упомянутым работам 1920-х годов о пушкинской поэме; он мог содержать некоторые термины и понятия (Муза, символ), оставшиеся в литературоведческой практике Пумпянского. По этой причине Эйхенбаум назвал его «астральным человеком», человеком, глубоко погруженным в символизм.

В эти годы Пумпянский, как и Бахтин, стал критиковать основы формального метода. Как упомянуто в записи Эйхенбаума, он назвал формалистов «религиозной сектой, близкой к марксистам», но не только. В статье «Поэзия Ф. Тютчева» (1928) Пумпянский признаёт заслуги Эйхенбаума и Тынянова на уровне выявления особенностей и происхождения поэтического языка и фразеологии, но отмечает также ограниченность их подхода: на его взгляд, проблема фразеологии Тютчева не может быть сведена только к так называемому «ранговому вопросу», то есть к разделению «высокого» и «низкого» стиля, а должна рассматриваться с точки зрения развития поэтической топики [Там же: 252] (см. также: [Тынянов 1977а; 1977б; Эйхенбаум 1969]). Через год критика «формализма» повторяется на страницах статьи «Романы Тургенева и

роман «Накануне». Историко-литературный очерк» (1929), предисловия к одному из томов «Собрания сочинений Тургенева», где текстологией занимается Эйхенбаум. В своем предисловии Пумпянский считает методическим пороком формального метода непонимание неизбежной оценки и непрерывного суда, свойственного человеческой речи:

Суд неотделим от литературы, хотя бы уже потому, что всякое словесное высказывание есть суждение, суждение же о жизненном факте сопровождается неизбежно оценкой (очень часто безмолвной и предполагаемой). Уже простая человеческая речь есть непрерывный суд; литература, представляющая вообще квалифицированное состояние человеческой речи, неотделима поэтому от суда (тоже квалифицированного и усложненного). Непонимание всей серьезности этого факта составляет, кстати, коренной методический порок так называемого формализма [Пумпянский 2000: 382].

Возможно, именно этот элемент критики формального метода мог бы содержаться в работе «Против формального метода изучения литературы», которую Пумпянский собирался опубликовать, вероятно, в духе бахтинской статьи 1924 года. Данное исследование, анонсированное среди изданий, готовящихся к печати, в книге «Достоевский и античность», вышедшей в свет в 1922 году, так никогда и не было напечатано (рукопись его не сохранилась) [Николаев 2000: 697—705].

Несмотря на эту резкую критику «формализма», конец вышеупомянутой записи Эйхенбаума позволяет предсказать продолжение отношений между двумя учеными, что подтверждается публикуемыми письмами, где обсуждается творчество Толстого и Лермонтова. В критическом отношении к Пумпянскому 1920-х годов, отраженном в записи Эйхенбаума, впоследствии что-то изменилось.

Взаимоотношения Пумпянского и Эйхенбаума на протяжении последующих десяти лет были достаточно близкими. Эти дружеские отношения подкрепляются знакомством их семей (жена Пумпянского Евгения Марковна Иссерлин была ученицей Эйхенбаума). Пумпянский и Эйхенбаум оба преподают, формируют новое поколение литературоведов и филологов, их научный подход отличается от подхода прежних лет. Пумпянский обращается к социальным и историческим аспектам, но не изменяется радикально и пытается понять, каково было воздействие неизбежных социальных изменений в прошлом и настоящем литературы. Новые запросы, однако, никогда не воспринимались и не принимались механически, они неизбежно принадлежат тому же пути, на примере обоих ученых описанному Тоддесом при помощи понятий «интериоризация» и «адаптация».

В письме от 10 апреля 1937 года Пумпянский советует Эйхенбауму обратиться к книге «The Twentieth Century Novel. Studies in Technique» (1932) американского литературоведа Джозефа Уоррена Бича (Joseph Warren Beach, 1880—1957), в то время уже автора работ, посвященных Томасу Харди и английской и американской прозе [Beach 1922; 1926; 1936]. В работе Бича, согласно Пумпянскому, Эйхенбаум мог бы найти интересные детали о Толстом и Теккере, особенно об их воспроизведении драматического идеала. В своей монографии «Лев Толстой. Книга первая. 50-ые годы» (1928) Эйхенбаум уже учитывал влияние английского писателя на толстовский очерк «Севастополь в августе 1855 года», во многом отличавшийся от прежних на уровне описательной тех-



ники, отмечая, что композиционный и разъединяющий прием Теккереев вполне принят Толстым, которому «по-видимому, хочется освободиться от строгих конструктивных форм»:

[«Севастополь в августе 1855 года»] гораздо более мозаичен и кусковат, чем прежние вещи Толстого. Психологические детали явно отрываются от собственно-военного материала, описания и характеристики людей приобретают вид отдельных этюдов, конструкция теряет прежние прозрачные очертания, персонажи толпятся, теснят друг друга и, показавшись крупным планом, исчезают иной раз без следа. <...> В этой манере есть что-то от Теккереев, которого Толстого усиленно читает в 1855 г. Ему, по-видимому, хочется освободиться от строгих конструктивных форм, которых он добивался прежде. Следуя примеру Теккереев, он дает простор описательным деталям и расширяет объем вещи, не заботясь о протягивании через нее повторяющихся мотивов и о скреплении концовкой, как раньше. Вещь явно перерастает свои собственные рамки, являясь скорее всего этюдом большой формы — в стиле теккереевских романов, не столько движущихся, сколько складывающихся мозаикой. <...> Начинает обрисовываться типичный толстовский герой, душевная жизнь которого текуча и парадоксальна: «чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости меняются в душе благородного юноши», говорит с недоумением критик.

Следы чтения Теккереев сказываются здесь еще и в той «объективности» тона, которой до сих пор не было. Патетический лиризм, которым был окрашен второй очерк, здесь снят совершенно, — тоже, по-видимому, в виде опыта. Вышеприведенная фраза о герое звучит совсем по-теккереевски. Позже, в мае 1856 г., Толстой много раз задумывается над этим вопросом и заносит в свою записную книжку интересные формулировки, в которых фигурирует и Теккерей... [Эйхенбаум 1928: 236—239]<sup>5</sup>.

Исходя из своих наблюдений Пумпянский советует Эйхенбауму посмотреть XV главу монографии Бича под заглавием «Dramatic Present: Thackeray, Tolstoy» [Beach 1960: 167—170] (письмо от апреля 1937 года), где Бич противопоставляет повествовательную практику Толстого и Теккереев, учитывая, однако, только «Анну Каренину» и «Ярмарку тщеславия». По Бичу, у Толстого имеется тенденция расширять время, в его произведениях действие происходит в течение нескольких дней, и сцены следуют друг за другом как в драматическом ряде, порой определяясь исключительными событиями; главный герой Толстого придает непрерывность пассажам значительной длины, даже когда описывается изменение обстановки действия [Ibid.: 165—169]. У Теккереев, напротив, продолжает Бич, центральность персонажа отсутствует, всегда выделяется переход от одного героя к другому и из одного места в другое, автор создает серию сцен, слабо стянутых вместе тонкой нитью сюжета. Таким образом, сцены представлены в форме хроники, производящей эффект, не являющийся драматическим, но в котором часто появляется ирония [Ibid.]. Данная техника, заканчивает Бич, доминирующая у Теккереев, происходит в основном из его первого опыта работы журналистом. На самом деле Бич видит у Теккереев те же самые характеристики, которые подчеркивал Эйхенбаум (фрагментар-

5 Под цитатой «критика» имеется в виду цитата из статьи С.С. Дудышкина о «Военных рассказах» и «Детстве» и «Отрочестве», вышедшей в ноябрьском номере «Отечественных записок» 1856 года.

ность, объективность, обилие деталей, присутствие людей, заполняющих своей толпой процесс повествования), и противопоставляет эту технику той же технике Толстого, не рассматривая, в отличие от Эйхенбаума, опыт Толстого — эссеиста и читателя Теккерея 1850-х годов.

В своей работе Бич выделяет тенденции повествовательных техник в романе XX века посредством восстановления авторских намерений [Ibid.: 3], сравнивая тексты и приемы писателей разных стран — Филдинга, Элиота, Гюго, Стендаля, Беннетта, а также русских авторов XIX века, в данном случае Толстого, Достоевского и Тургенева. Романы этих трех писателей привлекают внимание Бича, который, анализируя персонажей Тургенева и философию Достоевского, приходит к заключению, что Толстой и Тургенев лучше представляют русскую традицию романа:

Я не считаю его (Достоевского. — Дж.Л.) таким же великим романистом, как Толстой или Тургенев... Он специалист по психологии болезненных состояний, и во всех его книгах присутствует некая атмосфера кошмара, которая, как и в рассказах По, несомненно, представляет искусное художественное творение, но лишь отчасти соответствует дневной атмосфере, привычной нам по нашему опыту. Он не способен, подобно Толстому, переходить от тона «Макбета» к тону «Двенадцатой ночи» или «Генриха Четвертого» [Ibid.: 94]<sup>6</sup>.

Тургенев, как и Толстой, в концепции Бича воплощает реалистический элемент, высоко оцененный Генри Джеймсом и Уильямом Дин Хоуэллсом. Значение этого элемента заключается в создании героя, то, что Пумпянский, добавим, выделил в своей статье «Тургенев и Флобер» уже в 1930 году [Пумпянский 2000: 491]:

Его (Тургенева. — Дж.Л.) произведения представляют множество примеров упрощения формы, порожденного реалистическим направлением. Они вызвали восхищение у английских и американских писателей, в том числе у Хоуэллса и Джеймса. Джеймса восхищала в Тургеневе именно его способность сосредоточиться на характере, а не на сюжете (курсив мой. — Дж.Л.), его выбор персонажей, «интересных с нравственной точки зрения» и, на подготовительной фазе, его умение переходить от характера к действию, —

и дальше:

Я не знаю ни одного художественного произведения, в котором типы, столь разнообразные в целом и столь значимые в отдельности, были бы сведены воедино в повести такого объема, служащей иллюстрацией определенной социальной темы. В простом рассказе о событиях, происходящих в течение нескольких летних недель, сконцентрированы все элементы русской революции [Beach 1960: 131—132, 134—135].

Интересно заметить, что книга Бича была действительно получена библиотекой Пушкинского Дома. По штампу о поступлении книги видно, что она поступила 7 января 1935 года, то есть почти за три года до первого известного письма Пумпянского к Эйхенбауму в июне 1937 года. В этом экземпляре книги

6 См. подробнее X и XIV главы — «Philosophy: Dostoevski» и «Dramatic present: Dostoevski» [Beach 1960: 94—102, 155—163]. О Достоевском см. особенно: [Ibid.: 157—161]; о Толстом: [Ibid.: 167—170]. Здесь и далее перевод с английского мой.

имеются некоторые подчеркивания синим карандашом<sup>7</sup>. Если проанализировать эти пометы, можно увидеть, что они касаются как раз тех авторов, которыми Пумпянский занимался в то время. В частности, подчеркивания относятся к Джойсу, Прусту (статья «О Прусте» 1926 года, а также раздел «Литературы современного Запада и Америки», дальше ЛСЗиА), Драйзеру и Дос-Пассосу (разделы в ЛСЗиА — особенно о Драйзере, которого переводили в Советской России), Достоевскому («Достоевский и античность», вспомним также книгу М.М. Бахтина) и Тургеневу (статьи о Тургеневе, «Тургенев и Запад»). Что касается Пруста, пометы относятся к композиционным приемам французского писателя. По Бичу, «В поисках...» Пруста — это не роман, а «собрание воспоминаний» («a collection of memories» [Beach 1960: 48]), обязанных в основном опыту писателя. В частности, Бич подчеркивает, как композиция Пруста опирается на развитие тем («development of themes» [Ibid.: 49]), где сюжет не имеет особого значения [Ibid.: 53]. Эти наблюдения подтверждают то, что Пумпянский уже написал в статье «О Прусте» (1926), когда выявил, что у Пруста важно лишь присутствие деталей, а не сюжета:

...все вообще детали у Пруста получили несравненно большее значение, и притом не численно, а в принципе, потому что, кроме деталей, собственно говоря, ничего и нет. В известном смысле здесь произошло одно из решений вечного спора между чисто эстетическим интересом сюжета и научно-описательным познавательным интересом материала; каждое произведение было всегда решением вечной проблемы; в этом громадный теоретический интерес Пруста, прямое обогащение теории поэзии [Пумпянский 1998: 14].

И дальше: «Писать роман без сюжета значит отказаться от вымысла» [Там же: 16].

Причина особого внимания Пумпянского к книге Бича состоит в том, что Бич, естественно, не зная работ Пумпянского, сходным образом говорит о центральной роли героя в тургеневском романе. Сам Пумпянский раскрыл это положение в статьях о Тургеневе, в ЛСЗиА и в работе «Тургенев и Запад» (1940), тесно связанной с его тургеневскими статьями. В данных работах тургеневский роман определялся как «роман в поиске себя», как определенный симптом эпохи, имевший огромный резонанс как в европейской прозе XIX века, так и в современной литературе. Согласно этой концепции, в «романе поиска себя» (или «романе героя» или «героическом романе») [Пумпянский 2000: 381, 383, 385] сюжет больше не играет основной роли, главной целью становится определение героя и его личности, а основными приемами автора оказываются сравнение и неслыханное внимание к деталям [Пумпянский 1998: 13]. Поздний Тургенев, по мнению исследователя, продолжает и развивает флюберовскую традицию [Пумпянский 2000: 499, 502]. Но и сам Флобер испытывает влияние тургеневской прозы. Через Флобера, таким образом, эта композиционная и структуральная техника вошла в европейскую литературу, распространившись у современных европейских и американских писателей, воспринявших непосредственно или опосредованным образом такую манеру, способ построения персонажей и изображения природы, как это видно на примерах Джеймса Джойса, Уильяма Дина Хоуэллса, а также, вероятно, американского романиста Синклера Льюиса:

---

7 Благодарю Сергея Ивановича Николаева за любезную проверку шифров в библиотеке.

Возможно, что и «тургеневская женщина» сыграла известную роль в сложении героини Льюиса, реформаторши-интеллигентки, вступающей в борьбу за пробуждение людей, погруженных в сон; вероятно, поэтому роман воспринимается русским читателем как близкий по темам, заранее понятный и принципиально легкий: все, о чем рассказывает Льюис, известно нам из опыта прошлой русской литературы [Пумпянский 1930].

Значимость этого явления в динамике развития романа подтверждается у Пумпянского и изучением стилистики романа, в частности современного американского романа. В ЛСЗиА Пумпянский анализирует и сравнивает описания войны у Стивена Крейна и Толстого именно на основании того, что Крейн хорошо знал и читал Толстого:

Успех «Мэгги» выдвинул и другой роман Крейна «Алый знак доблести» («The red badge of honour», 1895), исторический роман о гражданской войне 1860-х годов, написанный, однако, совсем не так, как многочисленные американские романы на эту тему. Даже «Север и Юг» Эптона Синклера (Manassas 1904) при всех своих качествах трактует войну дотолстовскими методами. *Крейн же был глубоким знатоком Толстого* (курсив мой. — Дж.Л.); он считал его (как видно, между прочим, из переписки его с Джозефом Конрадом) величайшим европейским писателем XIX в. и особенно высоко ставил то преобразование баталистики, которое совершил Л. Толстой. Следуя ему, он отказывается от генерального изображения хода военных действий и хода битвы; дана только та часть битвы, которая входит в кругозор единичного ее участника; интересно и толстовское развенчание традиционного понимания воинской храбрости: храбр, для Толстого и для Крейна, тот, кто умеет преодолеть или дисциплинировать природный живому существу страх перед смертью или физическим страданием [Там же].

Таким образом, эти наблюдения и выводы Пумпянского конца 1920-х и начала 1930-х годов позволяют понять, как русский роман на уровне структуры, построения героя и стилистики мог способствовать формированию и становлению европейского и западного романа вообще.

Эйхенбаум в это же время, хотя исходит из других предпосылок, движется в типологически сходном направлении, интересуясь при этом не только формальными, но и структуральными, жанровыми элементами, касающимися эволюции и, следовательно, имеющими чисто исторический характер. После исследований первой половины 1920-х годов о Толстом [Эйхенбаум 1922а; 1922б], Эйхенбаум в статье «В поисках жанра» (1924), в «литбытовых» работах 1927 года, в предисловии к первому тому монографии о Толстом и в самой этой книге («Лев Толстой. Пятидесятые годы», 1928) начинает интересоваться «историческим поведением» Толстого, признавая важную роль личности в истории, «исторической судьбы, исторического поведения», и говорит также о внутренней жанровой эволюцией повествовательной композиции Толстого [Эйхенбаум 1928: 6] (см. также: [Левченко 2012: 176—178; Тоддес 2019: 223, 227])<sup>8</sup>. Хотя пер-

8 Это касалось не только Толстого, но также и современных поэтов, например таких, как Сергей Есенин. [Эйхенбаум 1927б]. Лидия Гинзбург в своей работе «Проблема поведения (Б. Эйхенбаум)» отмечает именно этот аспект [Гинзбург 2002: 441]. Здесь следует сравнить эти идеи Эйхенбаума с понятием «личной жизни в истории» Григория Винокура в его книге «Биография и культура», как это показывает и Гинзбург [Там же: 443].

спектива исследования неизменно была диахронической, она постепенно позволила открыть некоторые основополагающие категории эволюции прозы и романа, в частности даже современного. Недаром в 1924 году Эйхенбаум пишет, что в современном романе «отмирают традиционные конструктивные элементы повествовательных жанров, — герой, пейзаж, любовь и т.д.» [Эйхенбаум 1927а: 293]. Выход из тупика, в который попал русский роман, самим Эйхенбаумом был найден в жанре биографии.

Подобно роману в поисках себя (определение Пумпянского), биография или историческое поведение писателя также является предметом общего интереса: как создается роман, какую роль он играет в развитии жанра. Если сравнивать категории «исторического поведения» у Эйхенбаума как одной из основных черт романа, в частности у Толстого, и «романа в поиске героя» Пумпянского, связанного с тургеневским романом, то можно заметить отличия в подходе. В случае Эйхенбаума вопрос всегда относится к внутренней эволюции самого писателя. В книге «Лев Толстой: Пятидесятые годы» (1928) интерес Эйхенбаума безусловно обращен к жанровой эволюции, но при этом он целиком связан с внутренней эволюцией Толстого. Эйхенбаум анализирует биографический материал, заметки, тетради в новом свете, но при этом в пределах той же самой диахронической перспективы. Пумпянский же, со своей стороны, пытается преодолеть такой подход, который он при этом ценит и поддерживает. Его «роман в поиске себя» — что-то другое, и его перспектива — диахроническая, но на уровне жанрового процесса вообще, на основе историко-литературного анализа связи Тургенева с французской литературой. Тот же самый подход применен и к другому автору, первостепенному в исследованиях как Пумпянского, так и Эйхенбаума — Михаилу Лермонтову.

В письме № 6 от 11 февраля 1940 года Пумпянский информирует Эйхенбаума о статье, которую он пишет, с еще не определенным названием «Лермонтов и Запад» или «Два стиля Лермонтова».

Творчество Лермонтова было проанализировано Пумпянским еще в лекциях о русском писателе, написанных с мая по июль 1922 года и относящихся к летнему курсу Тенишевского училища [Николаев 2000: 824]. Судя по наблюдениям Пумпянского, лермонтовской прозе (прежде всего «Герою нашего времени») свойственно так называемое ускорение ритма (или его синонимы «ускоренный стиль», «ритм ускорения», «нервная быстрота» и «крайняя быстрота повествования») [Пумпянский 2000: 634, 642], то есть особый стиль повествования рассказчика. Пумпянский сразу говорит о трудности определения происхождения этой особенности, хотя, по его словам, можно найти ее истоки в повествовательной манере Стендаля и Мериме [Там же: 636] (см.: [Николаев 2012: 293, 294]), где ускорение ритма, как бы сжимавшее время, вынуждало человека (будь он рассказчиком, но, пожалуй, также и персонажем) к внезапным изменениям и, следовательно, к раскрытию его индивидуальности и личности. У Лермонтова «ускорение ритма» отмечается, например, когда путешествие рассказчика описывается так называемым «дорожным стилем» [Пумпянский 2012: 298], то есть именно так, как у Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «Откуда этот неподобный ритм быстроты? См. в лекциях о Лермонтове»: пишет Пумпянский в лекциях «<О стиле Карамзина>» [Там же: 299]. В анализе Пумпянского вопрос также тесно связан с «военно-умной торопливостью наполеоновского времени» [Там же: 636] (ср.: [Николаев 2012: 294]), отражающейся, по всей видимости, в нервозности личности рассказчика. Это

признак очень быстрых социально-экономических изменений. В лермонтовской прозе, по Пумпянскому, напряженный процесс рассказа ведет к судорожному внутреннему состоянию самого рассказчика, выражающемуся через его неожиданную веселость, точнее, «ироничную, умную веселость рассказывающего» [Пумпянский 2000: 636].

Соединение чисто формального анализа с социальной интерпретацией осуществлено в статье «Стиховая речь Лермонтова» (1939), опубликованной в 1941 году. Здесь Пумпянский называет Лермонтова звеном между поколением декабристов и следующим поколением Чернышевского. Пумпянский обсуждает также руссоизм Лермонтова и Толстого, тему еще малоизученную. В этом вопросе, на взгляд Пумпянского, «Валерик» играет фундаментальную роль: «Путь к крестьянству и крестьянской демократии» и тема «руссоизма» представляют собой «два разных строя стихотворной речи» Лермонтова [Там же: 344, 345].

Как и в случае работ о Толстом 1930-х годов, произведения Эйхенбаума 1930-х, а затем 1940-х годов, посвященные Лермонтову, отличаются от произведений предыдущего десятилетия: исследователь уделяет особое внимание политическому и моральному посланию таких произведений, как «Маскарад», незавершенный «Вадим», а также «Герой нашего времени», в которых возникает проблема природы зла и вины [Тоддес 2019: 247; Эйхенбаум 1961: 215, 216, 219; Апу 1994: 135]. Теперь интерес к Лермонтову, человеку, вынужденному подвергать все цензуре, становится почти проекцией биографических событий самого Эйхенбаума, и XIX век, как пишет Эйхенбаум Шкловскому от 26 января 1932 года, представляет собой тень, которая влияет на судьбу 1930-х годов следующего столетия (см.: [Апу 1994: 135]). Подготовка академического издания Лермонтова занимает большую часть работы Эйхенбаума в 1930-х годах, а Пумпянский учитывает это, когда в письме ссылается на свой замысел написать статью «Лермонтов и Запад» (вероятно, по образцу статьи «Тургенев и Запад») (см. письмо 6).

Спустя годы, в июле 1951 года, Эйхенбаум перечитал статью Пумпянского «Тургенев-новеллист» (1929) и сделал такую запись в своем дневнике: «Важно в “Переписке” Тургенева — против утопических идей: “Но не должно забывать, что не счастье, а достоинство человеческое — главная цель в жизни”» [Тоддес 2019: 254]. В статье Пумпянского говорится о романах и повестях Тургенева как о философских произведениях, в которых огромную роль играет «философско-пейзажная оркестровка» и фактически излагается «общее учение о жизни» [Пумпянский 2000: 430]. Тургенев — мастер «философско-пейзажной оркестровки» с особым методом философичности: от особого «единичного наблюдения» [Там же] до общего, с трактовкой при этом основных фаз человеческой жизни — старости, немощи человека, смерти, а также судьбы [Там же: 432]. Вот то, что, возможно, могло заинтересовать Эйхенбаума в 1950-е годы, и, возможно, то, что он нашел в статье «Тургенев-новеллист»: как сделан человек и как осуществляется его личность в истории.

Путь Эйхенбаума поэтому следует рассматривать как траекторию, как маршрут от слова к личности и от личности к истории, где история является фоном, на который проецируется каждый литературный факт, и эта история проявляет себя во всех своих смыслах (общество, мораль, литературная эволюция). Пумпянский также придает истории ведущую роль, а его общая концепция опирается на убеждение, что литературный процесс и, следовательно, история (будь она история событий, будь она литературной историей, исто-

рией жанров или самой социальной историей) — не только перспектива анализа, но она — также цель, к которой стягиваются темы, стили и мотивы русской и западной культурных традиций. И именно с этой целью соотносится постоянный поиск общей «энциклопедии гипотез», общих черт топики и стилистики в мировых литературах. Насколько Пумпянский обращал пристальное внимание на систему стратификации жанров и особенности историко-литературной, эстетической и стилистической эволюции, в пределах которой находятся произведения и писатели, настолько он мог сближаться с Эйхенбаумом в 1930-е годы, ведь тот, в свою очередь, частично дистанцировался тогда от своего «формального» мировоззрения и принадлежности к формальному методу 1910-х и 1920-х годов.

Письма к Эйхенбауму публикуются по подлиннику: Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1527 (Борис Михайлович Эйхенбаум). Оп. 1. Ед. хр. 552.

## Письмо 1

Л. 1

Дорогой Борис Михайлович,

в книге Бича

J.W. Beach — The twentieth century novel, N.Y. 1932

[Яков<ов> Иерон<имович> 1935к 56]<sup>9</sup>

на стр. 94 есть замечание о Теккерее — Троллопе — Толстом, к<ото>рое может Вам пригодиться<sup>10</sup>.

Вообще в книге (особенно в конце) много интересного и расширяющего кругозор. О Толстом немало (см. по указателю).

Ваш

Л.В. Пумпянский

10/VI 37

Уезжаем 13-ого утром.

- 
- 9 Яков Иеронимович — несомненно Я.И. Ясинский (1886—1942) — сотрудник библиотеки Пушкинского Дома, затем идет шифр книги Бича в этой библиотеке. Б.М. Эйхенбаум должен, таким образом, обратиться к Я.И. Ясинскому, у которого должна быть отложенная для него книга. Шифры до сих пор остались именно такими в библиотеке Пушкинского Дома. В конце письма Л.В. Пумпянский сообщает, что он с женой Евгенией Марковной Иссерлин уезжает в отпуск. Благодаря Сергею Ивановича Николаева за любезную проверку шифров в библиотеке.
- 10 Ср.: «Он [Достоевский] не способен, подобно Толстому, варьировать тон “Макбета”, с одной стороны, и “Двенадцатой ночи” или “Генриха Четвертого”, с другой. Он не обладает той способностью к комедии нравов, что Толстой, произведения которого заставляют нас вспомнить о Теккерее или Троллопе. Мне кажется, я догадываюсь, что именно в Достоевском вызывало у Конрада такую ярость» [Beach 1960: 94]. В экземпляре Пушкинского Дома подчеркнута именно указанная тут часть.

Л. 2

[Оборотная сторона записки; то есть записка была оставлена, скорее всего, в Пушкинском Доме или в его библиотеке для Б.М. Эйхенбаума.]

Б.М. Эйхенбауму

[Здесь карандашом же указаны шифры книг из библиотеки Пушкинского Дома:]  
1935и 694 Dumas; 1935к 56 Beach<sup>11</sup>

Письмо 2

[Оборотная сторона почтовой открытки]

15 июля 39

Дорогой Борис Михайлович,

только сегодня приехали в Эссентуки, я задержался в Ленинграде. Пробудем здесь до 5 августа, потом едем в дом отдыха в Агабек.

Очень хочу Вас видеть. Предлагается Вам приехать навестить нас с Раей Борисовной и Димой<sup>12</sup>, будем страшно рады угостить Вас прекрасным медом. Если же Вы стали очень неподвижны, с удовольствием заедем к Вам. Но предпочтительнее первое, п<отому> ч<то> мы еще устали, а Вы все успели отдохнуть и поправиться.

От вокзала минут 5, в сторону, противоположную парку и источникам, через полотно.

Преданный Вам

Л.В. Пумпянский

Сердечный привет Рае Борисовне. Привет от Евг<ении> Марк<овны><sup>13</sup>.

Евг<ения> Марк<овна> сама хочет послать привет. Еще вопрос, чей Борис Михайлович больше, мой или Л<ьва> В<асильевича>!

Очень хочется повидать Вас и Раю Борисовну.

Евгения [подпись]

---

11 Шифры рекомендуемой книги Бича для Б.М. Эйхенбаума.

12 Раиса Борисовна Эйхенбаум (урожд. Брауде, 1890—1946), жена Эйхенбаума. Они поженились в 1911 году. Дмитрий Борисович Эйхенбаум (1922—1943) был младшим сыном Бориса Михайловича и Раисы Борисовны. Дмитрий ушел на фронт и погиб в Сталинграде в 1943 году.

13 Евгения Марковна Иссерлин (1906—1994), лингвист, жена Пумпянского и ученица Б.М. Эйхенбаума по Институту истории искусств с середины 1920-х годов. Л.В. Пумпянский познакомился с Б.М. Эйхенбаумом только в 1928 году. Л.В. Пумпянский женился на Е.М. Иссерлин в самом конце 1920-х годов. Ею совместно с Н.И. Николаевым был подготовлен первый сборник трудов литературоведа «Классическая традиция» (2000).



Л. 3а

[Адресная сторона почтовой открытки с почтовыми штампами: Ессентуки, 16.07.39; Пятигорск 18.07.39  
(Куда. Кому) Пятигорск. Лермонтовская, 18. Музей «Домик Лермонтова». Профессору Борису Михайловичу Эйхенбауму  
(Адрес отправителя) Ессентуки, Пушкинская, 62, Костюковым, для Л.В. П<умпянск>ого]

### Письмо 3

Л. 4

[Оборотная сторона почтовой открытки]

21 июля 39

Дорогой Борис Михайлович,  
собираемся к Вам 23-ьего, одним из поездов, отходящих в 4 с минутами, — следовательно, около 5 будем у Вас.  
Если Рая Борисовна еще плохо себя чувствует и наш визит неудобен, напишите, соберемся в другой день.  
Преданный Вам и всем Вашим Л.В. Пумпянский

Л. 4а

[Адресная сторона почтовой открытки с почтовыми штампами: Ессентуки, 21.07.39; Пятигорск 22.07.39]  
(Куда. Кому) Пятигорск. Ул. Буачидзе, 15, кв. д-ра Стоянова. Борису Михайловичу Эйхенбауму  
(Адрес отправителя) Ессентуки, Пушкинская, 62, А.Н. Костюкову, для Л.В. П<умпянск>ого<sup>14</sup>

### Письмо 4

Л. 5

[Оборотная сторона почтовой открытки]

24 июля 39

Дорогой Борис Михайлович,  
простите, что подвели, это очень нехорошо, но мы не виноваты. Вчера у меня поднялась температура, я слег, доктор объяснил это как довольно обычное

---

14 Л.В. Пумпянский отправляет открытку по новому адресу. Следовательно, был получен ответ на предшествующую почтовую открытку, где был указан адрес отправителя.

здесь отравление водами в первый период лечения. Лежу и сегодня. Встану ли завтра, неизвестно. Но беда не в этом, хуже то, что доктор нашел у меня, кроме колита, гепатит (расширение печени). Выяснилось, что без настоящего санаторного лечения не обойтись. Придется приехать сюда в октябре или ноябре. Вместо работы, вместо дела! Это меня так удручает, что я очень прошу Вас, если только Рае Борисовне лучше и Вы можете отлучиться, навестить нас в самое близкое время.

Заезжали Гуковские<sup>15</sup>, Зоя Владимировна уже давно здорова. — Приезжайте, я отвлекусь от печальных мыслей.

Преданный Вам Л.В. Пумпянский

[Ниже текста письма имеются карандашные записи, возможно, Б.М. Эйхенбаума] Ахматов (Баталинская, 9 или 13) или <неразб.> РОК (Кисловодская ул., недалеко от Курортной поликлиники)<sup>16</sup>

#### Л. 5а

[Адресная сторона почтовой открытки с почтовыми штампами: Эссенуки — отпечаток поврежден; Пятигорск, 25.07.39]

(Куда. Кому) Пятигорск. Ул. Буачидзе, 15, кв. д-ра Стоянова. Борису Михайловичу Эйхенбауму

(Адрес отправителя) Эссенуки, Пушкинская, 62, А.Н. Костюкову, для Л.В. П<умпянского>

### Письмо 5

#### Л. 6

[Оборотная сторона почтовой открытки]

23 января 40, Старорусская, 3, больница имени Свердлова, I отдел<ение>, палата 8.

---

15 Григорий Александрович Гуковский (1902—1950) и Зоя Владимировна Гуковская (урожд. Артамонова; 1907—1973) были тесными друзьями Пумпянских. Григорий Александрович был учеником Пумпянского, и Пумпянский опубликовал главы «Кантемир» и «Трелиаковский» в учебнике для вузов Г.А. Гуковского «Русская литература XVIII века» (1939). Вспоминая свои академические годы, Лидия Лотман процитирует эпизод, касающийся самого Льва Васильевича и Григория Александровича: «Эрудиция Пумпянского была притчей во языцех, о ней рассказывали легенды, утверждали, что его можно спросить о любом малоизвестном или вообще неизвестном факте из истории мировой литературы, и он немедленно даст точную справку. Готовясь к экзамену, мы трепетали и изготовили шпаргалки, содержавшие краткие фактические данные из конспектов его лекций. Находясь в коридоре во время экзамена, я случайно “подслушала” разговор Гуковского с Пумпянским. Григорий Александрович сообщал Льву Васильевичу: “Они уже выгнали шпаргалки и, кажется, успокоились”» (*Лотман Л.М.* Воспоминания. СПб.: Нестор-история, 2007. С. 112). О позиции Эйхенбаума и Гуковского в 1930-е годы см. также: [Depretto 2008].

16 Именно в июле 1939 года в Эссенуках стали известны первые симптомы серьезного заболевания Л.В. Пумпянского; и об этом он сообщает Б.М. Эйхенбауму.

Приемные дни и часы: общевыходные и вторые 4—6 ч.

Дорогой Бор<ис> Мих<айлович>, увидел Вашу фамилию в списке членов Лерм<онтовского> комитета на самом рубеже и гребне, страшно захотелось Вас повидать. Это — нелегко, приемные часы неудобные, сразу после обеда, но пока Вы свободнее в зимний перерыв, доставьте мне как-нибудь эту радость. Мое положение серьезно, предстоит долгое лечение, да и отсюда меня, кажется, нескоро отпустят. Серьезность медицинская здесь и уровень бытовых условий выше всех похвал. Мучительные анализы с 18-ого кончились (а привезли меня 8 января), надо лежать, лежать и медленно, медленно поправляться. Кроме Евг<ении> М<арковны> и родственников <не читается — повреждено> у меня не было. Если никак не можете <не читается — повреждено>, то напишите что-нибудь приятное. Т<ак> к<ак> декан постоянно звонит — Е<вгении> М<арковн>е, то какие-то университетские новости до меня доходят. Слабая надежда к апрелю хоть полу-восстановить полу-силы и вернуться к относительной работоспособности<sup>17</sup>.

Сердечный привет Рае Борисовне.

Преданный Вам Л.В. Пумпянский

Л. 6а

[Адресная сторона почтовой открытки с почтовыми штампами: Ленинград, 23.01.40; Ленинград, 23.01.40]

(Куда. Кому) Здесь. Канал Грибоедова, 9, кв. 48. Борису Михайловичу Эйхенбауму

(Адрес отправителя) Здесь, Старорусская, 3, больница им. Свердлова, I отделение, палата 8

## Письмо 6

Л. 7

[Оборотная сторона почтовой открытки]

11 февраля 1940

Дорогой Борис Михайлович, чувствую себя все лучше, даже прибавляюсь понемножку в весе. Я заговорил о выписке, врач сказал, что когда сойдут морозы, можно будет обсудить вопрос в самом деле, если все лечение, и единственно возможное заключено в укреплении организма в его борьбе с болезнью, то отчего не делать это дома? Постельный режим, лекарства самые немудреные и обильная диетная пища — бабушка (умирающая от скуки) клянется все это выполнить дома. Надеюсь переехать около 20-ого, больница основательно надоела, свою громадную роль она уже сыграла.

Е<вгения> М<арковна> рассказывала мне, как Вы три раза после того, как были у меня, звонили ей — и без дела, только для того, чтобы сказать, что Вы

---

17 В минуту смертельной болезни Л.В. Пумпянский обращается к Б.М. Эйхенбауму.

нашли меня в хорошем состоянии. Я был просто тронут таким вниманием. Когда перееду домой, еще долго, в лучшем случае нельзя будет выходить, понемногу начну работать дома. Думаю начать собирать материалы к работе «Лерм<онтов> и Запад», начну, напр<имер>, с регистрации того, что сделано (Дюшен и др.)<sup>18</sup>, потом начну <неразб.> чтение англ<ийских> романтиков, — не только Байроно-Муровской группы, но и Озерной школы<sup>19</sup>. А вдруг найду источник «Джулио»<sup>20</sup>, прославлюсь и превознесусь выше не только Вас, но и Лебедева-Полянского<sup>21</sup>?

Всего, всего хорошего. Привет сердечный Рае Борисовне. Будьте здоровы и трудолюбивы.

Вам преданный ваш Л.В. Пумпянский

В моей <неразб.> статье надо переменить заглавие: «Два стиля в лирике Лермонтова»<sup>22</sup> [почеркнуто Л.В. Пумпянским]

Л. 7а

[Адресная сторона почтовой открытки с почтовыми штампами: Ленинград, 13.02.40; Ленинград, 13.02.40]

(Куда. Кому) Здесь. Канал Грибоедова, 9, кв. 48. Борису Михайловичу Эйхенбауму (Адрес отправителя) Старорусская, 3, больница им. Свердлова, I отд<еление>, палата 8, Л.В. Пумпянский

- 
- 18 Тут имеется в виду книга, опубликованная по случаю столетия Лермонтова: *Дюшен Э.* Поэзия М.Ю. Лермонтова в ее отношении к русской и западно-европейским литературам / Пер. с фр. В.А. М.-ой и Б.В. Зевалина; под ред. П.П. Миндалева. Казань, 1914. Перевод третьей части исследования Э. Дюшена, вышедшего на французском языке в 1910 году под оригинальным названием: *Dushesne E.* M.Y. Lermontov. Sa vie et ses oeuvres. Paris: Libraire Plon, 1910. Эту книгу Л.В. Пумпянский собирался читать, естественно, во французском оригинале.
- 19 Озерная школа — круг английских поэтов, живших в Озерном крае Англии и активных в конце XVIII — первой половины XIX века. Основными фигурами школы являлись Уильям Вордсворт, Сэмюэль Тэйлор Кольридж и Роберт Саути. Пумпянский испытывал постоянный интерес к английской поэзии XIX века, начиная с его работ о русском классицизме (1923—1924) и о Тютчеве (1928) до книги ЛСВиА.
- 20 «Джулио» (1830) — поэма М.Ю. Лермонтова.
- 21 Павел Иванович Лебедев-Полянский (1881—1948) — советский литературовед, марксист, партийный функционер, с 1922 по 1931 год заведующий Главлитом, а с 1937 по 1948 год директор ИРЛИ РАН. Ироническое упоминание фигуры Лебедева-Полянского подчеркивает шуточный характер всего вопроса. И все же Л.В. Пумпянский в этой шуточной форме высказал предположение о наличии английского источника у поэмы «Джулио».
- 22 Это может быть еще один вариант названия статьи Пумпянского «Стиховая речь Лермонтова», опубликованной в 1941 году, где речь идет именно о двух разных стилях с ссылкой на способность Лермонтова быть связующим звеном между крестьянством и крестьянской демократией и руссоизмом Толстого.

## Библиография / References

- [Гинзбург 2002] — *Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство—СПб, 2002.  
(*Ginzburg L. Zapisnye knizhki. Vospominaniya. Esse. Saint Petersburg, 2002.*)
- [Левченко 2012] — *Левченко Я.* Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии. М.: Высшая школа экономики, 2012.  
(*Levchenko Ia. Drugaya nauka. Russkie formalisty v poiskhakh biografii. Moscow, 2012.*)
- [Николаев 2000] — *Николаев Н.И.* Примечания // Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков; сост. Е.М. Иссерлин, Н.И. Николаев; вступ. статья, подгот. текста и примеч. Н.И. Николаева. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 649—831.  
(*Nikolaev N.I. Primechaniya // Pumpyanskiy L.V. Klassicheskaya traditsiya. Sobranie trudov po istorii russkoy literatury / Ed. by N.I. Nikolaev. Moscow, 2000. P. 649—831.*)
- [Николаев 2004] — *Николаев Н.И.* Невельская школа философии и марксизм (Доклад Л.В. Пумпянского и выступление М.М. Бахтина) // Литературоведение как литература: Сборник в честь С.Г. Бочарова / Под ред. И.Л. Поповой. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 323—330.  
(*Nikolaev N.I. Nevelskaya shkola filosofii i marksizm. (Doklad L.V. Pumpyanskogo i vystuplenie M.M. Bakhtina) // Literaturovedenie kak literatura: Sbornik v chest' S.G. Vocharova / Ed. by I.L. Popova. Moscow, 2004. P. 323—330.*)
- [Николаев 2012] — *Николаев Н.И.* Л.В. Пумпянский о стиле Карамзина // Litterarum Fructus: Сборник статей к 60-летию С.И. Николаева / Под ред. Н.Ю. Алексеевой и Н.Д. Кочетковой. СПб.: Альянс-Архео, 2012. С. 289—295.  
(*Nikolaev N.I. L.V. Pumpyanskiy o stile Karamzina // Litterarum Fructus: Sbornik statey k 60-letiyu S.I. Nikolaeva / Ed. by N.Yu. Alekseeva i N.D. Kochetkova. Saint Petersburg, 2012. P. 289—295.*)
- [Пумпянский 1930] — *Пумпянский Л.В.* Литература Современного Запада и Америки. Архив Л.В. Пумпянского. СПб. Частное собрание.  
(*Pumpianskii L.V. Literatura Sovremennogo Zapada i Ameriki. Arkhiv L.V. Pumpyanskogo.*)
- [Пумпянский 1998] — *Пумпянский Л.В.* О Марселе Прусте // Произведенное и названное: Философские чтения, посвященные М.К. Мамардашвили, 26—27 ноября 1995 года / Сored. В.А. Кругликов, Ю.П. Сенокосов. М.: Ad Marginem, [1998]. С. 11—22.  
(*Pumpyanskiy L.V. O Marsele Pruste // Proizvedennoe i nazvannoe: Filosofskie chteniya, posvyashchennye M.K. Mamardashvili, 26—27 noyabrya 1995 goda / Ed. by V.A. Kruglikov, Yu.P. Senokosov. Moscow, 1998. P. 11—22.*)
- [Пумпянский 2000] — *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков; сост. Е.М. Иссерлин, Н.И. Николаев; вступ. статья, подгот. текста и примеч. Н.И. Николаева. М.: Языки русской культуры, 2000.  
(*Pumpyanskiy L.V. Klassicheskaya traditsiya. Sobranie trudov po istorii russkoy literatury / Ed. by N.I. Nikolaev. Moscow, 2000.*)
- [Пумпянский 2012] — *Пумпянский Л.В.* <О стиле Карамзина> // Litterarum Fructus: Сборник статей к 60-летию С.И. Николаева / Под ред. Н.Ю. Алексеевой и Н.Д. Кочетковой. СПб.: Альянс-Архео, 2012. С. 296—307.  
(*Pumpyanskiy L.V. <O stile Karamzina> // Litterarum Fructus: Sbornik statey k 60-letiyu S.I. Nikolaeva / Ed. by N.Yu. Alekseeva and N.D. Kochetkova. Saint Petersburg, 2012. P. 296—307.*)
- [Тоддес 2019] — *Тоддес Е.А.* Б.М. Эйхенбаум в 30—50-е годы (К истории советского литературоведения и советской интеллигенции) // Тоддес Е.А. Избранные труды по русской литературе и филологии / Сост. Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 220—313.  
(*Toddes E.A. B.M. Eikhnenbaum v 30—50-e gody (K istorii sovetskogo literaturovedeniya i sovetkskoy intelligentsii) // Toddes E.A. Izbrannyye trudy po russkoy literature i filologii / Comp. by E. Liamina, O. Lekmanov, A. Ospovat. Moscow, 2019. P. 220—313.*)
- [Тынянов 1977а] — *Тынянов Ю.Н.* Тютчев и Гейне // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Подгот. изд. и коммент. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. М.: Наука, 1977. С. 29—37.  
(*Tynianov Ju.N. Tyutchev i Geine // Tynyanov Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino / Prep. and comment. by E.A. Toddes, A.P. Chudakov, M.O. Chudakova. Moscow, 1977. P. 29—37.*)
- [Тынянов 1977б] — *Тынянов Ю.Н.* Вопрос о Тютчеве // Тынянов Ю.Н. Поэтика.

- История литературы. Кино / Подгот. изд. и коммент. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. М.: Наука, 1977. С. 38—51.)
- (*Tynianov Ju.N. Vopros o Tyutcheve // Tynianov Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino / Prep. and comment. by E.A. Toddes, A.P. Chudakov, M.O. Chudakova. Moscow, 1977. P. 38—51.*)
- [Устинов 2001] — Материалы диспута «Марксизм и формальный метод» 6 марта 1927 г. / Публ., подгот. текста, сопровод. заметки и примеч. Д. Устинова // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 247—278.
- (*Materialy disputa "Marksizm i formal'nyy metod" 6 marta 1927 g. / Publ., prep., accomp. notes and notes by D. Ustinov // Novoe literaturnoe obozrenie. 2001. No. 50. P. 247—278.*)
- [Эйхенбаум 1922а] — *Эйхенбаум Б.М.* Вступительный очерк // Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. СПб.: Государственное изд-во, 1922. С. 1—43.
- (*Eikhenbaum V.M. Vstupitel'nyi ocherk // Tolstoy L.N. Detsvo. Otrochestvo. Yunost'. Saint Petersburg, 1922. P. 1—43.*)
- [Эйхенбаум 1922б] — *Эйхенбаум Б.М.* Молодой Толстой. Пг.; Берлин: Изд-во З.И. Гржебина, 1922.
- (*Eikhenbaum V.M. Molodoy Tolstoy. Petrograd; Berlin, 1922.*)
- [Эйхенбаум 1927а] — *Эйхенбаум Б.М.* В поисках жанра // Эйхенбаум Б.М. Литература. Теория. Критика. Полемика. Л.: Прибой, 1927. С. 291—295.
- (*Eikhenbaum V.M. V poiskakh zhanra // Eikhenbaum V.M. Literatura. Teoriya. Kritika. Polemika. Leningrad, 1927. P. 291—295.*)
- [Эйхенбаум 1927б] — *Эйхенбаум Б.М.* Литературная личность Есенина // Красная газета, вечерний выпуск. 1927. 10 янв. № 8. С. 1.
- (*Eikhenbaum V.M. Literaturnaya lichnost' Esenina // Krasnaia gazeta, vechernii vypusk. 1927. January 10. No. 8.*)
- [Эйхенбаум 1928] *Эйхенбаум Б.М.* Лев Толстой: В 2 кн. Кн. 1. 50-ые годы. Л.: Прибой, 1928.
- (*Eikhenbaum V.M. Lev Tolstoy: In 2 vols. Vol. 1. Pyatidesyatye gody. Leningrad, 1928.*)
- [Эйхенбаум 1961] — *Эйхенбаум Б.М.* Драмы Лермонтова // Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 125—220.
- (*Eikhenbaum V.M. Dramy Lermontova // Eikhenbaum V.M. Stat'i o Lermontove. Moscow; Leningrad, 1961. P. 125—220.*)
- [Эйхенбаум 1969] — *Эйхенбаум Б.М.* Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1969. С. 395—408.
- (*Eikhenbaum V.M. Melodika russkogo liricheskogo stikha // Eikhenbaum V.M. O poezii. Leningrad, 1969. P. 395—408.*)
- [Any 1994] — *Any C. Boris Eikhenbaum. Voices a Russian Formalist.* Stanford: Stanford University Press, 1994.
- [Beach 1922] — *Beach J.W.* The Technique of Thomas Hardy. Chicago: University of Chicago Press, 1922.
- [Beach 1926] — *Beach J.W.* The Outlook for American Prose. Chicago: University of Chicago Press, 1926.
- [Beach 1936] — *Beach J.W.* The Concept of Nature in Nineteenth-Century English Poetry. New York: Macmillan Co., 1936.
- [Beach 1960] — *Beach J.W.* The Twentieth Century Novel. Studies in Technique. New York: Appleton-Century-Crofts, 1960.
- [Depretto 2008] — *Depretto C.* Марксизм гуманистический: пушкинистика во второй половине 1930-х годов // Russian Literature. 2008. Vol. 63. No. 2—4. P. 427—442.
- (*Depretto C. Marksizm gumanitarny: pushkinistika vo vtoroy polovine 1930-kh godov // Russian Literature. 2008. Vol. 63. No. 2—4. P. 427—442.*)

# Хроника современной литературы

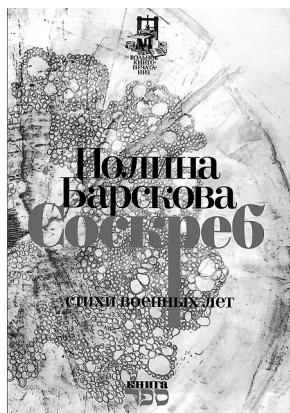
Анна Нуждина

## Голос, звучащий в пустоте

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_275

### Барскова П. Соскреб. Стихи военных лет

Иерусалим: Книга Сефер, 2023. — 74 с. — (Проект «Вольное книгопечатание»).



Новая книга стихов Полины Барсковой посвящена умножению, преодолению и проживанию боли. Эти механизмы рецепции открывают новые черты поэтики: теоретизируя опыт языком метафоры, Барскова обращается к уже разработанным жанрам, категориям и концепциям. Тексты на исторические сюжеты, практически реконструкции, отвечают «вызовам времени» наряду со столь распространенным у поэтессы стихотворениями-письмами (не обязательно на исторический сюжет) — сейчас в них важен звучащий голос поэта *per se* и артикулированная, но не достигнутая в пределах пространства текста адресация. Важен сам акт говорения как акт сопротивления молчанию — поэтому «Вдовцы», цикл писем, подразумевает наличие

адресата, но не наличие ответа. Это не коммуникация, а лишь интенция говорящего, через которую проявляется предназначение поэта в кризисные времена:

Мое занятие, мое заклятье —  
Обмылок слова держать в рука.  
Здесь было: город, ребенок, платье.  
Здесь шрам остался от языка.

(С. 70)

«Обмылки» даже не могут быть полноценно согласованы между собой, и шрам оставляет не целостное высказывание, а само присутствие направленного слова. Многие тексты «Соскреба», становясь таким направленным словом, воспроизводят иерархию, в которой «сложная» форма (да и вообще форма) рудиментарна, вторична. Этим можно объяснить количественную закономерность: достаточно типичный для Бар-

сковой дольник и/или гетероморфный стих сменяется силлаботоникой, а рифмы становятся более точными. Новое высказывание обеспечено не силой фантазии поэта, а инерцией языка, который ведет его по проторенным дорогам и заодно встраивает в традицию. Использование жестких форм в числе прочего восстанавливает прямую связь с модернизмом — отчасти минуя поэтическое наследие андеграунда.

Однако современным можно назвать не только подход к стихосложению в узком смысле, но и характер повествования. В новой книге Барсковой практически нет интертекстуальной игры с читателем и постмодернистской иронии — вместо этого повествование становится скорее визионерским, эсхатологическим всерьез, как откровение о Судном Дне.

Все теперь не важно:  
Но не напрасно  
На его пиру мертвецов  
Дрожат и мерцают брашна:  
Тот, кто пробовал их,  
Неважно, вдали ли, рядом,  
Так и ищет губ твоих, город,  
Потерянным острым взглядом.

(С. 69)

Этот отрывок из стихотворения «Город» воскрешает в памяти «петербургский текст» во всем его мистическом понимании. В рецензии на книгу В. Шубинский пишет: «Этот город — постоянное присутствие мира мертвых в мире живых; но он же и (не окончательная, но непрерывная) победа над смертью, постоянное возвращение с того света»<sup>1</sup>. В этот цикл перерождений Барскова — как в дантовский ад — помещает статистов, петербургских писателей. Шкловский на лыжах и Вагинов то ли с простреленной, то ли с больной щекой становятся призраками, на круги к которым уходят после смерти причастные городу люди. Соседство мертвецов с живыми в одном пространстве лишь видимость, потому что места, называющиеся одинаково, все же не тождественны друг другу. Вагинов, преодолевая боль в щеке, говорит: «Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. <...> И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготавливает, гвоздики закупает, кружев по случаю достает»<sup>2</sup>. В наше время Петербург снова «есть», однако это уже совсем другой город, а тот, первый, куда модернисты «уводили» своих героев, проступает из-под его фасадов.

Вы знаете, в преисподней,  
куда я направляюсь,  
собираюсь читать Монтеня  
и Добычина, и надеюсь поблизости наблюдать их тени,  
я умираю от рака,  
он лижет меня и гложет,  
лишь присутствие Ваше снова меня позабавить может.

(С. 57)

---

1 Шубинский В. Два испытания // Кварта. 2023. № 10 ([http://quarta-poetry.ru/shubinskii\\_baraskova\\_10/](http://quarta-poetry.ru/shubinskii_baraskova_10/) (дата обращения: 29.01.2024)).

2 Вагинов К.К. Козлиная песнь; Труды и дни Свистонова; Бамбочада / Сост. А. Вагиновой; подгот. текста, вступ. статья Т. Никольской. М.: Художественная литература, 1989. С. 20.



Эти тексты, напоминающие об апокалиптических пророчествах Серебряного века и дальнейшем «посмертии» модернизма, отличает и упрощение метафоры. То, что нам привычнее помыслить как цитату, за которой скрывается прецедентный текст и знание о нем, у Барсковой работает скорее как отправная точка, адаптивный элемент, переработанный и внесенный в собственный тезаурус. Обширный инструментарий, которым располагает современная поэзия, и дпящееся влияние на нее постмодернизма отчасти предполагают, что художественный прием расширяет локальное пространство текста и превращает его в интертекстуальное и/или трансмедиальное высказывание. Поэтому, когда мы говорим о метафоре как о ничем не отягощенном приеме, это является, с одной стороны, архаизацией поэтики, а с другой — выходом к плоским онтологиям, к одномоментному существованию приема в единственном пространстве.

Если возможно понимать генерализующее высказывание этой книги как монотонную борьбу с молчанием, тишиной ужаса, то в конструировании поэтики такого высказывания появляется категория непосредственности. Опосредованная интерпретация не важна, важна непосредственная практика, в основу которой легло множество других практик — как топливо для неожиданности, а не как символ. Пожалуй, подобное сведение творчества к мнемоническому воспроизведению, превращению всего в личный опыт близко к феноменологии поэтического текста как методу. Г. Башляр отмечал силу и динамику обновления в создании поэтического образа: «Поэтический образ — не результат какого-либо толчка, импульса. Он — не эхо прошлого, скорее наоборот: во вспышке образа давнее прошлое резонирует множеством отголосков, и неясно, на какой глубине отражаются и затухают эти отзвуки. Поэтический образ с присущими ему новизной и активностью обладает собственным бытием, собственной динамикой. Образ относится к области непосредственной онтологии»<sup>3</sup>.

Эта система «непосредственность — преобразование в личный опыт — преодоление боли» в сочетании с ориентированием на опыт модернизма имеет связи с историей блокады — научным и художественным интересом Барсковой. Еще когда выходили первые тексты о поэтах-блокадниках, например «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков. 1941—1945», рецензенты указывали на слияние в них субъектности поэта и исследователя, как еще бывало во времена Серебряного века и ранее, когда историография мало отличалась от риторики и мистики. Жанровые изобретения, связанные со стихами о блокаде, в частности с историческими (псевдо)реконструкциями, называли «необходимой модификацией академических штудий»<sup>4</sup>. То есть исследовательское и аналитическое главенствовало над личным — благодаря чему появилось знаменитое многоголосье исторических текстов Барсковой, и из их принципиальной полисубъектности стал складываться так называемый архив / поэтический архив как метод работы с исторической памятью. Таким образом, в тексты интегрировались судьбы и характеры так, как они могли бы появиться в историческом сочинении.

В «Соскребе» же ситуация видится обратной: оказавшись в положении, сходном с тем, которое (отчасти) смогли преодолеть герои исследований Барсковой, поэтесса сосредоточилась на их конкретных практиках письма — и возможности адаптировать эти практики под собственный инструментарий. Теперь уже не ха-

3 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с фр. Н.В. Кислова и др. М.: РОССПЭН, 2004. С. 8.

4 Корчагин К. «И каменный всё видел человек...» // Новый мир. 2012. № 8 ([https://magazines.gorky.media/novyi\\_mi/2012/8/i-kamennyj-vsyo-videl-chelovek-8230.html](https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2012/8/i-kamennyj-vsyo-videl-chelovek-8230.html) (дата обращения: 02.02.2024)).

рактик, а непосредственное содержание опыта помогает проживанию судьбы. Книгу Барскова начинает с эссе «Один год», место которого можно трактовать как место кураторского текста: поэтесса суммирует опыт, соответствующий стихам книги, и говорит об областях интеграции поэтического/политического в повседневное. В этом эссе она указывает на применение аутентичной блокадной практики письма во время курса в Школе литературных практик: «Пока мои ученицы кричали, учились у Гинзбург превращать крик в слова, в навык наблюдения, я училась, я учила жить с бесчувствием и стыдом и проговаривать их, никак их этим не излечивая, не надеясь и не намереваясь излечить. Не следует теперь, мне кажется, уповать на скорое избавление от такого образа, способа страдания» (с. 9).

Практико-ориентированный характер основных методов этой книги — возможность применить их и при написании стихов, и на занятии с ученицами — соотносится с читательскими ожиданиями, возлагаемыми на «стихи военных лет». Они могут послужить своеобразным примером адаптации к реальности и передать конкретные практики, выработанные некогда теми, кто пережил кризис, тем, кому подобное еще только предстоит. В книге появляется «работа горя» — не столько как название книги Веры Полозковой (хотя общая беда, бесспорно, упраздняет иерархии и объединяет высказывания в единый поток рефлексии), сколько как термин из психотерапии. Периодически терапевтическая функция текста обретает негативные коннотации, однако в случае «Соскреба» она становится такой же насущной, как и фиксация происходящих событий ради сохранения способности ощущать живую жизнь. И она точно так же способна помочь.

Стоит отметить, что достать эту книгу в России достаточно трудно. Первые несколько месяцев после ее выхода о ней не было никаких новостей — и это может свидетельствовать о расщеплении некогда относительно единого поля русскоязычной литературы на множество локальных полей. Хотя Барскова эмигрировала много лет назад, все это время ее фигура не покидала пространство «внутри России»: продавались и распространялись ее книги, проводились презентации. Сейчас же, кажется, происходит смена того, что Пьер Бурдьё назвал *prise de position* (манифестация) — индивидуальная траектория Барсковой как русскоязычной поэтессы окончательно перестает быть частью российского литературного процесса, больше не находится в зависимости от него. На сайте издательства «Книга Сефер» стоит указание: «Написано в Израиле», однако положение этой книги определяет не место издания, а способы распространения и рецепция — и, возможно, принципиальная «выключенность» этой книги из актуального новостного контекста. Однако вряд ли подобная манифестация выражает стремление кого-либо «покинуть» — наоборот, она и есть овеществление «покинутости». Сама эта книга является собой акт говорения без явного адресата — трудности получения текста говорят не столько о его сокрытии, сколько о вторичном значении сиюминутного диалога. Не удивительно, что именно в «Соскребе» становится устойчивым образ неприкаянного эмигранта, лишенного не дома, а языка — и возможности пообщаться, а не говорить на нем.

# Запертый дом бытия

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_279

## Бордуновский М. Осень на острове Сатурн

М.: Самиздат, 2024. — 60 с. (без пагинации)

Коллекционная и при этом доступная в Сети книга Михаила Бордуновского кажется сначала опытом совмещения поэтических вселенных: вселенная Андрея Таврова, памяти которого посвящена книга, ложится поверх других вселенных, прежде всего скандинавской поэзии, начиная с Тура Ульвена. Есть общая точка схождения — Ульсгор, которому посвящен цикл, уже известный читателю<sup>1</sup>, но Ульсгор упоминается и в других стихах. Датское гнездо героя-повествователя романа Рильке, Ульсгор был особым миром, книжным, монументальным и погребальным. Джордж Агамбен в книге «Номо Сасер» пишет: «Что именно делает “собственной” смерть камергера Бригге в его старом доме в Ульсгоре, которую он столь тщательно описывает как образец “царской” смерти? Об этом нигде не сказано ни слова, если только не считать того, что герой умирает в своем доме, окруженный своими слугами и своими собаками. Попытка Рильке возратить смерти ее “особое достоинство” оставляет впечатление чего-то столь неподобающего, что в итоге сон крестьянина о том, как он заколол умирающего хозяина “вилами”, начинает казаться осуществлением тайного желания самого поэта»<sup>2</sup>. Лакановский психоанализ проводит различие между двумя наслаждениями: наслаждением-пользованием, до символической кастрации, и наслаждением-трансгрессией<sup>3</sup>. В таком случае история смерти в Ульсгоре — история самой твоей затронутости этим пользованием, когда смерть растрогала тебя раньше, чем ты нашел слова для желания. Таковы уроки скандинавской поэзии: любая мелочь не просто увидена, но затронута; и пластична не жизнь, а умирание. Книги и реки из романа Рильке:

все они окружают Ульсгор, как очевидцы  
смерти случайной: над телом встают, качаясь,  
женщины в темных беретах и ослепительные солдаты.  
Безмозглый гранит из-под ног утекает, кричит  
газовая горелка, придворные врут королю...

По сути, здесь описывается особая пластичность: пластика качающегося тела, пластика вращений, притворной речи, пластика камня, который оказывается не тем, что прежде. Но эта пластичность не порождает сюжета, в отличие от привычной нам классической пластичности; напротив, оставляет случайную смерть со своим первичным наслаждением, не требуя искать второго наслаждения в сюжете. При первичной бессюжетности этой поэзии в ней присутствуют конфликты не менее, а более сильные, чем в самой сюжетной поэзии.

- 
- 1 *Бордуновский М.* Ульсгор отдаленный // Волга. 2022. № 9—10 (<https://magazines.gorky.media/volga/2022/9/ulsgor-otdalyonnyj.html> (дата обращения: 12.07.2024)).
  - 2 *Агамбен Дж.* Номо sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель / Пер. с итал. М.: Европа, 2012. С. 79.
  - 3 *Жижек С.* Кукла и карлик / Пер. с англ. С. Кастальского. М.: Европа, 2009. С. 107—108.

Основной конфликт можно определить как конфликт «всего» и «еще чего-то». Описание, возвращающееся к своему наслаждению, к пользованию своими же возможностями, говорит обо всем, всем, что видно, слышно, испытано. Однако вторжение смерти в этот мир сопровождается тем, что появляется еще что-то: не то знамение смерти, не то болезнь, с которой смерть вошла в мир. Опыт пандемии в этой поэзии очень рельефен.

Такой конфликт можно проиллюстрировать меланхолическими описательными строками, где на самом деле господствует не меланхолия и даже не скандинавская тьма, а особая метафизика, постоянно требующая от нашего первичного желания *желать всего*, чтобы хоть как-то вернуться к *состоянию прежде своей смерти*. Трансгрессия в мире этих стихов — состояние, за которое заплачено смертью, она всегда разворачивается уже после смерти:

Ночь на Сатурне каждому военнообязанному на подушку  
ирисов букет кладёт, а в пластиковом кофре  
плещется у берега тело товарища моего, вспоротого казармой,  
и за стеною гость из Ульсгора никак не замолкнет,  
нужно глаза ему выпить и косточки выплюнуть —  
деревья поднимутся, срубим их, лодку сколотим — и к чёртовой матери  
уплывём, бросим остров. Но пока ночь, пухнет Сатурн тихоокеанским  
сигналом, а король тёмный смотр учинил уланам:  
ледяной лошадиный пот в лужах перед рассветом.

Возвращение к ночи Сатурна, пожирающего собственных детей, — таков образ времени до первой смерти и при этом *уже причиняющего* смерть всему. Тогда лодка — образность жизни: лодка Харона, отраженная в лужах, пот боевых коней, напоминающий о первичной воле к жизни, а не к смерти. Таков испуг, уходящий в жизнь, открывающий достоверные картины жизни, в отличие от обыденного испуга, когда хочется умереть, только бы этого всего не видеть.

Картичность поэзии Бордуновского — картинность как раз того самого *всего*, которое находится в конфликте с призраками, предвестиями или следами смерти. Букет ирисов — это вовсе не только кладбищенский букет — это и странный образ рассвета, утреннего цвета неба, Ириды-радуги, космической синевы — то самое *всё* в мироздании, которое с открытым лицом обращено к смерти. Но и смерть, всякий раз уникальная, состоит из следов, расследований того, что что произошло в казарме, что было за стеной, что было у соседей.

Это не скелеты в шкафу, а, можно сказать, скелеты в такой же комнате, как твоя. Дух скандинавской мрачности здесь дает о себе знать в полной мере, но он становится не *темой*, а *способом* изображения. Как раз самые патетические строки Бордуновского в книге превращают технику метареализма в единственный правильный способ разговора о трансгрессии:

Что узнал, когда в остов тела  
вселилась персиковая кость пули  
и друзей привела?

Что сын канцлера успел прихватить с собой,  
раз по лицу трупа, покрытого Домом Тканей,  
вторые сутки течёт улыбка?

Трансгрессивное не ведет здесь к сюрреалистической образности, абсурдизму или парадоксализму. Напротив, сложная метафора ткани как текста и погребальной

речи, персиковой кости как наслаждения в роковом бою показывает, что трансгрессия осуществляется даже не после одной, а после многих смертей — погибли друзья, смерть продолжается уже вторые сутки. Именно смерть кастрирует, пользуясь языком Лакана, нашу речь, требуя сложных метафор, чтобы какое-то наслаждение от текста стало возможным.

Особо интересен в этой книге образ парка. Парк — это всегда болезнь, а не выздоровление. Вовсе не прогулка для удовольствия, а, напротив, то посмертное трансгрессивное удовольствие, второе удовольствие Лакана, которое оборачивается болезнью, болезненностью речи:

Дети катают горячую кошку на лифте. Под перевёрнутой лодкой на берегу дремлет раздутый купальщик; лопается венец на голове госпожи всех мечтателей. В воздухе специи. Они взбираются к парку и, несомненно, погрузят в него мизинцы, словно в ежевечернее масло. Мы знаем, что это за место. Мы из канистры тянем гранатовую бурду, провожая глазами патрульный автомобиль, прощальным усилием воли поддетый пакет и взбирающихся к подзорному парку золотоногих, подгнивших, как жёлтое яблочко, вестников скуки.

По отдельности все приемы, начиная с анжамбеманов, были бы просто меланхоличны. Но если прочесть эти строки как болезненные, как речь задыхающегося даже в парке, одышку после ковида, эстетическое впечатление оказывается совсем другим. Это стихи о лихорадке, опухоли (вздутии), лопающемся нарыве — подтекст болезней образует единственный способ говорить и о смерти тоже. Упомянутые специи, которые можно понять и как намек на дешевые и смертельно опасные наркотические препараты и нелегальную торговлю в парке, указывают, как развивается конфликт.

Парк — это *всё*, уже представленное природе: наша жизнь, представленная природе, наши воспоминания и предчувствия, представленные природе. Но *что-то еще* вроде медленного тока времени — это вещи, представленные смерти: горячность представлена смерти, мусор представлен смерти, жизнь наркоманов представлена смерти.

Такая двойная представленность, будто двойная экспозиция на фотографии, и возобновляет конфликт. Наша жизнь уже растворена в природе в тот момент, когда все детали возможной жизни уже растворены в смерти. Уже не лично мы постигаем свою смертность и своё тело, но за нас это понимает наша воображаемая экспозиция, наше размещение в мгновенном фотоснимке нас, выполненном самим настоящим временем.

Еще сильнее эта двойная представленность в уральском цикле, где все искусства, включая искусство жизни, подменяют друг друга, сменяют друг друга, потому что стали прикрытием насилия. Повествователь тогда аналитически разбирает, перед каким именно искусством он оказался сейчас:

В фойе театра стоял, как в каменном горле,  
когда проснулась в меня своею сестрою: здесь  
присягнем друг другу, положи руки на тетради Симоны.

Симона Вейль уже стала героиней стихов многих русских поэтов, от Елены Фанайловой до Александра Скидана. Брат Симоны Вейль Андре был успешным математиком в США, после войны консультировал Леви-Стросса при разработке математи-

ческих моделей в структурной антропологии, и искания сестры военных лет его мало беспокоили. Но здесь сестра — это и сестра-смерть Франциска Ассизского. Театр превращает смерть в тему спектакля; но, войдя в театр, тыходишь не в чужую, а в собственную смерть. Колокол уже звонит не на сцене, а по тебе в проеме театра, в просвете.

Быть рядом с сестрой-смертью и значит прочесть Симону Вейль как самую опасность речи. Нам все еще кажется, что мы читаем, но мы присягаем на верность перед лицом смерти. Так *представленность* в качестве лейтмотива книги Бордуновского оказывается еще сложнее: мы представляем свое тело текущей жизни, которая уже обернулась смертью для многих, а речь представляет себя письму, которое уже обернулось клятвой.

Поэма «Офир, Фарсис» — интереснейший опыт, как если бы сомнамбулическое состояние вызывала не только луна, но и звезды, все со своими характерами и историями. Поэтому все вещи оказываются во множественном числе, как испытывавшие такую тягу:

Война со зверями окончена. Влажно. Ржавеют пустые канистры.  
Лопнули батарейки. Планеты по улицам  
расхаживают инкогнито. В барах мужской абсент  
пузырится, как добрая плоть прощания.

Вся поэма построена как история жертвоприношения, но особого: не подчиненного какому-то сценарию, а почти шаманскому, приостанавливающему знакомые формы насилия, такие как покорение пространства. То, что мы обычно мыслим только как мечту, вроде размышлений о том, какой могла бы быть жизнь на других планетах, изымается из ведения научной фантастики и поручается шаманскому пению, пузырящемуся, взмахивающему крыльями и проникающему анонимно в верхний и нижний мир. И как раз с этим шаманским началом связано, на мой взгляд, главное свойство поэзии Бордуновского.

Язык в его книге не раскрывает нам реальность, а запирает — он запертый хайдеггеровский дом бытия. Поэтому мы опять можем в наших рассуждениях вернуться к Рильке: для Хайдеггера Рильке, как и Георге, и Тракль, был одним из пророков этого дома бытия. Если поэтическая образность сбылась, то значит, слово уже прозвучало, уже разметило наш мир как дом. Мы тогда оказываемся, по Хайдеггеру, представлены разметке этого мира, включающей в себя и смерть.

Андрей Тавров, метафизик, вдохновлявшийся всю жизнь Рильке и Хайдеггером, отмечал, что эта разметка требует в дополнение к себе особой кротости поэта: «Поэзия Рильке пользуется именами, ничего не подделает, но делает она это целомудренно и как бы слегка морщась от боли, рожденной невозможностью изъясниться одним лишь пением вещей»<sup>4</sup>. В поэзии Бордуновского эти морщины запирают лицо и запирают мир, делают язык не домом, а запертым складом бытия, где постоянно попадается какая-то однотипная продукция:

Среди гарнизонных горизонтальных кедров  
надвигается смена караулов —  
в полиэтиленовый час,  
слабо блеснувшим венцом  
на голове привокзального каменного  
архангела Гавриила.

---

4 Тавров А. Магия осколков // Плавающий мост. 2017. № 2 (14) (<https://журнальныймир.рф/content/magiya-oskolkov> (дата обращения: 12.07.2024)).

За всеми этими словами стоит слово «любой»: любые кедры, караулы, любые впечатления. Конкретная деталь, не то скульптура барокко, не то просто призрак благовещения, не раскрывает мир метафизическим сферам, но запирает его в простой счет часов, в смену страж, в путь эшелонов. Следует напомнить, что Благовещение приходится на март, в ренессансной Италии, как и в Древнем Риме, месяц начала военных кампаний, когда все подсохло и можно отправиться в путь. Поэтому память не то о Первой мировой, не то о каких-то забытых, тоже требовавших мобилизации войнах выражается в этом сбивчивом повторе, *гарнизонных, горизонтальных* — память спотыкается о невозможность помнить, хотя сами эти события уже представили себя нам, уже зафиксированы в невидимом кинематографе нашей чувственности.

Феноменология бодрствования, наподобие бодрствования стражи, происходящего в речи как городе бытия — это и есть поэзия Бордуновского.

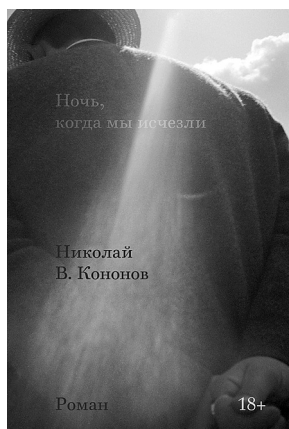
Денис Ларионов

## Об ускользающих и преодолевающих

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_284

### Кононов Николай В. *Ночь, когда мы исчезли*: [роман]

Москва: Individuum, 2022. — 432 с.



Путь к читателю второго романа Николая В. Кононова «Ночь, когда мы исчезли» не был простым. Законченный незадолго до 24 февраля 2022 года, он вышел поздней осенью того же года, когда некоторая часть целевой аудитории этой книги (и издательства «Individuum» в целом) оказалась в психологической и логистической ситуации, в какой-то мере близкой ее героям. На это можно возразить, что мытарства рисковавших жизнью Леонида Иры, Веры Ельчаниновой и Ханса Бейтельсбахера (именно так зовут главных героев книги) не следует сравнивать с бытовыми неудобствами и психологическими фрустрациями сегодняшних российских эмигрантов. Но если взглянуть на описываемые Кононовым события шире, нельзя не отметить, что жизнь его претерпевающих радикальную

перемену участи героев приходится на переходный период от довоенного состояния к новой исторической ситуации, настойчиво требующей от них ответа на вопрос, кто же они такие. Герои книги Кононова и ее сегодняшние читатели совпадают по историко-эмоциональной оси, «встречаясь» в воображаемой реальности романа, где настоящее и прошлое становятся более проницаемыми. Именно на таком отношении past и present основан подход публичной истории (public history)<sup>1</sup>, реализуемый Кононовым в его романе, главный герой которого — беженцы, вернее, апатриды — становятся «в современных геополитических и экономических условиях новым политическим субъектом»<sup>2</sup>. Другими словами, перед нами не только исторический роман о табуированных страницах Второй мировой войны, но и художественное исследование грядущего времени, чьи контуры пока что едва различимы.

«Ночь, когда мы исчезли» — вторая художественная книга Николая В. Кононова. За его плечами не только прославленный роман «Восстание», чью историографическую логику продолжает «Ночь...», но и несколько давних публикаций

- 1 Взаимная проницаемость исследуемого прошлого и проживаемого настоящего — одна из центральных методологических предпосылок активно развивающейся сегодня публичной истории, призванной сделать академические знания доступными для более широкого круга читателей и зрителей. Современное искусство, кинематограф и литература играют важную роль в этой работе. Подробнее об этом см.: *Завадский А., Исавев Е., Кравченко А., Склез В., Суверина Е.* Публичная история: между академическим исследованием и практикой // *Неприкосновенный запас*. 2017. № 2 ([https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyi\\_zapas/112\\_nz\\_2\\_2017/article/12529/](https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyi_zapas/112_nz_2_2017/article/12529/) (дата обращения: 12.07.2024)).
- 2 *Аванесян А.* Метафизика сегодня. М.: V-A-C Press, 2019. С. 82.



в сетевых журналах, ориентированных на инновативные литературные практики<sup>3</sup>. Впрочем, широкую известность — помимо многолетней редакторской работы в ведущих деловых и активистских изданиях — Кононов приобрел в динамично развивающейся с 2010-х литературной журналистике: книга «Код Дурова»<sup>4</sup>, посвященная создателю социальных медиа «ВКонтакте» и «Telegram», долгое время планировалась к экранизации, а важная для автора книга «Бог без машины»<sup>5</sup> оказалась в 2012 году в коротком списке премии НОС, что указывает не только на ее общественное значение, но и на эстетические достоинства.

Литературно-журналистская природа названных книг включает их в контекст документалистского письма, затронувшего множество территорий русскоязычной словесности в два последних десятилетия: от театра, стремившегося вернуть на подмостки неприрученную речь и шокирующую реальность постсоветского общества, до поэзии, обнаружившей способность документа быть свидетельством о жизни вытесненных на обочину мира миноритарных индивидов и сообществ. Однако если ранее Кононов использовал документ как материал для создания портрета бизнесменов на фоне эпохи, то в «Ночи, когда мы исчезли» (а до этого в романе «Восстание») он обращается к более сложной документалистской установке, которая, согласно Илье Кукулину, имеет двойную направленность: «эстетическую и социальную (или историко-антропологическую)»<sup>6</sup>. По мнению Кукулина, в документалистских произведениях эстетика и антропология встречаются в точке «проблематизации субъекта высказывания»<sup>7</sup>. Но если поэзия документа (о которой главным образом и пишет Кукулин) ставит под вопрос саму возможность целостного лирического субъекта, то Кононов вплетает критический импульс в сюжетные арки героев, сталкивающих с неизбежностью психологического вытеснения наплывающей на них со всех сторон катастрофической реальности<sup>8</sup>. Более всего документалистская установка проявляется в достаточно прихотливой структуре романа, где она позволяет соединить героев из прошлого и настоящего, не скрывая швов, образующихся при таком соединении. Роман составлен из трех лишь хронологически связанных текстовых блоков, в каждом из которых наши современники при разных обстоятельствах обнаруживают устные или письменные свидетельства о людях, живших и действовавших в середине прошлого века (собственно говоря, о главных героях). Кононов создает противоречивую ситуацию, при которой мы сталкиваемся с не предназначенными для наших глаз личными документами, опосредованными зрением и слухом тех, кто читает и/или слушает их: политической активистки Александры, когда-то спешно эмигрировавшей в Великобританию и готовящей выпускную работу об анархистских течениях в русской эмиграции прошлого века (так она и находит протоколы допросов Леонида Иры в М15); российской школьницы с не-

3 Особенно хотелось бы выделить повесть «Острова и сны», опубликованную в сетевом журнале «TextOnly» в 2014 году (<http://textonly.ru/self/?issue=30&article=31081> (дата обращения: 12.07.2024)).

4 Кононов Н.В. Код Дурова. Реальная история соцсети «ВКонтакте» и ее создателя. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.

5 Кононов Н.В. Бог без машины: История 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля. М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.

6 Кукулин И. Документалистские стратегии в современной русской поэзии // Кукулин И. Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2019. С. 389.

7 Там же.

8 Наиболее явно это показано в истории Ханса Бейтельсбахера, который, став свидетелем нечеловеческого унижения его родителей большевистским отрядом, приобрел тяжелую форму диссоциативного расстройства.

обычным именем (или прозвищем?) Кутя, получившей от неродной американской бабушки Веры Ельчаниновой пачку писем, в которых подробнейшим образом описана жизнь Веры во время нацистской оккупации во Пскове и ее последующее перемещение на Запад в статусе displaced person; наконец, вчерашнего заключенного Иоахима Бейтельсбахера, полуобманом (и довольно неожиданно) получившего магнитофонные записи биографических монологов своего отца, родившегося на территории современной Украины немца-колониста Ханса Бейтельсбахера.

Как видим, на смену увлеченным социальным проектированием self-made characters ранних книг Кононова приходят совсем иные герои, чьи биографические нарративы балансируют между вымыслом и документом. Действительно, жизненные траектории персонажей не могут не повлиять на то, как и что они рассказывают о себе: в своих монологах и отчетах они не столько стремятся к непротиворечивому рассказу, сколько представляют психологически комфортную версию произошедших с ними событий, стараясь рационализировать свои поступки. Кажется, именно о таком способе рассказывать о своей жизни говорит самый дерзкий персонаж «Ночи...», разведчик-авантюрист Леонид Ира, годами водивший за нос немецкую разведку: «Нужно искренне верить в то, что говоришь. И наоборот: говорить то, во что искренне веришь, горячо и одновременно сдержанно... О своем же интересе следует умалчивать, словно его нет, а есть только искренняя вера и чистые глаза» (с. 66). Как и Леонид Ира, другие герои романа исключительно внимательны к «предлагаемым обстоятельствам», в которые они ввергнуты, однако их реакции не исчерпываются рептильным страхом, а их стремления не ведомы только лишь биологическим принципом выживания. В свете цитаты из Леонида Иры более полно проясняется и эстетическая установка Кононова, для которого документ — не буквальное свидетельство об исторической (или социальной) реальности, но аффективный инструмент, ставящий под сомнение возможность объективного свидетельства вообще. А позволяющая удерживать в одном месте прошлое и настоящее монтажная, медиальная структура романа необходима автору для обнажения «аффилиативной» памяти, то есть исторической памяти, связанной не только с изучением травматического опыта ближайших родственников (как в случае Кути или Иоахима), но и с эмоциональной открытостью парадоксальным и авантурным биографиям совершенно незнакомых людей (так происходит с Александрой, в общем-то случайно нашедшей архивное следственное дело Леонида Иры)<sup>9</sup>.

На сюжетном уровне упоминаемая выше мерцающая природа персонажей романа непосредственно связана с их гражданским статусом. Не принимая подданство страны, в которой они оказались, они словно бы отдалают возможность ответа на вопрос об их экзистенциальном самоопределении. Более того, затянувшаяся на долгие годы пауза в обретении новой идентичности кажется наиболее безопасным вариантом существования для героев, преодолевших ряд пограничных ситуаций, запущенных историко-политическими катаклизмами (главным образом Второй мировой войной, но также и Гражданской войной в России, и приходом к власти нацистов в Германии). В одном из посвященных роману интервью Кононов говорит, что для любого эмигранта «вынужденный переезд, бегство — это всегда исчезновение прошлого тебя»<sup>10</sup>. Кажется, в этих словах присутствует известная доля

9 Хирш М. Поколение постпамяти: Письмо и визуальная культура после Холокоста / Пер. с англ. Н. Эшле\*. М.: Новое издательство, 2021. С. 49—50.

\* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

10 Кравченко И. Мы постоянно умираем и путешествуем между мирами. Интервью с Николаем В. Кононовым // Такие дела. 2022. 13 октября (<https://goo.su/vV7Z> (дата обращения: 12.07.2024)).

алармизма, но для его героев «исчезновение» — часть плана по спасению себя от репрессивной государственной воли, стремящейся превратить их в людей без биографий; другая же часть этого плана парадоксальным образом состоит в отказе менять несущую конструкцию своей идентичности, пусть и испещренную рубцами негативного исторического опыта. Важно еще раз подчеркнуть, что «спасение» для героев Кононова — не биологическое выживание любой ценой, а возможность сохранить свободу и человеческое достоинство, не выдумывая новую лучшую версию себя и не отворачиваясь от болезненного прошлого, сохраняя при этом призрачную связь с ним: так, приехав почти через пятьдесят лет в постсоветскую Россию, Вера Ельчанинова почувствовала, подъезжая к Пскову, что «в солнечном сплетении стало распускаться незнакомое растение» (с. 35). А самый загадочный персонаж романа, химик Ханс Бейтельсбахер, прямо формулирует свое отношение к опыту прошлого, определяющем человека и в настоящем: «...я ценю возможность оставить отпечаток себя — такого, с которого не надо счищать слои страха и который лишен искушения приукрашивать» (с. 45). Он же, подкованный в реставрационном деле, дает блестящее философское обоснование своего кредо: «Почему... я защищал метод анастилоза? Потому что... наиболее честный способ воссоздать прошлое — собрать разбросанные блоки и сложить здание из них. Ничего не добавлять, даже если зияют дыры и хочется сложить уникальные элементы заново» (там же). Пережив невыносимый опыт, герои Кононова не стремятся скрыть оставленные им кровоточащие следы, отлично понимая, что их многослойное и неповторимое «я» будет перечеркнуто, а сами они переместятся в разряд безмолвных жертв истории. Этого допустить нельзя — передают они своим потомкам, а нам остается лишь прислушиваться к их путанным, но настойчивым голосам.

Александр Уланов

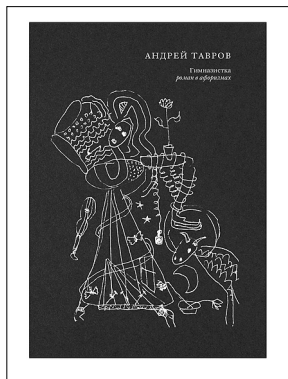
## Между лицом и мифом

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_288

**Тавров А. Гимназистка**

М.: Книги АТ, 2024. — 86 с.

Роман — посмертное издание последнего произведения Андрея Таврова, у которого с 1989 года вышло 19 сборников стихов, 5 книг прозы и 6 книг эссе. Он лауреат Премии Андрея Белого 2019 года. Автор весьма востребованный, создававший не только художественные, но и рефлексивные тексты, имеющий последователей. Поэтому книга также может дать немало мыслей о характеристиках русской литературы, связанных с происходящим кризисом.



Роман имеет подзаголовок «Афоризмы». Жанр достаточно опасный, претендующий на замкнутость, завершенность — но очень часто основное содержится в уточнениях и оговорках, а в афоризме для них нет места. У Таврова скорее не афоризмы, а фрагменты — обменивающиеся между собой самостоятельные существования. Свободное чередование прозы, эссе и стихов; повествовательного, рефлексивного и ассоциативного; голосов автора, персонажей, Хора; рассуждений о литературе и тюремных воспоминаний Аделаиды Герцых. Все они — опора друг для друга. Установка на смешение принципиальна. «Писать о чем-то определенно, со знающим видом, писать конкретно, демонстрируя терминологические хищные имена событий, мест и вещей, как З. или Т., восхищая эрудицией читателей, — значит врать. Потому что ничего конкретного и однозначного в мире нет» (с. 29). Важно сохранить неопределенность, подвижность, изменчивость, возможность иного.

Этому способствует возможность мыслить предметами, разворачивая их свойства. Неожиданна любая вещь — Тавров вспоминает, какой различной может быть вода. Непредсказуемость полета бабочки — трещина в предопределенности. Причал одновременно — и просто «щель между судном и длинным своим краем, увешанным старыми крышками, и в ней плещется зеленая вода и пахнет арбузной коркой» (с. 5), и активность пространства. Если есть у этого пространства силы расширяться, начнется долгое плавание, если есть силы сжаться — ты почти дома. Но оно может и замереть, наткнувшись на преграду. Постоянно присутствует все прошедшее — с крыши видно не только звезды, но и возвращающегося из Трои Агамемнона. Порой неточность Таврова демонстративна — не было пионеров в 1921 году, к которому отнесено действие романа. Однако он говорит о сущности советской власти, которая не слишком менялась.

Человек вглядывается в предметы, замечая детали, наделяя их смыслами, делая предметы больше, чем они были, — а они в ответ помогают стать больше ему самому. Мир — яркий и чувственный. «Я думаю, что сирены вовсе не пели, а собирали чувства женщины к мужчине по всему свету, снимая его с цветов, змей и волн, а потом, когда этот собранный шар из солнца, и васильков, и верблюжьей шерсти начинал кричать, они вставляли его себе в живот и превращались в те прельсти-

тельные женские тела, которые мужчины придумали как свою вечную смерть и желание» (там же). С такой позиции можно полемизировать с Гертрудой Стайн: «лошадь есть лошадь не есть лошадь есть лошадь» (с. 50). Существо или предмет — одновременно они и не только они.

Среди исходных пунктов Таврова — метареализм, а точнее — Парщиков, о котором Тавров неоднократно писал (в последний раз — за год до своей смерти в посвященном Парщикову сборнике статей<sup>1</sup>). Но есть связь и со «Школой для дураков» Саши Соколова, с ее внимательно-сказовой интонацией. Вплоть до почти цитаты о почтальоне Михееве, Насылающем ветер: «и приходит ветер с востока вместе с почтальоном Авдеенко» (с. 27), у велосипеда которого одно колесо Луна, а другое Солнце. Включенные в роман стихи порой продолжают «звезду бессмыслицы» А. Введенского — снова пытаясь выйти к непостижимости смерти и Бога. «Ах ветер с моря и из сердца, / ты вместе с пулями приходишь, / и сосны падают раскинув руки, / часы их больше не идут» (с. 48). А порой вспоминается Песнь песней: «Волосы ее — это леса по всему свету, а голова — бездонное синее небо, в котором плавают, как лодки, облака, а грудь и кости — это горы и породы, залегающие в них, а глаза — моря и океаны, а дыхание — ветер по всей длине земли» (с. 72).

Но мир, по Таврову, не самодостаточен. «Все есть иносказание, инопроявление» (с. 50). Возврат к символизму? Очень много говорится о всеединстве: «мозг Одиссея и звезды, пока поется и движется, — одно и то же» (с. 26), «разве все вокруг — не Авдеенко?» (с. 29), «след Всего сразу» (с. 51) и так далее. Может ли такая точка зрения уловить индивидуальность — человека или предмета? Соответственно, персонажи Таврова схематичны. Романтичные девушки, учитель гимназии, «кто преодолел в себе человека и все, что в человеке есть слабого и боящегося своей и чужой смерти» (с. 20—21). Нужны ли они в такой прозе? Шамшад Абдуллаев писал, что нет необходимости автору обслуживать в миметическом послушании «сюжет, композицию, отбор, характер, психологический ход и прочие поддельные вещи, которые в жизни, слава Богу, не встречаются»<sup>2</sup>. Иной стороной поворачивается и отказ Таврова уточнять. Иногда чрезмерная точность зажимает в тесные рамки — однако из деталей и складывается индивидуальность, а общее в общем у всех одинаково. Вся японская классическая поэзия приводится к общему знаменателю: «...закодированная в словах и поэтических строках весть о пробуждении, сатори. Вернее, даже не весть о нем, а само оно, вложенное в эти строки и удерживаемое там ими неким непостижимым образом» (с. 56), — но не получается ли, что все хорошие стихи об одном и том же? И предметы, и слова, вошедшие в стихотворение, так стираются, теряются. «Рабочий, если глядеть, как он дышит, глядеть нестерпимым взглядом правды и сострадания, может быть, вовсе и не рабочий, а вернее, уже не рабочий, а, скажем, ножка кузнеца или свая пристани в М.» (с. 53). Кажется, что соединение всего со всем ведет к произволу не менее чем опора сюрреалистов на подсознание. Агамемнон «ходит между депо и москательной лавкой, ангелами // и телеграфистами переваливаясь, как матрос, считая дома как строки гекзаметра» (с. 10). Тогда Агамемнон ли это? Или произвольный знак из культуры прошлого?

«Человек часто не видит себя в духовно-космическом потоке, которому он противится в силу того, что душа его все время поет иное, отчасти вымышленное, выдуманное и даже вымученное» (с. 58). Так что же, подчиниться воле Космоса? Тав-

- 
- 1 Тавров А. О категориях «сильного» и «слабого» в поэзии Алексея Парщикова // Фигуры интуиции: поэтика Алексея Парщикова: Сб. статей / Сост. и ред. А.Е. Масалов. М.: Эдитус, 2022. С. 27—34.
  - 2 Абдуллаев Ш. Двойной полдень: Рассказы, эссе. СПб.: Борей-Арт, 2000. С. 208.

ров много говорит не о размышлении, а о гадании — способах угадать эту волю. «Это как гадальяная карта. Не картинка тебе интересна, не сам источник. Интересно, что она скажет о твоей судьбе» (с. 51). Пусть все идет своим ходом. «Вот и быть Раю, и стоять домам, и жалиться крапиве. А пожарным тушить пожары, а матери растить детей, и ручью — течь и поблескивать» (с. 27). Пассивность культуры, которая не смогла уберечь страну от катастрофы? Текст стремится уверить, что как-то все само уладится. «Куда флюгер покажет, там слез не бывает, а одна только мудрая речь или премудрая, как золото, тишина» (с. 79).

Иной мир, видимо, нужен Таврову для примирения всего в нем. «Скажи, не говоря, и тогда придет Правда на землю. В каждый дом и в каждое сердце придет живая, жарколая, виноградная Правда о смуглых ногах и с глубокими, как голубые колодцы, глазами. Придет, и утешит, и прикоснется вещими перстами к Зое и к ее отцу, сидящему в тюрьме, к Николаю Ивановичу и Агамемнону, трудящемуся над человеком в сердце своем и печени; над всем городом выпадет Правда, как роса, все покроет, всего достигнет» (с. 26). При этом Тавров неизбежно сталкивается с вечной теологической проблемой оправдания существования зла. «Прекрасно ли все, что от Него приходит, если мы в состоянии это вместить? И как же тогда быть с землетрясениями, войнами, пожарами» (с. 81). С его точки зрения, силы этого мира лишь играют «в нехватку и недостаточность, чтоб было веселей кочующей пока что по земле, бедной и согбенной части души нашей, чующей другие свои внутренние страны» (с. 18). Не слишком ли жесткая игра? Вероятно, мысль о существовании иного мира — и о существовании в нем — может поддержать в тюрьме, но поможет ли жить и действовать так, чтобы тюрьмы не было? Для чего человеку порой нужна не только любовь, но и противоположное ей?

Все «мыслят себя чужими друг другу, забыв о том, что все они в родстве, и красноармеец с винтовкой, и лавочник, и торговец, и дама с корзинкой, в которой, наверное, несла платье от модистки, и мальчишка-газетчик — все они цветы одного ветра» (с. 32). Однако ведь есть и те, кто себя из этого родства выключил. Есть ли смысл что-то просить у Калинина, «прославившегося» сексом с молодыми девушками, на которого накладывается один из архетипов диктатора — Навуходносор, пораженный безумием, чувствующий себя животным. В романе все кончилось хорошо. Девушке удалось вызволить из тюрьмы отца, избежав секса (Калинина звали Сталин). Но надолго ли? Идет новая волна арестов. Тавров сам обращает внимание на двусмысленность слов «любимая Ада». Глава советской власти в городе остается выходцем из ада, даже если любит тихую гимназистку Аду и склонен к изобретательству. Кажется, что автор «Гимназистки» понимает многое, но пытается уверить себя и других в обратном тому, что понимает.

Он пытается вписать ужас в гармоничную картину мира — при помощи красоты. «Красота опасна, потому что она проявление Жуткого, огня, в котором ты можешь сгореть, и именно близость этого огня делает прекрасные вещи по-настоящему прекрасными» (с. 82). Но не слишком ли дорого обходится культуре заморозенность ужасом? Красота живет рядом с ним, высвечивается его присутствием, но имеет ли смысл ужас сам по себе? Хотя люди его постоянно порождают — и остается постоянное сопротивление ему, жизнь при нем.

В романе неоднократно критикуются слова, как искаженные и слабые отражения действительности. Тавров пишет о своих радиопостановках, где он стремился избегать слов, являя предмет в шумах и прочих акустических свидетельствах его существования. Но текст — событие не столько явления предмета, сколько его воссоздания в связях, ассоциациях. Слово может быть и не описывающим, и в романе Тавров дает много примеров силы видения при помощи слов. «По двору ходит красный петух, меняясь в размерах, плоский, как наклеенный на иконе. То он

меньше двора, а то больше города М. Крикнет петух — и наступает тишина, такая, что город начинает выдавливать потугосторонней ее силой нам навстречу, словно с той стороны давит на него пресс, и дома вот-вот отслоятся от панорамы и сорвутся куда-нибудь вниз» (с. 78).

Роман представляется очень противоречивым. Порой яркость деталей, порой желание эту яркость растворить во всеединстве. Порой свобода, порой скованность: в невозможности отойти от ссылок на иной мир, от мифологем. Постоянного ухудшения: «Мы потеряли слово. То, что писалось последние века, — лишь воспоминания» (с. 42). Превосходства восточной мудрости: в китайских и японских классических стихах, в китайской гадательной книге «И-цзин», в индийской формуле всеединства «тат твам аси», «то есть ты» — критически относиться к ним, видеть не только углубленность, но и неподвижность, неиндивидуальность Тавров отказывается. Он прекрасно умеет видеть частности, говорит о необходимости внимания к ним — но похоже, что в конечном счете их не любит, переключая внимание с индивидуальностей на общее. Соответственно, предметы отворачиваются от невнимания, и Тавров не удерживается в разговоре с ними, переходя на проповедь. «Просто посмотри в глаза человеку или коту с любовью, как будто видишь невиданное, а не то, на что смотришь по сто раз на дню, и, возможно, войдешь в слово Бытия» (там же). Таврову свойственна неприязнь к завершенности. «Шар словно говорит: я все сделал, больше ко мне нечего прибавить, с меня нечего взять, я не могу быть на сантиметр менее симметричным или на сантиметр более симметричным, я уже все сказал и теперь я все время говорю самим собой, что я уже все сказал. Мне кажется, шар может быть намного кровожадней льва, и укусы его могут быть куда более глубокими и болезненными» (с. 39). При этом роман постоянно отсылает к вполне шарообразному миру всеобщей гармонии.

Бабочка — также и летящая по воздуху подкова, «тяжесть коня стряхнув, силу его переправив» (с. 11), а конь «соединен» (именно соединен, а не превращен) в бабочку цветами, полем, полустанком. Есть ли тут необходимость еще и в силе, что пришла из космоса? Нужна ли отсылка к другому миру, если происходящее происходит в этом? и нам как-то обходиться с ним, помогать ему, опираясь на него, встречая его — в том числе и через слова.

# Библиография

Федор Николаи

## Культурная история и социальные исследования счастья

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_292

**Иллуз Е., Кабанас Э. Фабрика счастливых граждан:  
как индустрия счастья контролирует нашу жизнь /**

Пер. с англ. А. Рахманько.

М.: АСТ, 2023. — 352 с. — 2000 экз.

**Critical Happiness Studies /**

Ed. by N. Hill, S. Brinkmann, A. Petersen.

L.; N.Y.: Routledge, 2020. — 198 p.

**Stearns P.N. Happiness in World History.**

N.Y.; L.: Routledge, 2021. — 226 p. — (Themes in World History).

**The Routledge History of Happiness /**

Ed. by K. Barclay, D. McMahon, P.N. Stearns.

L.; N.Y.: Routledge, 2024. — 471 p. — (Routledge Histories).

Культурная история и социология эмоций активно развиваются уже более сорока лет<sup>1</sup>. Важным их элементом, редко привлекающим внимание российских ученых<sup>2</sup>,

---

1 См., например: *Плампер Я.* История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2018; *Frevert U.* Writing the History of Emotions: Concepts and Practices, Economies and Politics. L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2024; *The Routledge History of Emotions in the Modern World / Ed. by K. Barclay, P.N. Stearns.* L.; N.Y.: Routledge, 2022.

2 Именно социально-культурным исследованиям счастья, а не экономическому благополучию, посвящено совсем немного работ. См., в частности: *Топография счастья: этнографические карты модерна / Сост. Н. Скорин-Чайков.* М.: Новое литературное обозрение, 2013; *Гончарова О.О.* Счастье для всех: забытый концепт или новое осно-



являются исследования счастья, или «поворот к счастью»<sup>3</sup>. Барбара Розенвейн насчитывает 887 работ о счастье, написанных с 1950 по 1980 г., и 8346 исследований 1981—2011 гг.<sup>4</sup> В рамках этого бума долгое время преобладал тезис о господствующей в современном обществе зависимости счастья от уровня экономического благополучия. Но в последние годы особое внимание привлекают три проблемы: историчность современных представлений о счастье, их относительность и вариативность даже в эпоху модерна; темпоральные составляющие счастья, то есть его направленность в прошлое или будущее, и, наконец, неразрывная взаимосвязь представлений о счастье с масштабным комплексом негативных эмоций и ощущений (усталости и одиночества, обиды и ressentимента), терапевтическим противоядием от которых и выступает нормативная модель счастья как благополучия. С этой точки зрения в исследованиях счастья интересна не только их социологическая составляющая, но и возможность нового прочтения, казалось бы, хорошо знакомых текстов, например тезисов В. Беньямина «О понятии истории». Наиболее широкую известность и множество интерпретаций получили первый и девятый тезисы — о шахматном автомате и ангеле истории, тогда как второй, посвященный именно счастью, оказался несправедливо забыт. Напомним его фрагмент, в котором поразительным образом переплетаются все три волнующие современных исследователей проблемы: «К наиболее примечательным свойствам человеческой души, — замечает Лотце, — принадлежит <...> наряду с таким множеством эгоизма в отдельном человеке всеобщая независтливость любой современности по отношению к будущему». Из этого положения следует, что образ счастья, нами лелеемый, насквозь пропитан временем, в которое нас определил ход нашего собственного пребывания в этом мире. Счастье, способное вызвать нашу зависть, существует только в атмосфере, которой нам довелось дышать, у людей, с которыми мы могли бы беседовать, у женщин, которые могли бы нам отжаться. Иными словами, в представлении о счастье непременно присутствует представление об избавлении. С представлением о прошлом, которое история выбрала своим делом, все обстоит точно так же»<sup>5</sup>.

## Как устроена современная «фабрика счастья»

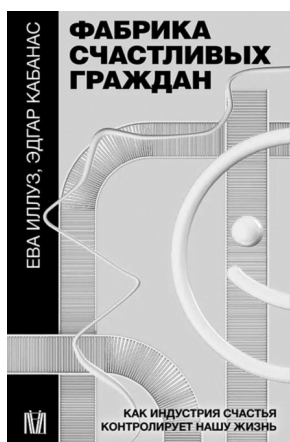
Начать разговор о культурной истории и социологических исследованиях счастья можно с недавно вышедшей в русском переводе книги «Фабрика счастливых граждан» известного израильского социолога *Евы Иллуз* и испанского психолога *Эдгара Кабанаса*, которые доказывают, что наши представления о счастье в 2000-е гг. существенно изменились по сравнению с эпохой модерна. «Наше культурное во-

---

вание социального порядка? // Социология власти. 2019. № 4. С. 185—209; *Долзов А.Ю.* Понятие счастья в социальной теории: классические и современные подходы к концептуализации // Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. 2020. № 3. С. 11—30.

- 3 См., например: *Ahmed S.* The Happiness Turn // *New Formations: A Journal of Culture, Theory, Politics.* 2008. Vol. 63. P. 7—14; *Idem.* *The Promise of Happiness.* Durham: Duke University Press, 2010; *McMahon D.M.* *Happiness: A History.* N.Y.: Grove Press, 2006; etc.
- 4 См.: *Rosenwein B.* *Happiness in Old Age: A Very Brief History of a Complex Topic* // *The Routledge History of Happiness* / Ed. by K. Barclay, D. McMahon, P.N. Stearns. L., N.Y.: Routledge, 2024. P. 70—82.
- 5 *Беньямин В.* О понятии истории / Пер. с нем. С. Ромашко // *Новое литературное обозрение.* 2000. № 6. С. 81.

ображение захвачено счастьем, наши жизни *перманентно, до самого краешка* заполнены им <...>. Больше не принято считать, что счастье хоть как-то связано с судьбой, обстоятельствами или отсутствием недугов, что оно дает оценку всей жизни или служит жалким утешением для глупцов. Теперь счастье рассматривается как мировоззрение, которое можно сформировать силой воли, как результат применения наших внутренних сил и подлинного “я”, как единственная цель, ради которой стоит жить, как стандарт, по которому измеряется ценность наших биографий, размер наших успехов и неудач, а также наше психическое и эмоциональное развитие» (с. 18). Важно отметить, что эти изменения произошли не сами собой, а благодаря целенаправленным усилиям лидеров позитивной психологии и коучей, создавших глобальные «фабрики счастья» и зарабатывающих огромные деньги<sup>6</sup>. Апеллируя к работам М. Фуко, авторы книги рассматривают позитивную психологию как дискурс знания-власти, конструирование новых социальных норм («осознанно быть счастливым») и патологий (подаваться негативным эмоциям).



Современная культура счастья основана на потреблении не просто товаров и услуг, а эмоций, идентичностей и «эмодуктов» (emodities). Последние строятся как переплетение трех составляющих: эмотивов — эмоциональных высказываний, развертывающихся в процессе коммуникации<sup>7</sup>; элементов биополитики (в ее понимании Фуко) — стремления к максимизации собственной эффективности и претензии на власть, значимость и авторитет именно ввиду эффективности; наконец, утопического обещания «эмоциональной трансформации» *в будущем*. Яркими примерами «эмодуктов» становятся сегодня интернет-приложения для смартфонов, такие как «Track Your Happiness», «Happy Life», «Happy Habits: Choose Happiness», «The H[app]athon» и «Happify». Только на последнее

из них к концу 2018 г. подписались более трех миллионов пользователей, согласившихся платить по 15 долларов в месяц (с. 215). Приложение постоянно вознаграждает пользователей условными баллами за выполнение задач; отслеживает их состояние по мере реализации заданий; предоставляет ежедневную статистику их «эмоционального фитнеса» и регулярно проводит интернет-соревнования и челленджи на тему «кто счастливее». После завершения программы пользователям предлагаются другие курсы и продукты.

Основная часть книги посвящена анализу дискурсивной механики и инфраструктуры позитивной психологии, которая «используется для легитимации индивидуализма в, казалось бы, неидеологических условиях посредством нейтрализующего и авторитетного дискурса позитивной науки» (с. 29). Здесь подробно рассматриваются: история распространения образовательных программ позитивной психологии по всему миру — в колледжах и университетах США, Канады, Великобритании, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии; появление в организациях США и Европы должности директора по счастью; попытки создания министерств счастья и введения «валового продукта счастья» (ВПС). Все эти

- 
- 6 По данным Иллуз и Кабанаса, коучинговый бизнес приносит 2,356 миллиарда долларов в год (с. 51).
- 7 Это понятие ввел историк эмоций У. Редди: *Reddy W.M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2004.*

столь разные процессы подчиняются общему тренду: психология личности вытесняет социальную проблематику. Между тем подлинным источником современных проблем, по мнению Иллуз и Кабанаса, выступают не негативные эмоции, а падение доходов, расслоение среднего класса и рост прекарной занятости в неолиберальном обществе. «Несколько десятилетий назад Кристофер Лэш утверждал, что в трудные времена повседневная жизнь превращается в упражнение на “психическое выживание”: люди в нестабильной, рискованной и непредсказуемой обстановке прибегают к своего рода эмоциональному отступлению от любых обязательств, кроме своего психического самосовершенствования и личного благополучия. Также Исая Берлин отмечал, что отступление во “внутреннюю цитадель”, индивидуалистическую доктрину, побуждающую нас скрыться в крепости нашего “я”, возникает, когда внешний мир оказывается исключительно скучным, жестоким или несправедливым» (с. 117). Ключевую роль в обсуждаемых процессах сыграл кризис 2008 г.: масштабный спад экономики и последующее замедление темпов ее развития поставили вопрос о новых стратегиях максимизации прибыли. Позитивная психология перекладывает эти проблемы на рядовых потребителей, легитимируя тем самым растущий разрыв доходов в обществе.

Еще в 1974 г. известный американский экономист и социолог Р. Истерлин обнаружил парадокс: увеличение доходов до определенного уровня прямо пропорционально росту счастья; но дальнейший рост материального благополучия не делает людей счастливее. Их ощущение счастья зависит скорее от соотнесения своего положения с положением представителей других социальных групп: если благосостояние последних улучшается, уровень счастья может падать даже при относительном росте дохода. Позитивная психология предлагает считать себя счастливее других, не обращая внимания на материальное благополучие. По сути, речь идет об интернализации социальной иерархии: парадокс Истерлина не исчезает, но переносится из социальной плоскости в психологическую. Поэтому Иллуз и Кабанас делают достаточно жесткий вывод: «Счастье, кажется, придает блеск гуманизма дегуманизирующему мировоззрению технократии» (с. 90).

Далее авторы отстаивают еще несколько важных тезисов. Обида, недовольство, скорбь и другие негативные эмоции неизбежны и необходимы в определенных ситуациях. «Народные протесты и социальные изменения происходят благодаря массе рассерженных и недовольных граждан» (с. 318). И действительно, женское движение, афроамериканцы и новые левые в 1960-е гг. активно использовали недовольство и социальный негатив для того, чтобы изменить общество к лучшему. Позитивная психология и индивидуалистическое понимание счастья не могут заставить негативные эмоции просто исчезнуть, они репрессируют их и вытесняют в бессознательное (связанное у Фрейда с сексуальностью). В свое время Фуко убедительно показал, что в викторианскую эпоху сексуальность репрессировалась не для того, чтобы ее полностью уничтожить, а чтобы контролировать желания и управлять ими. Аналогичным образом действует сегодня позитивная психология: она не уничтожает обиду, ненависть и resentment, а стремится снять их социальные импликации. При этом интерес к сексуальности в XIX в. скорее рос, чем снижался. Аналогичным образом одиночество, депрессия и resentment в современном обществе скорее растут, чем уменьшаются. И эти негативные эмоции становятся мотором для целого ряда политических сил, прежде всего правых популистов, критикующих неолиберальное общество и идеализирующих прошлое.

Важно отметить также, что позитивная психология не только торгует «эмодуктами», но и меняет представления о личности. Она приводит к еще одному витку коммодификации идентичности, идеализируя «личный брендинг» как «искусство инвестирования в себя с целью повышения шансов на успех, удовлетворение и тру-

доустройств» (с. 234). По данным социологических опросов, 79% американских студентов согласны с утверждением: «Я осознаю, что мое имя — это бренд, и мне нужно тщательно его развивать» (с. 237). Социальные интернет-сети воспринимаются с этой точки зрения как площадки для публичной демонстрации счастья. Однако значительная часть молодежи недовольна такой установкой, считает ее неискренней и испытывает серьезное разочарование, размещая «счастливые» посты, не соответствующие их реальному самоощущению<sup>8</sup>.

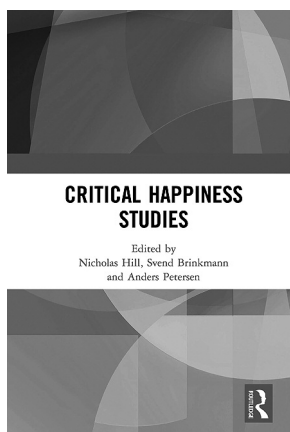
Наконец, Иллуз и Кабанас подчеркивают важность социальной составляющей счастья — его взаимосвязи с общезначимыми и культурными ценностями. Кроме того, в современных представлениях о счастье сохраняется элемент утопической устремленности в будущее, которая была принципиально важна для эпохи модерна и ярко проявляется в процитированном выше тезисе Бенямина. В этом смысле неолиберальная модель счастья приватизирует утопические надежды и ожидания будущего. Однако есть ли альтернатива такой приватизации? Этот важный вопрос остается в книге без ответа, хотя авторы понимают его важность: «Культ счастья — это в лучшем случае отвлекающий маневр, а не лекарство от нарастающих чувств уязвимости, бессилия и тревоги. <...> Людям, безусловно, нужна надежда, но она должна быть без отупляющего, деспотического, конформистского и почти религиозного оптимизма, который, как отмечает Терри Иглтон, подается вместе со счастьем. Нам нужна надежда, основанная на критическом анализе, социальной справедливости и коллективных усилиях, непатерналистская, не решающая за нас, что для нас хорошо, и не стремящаяся избавить нас от худшего, но вместо этого ставящая нас в более выигрышное положение, чтобы противостоять ему. Не как отдельных индивидуумов, а вместе, как общество» (с. 317). Однако как именно нужно поддерживать такую надежду? Какие устойчивые формы, способные оказывать реальное воздействие на общество, может она принимать?

## Счастье как нарративный конструкт: критические исследования

Ответить на эти вопросы пытаются авторы сборника статей «Критические исследования счастья» под редакцией Николаса Хилла, Свенда Бринкманна и Андерса Петерсена. Исследователи во многом согласны с тезисом Иллуз и Кабанаса (которым принадлежит одна из статей сборника) о том, что распространение неолиберальных представлений о счастье сопровождается ростом депрессий и resentimenta. Однако отличает книгу акцент на встроенности этих представлений в более масштабные *нарративы*, предлагающие общее видение мира, картографию ценностей, поколенческих установок и личных интересов. Ярче всего этот вектор анализа проявляется в статье *Карла Седерстрёма* из Стокгольмского университета «Счастье как моралистская фантазия». Автор обозначает три наиболее известных нарратива счастья: классический (преобладавший от Античности до Ренессанса), коллективистский эпохи модерна (ярким проявлением которого стали идеи поколения 1968 г.) и преобладающий сегодня в западном обществе неолиберальный. Классический нарратив связывал счастье с удачей, фортуной и подчеркивал его зависимость от сложной иерархии добродетелей, не сводимых к гедонистическим удовольствиям. В эпоху модерна счастье стало восприниматься как баланс личной

8 Подробнее см.: *Freitas D. The Happiness Effect: How Social Media Is Driving a Generation to Appear Perfect at Any Cost. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2017.*

и социальной самореализации. При этом принципиально важны были три элемента, отсутствовавших в классическом нарративе: ощущение подлинности (аутентичности), простые удовольствия и работа. Последняя не просто обеспечивает благополучие семьи, а дает надежду на спасение (в смысле протестантской этики у М. Вебера). А подлинность, или аутентичность, предполагает открытость миру, возможность высказывать свои чувства и идеи, а не ограничивать их в соответствии с придворным этикетом или представлениями о высших добродетелях. В рамках и классического, и современного нарративов личное счастье оказывается невозможным без политического/морального сообщества. В неolibеральной модели конца XX — начала XXI в. эти общественные элементы полностью отходят на задний план, а на передний выходят гедонистические удовольствия. Работа становится ценной потому, что дает деньги, а не обещает спасение или самореализацию. Важно отметить также ключевую для выстраивания фабулы в этом нарративе роль кризиса: достичь счастья можно лишь путем преодоления личных (внутренних) барьеров.



Столь масштабное сравнение, действительно, придает контрастность исследованиям счастья, но при этом выявляет слишком много лагун, контртенденций и просто отдельных текстов, которые не очень вписываются в какие-либо «эмоциональные режимы». Оно может служить лишь фоном для исследований конкретных кейсов<sup>9</sup>. С точки зрения Седерстрёма, представления о счастье и их нарративные воплощения не полностью исключают друг друга, а часто сохраняют преемственность, лишь меняя акценты и выводя на передний план ранее остававшиеся в тени элементы. Неolibеральная модель счастья появилась не на пустом месте, а во многом опиралась на установки общества благосостояния 1950—1960-х гг. (включая идеи свободы и экзистенциальной подлинности). Более

того, отголоски этих идей в современном обществе не исчезли совсем, а оказались деактуализированы, сданы в архив и не очень востребованы (как процитированный выше второй тезис Бенямина). «Дискурсивный подход к анализу счастья, который я отстаиваю, — пишет К. Седерстрём, — помогает продемонстрировать его историческую и политическую контингентность. При рассмотрении моральных ценностей, лежащих в основе наших сегодняшних фантазий о счастье: будьте искренними, наслаждайтесь, развивайте свою рыночную ценность — становится ясно, что они не только отличаются от ценностей, одобренных в предыдущие эпохи, но и могут измениться в будущем» (с. 31).

В этом контексте крайне важно, что сборник включает в себя не только анализ известных философских текстов, но и социологические исследования обыденного языка полупоформализованных интервью, в которых представители разных социальных групп, поколений и стран высказываются о счастье. Например, *Николаас Хилл* из Мельбурнского университета анализирует интервью преподавателей и студентов, обучающихся на программах позитивной психологии, фиксируя в том числе их сомнения в продуктивности и критику этих программ. *Лаура Хайман* из

9 В качестве яркого примера такого исследования можно вспомнить работу Х. Арендт о понятии всеобщего счастья в эпоху Просвещения: *Арендт Х. Стремление к счастью // Арендт Х. О революции / Пер. с англ. И. Косича под ред. А. Павлова. М.: Европа, 2011. С. 156—191.*

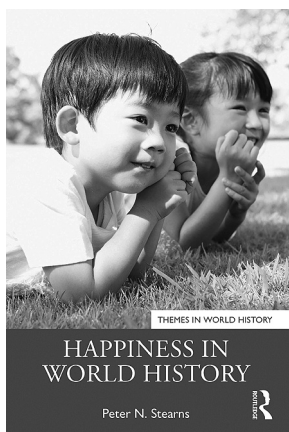
Портсмутского университета работает с полужформализованными интервью, посвященными взаимосвязи счастья и грусти, — взаимосвязи, крайне важной для современной популярной культуры и выступающей, по мнению исследовательницы, показателем сензитивности как маркера принадлежности к среднему классу. Социолог *Марк Сеслик* из Нортумбрийского университета в статье «Социология, биографический метод и развитие критических исследований счастья» обращает внимание на важность солидарности, альтруизма и взаимопомощи в интервью представителей разных поколений. Такие установки труднее верифицировать, но они играют заметную роль для огромного количества людей и в повседневных тактиках, и на уровне осознаваемых ценностей. Все эти исследования показывают, что неolibеральные представления о счастье нельзя абсолютизировать: люди ситуативно выстраивают баланс между личными и коллективными интересами, между прагматическими ожиданиями благополучия и (модернистскими) представлениями о солидарности.

## Социальная история счастья в эпоху модерна

С точки зрения известного американского историка, редактора «Журнала социальной истории» *Питера Стернса*, «революция счастья» произошла не в 2000-е гг., а еще в XVIII в. и стала неотъемлемой частью самого феномена модерна. Капитализм складывался не просто в результате промышленного переворота или секуляризации протестантской этики — он соединил их с модернизацией повседневных практик и эмоциональных норм, ориентированных на удовольствие и (в пределе) на достижение счастья. Капитализм сохраняет господство во многом потому, что связывает между собой экономический рост, пространство повседневности и ориентированный на достижение счастья эмоциональный диспозитив. Хотя критика капитализма и общества потребления в духе Иллуз вполне справедлива, но действенной альтернативы ему до сих пор нет. Более того, подобная критика все чаще используется как оправдание собственных прагматических интересов консервативными и фундаменталистскими региональными элитами, которые под лозунгом возвращения национальных традиций пытаются укрепить свою власть, призывая отказаться от гедонистических («западных») ценностей. На этом фоне Стернс подчеркивает сохранение потенциала европейского проекта модерна, который еще не исчерпал себя. Индустрия счастья производит товары и связанные с ними позитивные эмоции, которые во многом гасят социальные противоречия, стресс и депрессию от растущей эксплуатации и снижения социальной мобильности. Причем соединение материального благополучия и позитивных эмоций рассчитано прежде всего на средний класс, существенное расслоение которого происходит в 2000-е гг. В этом контексте идеал счастья выступает как своеобразный фармакон, яд и лекарство одновременно. Он позволяет решать часть проблем современных обществ, но консервирует и свойственные капитализму противоречия.

Обосновывая датировку «революции счастья» XVIII в., Стернс обращается, во-первых, к словоупотреблению. Гугл-диаграммы использования слов в литературных текстах фиксируют активный рост употребления слова «счастье» на протяжении всего XVIII в. и постепенный спад после середины XIX в. Выражение «счастливая семья» стало все чаще использоваться спустя пятьдесят лет, но сохраняет свою распространенность до современности. «Примечательно, что слово “fun” (веселье, забава, шутка. — *Ф.Н.*), происходящее от более ранних средневековых терминов, обозначавших шутов или дурачков, впервые было использовано как глагол в 1680 г., а как существительное — в 1700 г. Оно продолжало ассоциироваться

с фокусами или мистификациями примерно до 1730 г., после чего стало относиться к обычным развлечениям в их современном восприятии» (с. 91). Во-вторых, как и в других своих работах<sup>10</sup>, Стернс доказывает, что консьюмеристская колонизация повседневности началась в Великобритании XVIII в., когда достаточно широкое распространение среди городского среднего класса получили привезенные из колоний сахар, чай, кофе, шоколад, ром, а также связанная с ними инфраструктура: универсальные магазины, кафе, реклама и т.д. Одновременно в Европе XVIII в. происходит победа открытой улыбки (и сопровождающей ее стоматологии), которая раньше была невозможна и считалась признаком дурного тона: «У французского “Короля-Солнца” Людовика XIV не было зубов. Возможно, самая известная улыбка итальянского Возрождения, — улыбка Моны Лизы, — выглядит такой загадочной потому, что она тщательно старалась не показывать свои испорченные или отсутствующие зубы. Кроме того, широкая улыбка и открытый смех часто подвергались критике как прискорбное отсутствие эмоционального контроля. Манеры высшего сословия предполагали, что громкий смех является признаком плохого воспитания и ничем не лучше, чем зевание или испускание газов. В 1703 г. один французский писатель отмечал: “Бог не дал бы людям губы, если бы хотел, чтобы зубы были выставлены напоказ”» (с. 92). Книга Стернса содержит в себе множество таких занимательных анекдотов, однако автор крайне редко задается вопросом о степени их репрезентативности и подменяет анализ культурных взаимосвязей между словами, вещами и практиками всего лишь перечислением забавных кейсов, которые наверняка понравятся широкой аудитории.



Чуть лучше дело обстоит в главах, посвященных социологическим опросам второй половины XX — начала XXI в.: выводы социологов здесь соотносятся между собой. Кроме того, Стернс подчеркивает, что результаты этих опросов нуждаются в дополнительной интерпретации, учитывающей данные когнитивных исследований, а также экономических, культурных и социальных факторов: возраста, гендерной и особенно классовой принадлежности. Например, Стернс комментирует проведенное в 1972 г. психологическое исследование факторов успешности, в ходе которого детям давали сладости и предлагали не есть их сразу, обещая через десять минут дать в два раза больше. Организаторы исследования интерпретировали его результаты в рамках индивидуальной психологии — демонстрируя влияние доверия и готовности контролировать свои эмоции на успешность. При этом игнорировались социальные аспекты исследования, в частности то, что дети из высшего или высшего среднего класса легче могут себе позволить доверять другим, чем дети бедняков, или что для последних сладости являются гораздо большей ценностью (с. 18). Стернс настаивает, что все социальные исследования требуют интерпретации, учитывающей культурные факторы, включая темпоральные установки — надежды на будущее и разочарование в этих надеждах (с. 199).

Социально-культурную обусловленность темпоральных установок Стернс показывает, подробно комментируя масштабный социологический опрос «Глядя в 2000 г.», который проводился в начале 1970-х в тридцати социалистических, ка-

10 См. о них: *Игаева К.В., Мордвинов А.А.* Социальная история консьюмеризма в работах П. Стернса // Диалог со временем. 2022. № 80. С. 425—429.

питалистических и развивающихся странах. В Индии 52% респондентов считали, что в 2000 г. счастья будет больше, при этом 46% оценивали настоящее как настолько тяжелое (несчастливое), что только надежда на будущее придавала им силы (с. 177). В социалистической Чехословакии 57% респондентов верили в светлое/счастливое будущее, но лучше оценивали современность (лишь 31% был недоволен ею). И лишь 10% жителей капиталистических стран (британцев, норвежцев и датчан) верили в светлое будущее — они были гораздо более довольны настоящим (лишь 17% называли себя несчастными). В Японии (тоже капиталистической и экономически успешной) 36% респондентов были недовольны настоящим и 42% надеялись на будущее. Стернс подчеркивает невозможность прямого соотнесения этих данных с политическими факторами и необходимость их соотнесения с другими социологическими исследованиями, включая «Всемирное исследование ценностей» Р. Инглхарта.

На этом фоне очень странным выглядит отказ автора от использования прямых ссылок — лишь в конце глав он предлагает литературу для дальнейшего чтения. К другим недостаткам работы можно отнести поверхностный характер глав, посвященных антропологическим данным об обществах охотников и собирателей, а также представлениям о счастье в античной философии и религиозной мысли Средневековья. В главе о «коммунистическом счастье» любопытен тезис о попытках манипуляции наследием советского проекта со стороны элит в Китае и России. Целью этих манипуляций выступает конструирование нового баланса в представлениях о будущем: условно говоря, 30% советской ретропии — в расчете на пожилых людей и прекариат; 30% либерального благополучия — прежде всего для среднего класса крупных городов; 40% националистической ретропии как оправдания перераспределения благ — в интересах элит. Идея весьма любопытная, но также слишком поверхностная и не верифицируемая на материале источников.

В целом тезис Стернса о необходимости диахронического анализа представлений о счастье в соотнесении с социальной историей представляется вполне справедливым. Можно согласиться и с его мыслью о ключевом влиянии общества модерна на «индустриализацию» счастья — неразрывную взаимосвязь представлений о материальном благополучии и массового производства товаров и услуг. С этой точки зрения позитивная психология является скорее продолжением той инфраструктуры, что сложилась в обществе потребления эпохи модерна. Как и Иллуз с Кабанасом, Стернс пока не видит реальных альтернатив существующей системе. Однако будущее остается для него открытым для изменений и поиска ответов на актуальные вопросы, касающиеся в том числе снижения социальной мобильности, роста прекариата и смещения вправо национальных элит.

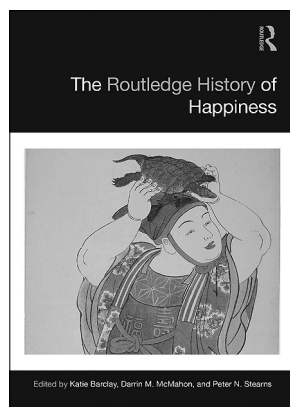
## Культурное наследие и политическое измерение счастья

Вопрос об альтернативах неолиберальной модели счастья находится в центре внимания и авторов сборника статей «История счастья» под редакцией Кэти Барклай, Дэррина Макмагона и Питера Стернса. Культурная история эмоций здесь включается в диалог с социальной антропологией. Многие статьи посвящены неевропейским сюжетам: представлениям о счастье в Ботсване, Бутане, Нигере, Японии и других странах. Так, в статье «Счастье и буддизм: современный роман, или сказка, старая как время?» *Ланг Чен* из Мичиганского университета рассматривает дзэн-буддизм Д.Т. Судзуки в США и его отношение к эмоциям. *Бекки Ян Сюй* и *Джозелин Лу* из Джорджтаунского университета в статье «Счастье и скорбь: семейные узы и траур в Китае» изучают ритуал подметания могил на праздник Цинмин, в



котором ежегодно принимает участие около миллиарда человек (78% населения Китая), и отношение памяти об утратах к восприятию счастья. Такие исследования достаточно важны, поскольку показывают многообразие антропологических представлений о счастье, однако они рассчитаны скорее на узкий слой академических исследователей и потому едва ли будут интересны широкой аудитории. Между тем несколько другие статьи сборника представляются крайне важными.

Профессор Бейтс-колледжа *Джейн Костлоу* в статье «Кто счастлив на Руси?», название которой явно отсылает к поэме Некрасова, задается вопросом: почему самые разные социологические опросы 1990—2000-х гг., включая «Всемирное исследование ценностей» под руководством Инглхарта, фиксируют достаточно низкий уровень счастья в России? Сам Инглхарт и его коллеги-социологи объясняют эти показатели экономическим и социальным кризисом 1990-х, уточняя, что ценности и установки поколений почти не меняются со временем: люди, привыкшие к выживанию, не станут со временем постматериалистами — ценителями автономии, самовыражения и индивидуальной свободы выбора<sup>11</sup>. Костлоу добавляет к этому объяснению еще два фактора: во-первых, она указывает на специфическое отношение к счастью в российской дореволюционной, советской и постсоветской культурной традиции от Пушкина, писавшего: «На свете счастья нет, но есть покой и воля», — через Толстого и Достоевского — к Бродскому и Линор Горалик\*. Одним из наиболее ярких проявлений этой культурной традиции автор считает ответ режиссера А. Тарковского на вопрос американского студента: «Как достичь счастья?» — «А почему Вы думаете, что должны быть счастливы?» (с. 261). С точки зрения Костлоу, проявления депрессии в современных медиа (например, в «Грустнограме», <https://grustnogram.ru/>) являются не просто реакцией россиян на текущие события и конфликты, а частью культурного наследия, в рамках которого (со)страдание и отказ от личного благополучия во имя общественных идеалов выступали важным элементом достойной жизни, а быт противопоставлялся бытию<sup>12</sup>.



Второй фактор, справедливо отмечаемый автором, — это политический момент: постматериальные ценности молодежи и коллективистские ценности выживания старших поколений (в терминологии Инглхарта) не просто сосуществуют, а конфликтуют друг с другом. Причем давление здесь имеет односторонний характер: пожилые когорты не только сами воспроизводят привычную жизненную стратегию, но и *заставляют* выживать молодежь, участвуя в текущих конфликтах. Тогда как признающие ценность свободы личного выбора молодые когорты не стремятся (и не имеют ресурсов) «перевоспитать» старшие поколения. Для последних счастье связано с (относительной) безопасностью, «стабильностью» и кон-

сервацией привычного образа жизни, а молодые постматериалисты вынуждены выбирать между неолиберальным комфортом (на Западе) или культурной тради-

11 Количество постматериалистов во всем мире (как и в России) в 2000-е гг. растет именно за счет молодежи, которая не беспокоится о голоде и выживании. См.: *Инглхарт Р.* Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / Пер. с англ. С.Л. Лопатиной. М.; Челябинск: Социум, 2020. С. 220—226.

\* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

12 Об этом ярко писала С. Бойм: *Бойм С.* Общие места: мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 14.

цией «страдания за идеалы» в России. С этой точки зрения современные конфликты и войны идут не просто за территории, но за ценности и представления об общем благе. И у неолиберальной модели счастья уже есть вполне работающая консервативная альтернатива, которую поддерживают многие правые популисты не только в Китае или России, но и в США, и в ЕС. Тогда как левые (в XX в. ориентированные именно на будущее) пока не могут предложить нового эмоционального режима.

Рост позиций правых популистов и отсутствие альтернативных проектов достижения общего блага у левых оказываются в центре внимания социолога из Бирмингема *Росс Эббиннетт*. В статье «Политика, счастье и несчастливое наследие: либеральные демократии и возвращение фашистского популизма» она отмечает, что современные правые популисты во многом являются наследниками фашистских идей величия своей расы, гендерного шовинизма, антагонистического неприятия других культур. Она также принципиально не согласна со Стернсом в оценках современного неолиберализма, который, по ее мнению, умирает. Причем именно неолиберализм разрушал и продолжает разрушать институты гражданского общества, такие как университет, здравоохранение и государство благосостояния, что порождает resentment, которым питаются сторонники правых популистов. Последние предлагают вполне жизнеспособную повестку, включающую в себя конструирование основанного на resentment морального сообщества и относительную стабильность, противопоставляя ее разочарованию от сбоев социальной мобильности. Эббиннетт напоминает, что экономическая политика правых и в 1930-е гг., и позже (например, во франкистской Испании 1950—1960-х гг.) была вполне конкурентоспособна по сравнению с либеральной, а значит, было бы ошибкой игнорировать такую альтернативу сегодня. В этом контексте исследовательнице представляется крайне важным проанализировать отличия разных вариантов правого популизма в Китае, Венгрии, Турции, России и других странах, включая противоречия ценностных установок его сторонников.

Вопрос о будущем принципиально важен и для статьи *Кэти Барклай* «Радость будущего», выступающей эпилогом книги. Здесь поднимается проблема различий между счастьем, удовольствием и радостью (joy) — эмоцией, которая может выступать «самосбывающимся пророчеством» (с. 449). Для всех этих терминов характерна устремленность в будущее. Счастье представляется автору наиболее отрефлексированным понятием, связанным с идеей общего блага. Но в его основе лежит не всегда отрефлексированная установка на валоризацию ситуативных моментов радости и надежды. Задача исследований счастья — подчеркнуть важность осознанных и коллективных усилий движения в сторону этой надежды. Барклай считает, что этот коллективизм далеко не всегда связан с выживанием и подчинением представителей других культур и поколений. Используя метафору Беньямина, такое отношение можно назвать «независтливостью по отношению к будущему». Впрочем, как именно это работает в современных условиях, из эпилога Барклай не очень понятно. Идеализация молодежи (для которой особенно важны веселье и радость) как социальной силы, меняющей общество к лучшему, происходит здесь с оглядкой на прошлые достижения молодых бунтарей поколения 1968 г., на которых современные миллениалы и зумеры не очень похожи.

\* \* \*

Рассмотренные книги сильно отличаются друг от друга. Е. Иллуз и Э. Кабанас деконструируют устройство неолиберальной «фабрики счастья». Авторы «Критических исследования счастья» стремятся показать внутренние противоречия господст-

вующих нарративов и их переплетение в обыденном языке разных социальных групп. П. Стернс считает, что сложившаяся в эпоху модерна либеральная модель счастья до сих пор скорее работает, чем находится в кризисе, и ей нет альтернатив. Д. Костлоу и авторы сборника «История счастья» переносят акцент на политическое измерение счастья и представлений о достойном будущем существующих обществ. Однако все эти исследования объединяет то, что счастье рассматривается в них не просто как социальный конструкт, а как комплекс ценностей, прагматических установок, эмотивов и «эмодуктов». И все они признают важность взаимосвязи представлений о счастье и самой идеи будущего. Историк Э.П. Томпсон писал в свое время о становлении британского рабочего класса в том числе через политизацию его темпоральных представлений. Современный капитализм формирует средний класс, в том числе кодируя представления о счастье как достижение материального и эмоционального благополучия не в отдаленном будущем, а прямо «сегодня». Горизонт ожидания при этом схлопывается до минимума. Правые популисты предлагают восстановить этот горизонт, развернув его в прошлое, — ностальгически идеализируя национальную идентичность и подменяя социальную мобильность смесью национальной гордости и ресентимента. Третьей альтернативы этим моделям пока нет. И не будет без понимания механизмов взаимосвязи эмоциональных практик и темпоральных представлений молодежи, прекариата, низшего среднего класса и тех «воображаемых сообществ», которые заинтересованы в модернизации современного мира и преодолении набирающих силу конфликтов.

Марина Загидуллина

# История литературы как социального института

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_304

## Институты литературы в Российской империи / Сост. и отв. ред. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков.

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. — 496 с. — 500 экз. —  
(Монографии ВШЭ: Гуманитарные науки).



В предисловии А.В. Вдовин и К.Ю. Зубков справедливо отмечают, что «институциональный подход редко применяется к литературе XVIII—XIX вв.» (с. 9), и представляют рецензируемую книгу не как «создание масштабного нарратива, охватывающего социальную историю литературы на протяжении нескольких веков, а [как] анализ отдельных узловых проблем, связанных с эволюцией института литературы» (с. 25). Дают они также общий очерк институционального анализа литературы и историю попыток его использования в России. Наиболее продуктивным они считают подход Ю. Хабермаса, основывающийся на теории модернизации. Хабермас рассматривал литературу и как образец, и как двигатель модернизации, прослеживая

длительный процесс автономизации литературы от государственного патронажа (в свою очередь, литература предстает как элемент публичной сферы — по Хабермасу, избравшему именно литературные дискуссии в Германии как пример становления частного пространства, защищенного от государственного диктата, противостоящего ему и — как следствие — его разрушающего). Иными словами, автономизация литературы и знаменует автономизацию общества, обретение обществом каналов независимого от власти сплочения и «обратного воздействия» на власть. Здесь же обнаруживаем и анонс основного заключения, к которому пришли исследователи — авторы книги:

Выводы нашей работы, как кажется, подталкивают к восприятию независимости социальных институтов от государства не как необходимого эпизода на якобы непреложном пути исторического прогресса, а как результата усилий множества отдельных акторов, действующих в определенных исторических условиях (с. 14).

Книга включает тринадцать исследований различных аспектов социальной истории русской литературы за XVIII—XIX вв. Статьи расположены в хронологии предмета исследования — от Тредиаковского к народным чтениям конца XIX в. — и объединены в пять частей: становление литературы как института (XVIII в.), публичная сфера 1830—1850-х гг., литература «между государством и обществом» (середина и вторая половина XIX в.), писательские сообщества второй половины XIX в. и просветительские проекты (середина и вторая половина XIX в.). Объединение материала в отдельные части в некоторых случаях условно. Для удобства обзора содержания в рамках данной рецензии рассмотрим статьи не на основе хро-

нологии или предмета изучения, но на основании близости разных исследований по аспектам институциональности. Тогда можно выделить три основных кластера: во-первых, сообщества, общества и объединения разных периодов, манифестирующие различные функции института литературы; во-вторых, статьи о внутренней «атомизации» института литературы, выражающейся в выделении сегментов словесности в самостоятельные «поля»: актуализация поэзии и собственно художественной прозы, основанной на «вымысле» в XVIII в.; в-третьих, пересечение литературного поля с другими полями, а именно образованием и педагогикой. Разумеется, и это деление весьма условно.

Предложенное деление позволяет не столько концептуализировать и обобщить содержание (это достаточно четко и полно сделано во введении к книге), сколько обнаружить дополнительные данные об институциональном статусе рассматриваемых феноменов.

*Первый кластер* — статьи о литературных обществах и объединениях. Появление обществ, содержанием деятельности которых является словесность в самых разных ее проявлениях, без сомнения, является ярким признаком институционализации рассматриваемого феномена. Анализируя неожиданную конкуренцию Императорской Российской академии (реформу которой предложил А.С. Шишков) и Вольного общества любителей российской словесности (устав которого, по Шишкову, во многом дублировал функции Академии), А.С. Бодрова в статье «Институциональный статус литературных обществ второй половины 1810-х годов» формулирует центральный принцип подобных объединений:

Актуализация конкуренции внутри поля литературы (или даже шире — публично-просветительской сферы) на этом этапе пока неотделима от конкуренции за гетерономные привилегии — покровительство высшей власти и возможность использования государственного ресурса. Литературные объединения, как и другие «ученые» или благотворительные общества этого и более позднего периодов, сочетали автономную демократизирующую внутреннюю организацию с использованием патронажных моделей и бюрократической конкуренции, а сама их деятельность мыслилась и осуществлялась в тесном сотрудничестве с властными институтами и часто под их покровительством (с. 126—127).

На «внутрицеховом» уровне такие организации имели вполне демократическую структуру, однако этот аспект тонко рассматривается автором как «прием», некая «уловка» лоббирующих лиц с целью реализации конкретного интереса (хотя само понятие «интересов» как институционального «драйвера» в книге не рассматривается).

Деятельность Шишкова была направлена на придание большей значимости Российской академии как главному гаранту «правильности» развития русского языка («долг попечения о языке»). Текст проекта Шишкова являл собой точное соответствие «миссии» Академии наук как института (поскольку в основе всякой миссии — формулирование прагматических функций на языке «деонтологии», высокого общественного долга и ответственности). В этом смысле пояснение функции Российской академии как «охранительницы языка» в проекте Шишкова было сродни доказательству «военно-оборонной» значимости ее деятельности (наличие врагов языка и необходимость им противостоять в целях «просвещения и общественной нравственности» как основы государственного развития и стабильности).

Большой интерес представляет и детальное описание хода обсуждения проекта Шишкова в высших правительственных кругах, где в центре внимания оказались не формулировки миссии и функции, а именно вопросы субординации (Бодрова

подчеркивает, что и для самого Шишкова изложение высоких целей Академии было лишь способом получить возможность управлять Академией без вмешательства Министерства народного просвещения — поскольку по его проекту президент Академии не подчинялся какому-нибудь министерству, а был равен министрам по своей роли в управлении Академией).

Анализ институционального аспекта проекта Шишкова позволяет Бодровой показать суть стратегии «нового президента»: добиться одновременной легальности (законного признания на уровне государственного устройства) и легитимности Академии как «внутреннего регулятора» всего поля словесности (за счет выборности и опоры на оценку просветительских заслуг кандидатов в академики и управляющие Академией комитеты). Смена наименования на ВОЛРС (первоначально Общество соревнователей просвещения и благотворения) также рассматривается в статье как шаг институциональный: эпитет «вольное» важен как показатель независимости, а для Шишкова — снятие претензий на бюджетное финансирование (что могло бы поставить уникальность Российской академии под вопрос).

Следует отметить, что сама «напористость» «соревнователей» (и вообще «активизм» в части создания именно литературного общества) представляет собой яркое подтверждение быстро расширяющегося культурного пространства, пронизанного литературностью (то есть упрочения позиций художественной литературы в практиках светского общения, реализованных прежде всего в форматах салонной жизни). Имеет значение и тот факт, что ВОЛРС в части внимания к словесности было сосредоточено именно на литературе, а не на «охране языка» (как неоднократно подчеркивал в своих пояснениях к уставу Шишков). Бодрова указывает, что — хотя Шишков привлек в Академию «новых» литераторов, с которыми полемизировал (например, Н.М. Карамзина), — Академия осталась «закрытым собранием», не отвечающим потребностям автономизации литературы, что и проявилось в возникновении иных объединений, восполняющих эти организационные лакуны.

А.С. Федотов в статье «Пореформенный театр в поисках автономии: падение театральной монополии и сопутствующие процессы» стремится показать автономизацию «как глобальный процесс, в который вовлечены все виды культурного производства в России XIX в. от искусства до науки, но который в разных сферах протекал по-разному» (с. 248). Его внимание сосредоточено на деятельности Общества русских драматических писателей; автор подчеркивает, что речь шла о борьбе за автономию театров от государства, которая «имела экономический, политический и эстетический смысл» (с. 251). Стоит отметить, что на первый план выходит именно монетизация труда драматургов (и в целом вопросы экономические); политические оказываются достаточно маргинальными, а эстетические оборачиваются тем же коммерческим вопросом «успеха у публики» либо становятся «дискурсивной упаковкой» все тех же «финансовых интересов». Федотов подчеркивает, что автономизация театра была крайне затруднена из-за дороговизны производства театральной продукции (спектаклей), включающего содержание и больших зданий, и больших групп людей (с. 248—249). Отмена императорской монополии рассматривается в статье как важное достижение демократизации театрального дела в России, автор также исследует специфику взаимоотношения государственного регулирования и бюджетного финансирования театров.

Описывая деятельность Общества русских драматических писателей, Федотов стремится подчеркнуть, что сам факт создания такого общества и его деятельность были знаками автономизации театрального дела от государства. Путь к созданию общества был довольно тернистым и потребовал основательных личных усилий его создателей. В отчете о работе общества, вышедшем в 1899 г., дается детальная

картина его функционирования: перечислены все лица, участвовавшие в учреждении общества, а до утверждения его устава действовавшие в не имеющем юридического статуса, но вполне институциональном Собрании русских драматических писателей, фактически наладившем основную деятельность организации. Устав общества был утвержден 30 июля 1874 г. — через четыре года после решения о создании этого объединения:

Утверждение Устава Общества составляло важное событие в области авторского права на литературную собственность: теперь силою правительственной власти было признано и обеспечено за драматическими писателями право собственности на постановку их пьес на частных сценах. Таким образом статья 1684 Улож[ения] о наказ[аниях] получила для себя правовую основу<sup>1</sup>.

Что же касается рассмотрения театральных юбилеев в этой же статье (празднование 100-летия русского театра в 1856 г. и 200-летия в 1872-м), то здесь собран очень интересный материал об организации премии и конкурса на лучшую пьесу, посвященную юбилею, о «провале» Уваровской премии и учреждении премии Грибоедовской как демократической альтернативы первой. Федотов отмечает:

Драматургическая премия в этих условиях приобретала нормальные для современного мира функции: она не только финансово поощряла лучших в своей отрасли художественного производства, не только участвовала в циркуляции символического капитала, но и помогала свободным антрепренерам иерархизировать драматургов, сориентироваться в этой сложной сфере, снизить финансовые риски (с. 264).

Большой интерес представляет и анализ пьесы Островского к 200-летию юбилею театра «Комик XVII столетия» (данный в сравнении с пьесой В.А. Соллогуба «30 августа 1756 года», выигравшей конкурс пьес к 100-летию юбилею театра). Именно в связи с этим конкурсом Федотов дает обзор деятельности Театрально-литературного комитета и показывает, как развивался кризис доверия к этому объединению, не отвечавшему все более высоким требованиям к специализированной экспертизе. Это тоже крайне важная часть «внутренней атомизации» литературы, манифестирующая все более сложные иерархии внутри самого литературного поля (так, автор подчеркивает, что Театрально-литературный комитет в части экспертизы театральной укоряли в излишней «литературности», отсутствии собственно опытных театральных авторов в его составе).

Сравнивая 100-летний и 200-летний юбилеи театра, составители во введении иронично пишут: «...вопреки здравому смыслу, эти даты отмечались с интервалом отнюдь не в 100 лет» (с. 31). Федотов подчеркивает, что «история театра все время переписывалась», а часть статьи, посвященную этому материалу, называет «Борьба за театральную историю». Анализ первого юбилея, приуроченного к общей программе торжеств коронации Александра II, представляется очень точным и значимым: история театра вписывалась в общий нарратив «культуртрегерства» царского дома (с. 264—265). Что касается второго юбилея, то из материалов статьи следует, что фактически единственным инициатором и исполнителем включения 200-летия театра в программу чествований Петра был сам Островский (от имени Артистического кружка), который написал свою пьесу во многом под воздействием новых материалов по истории театра, не только опубликованных Н.С. Тихоновым, но и лично переданных Островскому историком. То есть переписывание ис-

1 Обзор деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов за XXV-летие его существования 1874—1899 г. М., 1899. С. 8.

тории шло не «под заказ» («исходя из нужд современности»), а в силу вполне объективных обстоятельств — новых исторических сведений о петровских временах (с. 266—267).

Подробный анализ литературного общества с самым длительным сроком существования — Литературного фонда — содержится в статье *М.С. Макеева* («Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым: от “чистого искусства” к реалиям литературной жизни»).

Концепцию этого общества (получившего краткое наименование «Литературный фонд») он называет «внутрипрофессиональным» решением, суть которого — признание неспособности «внешнего мира» (общества) рассматривать литераторов как социальных акторов. Функции и организацию фонда (по проекту Дружинина) Макеев убедительно характеризует таким образом:

Дружининский проект выглядел как оторванная от реальности утопия, вытекающая из понимания русской литературы, как будто принявшей лозунг «чистого искусства» и волшебным образом превратившейся в «товарищество» благородных и тонких «ценителей» (с. 281).

Устав общества был утвержден 7 августа 1859 г. Общество отчитывалось перед Министерством народного просвещения обо всех лицах, получавших от него пособие (с. 283), что «обеспечивало Обществу покровительство и ежегодные пожертвования от министерства» (с. 284):

В результате Министерство народного просвещения проявило инициативу и сделало пожертвования в Общество постоянной статьей своих расходов. Каждый год Фонд получал существенную сумму из личных средств императора Александра II. Благодаря этому капитал Общества возрос в 1867 г. до 46 тыс. руб., а пособий было выдано на сумму 10 тыс. (с. 285).

Исследование решений Литературного фонда помогает увидеть важнейшие аспекты «кухни» института литературы: границу понятий «литератор», «ученый», разграничение «профессионалов» и «любителей» — все это является яркими признаками укрепления института литературы в части самих «производителей литературной продукции» как его основных акторов. Отмечая, что в основе принципов самих решений общества выделить деньги тому или иному просителю лежали простые и ясные принципы гуманности, милосердия («сантиментальности») — вопреки формулировкам Дружинина), Макеев приходит к следующему выводу:

Оно [общество] стало отражением русской литературы с ее гуманистическими тенденциями, с царящим в ней беспорядком в сфере эстетических оценок и иерархий, литературы, не до конца и нечетко осознающей, что она собой, собственно, представляет и где границы, за которыми начинается недостойная ее «низкая» реальность (с. 294).

В статье «Русская литературная богема (1860—1880-е годы)» *А.И. Рейтблат* обращается не к официально утвержденному обществу, а к социокультурной группе, а именно литературной богеме. Важно, что в данной статье понятию богемы дается четкое определение, а временные рамки, в которых рассматривается это явление, отграничивают литературную богему этой эпохи от более позднего «элитарного» ее варианта (что подчеркивается в статье). Характеризуя литературную богему, автор соглашается с В.М. Фриче в том, что богема по сути «интеллигентный пролетариат». Рейтблат отмечает, что содержанием жизни богемы становилась критика



действительности (в основе которой — пренебрежение «навязанными» правилами и ограничениями), приходившая на смену «работе на заказ» (с. 297).

Социальной базой литературной богемы исследователь считает «низший уровень литературной среды» (с. 298). Вообще эпитет «низший» пронизывает всю статью, указывая на место литературной богемы не только в литературной, но и в социальной иерархии. Питательной средой русской богемы стал слой мелких литераторов, обслуживающих низовую прессу (дешевые газеты для малообразованных слоев: «Сын отечества», «Петербургский листок» и т.п.). Из мемуарной и художественной литературы автор приводит фрагменты, позволяющие составить очерк русской литературной богемы: бедность, граничащая с нищетой, пьянство, неуважение со стороны самых разных групп; но в то же время и сознание своей миссии (которое, по сути, как подчеркивает Рейтблат, было вульгаризацией идеологии социального критицизма и нигилизма 1860-х гг., с. 306). Важная черта богемы — образование именно сообщества, коллективной жизни. Местом общих встреч становились трактиры:

Здесь обменивались информацией о возможном заработке, о переменах в составе издателей и редакторов, о возникающих периодических изданиях и т.д., перехватывали у коллег немного денег в трудный момент, вместе пили, иногда там же и работали (с. 307).

Интересно, что это описание близко кейсу Хабермаса (кофейня как локус публичной сферы, где идет обсуждение литературы, театральных постановок и свободный обмен мнениями), однако для автора статьи нет сомнений, что богема до уровня серьезного обсуждения общественных проблем не дотягивала (хотя критический дискурс был нормой), и основной причиной этого стал, по-видимому, низовой характер богемной среды, выражающийся не столько в ее пауперизации, сколько в ориентации на контркультурное поведение и прожигание жизни. В отдельных случаях группы богемных литераторов могли образовывать и некоторые профессиональные сообщества (например, «Общество репортеров»). Большой интерес представляет описание самих практик литературно-журналистского производства (например, продажа одних и тех же лубочных историй с разными названиями издателям или сочинение новостей для низовой прессы).

Наконец, к первому кластеру можно отнести и статью *Я.Я. Агафоновой* («Чтения для народа как государственный просветительский проект в поздний период Российской империи»):

Так, в 1872 г. при Министерстве народного просвещения была создана специальная Постоянная комиссия по устройству народных чтений, которая должна была не только разработать регламент, но и создать официальный просветительский дискурс, адресованный народу (с. 398).

Комиссия по устройству народных чтений, таким образом, изначально создается не как частная инициатива, ждущая одобрения свыше, но полностью в связке с властями, под их началом и патронажем (конкретно, как показано в статье, — от полицейского ведомства до царя):

Издания Комиссии скорее были навязаны читателю, чем добровольно им выбраны, тем не менее их покрывала аура государственного авторитета, что позволяет рассматривать чтения как один из важных дискурсов популярной литературы (с. 410).

Подробный анализ организации чтений (не только в аспекте выбора текстов, но и в материальном аспекте — поиск помещений для чтений, использования световых

картин и т.п.) позволяет автору прийти к значимым выводам о «конструировании народного читателя» (в ситуации «делегированного чтения»). Эта конструкция (основанная именно на представлениях самих устройств чтений о публике) вступает в конфликт с реальной аудиторией чтений, что также очень подробно раскрывается в статье.

*Второй кластер* статей связан с описанием процессов все большего раздробления «единого тела» словесности, выделения отдельных формирований разного типа, обретающих «узнаваемость» и становящихся «заметными». С таких статей начинается книга — это две статьи, написанные А.А. Костиным. В первой («Открытость поля поэзии, или Поэзия как товар») приводятся интереснейшие разыскания о месте поэзии в общей циркуляции литературных произведений середины XVIII в. и на основании их (например, ведомости выплат Академии наук за изданные ею книги) устанавливается, что поэзия была совершенно маргинальной формой словесности, не востребованной публикой (притом публикой образованной). Фактически точкой роста значимости поэзии становится только вторая половина XVIII в., а стереотипное мнение о роли Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова в становлении поэзии не подтверждается при внимательном знакомстве с общим фоном литературной жизни того времени. Обращая внимание на, казалось бы, чистые условности стиля (например, обращение авторов к публике), Костин показывает, как публика поначалу фактически объявлялась нежелательной в ситуации общения избранных (поэтов), а иногда под читателями понимался один-единственный оппонент-поэт, но постепенно такая позиция стала сменяться включением читателей в поле стихотворного производства, которое, в свою очередь, было разгерметизировано. Внутри этих трансформаций (1740—1760-х гг.) и кроется точка входа читающей публики в стихотворное пространство — как потребителей этого товара. Продолжая отвечать на вопрос о выходе литературы на стартовые позиции формирования социального института, Костин далее обращается к символическому капиталу «фикциональной литературы», то есть художественных произведений, в основе которых лежит вымысел (статья «Вымыслы поэтические и преступные: литература среди других институций письма»). Особый интерес представляет сопоставление «подъяческого» и литературного языков. Автор убедительно показывает, как официально-деловой стиль того времени открывал дорогу к продвижению по социальной лестнице, а владение им расценивалось как редкий талант. Литературный же язык вымышленных историй оказывался в оппозиции к нему и начинал производство текстов, обладающих своим типом социального капитала. Авторские (фикциональные) навыки «вымышления» не нужны в мире подъяческого языка (равноудаленного и от литературного, и от разговорного, с. 95). Остается установить, как же литературное производство смогло завоевать свое место под солнцем:

Формы существовали, стихотворцы существовали; то, что можно назвать «литературой» (как набор текстов), существовало; грамотные читатели, входящие в одни (обширные) социальные сети со стихотворцами, существовали, а между тем стихотворства за границами очень ограниченной группы стихотворцев не было. За счет чего происходит переход? Более удачной объяснительной моделью может быть различие достойных и недостойных субъектов, читающих или не читающих достойные книги (набор которых определяется в постоянной публичной дискуссии), — центральный механизм социальной динамики Просвещения (с. 75).

«Достоинство», определяемая чтением книг, и становится маркером признания «вымысла», который, как показывает Костин, до этого рассматривался только в негативном смысле (в юридическом дискурсе). Здесь интересно, что автор пере-

ключает внимание на самих деятелей юридической сферы, которые «не могли не наделяться мистическим статусом»: ведь с помощью слова они могли спасти просителя и вернуть ему искомое или наоборот (с. 89). Но самое важное в этой статье — указание на момент «первоначального накопления» социального капитала литературой: это момент секуляризации культуры, который строился на основании придания сакрального статуса религиозным объектам (в том числе, например, знаниям, начитанности, способности постижения прекрасного и т.п.).

Тема «атомизации» института литературы, некоторые моменты становления которого глубоко охарактеризованы Костиным, продолжается в статье *М.Б. Велижева* «Публичная сфера и политическая мысль: институты полемики в ранней истории западничества и славянофильства», где автор ставит своей целью «реконструировать глубинную дискурсивную структуру публичных обсуждений» (с. 133) острых проблем «славянофильско-западнического» поля. При этом художественная литература для автора статьи не особенно важна — он говорит преимущественно об историко-философской части «истории идей», репрезентируемой в новых форматах публичной сферы. В принципе, некоторая нечувствительность к автономизации серьезной публицистики историко-философского содержания от общего поля словесности в статье ощущается довольно остро; между тем известный стереотип, согласно которому литература в России взяла на себя функции других институтов (публичной сферы), представляется недостаточно обоснованным. Предложенный в книге подход и позволяет увидеть сегментацию литературного пространства на элементы, ищущие своего оформления, а в определенных случаях — институционализирующиеся. Сам Велижев упоминает фразу Грановского о «моде на ученость» в высшем свете, называя это «разгерметизацией университетской науки». Участники интеллектуальных «чтений» тоже предпочитали называть такие вечера «литературными», а авторы публицистических статей почитались «литераторами». Однако можно задуматься о «синкретизме» таких вечеров, где Гоголь читал «Рим» или главу из нового романа «и смешил нас ужасно», как замечала Е.М. Хомякова, а ее супруг «не переставал спорить» (с. 138–139). Велижев дает полемике Грановского, Киреевского и Хомякова обозначение «политико-философское письмо» (с. 139–140), однако далее называет дебаты между ними, разворачивающиеся в салонах, «интеллектуальными развлечениями» (с. 140), пишет, что «дебаты о судьбе России или о философии Гегеля становились частью светского досуга» (с. 150).

Под институциональным аспектом в статье упоминается «влияние на молодежь» (студенческую), однако эта микротема лишь обозначена. В финале Велижев использует понятие «культурные практики», указывая на значимость понимания правил светского поведения (и салонного спора) для интерпретации истории идейных расхождений западников и славянофилов.

*Е.И. Вожик* в статье «Фельетоны журнала “Современник” и формирование публичной сферы в 1850-е годы» обращается к теме книги через поэтику фельетонов И.И. Панаева и А.В. Дружинина. Во-первых, она исследует развернутую метафору литературного мира как «сцены», а также связанных с этой метафорой «декораций», второго и третьего планов и др., подчеркивая, что такое сопоставление показывает публичность мира литературы (открытость публике, как сцена в театре), из чего делает вывод, что можно применить понятие «публичная сфера» Ю. Хабермаса к литературе 1850-х гг. При этом независимость от государственной власти понимается как существование по законам, утвержденным самими литераторами, но этиология этих «внутрицеховых» законов также не рассматривается.

Вожик подчеркивает, что великий князь Константин Николаевич покровительствовал литераторам и ученым, организовывал поездки литераторов для описания различных регионов России и участвовал в иных формах литературной жизни.

ни. По мнению автора статьи, это означает, что правительство само осознало значимость литературы; отметим, что роль отдельных персон в развитии института литературы — важный объект наблюдений в рамках институционального подхода.

*Третий кластер* статей связан с пересечением поля литературы с иными полями. Это прежде всего цензура, выступающая «сколком» поля чиновной службы, непосредственно касающимся управления литературными процессами. Так, в статье «Прилично ли такое представление на театре»: моральные категории и социальное воображаемое в деятельности драматической цензуры середины XIX в.» К.Ю. Зубков проводит подробное исследование цензуры в области драматургии. Автор приходит к выводу, что цензура и на Западе, и в России прежде всего боролась за «приличия» в публичном пространстве. Исключались любые намеки на телесный низ — будь то сексуальные отношения или, например, роды, болезни. Исключалась и двусмысленная лексика. Театр рассматривался как «школа воспитания» для народа (так в Германии, и так же — в России). При этом цензура существовала, по мысли Зубкова, в полном отрыве от той самой публики, о нравственном покое которой она заботилась: «Строго говоря, в Российской империи общественное мнение никоим образом не могло повлиять на деятельность цензуры: легально никаких механизмов “обратной связи” не существовало» (с. 187).

Автор выстраивает обзор цензурных моделей от николаевского времени к эпохе Александра II, подчеркивая, что на основе цензурных заключений можно реконструировать «воображаемую публику» (с. 188). В этой статье читатель найдет глубокий анализ оценок цензоров и попытку их систематизировать. Фактически понятия «политическая неблагонадежность» и «эстетическое несовершенство» сливались, одно влекло за собой второе. Нередко негативная оценка произведения прямо увязывалась с негативной оценкой «неприличного поведения» реального автора (с. 199), а иногда такого автора приглашали и в III отделение для «воспитательной беседы» (с. 200).

...цензоры николаевского времени, таким образом, занимали покровительственную позицию, стремясь воспитывать всех зрителей, как образованных, так и просто-народье. Их беспокоила прежде всего даже не угроза распространения со сцены политически опасных идей, а скорее демонстрация нежелательных моделей поведения (с. 202).

По мнению исследователя, в 1860-х гг. в цензурных заключениях наблюдается переход от охранительной к просветительской модели театра (важнее позитивное воздействие на публику, «поучительный характер театра», с. 204). В то же время цензура обращала внимание на общий смысл пьесы, ее литературное и сценическое качество. Позднее, в 1870-е гг., цензура вновь возвращается к модели охранительной, а в заключениях цензоров больше считаются «страхи», чем стремление поддержать какую-либо «воспитательно-нравственную» тему.

Зубков показывает работу цензоров как самодостаточный элемент общего института литературы; фактически цензоры представлены как акторы, артикулирующие «голос власти». Большой интерес представляет исследование институционального характера цензуры на каждом этапе ее развития, предопределяемого не «объектом цензурирования» (то есть литературным полем), а именно полем чиновного труда.

Так, в статье упоминается Совет министра внутренних дел по делам печати, члены которого принимали решения коллегиально и должны были развернуто обосновывать свою позицию (с. 206). Автор статьи не ставит задачу проанализировать деятельность Совета, как не учитывает и контекст карьеры цензора (в том

числе зависимость его суждений от горизонта ожиданий непосредственного начальника или руководителя, который принимал решение о карьерном росте). Именно этот аспект анализа литературной цензуры представляется максимально институционализированным, хотя напрямую в статье речь об этой стороне вопроса не идет. Например, на с. 208 сообщается: «В итоге пьесу Шиллера, в которой Федоров нашел столько нравственности и художественных достоинств, запретил лично император». Здесь важен сам механизм императорских запретов — какие именно решения утверждались им лично, опирался ли он на мнения советников по этим вопросам либо действовал исходя из своего читательского и эстетического опыта, какую роль лично император играл в функционировании театров и т.п.

На с. 215 автор заключает: «...цензоры этого периода, похоже, верили в то, что самые разные представители публики — и элиты, и простонародья — в целом способны понять и эстетическую природу пьесы, и ее нравственный смысл, причем сходным образом». Здесь важно бы прояснить, насколько непосредственное руководство цензоров было вовлечено в «либеральный дискурс», активизированный александровскими реформами (что кажется более вероятным, чем заключение о том, что «цензоры верили» во что бы то ни было).

Очень удачным кажется словосочетание «страхи цензоров», фактически говорящее о наличии «внутренней цензуры» самих цензоров, но, к сожалению, не проясняющей, на каких внешних факторах базировался этот внутренний самоконтроль. Институциональный подход к литературному процессу, несомненно, позволяет такие механизмы выявлять и описывать. Например, на с. 222—224 речь идет о «целой теории» цензора Фридберга, в основе которой принцип «как бы чего не вышло», то есть модель цензуры, характерная для николаевской эпохи (хотя это 1870-е гг.). Но автор статьи не проясняет, кто был истинным адресатом записок Фридберга (начальник какого типа и идейной ориентации), предпочитая рассуждать о «затаенном страхе» Фридберга перед «всей массой русской публики», нежели о его стремлении «выслужиться» перед конкретным начальством. Это предположение автор статьи косвенно подтверждает, говоря о том, что вся цензура 1870-х гг. заняла «фридберговские» позиции (с. 224).

Важное место в статье занимает парадокс разрешения пьесы «Гроза» к постановке. Можно задаться вопросом — не был ли Островский лично «приятен» или даже важен для непосредственных начальников цензоров, что и ставило его в уникальную позицию, когда любую его пьесу следовало именно «выгородить» и спасти от каких бы то ни было обвинений? В этом отношении институциональный подход мог бы дать ключ к крупному культурному явлению, каковым выступала цензура, однако это могло бы вступить в противоречие с идеей автора статьи об «агональной публичной сфере» в России, представлявшей собой не консенсус точек зрения на большие вопросы современности, но кипение разных взглядов и одновременное сосуществование самых разных трактовок общественной жизни.

Тема цензурного ведомства продолжена в статье «Чиновник и писатель: случай И.А. Гончарова» *С.Н. Гуськова*. В этой статье последовательно развенчивается мнение, что государственная служба была для Гончарова бременем, мешавшим творчеству. Автор доказывает, что Гончаров успешно сочетал карьеры цензора и писателя. Более того, служба стала важным источником тем и идей его произведений, вдохновила на ряд художественных решений; в свою очередь, литературный талант стал причиной его карьерного роста. Собственно институциональные моменты (особенно после 1855 г., когда писатель становится цензором и членом Совета министра внутренних дел по делам печати) в статье не освещаются; фактически исследование направлено на корректировку стереотипного восприятия государственной службы как тяжелого бремени и совершенно скучной деятельности.

К третьему кластеру пересечений поля литературы с иными полями можно отнести и статьи, связанные с педагогикой и образованием. Статья *А.В. Вдовина* «От “Полной русской хрестоматии” к первой программе по литературе: становление стандартов литературного образования в России и педагогические проекты А.Д. Галахова 1840—1850-х годов» основана на теоретических изысканиях А. Грейфа, чья матрица института (правило — организация — убеждение — регулярность) применена к программам словесности в середине XIX в.

Проведено подробное исследование выхода (и успеха) галаховской хрестоматии с упором на институциональность, понимаемую все же в большей мере как деятельность облеченного властью лица — Ростовцева (по Грейфу, «институционального предпринимателя»), который и создает административный сеттинг внедрения хрестоматии как основы нравственного развития кадетов. В статье не только представлен расклад исследуемого объекта по матрице Грейфа в части «убеждений и норм» и «регулярности» (например, «убеждение в том, что список отобранных текстов русской и зарубежной литературы — важная культурная ценность и формирует хороший стиль речи и национальное мировоззрение гражданина», с. 320), но и собраны материалы, позволяющие судить о внутренней логике процессов институционализации литературы как учебного предмета; например, фраза самого генерала Ростовцева:

Когда же все наши руководства поспеют, тогда направление, средства и цель умственного образования будут как лошадь на возжах, в руке Главного начальника, захочет — поворотит вправо, влево, остановит, прибавит рыси и т.д. <...> Без них военно-учебные заведения никогда не достигнут единства в образовании и высшее начальство никогда не будет определено знать, в каком направлении воспитывает оно своих учеников, что при неблагонамеренности, хотя и малого числа лиц, может постепенно привести Россию на край пропасти, ибо, пользуясь правом избирать руководство, преподаватель может читать воспитанникам, что захочет (с. 331—332).

Наконец, в статье «“Общество это составляю я один”»: генезис и рецепция педагогического проекта Л.Н. Толстого в свете дискуссий начала 1860-х гг. о законах общественного развития» *Ю.И. Красносельская* говорит о попытках Толстого фактически покинуть поле художественной литературы и перейти в другой статус — организатора педагогического проекта. В этой статье институциональный аспект почти полностью маргинализирован, поскольку борьба Толстого с «Современником» хорошо вписывается в историю идей, но не слишком очевидна как элемент развития института литературы. Автор отмечает, что в кружках «художники и поэты» сами себя провозгласили главной силой, направляющей прогресс (с. 358). Характеризуя идейные споры Толстого с кругом «Современника», Красносельская подчеркивает разное отношение к вопросу воздействия на массы (фактически это еще одно ответвление спора о роли личности в истории), а также заостряет внимание на проблеме «глухоты» критиков «Современника» к сути педагогического проекта Толстого. В этой статье автор скорее следует своим целям (изучение взглядов Толстого того периода и особенности восприятия его идей современниками, а также их культурного и философского фона: «...философия истории и народное образование, великие люди и общественное мнение, нация и ее представители», с. 392), нежели задачам книги, изучающей институциональные аспекты литературы. Распутан автором достаточно сложный эпистемический узел — как случилось, что Толстой был превратно понят и защитниками, и противниками, а в результате его педагогический проект не нашел поддержки.

Завершая обзор, остается отметить, что книга является важным шагом на пути создания социальной истории литературы и намечает множество тем, изучение которых, с одной стороны, поможет разрушить застарелые стереотипы и «перезагрузить» представления о ходе литературного процесса, а с другой — откроет перспективы реконструкции как «самосознания» литературы, так и ее «объективации» в действиях акторов иных полей. Возможно, выбор институционального подхода сквозь призму книги А. Грейфа не является единственно возможным. Книга показывает, как авторам сложно было уложить в эту теорию богатый разнородный материал исследования, показывающий нелинейность автономизации литературы, ее становления как самостоятельного культурного института. Прочтение книги заставляет вспомнить концепцию Бронислава Малиновского<sup>2</sup>: институциональность реализуется через хартию (миссию), суть которой — убедить распределителя благ в значимости института для стабильности управляемого им общества (и лишь после успешного продвижения или совместно сформулированной хартии возможно то, о чем пишет Грейф — формирование норм и регулярного поведения). Так, статьи Костина как раз намечают программу анализа «точки становления» института литературы как ценности, признанной на уровне «распределителя благ». Битва за ресурс предопределяет далее содержательную динамику одной из ветвей института литературы. Однако другие ветви развиваются вне такого ресурса, стремясь утвердить свою независимость от «благ высшего начальства» и руководствоваться исключительно «внутрицеховыми» ценностями, которые также на всем протяжении истории литературы не отличались «монолитностью» или «гомогенностью». Важное достоинство рецензируемой книги — включение в оптику исследовательского внимания самых разных аспектов бытования литературы, которые (хотя никогда либо крайне редко оказывались объектом изучения) помогают понять механизмы реализации функций художественной литературы в разные исторические моменты и обнаружить новые функции литературы как социального института.

---

2 См.: Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 1999.

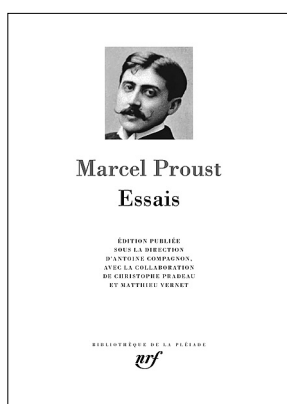
С. Л. Фокин

# Марсель Пруст «Против Сент-Бёва»: *contra aut pro?*

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_316

**Proust M. Essais** / Édition publiée sous la direction  
d'Antoine Compagnon, avec la collaboration Christophe Pradeau  
et Matthieu Vernet.

Paris: Gallimard, 2022. — 2064 p. — (Bibliothèque de la Pléiade. № 229).



Среди массива разнородных публикаций, которыми французское литературное и научное сообщества отметили столетие смерти Марселя Пруста (1873—1922), возвышается многосложная и монументальная пирамида «Опытов» — новое научное издание всех критических этюдов писателя, подготовленное группой авторитетных прустоведов во главе с академиком А. Компаньоном. Это объемистое издание оснащено основательным библиографическим, историко-литературным и текстологическим аппаратом, выверенной хронологией жизни и творчества писателя и представляет в наиболее полном виде творческую лабораторию великого романа, где все время усложнявшаяся формула эпопеи постоянно поверялась рефлексивными

этюдами, в которых Пруст осмыслил грядущее творение. Перед заинтересованным читателем открывается своего рода рефлексивное зазеркалье романного цикла «В поисках потерянного времени»<sup>1</sup>, в лабиринтах которого обнаруживаются совершенно новые виды на, казалось бы, хорошо известную, досконально изученную, многократно увеличенную панораму становления замысла, в котором притязательное сооружение Книги-Собора подразумевало не менее притязательное самовоспитание романиста-конструктивиста и философа-законодателя. В свете этого гигантского собрания набросков нарративной и рефлексивной прозы окончательно развеивается главная иллюзия, сопровождавшая рецепцию «Поисков...» с момента публикации первых томов: будто это произведение являет собой не что иное, как дилетантскую репризу «Исповедей» в духе Августина, Руссо или Толстого, усугубленную инфантильным самокопанием светского литератора-декадента *fin de siècle*: «Я искал великие законы, а меня называли копателем деталей»<sup>2</sup>.

Вместе с тем сразу необходимо подчеркнуть, что если одной из наиболее очевидных и плодотворных жанровых моделей всей эпопеи «Поисков» выступает *Vildungsroman* (молодой Пруст зачитывался «Годами учения Вильгельма Мейстера»), то, несмотря на все усилия, которые предпринимает А. Компаньон в своем предиди-

- 1 Мы отступаем от устоявшегося русского перевода названия романа по причинам, о которых нам уже случалось писать, см.: Фокин С. Пруст, которого мы не знали // Новое литературное обозрение. 2020. № 165. С. 387—388.
- 2 Proust M. À la recherche du temps perdu / Éd. sous la dir. de J.-Y. Tadié. P.: Gallimard, 1989. T. IV. P. 618.



словии (IX—LIV), чтобы установить избирательное сродство новоявленных «Опытов» с одноименной книгой М. де Монтеня, последняя явно отходит на второй план, уступая авансцену главного *прототекста* великого романа «Беседам по понедельникам», «Новым понедельникам» и «Литературным портретам» — литературоведческим этюдам, регулярно публиковавшимся в парижской периодике середины XIX столетия Ш.О. де Сент-Бёвом, самым авторитетным литературным критиком и историком французской культуры того времени, впоследствии объявленным основоположником биографического метода в литературоведении.

Именно в умственных борениях с «методом Сент-Бёва» складывались те размышления о принципах литературной критики, поэтике романа, теории живописи, философии искусства, которые и образуют «теоретический», или рефлексивный, остов нового издания. Собственно говоря, одно из наиболее бесспорных его достоинств заключается в окончательном и бесповоротном развенчании культурного мифа, порожденного французскими издателями и литературоведами, в свое время выпустившими в свет два взаимодополняющих и взаимоисключающих варианта книги «Против Сент-Бёва»: речь идет о своего рода книге-призраке, фантомном сочинении, над замыслом которого Пруст бился в 1905—1910 гг., делая разножанровые повествовательные наброски, оттачивая литературное мастерство в пастишах, испытывая себя в роли светского хроникера, сочиняя литературоведческие или философические этюды.

Все эти малые формы стали отходить на задний план приблизительно в 1909—1910 гг., когда опыты *полуэссе-полуромана* «Против Сент-Бёва» стали перерождаться, сливаться в одно разнородное и могучее течение большой прозы. Таким образом, одна часть этого рукописного наследия осталась в виде незавершенных и неопубликованных отрывков, в то время как другая часть выходила в свет в газетах и журналах начала века как опыты литературной, салонной или художественной критики, тогда как третья часть преобразалась, принимая формы романа и вливаясь в общий поток «Поисков...», где напряженное обретение потерянного времени *fin de siècle* сопровождалось избирательным воспроизведением текущего момента 1912—1922 гг., что и превращало роман Пруста в литературный памятник целой эпохи.

Начало мифа было положено в 1954 г. первым изданием «Против Сент-Бёва»<sup>3</sup>, подготовленным и выпущенным в свет Б. де Фаллуа (1926—2018), первопроходцем неторенных в то время путей научного изучения наследия Пруста: в начале 1950-х гг. выпускник Сорбонны, поработавший преподавателем литературы в лицее, решил писать докторскую диссертацию по творчеству Пруста, что не вызвало большого энтузиазма среди университетских мэтров<sup>4</sup>. Тогда на него обратил внимание известный французский литератор А. Моруа, незадолго до этого опубликовавший романизированную биографию «В поисках Марселя Пруста» (1949); он был знаком с Сюзии Мант-Пруст, племянницей автора «Поисков...», унаследовавшей его богатейший архив, в который и получил заветный доступ молодой исследователь. Никто, включая и самого амбициозного ученого, не мог даже пред-

3 *Proust M. Contre Sainte-Beuve; suivi de Nouveaux mélanges / Préf. de B. de Fallois. Paris: Gallimard, 1954.*

4 См. об этом: *Mauriac Dyer N., Fallois B. de. «L'histoire d'un roman est un roman» // Genesis. 2013. № 36. P. 105—112.* Ср. также: *Fraisse L. Aux sources de la «Recherche du temps perdu» // Proust M. Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites. Suivi de «Aux sources de la “Recherche du temps perdu”» / Textes transcrits, annotés et présentés par L. Fraisse. Paris: Editions de Fallois, 2019. P. 12—15.* См. также русский перевод этого издания: *Пруст М. Таинственный корреспондент и другие ранее не публиковавшиеся новеллы / Пер. с фр. и коммент. С.Л. Фокина. М.: Текст, 2021.*

ставить себе, во что выльется эта невинная авантюра: последовательно на свет были извлечены заброшенный юношеский роман «Жан Сантей», опубликованный в 1952 г. с предисловием А. Моруа, и полуроман/полуэссе «Против Сент-Бёва», первое издание которого было издано вместе со сборником критических этюдов «Новые смеси», составленном и озаглавленном в пандан к книге «Пастиши и смеси», выпущенной самим Прустом в 1919 г. после обрушившейся на него известности, вызванной присуждением Гонкуровской премии роману «Под сенью юных девушек в цвету».

В самые последние годы стало известно, что громкие публикации 1950-х гг. отнюдь не исчерпали богатейших залежей архива писателя, львиная доля которого была передана в 1962 г. во Французскую национальную библиотеку, хотя часть рукописей, в том числе процитированный выше юношеский сборник «Таинственный корреспондент», остались в распоряжении Фаллуа; остается только гадать, почему они не были преданы печати в 1950-е гг.

Первое издание книги «Против Сент-Бёва» счастливо соединило в себе два противоречивых начала всего замысла — рефлексивное и нарративное. Это противоречие находится в отправной точке всего замысла, как он определился в середине декабря 1908 г. в одном из писем: «Я собираюсь написать кое-что о Сент-Бёве. В своих мыслях я, так сказать, выстроил две статьи (журнальные). Одна — классической формы, в духе опытов Тэна, разве что похуже. Другая начнется с описания позднего утреннего пробуждения, Мама подойдет к моей постели, и я перескажу ей статью, которую хочу написать о Сент-Бёве. Во всех подробностях»<sup>5</sup>. В этой формулировке наглядно представлены ведущие стихии задуманного сочинения: первая, скорее теоретическая, в духе культурно-исторических «опытов» (эссе) И. Тэна, крупнейшего историка европейской культуры и литературы, одного из кумиров молодого Пруста; вторая, собственно романическая, в которой соединяются мотивы воспоминания, поминовения (умершей в 1905 г. матери) и душевного разговора, который ведется *неким автофикциональным я*, резко отличавшим замысел книги «Против Сент-Бёва» от собственно автобиографического романа «Жан Сантей». Парадокс замысла заключается в том, что в нем не теория опосредует историю, а, наоборот, литература, повествование, роман преодолевают, превосходят и «снимают», в гегелевском смысле, философию. Каждой из двух стихий соответствуют особые повествовательные режимы: романное начало, которое главенствует в таких отрывках, как «Сны», «Спальни», «Будни», «Лучик солнца на балконе», характеризуется особой задушевностью, исповедальностью, сердечностью; теоретическое, наоборот, отличается дидактичностью, педантичностью, полемичностью и доминирует в таких литературно-критических этюдах, как «Метод Сент-Бёва», «Жерар де Нерваль», «Сент-Бёв и Бодлер», «Сент-Бёв и Бальзак».

В сборнике, составленном в 1954 г. Фаллуа, две противоположные стороны задуманного сочинения, которое сам Пруст называет в письмах того времени то «Против Сент-Бёва», то просто «Сент-Бёв», если не примирились, то сглаживались набросками, в которых повествовательное начало намеренно, хотя и не всегда удачно, сочеталось с философским: прежде всего, речь идет о «Разговоре с Мамой», но также о полуэтюдах/полурассказах «Бальзак мсье де Германта», «Имена людей» и развернутом философическом размышлении под названием «Проклятое племя», где писатель впервые представил свое видение проблематики Содомы и Гоморры, усложненное не вполне последовательными опытами внутреннего осознания связи сексуальной инверсии, которое так или иначе выводит персонажа за рамки общече-

5 Proust M. Correspondance. T. 8 / Texte établi, présenté et annoté par Ph. Kolb. Paris: Plon, 1981. P. 345.

ловеческих отношений; его «еврейского удела», что, несмотря на политику и практику ассимиляции, часто приходился не ко двору во великосветском парижском обществе Belle Époque; и, наконец, литературного призвания, настоятельно требовавшего как от персонажа, так и от самого автора сопротивления соблазнам как первой, так и второй стороны аффективно-социального существования.

Книга «Против Сент-Бёва» в редакции 1954 г., вскоре переизданная в карманном формате, пользовалась (и продолжает пользоваться!) огромной популярностью у французских читателей, особенно студентов: лишенная громоздкого научного аппарата, она читается как гениальный черновик великого романа, как оригинальное введение в мир Пруста, побуждающее читателя обратиться к самим «Поискам...». В добротном обстоятельном предисловии самого Фаллуа на удивление точно определялись значение и смысл этого замысла в генеалогии эпопеи; вместе с тем литературовед, излагая принципы отбора фрагментов для своего издания, не скрывал от читателей, что перед ними книга-призрак: «В сущности, “Против Сент-Бёва” — это не книга: это мечта о книге, идея некоей книги»<sup>6</sup>. Тем не менее издание Фаллуа не отвечало критериям научной публикации: отрывки для него подбирались весьма произвольно, почти все заглавия фрагментов были издательскими, пропуски в рукописях и незавершенность отдельных текстов не афишировались. Это был гениальный монтаж, в композиции которого угадывается своевольная рука будущего успешного издателя.

«Против Сент-Бёва» в редакции 1971 г. — это «блеск и нищета» французского университетского литературоведения того времени<sup>7</sup>. Внушительное научное издание более чем в тысячу страниц, треть которого занимают историко-литературные и текстологические комментарии, было подготовлено Пьером Клараком (1894—1979) — видным историком французской литературы, сумевшим соединить изыскания в области поэзии (Буало, Лафонтен) и прозы (Колетт, Шатобриан), успешную преподавательскую деятельность в университетах Пуатье и Парижа с поразительной административной и академической карьерой: назначенный правительством Виши в 1942 г. главным инспектором государственного образования, он в 1956 г. возглавил генеральную инспекцию филологических наук во Франции; позднее вошел в Высший совет государственного образования; в 1970—1978 гг. являлся постоянным секретарем Академии моральных и политических наук. К изучению Пруста Кларак обратился в начале 1950-х гг., подготовив к печати первое комментированное издание «Поисков...» в книжной серии издательства «Галлимар» «Библиотека Пляяды», ознаменовавшее вхождение Пруста в пантеон национальной культуры<sup>8</sup>. Издание «Против Сент-Бёва» в редакции Кларака представляло собой своего рода сумму позитивистской истории литературы, парадоксальным образом воспроизведя теоретическую программу Сент-Бёва, подразумевавшую повышенное внимание не столько к тексту, сколько к контексту, не столько к самому писателю, сколько к различным писательским и светским кругам, в которых тому приходилось вращаться, не столько к внутреннему «я» пишущего, сколько к мнениям, оценкам и суждениям внешнего окружения. Таким образом, не будет большим преувеличением, если сказать, что это издание следовало бы назвать не «Против Сент-Бёва», а «Защита и прославление Сент-Бёва». С актуальной точки зрения анахроничность этого грандиозного предприятия, приуроченного к торжествам, связанным со сто-

6 Fallois B. de. Préface // Proust M. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1997. P. 23.

7 Proust M. Contre Sainte-Beuve; précédé de Pastiches et mélanges; et suivi de Essais et articles / Éd. établie par Pierre Clarac avec la collab. d'Y. Sandre. Paris: Gallimard, 1971.

8 Proust M. À la recherche du temps perdu / Texte établi et présenté par P. Clarac et A. Ferré. Paris: Gallimard, 1954. 3 vols.

летним юбилеем писателя, усугубляется тем историческим обстоятельством, что оно увидело свет в эпоху триумфа идей «смерти автора», структурного анализа, фрейдомарксизма. Словом, миф, или призрак, книги «Против Сент-Бёва» продолжил свое существование в культуре — на сей раз в наукообразном виде. Добавим также, что, поскольку из издания, опубликованного в престижной и дорогостоящей книжной серии «Библиотека Плеяды», были исключены все нарративные фрагменты, вместо которых явился авторский сборник 1919 г. «Пастиши и смеси», а также новый блок критических этюдов, озаглавленный «Опыты и статьи», весь том не только предоставил актуальный литературоведческий инструментарий, обеспечивавший проверенные подходы к самой эпопее, но и оказался своеобразным предметом роскоши, достойным занять самое видное место в домашних библиотеках интеллектуальных снобов. Разумеется, научный аппарат издания вполне отвечал новейшим достижениям тогдашней французской науки о Прусте, вбирая в себя те находки, открытия, свидетельства, которые без конца множились с момента выхода первого издания; однако очевидная несообразность этого тома всему замыслу Пруста, где наука, теория, философия поверялась поэтикой автофикционального рефлексивного романа, превращала его в некую «открытую книгу», что зывала к новым научным поискам и новым издательским решениям<sup>9</sup>.

Негативистский настрой Пруста в отношении самого авторитетного литературного критика Франции XIX в., выразившийся в названии «Против Сент-Бёва», был доведен до предела в третьей редакции издания критических этюдов автора «Поисков...», выпущенной в свет в 2022 г. А. Компаньоном — имя Сент-Бёва просто исчезло из названия нового тома «Плеяды»: вместо броского, эффектного заголовка, удачно подобранного Фаллуа и благоразумно сохраненного Клараком, читатель оказывается лицом к лицу с более чем традиционными и скорее аморфными «Опытами», освященными во французской культуре именем писателя, к которому литературовед-академик питает, как известно, давнюю слабость<sup>10</sup>.

Несмотря на то что в композиции тома так называемое досье Сент-Бёва занимает почти равновеликое место среди четырех основных частей всего корпуса разнородных литературных документов: лицейские и университетские письменные работы 1882—1889 гг.; этюды, печатавшиеся в эфемерных изданиях *fin de siècle*, наброски, отрывки, черновики, связанные с первыми книгами, опыты светской хроники и пастиши 1900—1911 гг., а также ряд программных выступлений, предисловий и статей 1912—1922 гг., — тень автора «Бесед по понедельникам» и «Литературных портретов» витает над всем начинанием, внушая убеждение, что в своей борьбе против Сент-Бёва Пруст волей-неволей перенимал какие-то приемы своего противника и прежде всего *напряженное внимание к истории культуры*.

- 
- 9 Не совсем удачный пример весьма своеобразного решения проблемы «Против Сент-Бёва» представляет собой русское издание книги: *Пруст М. Против Сент-Бёва: статьи и эссе* / Пер. с фр. Т. В. Чутуновой; вступ. ст. А. Д. Михайлова. М.: ЧеРо, 1999. Нам уже приходилось писать, что замысел книги о Сент-Бёве — это замысел романа о создании романа, повествующего о смысле литературы, соединяющего в себе автобиографию и автофикцию, историю «сердечных перебоев» начинающего литератора и теорию романа-энциклопедии, вбирающего в себе романские формы прошлого и настоящего, «чувственное воспитание» романиста и становление индивидуальной философии искусства. Эта двойственность составляет напряженный нерв исходящих отсюда «Поисков...». И этой двойственности лишен русский читатель, получивший вместо книги, которую можно было бы назвать черновиком великого романа, произвольно составленный сборник статей в духе «Писатели о литературе». См.: *Фокин С. В поисках утерянного Пруста* // Новая русская книга. 2000. № 1. С. 14—15.
- 10 См.: *Компаньон А. Лето с Монтенем* / Пер. с фр. С. Рындина. М.: Ad Marginem, 2020.

Таким образом, несмотря на очевидное стремление А. Компаньона умалить значение замысла книги «Против Сент-Бёва» в интеллектуальной эволюции автора «Поисков», ему приходится признать, что даже в методе Пруста-романиста присутствуют элементы «эссеистической манеры» критика XIX столетия: «Этот замысел позволил ему в последний раз отложить написание романа, возможно также, перебороть страх, во всяком случае, разработать теоретическое основание, но он подтверждает вместе с тем, что в течение всей жизни писателя изводило искушение стать эссеистом, и объясняет, почему его роман принял форму своего рода эссе, или опыта» (ЛII). К этому необходимо добавить, что ни одного другого писателя Пруст не читал с такой настойчивостью, с таким постоянством и в таком объеме: если первые следы внимательного чтения Сент-Бёва восходят к 1905 г., то даже в 1912 г., когда замысел романа уже одержал победу над замыслом книги о Сент-Бёве, Пруст не оставляет мысли опубликовать последнюю. Таким образом, кроме «Бесед по понедельникам» (в рабочих тетрадах и других фрагментах упоминаются или цитируются 34 статьи из этого сборника), «Новых понедельников» (36 статей), «Современных портретов» (14 статей), «Литературных портретов» (5 статей), «Первых понедельников» (2 статьи), автор «Поисков...» цитирует такие книги Сент-Бёва, как «Шатобриан и его литературная группа эпохи Империи», «Пор-Рояль» и «Этюд о Вергилии». Более того, в какой-то момент замысел книги о Сент-Бёве соединяется в творческом сознании писателя с набросками, из которых уже к 1911—1912 гг. складывается первая собственно повествовательная часть «Поисков...», завершавшаяся, по задумке Пруста, своего рода теоретическим («эссеистическим») манифестом. Так, в середине 1909 г. в конфиденциальном письме к А. Валлетту, главному редактору журнала «Mercure de France», писатель, явно забегая вперед, поскольку проект весьма далек от завершения, делится своими планами, по-видимому, просто прощупывая почву для печати грядущего творения: «Я заканчиваю книгу, которая, несмотря на предварительное название “Против Сент-Бёва, воспоминания о позднем утреннем пробуждении”, представляет собой настоящий роман, причем роман местами крайне непристойный. Один из главных персонажей — гомосексуалист <...>. Имя Сент-Бёва появляется не случайно. Книга заканчивается долгим разговором о Сент-Бёве и эстетике...» (XLVI—XLVII). Заметим, наконец, что в своих последних заметках и статьях о Бальзаке, Бодлере, Гонкурах, Стендале, Флобере Пруст с такой настойчивостью говорит о неспособности Сент-Бёва распознать истинного художника среди писателей своего века, с такой горячностью отстаивает собственное убеждение в том, автор «Бесед по понедельникам» никоим образом не может претендовать на звание властителя дум или законодателя художественного вкуса, которым его награждали иные современники, что закрадывается подозрение, что романист чуть ли не ревновал к литературному авторитету противника, проникшись к нему смешанным чувством любви-ненависти. Впрочем, этой двусмысленности не исключал и сам Компаньон, опубликовавший незадолго до выхода «Опытов» статью с красноречивым названием «Любить Сент-Бёва», в которой раскрыл смысл этой формулы, встречающейся в одной из рабочих тетрадей Пруста<sup>11</sup>. Собственно у самого писателя эта формула встречается в несколько ином виде: «И любить Сент-Бёва». Союз в начале назывного предложения превращает его не столько к констатацию, сколько в призыв, побуждение,

11 *Compagnon A. Aimer Sainte-Beuve // Cahier de l'Herne. 2021. № 134: Marcel Proust. P. 235—241.* Эту работу предварял цикл лекций, прочитанный автором в 2019 г. в Коллеж де Франс, которые сейчас доступны в интернете: *Compagnon A. Les Cours du Collège de France. Aimer Sainte-Beuve // <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/aimer-sainte-beuve-4500084>.*

подразумевающее также противоположный смысл — попирать Сент-Бёва, презирать его за совершенно ложное понимание литературы, но и пытаться его любить за отдельные «чудесные находки» в некоторых литературных портретах.

Строго говоря, вкус к истории, в двух, по меньшей мере, значениях этого слова — как научной практике вообще, как истории литературы в частности, наконец, как рассказу, искусству повествования, которому не чужды ни первая, ни вторая — вкус, который отличал труды и дни Сент-Бёва, лежит в основе нового издания рефлексивной и нарративной прозы Пруста. Уже говорилось, что весь корпус этих литературных документов подразделяется на четыре части: «Работы до 1911 года» (около 420 с.), где представлены крайне разнородные опусы начинающего писателя; «Пастиши и смеси» (около 270 стр.), где кроме авторского сборника 1919 г. даются различные наброски и документы, относящиеся к этому замыслу; «Досье “Против Сент-Бёва” (447 с.), включающее в себя все нарративные и рефлексивные фрагменты, с одной стороны, связанные с замыслом книги о Сент-Бёве, с другой — предвосхищающие черновые варианты отдельных частей эпопеи; «Работы после 1911 года» (около 150 с.), где представлены как опубликованные в периодике статьи и предисловия тех лет, когда шла интенсивная работа над романом, так и посмертные литературные документы, в том числе отклики на различные актуальные литературные события: ответ на вопрос протосюрреалистического журнала «Литература» «Почему вы пишете?» (1919), реплика на чествование столетия Ф.М. Достоевского в Париже (1922) и т.п. Очевидно, что по связности, цельности и объему фрагменты, относящиеся к замыслу книги о Сент-Бёве, превосходят прочие творческие опыты, представленные в этом томе.

В завершение этого критического обзора зададимся ключевым вопросом, который необходимо удерживать в памяти при осмыслении отношений, что связывали автора одного из величайших французских романов XX века с величайшим литературоведом Франции XIX в.: против чего же в «методе Сент-Бёва» выступал Пруст? Разумеется, наиболее обстоятельный ответ на этот вопрос можно было бы найти в одноименном фрагменте (с. 701—714)<sup>12</sup>, однако рассуждения Пруста о методе Сент-Бёва отличаются такой бессвязностью, складываются из столь разноречивых положений, изобилуют столь витиеватыми оборотами, что к какому-то однозначному заключению прийти крайне затруднительно. Более того, скрытая и открытая полемика с авторами, которые возводили автора «Понедельников» на литературный пьедестал, не всегда ясные отсылки к сочинениям самого Сент-Бёва, а также незавершенность отдельных пассажей превращают этот «опыт» Пруста в крайне путаное сочинение, позитивные элементы которого приходится собирать буквально по крохам. Если не бояться контрастов, то можно сказать, что автор «Бесед по понедельникам» делает упор на «индустриальном характере» литературы, превращая социальное «я» писателя — его дружеские и любовные привязанности, литературные группы, в которые он входил или не входил, светские салоны, в которые он стремился попасть или которых сторонился, письма которые он писал или получал, мемуары или пасквили, в которых был запечатлен его образ — в пеструю связку ключей к произведению: литература здесь сводится к беседам о литературе; в отличие от Сент-Бёва, Пруст воспринимает литературу как сугубо «индивидуальный опыт», правда, не столько в смысле «опытов» Монтеня, то есть морально-философических этюдов о страстях души, сколько в смысле рискованного «чувственного воспитания», испытания себя в стихии опасности (*expérience*), в болезненном порождении внутреннего, персонального, суверенного «я», которое волевым усилием творит самого себя во времени произведения Книги. Сент-Бёв

12 Русский перевод: Пруст М. Против Сент-Бёва. С. 34—48.

скорее литератор-историк, он делает ставку на пантеон французской словесности, в извечном «споре древних и новых» он всегда принимает сторону классиков, что и лишает его способности по достоинству оценить современников — Стендаля, Нерваля, Бодлера, Флобера; Пруст — летописец эпохи модерна, романист-экспериментатор, заключающий в себе критика-философа, создатель индивидуально-социальной эпопеи, содержащей в себе философию искусства. Но, выстраивая свое суверенное «я» романиста против Сент-Бёва — биографа, Пруст-писатель без конца выбирает сторону Сент-Бёва в организации своей литературной жизни — без конца теряет время в приумножении дружеских и любовных привязанностей, в сочинении пространных эпистолярных посланий и подписании манифестов, в прилежных посещениях самых знаменитых столичных салонов и иначе знаменитых значительных заведений Парижа, где ищет встреч с юношами в цвету; а главное, подобно своему «возлюбленному» противнику, он без конца глотает газеты, светскую хронику, новости с фронтов Великой войны, тома переписки, мемуаров, всякого рода «замогильных записок». Словом, было в Прусте что-то от Сент-Бёва, как он сам признавался в одном шутовском двустии, остроумно обыгрывая прозвище хозяйки одного из самых известных парижских салонов Мадлен Лемэр и своего литературного визави:

Боюсь, как бы мой роман о Вдовице Святой (Sainte-Veuve)  
Не пришелся, между нами, по вкусу Бёва (la Veuve).

С. Сапожков

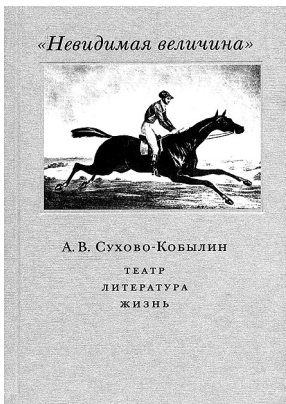
# «Невидимая величина» под увеличительным стеклом современной критики

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_324

**«Невидимая величина». А.В. Сухово-Кобылин. Театр.  
Литература. Жизнь / Сост. Е.Н. Пенская, О.Н. Купцова.**

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. — 471 с. — 500 экз.

Рецензируемый сборник статей, опубликованный по итогам международной научной конференции (2017), посвященной творчеству А.В. Сухово-Кобылина (далее в тексте — С-К), на мой взгляд, можно назвать событием в изучении истории русской литературы. Он подвел промежуточные итоги в довольно длительном, насчитывающем более 150 лет, исследовании жизни и творчества С-К не только в отечественной, но и в зарубежной науке, объединив усилия архивистов, историков литературы и историков театра разных европейских стран под одной обложкой. Такое в современной науке встречается не часто.



Хочется начать с заключительной, третьей части сборника, куда вошли обзоры крупнейших архивохранилищ, проливающие новый свет на родственные связи драматурга и его литературное окружение. Так, например, выполненный *А.Е. Родионовой* обзор фонда Петрово-Соловово и Сухово-Кобылиных в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (фонд № 223), где хранятся документы Евдокии Васильевны Петрово-Соловово, сестры драматурга, и ее мужа Михаила Федоровича. Почти каждый член обширного семейства С-К как по отцовской, так и по материнской линии нес в себе кто искорку, а кто и полноценное пламя разнообразных талантов. И если личность и творчество Елизаветы Васильевны Салиас

де Турнемир (Елизаветы Тур), известной писательницы и хозяйки литературного салона, хотя бы отчасти попали в поле зрения историков литературы, то искусствоведы не изучали наследие ее сестры Софьи, талантливой художницы, первой среди женщин удостоенной золотой медали Академии художеств, долгое время стажировавшейся и впоследствии проживавшей в Италии, поэтому посвященную ей статью *Е.М. Клементьевой* вполне можно считать пионерской. Представляет несомненный интерес и личность главы семейства Сухово-Кобылиных — Василия Александровича, участника наполеоновских войн, георгиевского кавалера, смотрителя чугунолитейного завода в Выксе, принадлежащего материнскому роду Шепелевых. Обзор его писем к дочери Евдокии, выполненный *Е.М. Варенцовой*, вносит новые штрихи в портрет Сухово-Кобылина — старшего, с его истовой религиозностью, увы, так и не передавшейся по наследству его единственному сыну. К забытым родственным связям С-К надо отнести и сведения о жизни его внебрачной дочери от связи с Н.И. Нарышкиной — Луизы Александровны де Фальтан (1851—1940), проживавшей в отцовском имении Кобылинка до декабря 1917, а затем эмигрировав-



шей во Францию. Тем большую ценность получает информация о ее роли в передаче части семейного архива Советскому государству, которая содержится в исследовании *Т.В. Соколовой* (она, заметим в скобках, является одним из составителей книги «Александр Сухово-Кобылин. Материалы из собрания Государственного литературного музея: альбом-каталог» (2021) — своеобразного спутника рецензируемого сборника статей). Не менее интересные сведения об эмигрантском периоде жизни Луизы де Фальтан содержатся и в статье *Т.П. Виноградовой*. Ей удалось не только установить точное место погребения С-К и исправить грубую ошибку, вкравшуюся в труды биографов, но и разыскать и заново обустроить (!) ячейку колумбария с останками драматурга на кладбище французского городка Больё-сюр-Мер. А потом благодаря своей энергии и искусству дипломата организовать по случаю этого памятного события траурные торжества как в самом курортном городке, так и в Нижнем Новгороде, где она живет и трудится, тем самым придав новый импульс культурному диалогу между Францией и Россией.

Начав рецензию с обзора третьего, завершающего раздела сборника, вернусь теперь к его исходному, первому разделу. Он целиком состоит из литературоведческих статей, предмет которых — разные аспекты поэтики пьес С-К. Раздел логично дополняет библиографический указатель исследований о жизни и творчестве С-К (2012—2018), составленный *Е. Соколинским*. Он является продолжением двух его указателей: того, что вышел отдельным изданием в 2001 г. и охватывал всю литературу о С-К с 1865 г. по 2000 г., и того, что вошел в его книгу «Гротеск в театре и А.В. Сухово-Кобылин» (2012) и учитывал исследования о драматурге за период 2001—2011 гг. Теперь охват изданий С-К и литературы о нем составляет уже 153 года. Срок весьма солидный для того, чтобы «невидимая величина» личности и творчества С-К стала более «видимой» для специалистов и широкого читателя. Остановлюсь на наиболее актуальных, с моей точки зрения, работах.

Так, в статье *О.Н. Купцовой* в центре внимания оказывается игровой способ конструирования имен персонажей С-К, истоки которого автор статьи усматривает, во-первых, в традиции водевиля и, во-вторых, в практике салонных игр. Среди родоначальников «игровой» стратегии именования персонажей называются Грибоедов, Гоголь, Лермонтов (как автор «Маскарада») и Тургенев. Надо сказать, что статья *О. Купцовой* — не единственный опыт анализа «игровой» поэтики С-К. К нему ранее обращались в своих статьях *Е.Н. Пенская* и *Н.А. Николина*<sup>1</sup>. *Купцова*, развивая наблюдения своих коллег, усматривает в «языковой игре» не просто отражение аристократической культуры остроумия с ее обязательным «втягиванием» зрителя в ход действия, но и переключение этой культуры в иной жанровый регистр: из факта домашней, салонной драматургии «на случай» — в факт высокой психологической драмы, из арсенала водевильных приемов — в арсенал приемов трагического театра, где они формируют систему говорящих имен действующих и внесценических персонажей, воплощающую в себе «философию» их имени и одновременно — сжатый комментарий их «философии жизни».

В статье *В.И. Мильдона* хотелось бы подробнее остановиться на заключительном программном тезисе о трилогии С-К как художественном единстве. Этот тезис с завидным постоянством воспроизводится во многих статьях сборника. Действи-

---

1 См.: *Пенская Е.Н.* «В Англии говорится: не родись умен, а родись купец; в Италии: не родись умен, а родись певец...»: пространственные дубликаты в драматической трилогии Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» // Диалог культур: материалы IV Междунар. науч. конф. Горно-Алтайск, 2014. С. 30—37; *Николина Н.А.* Языковая игра в комедии А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» // Русский язык в школе. Русский язык в школе и дома: журнал в журнале. 2013. № 4. С. 16—18.

тельно, опубликовав в 1869 г. все три пьесы («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина») в одной книге под общим заглавием «Картины прошедшего», С-К тем самым указал современникам на наличие в них общего авторского замысла и «сквозного сюжета», по сути, предложив их читать и ставить на сцене как драматургический цикл, что выдвинуло бы перед режиссерами весьма непростую задачу — связать все три пьесы единым сценическим действием. Однако до сих пор никто по-настоящему их так не прочитал и уж тем более не поставил. Исключение составляет опыт Мейерхольда, поставившего всю трилогию в 1917 г. на сцене Александринского театра. Однако у него она распалась на гениальные, но все же отдельные спектакли, и вопрос о том, можно ли «Картины прошедшего» *поставить и сыграть на сцене именно как трилогию* или ее художественное единство можно постигнуть *только в чтении* — до сих пор так и остается открытым. Во всяком случае Л.Е. Ляпина, пожалуй, на сегодня единственный исследователь, кто серьезно размышлял над теоретическими основаниями драматургического цикла, более склонялась к последнему ответу<sup>2</sup>.

Уже сам автор «Картин прошедшего» в обращении «К читателю», в посвящении «Смерти Тарелкина» Н.Д. Шепелеву, а также в эпитафиях из «Логики» Гегеля указал на ключ, открывающий тайну художественного единства трилогии. Этот ключ — гегелевский закон триады: тезис — антитезис — синтез. Именно от него и отталкивается Мильдон, рассуждая о композиционном единстве трилогии. Но вот можно ли считать «синтезом» заключительную часть трилогии — «Смерть Тарелкина»? Автор статьи справедливо указывает на то, что сюжет этого трагифарса отсылает читателя и зрителя к архаическому обряду инициации, «посвящения в смерть». Есть ли отголоски этого обряда в мифопоэтике «Свадьбы Кречинского» и «Дела»? На этот вопрос ответ должно дать отдельное исследование. Но, как справедливо заключает Мильдон, инициация в финальной части трилогии, в отличие от архаического ритуала, предстает «апокалипсисом, полным торжеством смерти, без надежды воскресения» (с. 19). Этот тезис выглядит полемично по отношению к выводу Ляпиной о достигнутом якобы в финале «Смерти Тарелкина» «синтезе»<sup>3</sup>. С гегелевским пониманием «синтеза» плохо согласуется и давний вывод Л. Гроссмана об отсутствии «катарсиса» в трагических финалах «Дела» и «Смерти Тарелкина». Все эти наблюдения позволяют по-новому взглянуть на специфику воплощения гегелевской триады в общей композиции «Картин прошедшего». На мой взгляд, перед читателем триада, где борьба тезиса и антитезиса не разрешается в итоговом синтезе, где гегелевский закон отрицания отрицания (еще один важнейший закон диалектики создателя «Логики») работает вхолостую, ибо из его действия исключена известная категория «снятия». Следовательно, если сквозной сюжет «Картин прошедшего» и подчиняется гегелевскому закону триады, то это такая триада, где у абсолютного духа есть прошедшее и настоящее, но нет будущего. Не отсюда ли и название цикла — «Картины прошедшего»? Понятно, что это пока лишь гипотеза, требующая более основательного доказательства. Дело за малым — как, придерживаясь разных концепций цикла С-К, воплотить их на сцене режиссерскими методами? Как поставить и сыграть *цикл*?

На этот вопрос в какой-то мере отвечает статья французской исследовательницы *Изабель Пастор-Сорокин*. На мой взгляд, она указала на интереснейший прецедент — постановку в Италии Робертом Кантареллой в 2002 г. спектакля под общим

2 См.: Ляпина Л.Е. Драматические трилогии А.К. Толстого и А.В. Сухова-Кобылина как «триадный» тип драматического цикла // Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. С. 240—258.

3 Там же. С. 255.

названием «Свадьба, Дело и Смерть». Автор статьи постаралась дать максимально подробный анализ сценического воплощения его замысла, о чем см. далее, здесь лишь обращу внимание на усеченное, без фамилий героев, заглавие трилогии: в нем «три момента частной жизни превратились в универсалии» (с. 263), а «все три части сделаны в разном темпоритме — оживленная “Свадьба”, медленное и тягучее “Дело”, синкопированная “Смерть”» (с. 267). Универсалии и темпоритм в немалой степени диктуются и своеобразной актерской партитурой этого уникального спектакля: «... две актрисы и шесть актеров сыграли в спектакле в сумме 30 ролей» (с. 264). Как бы ни оценивать этот эксперимент, но в нем действительно прослеживается сознательная режиссерская установка — не просто поставить и сыграть на сцене в режиме «нон-стоп» три разных пьесы, но сотворить из них единый спектакль, подчиненный общему режиссерскому замыслу и пронизанный внутренним единством.

Три статьи сборника — *А.Б. Мокроусова*, *К.Ю. Зубкова* и *Е.Н. Пенской* — посвящены наиболее, пожалуй, востребованной в изучении творчества С-К проблеме: диалогу драматурга с самым авторитетным его современником — А.Н. Островским. Из свидетельств окружающих лиц хорошо известно, что поклонником Островского С-К определенно не был. Создатель «Грозы» платил ему той же монетой. К этому следует добавить полное отсутствие личных контактов и печатных высказываний друг о друге. Тем актуальнее задача выяснить причины такого противостояния и открыть те культурные каналы и тех посредников, которые делали такой диалог возможным, несмотря на отнюдь не дружеские отношения между его участниками. В статье Мокроусова этот диалог анализируется в контексте оценок их творчества в «органической критике» Ап. Григорьева. В статье Зубкова — в сопоставлении цензурной истории «Доходного места» Островского и «Дела» С-К, прослеженной им в материалах цензурного ведомства 1863 г. Отвечая на вопрос, почему в обоих случаях предпочтение отдавалось Островскому, авторы, как это ни покажется странным, пришли к похожим выводам. А именно: что «органического» критика Ап. Григорьева, что «неорганического» цензора И.А. Нордстрема не устраивала в «Деле» С-К не сама сатира, и даже не сокрушительная и беспощадная критика властных структур (все это в избытке присутствует и в «Доходном месте» Островского), а безыдеальность этой сатиры, что на языке Григорьева означало отсутствие в ней «объективного» начала, а на языке цензора-чиновника — отсутствие в ней «положительного примера», который он находил в «Доходном месте» (образ Жадова) и не находил в «Деле». Любопытно, что и Мокроусов, и Зубков ссылаются на эстетические ориентиры Гегеля и Шеллинга, которыми руководствовались в оценках сатиры обоих авторов Григорьев (сознательно) и Нордстрем (скорее всего, бессознательно). И как следствие, действительно напрашивается печальный вывод о «несвоевременности» таланта С-К, о его «выпадении» из общего мировоззренческого контекста эпохи, в отличие от более «счастливого» в этом отношении его современника — Островского.

Наконец, Е. Пенская, которая ранее уже исследовала проблему «Островский и С-К»<sup>4</sup>, находит-таки «посредника», представляющего адекватный культурный срез, на котором, как на ладони, отчетливо просматривается вся многообразная палитра творческих контактов двух великих современников. Этот «посредник» — «русский Шекспир». Если линия «Шекспир — Островский» достаточно хорошо изучена, то рецепция Шекспира в творчестве С-К исследуется в статье впервые, с привлечением новых архивных материалов. Среди них мое внимание привлекла реакция Островского и С-К на гастроли труппы Мейнингенского театра, показавшей

---

4 См.: *Пенская Е.Н.* А.Н. Островский и Сухово-Кобылин: подходы к теме // Памяти А.И. Журавлевой: сб. статей / Сост. Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская. М.: Три квадрата, 2012. С. 419—424.

в Москве в 1885 г. «Юлия Цезаря». Анализ этой реакции позволяет автору статьи прийти к важному выводу о предрасположенности С-К к эстетическим нормам только зарождающегося еще в России режиссерского театра, идущего на смену театру дорежиссерскому, то бишь «театру Островского». Стоит лишь добавить, что тем самым С-К интуитивно предвосхитил и сценическую судьбу своих пьес, успех которых будет прочно связан со становлением принципов именно режиссерского театра в России уже в следующем, XX в.

Собственно, этим принципам и тем, кто им давал сценическую жизнь, посвящено большинство статей центральной, театроведческой части сборника. И, не сговариваясь, авторы их констатируют трагический финал, ожидавший многих творцов отечественного театра, как только они решались прикоснуться к взрывоопасному материалу сухово-кобылинских пьес, вынося его на сценические подмостки. От этого почти мистического чувства не мог отделаться ни один автор, писал ли он о режиссуре В. Мейерхольда (*С.Н. Потапенко*), А. Дикого (*Е.И. Струтинская*) или П. Фоменко (*А.Н. Хахалкина*). И тенденция эта усиливалась по мере смещения интереса от постановок «Свадьбы Кречинского» к постановкам «Дела» и особенно — «Смерти Тарелкина», то есть от пьесы, написанной в сравнительно традиционной, «классической» манере, к пьесам, в которых правит бал жесткий, даже во многом жестокий гротеск, смыкающийся в отдельных режиссерских решениях с явлениями театрального авангарда. Несмотря на то что количественно постановки «Свадьбы Кречинского» продолжают доминировать на современной отечественной сцене (47 из 78 спектаклей всех пьес С-К за 2001—2020 гг., согласно подсчетам Хахалкиной), театральная критика (в том числе и в рецензируемом сборнике) все громче заявляет о том, что вызовам нашего времени больше отвечает «другой С-К» — автор, воплотивший в пьесах образ России, «полной и переполненной чаши безобразий», образ, вызывающий у него почти экзистенциальный ужас, так резко вырвавшийся наружу в сердцах брошенной фразе в письме к племяннику 1875 г.: «Всякий Славянин носит на лбу написанным: Смерть» (с. 18).

Еще более рельефно эта тенденция разделения С-К на драматурга-«классика» и драматурга-«авангардиста» заявляет о себе в европейском театре XX в. Важной заслугой составителей сборника следует, на мой взгляд, считать включение в него статей о театральной рецепции драматургии С-К во Франции и Италии (*Пастор-Сорокин*), Беларуси (*Т.Д. Орлова*), Польше (*И.С. Ланно*), странах, возникших после распада Югославии (*Я. Войвович*). Многие из них представляют собой масштабно и со знанием дела написанные обзорные очерки, с превосходной реконструкцией политического, культурно-исторического и театрального контекста восприятия наследия русского драматурга в разных европейских странах. Из этих статей со всей определенностью становится ясно, что для театральной Европы С-К — это «автор одной пьесы», прежде всего «Смерти Тарелкина», причем тесно спаянной с именем Вс. Мейерхольда и его знаменитым спектаклем 1922 г. Когда читаешь эти статьи, возникает впечатление, что режиссуру Мейерхольда на Западе изучают не по культовым постановкам «Ревизора» или «Маскарада», а именно по «Свадьбе Тарелкина».

Сценическая судьба этого гениального трагифарса, прослеженная от первых постановок Мейерхольда 1917 и 1922 гг. до спектаклей Клемана Арари (Франция, 1948), Богдана Коженевского (Польша, 1948, 1961, 1975), Петра Фоменко (1966), Изабеллы Цивиньской (Польша, 1972, 1973, 1993), Бранко Плеша (Югославия, 1973), Эджисто Маркуччи (Италия, спектакль под названием «Петербургский вампир», 1984 г.?), Валерия Беляковича (1988), Юрия Бутусова (2001), Маттиаса Лангхоффа (неосуществленный спектакль в Александринском театре, 2002), Роберта Кантареллы (Италия, спектакль под названием «Свадьба, Дело и Смерть», 2002), Алексея Левинского (2005), Андрея Бакирова (Беларусь, спектакль под названием «Смерть оборот-

ня Тарелкина», 2008), Семена Серзина (2016), — дает богатую пищу для размышлений о поэтике народного площадного театра (балагана), лубка, о традициях комедии дель арте, клоунады, театра абсурда в качестве важнейших источников сценического гротеска С-К. Статьи Стругинской, Хахалкиной, А. Пасуева, а также многих авторов статей о зарубежной режиссуре пьес С-К позволяют представить эти источники не только в многообразии их форм, но и в преломлении различных национальных традиций, а также в динамике театральных школ и смене режиссерских поколений. Эти статьи смело можно назвать энциклопедией сценического гротеска. Благодаря содержательному блоку статей о заграничной режиссуре пьес С-К историки театра впервые получают возможность сопоставить европейский опыт с отечественным и сделать предварительные выводы о качественной разнице между ними.

Можно уже сейчас попытаться наметить эту разницу на основании материала опубликованных статей. Так, по мнению Б. Пикон-Валлен, «мейерхольдовскую традицию» гротеска западные режиссеры отождествляли прежде всего с «игрой на контрастах, с резкими смещениями, со стремлением “художника вывести зрителя из одного только что постигнутого им плана в другой, которого зритель никак не ожидал”» (с. 241). То есть сценическую технику гротеска Мейерхольда они трактовали в духе формальной школы, что, конечно, далеко от реальности. Отсюда гротеск С-К в их режиссуре часто превращался в самодовлеющий «прием», в конструкт, играющий на эстетических ожиданиях зрителя и замкнутый исключительно на них. Так, Клеман Арари, по мнению Пастор-Сорокин, «строит свою постановку “Смерти Тарелкина”, на стыке двух решений — “условного театра” и остранения, описанного В.Б. Шкловским. Отсюда проистекает выбранная Арари схематизация персонажей, принцип “социальной маски”» (с. 251). Но если эти формальные «приемы» Арари подчинил задачам агитационного, «левого» театра и создал «политический лубок, разоблачающий чиновников-жуликов и палачей» (там же), то Кантарелла прямо заявил о том, что текст С-К понимается им «как достаточно случайная мастерская по производству и монтажу знаков, эмоций, скоростей и трюков» (с. 263). Получившийся спектакль вполне соответствовал этой установке: «Конфигурация пространства ни минуты не оставалась прежней, постоянно подвергалась пересборке (как игры LEGO или складная картина из пазлов). <...> Сцена, набранная из квадратов, немного напоминала шахматную доску, а движения персонажей — ходы шахматных фигур (вперед, назад, вправо, влево). Актеры все время двигались по этой большой и глубокой площадке. Постоянно меняющаяся площадка вызывала ощущение неустойчивости и распада. <...> Тут же валялся газовый баллон — и это было предупреждением о возможном взрыве, об угрозе всеобщего разрушения» (с. 265). Стремясь найти соответствие этой картине мира (на грани «неустойчивости», «распада» и «взрыва») в течение европейского театра второй половины XX в., некоторые западные режиссеры и критики указывают на эстетику театра абсурда, на традиции пьес Ионеско, Беккета, Мрожека. Именно с ориентацией на их поэтику ставили «Дело» и «Смерть Тарелкина» польские режиссеры Богдан Коженевский и Изабелла Цивиньская. Понятно, что при таком понимании сценического гротеска С-К он становится явлением в основном эстетического порядка, связанным больше с умонастроениями европейской интеллигенции середины XX в., пережившей катастрофу Второй мировой войны.

Впрочем, театр абсурда — явление настолько широкое и неоднородное, что трудно судить о режиссерском стиле вышеназванных постановок, опираясь только на этот термин. Между тем при всей изощренности и парадоксальности форм гротеска автора «Дела» и «Смерти Тарелкина», эти формы в режиссуре Мейерхольда, Дикого, Акимова и Фоменко (беру в данном случае классические, общепризнанные

образцы) никогда не превращались в сплошные обрывки слов, нечленораздельных звуков, словом, никогда не доходили до демонстрации автоматизма языка и его обезличивающей энергии в тех крайних формах, какие, например, можно наблюдать в «Лысой певице» или «Уроке» Эжена Ионеско. В постановках отечественных режиссеров формы гротеска служили формой публицистического высказывания об окружающей жизни, носили социальный смысл, даже когда смыкались с явлениями андеграунда, как в замысле спектакля Маттиаса Лангхоффа «о вечном ГПУ» (Пикон-Валлен, с. 246), или постмодернизма, как в мультимедийно-танцевальном перформансе по мотивам «Смерти Тарелкина», поставленном участниками Открытой школы «Манеж/МедиаАртЛаб». В нем «главными темами стали противостояние между человеком и государственной машиной, ее тотальное проникновение в жизнь индивидуума и попытка последнего сохранить себя даже ценой собственной физической смерти» (Н. Коршунова, с. 215). По поводу постановки Мейерхольдом в 1917 г. «Смерти Тарелкина» игравший в нем заглавную роль Б.А. Горин-Горяйнов вспоминал: «Терялось ощущение сценической игры, и чудовищно-искривленный гротеск воспринимался как частица жуткой действительности» (цит. по статье Пикон-Валлен, с. 239). «Реалистическая химера» — такой емкой формулировкой определил концепцию своего спектакля по «Смерти Тарелкина» 1936 г. в Малом театре Алексей Дикий. По справедливому замечанию Е. Соколинского, «для самого Сухово-Кобылина балаганный гротеск — издевательская маска на лице публицистической драмы-фарса» (с. 229). Синтез балаганного гротеска и публицистики — вот суть стиля С-К. И этот синтез удачнее всего, с точки зрения того же автора, удалось воплотить П. Фоменко. Добавлю от себя, в том числе за счет того, что режиссер окружил сюжет «Смерти Тарелкина» адекватным ему культурным контекстом, введя в текст стихи Константина Фофанова и Саши Черного (см. об этом подробнее в статье Хахалкиной). Было бы неплохо дополнить эти наблюдения и анализом работы художника-декоратора Н.Н. Эпова, которому в немалой степени принадлежит заслуга в достижении указанного выше синтеза (об этом немного сказано в статье Пикон-Валлен). Вообще этот аспект анализа сценического гротеска заслуживает не попутных замечаний, как в большинстве статей, а вполне может стать и самостоятельной темой исследования. Единственное исключение — статья Струтинской, в которой подробно освещается роль художников А.Г. Тышлера и Н.П. Прусакова в реализации того мирообраза спектакля, который Дикий обозначил метафорой «реалистическая химера» (см. модели декораций в иллюстративной вклейке). В какой-то степени компенсирует эту лауну исследований центрального раздела содержательная статья Д.В. Фомина об иллюстрациях пьес С-К в книжной графике, тоже сопровождаемая репродукциями во вклейке. Автор статьи превосходно ориентируется в театроведческой проблематике драматургии С-К, что позволяет ему не только с профессиональной точки зрения точно и объективно оценить тот вклад, который внесли в искусство книжной графики иллюстрировавшие издания пьес С-К Г.Г. Филипповский, Н.И. Альтман, М.А. Таранов и А.Д. Гончаров, но и понять, что нового открывает тот или иной иллюстратор в характере героев С-К, насколько чуток оказался он к жанровой специфике текста, к законам театрального действия с его неизбежной условностью. Иными словами, какой потенциал «сценичности» заключают его композиции, что они могут ценного подсказать будущим режиссерам-постановщикам и художникам пьес С-К.

Собственно, этот вывод применим ко всем авторам статей сборника. Все они так или иначе служат «театру С-К», все работают на будущее этого театра, при этом максимально трепетно относясь к его прошедшему и настоящему, все, если и не решают, то по-чеховски «правильно ставят» вопросы и намечают вызовы времени, на которые этот театр призван еще ответить своему зрителю.

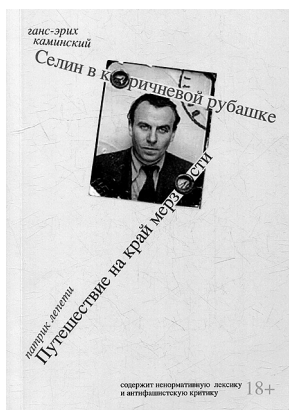
## Селин, *contra et pro*

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_331

**Каминский Г.-Э. Селин в коричневой рубашке,  
или Болезнь нашего времени; Лепети П. Путешествие на край  
мерзости. Луи-Фердинанд Селин, антисемит и антимасон /  
Пер. с фр. Ю. Гусевой.**

М.: Черный квадрат, 2023. — 220 с. — Тираж не указан.

Эта книга заслуживает внимания хотя бы потому, что является первой работой о Луи-Фердинанде Селине на русском языке. Ситуация весьма парадоксальная — как и с самой рецепцией Селина и его антисемитизма и фашизма, о чем, собственно, и пойдет речь, — ведь Селина у нас переводили и переводят, представлен он не в масштабах полного собрания сочинений, но весьма репрезентативно.



Сам же Селин остается настоящим ньюсмейкером и после смерти — в 2021 г. была найдена дотоле считавшаяся пропавшей рукопись его романа «Война». И кстати, уже в 2023 г. был опубликован его русский перевод.

О том, что специализирующееся на издании анархической литературы издательство «Черный квадрат» рассчитывало на внимание к данному изданию, может свидетельствовать и тот факт, что на прошлогодней ярмарке «Non/fiction» для этой, рассчитанной, скажем так, не на самого массового читателя книги была организована презентация<sup>1</sup>.

О полном анализе феномена Селина, как уже можно догадаться из названия, речь в книге не идет — все посвящено его антисемитизму и коллаборационизму. Для этого привлечены две работы — одна (Ганса-Эриха Каминского) более вольного характера, другая (Патрика Лепети) претендует на более исследовательский характер, посему условно обозначим их жанровую принадлежность как эссе.

До того как обратиться к самим этим сочинениям, стоит обозначить тот спектр смыслового и исследовательского поля, в котором они существуют и существовали. Сами исследования аффилирования известных писателей и мыслителей с фашизмом стоило бы, пожалуй, уже выделить в отдельное направление, что-нибудь вроде Nazism/Antisemitism background studies. Ведь здесь находится довольно много персонажей: если мы в связи с Селином говорим о Франции, то это упомянутые по касательной в этой книге Поль Клодель, Жорж Бернанос, Морис Баррес, Марсель Жуандо, Морис Бланшо, допускаявшие в своем творчестве на разных этапах антисемитские высказывания, коллаборационисты Абель Боннар, Анри Беро, Поль Шакк, Пьер Дриё Ла Рошель, Абель Эрман, Ален Лобро и другие. Исследования и дискуссии об их неблагоприятной роли возникают не системно, но довольно часто. Достигают эти споры и нашей страны. Так, например, выходил перевод на русский

1 При участии директора издательства Михаила Цовмы, переводчицы Юлии Гусевой и исследователя Анатолия Рясова.

книги Александры Ленель-Лавастин про — даже не упомянутых в этой книге (что говорит не о ее недостатке, но о масштабе проблемного поля) — других ассоциированных с фашистской мыслью французских писателей, на этот раз румынского происхождения (!): «Забывтый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран»<sup>2</sup>. Совсем недавно опубликована целая серия работ отечественного исследователя Василия Молодякова о Шарле Моррасе, лидере «Action Française»<sup>3</sup>. И если отвлечься от франкофонного мира, то любому, даже самому незаинтересованному в данной тематике читателю, думаю, попадались дискуссии по поводу Хайдеггера, его (не)участия в национал-социалистическом движении, особенно частые в связи с выходом на русском языке новых томов «Черных тетрадей».

Скажем в самых общих чертах о сути претензий (о деталях см. в рассматриваемой книге) к Селину. Действительно, национализм был свойственен ему всегда, от первого и прославившего его самого известного романа «Путешествие на край ночи» — через его антисемитские памфлеты во время войны — до поздних вещей, уже после его осуждения и защиты. И если в «Путешествии...» были некоторые пассажи про грязных негров и прочее в колониалистском духе (на что потом, гораздо позже, обратили внимание А. Негри и М. Хардт — тем значительнее, что Каминский заподозрил неладное гораздо раньше, еще до войны), а после войны Селин уже был, насколько позволял его пылкий, невозддержанный темперамент, осторожен (что не отменяет его весьма прозрачных высказываний в письмах, «Ригодоне» и «Севере», едких пассажей об Анне Франк, «раскручиваемой», на его взгляд, Голливудом, и прочего), то в своих памфлетах он был более чем откровенным антисемитом. Речь о трех его произведениях — «Безделицах для погрома» (1938)<sup>4</sup>, «Школе трупов» (1938) и «Попали в переделку» (1941). И в «Безделицах» можно — и без труда, это не тот случай, когда пристрастный идеологический противник находит самые зашкаливающие места для полемики — найти строчки-признания вроде: «Я хотел бы союза с Гитлером. Почему бы нет? Он ничего не говорил против бретонцев, фламандцев... Совсем ничего... Он говорил только о евреях... Не любит он их, евреев... Я тем более... И негров не люблю, когда они не у себя... Вот и все» (с. 70). В тех же «Безделицах» (вот же название!) Селин откровенничает: «Если нужны жертвенные тельцы, надо пустить кровь евреям! Я так считаю! Попадись они мне, если они доведут меня до ручки, я их всех укокошу, легко, до последнего! Се — воздаяние Человека» (с. 37).

Состоялось в полной мере у Селина и общение/сотрудничество с коллаборационистским режимом. Лепети приводит сведения о том, что он опубликовал в вишистской прессе 29 материалов и дал 12 интервью. Кроме того, Селин «может,

2 *Ленель-Лавастин А.* Забывтый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран / Пер. с фр. Е.П. Островской. М.: Прогресс-традиция, 2007.

3 *Молодяков В.Э.* Шарль Моррас и «Action française» против Германии: от кайзера до Гитлера. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2020; *Он же.* Шарль Моррас и «Action Française» против Третьего Рейха. СПб.: Нестор-история, 2021. Тема сравнения взглядов Селина и Морраса намечается и в данном издании, хотя детального рассмотрения не получает. Лепети цитирует Андре Бретона, писавшего, в частности, что «антисемитизм Селина, так называемый “интегральный национализм” Морраса, в той сверхагрессивной форме, в которой они проявлялись, — не просто рассуждения, но зерна величайших бедствий» (с. 80). И несмотря на то что Моррас и Селин в полной мере разделяли ненависть и resentment по отношению к франкамасонам, для понимания всего накала страстей нелишне будет знать и о том, что сам Селин обвинял Морраса в чуть ли не филосемитизме.

4 Не совсем оправданным представляется выбор слова «погром», а не «бойня» для перевода «Bagatelles pour un massacre».



и не слишком жаловал немцев, но все-таки насчитывал немало высокопоставленных эсэсовцев среди друзей, причем друзей верных, так как они оказывали ему существенную помощь в трудных обстоятельствах» (с. 173). Хотя, надо признать, помогли избежать сурового, вплоть до расстрела, наказания Селину не эсэсовцы, а деятели Сопротивления из числа его поклонников. Поэтому любивший жаловаться Селин был всегда склонен преувеличивать свои страдания — отделался он довольно легко. Бежал из Франции, поселился в Дании (с помощью действовавшего еще там оккупационного режима), относительно недолгое время провел в тюрьме, из которой был переведен как врач в больницу (и вот часто опять же преследовавший — и спасавший — его в жизни сюр: в тюремной больнице его одно время выдавали за жертву нацистов из концлагеря). Всего на заключение пришлось 552 дня. Затем Селин продолжал отсиживаться в Дании, организуя путем переписки по возможности кампанию в свою защиту. «Заочно приговоренный 21 февраля 1950 г. к году тюремного заключения, штрафу в 50 тысяч франков, лишению гражданских прав и конфискации половины имущества — “присяжным не хватило времени перечитать Селина” — и на следующий год амнистированный благодаря юридическим ухищрениям Тиксье-Уиньянкура и, по утверждению Аллио, неформальному “соглашению” с правительственным комиссаром, которому было поручено обвинение, писатель возвратился во Францию и обосновался в Мёдоне, где скончался в 1961 г.» (с. 180).

Как же работают с этой более чем сложной и трагической тематикой представленные в книге авторы? Небезынтересны уже их личности. У Ганса-Эриха Каминского чуть ли не авантюрная биография. Еврей, немец, в своих политических странствиях он пришел к анархизму. К анализу фашизма обратился очень рано — уже в 1925 г. издал книгу «Фашизм в Италии: основы, восхождение, упадок». Писал для многих немецких левых газет, в 1933 г., после прихода Гитлера к власти, вынужден был перебраться в Париж, участвовал и координировал, как сейчас говорят, различные антифашистские и анархические группы. Когда началась Испанская революция, переехал в Барселону. После окончания войны как гражданин Германии был на некоторое время интернирован в лагерь<sup>5</sup>. В США перебраться не смог и обосновался в итоге в Аргентине под другим именем, публиковался под псевдонимом.

Что касается его работы о Селине, то тут, надо быть объективным, ценнее всего ее дата. Будучи поклонником первых двух романов Селина, Каминский очень рано, возможно, даже раньше всех, увидел его антисемитскую сущность. Брошюра «Селин в коричневой рубашке» вышла в 1938 г. Содержание ее — инвективы в адрес Селина. По сути верные, они изложены в такой форме, что их очень легко самих представить объектом критики. «Мне не хватает ненависти, подумал он. Однако же, она существует. Вот только как пробудить ее? Вечерело. Сумерки окутали улицы меланхолическим туманом. Хотя стояла зима, Селин не стал включать отопление» (с. 14) — эти описания, свойственные не самой качественной литературе, и попытки интроспекции («Селин подумал... почувствовал... встал, зажег свет и разозлился...», с. 13—14) неминуемо понижают регистр разговора и даже степень доверия к его содержанию. Объясняется ли это мучительным разочарованием поклонника писателя в нем, шоком, праведным гневом? Работа ли это — лечить подобное подобным — в том же низком жанре, в котором написаны «Безделицы для погрома»<sup>6</sup>? Читаем

5 Тогда, увы, это было распространенной практикой — вспомним недолгое заключение в лагере Симоны Вейль.

6 А ведь в книге приводятся и цитаты из тех, кто находил в этом памфлете образец стиля!

дальше. И в сцене воображаемого посещения Селином Германии, где он с удовольствием осматривает лагерь смерти, радостно устраняется от лечения засеченного до смерти, общается с Гитлером и проститутками и ведет разговоры, в ходе которых слышит (и довольствуется ими) обоснования вроде следующего по поводу того, почему Гитлер не блондин в соответствии с арийскими расовыми канонами: «На этот счет могу успокоить вас <...> У фюрера волосы на голове действительно черные, но вот под мышками и в паху — светлые» (с. 45). Тут, с началом полного гиньоля, понимаешь — а не стилизует ли Каминский свой текст под своего некогда любимого писателя? Видимо, да, и тогда становится понятным и накал страсти, и ее оформление на письме.

Все это не заходит, однако, в такие же далекие и непоправимые области, что и у Селина с его оправданием возможных расправ над евреями, и вывод в брошюре следующий: «Я хочу избежать всякого недопонимания и выражаюсь предельно точно: я не желаю никаких репрессивных мер против него (Селина. — А. Ч.), которые могли бы ущемить его физически или морально. Я не приемлю расправы формально и безоговорочно, и если какой-нибудь читатель “Безделиц для погрома” сделает для себя другие выводы, я готов приложить все усилия, чтобы разубедить его. Думаю, что выразился достаточно ясно» (с. 65).

Каминского и нашего современника (р. 1953) Патрика Лепети объединяет одно — интерес к лиминальным, трансгрессивным практикам. Если перу Каминского принадлежит работа «Третий рейх. Проблема сексуальности» (1940), то поэту-сюрреалисту Лепети — «Сюрреализм, эзотеризм и масонство» (2014). Отсюда, видимо, и их внимание к Селину.

Работа Лепети если и не претендует в полной мере на научность, то как фундаментальное эссе ее определить вполне можно. Иной здесь и эмоциональный подход к фигуре Селина. Если у Каминского была крайне эмоциональная инвектива, то здесь скорее то, что расхоже определялось как постмодернистская ирония. Приводя одиозные цитаты из Селина или свидетельства его неблагоприятных поступков (подтасовки в выстраивании собственной биографии, лжи, манипулирования друзьями и общественным мнением и т.п.), Лепети воздерживается от прямых обвинений, позволяет судить читателю, ограничиваясь — да, едкими и многозначительными — ремарками, зачастую весьма краткими. «Одним махом как минимум пятерых побиваю, ибо наш неумный хулиган находит способ в нескольких строчках облить грязью евреев, франкмасонов, англичан, коммунистов и журналистов... Талант, иначе не скажешь!» (с. 169). «Правда, Параз добавляет фразу, которую не обязательно можно трактовать в пользу Селина: “От этого его мысль обретает лишь больше выразительности, подлинное совершенство” — да уж, поистине» (с. 124).

Эта цитата призвана не просто продемонстрировать «характер обвинения» и личный темперамент Лепети. Она показательна в том плане, что исследователь полемизирует не только с Селином (в конце концов, к 2017 г., когда была опубликована его работа, белых пятен в деле Селина осталось не так уж и много), но и с его адвокатами того времени. Их было довольно много, и то, что их свидетельства (и их мотивация) приводятся, ценно и очень показательно.

Вообще к плюсам этой работы можно отнести широкий охват смыслового поля. Кроме упомянутых свидетельств и суждений о Селине (как знаменитостей, так и тех, чье имя сейчас на слуху лишь у профессионалов) с той или иной степенью подробности разобраны многие субтемы, такие, например, как мизогиния Селина и критическая рецепция «Безделиц...», его антипарламентаризм и проблема ассоциирования в массовом сознании евреев и масонов, и т.п. Даны также история создания и восприятия памфлетов Селина и очерк процесса его реабилитации.

Более того, дело отнюдь не ограничивается, как у Каминского, лишь инвективами в адрес Селина — сделана попытка вывести исток подобного его поведения и суждений. Антисемитизм был свойственен среде мелких буржуа<sup>7</sup> (которые экономически пострадали в то время и были склонны искать «внешнего врага» и находить его именно в фигуре еврейского заговора), из которой происходил Селин, и конкретно его отцу. Или же дело было в его (как у Егора Летова, что всю жизнь сражался с советским режимом, а после его краха присягнул на верность ему) настрое на борьбу и эпатаж («Я всегда буду против»)? Или же, более того, причина кроется в его тотальном пессимизме, радикальной негации всего и вся: «Черный пессимизм писателя проявляется и в “Ригодоне”, его последнем произведении — суждение безапелляционно: “Земле не нужны люди, только человекообразные... Человек — выродок, монстр, который, к счастью, рождается все реже”» (с. 100)?

Все это скорее рабочие версии для Лепети, ни быть адвокатом Селина, ни даже оправдывать его адвокатов он ни в коей степени не склонен.

Книга, выскажем робкую надежду, символизирует начало разговора о Селине в нашей стране. Фигура же Селина, оценки которого чаще всего существуют, в зависимости от воззрений конкретного читателя, в спектре «мракобес, осудить и отменить» / «гениальный писатель, невинно обвиненный», тем самым элиминируя само стремление к объективному обсуждению, этого явно заслуживает.

---

7 Что корреспондирует с мыслью Адорно из «Философии новой музыки» о том, что буржуазная культура — это питательная среда для возникновения фашизма. Впрочем, как и цитата из Адорно про невозможность поэзии после Освенцима, сейчас эта мысль превратилась чуть ли не в мем — «диктатуру мелких лавочников».

Алексей Павловский

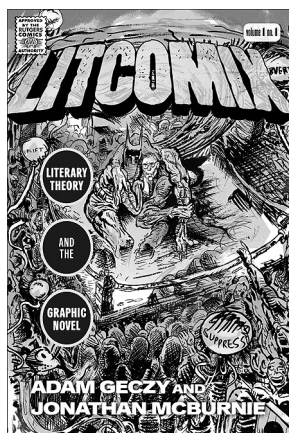
# Нужна ли комиксу теория литературы?

COMICS STUDIES И «МАРКСИСТСКАЯ»  
АПОЛОГИЯ ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_336

## Geczy A., McBurnie J. *Litcomix: Literary Theory and the Graphic Novel.*

New Brunswick: Rutgers University Press, 2023. — VIII, 261 p.



«Понимание комикса — дело серьезное», — написал в 1994 г. Скотт Макклауд<sup>1</sup>, и вот уже тридцать лет исследователи комиксов подтверждают его тезис. Книга «Литкомикс: литературная теория и графический роман», написанная двумя австралийскими художниками и писателями — специалистом по моде Адамом Геци<sup>2</sup> и директором Музея Рокгемптона Джонатаном Макбёрни, — поднимает градус серьезности на новую высоту. Авторы задаются вопросом: «Может ли существовать теория графического романа, соизмеримая с теорией литературы?», — и отвечают решительным «да» (с. 1). Этот вопрос заинтересует разные аудитории — филологов, искусствоведов, специалистов по комиксам и другим медиа, в которых явно присутствует комиксный язык, но ответ их удивит. Вместо

«теории литературы» читатель найдет в «Литкомиксе» марксистскую апологию графического романа, которая к тому же окажется не марксистской. А вместе с ней и интригующую идею, которую, перефразируя Терри Иглтона, сформулируем так: Шекспир может перестать быть литературой, а комикс может ею стать<sup>3</sup>.

За последние тридцать лет комикс, некогда ассоциировавшийся лишь с черепашками-мутантами и сверхчеловеком в спандексе, радикально поменял свой культурный статус: комиксный язык, сложившийся в коммерческих сериальных произведениях, стал языком так называемых авторских комиксов, законченных, ограниченных по объему и сюжету графических романов, где комиксист — писатель и художник в одном лице. За графические романы дают Пулицеровские премии<sup>4</sup>,

- 1 McCloud S. *Understanding Comics: The Invisible Art*. N.Y.: William Morrow, 1994. P. 197.
- 2 Среди книг Адама Геци см., например: *Geczy A., Karaminas V. Gaga Aesthetics: Art, Fashion, and the Up-ending of Tradition*. L.: Bloomsbury, 2021.
- 3 «Литературой может быть все, что угодно, и все, что оценивается как непреложное и несомненное — Шекспир, например, — может перестать быть литературой» (Иглтон Т. *Теория литературы: введение* / Пер. с англ. Е. Бучкиной. М.: Территория будущего, 2010. С. 30).
- 4 Здесь имеется в виду графический роман Арта Шпигельмана о холокосте «Маус» (1991, рус. пер. 2014). См. о нем: *Smith P. Reading Art Spiegelman*. N. Y.; L.: Routledge, 2015.

а отдельные листы из них выставляют в музеях и художественных галереях<sup>5</sup>. Графический роман стал очень серьезен и готов поднимать сложные темы, в том числе и в России, — от «лихих 1990-х» до блокады Ленинграда и сталинских репрессий, как «ШУВ» (2016) и «Сурвило» (2019) Ольги Лаврентьевой. В нашей стране примерно после 2014 г. происходит активное развитие графического романа<sup>6</sup>, появляются целые вселенные супергеройских комиксов (такие, как «Bubble»), главные европейские и американские графические романы переводятся качественно и быстро<sup>7</sup>. Однако исследования комикса — американской супергероики<sup>8</sup>, японской манга<sup>9</sup> и «русского комикса»<sup>10</sup> — по-прежнему составляют у нас скромную нишу, несоизмеримую с соответствующей отраслью во франко-бельгийском регионе и англоязычных странах.

Comics studies 1990—2020-х гг. сегодня выглядят главным гарантом «серьезности» своего предмета исследования. За последние тридцать лет эта область исследований сильно дифференцировалась, что видно по разнообразию подходов в научных журналах «ImageText», «Inks» и «Studies in Comics» и критическом «The Comics Journal». В рамках традиции, тяготеющей к филологии, ученые анализируют язык комикса с точки зрения семиотики и повествовательных моделей, как Тьерри Грэнстин в «Системе комиксов» (1999) и Кай Микконен в «Нарратологии комиксного искусства» (2017)<sup>11</sup>. В рамках другой, скорее искусствоведческой, пытаются, как Дэвид Кэрриер в «Эстетике комиксов» (2000), вписать комиксы в историю искусства или же объяснить, как Барт Бити в книге «Комиксы против искусства», почему в XX в. комиксы в искусство так и не вписались<sup>12</sup>. Исследования супергероики давно вышли за пределы истории «Marvel» и DC<sup>13</sup> и все больше тяготеют к всеядным cultural studies, обращающимся на материале комиксов к проблемам «популярной» культуры, инвалидности и смерти, национализма или образов

- 
- 5 Comic Art in Museums / Ed. by K.A. Munson. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2020.
  - 6 Среди наиболее известных авторов — А. Акишин, О. Лаврентьева, Ю. Никитина, Е. Ужинова, В. Терлецкий, Ф. Соседов, В. Помидор, А. Никитин, А. Рахманько.
  - 7 Больше других здесь преуспело издательство «Бумкнига», открывшее российскому читателю самых значимых авторов — от Маржан Сатрапи, Давида Б. и Фредерика Питерса до Брехта Эванса, Джини, Джейсона, Крейга Томпсона и Лоренцо Матотти.
  - 8 См.: *Дмитриева Д.* Век супергероев: истоки, история, идеология американского комикса. М.: Изотека, 2015; *Цыркун Н.* Вселенная супергероев: американский кинокомикс: история и мифология. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020.
  - 9 См.: Манга в Японии и России: субкультура отаку, история и анатомия японского комикса / Под ред. Ю. Магеры. М.; Екатеринбург: Фабрика комиксов, 2015; *Самутина Н.* Японские комиксы манга в России: введение в проблематику чтения // Новое литературное обозрение. 2019. № 160. С. 307—321.
  - 10 См.: Русский комикс: Сб. статей / Сост. Ю. Александров, А. Барзах. М.: Новое литературное обозрение, 2010; *Антанасиевич И.* Русский комикс Королевства Югославия. СПб.: Скифия, 2018. Несмотря на развитие исследований комиксов в России (здесь следует указать прежде всего на конференции «Изотекст» и сборники их материалов, с 2010 г. проводимые и публикуемые в Москве Александром Куниным: <https://izotext.rgub.ru/history/>), российский комикс 1980—2020-х гг. находится на периферии научных интересов, а единственная монография о нем существенно устарела: *Alaniz J.* Komiks: Comic Art in Russia. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2010.
  - 11 *Groensteen T.* The System of Comics. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 1999; *Mikkonen K.* The Narratology of Comic Art. N.Y.: Routledge, 2017.
  - 12 *Carrier D.* The Aesthetics of Comics. Pennsylvania: Penn State University Press, 2000; *Beatty B.* Comics versus Art. Toronto: University of Toronto Press, 2013.
  - 13 *Daniels L.* DC Comics: Sixty Years of the World's Favorite Comic Book Heroes. L.: Virgin Books, 1995; *Howe S.* Marvel Comics: The Untold Story. N.Y.: Harper, 2012.

будущего в транснациональной перспективе<sup>14</sup>. Наконец, взлет графического романа 1990—2000-х гг. в Европе и США с его яркой автобиографической составляющей привел к росту исследований «автобиографического комикса» как особого направления<sup>15</sup>, заставив переосмыслить традицию «андеграундного» комикса второй половины XX в., его революцию и претензии на статус литературы<sup>16</sup>. Развитие интернета и цифровых форм репрезентации внесло коррективы в понимание комикса как цифрового медиума<sup>17</sup>. Многообразие теорий и подходов в comics studies проще всего оценить по многочисленным сборникам статей, в том числе целиком посвященным графическому роману<sup>18</sup>. Эти книги — свидетельство того, что вопрос «Нужна ли комиксу теория литературы?» является как минимум лукавым, ведь они *уже вместе*: редкая статья, посвященная автобиографии в комиксах, не содержит в себе ссылок на Филиппа Лежёна или Поля де Мана, и все чаще в статьях о графических романах в качестве авторитетной фигуры появляется теоретик романа Михаил Бахтин<sup>19</sup>.

Как можно понять по этому краткому обзору, ни комиксы, ни comics studies не нуждаются в оправдании. Однако так было не всегда. Представление о комиксах как о «низком» «дегенеративном искусстве», сводящим детей с ума своей «пропагандой» насилия, расизма, нацизма, психопатии и добрачного секса, объединяло в 1940—1960-е гг. и американского психиатра Фредрика Вертама, и советского классика, автора «Мухи-цокотухи» Корнея Ивановича Чуковского, и даже молодого приват-доцента эстетики Умберто Эко<sup>20</sup> (последний, впрочем, позднее напишет важное для comics studies эссе «Миф о Супермене», 1962<sup>21</sup>). Однако изна-

- 
- 14 См., соответственно: *Wright B.W. Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America*. L.: Johns Hopkins University Press, 2001; *Alaniz J. Death, Disability and the Superhero: The Silver Age and Beyond*. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2014; *Dittmer J. Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics*. Philadelphia: Temple University Press, 2012; *Visions of the Future in Comics: International Perspectives* / Ed. by F.-A. Ursini, A. Mahmutovic, F. Bramlett. Jefferson, NC: McFarland, 2017.
- 15 Укажем только на основное: *Kunka A.J. Autobiographical Comics*. L.: Bloomsbury Academic, 2017; *El Refaie E. Autobiographical Comics: Life Writing in Pictures*. New Orleans: University Press of Mississippi, 2012; *Graphic Subjects: Critical Essays on Autobiography and Graphic Novels* / Ed. by M. Chaney. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2011; *Chute H.L. Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics*. N.Y.: Columbia University Press, 2010; *Drawing from Life: Memory and Subjectivity in Comic Art* / Ed. by J. Tolmie. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2013.
- 16 *Hatfield C. Alternative Comics: An Emerging Literature*. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2005; *Rosenkranz P. Rebel Visions: The Underground Comix Revolution, 1963—1975*. Seattle: Fantagraphics Books, 2008.
- 17 *Perspectives on Digital Comics: Theoretical, Critical and Pedagogical Essays* / Ed. by J.S.J. Kirchoff, M.P. Cook. Jefferson, NC: McFarland, 2019.
- 18 Особого внимания заслуживают: *The Cambridge Companion to the Graphic Novel* / Ed. by S.E. Tabachnick. Cambridge: University Press, 2017; *Critical Directions in Comics Studies* / Ed. by T. Giddens. New Orleans: University Press of Mississippi, 2020. См. также: *A Comic Studies Reader* / Ed. by J. Heer, K. Worcester. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2008; *The Art of Comics: A Philosophical Approach* / Ed. by A. Meskin, R. Cook. Chichester, UK: Wiley Blackwell, 2014.
- 19 *Hudson R. The Derelict Fairground: A Bakhtinian Analysis of the Graphic Novel Medium* // *CEA Critic*. 2010. Vol. 72. No. 3. A Special Issue: The Graphic Novel. P. 35—49.
- 20 *Павловский А. «Страх комикса»: комиксофобия в Советском Союзе* // *Изотекст: Сб. материалов конференции исследователей комиксов, 19—20 мая 2016 г.* / Сост. А.И. Кунин, Ю.А. Магера. М.: РГБМ, 2016. С. 86—96.
- 21 *Эко У. Роль читателя: исследования по семиотике текста* / Пер. с англ. и итал. С. Се-ребряного. М.: Изд-во РГГУ, 2005. С. 177—206.

чальный импульс критики «массового искусства»<sup>22</sup>, который растянулся на сорок лет ограничений цензурного кодекса комиксов (The Comic Code Authority), регулировавшего содержание комиксов 1950—1990-х гг. в США, и превратил комиксы в «маргинальные» и «вредные» (недо)искусство и (недо)литературу<sup>23</sup>, в конце концов стал топливом для героизации гонимого, еретического и субверсивного медиума. Так, с 1980-х гг. англоязычные comics studies (не малопрестижные, а даже вовсе непредставимые в качестве университетского курса) были прямо связаны с оправданием комикса, опасно балансируя между научным анализом, апологией комикса как достойного предмета исследования и утверждением его как искусства или серьезной литературы. Еще в 1990 г. название книги М. Томаса Инге «Комиксы как культура» звучало скандально, однако начало процессу уже было положено<sup>24</sup>.

Первую удачную апологию комикса, впрочем, создал не ученый, а американский комиксист Скотт Макклауд в хрестоматийном для comics studies труде «Понимание комикса: невидимое искусство» (1994). Книга интересна хотя бы тем, что сама является комиксом, а ее автор изображен в качестве комиксного персонажа — художника, излагающего теорию. Объясняя, почему комиксы заслуживают лучшего отношения к себе со стороны читателей и ученых, Макклауд приводил три аргумента. Во-первых, комиксная форма является древней: люди испокон веков занимались тем, что рассказывали истории при помощи последовательно расположенных изображений с текстовым комментарием, достаточно взглянуть на фрески египетских пирамид, кодексы майя, ковер из Байё или средневековые «Библии для бедных». Во-вторых, комиксный язык является семиотически сложным; даже если комикс про чудовищ и супергероев кажется примитивным по содержанию, его автор, в отличие от обычного писателя или художника, работает одновременно и со словом, и с изображением, и, главное, с тем смыслом, что возникает в результате их симбиоза. В-третьих, комиксное искусство нуждается в «теории», то есть его нужно серьезно исследовать. Например, проводить сравнительный и количественный анализ монтажа последовательных изображений (комикс как «последовательное искусство», по выражению Уилла Айснера<sup>25</sup>), а также приемов соположения изображения, текста и обозначений звука (комикс как *imagetext*, или *изотекст*), — анализ, который, на взгляд Макклауда, помогает объяснить стилевые различия между американским, французским и японским комиксами (но только до 1990-х гг., пока их эстетические принципы не стали смешиваться все более заметным образом)<sup>26</sup>. Итак, Макклауд показал, что «понимание комиксов — дело серьезное», и следующие тридцать лет исследований закрепили эту мысль.

Однако доказать не требующее доказательства зачем-то вновь пробуют Геци и Макбёрни. Но на этот раз речь идет не о комиксном языке как таковом, а о графическом романе как об особой форме повествования. Первая часть «Литкомикса» представляет собой обоснование применения литературоведческого инструментария к комиксу, вторая включает в себя соответствующие кейс-стади. В англоязычной традиции под литературной теорией, как правило, подразумевается выход из литературной области в сферу гендерных и постколониальных исследований,

22 *Beatty B.* Fredric Wertham and the Critique of Mass Culture. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2005.

23 *Nyberg A.K.* Seal of Approval: The History of the Comics Code. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 1998.

24 *Inge M.T.* Comics as Culture. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 1990.

25 *Eisner W.* Comics and Sequential Art. N.Y.: W.W. Norton & Co., 2008.

26 *McCloud S.* Op. cit. P. 9—23, 51—53, 70—93.

memory studies, cultural studies и т.д.<sup>27</sup>, которые могут сильно опираться на то, что в России традиционно называется теорией литературы, — на русский формализм, концепции Бахтина, советский структурализм, французский (пост)структурализм, немецкую рецептивную эстетику и другие теории<sup>28</sup>. Однако при всем обилии ссылок на Дьёрдя Лукача, Терри Иглтона, Умберто Эко, Ролана Барта, Жерара Жене и Фредерика Джеймисона цели и методы Геци и Макбёрни не являются вполне исследовательскими. В отличие от Макклауда, ограничивавшегося утверждением комикса как автономного искусства или даже самоценного «языка», они стремятся объяснить, почему графические романы являются «серьезной» литературой, используя теорию в качестве инструмента не столько анализа, сколько канонизации, а именно для сравнения романа и графического романа, которые в их интерпретации достигают практического тождества.

Далее, Геци и Макбёрни считают себя марксистами. Марксистское (равно как и фрейдистское<sup>29</sup>) прочтение комиксов развлечение не новое. Еще в 1971 г. чилийский литературовед Ариэль Дорфман (советник Сальваторе Альенде) и бельгийский социолог Арман Мэтлар опубликовали книгу «Как читать Дональда Дака: империалистическая идеология в комиксах Диснея». Авторы со смертельной серьезностью доказывали, как именно комиксы о говорящих утках способствуют установлению гегемонистских идей США в области капитала, расы, гендера (здесь Дорфман и Мэтлар интерпретировали во фрейдистском ключе противоречивые отношения бездетного Дональда и его племянников-сирот), а также неравноправных отношений между Западом и «третьим миром»<sup>30</sup>. Дорфман и Мэтлар были левыми критиками идеологии (над которыми после 1973 г. вечно нависала тень Пиночета), и речи об апологии комикса не шло. В случае же с Геци и Макбёрни марксизм служит именно апологии. «Аспекты марксистской теории литературы и культуры укоренились в нашем сегодняшнем мышлении, в том числе вера в то, что произведение искусства является носителем материальных и исторических условий, в которых оно создано» (с. 28), — утверждают Геци и Макбёрни, повторяя эту нехитрую предпосылку за известным неомарксистом 1960—1980-х гг. Реймондом Уильямсом (которого они упорно называют Бернардом)<sup>31</sup>. Однако они, похоже, не понимают марксистской теории литературы в ее исторической сложности, путая два противоположных подхода: неомарксизм-конструктивизм 1970—1980-х гг. и марксизм в литературоведении 1920—1930-х. Такое понимание марксизма сродни двум сторонам монеты двуликого Харви Дента из комиксов DC, за тем исключением, что, подбрасывая эту монету, Геци и Макбёрни решают, не кого из читателей комиксов убить, а чем они занимаются: эмпирической теорией литературы или нормативной эстетикой.

С одной стороны, авторы находятся под сильным влиянием Терри Иглтона и его учебника «Литературная теория» (1983), известного рассуждениями о литературном каноне, о том, что национальные литературы и их классиков конструируют и изобретают конкретные люди в конкретных обстоятельствах (одним из которых является их классовая, институциональная и профессиональная принад-

27 *Каллер Дж.* Теория литературы: краткое введение / Пер. с англ. А. Георгиева. М.: Астрель; АСТ, 2006. С. 7.

28 *Зенкин С.* Теория литературы: проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 37—38.

29 *Маккарти Т.* Тинтин и тайна литературы / Пер. с англ. С. Силаковой. М.: Ad Marginem, 2013.

30 *Dorfman A., Mattelart A.* How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic. L.: Pluto Press, 2019.

31 *Williams R.* Marxism and Literature. Toronto: Oxford University Press, 1977.



лежность, предопределяющая их ценностные ориентиры и вкусы), что роман не сразу стал «высоким жанром» в глазах критиков. Можно Иглтона критиковать<sup>32</sup>, но, дополняя марксистский подход 1980-х гг. рассуждениями Дэвида Кэрриера и Иоахима Писарро о «диком искусстве», которое со временем становится мейнстримом<sup>33</sup>, Геци и Макбёрни еще пока остаются в границах научного дискурса. Но затем они переступают черту и оказываются в поле нормативной эстетики, обращаясь к концепции Дьёрдя Лукача, интерпретирующего Гегеля и Энгельса. Проблема не в теории Лукача, давно ставшей историей теории<sup>34</sup>, а в том, что Геци и Макбёрни используют ее как источник критериев, по которым можно судить, почему графический роман — это «реализм», а значит, и «серьезная литература».

Этих критериев как минимум пять. Во-первых, графический роман заведомо хорош как «медиум эпохи», поскольку «адекватное художественное представление <...> всего человечества, — цитируют авторы Лукача, — это центральный эстетический вопрос реализма» (там же), и если Гегель считал, что в Древней Греции таким посредником была скульптура, а Лукач считал, что в XIX в. это был роман, то что мешает считать, что теперь это комикс? Во-вторых, «хороший» графический роман — это роман «реалистический». Учитывая, что «реализм покоится на том, что правдоподобно, узнаваемо и постижимо» (с. 27—28), — так учат нас Энгельс и Лукач, — комикс должен быть «зеркалом объективной действительности», постичь которую только мешают вредный натуралистический буквализм и модернистский эскапизм. В-третьих, «хороший» реалистический графический роман должен «черпать свою силу из глубокого знания всемирно-исторической трансформации общества» и по возможности революционно «ломать <...> “официальный” взгляд на историю и общество и вызывать <...> социальные классы и течения к жизни для осуществления действительного преобразования общества, ради реального создания новых типов людей» (с. 30). Здесь авторы подключают к делу не только Лукача, но и Брехта. В-четвертых, поскольку речь идет о «типах», «хороший» реалистический графический роман должен «сосредоточиться на символизации типичного в людях и ситуациях» (с. 192), а это значит, что комикс давно преуспел, — чего стоят одни супергерои от Бэтмена до Чудо-женщины, представляющие особые социальные и этические типы. В-пятых, если это не просто графический роман, а автобиографический графический роман, то он обязательно должен быть «романом воспитания», а его содержанием должно быть «воспитание человека для действительной жизни» (с. 106—109) в духе «Страданий юного Вертера» Гёте. Все остальное — «зловещая, жалкая, нелепая и самоуничтожительная» «самодраматизация» (с. 107), в которой авторы обвиняют едва ли не всех известных им комиксистов-автобиографов — от Крамба до Томпсона.

Неизвестно, воспользуется ли хоть один критик этими критериями для оценки графического романа, но ясно, что Геци и Макбёрни из последователей Иглтона

- 
- 32 Ср.: Третьяков В. [Рец. на кн.: Иглтон Т. Теория литературы: Введение / Пер. Е. Бучкиной. М.: Территория будущего, 2010] // Новое литературное обозрение. 2012. № 115. С. 386—388.
- 33 Carrier D., Pissarro J. *Aesthetics of the Margins / The Margins of Aesthetics: Wild Art Explained*. University Park, PA: Penn State University Press, 2019. Российский читатель легко сопоставит эти идеи 2010-х гг. с тем, что Ю. Тынянов писал о «литературной эволюции», а В. Шкловский — о «канонизации младших жанров» еще в 1920-х.
- 34 Желая обратиться непосредственно к теории Лукача отошлем к современному изданию: Лукач Г. *Исторический роман (1937—1938)* / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. А.А. Теслы. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2013. См. также: Лукач Г. *Теория романа: (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики)* / Пер. с нем. Г. Бергельсона // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 19—78.

превращаются в предмет его исследования — не тех, кто исследует канон, а тех, кто канонизирует. Они восприняли марксизм «потребительски» — не как инструмент для описания социальной реальности, а как догму и индульгенцию.

Ссылаясь и на немецкие издания «Теории романа», и на «Исторический роман», и на работы об Энгельсе, Гегеле, Сервантесе, Бальзаке, Гёте, Толстом и Горьком, и еще на множество работ, написанных Лукачем за долгую и противоречивую шестидесятилетнюю карьеру, Геци и Макбёрни прикладывают его идеи к любому комиксу как истину в последней инстанции, и после прочтения «Литкомикса» так и хочется сказать: «Учение Лукача всесильно, потому что оно верно». В этом есть большая ирония. Сетовавший на натуралистов, сюрреалистов, экспрессионистов, экзистенциалистов и соцреалистов как на писателей, не способных добиться подлинного «реализма» уровня Гёте, Скотта, Бальзака и Толстого, Лукач был бы весьма удивлен, узнав, что его теория используется для анализа графических романов про гендерфлюидных зверей-наркоманов, живущих в эпоху ковида на пособие по безработице (как в комиксе Саймона Хансельманна «Мэгг, Могг и Сова»). Если Геци и Макбёрни считают, что это главные агенты перемен в XXI в., это их дело, но они именно что «апроприируют» теорию Лукача, осознавая, что тот не был бы согласен ни с чем, что пишут они о комиксистах, которые якобы являются «реалистами» только потому, что обращают внимание на проблематику гендера, квирности и недопредставленности меньшинств в мире несправедливого капитализма, а не на что-то другое.

Сказанное позволяет перечитать «Литкомикс» уже не как научную монографию, а как наукообразную апологию графического романа, его оправдание в мире «серьезной литературы». Между тем термин «графический роман» придумали в свое время только потому, что стеснялись слова «комикс». В 1976—1978 гг. Джим Стеранко («Чандлер: кровавый прилив»), Уилл Айснер («Контракт с Богом») и Ричард Корбен («Кровавая звезда») предприняли этот маркетинговый ход в надежде выйти на более взрослую аудиторию, впоследствии подхваченный всей индустрией и опрокинутый теоретиками комикса в прошлое, для того чтобы называть графическими романами комиксы XIX—XX вв., имевшими законченную форму, сериальную или нет, — в том числе даже такие ранние, как произведения Родольфа Топпфера и Франса Мазереля. Понятие «графический роман», возвышающий комикс, Геци и Макбёрни берутся легитимировать — путем систематического сопоставления графического романа с романом вообще, особенно в первой части книги.

Сопоставление проводится в следующих пяти направлениях. Первое — общность (репутационной) судьбы: роман, как и комикс, тоже начинал как низкий жанр, а каких добился высот! Значит, и графический роман добьется, весь XXI в. впереди (с. 67—70). Второе — фундаментальная жанровая общность: романы Бальзака, Диккенса и Толстого, утверждают Геци и Макбёрни, были гораздо более «визуальными», чем принято думать, и почему бы не рассматривать иллюстрированные издания классиков как протокомиксы? (с. 26—29). Третье — способность комикса присваивать и обогащать литературу: авторы графических романов могут «адекватно» адаптировать великие литературные произведения — от Стерна и Шелли до Пруста и Пинчона, усложняя их за счет комиксного языка (с. 49—63). Четвертое — единство объясняющей теории: написанное теоретиками (особенно Лукачем) о романах Гёте, Диккенса, Толстого якобы можно экстраполировать на романы Алана Мура, комиксы Джека Кирби и хоррор-манга. Если Кирби — это «новый Бальзак», значит, сказанное Лукачем о творчестве Бальзака поможет нам осмыслить творчество Кирби (см. главу «Бальзак комиксов»). Наконец, пятое — принципиальная сравнимость романов и графических романов

друг с другом. Так, пишут Геци и Макбёрни во второй части книги, творчество братьев Эрнандес может напоминать по приемам «Слепой грех» Маргарет Этвуд; герои Саймона Хансельманна психологически близки к героям Кена Кизи из «Пролетая над гнездом кукушки»; Джош Байер — почти Сервантес (ведь оба использовали метафикциональность); комиксы Томми Пэрриш наследуют драматургии Брехта и Ионеско, а комиксы Йосихиро Тацуми — романам Имре Кертеса, Диккенса, Достоевского, Камю и Фаллады; «Безимену» Нины Буневац объединяет с «Историей глаза» Жоржа Батая сюрреалистический и эротический символизм и т.д.

По мнению Геци и Макбёрни, этот список современных комиксистов американского, японского, австралийского, американо-мексиканского и канадско-сербского происхождения, собственно, и составляет «глобальный канон» «реалистического» (в смысле Лукача) графического романа, на который якобы должны равняться все остальные. Созданный в духе «Великой традиции» (1948) Ф.Р. Ливиса, о чем авторы пишут прямо (с. 16—17), этот «пантеон», очевидно, отражает личные вкусы Геци и Макбёрни, вновь доказывая, что они не марксисты (максимум «попутчики»), поскольку не деконструируют реальный канон графического романа, который создается издательскими сериями, премиями (например, премией Айснера), фестивалями (например, в Ангулеме), критиками, журналистами и блогерами, то есть их понимание канона отражает их предпочтения, а не реальность власти, репутации и престижа, в которой первые места занимают совсем другие произведения<sup>35</sup>.

Далее, как можно догадаться, все эти комиксисты являются, по мнению Геци и Макбёрни, писателями-«реалистами» — каждый по-своему. Но, перечисляя «реалистические» графические романы, они не называют ни одного «нереалистического». Если «Бэтмен» — это реализм (потому что отражает неврозы и психопатии современного капитализма) и «Персеполис» Маржан Сатрапи — это реализм (потому что отражает взросление юной мигрантки, бежавшей в Европу из страны победившей Исламской революции), то что тогда не реализм? И если это хорошие комиксы, то какие плохие? Как давно заметил Кристиан Метц на примере кинокритики «новой волны» 1960-х гг., хорошее кино определяется при помощи критериев того, что значит плохое кино<sup>36</sup>, но Геци и Макбёрни не проделывают той же операции с графическими романами.

Если отбросить всю нормативную часть «Литкомикса» (вместе с теорией Лукача), мы получим сборник симпатичных, пусть и компилятивных эссе по важным вопросам *comics studies*. Формирование канонической фигуры на примере Джека Кирби и борьба комиксистов со студиями «Marvel» и DC за творческую автономию и финансовые выгоды (с. 83—104); идейные основы комиксофобии на примере «Совращения невинных» (1954) Вертама (с. 65—82)<sup>37</sup>; «фигуративный

35 Так, в список «классических» американских графических романов с большей вероятностью попали бы «Маус» Шпигельмана, комиксы Уилла Айснера, Джека Кирби, Роберта Крамба и с некоторой натяжкой «Одеяла» Крейга Томпсона и «Веселый дом» Элисон Бекдел, но точно не Байер и не Хансельманн.

36 См.: Метц К. Воображаемое означающее: психоанализ и кино / Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2010.

37 Здесь Геци и Макбёрни предпринимают хулиганскую, но остроумную попытку прочесть Вертама буквально. Вертам писал, что комикс развращает юных читателей; в частности, он указывал на двусмысленные взаимоотношения супергероев (например, Бэтмена и Робина). Для Геци и Макбёрни это служит дополнительным аргументом в пользу силы комикса как медиума, в том числе и через квір-прочтение (см. главу «Был ли прав Вертам? Комиксы антисоциальные и субверсивные»).

псевдоним» и треугольник идентичностей «автор — персонаж — повествователь» в автобиографическом комиксе (с. 105—121)<sup>38</sup>; интертекстуальность, пастиш и метакомикс (с. 83—104, 123—142)<sup>39</sup>; «современная сказка» в цифровых комиксах (с. 161—176)<sup>40</sup> и репрезентация травмы в графических романах на стыке сюрреалистической эстетики и нуара (с. 143—160); влияние ужасов Хиросимы на изображение японского пролетариата в послевоенном Токио (с. 215—232) — все эти и многие другие темы, поднимаемые в «Литкомиксе», чувствуют себя превосходно без всякого «марксизма». В том числе потому, что реальным инструментом анализа комиксов служит не он, а французский (пост)структурализм в духе Ролана Барта и Жерара Женнета.

Конечно, без обобщающей рамки Лукача вся «гранд-теория» Геци и Макбёрни рассыпается. Выясняется, что и марксистского анализа в духе Реймонда Уильямса и Терри Иглтона в «Литкомиксе» вовсе и нет. Читатель так и не узнает, каким образом авторы графического романа, пройдя через испытания XX в., добились к началу XXI в. признания и стали включаться в списки обязательной (иначе говоря, классической) литературы для школьных и университетских классов<sup>41</sup> и библиотек<sup>42</sup>. Вероятно, этот вопрос останется другим авторам, равно как и проблема «реализма» в комиксах. Еще в книге «Молодой Толстой» (1922), то есть примерно тогда же, когда Лукач опубликовал «Теорию романа» (1920), Борис Эйхенбаум заметил, что «реализм» — это не имманентное свойство, а относительное понятие: «“Реализм” есть лишь условный и постоянно повторяющийся девиз, которым новая литературная школа борется против изжитых и ставших шаблонными и потому слишком условными приемов старой школы. Сам по себе он ничего положительного не означает, потому что содержание его определяется не сравнением с жизнью, а сравнением с иной системой художественных приемов»<sup>43</sup>. Одна эта цитата могла бы послужить основанием для программы исследований реального взаимодействия комиксистов, их борьбы друг с другом и окружающим миром за особую эстетику и статус.

А с другой стороны, не является ли сама постановка вопроса слишком литературоцентричной? Геци и Макбёрни так настаивают на том, что графическому роману необходима литературная теория, как будто он в первую очередь «роман» и только во вторую — «графический». История искусства, иконология, иконография, критика современного искусства, visual studies в книге почти не задействованы, есть лишь пара ссылок на Клементя Гринберга и Эрнста Гомбриха. Нет, авторы не игнорируют образительную составляющую: в книге есть скрупулезный формальный анализ визуального лексикона, стилей, материальности комиксов, однако бро-

38 Жаль, впрочем, что авторы игнорируют литературу, написанную об автобиографических комиксах до них. См., например: *Kunka A.J. Autobiographical Comics*. L.: Bloomsbury Academic, 2017; *El Refaie E. Autobiographical Comics: Life Writing in Pictures*. New Orleans: University Press of Mississippi, 2012.

39 О теории метакомикса см.: *Cook R. Why Comics Are Not Films: Metacomics and Medium-specific Conventions // The Art of Comics...* P. 165—187.

40 Под современной сказкой имеется в виду изображение сказочных персонажей как жителей современного мира, вступающих во взаимодействие с «реальными» людьми и феноменами (принцип, который противоречит обычной сказке, изолированной в своем художественном мире). Яркий пример — «Сказки» («Fables») Билла Уиллингема.

41 См.: *Teaching Comics and Graphic Narratives: Essays on Theory, Strategy and Practice / Ed. by L. Dong. Jefferson, NC: McFarland, 2012.*

42 См.: *Graphic Novels and Comics in Libraries and Archives: Essays on Readers, Research, History and Cataloging / Ed. by R.G. Weiner. Jefferson, NC: McFarland, 2010.*

43 *Эйхенбаум Б. Молодой Толстой*. Пг.: З.И. Гржебин, 1922. С. 99—100.

сается в глаза отсутствие «визуальной» теории<sup>44</sup>. Хотя Геци и Макбёрни не сомневаются в продуктивности взаимодействия графического романа и традиционной литературы, кинематографа и телевидения, они почему-то считают, что главный враг комиксов — это «музеефикация» и что попытка нацепить на комиксы лейбл «изобразительное искусство» препятствует их легитимации (с. 13).

Парадоксальным образом «Литкомикс» — это памятник комплексу неполноценности, который авторы хотели преодолеть, для чего использовали (квази)теоретический язык, который не свойственен дискурсу комиксистов и их читателей и к тому же стал уже достоянием истории. За редкими исключениями (с. 198, 225) авторы не показывают, что сами комиксисты думают о себе и своем творчестве.

Нужна ли комиксу теория литературы? Да, но это точно не теория Дьёрдя Лукача. Нужен ли комикс теории и истории литературы? Да, и об этом свидетельствует длинный перечень авторов в начале рецензии. «Литкомикс» же останется источником для исследования того, как современные авторы пытаются легитимировать комикс и даже составить канон, основанный на критериях хорошего графического романа, придуманных ими самими. «Графические романы, — пишут Геци и Макбёрни, — все еще неудобно включать в академические учебные программы <...>, и это связано с тем, что до сих пор ощущается недостаток материала, предлагающего методологию оценочной критической практики» (с. 235). Их книга не восполняет этого дефицита. Объединять теорию литературы и comics studies на научных началах придется уже другим.

---

44 Подобная теория представлена, например, в кн.: Мир образов. Образы мира: Антология исследований визуальной культуры / Сост. Н. Мазур. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2023.

Евгений Савицкий

## Месть кухарок:

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДОМАШНЕГО ТРУДА  
И СУДЬБА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_346

### **Klots A. Domestic Service in the Soviet Union: Women's Emancipation and the Gendered Hierarchy of Labor.**

Cambridge: Cambridge University Press, 2024. — X, 307 p. —  
(New Studies in European History).

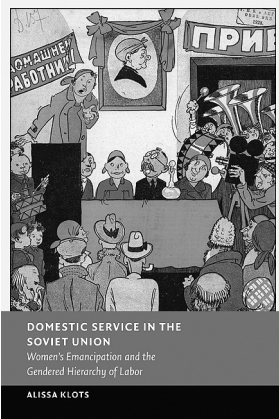
### **Cucz D. Winning Women's Hearts and Minds: Selling Cold War Culture in the US and the USSR.**

Toronto; Buffalo; L.: University of Toronto Press, 2023. — XVI, 317 p.

В Пермской художественной галерее хранится не очень сегодня известная, но многократно репродуцированная на дореволюционных открытках картина В.Е. Маковского «Наем прислуги» (1891). Художник изобразил крестьянскую девушку, вошедшую в комнату, где за столом сидят курящий трубку отставной офицер, его жена и двое сыновей-подростков, в чьих взглядах можно прочесть незавидное будущее юной служанки, над которой каждый член семьи будет издеваться по своему. Недоброжелательность читается и во взгляде старой горничной, стоящей за спиной девушки. В это же время Л.Н. Толстой работает над романом «Воскресение» о соблазненной барином и ставшей проституткой служанке. Дореволюционная статистика свидетельствовала, что среди проституток бывшей домашней прислуги было особенно много<sup>1</sup>, и это не раз становилось предметом обсуждений<sup>2</sup>. А тремя годами ранее А.П. Чехов публикует рассказ «Спать хочется», где лишенная нормального сна тринадцатилетняя няня убивает доверенного ей ребенка. На картине Маковского в духе модных тогда теорий вырождения можно также увидеть противопоставление уродливых представителей прошлого и здоровой неиспорченной юности, которую надо спасти ради другого будущего<sup>3</sup>. Грязный и неухоженный отставник не должен касаться чистой и опрятной крестьянской девушки.

Тема материальной, сексуальной и психологической эксплуатации прислуги, особенно женской, была, таким образом, довольно заметной в дореволюционное

- 
- 1 По данным Центрального статистического управления за 1889 г. — 45%. См.: Статистика Российской империи. Т. 13. Проституция: по обследованию 1 августа 1889 г. / Под ред. А. Дубровского. СПб., 1890. С. XXXIII.
  - 2 См., например: *Оболенко П.Е.* Поднадзорная проституция С.-Петербурга по данным Врачебно-полицейского комитета и Калинкинской больницы: Дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 1896. С. 31—32; *Покровская М.И.* Борьба с проституцией: доклад II отделению Российского общества охранения народного здоровья 10 декабря 1899 г. СПб., 1900. С. 7—9; *Коллонтай А.* Социальные основы женского вопроса. СПб., 1909. С. 147.
  - 3 См.: *Николози Р.* Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX в. / Пер. с нем. Н. Ставрогиной. М., 2019. В 1920—1930-е гг. физическое и нравственное вырождение прежних господствующих классов, начиная с царской семьи, было расхожим среди советских авторов объяснением причин революции.



время<sup>4</sup>, и, казалось бы, советская власть должна была с этим злом покончить. Домашняя прислуга была среди наиболее активных участников революции 1905 г., она даже создала свой особый профсоюз, и это дополнительно привлекло внимание к ее проблемам<sup>5</sup>. Однако, как отмечает профессор Питтсбургского университета Алиса Клоц в книге «Работа по дому в Советском Союзе: освобождение женщин и гендерная иерархия труда»<sup>6</sup>, политика большевиков в этом вопросе оказалась весьма непоследовательной. Это было обусловлено причинами как теоретического, так и практического характера. С одной стороны, домашний труд не подходил под марксистское определение капиталистической эксплуатации, подразумевавшее собственность буржуазии на средства производства; это не

позволяло в полной мере отнести домработниц к «рабочим». С другой стороны, советская власть долгое время не могла наладить коммунальную инфраструктуру для обеспечения питания, воспитания детей, уборки помещений и пр. Прислуга воспринималась одновременно и как пережиток времен крепостного права, и как необходимое средство, чтобы освободить ответственных и высококвалифицированных работников от бытовых забот. Сам В.И. Ленин, переехав в кремлевскую квартиру, обзавелся кухаркой.

- 4 Этай теме посвящена также довольно обширная современная историография, в том числе российская. См., например: *Веремько В.А.* «Ничтожные» и «благородные»: общественная дискуссия о домашней прислуге накануне отмены крепостного права в России // *Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.* 2013. Т. 4. № 4. С. 82—89; *Богданов Л.Г.* Стереотипы о женской домашней прислуге как инструмент конструирования городской идентичности средних слоев Петербурга в начале XX в. // *Апрельские тезисы: Материалы междисциплинарной научно-исследовательской конференции.* Пермь, 2021. С. 157—165; *Попова О.Д.* Горничные, денщики, прачки и другая прислуга в мире российской повседневности рубежа XIX—XX вв. // *Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.* 2023. Т. 23. № 1. С. 99—105. См. также: *Прислуга в Российской империи во второй половине XIX — начале XX в.:* Сб. документов и материалов / Отв. ред. В.А. Веремько. СПб., 2020.
- 5 *Spagnolo R.* Serving the Household, Asserting the Self: Urban Domestic Servant Activism // *The Human Tradition in Imperial Russia* / Ed. by C.D. Worobec. Lanham, 2009. P. 141—154. См. также: *Семенов А.М.* Участие прислуги в забастовочном движении 1905 г. // *Реформы в повседневной жизни населения России: история и современность: Материалы международной научной конференции* / Отв. ред. В.А. Веремько, В.Н. Шайдуров. СПб., 2020. С. 105—110; *Веремько В.А., Жукова А.Е.* «Пролетариат кухни» сражается: способы защиты своих прав женской домашней прислугой в России в начале XX в. // *Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.* 2019. № 4 (65). С. 51—60; *Самарина Л.А.* Распределение капиталов в российских профессиональных объединениях прислуги во второй половине XIX — начале XX вв. // *Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России: Материалы международной научной конференции* / Под общ. ред. В.Н. Скворцова; отв. ред. В.А. Веремько. СПб., 2016. С. 121—128.
- 6 Книга является продолжением исследований, начатых еще в рамках работы над кандидатской диссертацией: *Клоц А.Р.* Домашняя прислуга как социальный феномен эпохи сталинизма: Дис. ... канд. ист. наук. Пермь, 2012. См. также: *Она же.* Домашняя прислуга как объект исторического исследования в англоязычной историографии второй половины XX в. // *Вестник Пермского университета. История.* 2011. № 3 (17). С. 75—80.

Книга Клоц, однако, избегает сугубо виктимизирующей трактовки истории женщин и их домашнего труда. Ее книга показывает, что многие домработницы стремились противостоять представлению о домашней работе как о чем-то недостойном, оглуляющем, стоящем в самом низу иерархии видов занятости, чего нужно во что бы то ни стало избежать. Отсталость домработниц, о которой так много говорилось и до и после революции, опровергалась уже тем, что даже в дореволюционную эпоху домашняя прислуга зарабатывала в целом довольно хорошо. Грамотность среди прислуги была выше, чем среди фабричных работниц. Участие в революции 1905 г. можно трактовать не только как свидетельство бедственного положения женской прислуги, но и как проявление активности, сознательности, способности к коллективной самоорганизации и солидарности, что также противоречит стереотипу безграмотной и беспомощной крестьянской девушки.

Выходя за рамки виктимизирующих трактовок, книга Клоц примыкает к тому ряду исследований, где осуществляется важное и в наше время критическое осмысление иерархий форм труда. Так, Дж. Бурк еще в 1990-е гг. писала о том, что происходившее по мере механизации сельскохозяйственного и промышленного труда вытеснение британских женщин в домашнюю сферу воспринималось ими в основном положительно и что гендерное присвоение домашнего труда становилось даже средством осуществления власти в семье<sup>7</sup>. Позднее такая домашняя власть осмыслялась и в более широком политическом контексте. Например, другая британская исследовательница, К. Келли, писала, что приготовление еды по «фирменным рецептам хозяйки» могло в позднесоветское время конституировать альтернативную общепринятой культурную практику и связанную с нею память<sup>8</sup>. Подобным же образом в рамках *food studies* исследовалось и использование еды для подспудного сопротивления фашизму в Италии 1920—1930-х гг. В недавней книге Д. Гарвин «Кормить фашизм: политика женской работы по приготовлению пищи» рассказывается, в частности, о том, что хозяйки могли намеренно избегать использования продуктов, пропагандировавшихся властями в рамках политики автаркии (то есть импортозамещения), и, наоборот, готовить пищу из подсанкционных продуктов (Италия находилась под международными санкциями после нападения на Эфиопию в 1935 г.), появление которых на столе провоцировало разговоры на политические темы и т.п.<sup>9</sup>

7 См.: *Bourke J. Housewifery in Working-Class England, 1860—1914 // Past and Present. 1994. Vol. 143. No. 1. P. 167—197; Eadem. Husbandry to Housewifery: Women, Economic Change, and Housework in Ireland, 1890—1914. Oxford, 1993. См. также: Веременко В.А. «Безвластная власть»: статус женской домашней прислуги в России во второй половине XIX — начале XX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2019. Т. 18. № 2. С. 320—354.*

8 *Келли К. Петербург: тени прошлого. СПб., 2021. С. 163—180. См. также: Глущенко И.В. Роль государственной власти в формировании культуры питания в СССР 1920—30-х гг.: Дис. ... канд. культурологии. М., 2014; Seasoned Socialism: Gender and Food in Late Soviet Everyday Life / Ed. by A. Lakhtikova, A. Brintlinger, I. Glushchenko. Bloomington, 2019. Об этом сборнике см. в: Пушкарева Н., Жидченко А. Зарубежные исследования советской женской повседневности // Новое литературное обозрение. 2023. № 183. С. 345—352. Пушкарева также исследовала советских домработниц: Пушкарева Н.Л., Секенова О.И. «Занималась хозяйством»: домашние работницы в повседневной жизни российских женщин-историков первой половины XX в. // Вестник Пермского университета. История. 2020. № 4 (51). С. 5—15.*

9 *Garvin D. Feeding Fascism: The Politics of Women's Food Work. Toronto, 2022. О гендерных представлениях с позиции «исследований еды» см. также: Tigner A., Allison C. Literature and Food Studies. N.Y., 2018.*



В качестве форм сопротивления могут трактоваться и такие явления, как воровство<sup>10</sup> или лень<sup>11</sup> прислуги. В историографии последних лет они рассматривались как «дополнительные»<sup>12</sup> формы переприсвоения власти и экономических ресурсов, выходящие за рамки гегелевско-марксистского противопоставления раба и господина<sup>13</sup>. Наконец, следует отметить, что такого рода «неправильные» способы отстаивания женщинами своих прав анализировались в последние годы и в рамках постколониальных исследований: изучались как социальные и дискурсивные практики женщин, выходящие за рамки оппозиции традиционализма и модернизма, отсталости и современности<sup>14</sup>, так и глобальные взаимосвязи, например то, как представления о европейском престиже (и во многом зеркальные ему — об угрозах этому престижу, в том числе сексуальных) влияли на практики использования прислуги и выстраивание отношений с нею в колониях и как затем колониальные поведенческие нормы оказывали обратное влияние на метрополию<sup>15</sup>.

В книге Клоц колониальная проблематика затрагивается лишь мимоходом — упоминается о том, что использование мужчин в качестве «домработниц» (sic!) в Средней Азии трактовалось в советской печати середины 1920-х гг. как особенно вопиющий пережиток прошлого (с. 47). Также со ссылкой на материалы переписи 1926 г. указывается, что в нерусских республиках большинство прислуги составляли русские: так, в Узбекистане из более чем трех с половиной тысяч работающих слугами лишь 86 были узбеками. Схожим образом в белорусском Минске с его 40% еврейского населения только 6% домашней прислуги были из евреев; как

- 
- 10 Самарина Л.А. «Мерзавцы все крали»: воровство среди домашней прислуги в России второй половины XIX в. // История повседневности. 2017. № 1 (3). С. 77–89; Масленникова В.А. «Вороватые дамочки»: домашние кражи в Таврической губернии по материалам периодической печати конца XIX — начала XX в. (гендерный аспект) // Эхо веков. 2021. № 1. С. 25–36.
- 11 Бурлуцкая Е.В. «...прислуга, крайне здесь избалованная, живет по-своему»: домашние работницы в провинции пореформенной эпохи // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2018. № 4 (28). С. 77–86. Ср. о лени туземных южноафриканских и южноамериканских рабочих в XIX–XX вв.: Комаровф Д.Л., Комаровф Д. Безумец и мигрант / Пер. с англ. К.А. Левинсона // История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX–XXI вв. / Под ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгаци. СПб., 2006. С. 269–270; Taussig M.T. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill, 1980.
- 12 См.: Hobsbawm E.J. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Centuries. N.Y.; L., 1959.
- 13 Gehrlach A. Diebe: Die Heimliche Aneignung als Ursprungserzählung in Literatur, Philosophie und Mythos. Paderborn, 2016. См. об этой книге в: Савицкий Е. Политика воровства: фальсификации, кражи и плагиат как основополагающие культурные практики от Прометея до наших дней // Новое литературное обозрение. 2017. № 146. С. 307–319.
- 14 Чакрабартти Д. Провинциализируя Европу / Пер. с англ. П. Бавина. М., 2021. С. 61–64; Стивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М., 2022.
- 15 Nederveen Meerkerk E. van. Women, Work and Colonialism in the Netherlands and Java: Comparisons, Contrasts and Connections, 1830–1940. Cham, 2019; Stoler A.L. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley, 2002. Из российских исследований колониальных аспектов использования прислуги см.: Семенов А.М., Семенова О.А. Китайская прислуга на территории «русского» Харбина в начале XX в. // Вопросы истории. 2021. № 10–2. С. 156–163; Ванина Е.Ю. Чужеземная прислуга в индийском княжестве Бхопал (XIX — начало XX в.) // Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 3 (13). С. 151–163. О межнациональных и межрелигиозных аспектах найма прислуги в России см. также: Семенов А.М., Семенова О.А. Наем прислуги евреями в Российской империи в конце XIX — начале XX в. // Клио. 2019. № 10 (154). С. 45–50.

предполагает Клоц, русские домработницы из крестьянок выполняли работу, которой сторонились городские еврейские женщины<sup>16</sup>. Русские составляли более двух третей домработниц и в Баку; автор объясняет это тем, что в мусульманских семьях не было принято отпускать девушек работать на стороне, они выполняли различные домашние обязанности для своей семьи, которая, таким образом, не нуждалась в найме прислуги<sup>17</sup>. В основном же в книге рассматриваются судьбы и изменения социального статуса домработниц европейской части СССР в контексте дискуссий о природе советского строя.

Как отмечает Клоц, еще Л.Д. Троцкий выдвинул тезис об «обуржуазивании» советских элит при Сталине, признаком которого было, в частности, распространенное использование прислуги. Этот тезис сохранялся и в послевоенной западной историографии — в рамках теорий о «великом отступлении» и «большой сделке» 1930-х гг. Указывалось, что Сталин обеспечил себе лояльность элит уступками — допустив пользование благами буржуазного быта и отказавшись от характерных для первых послереволюционных лет радикальных идей по преобразованию повседневной жизни<sup>18</sup>. Клоц считает, что эта трактовка ошибочна, так же как и попытки доказать, что большевики, обзаведясь комфортным жильем и прислугой, предали свои социальные идеалы уже сразу после революции<sup>19</sup>. Сохранение прислуги не свидетельствует о сохранении старого быта, поскольку роль домработниц в это время подвергается переосмыслению, а их статус меняется. В частности, в СССР раньше, чем в других странах, разрабатывается законодательство по охране труда домработниц, пусть и не лишённое проблемных сторон. Советский строй проделал путь от отрицания ценности домашнего труда к ее признанию. Важную роль в этом сыграли профсоюзы, которые хотя и были подконтрольны партии, но все же много сделали для признания домработниц не слугами, а рабочими, вносящими весомый вклад в дело построения социализма<sup>20</sup>. Даже после трансформаций 1930-х гг. профсоюзы организовывали для домработниц образовательные курсы и действительно следили за соблюдением их трудовых прав.

В то же время противоречия в восприятии труда домработниц так и не были преодолены — последние оставались для многих атрибутом старорежимного быта, и женская работа по дому стояла внизу иерархии видов занятости. В этом плане Клоц продолжает начатое еще В. Голдман исследование парадоксальности гендер-

- 
- 16 Более сложная картина трансформации гендерных ролей, в том числе восприятия домашней работы, среди евреев Минска в межвоенный период дана в кн.: *Бемпфорд Э.* Превращение в советских евреев: большевистский эксперимент в Минске / Пер. с англ. А.В. Глебовской. М., 2016. С. 190—228.
- 17 Это согласуется с наблюдениями Э. Эдгар: даже в позднесоветское время русским девушкам, вышедшим замуж за мусульманина из Средней Азии (таджика, казаха), обычно приходилось привыкать к роли служанки в большой семье родителей мужа; нередко это становилось причиной разводов. См.: *Edgar A.* Intermarriage and the Friendship of Peoples: Ethnic Mixing in Soviet Central Asia. Ithaca; L., 2022. P. 67—89.
- 18 Клоц ссылается на кн.: *Timasheff N.S.* The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. N.Y., 1946; *Dunham V.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Durham, 1990; *Фицпатрик Ш.* Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е гг.: город / Пер. с англ. Л.Ю. Пангина. 2-е изд. М., 2008.
- 19 *Измозик В., Лебина Н.* Жилищный вопрос в быту ленинградской партийно-советской номенклатуры // Вопросы истории. 2001. № 4. С. 109.
- 20 Оценивая роль профсоюзов, Клоц возражает Д. Фильцеру, считавшему, что возможность вступить за отдельного рабочего — это максимум возможностей профсоюзов в сталинские годы: *Фильцер Д.* Советские рабочие и поздний сталинизм: рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны / Пер. с англ. А.Л. Раскина. М., 2011.

ной политики большевиков. Голдман отмечала, что в 1920—1930-е гг. для женщин оказались открыты многие новые, ранее недоступные формы занятости, особенно в промышленности. Даже в условиях возвращения мужчин на заводы после окончания Гражданской войны число женщин-рабочих с 1923 по 1930 г. более чем удвоилось. Но в то же время происходило укрепление гендерных стереотипов, и прославление особых качеств женщины-работницы этому только способствовало. При всей значительности роста численности женщин-рабочих их доля в общей численности рабочих за тот же период снизилась<sup>21</sup>. По словам Клоц, отмеченные Голдман противоречия подтверждаются тем, что работа по дому трактовалась как прежде всего женская. Домработницы воспринимались как особенно отсталая и уязвимая группа людей, что и делало необходимой особую заботу о ней со стороны профсоюзов. Стремление превратить «бабу в товарища», освободить «кухарок» — вплоть до того, чтобы, по известному выражению Ленина, доверить им управление государством, — сталкивалось с признанием их ограниченности и стремлением спасти их от этой работы, направив на заводы, в колхозы, на советскую и профсоюзную работу. Эти противоречия повлияли на жизнь сотен тысяч женщин в СССР; согласно переписям, число домработниц оставалось в течение рассматриваемого периода примерно одинаковым — около полумиллиона (с. 17).

Если в случае западных стран бывает трудно найти источники, позволяющие услышать голоса домработниц, то в случае СССР таких свидетельств немало. В профсоюзных архивах сохранились письма домработниц из разных частей страны; их обращения публиковались в журналах, где устраивались также обсуждения разных острых вопросов. И хотя некоторые письма домработниц в журналы, как установила Клоц, фальсифицировались (о чем свидетельствуют квитанции о гоноражах, полученных мужчинами), многие другие были подлинными. Домработницы постепенно учились, по выражению С. Коткина, «говорить по-большевистски»<sup>22</sup>, и это означало не только их подавление, но и способность манипулировать властью в своих интересах, находить для себя разные возможности в рамках существующего строя. Фигура домработницы в эти годы подвергалась осмыслению не только в прессе, но также средствами литературы и кино. Клоц использует, кроме того, воспоминания и интервью нанимателей домработниц.

Хронологически в исследуемой автором истории домработниц можно выделить несколько этапов. Во-первых, это время радикальных экспериментов периода военного коммунизма, когда численность прислуги резко сокращается: богатые беднеют, и в условиях нехватки продуктов в городах многие крестьяне возвращаются в деревни. Те же, кто остался, подлежали трудовой мобилизации. После роспуска в 1918 г. независимого профсоюза домовых служащих его члены переводятся в Союз работников народного питания (Нарпит), к которому они будут принадлежать до 1930 г. Клоц обращает внимание, что домашняя прислуга классифицируется именно как работницы, а не рабочие. В это время предполагалось, что частную прислугу скоро заменят предприятия общественного обслуживания. Однако в условиях разрухи после Гражданской войны государство было не способно обеспечить необходимую для этого инфраструктуру. Оно было вынуждено идти на

21 Голдман В.З. Женщины у проходной: гендерные отношения в советской индустрии (1917—1937 гг.) / Пер. с англ. В.Ю. Любовской. М., 2010. С. 20—21.

22 Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995 (частичный рус. пер.: Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн.: «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация») / Пер. с англ. Э. Филипповой и О. Леонтьевой // Американская русистика: веги историографии последних лет, советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2001. С. 250—328).

уступки, признав временную необходимость сохранения частного найма слуг. Вынужденный характер уступок в этот и более поздний период опровергает, по мысли Клоц, тезис об «обуржуазивании» советской элиты.

С началом НЭПа количество прислуги начинает быстро расти. Только с 1923 по 1926 г. количество домработниц в Москве увеличилось втрое. На V съезде Нарпита (1923) некий коммунист Игнатъев предложил заменить слово «работники» в названии профсоюза на «рабочие», и в 1926 г. Нарпит действительно добился отнесения своих членов к рабочим, а не к служащим. В это же время вместо гендерно нейтрального слова «прислуга» начинает использоваться более гендерно однозначное «домработница», что подтверждает наблюдения Голдман. Профсоюзный журнал «Рабочий народного питания» выступает с критикой как эксплуатации домработниц нэпманами, так и отсталости некоторых домработниц.

Тема обсуждается и в художественной литературе. Например, в рассказе Е.Д. Зозули «Прислуга» (1923) повествуется о молодом человеке по фамилии Горлов, который нанимает домработницей девушку Таню (в случае с неженатыми рабочими наличие работницы для ведения домашнего хозяйства признавалось нормальным). Горлов относится к Тане в соответствии со своими прогрессивными убеждениями: ест с ней за одним столом, позволяет посещать вечерние курсы. Но вскоре выясняется, что Таня ходит просто провести время с подругами. Более того, она хочет уйти от него, поскольку у него мало денег и он ничего не дарит ей на Рождество. Да и не из бедной она семьи, как оказалось. Горлов увольняет Таню, сожалея, что отступился от идеала простоты в быту. Таким образом, для Зозули революционные идеалы и прислуга едва ли совместимы, а кулацкие дочки не поддаются перевоспитанию. А у М.М. Зоценко в «Воспитательнице» (1929) слишком занятая на работе семейная пара нанимает воспитательницу для своего маленького ребенка и очень довольна: та днями напролет гуляет с их чадом. Но однажды председатель домкома обнаруживает, что воспитательница использует ребенка для сбора милостыни. Ее, конечно, увольняют, но, как отмечает Клоц, в рассказе больше осуждается мать ребенка, решившая нанять прислугу, а не бедная воспитательница, кое-как добывавшая дополнительный приработок. И не только в литературе, но и в реальных спорных ситуациях симпатии властей оказывались обычно на стороне домработниц. КЗоТ 1922 г. распространил на них защиту трудовых прав, Нарпит получил полномочия выступать посредником в разрешении споров между нанимателями и домработницами, и чаще всего решения принимались в пользу последних. Впрочем, закон 1926 г. «Об условиях труда домашних работников» ограничил власть Нарпита, но и он в целом создавал впечатление, что у домработниц есть права и что за них можно бороться.

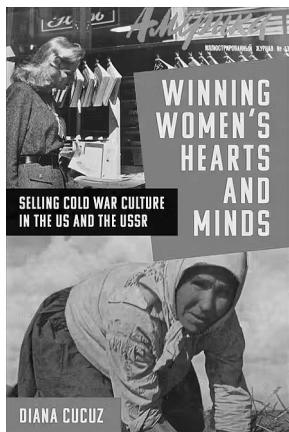
Ситуация вновь меняется с началом первой пятилетки, когда растет потребность в рабочих руках на производстве. Работающие без плана, лишённые заинтересованности в перевыполнении плана по стирке или готовке еды для хозяев, домработницы выглядели безучастными к соревнованию по социалистическому строительству. Начинается кампания по привлечению их в промышленность. Однако, чем больше женщин уходило на производство, тем острее становились проблемы в домашней сфере. Ушедших постепенно заменяют новые мигрантки из деревень, среди которых было много раскулаченных. Статус домработницы позволял обойти ограничения, связанные с введением в 1932 г. внутренних паспортов. В домработницы было проще устроиться и несовершеннолетним. Домашняя работа оказывалась важным окном социальной мобильности<sup>23</sup>.

23 См. подробнее: Клоц А. «Светлый путь»: институт домашних работниц как миграционный канал и механизм социальной мобильности эпохи сталинизма // Новое литературное обозрение. 2012. № 117. С. 40–52.

Чтобы оправдать существование домработниц, государство с середины 1930-х гг. трактует их как тех, кто помогает передовикам производства сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях. Таким образом, домработницы тоже оказываются служащими государству и причастными к движению ударников. Этот новый поворот к признанию ценности домашнего труда, однако, не отменял приоритетности работы в промышленности. Показателен в этом плане фильм «Светлый путь» (1940, реж. Г. Александров), в котором главная героиня из неуклюжей и грязной деревенской няни превращается сначала в рабочего-ударника, а затем и в стильно одетого инженера, и получает из рук самого М.И. Калинина орден Ленина<sup>24</sup>.

В послевоенное время, когда в странах Западной Европы происходит быстрое сокращение численности прислуги и к тому же появляется все больше технических новшеств, облегчающих хозяйке домашний труд, в СССР, наоборот, количество домработниц быстро растет. Связано это было, по словам Клоц, как с возвращением из эвакуации обеспеченных семей, так и с голодом 1946—1947 гг., продолжающимся бегством из колхозов, а также поиском хоть какой-то крыши над головой. С ростом числа домработниц снова встали вопросы об организации государственного контроля над ними.

Настороженное отношение к домработницам сохранялось, и оно вновь возобладало после смерти Сталина, когда Хрущев взялся бороться с привилегиями, провозгласив ценность равенства в социалистическом обществе, необходимость обеспечить возможность благополучного существования для всех. В дискуссиях этого времени осуждается как использование домработниц, так и злоупотребление служебными машинами и трудом шоферов. Такого рода дискуссии подорвали утверждавшееся с 1930-х гг. представление, что домработницы тоже участвуют в строительстве социализма, выполняют государственно важную работу, а не просто обслуживают частные потребности. Тем не менее, поскольку и при Хрущеве обеспечить общедоступные коммунальные услуги не удалось, домработницы и дальше оставались необходимым элементом советской жизни. Исследование Клоц показывает, как раз за разом пренебрежение к труду домработниц приводило к проблемам в коммунальной сфере, что распатывало постепенно и идеологическую надстройку СССР.



Как своеобразное дополнение к рассмотренной книге может быть прочитана недавняя монография профессора Университета Торонто Дайаны Кукас «В борьбе за женские сердца и умы: как продавалась культура холодной войны в США и СССР», в которой прослеживается, как сфера домашней работы в эпоху Хрущева становится еще и ключевым полем внешнеполитического противостояния. Исследуя гендерные образы в русскоязычном журнале «Америка», издававшемся Информационным агентством США (ЮСИА) и распространявшемся в СССР с 1945 по 1952 и с 1956 по 1994 г., Кукас стремится показать, как информационная конкуренция способствовала проблематизации различных аспектов повседневности в обеих странах. Хронологически исследование ограничено 1945—1971 гг.

24 См. подробнее: Клоц А. Образ домашней работницы в советском кинематографе // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. Т. 3. № 1 (<https://history.jes.su/s207987840000282-9-2/>).

Автор отмечает, что в 1950-е гг. советским читательницам предлагался исключительно консервативный образ американской женщины как матери и домохозяйки. Тем самым США пытались показать жительницам СССР, что в свободном мире у женщин нет необходимости работать, но есть возможность целиком посвящать себя как бы естественным женским занятиям: домашним заботам, уходу за собой, шопингу и т.д. Поход за покупками изображался как приятное и расслабляющее занятие, в отличие от изнурительной беготни по магазинам в поисках продуктов, которой занимались женщины в СССР. Отказавшись от прямолинейной пропаганды, которой, как считалось, советские граждане и так пресыщены, «Америка» стремилась подрывать социалистические ценности через демонстрацию прелестей культуры потребления. Поэтому в журнале гораздо больше места, чем рассказам об американских политических институтах, научных открытиях и искусстве, уделялось современной кухонной технике, устройству домашних интерьеров, последней моде и т.п. В выборе средств воздействия на советскую аудиторию журнал руководствовался образами советской повседневности, сложившимися еще в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Отчасти это были академические исследования вроде Гарвардского проекта<sup>25</sup>, демонстрировавшие, что, будь у советских людей выбор, они бы не выбрали социализм (что опровергается более поздними исследованиями «советской субъективности», отмечавшими широкую самоидентификацию с социалистическим строем и готовность к жертвам ради него<sup>26</sup>). В американской иллюстрированной прессе того времени жительницы СССР представляли бесформенными, мужеподобными, плохо одетыми, неухоженными, лишенными нормального жилья, занятыми тяжелой работой, за выполнение которой они при пустых магазинах не получают адекватного вознаграждения. Если в первые послевоенные годы подобные репортажи имели скорее сочувственный характер, акцентируя внимание на разрушениях и необходимости заменить погибших на фронте мужчин, то к концу 1940-х гг. бедственное положение жителей СССР начинает трактоваться только как результат экономически неэффективного коммунистического правления.

Впрочем, стереотипизации подвергался и образ американской женщины. В «Америке» публиковались переводы статей из американских журналов, адресованных прежде всего представительницам белого среднего класса («Лайф», «Вог», «Мадмуазель», «Гламур», «Севентин» и др.), и, соответственно, именно жизнь этих американок изображалась как типичная, хотя во время войны многие американские женщины пошли работать на заводы, и даже несмотря на последующее их вытеснение из сферы промышленного труда количество работающих на заводах американок оставалось значительным. В 1950-е гг. в журнале лишь изредка появлялись очерки из жизни «негров».

Таким образом, реалии американской жизни представляли в «Америке» искаженными. Демонстрируя яркие (в отличие от блеклых советских) наряды американских студенток и их умение хорошо обставить комнаты в общежитии (что намекало на их способность в будущем еще лучше обустроить дом для мужа), журнал умалчивал о том, что высшее образование в 1950-е гг. получали лишь 5—6% девушек — в разы меньше, чем в СССР. Супермаркеты с их полными товаров полками были в те годы новшеством для самих США — прежде действовала старая модель семейных специализированных лавок. И тем не менее они представлялись в «Америке» как обычное явление, а их создатели — не как жадные капиталисты, а как

25 Гарвардский проект: рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне / Сост., общ. ред. и вступ. статья О.В. Будницкого, Л.Г. Новиковой. М., 2018.

26 См., например: Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи / Пер. с англ. С. Чачко. 3-е изд. М., 2023.

заботящиеся об удобстве людей и их потребностях предприниматели. По замечанию Кукаса, удобство загородных шопинг-моллов было едва ли понятно в СССР, где практически полностью отсутствовала субурбанизация и было мало легковых машин в личном пользовании.

Публикации в «Америке» и в других случаях не стремились учитывать жизненные реалии СССР. Очень стройные модели, рекламирующие легкие летние платья на фоне калифорнийских пейзажей, не соответствовали советским телесным стандартам и климатическим условиям большей части СССР, а покрой этих платьев был весьма непрактичным для повседневного ношения. Вообще быстро меняющаяся мода, указывает автор, рассматривалась тогда в СССР как негативное явление, поскольку противоречила задачам долговременного планирования производства. Также и специальные платья для беременных, которые носились только несколько месяцев, были непозволительной роскошью для советских женщин, обычно носивших одежду много лет до полного износа. Впрочем, в «Америке» 1950-х гг. женщины обычно изображались или до замужества, или уже после рождения ребенка, образ беременной женщины был редким, и если он появлялся, то беременные были удивительно стройны, их платья хорошо все скрывали. На страницах журнала «СССР» в эти же годы, напротив, изображались женщины, которые смогли реализоваться в самых разных профессиональных сферах, вплоть до того, что становились капитанами морских судов.

Различные трактовки образа женщины нашли воплощение в знаменитых «Кухонных дебатах» Н.С. Хрущева и вице-президента Р. Никсона на образцовой кухне во время Американской национальной выставки в Москве в 1959 г. Если Никсон говорил о стремлении американских производителей облегчить женский домашний труд, то Хрущев высмеивал демонстрируемые технические новшества вроде автоматической соковыжималки для лимона, который, по его словам, проще выжать рукой, и указывал на стремление американских капиталистов замкнуть женщину в домашнем пространстве, не предлагая ей иных возможностей для самореализации.

Характер публикаций в «Америке» меняется в 1960-е гг., когда республиканца Д. Эйзенхауэра в Белом доме сменил демократ Д.Ф. Кеннеди. Так, в журнале начинают появляться упоминания о Движении за гражданские права, хотя радикальные его формы осуждаются, а акцент делается на успехах в достижении равноправия. Такой поворот в информационной политике был связан с деколонизацией большинства африканских стран на рубеже 1950—1960-х гг. и стремлением не допустить перехода их в советскую сферу влияния. Сохранение расовой сегрегации вредило образу США на Африканском континенте. В эти же годы становятся более разнообразными и репрезентации женщин, хотя в журнале ни разу не упоминаются «феминизм», «женское движение» или близкие по смыслу слова. Если рассказывается о женщине, избранной в Конгресс, то подчеркивается, что она хорошо совмещает эту работу с домашними обязанностями; если говорится об успешной карьере женщины в бизнесе, то это карьера в сфере индустрии красоты, призванной делать американок еще более привлекательными, и т.п. В 1961 г. выходит третья за все время существования журнала статья о женщине-афроамериканке; четвертая статья появится только в 1968 г. Вместе с тем журнал больше внимания уделяет молодежной моде на джинсы и короткие юбки. Апогеем разворота к новой тематике стал изданный уже при президенте Никсоне (в марте 1971 г.) тематический номер о роли женщин в современном американском обществе. Это был запоздалый ответ на аналогичный тематический номер журнала «СССР», вышедший в 1962 г.<sup>27</sup>

27 См. также: *Булнина Е.С.* Медиаобраз женщины в журнале «Америка» (1959—1994) // Современная медиасреда: Сб. статей / Отв. ред. А.А. Мальшев. СПб., 2023. С. 171—178.

Как отмечает Кукас, советские власти относились настороженно к распространению на своей территории американского журнала, который хотя и не касался вопросов актуальной политики напрямую, но все же выполнял пропагандистские функции. Когда журнал создавался в 1944—1945 гг., его целью было познакомить советских читателей с США, о которых те мало что знали. Поначалу он пользовался большим успехом, однако затем его продажи начали падать. Кукас связывает это с тем, что поступление журнала в продажу искусственно задерживалось советскими властями. Он продавался только в нескольких точках в центре Москвы, где легко было проконтролировать, кто его покупает. На прилавках журнал закрывали другими изданиями. В конце концов, в 1952 г. США приняли решение прекратить издание «Америки», что соответствовало курсу на международную изоляцию СССР.

Возобновление журнала стало следствием стремления администрации Эйзенхауэра перехватить инициативу после провозглашения Г.М. Маленковым 16 марта 1953 г. поворота к мирному разрешению спорных вопросов между Востоком и Западом. США хотели продемонстрировать еще большее стремление к открытости, чем СССР. Кроме того, по словам Кукаса, Эйзенхауэр скептически оценивал результаты Труменовского курса на изоляцию СССР и оказание на него военно-политического давления. Более эффективными с учетом опыта Второй мировой войны ему представлялись инструменты пропаганды (которую начинают именовать информационной политикой, избегая также понятия «психологическая война») и культурной дипломатии. Это и делает возможным соглашение 1955 г., согласно которому в обмен на распространение в США журнала «СССР» Советский Союз разрешил распространение на своей территории возобновленной «Америки». Журнал снова продавался лишь в небольшом ряде легко контролируемых точек, тираж был ограничен 50 тысячами экземпляров, но на деле читателей было гораздо больше, поскольку номера передавались из рук в руки; по оценке посольства, каждый экземпляр прочитывало в среднем двадцать человек, а значит, в целом читательская аудитория достигала миллиона. Отпечатанные на хорошей бумаге с качественными черно-белыми и цветными иллюстрациями журналы по прочтении не выбрасывались, а хранились и, следовательно, имели еще и отложенное воздействие. Содержание журналов намеренно формировалось таким образом, чтобы оно выглядело вневременным, неустаревающим. Здесь к наблюдениям Кукаса можно добавить, что в 1950—1960-е гг. в номерах журнала нигде не указывался год издания, и догадаться о нем, как правило, затруднительно даже по текстам статей.

Помимо радиостанции «Голос Америки», передачи которой глушились, «Америка» была единственным способом доносить до советских граждан американскую информационную повестку, и с этой ролью журнал, по мнению Кукаса, справился, поскольку заставил руководство СССР вступить в конкуренцию с США в вопросах качества потребления. Создание универсамов по американскому образцу, салонов красоты, а также ателье, куда советские женщины могли прийти с вырезками из «Америки», чтобы заказать себе модное платье, привело в конечном счете к изменению ценностей советского общества и к кризису режима, не способного обеспечить желаемый уровень потребления. В то же время конкуренция с советской пропагандой, распространявшейся в том числе в бывших колониальных странах, заставляла США менять подходы к репрезентации собственной страны, обращать больше внимания на права афроамериканцев, женщин, простых рабочих, а также согласовывать внутреннюю политику с этими новыми способами саморепрезентации. В результате, заключает автор, начатый при Эйзенхауэре поворот к культурной дипломатии оказался более эффективным в плане разрушения советской системы, нежели более ранняя политика изоляции и военного давления; с другой



стороны, эта политика потребовала обновления многих сторон жизни в самих США. Книга Кукас, таким образом, продолжает ряд недавних исследований по культурной дипломатии периода холодной войны в связи с более широкими социальными процессами и трансформациями, что позволяет выйти за рамки трактовки журнала «Америка» только как инструмента пропаганды.

В обеих рассмотренных книгах авторам удается связать гендерную историю, историю частной жизни, историю маргинальных социальных групп и «большую» историю экономических и политических процессов, показав их взаимозависимость. Эпическая борьба за построение социализма спотыкается о, казалось бы, комически жалкий остаток сферы частной занятости в виде «отсталой» домработницы, который, однако, все больше подрывает как сложившийся социальный порядок, так и его идеологические основания. Многие вопросы об отношениях нанимателей и прислуги, о допустимых формах неравенства, о мигрантах в сфере работы по дому заново задаются в современной России<sup>28</sup>, что, впрочем, сопровождается ограничением исследований в области гендерной и смежной с нею проблематики. Если верить авторам рассмотренных книг, «кухарки» способны отомстить за недостаточно вдумчивое отношение к ним.

---

28 См., в частности: *Здравомыслова Е., Ткач О.* Культурные модели классового неравенства в сфере наемного домашнего труда в России // *Laboratorium: Журнал социальных исследований.* 2016. № 3. С. 68—99; *Карачурина Л.Б.* Женщины-мигранты в нише домашнего труда в России // *Социологические исследования.* 2015. № 5 (373). С. 93—101; *Толстокорова А.В.* Украинские «золотые рыбки»: стратегии сопротивления неравенству и доминированию во взаимоотношениях мигранток-домработниц и их работодателей // *Интеракция. Интервью. Интерпретация.* 2016. Т. 8. № 11. С. 44—60.

## О культуре работы с данными в филологии, или роль репозитория открытых данных

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_358

Утверждение, что сегодня все филологи так или иначе работают с данными в цифровом формате, будет, пожалуй, сильно запоздалой констатацией. Однако если работа с источниками во всех филологических дисциплинах является важнейшей точкой приложения профессиональных стандартов и методологической рефлексии, то в отношении цифровых данных очень распространен сугубо инструментальный подход. Стоит сделать шаг от работы с цифровыми копиями бумажных документов к организации собственных цифровых данных — разного рода таблиц, текстовых коллекций и баз данных, как о профессиональных стандартах забывают. Исследователь остается наедине с известным ему набором цифровых инструментов, что нередко ведет к повторению распространенных ошибок и тиражированию неудачных решений.

Обсуждение форматов представления данных в цифровой форме, принципов их публикации, способов долгосрочного сохранения, инструментов и правил обращения с ними в гуманитарных областях остается уделом относительно узких профессиональных групп — специалистов, работающих в области цифровой гуманитаристики (digital humanities) или занятых количественными исследованиями. В этих областях сложился консенсус относительно того, что цифровые способы представления структурированных научных данных не являются методологически нейтральными, поскольку решения, принятые при оцифровке материалов, уже представляют собой реконструкцию историко-культурных процессов. Затем эти решения и в целом структура оцифрованных данных ложатся в основу научной аргументации<sup>1</sup>. Поэтому необходима дальнейшая профессионализация работы со структурированными цифровыми данными в филологических исследованиях. Для этого нужны как более широкая методологическая дискуссия для достижения консенсуса в разных дисциплинарных кругах, так и институционализация лучших практик и построение научной инфраструктуры.

Данная статья посвящена обсуждению опыта работы над одним инфраструктурным проектом, направленным на решение этой задачи. В 2020 г. на базе Лаборатории цифровых исследований литературы и фольклора в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) РАН мы создали Репозиторий открытых данных по русской литературе и фольклору (<https://dataverse.pushdom.ru>). Репозиторий — это веб-ресурс для хранения и публикации научных данных, которые авторы предоставляют в свободный доступ другим исследователям. Инфраструктурная роль репозитория в том, чтобы повысить видимость и доступность данных, поддерживать культуру цитирования данных и в конечном итоге способствовать расширению количественных исследований в литературоведении и фольклористике. Одновременно с этим репозиторий может выступать как инструмент влияния на научную практику работы с данными. Редакция репозитория не просто пассивно ожидает

---

1 См.: *Володин А.Ю.* Данные в цифровых гуманитарных исследованиях // *Цифровые гуманитарные исследования*. Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 2023. С. 21—38.

материалов от авторов, но работает над тем, чтобы способствовать публикации данных и делать это в соответствии с международными стандартами публикации открытых данных и нашим представлением о научной ответственности.

Задача статьи — с одной стороны, представить концепцию репозитория широкой научной общественности, а с другой — критически обсудить опыт работы редакции репозитория.

## Миссия и задачи репозитория

Идея создания тематического репозитория научных данных для российской филологии обязана своим появлением концепции открытой науки. Это научно-реформаторское движение манифестирует ценностную парадигму, в которой открытость, доказательность и воспроизводимость заявлены как неотъемлемые идеалы научной работы<sup>2</sup>. Можно сказать, что открытая наука — это утопический проект, в том смысле, что он предлагает идеализированные образы социальной практики для научного сообщества. Репозитории открытых данных — один из таких утопических образов. Слово «утопический» может ассоциироваться с чем-то не существующим в действительности, однако в нашем случае речь идет об уже действующем научно-инфраструктурном проекте. Его утопичность — в тех целях, которые мы перед собой ставим. В целеполагании репозитория можно выделить два плана: ближний (операциональные задачи) и дальний (более широкая миссия).

Ближайшая задача — способствовать тому, чтобы в российском академическом сообществе в целом и, в частности, в его административном сегменте, публикация данных признавалась как полноценная научная публикация. Это важно для развития эмпирической базы цифровых и количественных исследований, поскольку на подготовку данных уходят огромные исследовательские ресурсы, а получить за это какое-то признание или минимальное соответствие критериям административной отчетности очень трудно. Необходима более четкая мотивация для исследователей, подталкивающая их инвестировать усилия в подготовку и публикацию данных. Институционализация публикации данных — один из очевидных путей. Для международного научного сообщества этот тезис уже стал общим местом. Шаги, предпринятые в этом направлении научным сообществом, включают разработку принципов цитирования данных<sup>3</sup>, инфраструктуры для публикации и атрибуции данных (репозитории, систем присвоения постоянных идентификаторов, таких как DOI), постепенное распространение требований к публикации данных одновременно с публикацией исследования<sup>4</sup> и параллельное распространение практики цитирования данных в собственных исследованиях. Наш репозиторий создан в том числе для приобщения к этим практикам российского филологического сообщества.

Долгосрочная цель в плане публикации данных — это мир, в котором публикация научных данных является нормой, а не исключением. На сегодняшний день

- 
- 2 См.: *Fecher B., Friesike S.* Open science: One term, five schools of thought // *Opening science: The evolving guide on how the internet is changing research, collaboration and scholarly publishing* / Ed. by S. Bartling, S. Friesike. Cham: Springer International Publishing, 2014. P. 17–47. (Электронное издание.)
  - 3 См.: *Altman M. et al.* An introduction to the joint principles for data citation // *Bulletin of the Association for Information Science and Technology*. 2015. Vol. 41. No. 3. P. 43–45.
  - 4 См.: *Stodden V., Guo P., Ma Z.* Toward reproducible computational research: An empirical analysis of data and code policy adoption by journals // *PLoS one*. 2013. Vol. 8. No. 6. e67111. P. 1–8. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067111>

в мировой науке это пока далеко не так, как показали исследования доступности данных в разных дисциплинах<sup>5</sup>. Нам хотелось бы, чтобы публикация данных воспринималась как вклад в эмпирическую базу науки как коллективного социального предприятия. Для академического сообщества это вполне закономерный подход. Публикация научных результатов уже давно представляет собой нечто само собой разумеющееся, но публикация данных — пока еще нет.

Другой аспект миссии репозитория — сделаться важным инфраструктурным узлом для отечественной филологии. Публичный веб-ресурс, на котором систематически помещаются качественные открытые данные по русской литературе и фольклору, имеет потенциал к тому, чтобы стать точкой входа для поиска эмпирического материала в российских литературоведении и фольклористике. Понятно, что нельзя собрать на одном централизованном ресурсе все существующие цифровые данные в нашей дисциплине. Но собрать многие важные данные как минимум о русской литературе мы, как кажется, могли бы. Этот аспект миссии репозитория прекрасно согласуется с более широкой миссией Института русской литературы, с которым аффилирован репозиторий. Институт создан и развивается как организация, которая отвечает за сохранение и популяризацию русского литературного наследия. Многие работы сотрудников института связаны со сбором, систематизацией и публикацией литературных данных. Со временем менялись только формы представления. В доцифровую эпоху доминировали книжные публикации (такие как академические собрания сочинений) и бумажные картотеки (самый известный пример — картотека Б.Л. Модзалевского). С наступлением компьютерной эры в дополнение к ним появились такие цифровые формы, как библиографические базы данных, доступные локально (библиографическая база данных «Пушкиниана», разработанная отделом пушкиноведения ИРЛИ) или в виде веб-интерфейса (электронный справочник «Источники русской агиографии»<sup>6</sup>). Задача репозитория — вывести практику публикации цифровых данных на современный мировой уровень.

Более амбициозная и долгосрочная цель — способствовать расширению количественных и корпусных исследований в литературоведении и фольклористике. Доступность ресурсов — инфраструктуры и данных — чрезвычайно важное условие для такого рода работы. Методология статистического анализа текстовых и историко-культурных феноменов за последние десятилетия шагнула далеко вперед. Однако, чтобы по-новому изучать историю литературы и эволюцию литературных форм, нужны по-новому представленные данные. В качестве аналогии можно вспомнить о том, как изменилась русистика с появлением Национального корпуса русского языка. Мы бы хотели, чтобы подобные трансформации произошли и в литературоведении, и репозиторий — шаг в этом направлении.

Наконец, самая долгосрочная составляющая миссии репозитория — архивация данных. Данные в интернете, электронные публикации в какой бы то ни было форме в большинстве своем исключительно эфемерны и исчезают за считанные годы<sup>7</sup>.

5 См., например: *Culina A. et al. Low availability of code in ecology: A call for urgent action // PLoS Biology. 2020. Vol. 18. No. 7. P. e3000763.*

6 <http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1937>

7 См.: *Goh D.H.-L., Ng P.K. Link decay in leading information science journals // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007. Vol. 58. No. 1. P. 15–24; Zeng T., Shema A., Acuna D.E. Dead science: Most resources linked in biomedical articles disappear in eight years // Information in contemporary society: 14<sup>th</sup> international conference, iConference 2019, Washington, DC, USA, March 31 April 3, 2019, Proceedings 14. Springer, 2019. P. 170–176.*

Редкие ресурсы способны пережить одно-два десятилетия. В то же время сохранность данных — это ключевой компонент рецепта воспроизводимости результатов в эмпирической науке. Проблема долгосрочной сохранности цифровых научных данных хорошо осознана в мировой науке, в Европейском союзе существует ряд инфраструктурных проектов, ставящих задачи долгосрочной архивации данных<sup>8</sup>. В отечественной науке эти задачи обсуждаются слишком мало, и создатели репозитория хотели бы, чтобы он был образцом и в этом отношении.

## Архитектура репозитория

Репозитории научных данных в мире уже довольно много. Наш репозиторий имеет узкую дисциплинарную направленность — мы ограничили себя только русской литературой (словесностью) и фольклором. В этом отношении он радикально отличается от репозитория общего назначения, таких как Zenodo (<https://zenodo.org/>) или гарвардский Dataverse (<https://dataverse.harvard.edu/>), больших университетских или национальных научных репозиториях. Специализированные репозитории для публикации данных определенной тематики на сегодняшний день более характерны для естественно-научных дисциплин, обрабатывающих большие объемы данных (астрономия, геология и т.п.), чем для дисциплин гуманитарных. Пожалуй, наиболее близок к нашему репозиторию по задачам и масштабу репозиторий открытых данных проекта, посвященного американской литературе и культуре после 1945 г., — Post45 Data Collective (<https://data.post45.org/>).

Репозиторий — конкретный веб-ресурс, для реализации которого необходима техническая платформа. Для этой цели был выбран Dataverse (<https://dataverse.org/>), свободное программное обеспечение с открытым кодом, разработанное для Гарвардского университета. Гарвардский университет предлагает два варианта использования: либо свободно публиковать данные в гарвардском репозитории, либо создавать собственные репозитории для публикации данных на базе других институций. Мы пошли по второму пути. При использовании Dataverse для нашего репозитория в кодую базу проекта потребовалось внести два существенных изменения. Во-первых, перевести интерфейс на русский язык. Во-вторых, поменять схему регистрации DOI для публикуемых данных. В гарвардском репозитории предполагается, что его держатель — крупная институция, обычно богатый американский университет или европейское агентство, регистрируется у провайдера DOI и закупает номера крупными пакетами, например 10 тысяч в год. DOI регистрируется автоматически непосредственно в момент загрузки автором набора данных в репозиторий. Автор же может принимать решение о публикации данных. Мы изменили процедуру таким образом, что регистрация DOI происходит не при создании датасета (набора данных), а при его публикации, что может быть сделано вручную, когда редакция репозитория принимает решение о публикации данных. Это освобождает от необходимости закупать большие пакеты DOI.

Чтобы данные признавались публикацией, их нужно встроить в инфраструктуру цитирования. Удобство платформы Dataverse не только в присвоении DOI каждому набору данных, но и в том, что она размещает пример формата цитирования на центральном месте на странице данных, делая идею цитируемости этого материала весьма наглядной. Модель публикации и цитирования данных на плат-

---

8 См.: Антокольский А.Б., Володин А.Ю. Информационная инфраструктура цифровых гуманитарных исследований // Цифровые гуманитарные исследования. С. 244—263.

форме Dataverse состоит в том, что опубликованные данные зафиксированы и платформа дает гарантию, что их всегда можно будет получить в этой же форме. Это принципиально отличается от распространенной практики цитирования цифровых ресурсов с помощью ссылки на URL. Цифровизация научной работы привела к тому, что интернет-ресурсы часто воспринимаются как формы публикации, а интернет в целом — как универсальный цифровой архив. Но интернет — это не архив, а средство связи. То, что вы получили по определенному адресу URL сегодня, не обязано будет соответствовать тому, что вы получите по этому адресу завтра; более того, завтра вы можете вообще ничего не получить. Гарантия неизменности данных после публикации в репозитории сближает цифровую публикацию данных с традиционной напечатанной книгой. Платформа Dataverse предлагает возможность обновления набора данных, но при условии явного указания номера версии данных и сохранения доступа к предшествующим версиям.

Задача институционализации публикации данных в глазах научного сообщества (и администрации) требует развития доверия к данным. Для этого необходимо, чтобы ученые, никак не аффилированные с конкретным репозиторием и институтом, сформировали мнение относительно достоверности, качества и полезности данных. Условия доверия к формату публикации научных данных не являются новым изобретением. Можно привести в пример академические собрания сочинений, в отношении которых существует высокий уровень доверия к качеству проведенной текстологической работы. Аналогичным образом необходимо развивать институт доверия к цифровым данным, опубликованным в репозитории. Традиционный инструмент повышения доверия к качеству публикации — независимое рецензирование. Вклад репутации тех исследователей, которые берутся выступить рецензентами, поддерживает основания для доверия. В нашем репозитории принята процедура рецензирования данных до публикации, и его можно рассматривать как рецензируемое (peer-reviewed) онлайн-издание для данных. Другим основанием для укрепления доверия в научном сообществе выступает репутация ИРЛИ, высокие стандарты которого в работе с источниками мы стараемся перенести и в цифровую плоскость.

Как и для любого репозитория открытых научных данных, для нашего репозитория ориентиром в отношении стандартов подготовки и публикации данных являются принципы FAIR (findability, accessibility, interoperability, reusability — обнаруживаемость, доступность, совместимость, повторное использование)<sup>9</sup>. Следование этим принципам задает конкретные решения: открытая публикация данных (отсутствие ограничений в доступе), публикация данных под свободными лицензиями (право повторного использования), следование цифровым стандартам, избегание проприетарных форматов файлов. Однако приходится учитывать, что для повторного использования данных нужно выполнение не только технических, но и социальных условий. Важнейшее из последних — понятность данных. Поэтому в репозитории ИРЛИ все публикации сопровождаются развернутой документацией, которая помогает понять, какая именно цифровая модель действительности скрывается в каждом опубликованном наборе букв, чисел и файлов и каким может быть ее научное или общественное значение.

Важно отметить, что ответственность репозитория заканчивается в тот момент, когда пользователь скачивает файлы данных. Это значительно отличается от «цифровой платформы» в привычном понимании, характерном для многих облас-

---

9 См.: *Wilkinson M.D. et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship // Scientific data. 2016. Vol. 3. No. 1. P. 1–9.*

тей цифровой гуманитаристики. Можно сказать, что репозиторий предлагает данные не как готовый продукт в красивой упаковке, а в виде набора «сделай сам».

## Опубликованные данные

Основные тематические разделы репозитория во многом мотивированы типами задач, сформировавшими практики сбора и систематизации данных в филологии еще в доцифровую эпоху. Сейчас в репозитории четыре тематических раздела: корпусы текстов; библиографические данные, которые трактуются максимально широко: любые сведения об издании, упоминании или циркуляции произведений, не включающие текстов самих произведений; биографические данные; данные для воспроизводимых исследований.

За три года существования репозитория опубликовано в общей сложности 29 датасетов. В 18 из опубликованных датасетов (62%) авторами или соавторами выступили сотрудники, аффилированные с Лабораторией цифровых исследований ИРЛИ.

Конечно, до создания централизованного репозитория, который охватывал бы все важные данные литературоведения, еще очень далеко. Но в тематике уже опубликованных данных можно проследить общие проблемы и исследовательские парадигмы, в рамках которых современные филологи считают нужным создавать цифровые данные.

Целая серия публикаций показывает, что для одной из важных тем современной теории литературы — проблемы литературного канона — цифровые данные являются чрезвычайно актуальным инструментом. Распространенный подход — систематически собранные данные об упоминаниях авторов и произведений в определенных типах источников за значительный период времени. Так, можно объединить в цикл три датасета, посвященные фиксации школьного литературного канона в общей сложности более чем за два столетия: литературные произведения, включенные в школьные хрестоматии (*Вдовин А., Лейбов Р., Казакова Е.* Хрестоматии Российской Империи с 1805 по 1912 г.); произведения и авторы в советских школьных программах по литературе (*Кондра М., Казакова Е.* Программы по литературе для средней школы с 1919 по 1991 г.) и в постсоветских образовательных стандартах (*Кокорин А.* Литературные произведения в государственных стандартах и программах для средней школы 1998—2022 гг.). Другой источник сведений о каноническом статусе произведений — включение в антологии, альманахи, сборники, чему посвящен еще один датасет, охватывающий данные за вторую половину XIX века (*Олещук А.* Лучшие образцы русской литературы (1849—1900): антологии избранной поэзии и прозы, литературные сборники и альманахи, сборники для легкого чтения, антологии для народа, антологии для женщин). Чрезвычайно редкие данные о рецепции литературного канона и устном бытовании литературных произведений представлены в датасете «Бытование литературных текстов в ГУЛАГе» (*Луговская Д.А.* и др.).

Когда исследовательская проблема формулируется таким образом, что для ее решения требуется охватить значительное количество произведений, принадлежащих определенному жанру, периоду или источнику, в нашу цифровую эпоху естественным инструментом исследователя становится формирование электронного корпуса текстов. Заметное место среди публикаций этой группы в нашем репозитории занимают коллекции поэтических текстов, посвященных отдельным жанрам: элегии (*Мартыненко А.* Корпус русских элегий 1815—1835 гг.), песни (*Шеля А.* Корпус «русской песни» 1800—1840-х гг.), балладе (*Иванова М.* Корпус русской

литературной баллады 1840 гг.). Источником для формирования корпуса может послужить и канонический автор, например таков датасет «Байрон в русских переводах» (*Бодрова А.* Байрон в русских переводах 1810—1860-х годов). Некоторые корпуса, созданные авторами под конкретную исследовательскую задачу, обладают широким потенциалом для применения и во многих других исследованиях. Примерами могут послужить «Корпус русской нарративной прозы XIX века», включающий 500 произведений как классических, так и малоизвестных авторов (*Собчук О., Лекаревич Е.* Корпус нарративной прозы XIX в.) и корпус публикаций журнала «Современник» (*Вожик Е.* Корпус публикаций журнала «Современник» (1847—1866)).

Значительная часть опубликованных датасетов посвящена детской литературе. Характер данных о детской литературе при этом весьма разнообразный. Самая крупная публикация в этой группе — корпус русской прозы для детей и юношества, охватывающий более 3000 художественных и нехудожественных произведений за 1900—2020 гг. (*Маслинский К., Лекаревич Е., Алейник Л.* Корпус русской прозы для детей и юношества). В силу ограничений, создаваемых авторским правом, этот датасет не содержит текстов произведений, однако в нем представлены полные метаданные и производные частотные данные, позволяющие воспроизвести большую часть вычислений по текстам корпуса, если они основаны на лексической частотности и сочетаемости. Другой тип материалов — библиографический: приведенная в машиночитаемую табличную форму оцифрованная библиография детской книги (1918—1984), основанная на 18 томах указателей И.И. Старцева и его последователей (*Маслинский К.* Библиография детской книги (1918—1984) и библиография детской книги русского зарубежья в Европе (1919—1954)). Литературная и педагогическая критика — третий важный источник данных. В репозитории представлены как сведения об упоминаниях авторов и произведений в критических статьях и рецензиях 1860—1885 гг. (*Лучкина О.* Авторы и произведения для детского чтения в критике 1860—1880-х гг.), так и корпус критических статей о детской литературе русского зарубежья (*Димьяненко А.* Критика детской литературы русского зарубежья в периодических изданиях 1920—1940-х гг.). Наконец, целый ряд публикаций содержит данные и код для воспроизведения результатов количественных исследований по материалам детской литературы. Это исследования об изменении семантических контекстов понятия «счастье» в детской литературе за сто лет (*Маслинский К.* Сто лет счастья в детской литературе (1920—2020): сталинский канон и его долгосрочные последствия); о гендерных различиях в домашнем труде литературных персонажей (*Лекаревич Е.* Домашние дела литературных персонажей); количественное исследование стилистики прозы Виктора Голявкина (*Маслинский К.* Стилистика детской прозы Виктора Голявкина: Синтаксический профиль); о жанровых различиях в упоминании животных в детской литературе (*Maslinsky K.* Replication Data for: How Exactly does Literary Content Depend on Genre? A Case Study of Animals in Children's Literature).

Совершенно другой подход к цифровой репрезентации данных о литературном процессе дает рассмотрение литературы через сеть социальных и литературных связей писателей с другими лицами. В доцифровых форматах этот подход в литературоведении манифестировался в таких источниках, как биографические словари и указатели имен к собраниям сочинений. Оцифровка таких источников позволяет применить к ним современные методы визуализации и сетевого анализа. Самые значительные публикации на эту тему в нашем репозитории посвящены литературе XVIII в. Это реконструированная на основе Словаря русских писателей XVIII в. сеть персоналий (*Орехов Б.* Словарь русских писателей XVIII века: сеть персоналий) и дополняющая ее и согласованная с ней сеть, описывающая русско-европейские



литературные связи того же периода (Бакиров Р., Орехов Б. Русско-европейские литературные связи XVIII века). Несколько иной тип данных, также построенных вокруг персоналий, — сведения о социальных и литературных связях конкретного писателя с другими лицами. Таковы данные о встречах Ходасевича, извлеченные из его «камер-фурьерского журнала» (Орехов Б., Успенский П., Файнберг В. «Камер-фурьерский журнал» В. Ходасевича), и датасет, построенный на основании указателя имен и названий из академического собрания сочинений Чехова (Северина Е.М., Северин Н.Н., Петров К.О. Указатель имен и названий: полное собрание писем А.П. Чехова).

Подавляющее большинство текстовых корпусов, опубликованных в репозитории, представляют собой неразмеченные текстовые материалы, где каждое произведение или издание сопровождается подробными метаданными, но структурные и содержательные элементы внутри текста не маркированы. Однако один датасет представляет собой публикацию корпуса с богатой разметкой: это текст «Войны и мира» с размеченными упоминаниями персонажей, включая принадлежность реплик и семантические роли персонажа в тексте (Скоринкин Д. Персонажи «Войны и мира» Л.Н. Толстого: вхождения в тексте, прямая речь и семантические роли). Такие данные могут быть чрезвычайно полезны для обучения и тестирования систем машинного обучения, ориентированных на автоматическую высокоуровневую разметку литературного текста, таких как BookNLP<sup>10</sup>.

Среди датасетов, отражающих целые типы потенциально существующих и востребованных в нашей дисциплине цифровых данных, можно назвать датасет, позволяющий воспроизвести стилиметрическое исследование об авторстве «Тихого Дона» (Орехов Б. Стилиметрические данные «Тихого Дона» и современной ему прозы).

Наконец, упомянем блок наборов данных, посвященных творчеству А.С. Пушкина. Это прежде всего подготовленный сотрудниками Пушкинского Дома Индекс произведений и писем Пушкина. В этом индексе систематизированы и представлены в машиночитаемом виде все известные сведения о письменном наследии поэта, причем каждому произведению присвоены компактные уникальные идентификаторы (как это принято в работе с наследием крупных авторов прошлого, таких как Аристотель, Бах, Моцарт и др.). Помимо индекса, подготовлен к публикации корпус стихотворений Пушкина, в котором представлены тексты, выверенные по академическим собраниям произведений и подготовленные для машинной обработки (Вожжик Е.И., Казакова Е.О., Лисюков Р.А. Корпус стихотворений А.С. Пушкина).

Некоторые из опубликованных датасетов связаны с более традиционными для цифровой гуманитаристики веб-ресурсами; они содержат те данные, на которых построен и которые представляет пользователю веб-ресурс. Так, датасет Корпус русской прозы для детей и юношества согласован с теми данными, с которыми можно ознакомиться с помощью поискового интерфейса (конкорданса), доступного на сайте: <http://detcorpus.ru>. Аналогичным образом среди веб-ресурсов Пушкинского Дома доступен поисковый интерфейс по нарративной прозе XIX в.<sup>11</sup> — 500 романов, представленных в датасете Корпус нарративной прозы XIX в. Другой пример — веб-приложение, позволяющее в интерактивном режиме рассматривать сеть взаимосвязей русских писателей XVIII в.<sup>12</sup>, отражающее данные соответствующего датасета «Словарь русских писателей XVIII века: сеть персоналий».

10 <https://github.com/booknlp/booknlp>

11 <http://corpora.pushdom.ru/>

12 <https://nevmenandr.github.io/rus-dict18-persons/>

## Редакционная политика и процедура публикации

Основные требования к данным, которые могут быть опубликованы в репозитории, обусловлены их потенциальной полезностью для аудитории репозитория, прежде всего для исследователей. Поскольку мы рассматриваем репозиторий как часть цифровой инфраструктуры для количественных и корпусных исследований, любые публикуемые данные должны быть структурированными и машиночитаемыми. Иными словами, представленные в данных наблюдения, будь то тексты литературных произведений, сведения об изданиях или биографические сведения, должны быть в достаточной степени формализованы и способы их представления гармонизированы (то есть однотипные значения должны быть записаны единообразно), чтобы данные были пригодны для решения исследовательских задач<sup>13</sup>. Машиночитаемость требует также соблюдения стандартов представления данных, обеспечивающих максимальную совместимость. Мы следим, чтобы текстовые данные были представлены в кодировках Unicode, чтобы для табличных, текстовых и сетевых данных использовались стандартные форматы, подходящие для долгосрочной архивации данных и удобные для машинной обработки и обмена между системами (CSV, TXT, JSON).

Второе ключевое условие для того, чтобы данными было возможно воспользоваться, — документация. Каждый публикуемый в репозитории датасет обязательно сопровождается файлом `readme`, задача которого — дать представление о научной репрезентативности данных, с одной стороны, и о том, каким образом ими можно пользоваться, — с другой. Типичный файл `readme` должен включать сведения об источниках данных, методологии и принципах их отбора, формате и структуре входящих в датасет файлов. То есть наряду с машиночитаемостью данные должны выдерживать и достаточный уровень *человекочитаемости*.

Все датасеты до публикации проходят процедуру рецензирования. Важно отметить, что основной задачей рецензирования является корректировка, а не отсев материалов. Это не означает, что в репозитории нет отбора материалов, — он происходит на этапе рассмотрения редакцией заявки на публикацию данных. Если предложенные к публикации материалы соответствуют тематике репозитория и нашим представлениям о полезности и применимости данных, они принимаются к публикации и передаются на рецензирование.

В процессе работы мы поняли, что полноценная гармонизация данных требует формализованного тестирования данных на консистентность. В результате обязательным требованием к публикации стало сопровождение данных формальными тестами. Вот несколько типичных проблем, на отслеживание которых направлено автоматизированное тестирование: проверка на связь файлов с записями в таблице метаданных (каждому файлу соответствует запись и наоборот), проверка на отсутствующие значения в метаданных, проверка на тип значения (в качестве даты указан год, а не диапазон или знак вопроса), проверка на значения из закрытого списка, проверка на соответствие дат указанному диапазону и т.п. Обычно тесты пишутся на языке Python. Независимо от рецензирования и несмотря на большую авторскую и кураторскую работу с данными, благодаря тестированию удалось найти и устранить массу ошибок.

Таким образом, процедура публикации данных включает следующие этапы:

1. Заявка автора и решение редакции о принятии данных к публикации.
2. Оформление черновика датасета (автором при помощи редакции). Черновик доступен для просмотра только авторам, редакции и рецензентам.

---

13 См.: Володин А.Ю. Указ. соч. С. 21—38.

3. Рецензирование датасета, правка данных и сопроводительной документации по замечаниям рецензентов.
4. Корректурa данных, подготовка автоматизированных тестов целостности данных и правка обнаруженных с их помощью ошибок и неточностей (куратор данных с сотрудничеством с автором).
5. Публикация датасета.

Подробно процедура публикации и требования к данным описаны на сайте репозитория<sup>14</sup>.

При публикации обновления датасет уже не проходит процедуру повторного рецензирования, но обязательно проходит корректуру данных.

В отношении условий распространения публикуемых данных мы придерживаемся политики максимальной открытости. По умолчанию данным присваивается наиболее открытый тип лицензии (Creative commons — attribution, CC BY 4.0). Эта лицензия обязывает пользователей корректно ссылаться на данные, но не ограничивает их в праве пользоваться данными по своему усмотрению.

## Опыт и рефлексия

### *Когда и как набор файлов превращается в датасет?*

Такой вопрос возникает всякий раз при рассмотрении заявки на публикацию данных в репозитории. Ответ на этот вопрос требует анализа самой концепции датасета как отдельного продукта, имеющего потенциал к публикации. У нас нет простого формализованного ответа, и вряд ли он возможен. Мы руководствуемся эвристическими критериями: либо данные уже были использованы для исследования, либо коллеги (рецензенты и редакторы репозитория) видят в них потенциал для дальнейшего использования в исследовательской работе.

Однако в любом случае публикация датасета не сводится к выкладыванию набора файлов, даже если речь идет о данных к уже завершеному и опубликованному исследованию. Работа с данными — это большое поле культурных практик, которые не были в фокусе внимания исследователей в области гуманитарных наук на протяжении предшествующих десятилетий. Преобразования, которым подвергается датасет на пути от подачи заявки до публикации, во многом ориентированы на опыт, наработанный в компьютерной инженерии и точных науках. Исследователям, работающим с цифровыми материалами, нередко не хватает навыков в сфере организации данных: где файлы должны храниться и по какой системе их именовать? в каком случае сделать один файл, а в каком разбить его на множество мелких? какой формат организации данных следует использовать: базу данных, таблицу, текстовый файл? как интегрировать новые данные, если работа продолжается? почему нельзя просто сделать таблицу в Word? От принятых по ним решений зачастую зависят дальнейший жизненный цикл данных, возможность и удобство их использования и пополнения.

Обязательной частью подготовки публикации, превращающей набор файлов в датасет, является подготовка сопроводительной документации к данным — файла `readme`. Показательно, что мы еще ни разу не сталкивались с тем, чтобы автор данных создавал подобный файл документации для себя, безотносительно к задаче

---

14 <https://dataverse.pushdom.ru/site/for-authors.html>

публикации датасета. От краткой пояснительной записки, сопровождавшей первые публикации, мы постепенно перешли к достаточно развернутому документу, отчасти напоминающему по жанру data paper (статью, задача которой — представить коллегам опубликованный набор данных). Важное отличие наших файлов readme от data papers в том, что мы используем другую стратегию легализации данных в научно-административном поле. Data paper можно воспринимать как технологию, которая позволяет данным «притвориться» обычной статьей, чтобы их можно было цитировать и учитывать в списке публикаций, своего рода академическая мимикрия. В нашем случае данные могут просто быть собой. Тем не менее развернутая документация остается совершенно необходимой частью данных, без которых идея публикации данных для того, чтобы сделать их доступными, очень легко превращается в формальность.

### *Когда публиковать данные и зачем это делать?*

В этом вопросе кроется главная точка расхождения утопического идеала открытой науки с реальностью. К тому, чтобы исследователи начали массово публиковать свои данные, есть препятствия разного рода. Часть они когнитивные, частью культурные, частью структурные. Эта проблема не нова и не уникальна для филологии<sup>15</sup>. Мотивация исследователя, который создает данные и делится ими, оказывается здесь ключевой. В миссии нашего репозитория, как она сформулирована, все заявленные цели надындивидуальны. Исследователь может десятилетиями собирать данные и тратить огромные ресурсы на их сбор. Мы же предлагаем выложить эти данные на всеобщее обозрение на благо науки в целом. Это предложение не слишком привлекательно, если исследователю кажется, что он еще не полностью исчерпал потенциал своих данных или что другие смогут с легкостью получить на основании его данных ценные результаты. Сам автор в этом случае получит лишь минимальное признание, да и то в том случае, если на его данные добросовестно сошлутся. Такие опасения могут быть преувеличенными, но бывают и вполне оправданны. Редакции репозитория и всем сторонникам открытой науки необходимо поэтому искать тонкий баланс между интересами науки в целом и интересами индивидуальных исследователей.

На текущем этапе наша позиция — публиковать те данные, которые автор готов публиковать. Опыт показал, что это совсем не редкость. В определенный момент автор понимает, что сделал все, что хотел, на основании своих данных, и вполне может ими поделиться. Так в нашем репозитории появляются датасеты, которые можно назвать ретроспективными. Это материалы опубликованных работ или диссертаций, которые никогда не публиковались, хотя могли быть выложены в интернет или пересылаться коллегам. Публикацию таких датасетов мы рассматриваем как инвестицию в более долгосрочное сохранение этих данных и в большую их доступность для повторного использования. Такие датасеты, будучи опубликованными, могут быть в дальнейшем использованы научным сообществом для решения уже новых задач, отличных от тех, которые ставил автор, собравший эти данные. В настоящий момент ретроспективные публикации — важное поле для работы нашего репозитория, где мы можем внести свой вклад как минимум тем, что публикуем уже существующие в рамках дисциплины цифровые данные. Чтобы репозиторий отражал не только прошлое в работе над данными, но и настоящее, мы

---

15 См.: *Gomes D.G. et al. Why don't we share data and code? Perceived barriers and benefits to public archiving practices // Proceedings of the Royal Society B. 2022. Vol. 289. No. 1987. P. 1—11. <https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1113>*

стремимся делать и датасеты к текущим и даже перспективным исследованиям, прежде всего за счет публикаций сотрудников Лаборатории цифровых исследований. Среди прочего, мы постановили за правило сопровождать все выполненные в лаборатории количественные исследования публикацией данных и программно-го кода для воспроизведения исследования. Только так, небольшими шагами, мы можем приблизиться к признанию того, что публикация данных должна стать общепринятой практикой.

### *Как следует делиться данными?*

Оказывается, в этой области тоже есть техническое знание, заслуживающее интеграции в профессиональный инструментарий. Как было сказано выше, есть немало прецедентов, когда исследователи готовы делиться данными с коллегами. Однако мы можем констатировать, что добрая воля исследователя является необходимым, но недостаточным условием для полноценной публикации данных. Доминирующая культурная практика, которую мы наблюдаем в ситуациях передачи цифровых данных между филологами, — это хождение данных «в списках». Различные таблицы и базы данных годами пересылаются между заинтересованными исследователями в виде отдельных файлов. Если данные востребованы в течение долгого времени и в особенности если авторы продолжают свою работу над ними, естественным образом возникают различия в содержании пересылаемых файлов, стихийно складываются разные версии данных. Циркулирующие таким образом данные по существу были введены в научный оборот. Но они были введены, если воспользоваться аналогией с допечатной книжностью, в «рукописном» варианте. Если продолжить эту аналогию, публикация датасета в репозитории открывает гуттенберговскую эпоху в обращении цифровых данных.

Весьма редко мы можем опубликовать в репозитории данные непосредственно в том виде, в котором получили их от автора. Иными словами, публикация датасета не сводится к выкладыванию в интернет полученных файлов. Данные всегда проходят редактирование, для того чтобы ими можно было адекватно воспользоваться. Чаще всего требуется унификация (гармонизация) данных и преобразование в более строго формализованный (машиночитаемый) формат. В ходе редакционной подготовки данные обогащаются и уточняются, тем самым становятся доступнее для дальнейшего использования.

### *Где публиковать данные?*

У авторов есть выбор. Более молодые коллеги зачастую хорошо ориентируются в системах контроля версий, пользуются гитхабом (<https://github.com>), крупнейшей платформой для публикации открытого программного кода, и публикуют данные и код к своим исследовательским проектам там. Таким образом, предлагая возможность публикации данных, нашему репозиторию приходится конкурировать не только с другими публичными репозиториями научных данных, но и с гитхабом. В настоящее время наше главное преимущество, пожалуй, в редакционной подготовке — в том времени и усилиях, которые редакция репозитория вкладывает в проверку и улучшение данных до публикации. Однако приходится признать, что во многих других отношениях (вычислительные мощности, объем пространства для хранения, инфраструктура долгосрочной архивации) мы гораздо сильнее ограничены в ресурсах. Во многом стратегии выбора площадки для публикации данных остаются открытым вопросом для обсуждения в профессиональном сообществе.

*Для кого публиковать данные?*

Привычное представление о публикации базы данных на веб-платформе не соответствует тому, что видят пользователи в репозитории. Репозиторий дает лишь возможность скачать файлы данных. Предполагается, что, скачав данные, пользователь будет работать с ними так, как считает нужным. Это решение ориентировано в первую очередь на тех исследователей, которые работают с данными как с источником для количественных или корпусных исследований. Однако данные могут быть полезны и исследователям, использующим более традиционные филологические методы. Такие пользователи ищут на сайте репозитория возможности для просмотра данных и интерактивного взаимодействия с ними и не находят их. К сожалению, создание таких интерфейсов требует больших ресурсов, далеко выходящих за рамки наших возможностей.

В свете тех практических проблем и обстоятельств, с которыми мы столкнулись в процессе работы репозитория, следует подчеркнуть, что одним из важнейших аспектов нашей миссии оказалось формирование профессиональных практик работы с данными в ходе нашего редакционного взаимодействия с коллегами-филологами, и усилия, прикладываемые к потенциальной институализации этих практик. Кроме того, можно со всей уверенностью констатировать, что утопический образ мира открытой науки, в которой ученые сами несут свои данные для публикации в репозитории, в реалиях нашей дисциплины пока нереализуем. Исходя из этого, редакция репозитория сама ищет данные и потенциальных авторов. Если у читателей этой статьи возникла идея, что какие-то из рабочих файлов, возможно, представляют собой датасет, пожалуйста, напишите в редакцию по адресу: [dataverse@pushdom.ru](mailto:dataverse@pushdom.ru) или напрямую главному редактору репозитория: [kmaslinsky@pushdom.ru](mailto:kmaslinsky@pushdom.ru).

## Е. С. Булгакова и Л. Я. Гинзбург в библиотеке Б. Ф. Егорова

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_371

В библиотеке историка литературы Бориса Федоровича Егорова (1926—2020) сохранилось много книг с дарственными надписями ученых, писателей и поэтов<sup>1</sup>. Судьба одарила Б. Ф. Егорова знакомством со многими замечательными людьми, но память о двух — Е. С. Булгаковой и Л. Я. Гинзбург — была особенно крепка, свидетельством чего стали инскрипты, бережно хранимые ученым.

### I

Борис Федорович Егоров заочно познакомился с Еленой Сергеевной Булгаковой в конце 1962 г., когда у тартуских историков литературы появилась идея включать в свои издания неопубликованные материалы, в том числе М. А. Булгакова. В дневнике Б. Ф. Егорова за 1964 г. читаем: «27. V. <...> Звоню Е. С. Булгаковой (уже 9 вечера) — зовет к себе, еду. Она очень милая дама. Дарит мне книгу Мижо о Сент-Экзюпери (“Жизнь замечат[ельных] людей”) и рассказы Булгакова — в биб[лиотеч]ке “Огонька” и в “Москве”<sup>2</sup>. Говорим о разных литерат[урных] делах, интересно рассказывает о 30-х годах. Ругает Паустовского за неточные воспоминания о Булгакове<sup>3</sup> — Пауст[овский] не был близким к Булгакову.

Интересный рассказ о беседе Станиславского со Сталиным. Звонок.

— Константина Сергеевича попрошу.

— Да, я слушаю. Кто говорит?

— Сталин. Здравствуйте, Константин Сергеевич!

— Здравствуйте... э... э... Простите, как вас зовут?

— Зовут меня просто “товарищ Сталин”.

— Нет, простите, как ваше имя-отчество?

— Иосиф Виссарионович.

— Спасибо, спасибо. Так вот, Виссарион Яковлевич...»<sup>4</sup>

Завязалась переписка, в ходе которой Елена Сергеевна информировала Егорова об издательских делах: «В Гослитиздате работа с редактором и текстологом идет очень хорошо, проворно. Собираются в начале сентября сдать в набор книгу. Пьесы идут в набор в конце мая — самое позднее. Так что на своей полке держите два свободных места»<sup>5</sup>.

- 1 См. публикации: *Глушаков П.* Инскрипты Ю. М. Лотмана из библиотеки Б. Ф. Егорова // Новое литературное обозрение. 2021. № 3. С. 417—423; *Глушаков П. С., Дмитриев А. П.* «Дорогому БорФеду»: новонайденные инскрипты Ю. М. Лотмана из библиотеки Б. Ф. Егорова // *Studia Litterarum*. 2023. № 1. С. 382—397; *Глушаков П.* Юрий Михайлович Лотман: инскрипт с ключом // Тарту в истории славянской филологии. Тарту: Издательство Тартуского ун-та, 2023. Вып. 1. С. 126—128.
- 2 См.: Записки юного врача: рассказы. М.: Правда, 1963; Полотенце с петухом; Вьюга; Тьма египетская; Сорок сороков // Москва. 1963. № 5. С. 141—166.
- 3 Речь идет о последней, шестой, книге автобиографической «Повести о жизни» (1945—1964). Глава «Снежные шапки» посвящена М. А. Булгакову — однокашнику Паустовского.
- 4 Архив Б. Ф. Егорова.
- 5 *Егоров Б. Ф.* Воспоминания. СПб.: Нестор-история, 2004. С. 377.

Книги эти были подарены Булгаковой Егорову с дарственными надписями, свидетельствующими, что степень общения характеризовалась заветным словом «дружба».

В читательский мир Егорова входит роман «Мастер и Маргарита». Дневник свидетельствует: «31. V. Я в Ленинской библиотеке. Работал часа два. <...> Затем — к Е.С. Булгаковой, где собирался читать “Мастера и Маргариту”, но застал гостей — переводчик Ник. Мих. Любимов с сыном<sup>6</sup>. <...>

1. VI. В 6 вечера у Е.С. Булгаковой. Наконец-то сел за “Мастера и Маргариту”. Машинопись, 2 тома (всего около 500 стр.). Читал до 11-ти.

2. VI. С утра — на вокзал, закомпост[ировал] билет в Питер. Затем — к Е.С. Булгаковой. К 5-му часу дня роман добил.

Это — несомненно лучшее, что написал Булгаков, — и заметное явление в рус[ской] и западной литературе. Минус — роман не доработан, а также есть элементы легковесные, в духе “Турбинных” и фантаст[ических] повестей. Но в целом — серьезно. Показана жизнь мещанства Москвы 30-х годов, в которой задыхаются честные Мастер (автор романа о Христе) и Маргарита. Куски романа, проходящие через этот роман Булгакова, — очень хорошо (особенно сцена с Понтием Пилатом). Единственная “реальная” сила, на которую могут опереться Маргарита (а потом и Мастер) — дьявол, который со своими помощниками гаерскими и балаганскими средствами разоблачает всю мещанскую сволочь — от крупных администраторов до обывателей. При этом много смертей, крови, сумасшествий — жестокий балаган. Все время ждешь — где же будет встреча *божественного* с дьявольским? Но эта встреча так и не происходит. Лишь мельком дьявол ворчит по поводу частного милосердия, требуемого Маргаритой (она стала ведьмой). А затем в конце посланник Христа требует от дьявола, чтобы он дал покоя Мастеру и Маргарите, что он и делает: дьявол умерщвляет их, а затем увозит куда-то в небытие, в пустыню.

Герои — *нешки* в руках могучих сил. Активность совершенно исключается. Активен дьявол, кот[орый] может творить и доброе. Эпиграф к роману из “Фауста” — я злая сила, кот[орая] может делать и добро, делая зло... В дьяволе (как и в других образах) есть прямые намеки на Сталина, но роман шире прямых намеков. В нем есть какая-то подспудная пружина, идея — что *добро, свобода* — громаднейшие ценности, перед которыми как бы останавливается и дьявол. Даже не останавливается: он сам дает людям добра свободу и останавливается перед их добром.

Поразительно, что в страшных условиях 30-х годов Булгаков сам был абсолютно свободен: он не мог мечтать об опубликовании романа и писал на далекое будущее. Это подвиг художника.

Взволнованный, я сразу не мог заниматься».

Летом 1965 г. в дневнике Егорова появляется запись: «17. VII. В библиотеке. После обеда — у Е.С. Булгаковой, да так до вечера и засиделся. Она мне — царский подарок: экземпляр “Театрального романа”, кот[орый] как будто идет в 8-м № “Нов[ого] мира”. Дай Бог! Интересные рассказы о Булгакове. Прочел хорошую статью о его жизни — Ярмолинского<sup>7</sup>, написанную совершенно свободно; верно, ее очень подчистят, прежде чем опубликуют (она должна быть вступлением в книгу статей о Булгакове<sup>8</sup>) <...> Поразительный рассказ Е[лены] С[ергеевны] о Лео-

6 Упомянуты переводчик и мемуарист Николай Михайлович Любимов (1912—1992) и его сын, театровед Борис Николаевич Любимов (р. 1947).

7 Сергей Александрович Ермолинский (1900—1984) — киносценарист, драматург, журналист.

8 Первый сборник статей о писателе («Проблемы театрального наследия М.А. Булгакова») вышел только в 1987 г.



нове<sup>9</sup>, у которого она однажды была: во-1) у него большой сад, но сплошь *уродцы* деревья и цветы, во-2) он показывал ей свои точеные деревянные фигурки с резко выраженными половыми органами (мужчины). В этом прямо весь Леонов!!! Удивительно, как ярко отражается в произведениях характер человека-автора!!! Ушел от Е[лены] С[ергеевны] в приподнятом настроении, как всегда...»

В декабре 1965 г. Елена Сергеевна не без радости сообщала, что «Булгаков и впрямь пошел: если найдете в 66 г. первый номер “Сельской молодежи”, увидите там пять небольших фельетонов и рассказов Булгакова, из которых один очень и очень мил»<sup>10</sup>. Вышедший январский номер журнала был тотчас послан Егорову с дарственным инскриптом.

Наконец, когда в 1967 г. вышла переведенная Булгаковой книга А. Моруа о Жорж Санд, библиотека ленинградского литературоведа пополнилась еще одной книгой с инскриптом вдовы писателя.

1

Дорогому  
Борису Федоровичу  
Егорову  
от Елены Булгаковой  
Москва 13 ноября 1965

На форзаце кн.: *Булгаков М.* Драмы и комедии. М.: Искусство, 1965.

2

Дорогому  
Борису Федоровичу  
Егорову —  
— с дружбой!  
Елена Булгакова  
Москва  
6—6—67

На форзаце кн.: *Булгаков М.* Избранная проза. М.: Художественная литература, 1966.

3

Дорогому Борису Федоровичу Егорову  
с неизменной дружбой  
от Елены Булгаковой  
28—2—66

На полях первой страницы вырезки из журнала с рассказом: *Булгаков М.* Москва красная // *Сельская молодежь*. 1966. № 1. С. 37.

---

9 Леонид Максимович Леонов (1899—1994) — писатель.

10 *Егоров Б.Ф.* Указ. соч. С. 380.

Дорогому  
Борису Федоровичу  
Егорову —  
*Елена Булгакова*  
Москва  
11 / IX 67

На форзаце кн.: *Моруа А. Жорж Санд* / Пер. с фр. Е.С. Булгаковой. М.: Молодая гвардия, 1967.

Спустя восемь лет после кончины Елены Сергеевны Егоров опубликовал первую свою булгаковедческую работу, основанную на архивных материалах, приобретенных Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) у вдовы писателя: *Егоров Б.Ф.* М.А. Булгаков — «переводчик» Гоголя (инсценировка и киносценарий «Мертвых душ», киносценарий «Ревизора») // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л.: Наука, 1978. С. 57—84. Эта статья сопровождалась посвящением: «Светлой памяти Елены Сергеевны Булгаковой, романтической женщины, изумительно идеальной помощницы писателя, создавшей и сохранившей его архив». К сожалению, на последнем этапе подготовки сборника текст посвящения был снят по не зависящим от автора причинам. Тогда Борис Федорович напечатал его на пишущей машинке и наклеил перед названием статьи на выданных ему издательством отдельных оттисках, которые дарил друзьям, и на экземпляре сборника из своей библиотеки.

## II

С Лидией Яковлевной Гинзбург Б.Ф. Егоров дружил с конца 1950-х гг. Они встречались на заседаниях редакции «Библиотеки поэта», пересекались на защитах диссертаций, писательских собраниях. Сохранившиеся инскрипты Гинзбург говорят о том, что она обсуждала с Борисом Федоровичем свои книги еще на стадии допечатной подготовки, что свидетельствует о высокой степени доверия к мнению друг друга.

В дневнике Б.Ф. Егорова есть краткие, но точные характеристики, касающиеся Л.Я. Гинзбург: «1. X. 1964. Защита докторской (“Поэзия Лермонтова”) Д[митрия] Евг[еньевича] Максимова. Битковый актовЫй зал ИРЛИ. Оппоненты — Базанов (говорил дельно, увидел реальные слабые места; неожиданно произнес тираду против концепции ЮрМиха о руссоизме и т.д. — причем опять же ухватил слабую пята, но интонации были уж очень злобные...), Городецкий (невыносимо — я не слушал, лишь краем уха, что-то мямлил против термина «лирический герой»), Гинзбург (сволично — женщину пустили после всех!! — слушал я тоже мало — устал, да и ораторским искусством Л.Я. не блещет). <...>

3. X. С кладбища — на свидание с Соней<sup>11</sup> — и к Дм[итрию] Евг[еньевичу]. Пришли первые. Затем — генерал на свадьбе — Анна Ахматова. Фридендеры, Л.Я. Гинзбург, Яша<sup>12</sup>, Левины-Дикман, Т.Ю. Хмельницкая, Г. Шабельская, Л.А. Мандрыкина, Зара<sup>13</sup> (специально приехала из Тарту ради защиты!).

11 София Александровна Николаева (1924—2008) — супруга Б.Ф. Егорова, ученый-химик.

12 Яков Семенович Билинкис (1926—2001) — литературовед.

13 Зара Григорьевна Минц (1927—1990) — литературовед.

Все хорошо, но Ахматова несколько сковывала гостей — не было свободы. Она тонная, но в меру — водку пила как лимонад. Смешно расспрашивала Сою, кто есть кто! Сося сама еле по именам гостей знает. Стихи читала Ахматова превосходные. Она стала последние годы значительно более гражданственной.

Яша поднял за Д[митрия] Е[вгеньевича], Л.Я. — за Лину Яковлевну<sup>14</sup>, Д[митрий] Е[вгеньевич] — за Ахматову, я — за Ап. Григорьева и всех звал на кладбище к 17.00 8-го<sup>15</sup>. Разошлись около часа. <...>

27. II. 1965 <...> Немного читал книгу Л. Гинзбург “О лирике”. Пока еще нет мнения. Хорошо, широко и глубоко, но несколько рассыпается на мелочи».

Получив в дар от автора книгу «О психологической прозе», Егоров не просто внимательно ее прочитывает, но и оставляет записи и маргиналии прямо на ее страницах. Он начинает делать записи карандашом на нахзаце, а вся книга испещрена подчеркиваниями и пометами на полях, цифры в тексте отсылают к страницам издания. По-видимому, записи сделаны вскоре после получения книги в дар в ноябре 1971 г. для задуманной рецензии. На основе этих записей вскоре был написан новый текст чернилами на трех листках из ученической тетради, согнутых пополам и вложенных в книгу. Это уже не связный текст, а план-конспект доклада «О книге Л.Я. Гинзбург “О психологической прозе”», с которым Б.Ф. выступил в ленинградском Доме писателей 22 февраля 1972 г.<sup>16</sup> Текст доклада не сохранился, но вполне вероятно, что его и не существовало, а Б.Ф. выступил импровизационно, довольствуясь только наброском плана и цитируя прямо по книге (в рукописи цифры страниц подчеркнуты красным карандашом).

Воспроизводим написанное на нахзаце, затем — на тетрадных листах.

### [О книге Л.Я. Гинзбург «О психологической прозе» (1971)]

I. Важно учесть, что психологизм, действ[ительно], подготовлялся еще в 1830—1840-х гг. (м.б., даже и в XVIII в.?), — но в лит[ерату]ре важно было вначале уйти в социальность, поэтому ростки психологизма до 50-х гг. (Пушк[ин], Лерм[онтов], напр.) — глохли, т.к. не было прямой питат[ельной] среды (как заглохли прорывы в разум у муравьев и дельфинов).

II. Post hoc не всегда дает восхождение. Л[идия] Я[ковлевна] это понимает (гов[орит], что романтики более прямолинейны, чем Руссо), но — когда ей нужно — оправдывает др[угими] задачами: Герцен знал опыт Лермонтова, но не то ему было нужно (268).

А м.б., просто *не умел!* Можем ли мы доказать: *не нужно* или *не умел!* Это очень трудно; как трудно находить минус-приемы. Нелегко предугадать, «что скажет кн[язиня] Мар[ья] Алексеевна». Еще труднее — что не скажет, т.е. что *не может* сказать.

Признаки психологизма XIX в. — 267.

Модель и моделирование — 12, 204, 303.

Автор мемуаров — положит[ельный] герой — 210.

Рационалистич[еская] бинарность у романтиков — 288, у Стендаля — 296, у Бальзака — 298—300.

---

14 Лина Яковлевна Ляховицкая (1903—1986) — жена Д.Е. Максимова.

15 Имеются в виду Литераторские мостки Волкова кладбища, где был перезахоронен Аполлон Григорьев, и столетняя годовщина его кончины.

16 Борис Федорович Егоров: К 90-летию со дня рождения: Библиографический указатель. Список научных докладов и оппонируемых диссертаций / Ред.-сост. А.П. Дмитриев. СПб.: Росток, 2016. С. 103.

*Перелом у Тургенева — 300.*

Свобода героев Дост[оевского] — 335.

Эгоизм ↔ индивид[уали]зм — 343.

Антидраматургизм диалога Л. Т[олсто]го — 375.

Безрелиг[иозная] этика — 408.

III. Л.Я. при всем диалектизме вносит *норматив* — иск[усст]во должно структурировать, нельзя разрушать хар[акте]р (новый роман) — 286.

А если жизнь деструктурируется?

---

*Л.Я. Гинзбург.* Гром[адное] число идей, мыслей, наблюдений.

*Структурность.* Четкость мышления Л.Я.

Сложная *диалектика антиномий*, напр. смена «Хлестаков ↔ долг» на «Хл[естаков] ↔ простота» (96).

Или апатия, шиллеризм, объективность; или рационал[ьная] бинарность у романтиков, Стендаля, Бальзака (288—300).

Вообще *диалектичность* мышления Л.Я. — 144.

*Спорность:* 1) иногда нормативность: обязательно нужна структуризация, а в новом романе — разруш[ение] хар[акте]ра (286). Но, м.б., в самой структуризации есть *структурность*?

2) своеобразное отождествление *эстетичности* и *структурности*, *эстетичности* и *знаковости* (10, 11).

Не обозначены, *размыты* границы между худ[ожественным], науч[ным] и бытовым (14).

Думаю, что предел структуризации — и *наука*, и *иск[усство]*. Иск[усст]во сильнее тем, что даже *случайное* оказывается в системе + *связь всех уровней*.

Сложнее с *семиотичностью*.

Конечно, наука и иск[усст]во абсолютно знаковы по природе. Но и быт чел[овецкого] об[щест]ва становится все более знаковым. Напр., Л.Я., хар[актери]зуя быт фр[анцузских] придворных времен Люд[овика] XIV, противопост[авляет] ритуальность — натуральной необузданности. Но необузд[анность] тоже *семиотика* (156). Герцог Бургонский хотел подложить петарду, в карманы совали рагу, били — авось дофина или короля не подозр[евали]<sup>17</sup>.

*Трагедийность* сближения быта с иск[усством] и наукой по *семиотич[ности]* и структуризации.

*Моделирование* (17, 204, 313).

Проблемы: можно ли применять *мод[ель]* к иск[усст]ву? Если да, то только ли к тиологич[еским] явлениям? *Случайное* — входит ли в модель?

*Соотнош[ение]* *нехудож[ественных]* и *худож[ественных]* жанров.

Письма, дневники, мемуары — как зародыши, потенции будущих открытий худ[ожественной] лит[ерату]ры.

Напр[имер], психологич[еский] анализ. (Ср.: Б[орис] Усп[енский]<sup>18</sup>: записи живой речи обнаруж[ивают] синтакс[ические], морф[ологические], фонол[огические] тенденции, кот[орые] через неск[олько] лет станут лит[ературной] нормой.)

Поставить проблему. *Прорывы:* муравьи, дельфины, человек.

---

17 Л.Я. Гинзбург черпала материал из мемуаров Сен-Симона, к тому времени уже частично переведенных на русский язык (в 1899 и 1934—1936 гг.), однако пользовалась при этом оригинальным текстом (22-томным парижским изданием 1881—1909 гг.).

18 Борис Андреевич Успенский (р. 1937) — филолог, семиотик.

М.б., поэтому же не прорвалось в XVIII в. (см. Р. Лазарчук<sup>19</sup>) и в 1830—80-х гг., что еще *не готово*?

Поэтому Лерм[онтов] — предтеча, кот[орый] не мог полностью развиваться. Сам-то, м.б., и развился бы. Пробл[ема]: *не хотел, не умел?*

Л.Я. хорошо показывает, что поступат[ельное] движ[ение] лит[ерату]ры не всегда *восхождение*: напр[имер], *романтики* более прямолинейны, чем *Руссо*.

Иногда же, когда Л.Я. это нужно, происходит оправдывание: дескать, Герцен знал опыт Лермонтова, но ему было нужно не то (268).

А м.б., *не умел?*

Это очень трудно; вообще, трудно находить *минус-приемы*.

Нелегко предугадать, *что скажет кн[ягиня] Мар[ья] Ал[ексеев]на*. Еще труднее определить, что *не скажет, т.е. не сможет сказать*.

Проблема. Л.Я. постоянно показывает соотнесенность иск[усств]а с жизнью, отражение в иск[усств]е жизни. Это всюду подчерк[ивается] (напр., 317). Это верно.

Но у нас мало заниматься изучением творч[еского] преобразования жизни в иск[усств]е, творч[еского] создания таких хар[акте]ров, ситуаций, вообще — той *общей жизни*, кот[орая] в реальности была скована, недостаточно осуществлена. Поэтому иск[усств]о оказывается не только *отражением*, но и преобразованием и даже предвидением (и иногда не потому, что *будет*, а потому, что *есть* и действует на жизнь).

*Антидраматургичность толстовского романного диалога* (375).

*Интересны общефилос[офские] и псих[олого]-социал[ьные] проблемы*.

Эпоха создает историч[еский] хар[акте]р и накладывает на эмпирич[еские] хар[акте]ры, *подходящие и неподходящие* (91).

*Безрелигиозная этика*. Обоснование *обязательности* и *ценности* положит[ельных] этич[еских] поступков. Сложное переплетение *этики* у Л. Т[олсто]го<sup>20</sup>.

1

Дорогому  
Борису Федоровичу Егорову —  
от автора, с благодарностью<sup>21</sup>.  
15. IX. 71

На форзаце кн.: *Гинзбург Л.* О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971.

2

Борису Федоровичу Егорову —  
первому читателю первого  
издания этой книги  
*Л. Гинзбург*  
7. VI. 74

На шмуцтитуле кн.: *Гинзбург Л.* О лирике. 2-е изд., доп. Л.: Сов. писатель, 1974.

19 Римма Михайловна Лазарчук (1940—2012) — литературовед.

20 Архив Б.Ф. Егорова.

21 Лидия Яковлевна благодарит за развернутую положительную рецензию на рукопись ее книги, которую Егоров написал для издательства. Ее копия отложилась в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ. Ф. 1344. Оп. 1. № 53.

3

Дорогому  
Борису Федоровичу  
Егорову — книгу, в которой  
кое-что написано об  
Анненкове<sup>22</sup>  
*Л. Гинзбург*  
10. VIII 79

На титульном листе книги: *Гинзбург Л.* О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979.

4

Дорогому Борису Федоровичу  
Егорову — с благодарностью<sup>23</sup>  
и дружеским приветом  
*Л. Гинзбург*  
8. VI. 82

На шмуцтитуле кн.: *Гинзбург Л.* О старом и новом: Статьи и очерки. Л.: Сов. писатель, 1982.

5

Дорогому Борису  
Федоровичу Егорову — книгу в  
основном неакадемическую  
*Л. Гинзбург*  
14. 3. 87

На титульном листе книги: *Гинзбург Л.* Литература в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. Л.: Сов. писатель, 1987.

---

Л. 18—25), куда Егоров в 1993 и 2019 гг. передал основную часть своего архива. Рецензия содержит немало ценных замечаний, которые помогли улучшить текст. Например: «Стр. 15. “истеричные барышни” — о женщинах дома Бакуниных и о семействе Беер. Все-таки следовало бы сказать мягче» (Там же. Л. 22).

22 В третьей главе «Структура литературного героя» подаренной книги дан подробный анализ психологизма прозаика и критика П.В. Анненкова. К этому времени Егоров опубликовал две во многом первопроходческие работы о нем: «“Эстетическая” критика без лака и без дегтя (В.П. Боткин, П.В. Анненков, А.В. Дружинин)» (Вопросы литературы. 1965. № 5. С. 142—160) и «П.В. Анненков — литератор и критик 1840—1850-х гг.» (Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 51—108), а также посвятил Анненкову один из разделов докторской диссертации «Русская литературная критика 1848—1861 гг.» (ЛГУ, 1967).

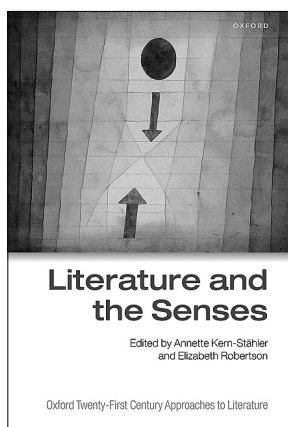
23 Приписка Б.Ф. Егорова: «Я подсказал название книги — как у Хомякова. Б.Е.». Имеется в виду название статьи Хомякова (1839). Егоровым была подготовлена книга: Хомяков А.С. О старом и новом. М.: Современник, 1988.

# НОВЫЕ КНИГИ

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_379

## Literature and the Senses /

Ed. by A. Kern-Stähler, E. Robertson.



Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2023. — XX, 519 p. — (Oxford Twenty-first Century Approaches to Literature).

Взаимодействие литературы со сферой человеческих чувств — тема не новая, если не сказать классическая. Художественные произведения служат источником эстетического опыта, а эстетика со времен Баумгартена определяется как наука о чувственном познании (древнегреческое слово *aisthetikos* значит «чувственно воспринимаемый»). Между тем некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми, например о том, какие чувства изображает (или может изобразить) литература, как изображение чувственного опыта определяет литературную форму, каким образом литературное произведение может предмоделировать чувственный отклик читателя и т.д.

Различные литературоведческие направления сосредоточивались на той или иной проблеме, связанной с чувствами, вынося за скобки другие. Так, «новые критики» принципиально отказа-

лись изучать чувственный отклик читателя, назвав изложение впечатлений от текста аффективным заблуждением. Но все же они могли анализировать чувственный опыт как абстрактную составляющую текстовой интенции, как организующее текст телеологическое смысловое начало, то есть как компонент «эстетической ценности». Затем в споре с формалистско-структуралистской парадигмой возникли новые подходы: историческая реконструкция профилей чувственного переживания и их проекция на литературу (новый историзм), изучение откликов идеальных и реальных читателей (рецептивная эстетика), выделение аффективных комплексов и соответствующих им вербальных перформативных актов (деконструкция) и т.д. Современные принципы и методы работы с темой «литература и чувства» представлены в одноименной коллективной монографии под редакцией А. Керн-Шталер и Э. Робертсон.

Редакторы-составители исходят из того, что чувственный опыт (*sense experience*), во-первых, локализован в теле, а потому обладает пространственно-временными координатами, неотделим от переживания пространства и времени в теле, а во-вторых, «включает в себя не только нейробиологические процессы» (с. 2), то есть определяется социокультурным контекстом, ведь локус опыта, тело, есть часть контактной среды, где человек, «прочие живые существа и вещи» (с. 3), дискурсы и институты сосуществуют наравне друг с другом. В этой среде культурные системы производят чувственный опыт и постоянно происходит «распределение чувственного» (по Ж. Рансьеру). Этот отправной тезис сочетает в себе несколько методо-

логических установок: феноменологическую и отчасти когнитивистскую (укорененность опыта в теле), социально-антропологическую (обусловленность опыта культурой), экокритицистскую («плоская онтология» среды). Синтезируя эти установки или, если угодно, критические повестки, Керн-Шталер и Робертсон видят свою конечную цель в «исследовании чувств в контексте культуры и исследовании культуры в контексте чувств» (с. 2).

Предметом анализа становится «литературная репрезентация чувственного восприятия в литературе разных периодов» (там же), при этом определение чувственного восприятия строго ограничивается аристотелевской моделью «сенсориума»: это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Чувственный опыт как производная от этого восприятия делится на моно- и мультимодальный (второй не сводится лишь к одному из перечисленных каналов). Предполагается, что феноменологическое переживание чувственного опыта схоже в разных эпохах, тогда как его репрезентация культурно-специфична и исторически изменчива в силу тесной связи с доминирующими нарративами и дискурсами. Этот двойной фокус отражен в композиции книги. Она состоит из шести разделов: «Зрение», «Слух», «Обоняние», «Вкус», «Осязание» и «Мультисенсорность» (инварианты восприятия и опыта), а статьи в каждом из них построены по хронологии — от Средних веков до постмодернизма (варианты репрезентации).

Зрение — самый «привилегированный» (с. 10) канал восприятия, доминантный способ перцепции в культуре модерности (Маклюэн М. Галактика Гутенберга. М., 2003). Взгляд ассоциируется с механизмами отправления власти, контроля и подчинения (ср. проект паноптикума Иеремии Бентама). Рассматривание чего-либо — это, во-первых, главная познавательная процедура

для науки последних столетий, а во-вторых, инструмент социальных микро- и макрополитик, например гендерных. Как показывает в своей статье С. Тригг, литературная мизансцена рассматривания лица обладает разными функциями в средневековой и современной литературе. Если у Дж. Чосера в «Троиле и Крессиде» рассматривание лица — социальный жест, посредством которого персонажи предъявляют себя публике и читателю, заодно отыгрывая установленные гендерные модели (Троил «пронзает» взором толпу, выделяя Крессида, а Крессида отводит взгляд в сторону, как и положено женщине), то в «Кромвельской трилогии» Х. Мантел этот жест служит психологическому раскрытию персонажа и выстраиванию системы отношений между персонажами: так, участники английской политической сцены рассматривают портрет Кромвеля и испытывают острую реакцию в отношении политика, например вспышку ненависти (роман «Введите обвиняемых»).

Изображения лица касается и З. Леманн-Имфельд, чья статья посвящена визуализации невидимого в викторианском рассказе о привидениях. Не видимое читателю (и не изображенное) сверхъестественное существо видит персонаж, и его выражение лица служит косвенным свидетельством, позволяющим мысленно реконструировать образ призрака. К видимому в воображении обращается и С. Земка, описывая отношения М. Мерло-Понти и Э. Лакуан. Оплакивающий смерть Лакуан Мерло-Понти переосмысляет феноменологию взгляда, прослеживая, как «движение горя» «перетекает в вещи, объекты и окружающую обстановку» (с. 83), как боль утраты окрашивает опыт взгляда и делает его не нейтральным и частично воображаемым. В завершение раздела Н. Уатт, поэтесса с нарушениями зрения, пишет о своей творческой практике, показывая, как частичная слепота



претворяется в систему творческих выборов: обостренное внимание к ритмическим паттернам, подбор запоминающихся аллитераций и т.д.

Следующий раздел посвящен слуху. Опыт слушания имеет два полюса: он может быть предельно интимным (шепот на ухо) или же публичным (воззвание к толпе из репродуктора). Но в обоих случаях индивид и среда становятся взаимно проницаемыми. И индивид может выбрать способ сонстройки: по Ж.-Л. Нанси, есть слушание-для-понимания, режим вычленения смысла и подчинения шума смыслу, и есть слышание (*listening*), пассивное восприятие шума, в котором смысл едва улавливается (Nancy J.-L. *Listening [À l'écoute]*. N.Y., 2007. P. 6).

Средневековая словесность опирается на культуру устного слова или чтения вслух, — этой теме посвящена статья К. Сандерс. Онемение слова и его фиксация на странице, продолжает в своей статье С. Джексон, вызывали беспокойство и любопытство у деятелей культуры XVI—XVII вв., таких как Т. Уайтхорн, Ч. Батлер и Ф. Бэкон. Последние пытались изобрести способ запечатления звука на странице — не только как семиотической единицы, но и как акустического феномена, ценность которого в слиянии слушающего и слышимого, во вчувствовании в среду. А в романтической традиции XIX в., согласно статье С. Макдауэлл, звук становится основой для системы поэтических тропов, в частности архитектурных. «Шепчущая галерея» собора Святого Павла в Лондоне служит метафорой раскрытия истины или секрета у Вордсворта и де Квинси: как шепот в одном конце галереи превращается в звучное эхо в другом, так и секрет становится явным.

А.-Ж. Цвирляйн связывает отчуждение звука от его источника с появлением технологии звукозаписи. Исследовательница рассматривает эффект ужасного в викторианской литературе,

показывая эволюцию отношения к идее записи звука. Так, в рассказе Э. По «Правда о том, что случилось с мистром Вальдемаром» (1845) голос умершего слышится как будто из-под земли, что наводит ужас. А в рассказе А. Конан-Дойла «Лакированная шкатулка» (1899) рассказчик зачарован раздающимся из фонографа предсмертным вздохом старухи — это страшно для него, но не для читателя. Раздел вновь завершается эссе, написанным поэтом: М. Дэвидсон пишет об американской поэзии на жестовом языке, — подлинной «поэзии молчания», отрешившись от слышимого слова.

Обоняние — промежуточное чувство между зрением и слухом, достигающими относительно далеко, и чувствами близкого контакта — вкусом и осязанием. Как и слух, оно обнажает проницаемость границы, разделяющей индивида и среду, но уже на уровне обмена мельчайшими ольфакторными частицами. Ощущение запахов, как показывает И. Карреманн, было важной практикой в театре Возрождения, позволявшей аудитории чувствовать физическую близость с актерами. Х. Дуган рассматривает такой устойчивый образ в поэзии Возрождения, как белая лилия, и выявляет его полярные значения: чистота (отсутствие запаха) и необузданная сексуальность (сильный запах срезанного цветка). Эти значения были встроены в социальные рамки: непахнущая лилия обычно использовалась при описании привилегированных слоев, тогда как цветок, источающий запах, связывался с маргинальными членами общества (нередко небелыми, цветными). У. Клувик рассматривает запах как непрепрезентируемый элемент в литературной системе викторианской литературы: миазмы и смрад Лондона у Гаскелл и Диккенса описаны лишь косвенно, при помощи визуальных признаков (бурлящие нечистые воды, пузыри на водной поверхности). Х. Хсу заостряет внима-

ние на проблеме идентичности, рассуждая о научно-фантастических произведениях выходцев из маргинализированных групп (черных, коренных американцев и цветных). Возведение запаха в статус главного инструмента считывания социальных различий в цикле О. Батлер «Ксеногенез» является скрытым протестом против символической системы культуры, где доминирует зрение и где слышны голоса белых, а не черных писателей.

«Низшие» чувства по сравнению со зрением и слухом, вкус и осязание тем не менее ассоциируются с почти не опосредованным постижением и познанием. Они служат источниками знания в религиозной культуре: Фома Неверующий поверил в воскрешение Христа, только когда вложил персты в язвы; прихожане вкушают освященные хлеб и вино, приобщаясь к таинству евхаристии. В то же время осязание и ощущение вкуса могут ассоциироваться с «низкими», то есть плотскими, желаниями: похотью, чревоугодием и др.

Вкушение «меда» знания как устойчивый топос религиозного дискурса в Средневековье рассматривается в статье Дж. Фумо. В статьях М. Фланнери и С. Смита обсуждается релевантное для средневековой культуры понятие наслаждения через вкус (*sweet taste*). Сладость оказывается метафорой как для наслаждения божественным откровением или искусством, так и для сладострастия, пресыщения; иллюстрациями этой амбивалентности служат «Рассказ мельника» Дж. Чосера, «Королева фей» Спенсера и «Буря» Шекспира. В современной литературе вкусовые ощущения вплетаются в синестетические комплексы ассоциаций, обретают символические функции; например, связаны с передачей переживания ностальгии, что показывает В. Гвиньера на примере романов нигерийских писателей Б. Окри («Голодная дорога», 1991) и Ч.Н. Адичи («Половина желтого солнца», 2006).

Аффективный потенциал вкуса исследует поэтесса З. Сколдинг, пытающаяся воссоздать в перформансах «невербальные звуковые текстуры» (с. 350) вкусовых переживаний: в ходе своих представлений она режет овощи, громко жует, причмокивает и т.д.

Осязание в средневековой литературе — основа для символического жеста прикосновения, кодифицированного в культуре; этой теме посвящены статьи Х. Пирси и М. Амслера. В среднеанглийском романе «Хавелок Датчанин» жест прикосновения инициирует король, подчеркивая официальный статус установленного контакта и сакральный характер договора между ним и графом Годардом. В средневековой пьесе «Мария Магдалина» жесты прикосновения образуют готовый семиотический репертуар: от чувственных касаний в сценах соблазнения — до покорного омыwania ног Христа. В современный период осязание может осознаваться как источник неожиданного, нежеланного аффекта, что ярко проявляется в литературе травмы, написанной по следам Первой мировой войны и рассматриваемой в статьях А. Гаррингтон и С. Дас. Так, «власть ужаса» в поэзии У. Оуэна «оживает благодаря гаптическому зрению» (с. 418) — ледящему кровь описанию того, как тело боевого товарища, убитого выстрелом в голову, в течение полутора часов накрывало истекающее кровью тело лирического героя.

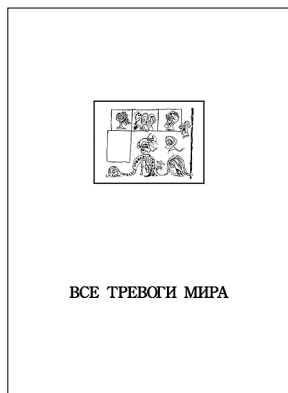
Заключительный раздел выводит в центр обсуждения синтез чувственных восприятий в единое, мультимодальное переживание. Отдельные перцепции могут вступать в компенсаторные отношения, а могут усиливать друг друга в синестезии. С. Стэнбери рассматривает это взаимное усиление на примере разворачивающегося свитка пергамента, грубая фактура которого усиливала воздействие звучащих слов. Мультисенсорность в современной литературе исследуется в экокритических интер-

прегациях произведений Э. Дантика, Ч.Н. Адичи и К. Шопен; соответствующие статьи объединяет акцент на взаимной проницаемости индивида и среды, о которой упоминалось выше.

Литературные репрезентации чувственного опыта — предмет столь сложный, что в ряде статей-глав посвященной ему коллективной монографии толкуется не о репрезентации, а о невозможности последней. И все же сама постановка вопроса представляется актуальной как для исторических, так и для теоретических исследований литературы.

Анна Швец

## Все тревоги мира: беспокойство в литературе и искусстве: сб. статей / Сост. А.Ю. Сорочан.



СПб.; М.: Сам Полиграфист, 2023. — 302 с. — 350 экз. — (Неканоническая эстетика. Вып. 10).

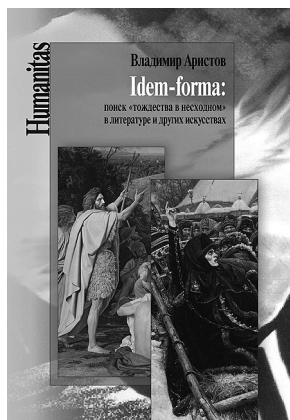
**СОДЕРЖАНИЕ:** От редколлегии; Сборники «Неканонической эстетики»; Сорочан А.Ю. И веки смежит нам... тревога; **Сомнение:** Лобакова И.А. Мотив тревоги в сюжетных сказаниях о чудесах; Фомичев С.А. Тревожная баллада А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»; Денисенко С.В. О тревожной замкнутости: «Болдинская осень» А.С. Пушки-

на и «мариенбадское чудо» И.А. Гончарова; Новосёлова Е.А. «В атмосфере тревоги»: к вопросу о формировании позднего творчества Юрия Нагибина; **Волнение:** Петров А.А. Саспенс и катарсис в трагедии А.П. Сумарокова «Хорев»; Дёмин А.О. «Прибежище Тишины» Дж. Бонекки в весеннем Петербурге 1748 года; Кузнецова О.А. Уроки бдительности из русской эмблематики на печных изразцах XVIII в.; Пастернак Е.А. Тема смерти в лирике Г.Р. Державина: некоторые наблюдения; Никушов Ю.М. Грибоедов: сигнал тревоги, который не услышали; Васильева С.А. «Тревожной жизни бой» в прозаических аллегориях Ф.Н. Глинки; Дроздова А.О. «Мир шумит и мир тревожится...»: художественные средства создания категории тревожности в поэмах Ф.Н. Глинки; **Беспокойство:** Иванова Н.П. Волнение, тревога и беспокойство в образной системе романа М.И. Воскресенского «Самопожертвование»; Джиганте Дж. Экзистенциальное беспокойство некоторых героев Ф.М. Достоевского: Поиск укрытия во времени и пространстве; Кожухаров Р.Р. Тревога и мотив умаления в произведениях акмеистов 1920—1930-х гг.; Делекторская И.Б. Рождественские тревоги Андрея Белого; Кирилл Б.-Е. Мотивное сплетение «тревога — творение — голод» в творчестве Д.И. Хармса 1930-х гг.; Мотеюнай-те И.В. Тревога ветеринара о созданиях прекрасных и разумных: по книге Дж. Хэрриота «О всех созданиях, больших и малых» (1972); Тышковска-Кашпак Э. Экзистенциальная тревога в прозе Сергея Довлатова; **Саспенс:** Клименко И.В. Образ пространства как источник притчевости и триллерности в рассказе А.С. Грина «Окно в лесу»; Грачёва А.М. Саспенс в авангардном произведении Алексея Ремизова «В розовом блеске»; Липинская А.А. Эти призрачные очертания. О повествовательных стратегиях А. Блэквуда; Колымагин Б.Ф. Тема тревоги в зеркале не-

официальной поэзии; *Автухович Т.Е.* Дискурс беспокойства/тревоги в романе Д. Глуховского «Сумерки»; *Брусиловская Я.В.* «Мне уже жаль вас»: фактура и субъект саспенса в стихотворении П. Барсковой «Воздушная тревога».

Аристов В.В.

### **Idem-forma: поиск «тождества в несходном» в литературе и других искусствах.**



М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2023. — 390 с. — 300 экз.

В Серебряном веке эссе о поэзии и иные рефлексивные тексты у поэтов были обычными, сейчас относительно редки, потому книга поэта Владимира Аристова представляет интерес. Очень не хватает терминов для описания современной поэзии. В книге поэта В.В. Аристова предложено понятие *Idem-forma*, выведенное из латинского слова *idem* — тот же самый, тождественный, опирающееся также на идею «внутренней формы», разработанную Г. Шпетом. Оно используется для сопоставления произведений, при этом Аристов не устраивают такие методы компаративистики, как, например, интертекстуальность, так как они, по его мнению, размывают границы текста, а важно сохранить индивидуальность произведения.

Аристов весьма внимателен. Он замечает непоследовательность поисков Хлебникова: в его «Досках Судьбы» Дэ имеет созидательный, а Тэ разрушительный смысл, притом что в более раннем тексте наоборот: «творяне» — созидатели по сравнению с дворянами. Интересное сравнение стихотворений «Сжала руки под темной вуалью» Ахматовой и «Превратила все в шутку сначала» Блока показывает обратное влияние на «учителя» «ученицы» (которую, как известно, Блок внимательно читал). Влияние памяти показывает связь «Оды пешему ходу» Цветаевой (написанной в 1931—1933 годы) и «Стихов о неизвестном солдате» (1937). Мандельштам это произведение Цветаевой читать не мог, возможно, мотив пешего хода у Мандельштама отчасти сформировался ранее, при прогулках с Цветаевой по Москве 1916 г., и другие воспоминания о Цветаевой у Мандельштама присутствовали вплоть до воронежского периода. Возможно, в «Сестра моя жизнь» действительно анаграммирован не только Лермонтов, но и Ленин — Пастернак не мог пройти мимо общего увлечения революцией.

Интересно наблюдение, что у Парщикова лабиринт форм «ищет замыкания, он замыкается вокруг нашего тела-дома, он весь говорит голосами телесности самого поэта» (с. 93), что в поэзии Парщикова вообще преобладает визуальное, а у Ивана Жданова — поиск языка общих категорий, идей. Важно сравнение направления в американской поэзии и русского метареализма: «...в “Language School” в основе лежит витгенштейновская установка о приоритете языка, а в метареалистической школе — о приоритете семантики, шире — принципов Логоса» (с. 79).

Но само понятие *Idem-forma* представляется внутренне противоречивым. «Главное в *Idem-forma* — то, что при стремлении к отождествлению выявляется индивидуальное, самостоятельное

(но именно благодаря отождествлению), и такая “отдельность”, “самостоятельность” и является основным тождественным элементом» (с. 8). Индивидуальное важно, но как к нему идти через отождествление? Акцент на тождестве ведет к близости с концепциями, вовсе не настроенными на сохранение самостоятельности. К символистской идее всеединства (Аристов и продолжает: «основная цель в поиске пространства всеобщего», там же). К психоанализу, ссылкам на архетипы Юнга, который рассматривал личный опыт как поверхностный. «В *Idem* несомненна опора на глубинные формы, которые первичны, сходны или даже тождественны для всех» (с. 9). Аристов говорит о логосе всеобщего поэтического языка, но в нем неизбежна утрата индивидуальности автора. Он ссылается на слова Мандельштама о поэтичности закона тождества, но Мандельштам говорил о тождестве предмета не другому, а самому себе, об акмеистском акценте на самостоятельности предмета именно в противовес символизму, утверждавшему его связь со всем.

Увлечение сопоставлениями часто ведет к произволу. У тематически не связанных «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» Блока и «Домби и сын» Мандельштама сходный стиховой размер, порой близкие рифмы, одинакова длина текста. Но сложно согласиться с Аристовым, когда он сопоставляет «колонна» у Блока и «контора» у Мандельштама — различие свободы (или хотя бы непредсказуемости) уходящих кораблей и тюрьмы из бумаг перекрывает созвучия. Аристову приходится и корабли переставлять «по углам клетки» (с. 156), хотя они так в бухту войти не могли. А у Мандельштама клетчатость панталон дополняет образ тюремной решетки. То есть Аристов сопоставляет, игнорируя семантику. Да и в звуковых сопоставлениях много произвольного: «адво» в слове “адвокаты” есть анаграм-

матическая “вода”» (с. 158). Девушка, певшая в церковном хоре у Блока, соотносится с Мэри Грант у Жюль Верна (с. 167), но ведь экипаж «Дункана» благополучно вернулся.

Часто сопоставляется периферия при игнорировании основы. Исследования открывателя ДНК Дж. Уотсона, конечно, чем-то сравнимы с расследованиями Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Но Ватсон лишь спутник, Уотсон — исследователь. Конечно, в обеих книгах есть женские персонажи, а в лабораториях бунзеновские горелки. Но Уотсон разгадывает ДНК, код жизни, Ватсон — преступление, код смерти.

Сатира «Современная ода» Н. Некрасова и трагичные «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама сопоставляются на основе звуковых сближений вроде рифмовки «добродетели — свидетели» и «свидетелем — деятельный». Но что мы узнаем из этого сопоставления? Гражданственные мотивы у Мандельштама очевидны. Игнорируется радикальное различие семантики и в сопоставлении стихотворений Тютчева «Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный» и «Так! Но прощаясь с римской славой» — на основании созвучия начала строк и ряда последующих созвучий (с. 315). Возможно, это вскрывает особенности индивидуального типа звукописи — личного стиля, отчасти личного клише автора. Но они мало помогают пониманию стихотворений. Сопоставляя «Часов однообразный бой...» Тютчева и «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Пушкина, Аристов начинает со схождения размера, но в те времена четырехстопный ямб настолько преобладал, что Пушкин начал «Домик в Коломне» словами: «Четырехстопный ямб мне надоел: / Им пишет всякий». И младость, цветение, увядание — вполне общеромантический контекст.

Кажется, что Аристов часто исследует скорее общие мотивы, фон, на котором проявляется оригинальное. Да,

в «Докторе Фаустусе» и «Мастере и Маргарите» персонажи, связанные с музыкой (у одного фамилия Берлиоз, другой исполнил на концерте произведения Берлиоза), гибнут от руки женщины в трамвае. Но Аристов сам отмечает, что трамвайных смертей в литературе начала XX в. много (и приводит основные этого, слова Т. Манна о трамвае как угрожающем, несущемся холодным пламени). И немало женщин, стремящихся к добру и совершающих зло. Очень часто в литературе наиболее понимающим выступает простак, безумец. Поэтому не удивительна близость Бенджи из «Шума и ярости» Фолкнера с Вощевым из «Котлована» Платонова. Аристов не ограничивается литературой, но сравнение «Явления Христа народу» Иванова и «Боярыни Морозовой» Сурикова опять-таки показывает общие места в изображении пророка и реагирующих на проповедь окружающих. *Idem-forma* не уберегает от преувеличений, свойственных многим в компаративистике: строка «зеленый снизу, / Голубой и синий сверху» Багрицкого у Аристова связана именно со строкой Кольриджа, а не обе они — с цветом травы и неба. То есть литература пишет литературу, а предметы тут ни при чем. Не уберегает и от упрощений: «...в поэзии это “я”, в прозе — “ты”» (с. 63) — а как быть с эпической поэзией (с которой поэзия вообще началась) и лирической и/или дневниковой прозой? И от мистики: «...обнаруживаются даже созвучия в последних фразах “Шума и ярости” и “Котлована”»: “each in” и “Чиклин”» (с. 144).

Понятие *Idem-forma* было предложено Аристовым 15–20 лет назад, но до сих пор никто другой им не пользуется. О нем пишут только применительно к работам самого Аристова. Видимо, многие его интересные наблюдения могли быть сделаны и без опоры на *Idem-forma*. Акцент Аристова на динамике, на связи, не растворяющей, а раскрывающей индивидуальное, очень важен.

Но *Idem-forma* без акцента на тождество оказывается слишком схожей с обычной близостью. «Отдельные образы перестают быть областью интересов лишь отдельного человека, множественность таких отпечатков, подхваченная универсализмом внутренней формы — вот основная направленность и возможная ценность *Idem-forma*» (с. 44) — это описание действия любого интересного произведения. «Где одно не уподобляется только другому, но реально становится им, не теряя “себя самого”» (с. 35) — это метабола в трактовке М. Эпштейна. Сложная работа по выработке терминов продолжается. А внутренняя противоречивость хороша в стихах, в попытке уловить противоречивость мира художественно, но едва ли в логике науки.

*Александр Уланов*

Соболев А.Л.  
**Общество свободной эстетики (1906–1917).**



М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 488 с. — 150 экз. — (Библиотека «Литературного наследия». Вып. 11).

Большая часть отечественной литературоведческой продукции — это биографии писателей или работы по их поэтике. Исследования, посвященные институциональным аспектам литера-

туры и других видов искусства (в частности, обществам, кружкам, салонам и т.п.), чрезвычайно редки.

Новая книга А.Л. Соболева представляет собой ценный справочник по одному из таких объединений — «Обществу свободной эстетики», игравшему значительную роль в культурной жизни Москвы предреволюционного десятилетия. Оно было не только литературным, но литераторы играли ведущую роль в его руководстве, да и большая часть собраний посвящалась литературе.

Автор книги проделал титаническую работу, собирая сведения об обществе, для чего использовал материалы более десятка архивов, печатную продукцию общества, газетные отклики на его деятельность, мемуары, письма и т.д.

В книге три части: «Хроника», «Протоколы», «Биографический словарь». В первой зафиксированы как собрания общества (дата и название, место проведения и время начала, список присутствовавших, отклики в переписке и прессе), так и заседания комитета общества. Во второй части приведены тексты сохранившихся протоколов общества. Третья содержит развернутые биографические справки о его членах: писателях, журналистах, художниках, певцах, пианистах, актерах, коллекционерах, юристах, предпринимателях и др. В частности, есть тут информация о широко известных литераторах, удостоившихся попадания в словарь «Русские писатели. 1800—1917» (например, о Ю.И. Айхенвальде, К.Д. Бальмонте, В.Я. Брюсове, П.Д. Боборыкине, А.Н. Толстом), но основную ценность представляют сведения о литераторах «третьего ряда», о которых сведений мало и автор выискивал их буквально по крупинкам (например, о поэтах А.И. Будееве, Е.А. Варженевской, С.Н. Головачевском, Д.С. Навашине, С.Я. Рубановиче).

На основе справочника можно составить представление о характере деятельности общества, его эстетической на-

правленности, тематике собраний, круге членов и т.п. Общество было закрытым, часть собраний могли посещать только его члены, на другие разрешалось приходить гостям, но только по приглашению членов, платя за вход. На собраниях читались стихи и лекции, исполнялись музыкальные произведения, их посещало от 20 до 160 человек (с. 14).

В предисловии «От автора» Соболев дает краткую характеристику деятельности общества, хотя мог бы сделать это более подробно. Об этом свидетельствует помещенная в приложении его статья «“Вечер мерцаний”: эпизод из истории “Общества свободной эстетики”», в которой идет речь о скандале, связанном с исключением из общества актрисы Н.А. Меркурьевой по инициативе В.Я. Брюсова. Статья ярко характеризует характер деятельности Брюсова, члена комитета общества, направленной на достижение лидерства в нем, с одной стороны, и на поддержание его элитарно-символистского характера — с другой, а также отсутствие сопротивления ему со стороны подавляющего большинства членов комитета.

Содержащаяся в книге богатая информация о деятельности общества показывает, что «эстетика» его отнюдь не была свободной. В литературной части она являлась ярко выраженной символистской на протяжении всего времени его существования. Я проанализировал два периода: 1908—1909 и 1915—1916 гг. В качестве лекторов там и в начале существования общества, и в конце выступали практически одни символисты: Брюсов, Бальмонт, Эллис, Вяч. Иванов, стихи читали тоже символисты или близкие к ним (Балтрушайтис, Брюсов, Белый, С. Соловьев, Эллис, Б. Садовской, Ходасевич, Липскеров и Рубанович), исключение составляли приглашенные Клюев и Есенин.

Литераторы-«реалисты», к числу которых принадлежали почти все московские прозаики, «Эстетику» (как его на-

зывали современники) игнорировали, например члены московского литературного кружка «Среда» (Леонид Андреев, Бунин, Горький, Куприн и др.), не только не входя в число членов, но и не посещая ее собрания в качестве гостей. Да и представителей других эстетических направлений (футуристов, акмеистов или, скажем, Марину Цветаеву) читать стихи в «Эстетику» не приглашали.

Правда, в музыкальной части, за которую отвечала сестра поэта Н.Я. Брюсова, символизм почти не сказывался. Например, наряду с собраниями, на которых исполнялась музыка А.Н. Скрябина, которую можно считать близкой к символизму, прошел и вечер памяти С.И. Танеева, который от символизма был далек, а Брюсова в своих выступлениях рассказывала «об элегическом в творчестве Листа» и «об умении слушать музыку».

Что касается изобразительного искусства и театра, то собраний, посвященных этим видам искусства, по сути, не было.

Состав членов общества, как пишет Соболев, был весьма текуч, очень немногие входили в него весь период его существования (с. 34). За это время в обществе состояло около трехсот человек. По моим подсчетам, больше всего было художников (23%), почти столько же литераторов (20%) и музыкантов (19%); сравнительно много артистов, в основном певцов (11%); можно отметить также предпринимателей (7%), среди которых было немало коллекционеров; на долю других категорий (представители иных профессий, жены членов, лица, о которых автору книги не удалось найти информацию, и др.) приходилось 20%.

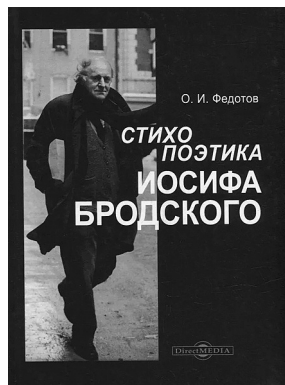
Эллис, один из активных членов общества, неоднократно выступавший на его собраниях, писал, что, «оставаясь преимущественно средством общения между самими артистами и придерживаясь строгого выбора в отношении публики, будучи в сущности обществом закрытым и полуофициальным, оно

сыграло значительную роль в деле очищения вкуса и сохранения строгости стиля» (цит. по с. 314). Вкус и стиль — категории субъективные: что ценят представители одного эстетического течения, то может отвергаться сторонниками другого. Ясно только, что определенную роль в распространении и утверждении «весовского» извода символизма и в музыкальном просвещении московской культурной элиты общество действительно сыграло. Так, например, литератор В.И. Мозалевский вспоминал: «Были там на вечерах, разумеется, и эстетствующие дамы, и блистали красотой, нарядами и камнями богатые буржуазки <...>. Но я слышал там, в “обществе”, игру Рахманинова, Бориса Красина, Добровейна, Сабанеева. Читал свои рассказы и стихи Валерий Брюсов, Садовской Борис, Ходасевич Владислав» (цит. по с. 339).

Книга Соболева — ценное дополнение к обширной уже подборке книг о литературе Серебряного века.

*А. Рейтблат*

Федотов О.И.  
**Стихология Иосифа Бродского:** монография.



М.: Директ-Медиа, 2022. — 596 с. — 500 экз.

Подзаголовок новой книги известного стиховеда вводит в заблуждение: перед



нами не монография, а авторский сборник статей (некоторые из них первоначально публиковались в журнале «Новое литературное обозрение»). Статьи в «Стихопоэтике Иосифа Бродского» условно объединены в шесть разделов: «Столетняя война Иосифа Бродского», «Две “Рождественских звезды” (о структуре хронотопа и версификационного строя в одноименных стихотворениях Бродского и Пастернака)», «Центрбежная сила строфики», «Гамлет и Офелия как лирические герои в русской поэзии XIX—XX вв.: от Некрасова до Бродского», «Движение во времени и пространстве», «Интертексты, стилизации и рефлексии». Название первой из глав обманчиво и потому неудачно — в ней анализируется не ранняя незаконченная поэма Бродского с таким же заглавием, а другие его стихотворные произведения, в которых присутствует мотив войны, причем они учтены с практически исчерпывающей полнотой. На этом фоне отсутствие разбора «Столетней войны» выглядит зияющей лакуной.

«Статейным» происхождением подразделов в главах книги, а также отсутствием концептуального единства обусловленным жанром сборника, порожден ряд недостатков книги. Подробные экскурсы в историю семистиший в европейской поэзии со времени трубадуров (раздел главы третьей) или в тему Гамлета и Офелии в русской поэзии (глава четвертая) прямого отношения к поэтике Бродского не имеют. Некоторые тексты Бродского рассматриваются в разных главах по несколько раз, причем их анализ отчасти дублируется. Особенно показательные примеры — разборы «Двух часов в резервуаре» и «Двадцати сонетов к Марии Стюарт». Сам автор признает это и объясняет так: «...повторы не были устранены, поскольку каждый очерк, участвуя в общей композиции весьма пестрого по составу и жанровой ориентации целого, сохраняет и свою автономную логику» (с. 8).

Но это высказывание лишь подтверждает: перед нами не монография, как называет Федотов свою книгу, а сборник статей. Не упорядочен выбор изданий, по которым цитируются сочинения Бродского, причем в разных разделах или главах вводятся несовпадающие сокращения источников, что способно сильно дезориентировать читателей, а один раз создает абсурдную ситуацию: «Надо заметить, в разных, в том числе и самых авторитетных изданиях в пунктуации (стихотворения «Под вечер он видит, застывши в дверях...». — *А. Р.*), наблюдаются некоторые разночтения. Ср., например: (1, 131—132) и (1, 210—211)» (с. 508, примеч. 544).

Несомненное достоинство «Стихопоэтики Иосифа Бродского» — последовательное взаимодействие стиховедческого подхода (рассмотрения метрики, ритмики, рифмы, строфики, поэтической фонетики, а также синтаксиса в соотносительности с метрикой) с исследованием семантики текстов, причем автор книги разбирает так большие группы стихотворений, связанные между собой единством тематики и/или образности, строфики, метрики и т.п. Пример — анализ сонетов Бродского, открывающийся их полным списком, сопровождающимся метрическими характеристиками (с. 163). Вывод совершенно справедлив, хотя выражен стилистически неприемлемо: «Как видим, Бродский относился к сонетам с заметным пиететом, выделил их в особую жанрово-строфическую форму, на что указывают заголовки большей их половины (<...> т.е. 60.4%)» (с. 165). Половина, конечно же, не может быть большей или меньшей. Заслуживает внимания выделение «в рамках сонетного идиостиля Бродского десяти “холостых” сонетов, которые представляют собой единый в тематическом и структурном отношении цикл» (с. 191).

Стоит отметить также прекрасный разбор «Романса принца Гамлета» из

поэмы «Шествие» (с. 355—362), виртуозный анализ «Двадцати сонетов к Марии Стюарт», в частности обнаружение пушкинских подтекстов в IX и X сонетах (с. 391—392) и «Лесной идиллии» (с. 486—489). Также заслуживает особенного внимания сопоставительный анализ метрики и ритмики двух «Рождественских звезд» — Пастернака и Бродского (с. 139—145). Число ценных разборов произведений Бродского в книге весьма велико: едва ли не каждый из них достоин внимания и профессионалов-бродсковедов, и просто любопытствующих читателей.

Слабая сторона книги — предлагаемые О.И. Федотовым объяснения генезиса тех или иных особенностей поэтики Бродского или конкретных стихотворений. Здесь встречаются серьезные неточности или упрощения. Причину неприятия поэтом войны исследователь усматривает в детских впечатлениях, хотя ужасов и самых тяжелых лишений военного времени тот, эвакуированный из Ленинграда еще в младенческом возрасте, не пережил. Разницу в строфике «Снигиря» Державина и его подражания — стихотворения Бродского «На смерть Жукова» якобы «отчетливо следует отнести за счет далеко не равнозначной оценки стратегии и тактики двух полководцев» (с. 157). Какова связь между нетождественным (хотя и не радикально различным) отношением поэтов к полководцам и особенностями строфики, непонятно. Обилие обценной лексики в стихах Бродского объясняется социальной средой, в которой он вращался (низы общества и богема), и воздействием «почитаемых им поэтов» (с. 485—486). Однако эти же факторы или хотя бы один или два из них воздействовали и на других стихотворцев — современников Бродского, но не привели к аналогичному результату: причины должны быть внутрилитературными и заключаться в своеобразии творческого «я» поэта.

Невозможно согласиться и с некоторыми общими характеристиками идейной позиции Бродского. Федотов то утверждает, что знаменитый стихотворец «ни в коей мере не считал себя диссидентом» (с. 81), то именует его, причем дважды, «поэтом-диссидентом» (с. 125, 404), одновременно аттестуя как государственника (с. 81, 119, 405). Автор книги таким образом указывал на противоречивость позиции Бродского, однако, если это и так, то такая противоречивость должна быть как-то объяснена. Впрочем, аргументы Федотова (с. 119) в пользу позиции Бродского как государственника довольно шаткие: стихотворение «На смерть Жукова» отнюдь не является, вопреки суждению ученого, имперским, а имперскость инвективы «На независимость Украины» — культурная, а не государственническая. Впрочем, государственник и имперец — отнюдь не полные синонимы. Упрощением является последовательная аттестация поэзии Бродского как антивоенной, а его самого — как «воинствующего... пацифиста» (с. 405). Называть так автора эпитафии Жукову и саркастической строки «Есть что-то дамское в пацифистах» («Речь о пролитом молоке») нет оснований.

Спорны или неверны некоторые интерпретации. Едва ли можно однозначно утверждать, что в «Большой элегии Джону Донну» описана смерть английского поэта (с. 374, 432—441). Ведь композиционный и семантический центр стихотворения — это диалог души с Донном, с трудом представимый, если один из собеседников — мертвец. Скорее здесь идет речь о мифологическом мотиве оставления тела душой во сне и об оппозиции я — душа наподобие той, что содержится в лирике Ходасевича. Птица, которая «уже не влетает в форточку» в «1972 году» должна символизировать приход не смерти (с. 467), а вдохновения; ср. в другом стихотворении: «Для последней строки, эх, не вы-

рвать у птицы пера» («Конец прекрасной эпохи»), а марширующая тень в последних строках — не аллюзия на «Удивительную историю Петера Шлемиля» (с. 470) (между двумя произведениями нет ничего общего), а указание на приближающийся к лирическому «я» мир смерти, инобытия.

Имеются в книге и некоторые досадные для профессионального стиховеда неточности или ошибки. О строке «Каппадокии» «либо — точней! — как два зеркала, как два» сказано: здесь «напрашивается ударение на первом слоге, но частица “либо” не претендует на повышенное эмоциональное выделение, а потому естественным образом атонируется» (с. 102). Но союз (а не частица!) *либо* находится перед сильной паузой (обозначенной с помощью тире), за которой следует вводное слово, а потому здесь ударение как раз необходимо. И и Ы — это, конечно, варианты одной фонемы, но звучат они по-разному, а в стихе важен фонетический, а не фонологический принцип, и потому рассматривать И и Ы как элементы одного аллитерационного ряда, что делает Федотов, анализируя стихотворение «В разгар холодной войны» (с. 107), нельзя. Оспаривая мое замечание, что Бродский, создавая в «Подражании сатирам, сочиненным Кантемиром», «своеобразный эквивалент» кантемировской силлабики, «вместо силлабического стиха использует <...> логаяд на основе дактиля» (Ранчин А. На пиру Мнемозины: интертексты Иосифа Бродского. М., 2001.

С. 313), автор «Стихопозитики Иосифа Бродского» возражает: «...в том-то и дело, что, достигнув исключительной урегулированности логаяда, он остается в лоне силлабического стиха. Метрическая природа “Подражания сатирам, сочиненным Кантемиром” <...> амбивалентно сочетает и силлабику, и силлаботонику, и воспоминания об античных логаядах, и чистую тонику» (с. 481). Но такое сочетание признаков принципиально разной метрики в одном непалиметрическом тексте невозможно. Сам Федотов признает, что в «Подражании...» имеются дактилическая анакруста и ударные константы на «каждом четвертом слоге» (с. 478), что никак не позволяет отнести такой стих к силлабике. Слово «внутреннюю» в конце строки разобранного Бродским и разбираемого вслед за ним Федотовым «Новогоднего» Цветаевой описано как «две стопы хорая, из которых 2-я — с пропуском ударения — его вариант — пиррихий» (с. 503). Но пиррихий не должен встречаться в позиции конца строки.

Присущие новой книге О.И. Федотова изъяны и недочеты не отменяют ее ценности. Она будет полезна и ученым-бродсковедам (особенно стиховедам и комментаторам его поэзии), и студентам-филологам, и просто ценителям творчества одного из самых значительных русских поэтов второй половины XX столетия.

*Андрей Ранчин*

*Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17; тел.: 8 (495) 749-57-21) за помощь в подготовке раздела «Новые книги».*

*Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии по адресу: 123104 Москва, Тверской бульвар, 13. «Новое литературное обозрение». Отдел библиографии.*

# Хроника научной жизни

## Коллаборация, конфликт, авторerefлексия

Международная конференция

**«Теории и практики литературного мастерства:  
«Учителя и ученики: преемственность и конкуренция»»**

*(НИУ ВШЭ, Москва, 15–16 сентября 2023 года)*

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_392

15–16 сентября 2023 года в Школе филологических наук НИУ ВШЭ (Москва) под эгидой программы «Литературное мастерство» прошла пятая международная конференция «Теории и практики литературного мастерства»<sup>1</sup>. Конференции под этим общим названием проводятся ежегодно в рамках исследований творческого письма в России, а их основные результаты публикуются на платформе «Creative Writing Studies». За эти пять лет они зарекомендовали себя как крупные научные мероприятия, привлекающие не только российских ученых, но и зарубежных коллег из университетов разных стран Европы, Великобритании и США, а творческие секции и круглые столы регулярно собирают как молодых авторов, так и известных писателей и поэтов. Конференция 2023 года не исключение: в ней приняли участие преподаватели и академические исследователи из Принстона, Нью-Йорка и Нориджа (Великобритания).

Темой 2023 года стали формы и способы взаимодействия разных литературных поколений — условно говоря, «учителей» и «учеников». Круг вопросов, которые предложили организаторы, не сводился исключительно к проблематике преемственности между следующим поколением и предыдущим или же разрыва с ним. В список предложенных исследовательских направлений вошли и более сложные конфигурации — когда, например, в творчестве «учеников-бунтарей»,

---

1 С видеозаписями большинства докладов можно ознакомиться на странице платформы «Creative Writing Studies» на сайте НИУ ВШЭ (<https://philology.hse.ru/cwst/news/862810993.html>), а также в отдельном плейлисте на ютьюб-канале программы «Литературное мастерство НИУ ВШЭ» (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLcFIAJ3WgK8HYTM9c5rGGmah5q3yRfjzL>).

декларативно порывающих с предшествующей традицией, неочевидно проявляются элементы ее наследования или когда «учителя» конкурируют с «учениками» за признание в литературном поле и за иные формы символического капитала.

Не менее важен был и другой аспект заявленной темы, касающийся литературной учебы как своего рода цеха с мастерами, подмастерьями (в будущем мечтающими стать новыми мастерами) и их продукцией, созданной по определенным канонам. Метафора цеха — безусловно, уже весьма старая, с солидным культурным бэкграундом, не ограничивающимся только поздним русским модернизмом (три «Цеха поэтов»); при этом она и до сих пор вполне способна быть рабочей. В частности, она позволяет обсудить прикладные аспекты того, как в практиках художественного творчества отражаются принципы «цехового производства» литературы; какие методики преподавания литературного мастерства и возможности развития молодых авторов используются в литературной учебе сейчас — и какие использовались в предыдущие исторические периоды; какие особенности обучения литературному мастерству при этом вскрываются; наконец, как через обучение литературному мастерству реализуется преемственность поколений (если реализуется).

Конференция открылась пленарным англоязычным докладом *Тиффани Аткинсон* (Университет Восточной Англии) «*«Но поэзии нельзя научить!» Размышления о преподавании и практике*» («*“But you can't teach poetry!” Reflections on teaching and practice*»). Докладчица подробно говорила о своем практическом опыте преподавания творческого письма. Так, например, обсуждая со студентами, как написать стихотворение, Аткинсон зачастую опирается на целый спектр классических приемов и методик — от пристального чтения, когда студент читает вслух свое произведение, а аудитория детально его анализирует, до модернистской техники коллажа, в данном случае заимствованной из эстетики дадаистов, когда стихотворение буквально склеивается из строчек, вырезанных из самых разных изданий (от любовного романа до книги по рыбалке). В выступлении Аткинсон описала не только собственный опыт преподавания creative writing, но и опыт, в целом накопленный в ее университете, — образовательная программа по творческому письму, основанная на американских наработках, открылась под руководством Малколма Брэдбери еще в 1970-х, и это была первая программа такого рода в Великобритании. Во время дискуссии по докладу *Татьяна Венедиктова* (МГУ) спросила: в чем, по мнению Аткинсон, заключается цель сегодняшнего обучения творческому письму, а также каково ее собственное кредо, ее академический манифест? Докладчица в качестве основной цели программы назвала помощь студентам, когда они пытаются через создание стихотворного текста отрефлексировать свою идентичность, по-новому осмыслить себя, — обучение творческому письму позволяет более осознанно и квалифицированно пройти этим путем и удовлетворить их амбиции. А собственный манифест Аткинсон сформулировала как «освобождение языка от бремени нарратива»: поэзия — одно из немногих пространств в современной культуре, где язык способен оторваться от инструментальных функций и приобрести самостоятельную ценность, а поэтический текст — это способ выхода за пределы языковой инструментальности.

Если выступление Тиффани Аткинсон, касаясь вопросов эстетического опыта и творческого письма, носило по большей части прикладной характер, то Татьяна Венедиктова во втором пленарном докладе, «*К филологии творческого процесса: формы возможной коллаборации*», обратилась к этим же вопросам, но с теоретической стороны. Литературу, по Венедиктовой, можно рассматривать как сеть специфически организованных практик — отношений, интеракций, форм сотрудничества самого разного рода, в том числе педагогических. Еще в XIX веке в рамках позитивистской культурной парадигмы родилась модель литературной педаго-

гики, которую можно обозначить как «филологию готового текста» и которая сегодня нередко воспринимается как нечто безальтернативное. Однако в ней отгесняется на периферии внимания собственно эстетическая сторона литературного текста, обусловленная не столько его «выделкой», формальными совершенствами, сколько субъективностью его восприятия, эмоционально-чувственной природой переживаемого читателем опыта. По Венедиктовой, есть основания думать, что мы движемся от этой модели к иной — а именно к филологии творческого процесса. Смысл взаимодействия между обучающими и обучаемыми в рамках этой новой парадигмы смещается: от передачи знания — к усиленной рефлексии над эстетическим опытом. Традиционная коллаборация учителя и ученика в этом контексте переосмысливается: это уже не столько иерархическое отношение (между субъектом, владеющим знанием, и им не владеющим), сколько отношение мотивирующее, двустороннее, которое «обслуживает» пробуждение творческого интереса и осознание личного потенциала. Данный процесс применительно к литературному образованию можно теоретизировать, апеллируя к парадоксальной фигуре «невежественного учителя» (Жак Рансьер<sup>2</sup>) и педагогике «присутствия» (Ханс Ульрих Гумбрехт<sup>3</sup>). Творческое письмо с этой точки зрения представляет практический интерес: это относительно недавнее «изобретение» все шире тиражируется в университетах, но его возможности еще не поняты до конца. Важно, что в этой зоне происходит — или может происходить — интенсивное дисциплинарное строительство, позволяющее расширить и переосмыслить перспективы литературоведения в целом: как области исследований и как академического предмета.

Большая секция «Литературные учителя и ученики» открылась докладом Мариш Волконской (НИУ ВШЭ, Москва) «*My mastir Chauser: Чосер и шотландские поэты-“творцы”*». Докладчица показала, что хотя слава «отца английской поэзии» Джеффри Чосера в XV—XVI веках разнеслась не только по всей Англии, но и по северному королевству, однако отношение шотландских поэтов к нему нельзя назвать однозначным: одни видели в нем своего учителя, а другие, напротив, выстраивали свою идентичность, декларативно порывая с Чосером. В докладе на материале поэзии Уильяма Дунбара и Гэвина Дугласа рассматривалось это сложное взаимодействие между литературной преемственностью, с одной стороны, и чувством языковой и национальной независимости — с другой.

Тему классиков, выступающих в функции «учителей» для участников литературного процесса следующих эпох и культур, даже значительно отдаленных по времени, продолжил Валерий Вьюгин (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) выступлением «*“Замахнуться на Вильяма...”*: (Эстетическая теория, литературная учеба и культурный ресайклинг)». Вьюгин опирался на концепцию Хэролда Блума из книги «Страх влияния»: когда речь заходит о настоящих поэтах — это всегда «битва меж равными силой могучими противниками, отцом и сыном, Лаем и Эдипом»<sup>4</sup>. К этому конфликту Вьюгин подошел с точки зрения концепции так называемого культурного ресайклинга<sup>5</sup>. У данного термина есть две трактовки. Так,

- 
- 2 Рансьер Ж. Невежественный учитель / Пер. с фр. В. Лапицкого. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2023.
  - 3 Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать значение / Пер. с англ. С. Зенкина. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
  - 4 Блум Х. Страх влияния // Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания / Сост. и пер. с англ. С.А. Никитина. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1998. С. 16.
  - 5 Подробнее об этом см. обширную подборку статей (сост. В. Вьюгин), посвященную возможностям применения понятия «ресайклинг» к постсоветской культуре: Новое литературное обозрение. 2021. № 169. С. 10—199.

еще с середины 1960-х годов, особенно во Франции, он используется в педагогических кругах и обозначает «переподготовку», «переучивание». А в начале 1990-х годов канадский филолог Вальтер Мозер, один из наиболее известных теоретиков культурного ресайклинга, предложил рассматривать его как любое повторное использование (*réutilisation*) имеющегося культурного материала в новых практиках вне зависимости от того, насколько этот материал и эти практики различны по распространенности, формам и сферам бытования. Вьюгин проиллюстрировал идею ресайклинга двумя примерами. Во-первых, это живописец XVI—XVII веков Падованино (Алессандро Варотари), творчество которого рассматривают как образец культурного ресайклинга, объясняя с помощью этой концепции и его прижизненную славу, и его посмертную репутацию как плагиатчика Тициана. Во-вторых, это «ученичество у Шекспира» во второй половине XX столетия: а именно радикальные практики таких драматургов и театральных режиссеров, как Чарльз Ладлэм — классик направления, известного как «Театр нелепого» («*Theatre of the Ridiculous*»), — и близкие к этой же эстетике Гэри Такер и Чарльз Маровиц. Опыт этих деятелей современной культуры тоже ставит проблему границ подражания учителю, но только в данном случае речь идет не о том, насколько точно ученик может ему подражать, а о том, насколько и в чем допустимо быть на учителя непохожим.

В совместном докладе Павла Успенского (НИУ ВШЭ, Москва) и Андрея Федотова (МГУ) «*Чему Некрасов научился у Сервантеса? “Дон Кихот” в “Кому на Руси жить хорошо”*» акцент был сделан на одной из частей некрасовской поэмы — «Последыш», чья сюжетная канва отчетливо перекликается с историей пребывания Дон Кихота в замке герцогской четы из второго тома романа. Как и эпизод Сервантеса, эта глава поэмы Некрасова подчеркнута театрализована, реальность в ней остраниается и в некотором смысле ставится под сомнение. Сама ситуация — когда крестьяне перед их бывшим хозяином, безумным князем Утятиним, играют роль крепостных — выстроена слишком усложненно на фоне других частей «Кому на Руси жить хорошо»; впрочем, структурная сложность получает логическое объяснение, если главу спроецировать на классический сюжет. При этом Уятин, функциональный аналог Дон Кихота, в ценностном плане предстает скорее антиподом сервантесовского персонажа. Более того, докладчики показали, что Некрасов, реализуя барочную тему «нереальной реальности» и «жизни как театра», не стремится афишировать то, что заимствована эта сюжетная рамка именно из «Дон Кихота», которого он в данном случае критически переосмысляет.

Секция продолжилась докладом Алины Бодровой (НИУ ВШЭ, Москва/Санкт-Петербург / ИРЛИ РАН, Москва) «*Литературный канон и цеховая критика в практике Вольного общества любителей российской словесности (1816—1825)*», развивающим исследование институциональных практик Вольного общества любителей российской словесности (ВОЛРС) как одного из крупных литературных объединений 1810—1820-х годов. В докладе был представлен опыт реконструкции литературного (авторского и жанрового) канона, который предлагали на заседаниях и в одноименном журнале «соревнователи просвещения и благотворения», и описаны некоторые механизмы внутрицеховой критики, направленные, с одной стороны, на продвижение канона, а с другой — на выдвижение новых имен и формирование новых литературных репутаций. Материалами для исследования выступили произведения, читавшиеся на заседаниях ВОЛРС, сочинения, избранные для представления на публичных собраниях общества или предназначенные для публикации в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», а также документы цензурного комитета общества, который должен был заниматься критическими разборами представленных текстов и их подготовкой к публикации в журнале. Все они позволяют не только точнее описать «массовые» литературные

установки 1810-х — начала 1820-х годов, но и выявить механизмы «литературной учебы» внутри «цехового» объединения литераторов.

Основным материалом доклада *Екатерины Ляминой* (ИМЛИ РАН, Москва) «*За что ненавидеть доброго дедушку, или Какие писатели и почему не любили Крылова?*» стали негативные отзывы литераторов о Крылове и его текстах — исходившие как от современников, так и от представителей следующих поколений. Лямина предприняла попытку классифицировать эти высказывания по «мотивам неприязни». Среди них удалось выявить следующие: соперничество на поприще басни; вопросы к «народности» автора и его текстов; темные стороны биографии Крылова, его меркантильность, «непоэтичность», «холодность», статичность, из-за которой он сделал куда меньше, чем мог бы («В своем праздном благоразумии, в своей безжизненной мудрости он похоронил, может быть, нескольких Крыловых...»<sup>6</sup> — писал Петр Плетнев в 1847 году); и наконец, его апроприация государственной идеологией и идеологизированным школьным каноном — то есть, в понимании «диссидентов», навязчивая пошлость и «промывка мозгов».

Следующие несколько докладов можно условно объединить в мини-цикл, посвященный практикам литературной учебы, когда учителем выступает крупный поэт с собственным творческим кредо. В выступлении *Михаила Макеева* (МГУ / ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) «*А.А. Фет как поэтический наставник Великого князя Константина Константиновича*» было показано, как Фет в переписке с К.Р. комментировал некоторые его стихотворения, деликатно правя не очень удачные места и погружая своего собеседника в собственную художественную мастерскую. Макеев говорил о том, как Фет понимал поэтическую точность и ясность и как формулировал — для себя и для К.Р. — принципы творческого письма. Тема прямого обучения творческому письму, а не фигурального или символического ученичества, была продолжена, во-первых, в докладе *Олега Лекманова* (Принстонский университет, США) «*Мандельштам — учитель поэтов*». Лекманов рассмотрел, как Осип Мандельштам, казалось бы, никогда не стремившийся заниматься целенаправленной и регулярной литературной учебой молодых авторов и обучавший их поэтическому мастерству как бы между делом, тем не менее оказал значительное влияние на целое поколение поэтов, начинавших творческую карьеру в 1910—1920-х годах<sup>7</sup>. Во-вторых, эта же тема была поднята и в выступлении *Моники Орловой* (Музей Серебряного века, Москва) «*Валерий Брюсов — учитель и его ученики*», где были продемонстрированы примеры прямого влияния Брюсова на многих его современников, в первую очередь учеников Брюсовского института (Высший литературно-художественный институт — ВЛХИ, основан Брюсовым в 1921 году). В отличие от Мандельштама из предыдущего доклада, Брюсов свое творческое кредо не вуалировал — оно вполне отчетливо реконструируется и из мемуаров о нем, и из его деятельности в ВЛХИ. Орлова рассказала о взаимоотношениях Брюсова с Ниной Петровской, Надеждой Львовой, Египше Чаренцем, с женой поэта Иоанной Брюсовой и др.

*Майя Кучерская* (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*К вопросу о классицизме Иосифа Бродского (Кантемир, Ломоносов и Державин в лекциях в Маунт-Холиоке)*» перенесла фокус внимания с отношений между учителями и учениками на внутренние интенции и саморефлексию самого поэта-учителя. Иосиф Бродский преподавал в американских университетах с 1972 года, с самого начала своей эмиг-

6 Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма. М.: Советская Россия, 1988. С. 82.

7 В «Новом литературном обозрении» опубликована статья по материалам этого доклада: Лекманов О. Осип Мандельштам — учитель молодых авторов: (По воспоминаниям современников) // Новое литературное обозрение. 2023. № 183. С. 96—106.



рации в США, с 1980-го по 1996-й числясь в штате женского колледжа Маунт-Холик (Амхерст, штат Массачусетс). В библиотеке колледжа сохранились аудиозаписи его курса по русской поэзии XVIII—XIX веков, прочитанного зимой — весной 1993 года. На основе этих материалов Кучерская предприняла попытку рассмотреть и проанализировать лекции, посвященные поэтам XVIII века — Кантемиру, Державину и Ломоносову, — где Бродский (как и любой поэт его уровня) фактически формирует свой индивидуальный, авторский литературный канон. Но главное, что можно почерпнуть из лекций, — это авторефлексия Бродского над собственным чтением, прочтение поэтом текстов других поэтов без оглядки на литературную и литературоведческую традицию; другими словами — сосредоточенность Бродского на том, как можно читать стихотворение, опираясь исключительно на собственную «животную» читательскую реакцию.

Завершилась секция «Литературные учителя и ученики» докладом *Анны Новицкой* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Григорий Замчалов — муж и ученик Ольги Перовской*». Ольга Перовская — одна из первых советских детских писательниц-анималисток, начавшая публиковать малую прозу еще в 1920-е годы, а к середине 1930-х получившая канонический статус в этой области. Ее муж, Григорий Замчалов, тоже работал в этом же жанре, но был куда менее успешным. Перовская стала для Замчалова литературным образцом: писательскому мастерству он учился у своей жены, так что максимально схожими оказались и сюжетные каркасы его и ее рассказов, и принципы конструирования персонажей, и писательская манера. Новицкая проанализировала эволюцию прозы Замчалова: что и как он заимствовал из стиля Перовской, как при этом пытался обрести собственный писательский голос, каковы были личностные взаимоотношения Перовской и Замчалова, оказывала ли известная писательница мужу патронаж и как функционировала столь нетипичная для советской литературы иерархия, где наставником выступает не мужчина, а женщина.

Первый день конференции завершился творческой секцией: презентацией книг выпускников магистратуры московского кампуса НИУ ВШЭ «Литературное мастерство» разных лет. Елена Тулушева представила сборник «Уходи под раскрашенным небом»<sup>8</sup> (одноименная повесть и рассказы), Артем Роганов — роман «Как слышно»<sup>9</sup>, Светлана Павлова — роман «Голод»<sup>10</sup>, Наталья Калининкова — сборник рассказов «Сестры по разному»<sup>11</sup>. Все эти произведения с различных ракурсов и с помощью разных метафор репрезентируют единый сложный узел остроактуальных проблем современного общества.

Елена Тулушева — кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ (Москва), прозаик, лауреат нескольких российских премий («Золотой витязь», премия имени Лескова, «Прохоровское поле», «Югра» и др.) и итальянской премии «Радуга» — презентовала на конференции две прозаические книги, вышедшие в 2022 году<sup>12</sup>. Они объединены общей повестью «Уходи под раскрашенным небом», но отличаются рассказами. На презентации основной фокус был сделан именно на повести. Ее сюжет выстроен вокруг темы морального выбора в вопросе эвтаназии. Елена подчеркнула, что ставила перед собой задачу не упоминать слово «смерть» и не

8 Тулушева Е. Уходи под раскрашенным небом. М.: Фонд СЭИП, 2022.

9 Роганов А. Как слышно. М.: Самокат, 2023.

10 Павлова С. Голод. М.: РЕШ, 2023.

11 Калининкова Н. Сестры по разному: Сборник рассказов. Оренбург: Изд. центр МВГ, 2022.

12 Вторая представленная книга (четыре рассказа и повесть): Тулушева Е. Небо, любовь моя. М.: АСПИ, 2022.

описывать физиологические мучения умирающих людей, а сконцентрироваться на переживаниях тех, кто работает в сфере услуг эвтаназии; об этом как о достоинстве произведения высказались руководители магистратуры Майя Кучерская и Марина Степнова. Елена поделилась тем, как за время, пока создавалась повесть, в мире изменялось отношение к эвтаназии: от запретов в большинстве стран, кроме Швейцарии (когда пациенты из Австралии вынуждены были лететь в Европу, чтобы прекратить страдания), до обширной легализации, призывов к эвтаназии в Канаде и первого случая эвтаназии пациентки с депрессией. Отвечая на вопросы слушателей о достоверности историй, Тулушева рассказала о своей обширной работе с материалами реальных случаев эвтаназии и о том, как в повести она реализовала желание придумать и описать собственную модель идеальной клиники, где, в частности, пациенты могут выбирать, в палате с каким «небом» (раскрашенным потолком) они захотят уйти из жизни.

Артем Роганов — литературный обозреватель, редактор и выпускник первого набора магистратуры «Литературное мастерство» (2017—2019) — в 2023 году выпустил дебютный роман «Как слышно» (до этого он публиковал повести и рассказы в литературных журналах). Книгу можно условно и с оговорками назвать постмодернистской, ироничной вариацией текста в жанре янг-эдалт. Сюжет романа — это история взросления в эпоху перемен; его действие происходит по большей части в 2021 году; главный герой — подросток Глеб, чьи родители давно находятся по разные стороны мировоззренческих баррикад, но он пытается лавировать между ними и соблюдать нейтралитет. А потом Глеб влюбляется и, чтобы встретиться с возлюбленной, вынужден преодолевать препятствия — работать на этически неоднозначных работах, ссориться с друзьями и по-новому выстраивать отношения с родителями, с собой и с миром. Роман содержит стилистическую игру, сочетая книжные и разговорные стили речи, жаргон и местами ритмическую прозу, а его центральной метафорой является метафора звука, точнее, изматывающего всех инфошума.

Светлана Павлова — резидентка Дома творчества Переделкино, выпускница не только магистратуры «Литературное мастерство», но также литературных мастерских «Creative Writing School» и «WLAG», — представила на презентации роман «Голод», вошедший в лонг-лист премии «Лицей». У главной героини, Лены, на первый взгляд, успешная жизнь, карьера, друзья и любовь. Но она страдает расстройством пищевого поведения — булимией — и не может принять себя в собственном теле. При более пристальном взгляде оказывается, что у Лены сложные отношения с матерью, друзьями и начальством, она перерабатывает ради карьеры, переживает будто бы «не свою», навязанную обществом жизнь и ощущает себя в абсолютном одиночестве; все свои проблемы она привыкла заедать. РПП до сих пор не очень частая тема как для художественного изображения, так и для открытого разговора вообще (во всяком случае, в России), поэтому тем более ценно, что роман Павловой выводит ее в публичное пространство, становясь одной из первых реплик в будущей коллективной дискуссии и выступая как своего рода средство терапии.

Наталья Калинникова — писательница, редактор, преподаватель creative writing, выпускница магистратуры «Литературное мастерство» (2019) — рассказала о работе над своей первой книгой: сборником рассказов «Сестры по разному». Эти рассказы уже публиковались в различных толстых журналах, но под одной обложкой вышли впервые. Главные героини рассказов — женщины, наши современницы. На первый взгляд, у них не так много общего: школьница, страдающая atopическим дерматитом; тридцатилетняя офисная сотрудница, которая всегда оказывается виноватой; одинокая пожилая учительница музыки, ругающаяся с со-

седами из-за вечного ремонта; мать и дочь, переживающие смерть бабушки. Тем не менее героинь объединяет то, что они пытаются найти точку опоры, учатся справляться с осуждением окружающих, сложными эмоциями, неоднозначными жизненными ситуациями — находят в себе силы, интерес и вдохновение, чтобы жить дальше. Это и делает их сестрами, пусть и «по разному». Сборник завершается автобиографическим эссе, посвященным прапрабабушке: Наталья, пытаясь найти невидимую связь между поколениями, задает ей вопросы, на которые невозможно получить ответ.

Второй день конференции открылся секцией «Литературно-образовательные сообщества». Первый доклад — «*Литератор и министр: (Как И.А. Гончаров учил П.А. Валуева и чему учился у него)*» — сделал Сергей Гуськов (ИРЛИ РАН / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург). Он рассмотрел служебную и литературно-педагогическую коммуникацию Гончарова с министром внутренних дел Петром Валуевым, который в 1860-х годах был его начальником, а в 1870—1880-х — романистом, причем тут они поменялись ролями: Гончаров выступил в роли преподавателя начинающего писателя. Изучение коммуникации Гончарова и Валуева потенциально позволяет проблематизировать важные темы социологии литературы, оценить, как взаимодействовали в поле литературы акторы с различными социальными, служебными и историко-литературными статусами.

Секция продолжилась докладом Светланы Казаковой (МГУ) «*Русский футуризм: к истории ученичества и бунтарства литературной группы*». Русский футуризм был крайне неоднородным явлением: достаточно сравнить между собой кубофутуристов, эгофутуристов, членов «Мезонина поэзии» и поэтов «Центрифуги». Но позиционировали себя они схоже — как радикальное направление, отказывающееся от традиционного искусства, как (якобы) пионеры в изобретении «жизнетворчества» и концепции жизнестроения, как бунтарей, известных эпатажным творческим поведением и эстетической провокацией. Вместе с тем, публично сбрасывая «с парохода современности» предшествующую литературную традицию, футуристы по факту наследовали романтическую эстетику, заимствуя ее у символистов, чьи идеи во многом повлияли на искусство и мифотворчество русского футуризма. Казакова рассматривала в деталях, что футуристы переняли у прошлого и как освоили это наследство.

В докладе Александры Пахомовой (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) «*Круг Михаила Кузмина конца 1920-х — начала 1930-х гг. и формирование неофициальной ленинградской литературы второй половины XX века*» было рассмотрено, как неформальное литературное объединение, сложившееся в конце 1920-х вокруг Михаила Кузмина и под влиянием его литературных практик, повлияло на становление ленинградской неподцензурной культуры более позднего периода — 1950—1960-х годов. Через литературное наследие Кузмина и близких к нему литераторов (Обэриутов, Константина Вагинова, Андрея Егунова, Всеволода Петрова и др.) поэты 1950—1960-х усваивали определенные представления о писательском мастерстве, о роли и миссии поэта, о функциях и моделях литературных объединений. Участники «кузминского круга» становились культовыми фигурами для ленинградской неофициальной литературы (поэтов «филологической школы», «Малой Садовой», круга Леонида Черткова и др.) и прямо участвовали в трансмиссии памяти о дореволюционной (и несоветской) литературной культуре.

Следующая секция, «Академические учителя и ученики», посвященная в основном университетским контактам и научной преемственности (даже когда в роли академического учителя выступает известный писатель), открылась докладом Константина Лаппо-Данилевского (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) «*Вячеслав Иванов — наставник студентов и поэтов в бакинский период жизни*». Лаппо-Данилевский

остановился на том периоде жизни Вячеслава Иванова, когда в 1920 году он сначала получил отказ в выезде за рубеж под видом командировки, но затем ему представилась возможность поехать на Кавказ и возобновить после длительной паузы научно-преподавательскую деятельность. 19 ноября 1920 года он был единогласно избран ординарным профессором по кафедре классической филологии новообразованного Азербайджанского государственного университета. В последующие годы (вплоть до окончания преподавания здесь в мае 1924 года) в его обязанности входило преподавание самых разных дисциплин: пропедевтических курсов поэтики, истории древних, средневековых и новоевропейских литератур и др. Особый интерес представляют бакинские лекции Вячеслава Иванова по поэтике, дошедшие до нас в записи Иоанна (Оника) Тер-Григоряна (в общей сложности это конспекты 22 лекций; впервые они были прочитаны весной 1922 года и позднее дважды повторены). Данный университетский курс отразил систему не только академических, но и литературных предпочтений Вячеслава Иванова — это было в значительной мере вызвано тем, что в его аудитории было немало студентов и студенток, писавших стихи, а потому сообщаемые им знания имели определенное практическое значение для их творчества. Немаловажно и то, что вокруг Вячеслава Иванова в Баку сформировалось литературное общество «Чаша», многие из участников которого были его студентами и пробовали свои силы в поэзии (часть из них стали позднее известными учеными) — Цезарь Вольпе, Мирра Гухман, Ксения Колобова, Виктор Мануйлов, Елена Миллиор, Михаил Сироткин и др.

В докладе *Елены Глуховской* (ЕУСПб) «*Премудрый доктор Г. Харазов*» и *его ученики*», любопытным образом рифмующемся с предыдущим выступлением, речь шла о Георгии Харазове (1877—1931) — математике, экономисте-марксисте, фрейдисте, поэте и знатке античной литературы. Харазов занимал видное место в послереволюционной литературной жизни в Тифлисе, однако в истории русской литературы он известен прежде всего как антагонист и соперник Вяч. Иванова в борьбе за умы молодых учеников в Баку в 1922—1924 годах. Биографических сведений о Харазове известно немного, а его поэзия до сих пор зачастую остается неизвестной. Исправить эту ситуацию и был призван доклад Глуховской.

Следующие два выступления связаны фигурой Всеволода Некрасова — сначала как студента-филолога и начинающего автора, а потом как уже известного поэта-концептуалиста, вступающего в диалог со студентами-филологами следующего поколения. Материалом доклада *Галины Зыковой* (МГУ) «*М.В. Панов как научный руководитель Вс.Н. Некрасова*» стала сохранившаяся в личном архиве Некрасова его курсовая работа «Фонетика поэзии Баратынского», написанная в конце 1950-х под руководством Михаила Панова, когда тот преподавал (а Некрасов — учился) в Московском городском педагогическом институте им. В.П. Потемкина. Зыкова соотнесла содержание курсовой с известными работами Панова и высказала некоторые предположения о характере интеллектуального влияния ученого на молодого поэта — как на его представления об искусстве, так и, возможно, на поэтическую практику. Концепция студенческой работы, явно напоминающая о ведущих формальных принципах зрелого Некрасова, также позволила поставить вопрос о сознательном учитывании автором курсовой в собственном творчестве опыта классического автора, по всей видимости далекого от эстетики XX века. В сообщении *Елены Пенской* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Козьма Прутков в исследованиях и критике А.И. Журавлевой и Вс.Н. Некрасова*» речь пошла о курсовой и дипломной работах самой Пенской, посвященных генезису маски Козьмы Пруткова. Работы были написаны в 1981—1982 годах в рамках семинара «Русская драма и литературный процесс» на филфаке МГУ, которым руководила жена Некрасова Анна Журавлева, а Некрасов принимал активное участие в обсуждении темы. Пенская проанализи-

рвала его комментарии к ее студенческим работам, а также те сюжеты, которые в целом связаны с Козьмой Прутковым в академической и творческой практике Журавлевой и Некрасова.

Секция продолжилась докладом *Михаила Свердлова* (НИУ ВШЭ / ИМЛИ РАН, Москва) «*Тема литературного ученичества в романе В. Каверина “Скандалист, или Вечера на Васильевском острове”*», в котором концепт литературного ученичества в каверинском романе был переосмыслен в духе формалистской теории. Свердлов показал, что ученичество для автора несовместимо с идеей преемственности и наследования «по прямой»: учиться для автобиографического героя романа Ногина — значит бороться с учителями, идти от них «вкось», зигзагом, подпольными, «боковыми» путями. По сути, Каверин попытался реализовать в романе схему восстания «младшей линии» (в согласии с концепцией Юрия Тынянова) и ниспровергнуть представителя «старших» — Виктора Шкловского, на которого явно указывает памфлетный персонаж Некрылов.

Совместный доклад *Александры Чабан* и *Дарьи Стрижковой* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Забывтый учитель в забытом рассказе: к творческой истории цикла Н. Берберовой “Биянкурские праздники”*» был сфокусирован на рассказе Нины Берберовой «Твердотрубов», напечатанном 10 августа 1930 года в парижской газете «Последние новости» и после этого больше не переиздававшемся. Несмотря на то что рассказ носил подзаголовок «Из цикла “Биянкурские праздники”», при издании этого цикла отдельной книгой писательница не включила данный текст в сборник. В выступлении речь пошла об общей прагматике Берберовой и конкретно о причинах, побудивших ее исключить «Твердотрубова». Как отмечала сама Берберова в мемуарах «Курсив мой», в цикле была сильна традиция наиболее популярных писателей того времени, Михаила Зощенко и Исаака Бабеля, «Твердотрубов» же разительно выбивался из этой стилистической логики, поскольку его сюжет, система персонажей и лексика настойчиво сигнализировали о том, что виртуальным учителем для писательницы в период его создания стал другой автор — Достоевский.

Доклад *Росена Джагалова* (Нью-Йоркский университет, США) «*Метафора русской литературы как учителя в многонациональном советском романе*»<sup>13</sup> ввел в конференцию постколониальную проблематику. Во многих советских прозаических текстах, особенно в жанре *Künstlerroman* (то есть роман о жизни и формировании художника/писателя), репрезентируется педагогическая роль русской литературы по отношению к другим советским национальным литературам. Особого размаха метафора русской литературы как учителя достигла в позднесталинскую эпоху. Так, например, она занимает центральное место в романе-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая» (1942—1956), в котором изучение русского языка одноименным казахским героем открывает перед ним не только новые эстетические переживания, но и новые представления о справедливости, заимствованные из русской литературы XIX века. В послесталинскую эпоху в текстах «Последнего месяца осени» (1962) Иона Друцэ и «Императорского безумца» (1978) Яана Кросса тема «долга» национальных литератур перед русской становится, как продемонстрировал Джагалов, гораздо более нюансированной. С распадом СССР писатели из бывших советских республик, такие, как Юрий Андрухович в «Московиаде» (1993) и Василь Быков в автобиографической «Долгой дороге домой» (2002), начинают жестко критически относиться к представлению о том, что у русских можно чему-либо научиться. Такая эволюция отношений к педагогической роли русской литературы не

13 Текст по материалам этого доклада войдет в книгу: *Djagalov R. Friendship of the Peoples: The Rise and Fall of Multinational Soviet Literature* (в печати).

удивительна: по словам Джагалова, она говорит об определенной конъюнктурности литературного процесса и его зависимости от доминирующих идеологий, к которым литература, как советская, так и постсоветская, столь чувствительна.

Короткая секция «Creative writing» открылась докладом *Марии Мизерной* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Зарождение практики литературных консультаций при советских литературных институтах (1929—1936 гг.)*». Именно литконсультации, показала Мизерная, сыграли одну из наиболее значимых ролей в формировании советской соцреалистической литературы, особенно в 1930-е годы. Литературные консультанты, работавшие с текстами начинающих писателей, должны были править как стилистическую, так и идеологическую составляющую текстов. Однако функции литконсультаций не ограничивались редактурой текстов — предполагалось, что они будут вести не только коррекционную, но и просветительскую работу, воспитывая и обучая новое поколение молодых советских авторов. В докладе Мизерной была прослежена история становления института литературных консультаций — сперва в РАПП и ФОСП, а затем в двух крупнейших издательствах советской художественной литературы: «Советском писателе» и Гослитиздате.

Второй и последний доклад секции — совместное выступление *Дениса Банникова* и *Александры Каверкиной* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Коллективные формы творчества как педагогический инструмент: история, методология, практика*». Докладчики соединили историю и теорию вопроса коллективного художественного творчества, привели примеры того, как совместная работа над художественным текстом может быть использована в качестве педагогического инструмента, и продемонстрировали кейс по организации проекта «Коллективный роман» среди студентов, обучающихся творческому письму. Доклад состоял из двух частей. Первая часть была посвящена определению термина «коллективный роман» и анализу его разновидностей — то есть совместного создания романов в форматах соревнования или сотрудничества. В основной части докладчики рассказали о методологии обучения в процессе коллективного творчества и разобрали преимущества такого подхода. В ней также были классифицированы методы коллективного творчества: работа над одним художественным произведением или же работа над обособленными произведениями в обстановке совместного творчества, — и приведены примеры основных коворкингов для писателей с указанием их особенностей. Особый интерес представляла заключительная часть доклада, посвященная анализу конкретного студенческого проекта, который базировался на принципе коллективного творчества. Особенностью проекта являлась совместная работа студентов, обучающихся творческому письму, над единым художественным текстом. Докладчики описали основные характеристики проекта, его преимущества и недостатки в сравнении с другими методами обучения творческому письму.

Онлайн-секция «Мастерские художественного перевода: чему мы учим и учимся» началась с обсуждения различных приемов, которые используются в преподавании навыков литературного перевода. Первое сообщение — «*Чему я научилась, когда учила художественному переводу*» — сделала *Вера Мильчина* (ИВГИ РГГУ / ШАГИ РАНХиГС, Москва). Она поделилась примерами того, насколько важно в процессе перевода при любом малейшем подозрении проводить фактчекинг, особенно если реалия, встретившаяся переводчику, выглядит нелогично в данном контексте либо если ее значение неочевидно. Скажем, в тексте первой половины XIX века встретилось слово «*Contrafatto*» — это не «контрафакт» (который здесь был бы вообще анахронизмом), а фамилия священника Контрафатто, осужденного за изнасилование и педофилию и ставшего ненадолго именем нарицательным. Далее *Наталья Мавлевич* (школа художественного перевода «Азарт», Москва) в следующем выступлении, «*Игра в пастии*», показала, что постмодернистский

пастиш — это не только яркий художественный прием, но и удобный метод обучения во время тренировки и освоения стиля переводимого писателя (она привела примеры пастишей, которые сделали ее ученики-переводчики на прозу Патрика Модриано, причем это были не только пародийные тексты). Разговор на эту тему продолжился в докладе *Ирины Алексеевой* (Санкт-Петербургская высшая школа перевода) «*Кубик Рубика как прием*» — о том, какие преподавательские приемы (свои собственные и ее коллег — Веры Котелевской, Александра Филиппова-Чехова и др.) она использует в своей практике. Прием один, условно названный «Сшивать Франкенштейна»: при коллективном обсуждении перевода варианты участников складываются как мозаика в единый текст, который тут же коллективно анализируется. Прием два, «Иванов, к доске!»: если аудитория неактивна, ее принуждают к активности, чтобы каждый участник предложил свой вариант перевода (тренинг вариативности). Прием три, «Кубик Рубика»: для многослойной поэзии (например, постмодернистской, когда даже общего знания контекстов эпохи недостаточно для адекватного понимания всех нюансов) — включить разные варианты физического освоения и интерпретации одного и того же текста: через пение, скандирование, чтение вслух и т.д. Прием четыре, «Конь и трепетная лань»: совместная работа переводчика и литературного редактора, который готовит перевод к изданию.

Доклад *Владимира Бабкова* (ЛИ имени А.М. Горького, Москва) «*Обучение переводу: метод, методика и методология*» представлял собой фактически кредо переводчика-практика, обучающего учеников прикладным навыкам. Основная установка («метод») Бабкова — практика до теории (то есть сначала следует поработать и освоить прием на конкретных переводах, а потом уже изучить общие сведения, что это за прием и каков его функционал в целом). Вспомогательный метод — обсуждение и редактирование чужих переводов, причем глубина редактирования варьируется. Прикладная методика перевода корректируется в практическом опыте в зависимости от обнаруживающейся сложности того или иного текста.

*Александра Борисенко* (МГУ / НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Задание на курсный экзамен: что мы проверяем*» коснулась еще более прикладной вещи — критериев того, что именно должно выявлять задание на экзамен по прозаическому переводу. В их числе — понимание нюансов языка (или умение распознать и найти то, чего не понимаешь, то есть в задании должны быть сложные идиомы или другие языковые ловушки); умение точно передать тонкие оттенки смысла; умение провести переводческое расследование, реконструировать контекст и использовать его; умение выстроить адекватный русский синтаксис, не превращая при этом всех переводимых писателей в Хемингуэев или в Тургеневых. Каждый из этих критериев сам по себе, может быть, и очевиден, но найти одностраничный фрагмент иностранного текста, где все они совмещаются, крайне трудно.

Секция продолжилась докладом *Дарьи Синицыной* (СПбГУ / Санкт-Петербургская высшая школа перевода) «*Бубен пятидесятника: как выработать у переводчика чувствительность к вариативности лексики и фразеологии испаноязычного художественного текста?*» Испанский язык крайне вариативен: одних только национальных вариантов — 21 (аргентинский, перуанский, кубинский и т.д.), а наряду с ними — множество региональных разновидностей и диалектов. Поэтому переводчику крайне важен навык здорового скепсиса — нужно перепроверять себя даже тогда, когда на первый взгляд все кажется понятным и прозрачным. Разумеется, это касается и знания идиом и социокультурных контекстов: например, отчасти вынесенное в название доклада выражение «выглядеть, как бубен пятидесятника» означает «быть избитым», поскольку христиане-пятидесятники активно играют на бубнах во время служб.

Сложности, возникающие при работе с теми или иными национальными языками, были подняты и в докладе *Алины Перловой* (НГУ, Новосибирск) «*Особенности преподавания перевода китайской художественной литературы*». Китайские романы, даже современные, нередко представляют собой историческую прозу или же прозу, стилизованную под прошлые эпохи, и тогда переводчик тоже сталкивается с необходимостью «состарить» свой текст. При этом нужно избежать «карикатурности», чтобы стилизация не сводилась к поверхностному «устареванию» лексики. Для этого на занятиях подробно анализируются и редактируются фрагменты неудачных переводов — где-то просто удаляются неуместные архаизмы и анахронизмы, где-то ликвидируется упрощение синтаксических конструкций (в том случае, если в оригинале усложненный синтаксис был использован намеренно, а переводчик его не сохранил), где-то уделяется больше внимания ритму китайской прозы и т.д.

*Игорь Мокин* (независимый исследователь, Москва) в докладе «*Как обсуждается текст в переводческом семинаре*» говорил о том, существуют ли какие-либо объективные критерии оценки перевода, чтобы на них можно было опираться в учебной аудитории. У разных переводчиков разный культурный и языковой бэкграунд, поэтому при обучении практике перевода нельзя полагаться только на интуицию и эстетическое чутье участников семинара. Зато можно приводить чисто языковые аргументы того, какой вариант перевода удачный, а какой нет. Например, в английском языке слова германского происхождения короче (и это более бытовая, обиходная лексика), а слова латинского и французского происхождения длиннее, это скорее книжная лексика, поэтому даже если опираться только на такой критерий, как длина слов, мы уже можем относительно объективно установить, как звучит этот автор в оригинале. Разумеется, исключительно к языковым аргументам свести всю работу по адаптации текста невозможно, но они служат удобным инструментом для первичного выявления того, что переводчик не понял, проигнорировал или додумал от себя. Это позволяет объяснить обучающемуся, что именно не так с его переводом.

Выступление *Светланы Арестовой* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Геймификация занятий по художественному переводу*» было сосредоточено на практиках эдьютейнмента, которые помогают более легко и комфортно освоить материал и научиться навыкам работы со сложным текстом. Среди приемов геймификации, которые привела в качестве иллюстраций Арестова, — мемы в презентациях, творческие задания (например, псевдопереводы) и игры — такие, как каламбуры, обыгрывание «ложных друзей переводчика» или проверка языкового чутья в простом тесте на угадывание цитат «Шекспир или Тэйлор Свифт?».

Секция завершилась докладом *Дмитрия Харитонов* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Меж волка и собаки: (обратный?) перевод “Короля, дамы, валета” на занятия*». Для подготовки к занятию с переводчиками Харитонов дал фрагмент из англоязычной версии романа Владимира Набокова «Король, дама, валет» в переводе его сына, но не предупредил учеников заранее, чей это текст, чтобы авторитет автора их не сбивал (хотя некоторые участники семинара во время фактчекинга все равно обнаружили, что это Набоков). Было интересно, когда случались текстуальные совпадения с русскоязычным вариантом романа, однако стилизация под Набокова не была целью задания. Задача заключалась в том, чтобы с переводчиками напрямую говорил сам стиль произведения, за которым не угадывалось бы никакого конкретного автора, — поэтому так важно было, с одной стороны, дать писателя с очень характерным стилем, а с другой стороны, сделать так, чтобы авторитет этого писателя не подавлял творческую свободу учеников. К тому же все-таки имелась возможность перепроверки некоторых переводческих решений набоковским оригиналом — в виде дополнительного бонуса.



Достаточно символично, что в числе участников конференции были ученые, которые сами заслуженно считаются учителями новых поколений гуманитариев: Татьяна Венедиктова, Росен Джагалов, Олег Лекманов, Вера Мильчина, Константин Лаппо-Данилевский и многие другие. Наряду с ними с докладами выступали студенты, магистранты и аспиранты НИУ ВШЭ — буквально ученики некоторых из этих ученых, — и ценно то, что конференция достаточно демократична, чтобы предоставлять слово не только обладателям ученых степеней, но и начинающим исследователям, если их работы соответствуют критериям научности.

Николай Поселягин

## Вопросы паратекстологии:

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

Международная научная конференция  
«Вокруг текста: пара-, мета- и прочие маргиналии»

(ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, 19–21 октября 2023 года)

DOI:10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_405

Исследования «практик и дискурсов»<sup>1</sup>, или разнообразных вербальных и визуальных элементов, выполняющих вспомогательную презентационную функцию по отношению к некоему тексту и, таким образом, определяющих его восприятие (значение, полезность, новизну, способ чтения и т.п.), получили существенный стимул благодаря известной работе Жерара Женетта «Seuils» (1987). В ней было введено понятие «паратекста», а также предложена классификация *паратекстов* (имя автора, заглавие, посвящение, эпиграф, предисловие и т.д.) и определена программа их изучения, учитывающая формальные, прагматические и функциональные аспекты. Признавая, что в той или иной форме паратекст существовал уже в древности, Женетт отметил, что на «наш век медиа» пришелся его особенный расцвет, которого не знали ни Античность, ни Средние века<sup>2</sup>: это прямо отразилось на материале книги — приводя очень широкий круг примеров, Женетт преимущественно опирается на литературную продукцию Нового и Новейшего времени.

В последовавших исследованиях были установлены факторы, которые способствовали значительному распространению «околотекстовых» составляющих в старопечатной книге (XV—XVIII веков)<sup>3</sup>, изучены практики чтения раннего Нового времени, активно задействовавшие поля печатных изданий (заполнявшиеся изда-

1 См.: *Genette G. Seuils*. Paris: Editions du Seuil, 1987. P. 7.

2 *Genette G. Seuils...* P. 9.

3 Ср.: *Blair A. L'entour du texte: La publication du livre savant à la Renaissance*. Paris: BnF Éditions, 2021. P. 18–20.

телем или самим читателем)<sup>4</sup>. Особенный интерес вызывает ранняя история титульного листа и посвячительных писем: первый служит своего рода индикатором развития печатной книги и книжного рынка<sup>5</sup>; вторые — помещают представляемый текст в социальную и экономическую среду его создания и распространения, а также связывают его с биографиями участников литературного процесса<sup>6</sup>. Впрочем, в качестве паратекста рассматривают не только вполне обособленные элементы книги<sup>7</sup>, но и те, что, располагаясь внутри основного текста, выполняют характерные для паратекста функции (интерпретативную, коммерческую и навигационную) — речь идет об инициалах, отступах, знаках абзаца, шрифтовых вариациях и т.п.<sup>8</sup>

Обоснованность и плодотворность объединения «околотекстовых» элементов, при всем их формальном разнообразии, рамками одной категории объясняется наличием ряда существенных прагматических характеристик, общих как для предисловия и посвящения, так и для фронтисписа, оглавления, указателя, маргиналий или справочного аппарата — их факультативностью, подвижностью, адаптивностью (в зависимости от составителя, адресата, условий издания) и неизменным выполнением вспомогательной роли по отношению к основному тексту (совсем не обязательно отражающей волю его автора<sup>9</sup>). Наконец, еще один важный признак паратекста — наличие маркеров, позволяющих читателю наверняка определять его факультативность и вспомогательность (если только сам замысел книги не требует обратного).

Сформулированные таким образом предварительно критерии паратекстуальности как будто предполагают или, по крайней мере, допускают взгляд за пределы литературы (художественной или научной) — в область канцелярских и школьных письменных практик, а затем — и за пределы письменной речи как таковой, в поисках типологических (или генетических?) соответствий книжному паратексту. Если текст почти неизменно предстает в сопровождении паратекстов, не является ли эта необходимость производной от самого устройства человеческой речи? Или даже человеческой коммуникации, не ограничивающейся языковым уровнем? Или же она связана специфически с визуально воспринимаемой информацией? Или, шире, с устройством человеческого внимания? Но тогда могут ли отношения «текст — паратекст» широко постулироваться за пределами вербального выражения? Или для сходных дихотомий в невербальных и неписьменных средах лучше использовать какие-то другие теоретические языки?

Эти вопросы, как, впрочем, и «традиционные» формы паратекстов рассматривались на осенней конференции Лаборатории антропологической лингвистики Института лингвистических исследований РАН «Вокруг текста: пара-, мета- и про-

- 
- 4 Ср.: *Sherman W. Used Books: Marking Readers in Renaissance England*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.
  - 5 *Smith M.M. The Title-Page: Its Early Development, 1460—1510*. London: British Library, 2000; *La page de titre à la Renaissance / Éd. par J.-F. Gilmont, A. Vanautgaerden*. Turnhout: Brepols, 2008. В качестве примера более узкой постановки вопроса см.: *Yañez-Bouza N. Paratext, title-pages and grammar books // Studia Neophilologica*. 2017. Vol. 89. P. 41—66.
  - 6 *Cui dono lepidum novum libellum? Dedicating Latin Works and Motets in the Sixteenth Century / Ed. by I. Bossuyt [et al.]*. Leuven: Leuven University Press, 2008; *Кочеткова Н.Д. Посвящения в русских изданиях XVIII века: исследование, тексты, библиографический указатель*. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2020.
  - 7 Ставшие недавно предметом специального справочника: *Book Parts / Ed. by D. Duncan, A. Smyth*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
  - 8 См., например: *Ruokkeinen S., Liira A. Material approaches to exploring the borders of paratext // Textual cultures*. 2017. Vol. 11 (1/2). P. 106—129.
  - 9 Ср.: *Kastan D.S. The body of the text // English Literary History*. 2014. Vol. 81 (2). P. 443—467.

чие маргиналии» на примере сюжетов из разных эпох и связанных с разными носителями информации. Конференция собрала специалистов по истории литературы, истории книги, фольклористике, социолингвистике и антропологии из Вологды, Иерусалима, Москвы, Парижа, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Тюмени (некоторые участники выступали онлайн). Программа<sup>10</sup> была организована достаточно свободно — три дня с панелями по три-четыре доклада и большими перерывами, — что позволило значительную часть времени посвятить обсуждению докладов и общению в кулуарах, а также провести финальную дискуссию. О том, чему были посвящены доклады и какие тезисы стали предметом дискуссии, рассказывает наш обзор.

\* \* \*

Первый день, *praemissis praemittendis*, открылся секцией «Паратекст — парабланк», посвященной практикам письма на печатных бланках. *Александра Касаткина* (ИЛИ РАН / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) в докладе «*Околотекстовые элементы в бюрократических документах: паратекст или маркеры контекстуализации?*» после краткого обобщения теории паратекста предложила описывать околотекстовые явления при помощи теоретического языка исследований устной речи. Маркеры контекстуализации — это речевые сигналы, способствующие взаимопониманию собеседников (интонация, темп речи и т.д.) и, в отличие от письменных паратекстов, обычно используемые неосознанно (Дж. Гамперц<sup>11</sup>). Этот язык описания Касаткина применила к архивным материалам решений исполкомов Ленинграда и Ленинградской области 1980-х годов и показала, как бланки, правки и пометки на полях актуализируют разные контексты, через которые проходит бюрократический документ в процессе подготовки. Был поставлен вопрос о статусе резолюции — записи на документе, являющейся тем не менее самостоятельным высказыванием и ответом на его содержание. В дискуссии после доклада было отмечено, что в делопроизводстве существует собственная таксономия реквизитов, и рассмотрение документов и резолюций в исследовательской рамке «паратекста», вне традиционной номенклатуры, по сути, «деконтекстуализирует» материал.

Второй доклад секции — «*Не только текст*: что и как люди пишут (и не только пишут) на бланках “Тотального диктанта”» — был прочитан онлайн участницами из Тюмени. *Наталья Кузнецова* и *Екатерина Новокрепленных* (ТюмГУ) на материале 585 работ за 2023 год рассмотрели специфику заполнения отдельного поля, предназначенного для самовыражения участников «Тотального диктанта» (заполнено в 223 работах). При анализе учитывались такие критерии, как соблюдение границ поля, степень автономности записей относительно содержания текста диктанта, разнообразие языка и способов самопрезентации. Для описания явления в целом авторы предложили использовать кодикологический термин «экстратекст». Обсуждение доклада касалось изменений содержания и формы записей, произошедших после появления легитимированного пространства для них (прежде участники диктанта выражали себя на свободных участках бланка), доли негативных реакций на сам опыт диктанта, а также использования рассматриваемого поля для пробы пера.

10 См. онлайн: <https://nenadict.iling.spb.ru/conferences/2023/2211> (дата обращения: 09.07.2024).

11 *Gumpertz J.* Contextualization and Understanding // *Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon* / Ed. by A. Duranti and C. Goodwin. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 229—252.

Галина Орлова (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Записная книжка пионера: топология (не)регламентированных записей*» обратила внимание на историю бумажного тайм-менеджмента начиная с середины XIX века (календари разного типа, выпускавшиеся в Петербурге Отто Кирхнером). Замечательный образец этой практики представляют сохранившиеся экземпляры выпускавшихся типографским способом «Записных книжек пионера» и другой аналогичной продукции советской эпохи — ежедневников «День за днем», «Подруга», записных книжек агитатора и пропагандиста, мастера, охотника и рыбака и т.д. Докладчица отметила, что такие издания предлагали мало пространства для свободного письма; тем не менее Орлова ни разу не видела, чтобы их графы и страницы были заполнены полностью, более того, там частенько писали не то, что рекомендовалось, осваивая и присваивая директивное пространство «записной книжки». Таким образом, это уникальный источник для исследования не только практик организации информации, но и советских техник субъективации. К сожалению, по словам исследовательницы, корпус этих источников ограничен (по сравнению с официальными бланками, хранящимися в архивах) — их можно лишь случайно обнаружить в частных коллекциях и на блошиных рынках.

Вторая секция — «Трансмедийный паратекст» — объединила доклады, рассматривающие «околотекстовые» явления за пределами письменного текста или в его сочетании с визуальными средствами (изображениями, видео) и устной речью.

Елена Ильина (ВоГУ, Вологда) посвятила особенностям использования «народного» текста в новых медиа доклад «*Осторожно: злая собака!*» в контексте лингвистики постфольклора». Материалом исследования стали объявления, созданные в речевом жанре «запрета» (В.И. Карасик<sup>12</sup>, Т.В. Шмелева<sup>13</sup>), структура которого предполагает, в частности, вербализацию антидействия, обозначение локуса запрета и причины запрета. Докладчица отметила характерные для современных объявлений такого рода аллюзии на фильмы, отсылки к официальным формулам, а также использование иронии. Такая метатекстовая специфика «запретов» может быть связана с их бытованием преимущественно в виртуальной среде, а не в реальном городском пространстве (впрочем, часть аудитории была не согласна с последним утверждением). Доклад вызвал множество вопросов — о возможностях иронической модификации формулы «объект охраняется ...»; о том, каково функциональное соотношение текста и изображений в структуре запрета и т.д.

Даниил Коськов (ЕУСПб) рассказал о литературных и медийных практиках альтернативных историков — авторов сочинений-реконструкций, вроде «Когда утонул Пра-Питер» или «Исаакий — храм цивилизации великанов». Доклад — «*Маргинальные маргиналии: особенности организации письменного текста у альтернативных историков*», — несмотря на очевидную филологическую проблематику, строился по правилам антропологического отчета: сведения об авторах-информантах были анонимизированы и сводились к описаниям, вроде «первый автор — мужчина, 70 лет, художник, бывший военный, на пенсии, активно ведет блог на “ЖЖ” и “Дзене”, редко на “Youtube”». Учитывая, что названия книг приводились без купюр, это не столько придавало докладу строгость, сколько создавало атмосферу игры, характерную и для поведения его героев, тоже лабирующих между правилами разных медиа. Докладчик заметил, что альтернативные историки, стремясь преодолеть недостатки книжного формата при публикации своих произведений, приближают печатные тексты к облику онлайн-публикаций — снабжают

12 Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Гнозис, 2002.

13 См., например: Шмелева Т.В. Речевой жанр (Возможности описания и использования в преподавании языка) // Russistik. Русистика. 1990. № 2. С. 20—32.

книги, вместо библиографических описаний, текстовыми ссылками на интернет-сайты, содержащие публикации книг; воспроизводят статьи из онлайн-энциклопедий; публикуют QR-коды; маркируют цитаты рамками; приводят целые плейлисты из «Youtube» и др. Участники дискуссии подняли вопрос о границах понятия авторства применительно к таким составным и разноформатным «текстам», о степени мимикрии под научный текст в работах альтернативных историков; также к их работам было предложено применять термин «трансмедийный продукт» из исследований медиа.

Завершил секцию доклад *Никиты Шевченко* (ЕУСПб) «*Буквой закона: прагматика ссылки и юридическая аргументация в коммуникации с чиновниками*», в котором речь также шла о практиках цитирования. Докладчик рассмотрел формы и функции ссылок на законодательство в коммуникации призывников и их родителей с чиновниками. Специальное внимание было уделено организации правовых семинаров и консультаций, подготавливающих к общению с сотрудниками военкоматов и распространяющих определенные представления об эффективности тех или иных средств коммуникации. Среди них были отмечены фетишизация юридического языка и вера в магическую эффективность буквы закона и отдельных формул (на семинарах, например, настойчиво предлагалось: «Говорите волшебную фразу... — и вы почувствуете, как все вокруг начнет меняться»). Полученные знания закрепляются через разыгрывание с посетителями консультаций ситуации похода в военкомат и подготовку стандартных «папок безопасности». Участники заседания порекомендовали докладчику использовать иной язык описания — выйти из рамок дискурса правозащитников (обратившись к работе Дж. Ричланда о юридическом дискурсе<sup>14</sup>), а также отметили неоднозначность прозвучавшего термина «магическая эффективность».

Третья секция первого дня — «Между строк: паратекст в периодике» — фокусировалась на специфике паратекстовых явлений в печатных изданиях, имеющих периодический и отчасти эфемерный характер, а потому прочно связанных с актуальным контекстом и предполагающих вовлеченность в него читателей.

*Елизавета Гришечкина* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) в докладе «*Предисловия к самиздатскому журналу “Мария” (1980—1982): попытка включения советских женщин в политический дискурс*» рассмотрела историю феминистского самиздата в СССР, начало которому положил выход альманаха «Женщина и Россия» (1979). Основным же материалом исследования стал журнал «Мария», от которого из шести вышедших номеров сохранились только первые три (тираж журнала — всего пять экземпляров). Докладчица проанализировала тематику выпусков, отметив значение религиозного (христианского) просвещения в идеологии журнала. Из паратекстов в докладе были рассмотрены предисловия, в том числе посвященные истории издания и судьбе его участниц, а также издательские примечания, обыгрывавшие формулировки традиционной прессы (например, «За фаллоκραтические высказывания авторов-мужчин редакция ответственности не несет!»). Вопросы слушателей преимущественно касались феминистской тематики — роли женщин в политической жизни СССР, создания образа новой женщины в официальных изданиях 1960—1970-х годов; также было отмечено, что, несмотря на дистанцирование от официальной культуры, в тексте журнала (бессознательно) воспроизводились советские идеологические клише.

Второй докладчик — *Михаил Кулагин* (НИУ ВШЭ, Москва; доклад «*Организовать условия чтения*»: *политэкономия верстки советских газет*) — напро-

14 См.: *Richland J.B.* Jurisdiction: Grounding Law in Language // Annual review of anthropology. 2013. Vol. 42. P. 209—226.

тив, обратился к принципам издания официальной прессы советского времени, представив их в динамике — от сталинского периода к годам оттепели. Помимо самих периодических изданий важным источником исследования стали позднесоветские руководства по оформлению газет. В начале доклада Кулагин рассмотрел теоретические аспекты понимания формы как элемента дискурса (М. Фуко), используя, в частности, термин «графезис» (Дж. Дракер<sup>15</sup>). Затем он обратился к отдельным составляющим макета газеты, связывающего «экономия взгляда» со «спatialной и темпоральной экономией», — устройству первых полос, симметрии/асимметрии в расположении статей, использованию «фонарей» и «подвалов», моде на «сапожки» и роли иллюстраций. Пропагандистская функция газет требовала, с одной стороны, ориентации на стандартные практики чтения (последовательность чтения, ожидаемые рубрики, размер шрифта и т.д.), с другой — поиска новых форм для оживления внимания читателей (например, в 1960-е годы произошло переосмысление в верстке опыта авангардных художников 1920-х годов).

Второй день конференции открылся секцией «Перевод и комментарий», участники которой проблематизировали интерпретативную функцию паратекста. Заседание началось докладом *Екатерины Троценковой* и *Екатерины Рудневой* (СПбГУ) «*Метаязыковые комментарии о юридических текстах*». В нем исследовательницы обратились к особому роду комментариев — объяснениям тех или иных особенностей профессионального языка юристов, которые вызывают недоумение или неприятие у широкой публики (характерный пример недоумения: «Не понимаю, как юристы воздерживаются от бранной лексики!»). Такие метаязыковые комментарии широко представлены в интернет-пространстве, на различных юридических форумах; дополнительный материал докладчицы собрали в ходе интервью. Юристы делятся с клиентами примерами собственного умения «переводить» с юридического на разговорный язык, рассказывают о ситуациях непонимания, случающихся на судебных заседаниях, и т.п. В докладе было показано, что функция метаязыковых комментариев состоит в регулировании восприятия и интерпретации речи юристов, что сближает их с задачами паратекстов печатных изданий, подготавливающих читательский взгляд на текст.

*Аглая Янковская* (Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль) в докладе «*Рукопись “Умм ал-Барахин” из Палембанга: межстрочный перевод как паратекст*» вывела обсуждение за пределы европейского культурного контекста. Изученный ею текст широко известен в мусульманском мире: это краткое изложение основных принципов мусульманской веры. Большой интерес представляет макет рукописной страницы: поначалу пространственный приоритет в нем отдается комментарию (весьма разнообразному по содержанию), который занимает основную часть листа, тогда как комментируемый арабский текст записан в центре узким столбиком; кроме комментария в рукописи дан перевод на язык региона (в данном случае яванский), его фрагменты «подвешены» наискосок под арабскими словами (отсюда название — «бородатые книги»). Ближе к концу рукописи комментарий становится все более редким; докладчица, изучившая другие списки этого сочинения, отметила, что лишь в редких случаях комментарий и перевод сохраняются последовательно до конца рукописи. Таким образом, в рассмотренных Янковской экземплярах учебника проявляется важная специфика рукописного паратекста — его нерегулярность и вариативность (в сравнении с печатной книгой). В дискуссии после доклада обсуждалось влияние на форму межстрочного перевода практик обучения, в которых использовалась эта рукопись.

---

15 *Drucker J. Visualization and interpretation. Humanistic Approaches to Display. Cambridge: The MIT Press, 2020.*

Следующий доклад («Книга “Буквы”: первый опыт субъективного описания лексической семантики») был также посвящен практикам рукописной книжной культуры. Предметом исследования *Ксении Костомаровой* (ИРЯ РАН, Москва / МГУ) стал анонимный лексикографический труд на русском языке. В рукописный сборник, датируемый серединой XVII века, вошли также грамматическое сочинение и трактат о восьми частях слова. Основная задача книги «Буквы» состояла в предотвращении ошибок при толковании библейских текстов; таким образом, по сути, она представляла собой словарь трудностей русского языка (ложных лексических эквивалентов, омонимов, параллельного использования полногласных и неполногласных форм и др.). Костомарова проанализировала принципы выделения паратекста в словарных статьях: графически маркированы грамматические показатели (записаны красными чернилами) и ссылки на места Священного Писания (даны на полях); напротив, различного рода содержательные комментарии не выделены визуально. После доклада один из слушателей задал вопрос о возможном влиянии на структуру текста византийской лексикографии, в которой также были популярны словари омонимов и редких слов (исследовательница обещала изучить возможные источники).

*Евгений Головкин* (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург / ЕУСПб) в докладе «Понять исчезнувший язык: между расшифровкой, элициацией и (мета)комментарием» обратился к очень специфическому роду комментариев — пояснениям к языковому материалу, которые делают информанты — носители языка. Изучение этих комментариев имеет важное значение для теории полевой лингвистики, поскольку их характер часто навязывается самими лингвистами с помощью «элициаций» (наводящих вопросов), так что информанты в конце концов выдают заранее ожидаемый результат. Текст, который готовится к изданию, может до неузнаваемости отличаться от первоначально записанного материала (исследователь ищет европейскую логику, переставляет слова, не понимая местную поэтику). Эти вопросы были рассмотрены на материале аудиозаписей алеутского языка, сделанных в 1909 году В. Йохельсоном. Головкин смог расшифровать их с помощью носителя другого диалекта алеутского: в центре внимания докладчика оказался разговор с информантом, который слушает записи Йохельсона и встречается с «древностями» собственного языка.

Секция «Автобиографизмы и текст в становлении», подчеркнувшая роль паратекста в самопрезентации авторов, началась с доклада *Юлии Воробьевой* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) «*Мои значимые другие*»: (б)лики теории С. Бойм», в котором она представила два возможных подхода к установлению отношений между текстом и биографией его автора. Последнее автобиографическое эссе филолога и исследовательницы культуры Светланы Бойм было опубликовано с предисловием редактора, которое описывает обстоятельства создания этого текста, написанного в больнице в ожидании серьезной операции. В качестве альтернативного контекста докладчица предложила читать это эссе в свете ранней теоретической работы Бойм, в которой можно обнаружить концептуальную рамку для его понимания. Как было отмечено в дискуссии, паратекстом в строгом, женеттовском, смысле этого слова является только первый пример, в то время как второй скорее демонстрирует ограничения структуралистской теории, когда речь идет о текстах, не помещенных автором или издателем явным образом в иерархические отношения между собой.

*Максим Лукин* (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Записные книжки В.С. Гроссмана: в поисках итоговой редакции*» продолжил тему биографического творчества писателей. Записные книжки В.С. Гроссмана существуют в трех редакциях: рукопись, сокращенная и отредактированная машинопись и еще более урезанное издание 1989 года. Лукин рассмотрел возможность подготовки нового издания, в котором при помощи комментариев на полях, пометок, использования разных шрифтов и других визуальных средств текст был бы представлен в своем становлении. В дан-

ном случае паратекст отражал бы динамику текста и связывал бы ее с биографией Гроссмана, а также подчеркивал бы диалогический характер текста, возникающего в условиях цензуры, самоцензуры и редакторской обработки. В то же время докладчик признал, что в таком виде текст записных книжек окажется далек от авторского замысла. Впрочем, главным препятствием для подготовки публикации оказывается неготовность издателей к осуществлению такого рода новаторского проекта.

Секцию завершило онлайн-выступление *Дмитрия Бральнина* (СГУ, Сыктывкар) под названием «*Транстекстуальные элементы в жанре пародии (на примере поэмы Константина Арбенина “Пушкин мой”)*», композиционной рамкой которого стала классификация паратекстов в классической теории Ж. Женетта. Докладчик восстановил законное место термина «паратекст» в ряду других транстекстуальных или интертекстуальных явлений, описанных французским структуралистом, и показал принципы их работы в пародийной поэме К. Арбенина. Обложка, иллюстрации, название, эпиграф, сама структура поэмы — все служит установлению отношений между пародией и оригиналом. В то же время, выделяя и гипертрофируя определенные черты поэзии Пушкина и воспроизводя канонические вехи его биографии, пародия управляет читательским восприятием творчества поэта.

Секцию «Вокруг и внутри печатного текста» открыл доклад *Михаила Сергеева* (СПбФ ИИЕТ РАН / РНБ, Санкт-Петербург) «*Паратекст в гуманистическом справочном издании: на примере “Хроники знамений” (1557) Конрада Ликосфена*». Обратившись к классическому периоду становления книжного паратекста, докладчик показал, как ученый и компилятор XVI века Конрад Ликосфен в справочнике чудес и знамений, явленных за всю историю человечества, обрабатывал техники компактного представления информации, балансируя между интересами гуманистической филологии и коммерческой успешностью книги в условиях массового книгопечатания (одновременно с латинским вышло немецкое издание книги). На страницах справочной литературы того времени формировались стандарты библиографических ссылок, указателей, использования иллюстраций, рождалась технология управления текстовой информацией, основанная на дихотомии текста и второстепенных по отношению к нему паратекстовых элементов — с этих позиций Сергеев рассматривает особенности титульного листа, предисловий, списка источников и средств навигации в изданиях труда Ликосфена. Участники дискуссии провели параллель с современной цифровой гуманитаристикой, решающей, по сути, ту же проблему информационной перегрузки и разделения уровней текста при помощи новых компьютерных технологий.

*Инна Меркулова* (ГАУГН, Москва), продолжая традиции московско-тартуской и парижской семиотических школ, отметила особую востребованность семиотических методов в изучении взаимодействия вербальных и визуальных средств выражения. Доклад «*Периферийная пунктуация и окружение текста: семиотические аспекты*» был посвящен графической форме современных французских рассказов и новелл, причем наряду с печатными рассматривались издания на электронных носителях. Вопрос, поставленный Меркуловой, касался возможностей периферийных элементов в маркировке полифонии высказываний. На примере множества изданий французской беллетристики последних десятилетий докладчица показала, как полифония высказываний выражается с помощью визуальных средств (например, энонсиативная дистанция выражается с помощью курсива; курсивом также выделяется «семиотическое тело» высказывания). Во время обсуждения доклада был снова затронут вопрос о роли издателя в установлении конечной формы печатного текста (в том числе его периферийных элементов).

В конце второго дня конференции с онлайн-докладом «*“Мф. VI, 9” или “Матфея, 6, 9”?* Ссылки на библейские стихи как культурный маркер» выступил *Нияз*



Киреев (Высшая нормальная школа, Париж / НИУ ВШЭ, Москва). Сперва докладчик обратился к истории издания библейского текста и особенно к появлению стандартной разбивки на главы и строки, сложившейся благодаря деятельности парижского королевского типографа Робера Этьенна. Такое деление было необходимо как для богослужения, так и для экзегезы Священного Писания; главное — оно позволило давать точные ссылки на цитируемое место Библии. Киреев отметил, что до сих пор в русскоязычной литературе нет единообразия в такого рода ссылках: варьируются как пунктуация, форма числительных, так и сокращения названий книг (Мф, Мтф; Мк, Мрк; Иоан, Ин). Сами сокращенные написания более характерны для церковно-богословских текстов. Несмотря на изучение значительного числа источников (по НКРЯ), исследователю, кажется, не удалось найти строгих закономерностей, связывающих те или иные формы сокращений в ссылках с функциональными особенностями текстов или определенными категориями авторов. После доклада слушателями было отмечено, что более продуктивным может оказаться сфокусированный анализ особенностей таких ссылок в конкретных сочинениях, изданиях, у отдельных авторов и т.д.

Первая секция третьего дня конференции — «Работа паратекста» — была посвящена прагматике паратекстовых явлений и открылась докладом Александры Дугушиной (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург) «*“Тьфу-тьфу-тьфу” в российском материнском блоггинге: вербальный оберег и метатекстовый элемент*». Исследовательница рассмотрела примеры функционирования формулы «тьфу-тьфу-тьфу» и ее вариантов при обсуждении маленьких детей в родительских блогах, публикуемых в трех известных социальных сетях. Подобными вербальными оберегами сопровождаются благопожелания, похвалы, рассказы о положительных сдвигах в развитии ребенка. Дугушина трактует это явление как метатекст в понимании А. Вежицкой и М. Ляпон, которые подчеркивали его способность корректировать речевой поступок или контролировать речевой замысел и последствия высказывания<sup>16</sup>. Его функция в родительском блоггинге может состоять в выстраивании новой цифровой солидарности через соблюдение коммуникативных конвенций, традиционных для устного офлайн-общения.

Екатерина Руднева (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург) в докладе «*Функции хезитаций во взаимодействии: пара- vs. мета-*» обратилась к хезитациям в устной речи, а именно паузам, как заполненным, так и не заполненным звуками. Докладчица отказалась следовать традиции, отводящей таким явлениям область «паралингвистики», поскольку они иногда не только превосходят «основную» реплику по объему, но и определяют понимание высказывания, сообщая ему сомнение, превращая «да» в «нет», маркируя вкрапление чужой речи или отношение говорящего к теме, смягчая угрозу и т.п. Современные теории рассматривают их как функциональные перерывы для планирования дальнейшей речи и организации взаимодействия с собеседником. Впрочем, участники дискуссии отметили, что на практике в силу стереотипа хезитация часто интерпретируется только как признак когнитивных затруднений.

Алишер Шарипов (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург) в докладе «*“У тебя дух предка на плече”: прагматика спонтанного медиумизма в интервью с шаманкой*» предложил рассматривать сеанс контакта с духом, который устроила вьетнамская шаманка во время исследовательского интервью, как околотекстовый элемент — своего рода «примечание» к беседе, призванное продемонстрировать ее умения в деле. Шарипов отметил, что если внутри взаимодействия «примечание» вы-

16 См., например: Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст: к типологии внутритекстовых отношений. М.: Наука, 1986.

полнило свою функцию, и он был искренне впечатлен явлением духа, то позднее, когда он несколько раз пересмотрел видеозапись этого эпизода, первоначальный эффект был разрушен, поскольку он смог разглядеть приемы, которые использовала его собеседница для управления его вниманием. Эти приемы — не только слова, но и жесты, направление взгляда, расположение тела в пространстве — тоже могут анализироваться как паратекстовые элементы. Обсуждение после доклада касалось преимущественно этического вопроса — допустимости «разоблачения» действий информанта — участника интервью.

Завершилась секция онлайн-докладом *Юлии Драчевой* (ВоГУ, Вологда / Вологодская духовная семинария) и *Елены Кириловой* (Вологодский педагогический колледж / Вологодская духовная семинария) «*Паратексты, манифестирующие православную веру, и их влияние на восприятие текста*», который был посвящен особенностям представления книг в электронных библиотеках на православных интернет-порталах. Докладчицы проанализировали паратексты, сопровождающие размещение на православных сайтах сочинений богословов и художественной литературы и призванные рекомендовать их к прочтению. Помимо содержательной аннотации, важную роль играют церковный сан автора и другие биографические сведения о нем (на форумах пользователи обсуждают, например, вопрос, можно ли верить человеку, который называет себя священником, лишившись сана), название (православного) издательства, выражение благодарностей. Публикация светских книг (А. Конан Дойла, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Бернетт и др.) сопровождается истолкованием их сюжета как представления Божественного промысла; в онлайн-библиотеках имеется и специальный раздел, посвященный сочинениям, которые не следует изучать православным читателям. Во время обсуждения был затронут вопрос об использовании кириллического шрифта в оформлении православных порталов как маркера (впрочем, менее надежного, чем рассмотренные) соответствия текстов православной доктрине.

Секция «Условия хранения» открылась сообщением *Натальи Комелиной* и *Арины Бильдюг* (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) «*Сию книгу читал, а ничего не сказал, хорошо ли или погрешительно писано*»: *заметки на полях рукописей крестьян-поморов*». На полях, форзацах и пустых листах рукописных книг старообрядцев Зимнего берега Белого моря можно найти пометы, оставленные владельцами книг в XIX—XX веках. Это записи о продаже и покупке книг, восполнение утраченного оглавления или заглавия, подчеркивания, сообщения о прочтении книги, которые могли складываться в читательские дневники. Другие заметки не связаны с содержанием книг: пробы пера, фенологические наблюдения, записи о важных событиях жизни — свадьбе, строительстве дома, покупке корабля, потере коровы. Записи об усопших повторяются из книги в книгу — для их поминания потомками. Такие фрагменты семейной хроники связывали книги с конкретной семьей. В дискуссии после доклада был поднят вопрос о необходимости специфического наименования для записей или иных дополнений (закладки, посторонние листы), которые, в отличие от паратекста, не связаны с содержанием сочинения, имеют случайный или практический характер.

Доклад *Марии Шекокихиной* (МПГУ, Москва) «*Письменные памятники как объект юриста и историка. Описание документов в Европе XVII века*» завершил секцию и конференцию в целом. Размышления эрудита XVII века Жана Мабильона о критериях установления подлинности документов оказали существенное влияние на становление источниковедческих дисциплин, но при этом, как подчеркнула докладчица, сам он рассматривал подлинность преимущественно в юридическом смысле, а не в историческом. Как было отмечено одним из слушателей во время дискуссии, подход Мабильона существенным образом отличался от гума-

нистического: если гуманисты видели в ошибках в античных текстах позднейшие искажения, которые внесли переписчики и которые следует устранить (произведя эмендацию), то Мабильон работал с ошибками как с приметамы эпохи и свидетельствами подлинности документа. Также был поднят вопрос о статусе подделки: можно ли считать подделку своего рода комментарием ее создателя к имитируемой исторической эпохе? В этом случае подделку можно сравнить с метаязыковым комментарием.

\* \* \*

Функцию паратекста по отношению к кратко резюмированным секциям выполняли разговоры-маргиналии — рядом, между и после пунктов программы. Здесь то и дело звучал спонтанно возникший дистих-пароль «Привет // Женетт» (который мог бы открывать доступ к кофе-брейкам), фантазировалось о модном показе на возможной будущей конференции (с отсылкой к «одежде мыслей» — то ли Джонсона, то ли Горького), обсуждались центр и периферия меню соседних кафе, рисовались маршруты и карты. Не всегда получается *post factum* установить связь многих паратекстов с основным текстом, однако те из них, которые определенно продолжали или ставили под сомнение реплики докладчиков, мы постараемся обобщить и структурировать ниже — увы, неизбежно обрезая поля, подобно искусным, но строгим переплетчикам Нового времени.

Главным и наиболее острым оказался вопрос о продуктивности постулирования дихотомии «текст — паратекст» (или, шире, «текст — околотекстовые элементы») применительно к различному языковому и культурному материалу. В действительности, многие участники, узнав о конференции и готовясь к ней, *впервые* попробовали применить эту модель описания к своему материалу — и теперь делились соображениями об успешности и эвристической целесообразности этого опыта, взвешивали аргументы «за» и «против».

С одной стороны, нечеткость и непоследовательность в разграничении текста и его периферии наглядно следовала из многих *case studies*, представленных в докладах. Подобно фигуре и фону на знаменитых изображениях гештальтистов (ваза или два профиля?), текст и «околотекст» могут меняться местами в зависимости от позиции создателя (создателей) произведения и его читателя. Для верстальщика газеты макет страницы будет не периферийным, а основным компонентом по отношению к публикуемым текстам. Для исследователя вьетнамского шаманизма сеанс вызывания духа во время интервью с медиумом может оказаться важнее, чем само интервью, которое — с его точки зрения — только комментирует эту практику. Легко представить ситуацию, когда читателя интересуют в книге только сноски, библиография или указатель. В связи с этим звучало предложение отказаться от очевидно иерархического деления и говорить, например, об отдельных высказываниях в сети отношений (вслед за М. Фуко).

С другой стороны, неоднократно было показано, что, по крайней мере, образованные носители городской культуры легко считывают присутствие и работу различных видов паратекста в печатных, интернет-изданиях и других носителях информации. При этом различные материальные среды создают неодинаковые условия для манифестации и функционирования дихотомии «текст — паратекст». Бумага и печатный станок придают соотношению текста и периферии явный и регулярный характер, в то же время оставляя пространство для посторонних записей, индивидуальной рефлексии каждого читателя. Цифровая среда, заметно ориентируясь на книжную традицию в вопросах иерархии и визуализации, предлагает жестко организованную инфраструктуру со стабильной границей основного «текста» и

комментария (в том числе в форме изображений или мемов). Напротив, в устной речи существование околотекстовых элементов отрефлексировано хуже всего, часто воспринимается как необязательное, периферийное и подвергается пейоративным оценкам. Их изучением занимаются при помощи технологий аудио- и видеозаписи, ведь, разворачиваясь во времени, устное взаимодействие дает очень ограниченные возможности для спонтанного анализа. В этой связи интересными представляются возможности нарочитого маркирования «паратекстов» устной речи (в том числе интонации и хезитаций) при ее передаче на письме.

Размышления об «околотекстовых» элементах в различных медийных средах и в разные эпохи, так или иначе, выходят на более общие проблемы организации информации и управления вниманием и, таким образом, требуют привлечения инструментария когнитивной психологии, кибернетики, информационного менеджмента и др. Стремительная цифровизация всех сфер нашей жизни делает насущным разговор о причинах и последствиях информационных революций раннего Нового времени или XIX—XX веков и о принципах взаимодействия и структурирования текстовой, аудио- и визуальной информации в новых медиа. Таким образом, мы надеемся, что начатый в 2023 году в стенах ИЛИ РАН разговор будет продолжен.

*Александра Касаткина, Михаил Сергеев*

## Guilty Pleasure:

РИТОРИКА СТЫДА И ВИНЫ  
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Международная конференция  
**«Предосудительные удовольствия:  
стыд, лицемерие, репрезентация»**

*(ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, «Новое литературное обозрение»,  
13—14 ноября 2023 года)*

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_416

13—14 ноября 2023 года в онлайн-формате при поддержке издательства «Новое литературное обозрение» прошла конференция «Предосудительные удовольствия: стыд, лицемерие, репрезентация». Идея конференции, как она была сформулирована ее организатором *Константином Богдановым* (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) состояла в следующем: «Предосудительное, или постыдное, удовольствие (guilty pleasure) — словосочетание, вошедшее в коммуникативный обиход для определения чувства вины за пристрастия, которые, не будучи криминальными, почему-либо считаются социально предосудительными. Мера такой предосудительности устанавливается субъективно, но связываемое с нею чувство вины и стыда обладает социально значимым характером — как практика адаптации к нормам и ценнос-

тям, которые воспринимаются субъектом в качестве “правильных” или “неправильных”, общественно одобряемых или неодобряемых. Психологическая роль guilty pleasure описывается в исследовательской литературе как инструмент саморегуляции — практика допустимых запретов и разрешений, конфликт внешнего и внутреннего “самосоответствия” и, помимо прочего, лицемерия. При этом, как и любое психологическое явление, guilty pleasure наделено культурными импликациями, отсылающими к опыту традиции и навыкам коллективно надлежащей саморепрезентации. Как выстраивается такая репрезентация в русской (и не только в русской) культуре, что и почему в ней считалось и считается постыдным?»

В приветственном слове к участникам конференции *Ирина Прохорова* («Новое литературное обозрение», Москва) отметила, что интерес к репрезентации этических норм в обществе — тема по определению междисциплинарная, объединяющая усилия исследователей в разных областях знания и потому поучительная как в содержательном, так и методологическом отношении, а именно в прояснении теоретических возможностей гуманитарного знания как области ответственных и доказательных суждений о человеке и обществе. Во вступительном слове Константин Богданов напомнил, что эмоции и чувства — это еще и слова, присутствие которых в культуре обнаруживает свои идеологические причины и следствия. Для филолога, отваживающегося заступать на территорию смежных дисциплин, интерес к таким словам тем оправданнее, чем он дотошнее — при внимании к различным контекстам их появления и употребления. Такими являются и те слова, которые вынесены в название конференции.

Конференция открылась выступлением *Георгия Хазагерова* (независимый исследователь, Ереван, Армения) «*Новая неискренность*», посвященным напускному инфантилизму писателей и ученых как защите от стыда в условиях советской цензуры. Исследователь разделил цензуру на запретительную и положительную, предписывающую обязательное употребление ритуальных фраз. Часто недооцениваемая позитивная цензура нарушает негласную договоренность между пишущими людьми: пиши о том, о чем ты хочешь. Нарушение этой договоренности означает для автора стыд и неловкость, а спасение видится в инфантильной позиции. Исторически отношения между требованиями советской идеологии и реакцией на этот запрос ученых и писателей менялись: от альянса с авангардом 1920-х (искренние, детские черты Маяковского) через переход от гиперболы к символу (любая печь — выплавляет новую жизнь, любая стройка — стройка коммунизма и т.п.) до симулякра (легендарные иллюстрации из «Книги о вкусной и здоровой пище» образца середины 1950-х), развернутой стилистической системы общих мест и синтагматических ассоциаций («Учебный словарь сочетаемости слов русского языка» под редакцией И.Н. Денисова и В.В. Морковкина, дежурные цитаты, порождающая грамматика по типу «реки — плодородные», «классы — просторные») и стеба. Именно стеб Георгий Хазагеров считает концом развития инфантилизма, тупиковой ветвью его эволюции<sup>1</sup>. В дискуссии речь зашла о возможной креативности инфантилизма и стеба. Георгий Хазагеров склонен думать, что ни о какой креативности в этом случае говорить не приходится; более того, то, что мы склонны принимать и прощать эти явления, говорит скорее и о социальном инфантилизме. В размышлениях же о том, насколько была искренней «новая искренность», Хазагеров подчеркнул важность установления не границы, но тенденции, соотношения искренности и лжи.

1 Подробнее см.: *Хазагеров Г.Г.* Стеб как социально-культурный феномен: «культурная самооборона» или «нравственная амбивалентность»? // Коммуникативные исследования. 2023. Т. 10. № 3. С. 474–486.

Психиатрический разворот темы конференции представил *Иосиф Зислин* (независимый исследователь, Иерусалим, Израиль) в докладе «*Неправедная радость и м(у)ссия поневоле в структуре бреда*», посвященном опыту структурно-семантического анализа текстов бреда в противовес распространенной классификации по сюжетам, которая, по мысли исследователя, путана и мало полезна и клинически, и содержательно<sup>2</sup>. Структурно-семантический анализ предполагает сложную структуру с персонажем (я, агенс) в центре, а также выделение некоего особого качества этого персонажа, которое может восприниматься как негативно, так и позитивно, — и отношение персонажа к этому качеству. Например, пациент полагает, что является избранным, мессией (положительное качество), но он не хочет быть таковым и просит освободить его от этого бремени (негативное отношение к особому положительному качеству). Иосиф Зислин приводил примеры таких схем не только из своей практики, но и из истории, распределяя царей, пророков, монахов, юродивых по шкале агенсов и рефлексивных auto функций. «Любимым» бредом самого врача является бред любовного очарования. Интересно, что рефлексивная функция отношения к своему особому качеству или кому-либо/чему-либо особенно вне себя есть признак личности, а не психоза. С этим связана сложная диагностика детей: чтобы ребенок начал бредить, у него должен появиться набор сюжетов. В старости эти сюжеты уходят.

В дискуссии предсказуемо возник вопрос о сближении художественных текстов с врачебной практикой в стиле «Психологического литературоведения» В.П. Белянина, когда любой текст любого писателя может стать полем для аналитики психиатрической. По этому поводу Иосиф Зислин разумно заметил, что художественные тексты, похожие на бред, таковым не являются, и психиатрам не следует в этом обманываться.

В филологическую плоскость конференцию вновь перевела *Ирина Савкина* (Университет Тампере, Финляндия) выступлением «*“Стыд и срам”: женское чтение и письмо в литературе первой половины XIX века*», целью которого было продемонстрировать, как и почему проникновение женщины в запретное пространство библиотеки изображалось как постыдное удовольствие, а женское письмо — как бесстыдное. Безусловно, уже не раз исследованный сюжет было интересно представить в контексте конференции как (не)лишнее напоминание о том, до какой степени лицемерия и неумного морализаторства может дойти любое, даже на первый взгляд просвещенное человеческое общество. Итак, книга изображается как развращение барышни, более того, чтение искушает девушку на дальнейший разврат — самостоятельное творчество. Критиками женской эмансипации в повестях С. Победоносцева, в сочинении Рахманного (Н. Веревкина) «Женщина-писательница» (1837) фактически ставится знак равенства между публикующейся женщиной и женщиной публичной, а перо для письма приобретает фаллические ассоциации. Писательницы того времени, разумеется, не оставляют без внимания подобные общественные настроения и реагируют на них по-своему. В докладе Ирина Савкина анализирует произведения Елены Ган («Напрасный дар», 1842), Александры Зражевской («Зверинец», 1842), Каролины Павловой («Двойная жизнь», 1844—1847), Надежды Соханской («Автобиография», 1846), в которых чтение и желание писать описываются как грех, страсть или вызов.

В дискуссии после доклада Константин Богданов упомянул книгу Томаса Лакера «*Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation*» (2003), в которой понятие мастурбации соотносится с историей запретов как таковых. Под таким углом зрения

2 Подробнее об этом методе см.: *Куперман В., Зислин И.* К структурному анализу бреда // Солнечное сплетение. 2001. Т. 18—19. С. 254—270.

запрет на чтение (про себя) и письмо (для себя) позволяет нам уточнить общую картину запретительных мер социальной (само)идентификации.

*Светлана Волошина* (РАНХиГС, Москва) в докладе «*Главная версия этой срамной истории*»: записки М.А. Корфа о постыдных удовольствиях других» проанализировала дневник государственного деятеля Модеста Андреевича Корфа (1800—1876) с точки зрения истории жанра и случаев описания им скандальных происшествий и интимных фактов биографии своих современников. Большая часть заметок Корфа обращена к политическим сюжетам, городским происшествиям, жизни аристократов и высоких чинов. Начало дневника относится к 1838 году, и уже с 1840 года все больше внимания автор уделяет анекдотам о разных постыдных событиях и физиологическим подробностям, при этом просто рассказывая, докладывая о подобных происшествиях, не осуждая их героев; ничего подобного о себе он при этом не пишет. Мотивации для записи подобных сюжетов могут быть разными: возможно, М.А. Корф полагал интимную жизнь важной частью жизни государственной. Пример стыдных и постыдных подробностей этого дневника можно привести в широком контексте формирования нормативной рамки дозволенного и запрещенного.

Доклад Константина Богданова «*Риторика приспособления. Пьянство и русская литература*» был посвящен обзору подходов к изучению алкоголических сюжетов и сопутствующих им авторских репутаций. В каждом конкретном случае это персональные истории, но и персональные истории, как подсказывают медики, позволяют судить об общем фоне типологически схожих случаев. Обзор «алкогольной темы» в русской литературе без сомнения мог бы послужить материалом обширного исследования, но его ключевые слова находятся несложно: с одной стороны, это бегство от рутины повседневности, забвение, восторг и вдохновение, с другой — горе, но и жертва, безысходность, но зато и жизненная правда, сострадание и любовь. Применительно к российской культуре показательным и важным здесь остается столкновение собственно поведенческих и дискурсивных моделей риторики, а ведущей темой — пьянство как своего рода путь самопожертвования, богоискательства и морально-нравственного преображения.

В докладе «*Обнаженная натура в “новом искусстве”*: стратегии деэротизации» Анна Петрова (Музей русского импрессионизма, Москва) проследила историю обнаженной натуры, «легализацию» и оправдание этого жанра в европейской и русской живописи конца XIX — первой четверти XX века на фоне изменений социальных и экономических условий жизни.

*Елена Куранда* (независимая исследовательница, Санкт-Петербург) в докладе «*Мечта о маленьком доме как guilty pleasure Игоря Северянина*» рассмотрела стихотворение 1915 года «Поэта Русскому Обществу» с финальным призывом: «Русское общество! Дай же мне маленький дом!» Исследование основано на архивных материалах и текстологических наблюдениях, ведь речь идет о никогда не публиковавшемся тексте, изначально написанном для шестого тома «Собрания поэт» «Тост безответный» (1916, изд. В.В. Пашуканиса). Стихотворение не опубликовано до сих пор (сохранилось в наборной рукописи) и упоминается только в словаре неологизмов Северянина из-за слова «жизненосец». Вследствие этого содержание доклада касалось не репрезентации стыда / постыдного удовольствия, а сокрытия этой репрезентации в творчестве Северянина. Докладчица сосредоточилась на причинах того, почему мечта о доме, полученном от Русского общества, казалась поэту постыдной, видя одну из них как литературоцентрическую, которая восходит к оппозиции «поэт — буржуазное общество», имеющей большое значение в литературной традиции, в том числе в творчестве Игоря Северянина.

Константин Богданов обратился к докладчице с вопросом: был ли, по ее мнению, поэт цельным, последовательным художником и человеком или он всю жизнь

примерял на себя разные маски? Ответ докладчицы однозначен: Северянин был цельным, работоспособным и трудолюбивым художником, а его тексты следует рассматривать как личный и откровенный дневник.

В следующем выступлении, «*Некоторые замечания об обэриутских guilty pleasure*», Александр Кобринский (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) рассмотрел в своем докладе критерии понятия «guilty pleasure» у обэриутов, показав, что они ориентировались на целый ряд разнонаправленных эстетических векторов, формировавшихся как в широком пласте русского авангарда, так и внутри небольшой группы единомышленников, поэтов и философов. При этом было показано, как на практике могут смещаться и инверсироваться представления о массовости и элитарности, коммуникации и автокоммуникации, авангардности и традиционности, а также о явлениях быта и литературы. Так, в частности, докладчик рассказал о том притяжении и отталкивании, которое испытывали обэриуты по отношению к Борису Пастернаку. В 1926 году Даниил Хармс и Александр Введенский писали к нему с просьбой о публикации в альманахе объединения «Узел», но уже к 1934 году их отношение по разным причинам сменилось на резко негативное, а чтение стихов Пастернака стало восприниматься как постыдное guilty pleasure и перформатив, разрушающий эстетические представления обэриутов.

Алина Соломонова (Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург) посвятила свое выступление «*От постыдного удовольствия к “Межработфильму”*»: эскиз к истории кинопросмотров в России и Германии в первой трети XX века» практикам кинопросмотра и коммуникации с оглядкой на пропаганду, социальную критику, стратегии обхода запретов провокационных тем, попытки воспитания зрителя. Докладчица задалась вопросами: могут ли быть объединены методология истории кинопросмотров и методология истории чтения? что считалось в эстетике раннего кино постыдно дурным вкусом? Виктор Шкловский писал в статье «Сюжет в кинематографе», что измученные работой писатели придумали «машинку для сюжетов»: клишированные ситуации и предсказуемый набор героев. Визуальная шаблонность и постыдно банальные штампы (например, связанный персонаж на рельсах) непримиримо порицались многими критиками. Так, Лотта Эйслер писала о фильме «Фауст» признанного режиссера Фридриха Мурнау: «сцены, напоминающие лубочные открытки».

В дискуссии после доклада речь зашла о методологии исследования зрительского восприятия: насколько можно доверять жанру «письма в газету» и публичным отзывам? Ответ на этот вопрос требует своих оговорок и остается открытым.

Второй день конференции открылся докладом Виктора Вахштайна\* (Ариэльский университет, Израиль) «*Лицемерие и морализаторство: два основания социального порядка в микросоциологии*» о концептуализации лицемерия в социологии с опорой на работу «Анализ фреймов» Ирвинга Гофмана. В свете микросоциологии базовая аксиома лицемерия определяет социальную жизнь, а уличение в guilty pleasure разрушает не только репутацию человека, но и наше представление о своей самоидентичности: всего лишь одно неверное действие заставляет нас сомневаться во всей жизни и всех действиях «оступившегося». Институциональные формы обвинения в постыдных удовольствиях продолжают изменяться — от коллективного суда на партийном собрании до коллективного же осуждения студентами профессора, чье пристрастие к эротическим фильмам случайно и неловко раскрывается публично: современное негодование, помноженное на возможности социальных сетей, представляет собою смесь разговора на светской вечеринке и карательной службы по надзору за нравственностью граждан.

---

\* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.



Доклад Галины Лесной (МГИМО, Москва) «*Пьедестал или грязь*»: *Леся Украинка об образе “новой женщины” во французской беллетристике конца XIX века*» рассматривал отношение писательницы к «женскому вопросу» в литературе. Цитата, вынесенная в заглавие доклада, относится к статье самой Леси Украинки «Новые перспективы и старые тени», напечатанной в петербургском журнале «Жизнь» в 1900 году. Женская эмансипация для писательницы представлялась ключевым вопросом в мировой литературе, поскольку по положению женщины можно судить обо всем обществе. В своем критическом отклике Леся Украинка заключает, что французская литература, в прошлом создав яркие стереотипы женских образов, отстала от времени и от развития других мировых литератур и не способна преодолеть рамки комплимента (пьедестал) или брани (грязь) по отношению к женщине. Женская тема, по мнению Леси Украинки, достигла большего развития в норвежской, немецкой и русской литературах: «Тем временем именно за эти последние тридцать лет литература о женщине и сама женщина значительно прогрессировали в других странах. Дальше всех пошла в этом направлении Россия, где женский вопрос считается теоретически решенным, да и практически женщина там пользуется гораздо большей материальной и нравственной независимостью, чем в Западной Европе, что сразу бросается в глаза даже поверхностному наблюдателю и лучше всего чувствуется самой русской женщиной, когда ей приходится попадать в западноевропейскую обстановку». Лицемерие же, по мнению писательницы, заключается в том, что французская литература считается самой передовой не по праву, а по способности облекать средние мысли в «эффектные одежды».

*Людмила Кастлер* (Университет Гренобль-Альпы, Франция) в докладе «*Невыносимая легкость постыдных удовольствий (через призму Чехова)*» уделила внимание репрезентации тех чеховских персонажей, которые, будучи гедонистами, испытывают некий стыд или конфуз перед окружающими за свои предосудительные пристрастия. Прежде всего, это Леонид Андреевич Гаев, хрестоматийный бонвиван из пьесы «Вишневый сад», которому автор приписал массу забавных удовольствий. Некоторые из них, как, например, склонность к высокопарным речам, не одобряются его окружением. В содержательном и этическом плане интересно то, что чувство стыда у Гаева (иногда наигранное) подчеркивает искреннее чувство вины у его сестры Раневской.

*Элеонора Шафранская* (МГПУ, Москва) посвятила свое выступление «*Случай Усто Мумина*» драматической судьбе художника Александра Васильевича Николаева (1897—1957). В 1920-х годах он переезжает работать в Самарканд и под влиянием нового культурного окружения изменяет всю свою жизнь, берет псевдоним, под которым и войдет в историю искусства, увлекается исламом, якобы даже принимает его (что не доказано) и создает фантастические картины, часто портреты восточных юношей, которые впоследствии и дадут повод к пересудам о «постыдных удовольствиях» и возможной гомосексуальности художника. В 1938 году художник был арестован НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности, освобожден в 1942 году, продолжил работать в Ташкенте, но своих изящных и загадочных юношей больше не рисовал. Для Элеоноры Шафранской вопрос о личных предпочтениях художника остается открытым, она также справедливо указывает, что само восприятие его картин 1920-х как «гомоэротичных» — лишь одно из возможных определений его уникальной художественной системы<sup>3</sup>. Этот доклад дал повод лишний раз задуматься о том, как часто мы пытаемся упростить искусство и поставить его на службу политике, идеологии, социальному порядку, забы-

3 Подробнее о жизни и творчестве Усто Мумина см.: *Шафранская Э. Усто Мумин: превращения*. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2023.

вая о том, что художник — мастер превращений, путешественник, странник и в своем искусстве всегда больше наших узких представлений о его исторической личности.

Следующим выступил *Михаил Егоров* (Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского) с докладом «*Приличное неприличное: удовольствия в романе Эдуарда Лимонова “Это я — Эдичка”*». По мнению исследователя, роман Лимонова интересен тем, что его автор последовательно инсценировал предпочтение удовольствиям трансгрессивным, бесстыдным, выглядящим более объемными, выпуклыми в общей структуре сюжета. Удовольствия же, общественно поощряемые, словно бы имеют иллюзорную основу, всегда оказываются связаны не только с положительными, но и в первую очередь с негативными эмоциями. «Запретные» удовольствия и «разрешенные» относительно друг друга выступают в романе чем-то вроде дерридианского восполнения (supplement), как помехи друг другу, которые в то же время являются необходимыми условиями для возможности обоюдного отчетливого существования и восприятия.

В докладе *Марии Александровой* (Нижегородский государственный лингвистический университет) «*Аморалка” и “человек желающий”: “Ванька Морозов” Булата Окуджавы в контексте советской культуры»* были рассмотрены сюжеты стремления к общественно порицаемому удовольствию и платы за него на примере «Ваньки Морозова» (1957) Булата Окуджавы, «Красного треугольника» (1963) Александра Галича и «Невидимки» (1967) Владимира Высоцкого. К анализу этих произведений докладчица привлекла концепции «советского человека» Юрия Левады и «ложной аскезы» Михаила Эпштейна, фиксирующие тенденцию советской культуры контролировать желания, осуждать заинтересованность в личном удовольствии и выдавать нужду за добродетель. В такой системе ценностей допустимо лишь коллективно переживаемое удовольствие, наслаждение как плата за труд. «Человек желающий» всегда под подозрением, а его удовольствия всегда постыдны и требуют общественного порицания. Окуджава, Галич и Высоцкий в своих произведениях отвоевывают «человека желающего» у общественной морали.

Доклад *Ярославы Захаровой* (Мюнхенский университет им. Людвига и Максимилиана, Германия) «*Стыд за литературу и границы интерпретации: Вебер против Пригова»* посвящен попыткам наметить антропологическую перспективу в вопросах оценки художественного произведения и прояснить роль личных мотиваций таких оценок на примере журнальной полемики 2005 года между поэтом и переводчиком Вальдемаром Вебером и художником Дмитрием Приговым на страницах журнала «Иностранная литература».

В докладе *Веры Полищук* (независимая исследовательница, Санкт-Петербург) «*Вуайеристические мотивы в прозе Набокова»* речь шла о том, какие функции выполняет описание социально порицаемых и табуированных сексуальных практик, вуайеризма и вуайеризма в сочетании с мастурбацией. В частности, была рассмотрена сопоставимость этих описаний с широко представленными вариантами подглядывания и соглядатайства в целом, от шпионажа до охоты. Основную задачу своего сообщения докладчица сформулировала как еще одно указание на связь между совокупностью сексуальных мотивов и общей темой зрения и слепоты — ключевой, по ее убеждению, в набоковской концепции творчества и мироустройства.

В докладе *Гульчиры Гариповой* (Московский городской педагогический университет) «*Сублимация стыда в этике “разрушающего эроса”: художественные репрезентации второй половины XX — XXI в.»* был представлен компаративный анализ сублимации стыда иеротопического пространства-сознания рефлексирующего героя в русской романистике второй половины XX — XXI века. Сублимацию стыда, по ее мнению, организует антиномизм чувства стыдливости и эмотивного

состояния наслаждения, будучи вместе с тем защитным механизмом психики, ответной реакцией на подавление страха «узнавания». Такой стыд фиксирует не социальные составляющие стыда узнавания, а именно экзистенциальные, связанные с проблемой личного самоузнавания или с сексуальными импульсами, инвестированными в «я». Так, в рассказе А. Битова «Пенелопа» герой сублимирует стыд через иллюзию своей «независимости», освобождает себя от ответственности, а страх социального узнавания выражается в тревожных переживаниях «недоброкачественного стыда» (И. Роднянская), предосудительного удовольствия от осознания своего превосходства и предвкушения сексуального удовлетворения. В романе Петра Алешковского «Рыба. История одной миграции» стыд узнавания запретного сакрального сублимируется в предосудительное наслаждение, стыд разрушения сокровенного «телесного» сублимируется в эмпатическую боль и эмпатическую любовь-самопожертвование как высший смысл бытия героя «пришельца-неофита». В романе Анри Волохонского «Роман-покойничек» бесстыдная «плоть тела города» становится сквозным образом, который разворачивает картину «плоти тела имперского мира». В романе Киора Янева «Южная Мангазея» практически все героини свои экзистенциальные и социальные страхи, неприятие «имперского мира» сублимируют в стыд бесстыдства, но не как нравственное чувство, а как порождаемый загнивающим миром «классический набор атавизмов, стыдный для арийской расы», прикрываемый эротическим удовольствием и безумием как знаками безумной имперской (опять же советской) эпохи.

В целом тематическое и дисциплинарное разнообразие конференции (не)лишний раз напомнило об изменчивости как самих чувств и эмоций, так и непостоянстве регулирующих их норм. Литература и искусство — опыт экспериментальной и визионерской проверки социальных условностей «на прочность», разработки сценария еще не существующего, но возможного мира, открывающего доступ к сфере Воображаемого. Внимание к метаморфозам индивидуального самоощущения и стремление контролировать его предписаниями политического и социального приоткрывает то обстоятельство, что эти предписания не даны как таковые, но создаются теми, кто использует их в качестве идеологической ширмы «социального порядка», «вечных истин» и т.д. Но история культуры, вопреки всему, обнажает спорные вопросы тем, что создает и пересоздает все новые пространства «предосудительных удовольствий».

*Ярослава Захарова*

# Автофикшен в контексте современности:

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Круглый стол

## «Автофикшен и новые автобиографические практики в русскоязычном пространстве»

(МГУ, 24 февраля 2024 года)

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_189\_5\_424

Автофикшен — режим письма, в рамках которого авторы настаивают на автобиографическом тождестве рассказчиков и героев, соединяя в тексте факты биографии с художественным вымыслом. Его жанровые границы сложно определить, так как такого рода письмо предполагает смешение романной формы с эссе, дневниковыми записями, мемуарами. Зачастую автофикшен — это письмо не только о травматичном опыте, но и о прошлом, которое становится частью автобиографического повествования, как правило, от первого лица.

С момента, когда Серж Дубровски впервые определил свой роман «Fils» как «автофикшен», прошло более сорока лет. В конце 1970-х годов во Франции эксперимент Дубровски получил обширный теоретический отклик. Природу текстов, сочетающих в себе и факт и вымысел, пытались определить многие теоретики: Филипп Лежен, Венсан Колонна, Филипп Гаспарини, Жерар Женетт, в том числе и сам Дубровски, окруживший внутри и снаружи свои тексты автотеорией<sup>1</sup>. Было ли нововведение автора свидетельством кризиса интеллектуального доминирования постструктуралистской теории<sup>2</sup> или маркировало процесс размытия литературных жанров — «автофикшен» вошел терминологически и практически в разноязычные практики письма.

К концу 2010-х годов разговор о природе автофикшена как о литературной практике письма снова стал актуален, в частности благодаря появлению новых имен в русскоязычной литературе. Если в западноевропейском литературоведении дискуссии вокруг автофикшена продолжались с момента выдвижения Дубровски «патента» на новый жанр, то русскоязычной теоретической мысли пришлось заново реконструировать и создавать подходы к изучению данного явления. Круглый стол «Автофикшен и новые автобиографические практики в русскоязычном пространстве» стал площадкой диалога, в котором развернулась свободная дискуссия вокруг заявленной темы. Участники еще раз напомнили друг другу, что автофикшен — это живое явление, не ограничивающееся только академическим дискурсом, а предполагающее кооперацию авторов, издателей, переводчиков, литературных критиков и исследователей.

### Сущность автофикшена: теории, практики, подходы

Галина Юзефович (независимая исследовательница, Москва) в своем докладе «Автофикшен: история понятия и актуальные тенденции в России и мире» рас-

- 
- 1 Подробнее см.: *Fournier L. Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism. Cambridge: MIT Press, 2021.*
  - 2 *Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 12—40.*

сказала об истории и особенностях явления, сделав вывод о том, что автофикшен сегодня является едва ли не главным жанром современной литературы. Однако, отметила Юзефович, автофикшен отнюдь не новинка: жанр изобрел не автор этого термина Серж Дубровски. В литературе известны и более ранние произведения с подобного рода автобиографическими повествованиями. Первый писатель в этом ряду — Марсель Пруст. В его цикле «В поисках утраченного времени» прослеживаются черты автофикционального письма. Из более поздних примеров можно вспомнить Эдуарда Лимонова, чьей прозе также присущи автобиографизм и откровенность.

Говоря об отношениях между автором и героем, Юзефович поясняет, что в автофикшене они проблематичны — корреляцию между автором и его героем сложно определить. Популярности автофикшена способствуют три фактора: усталость от «классических» нарративов, рост значимости персонального опыта, стремление говорить об универсальном через частное. Критик обращает внимание, что важно не путать личный и травматичный опыт, так как автофикшен отнюдь не сводится к литературе травмы. Свой обзорный доклад Юзефович завершила перечислением особенностей автофикционального письма: отказ от традиционной нарративной структуры, замена сюжетного каркаса системой внутренних «рифм», переплетение персонального, семейного и коллективного опыта в рамках одного контекста.

Об опыте преподавания новых автобиографических практик рассказала исследовательница *Екатерина Лямина* (ИМЛИ РАН, Москва) в докладе «*Нон-фикшен и автофикшен — сообщающиеся сосуды или герметичные?*». Докладчица ставила перед собой задачу проследить, как менялись цели студентов, которые приходили на курс по изучению эго-документов с 2018 года. Для студентов важно обращать внимание на структурные и функциональные несходства некоторых жанров эго-документов. Например, студенту или студентке важно понимать, что дневник и воспоминания по-разному устроены и по-разному воспринимаются читателем.

В первый год Лямина со студентами обсуждала границы жанров внутри нон-фикшен-литературы. Позже среди студентов более приоритетным стал вопрос о соотношении вымышленного и фактологического в рамках одного текста. В последние годы, по замечанию исследовательницы, преподаватели все больше стараются развести художественное и нехудожественное повествования при разговоре об эго-документах, уравнивая самоценность обоих типов письма. Несмотря на все усилия, в своих работах учащиеся склоняются к фикциональности. В домашних заданиях студенты все больше беллетризуют автобиографическое повествование, выходя таким образом на «рецепт» автофикшена: соединение фактографического и вымышленного в тексте. Подводя итоги своего доклада, Лямина отметила интерес молодых людей, которые занимаются творчеством, к документальным текстам. Он заострен и направлен специфически — не на усвоение классификации внешних маркеров документальности и затем использование того, что оказывается полезным в «творческой лаборатории», а на восприятие и интериоризацию.

*Лариса Муравьева* (независимая исследовательница, Санкт-Петербург) в своем докладе «*Автофикшен и фотография: призрачный снимок от первого лица*» рассмотрела взаимосвязь новых автобиографических практик и фотографии как медиа, помещенного в пространство автофикциональной рефлексии. Первой пост-модернистской версией автобиографии докладчица называет роман «Ролан Барт о Ролане Барте» (1975) одноименного автора, который начинается с серии описаний фотографий. Позже Эрве Гибер в «Сюзанне и Луизе» (1980) практикует искусство фотокниги. Фотография, шедшая рука об руку с литературными экспериментами на всем протяжении XX века, в автобиографическом дискурсе становится способом конкуренции за память и право репрезентировать прожитые события. Фотоснимок,

по замечанию Муравьевой, отсылающий к реальности за его пределами, способен не только дополнять, но и замещать репрезентируемое прошлое или субъекта, изображенного на снимке. Однако мы можем проследить не только конкуренцию, но и сближение двух медиа. В прошлом веке этому способствовало несколько факторов: развитие искусства фотокниги и высокий издательский интерес к ним, а также «завороженность» как фотографов, так и писателей самим фотографическим жестом, способным трансформировать реальность: объектив фотографа удваивает ее или замещает фотоснимком, по-своему интерпретирует. Благодаря фотографии автофикциональное произведение расширяет границы опыта и границы чувствительности авторов и читателей: усиливается референциальность рассказанного, с помощью данного медиа выводятся новые стратегии саморепрезентации. В заключении Муравьева выделяет две возможные функции фотографии в автофикшене: ремеморация и производство аффекта через создание «места травматического». Первая функция заключается в том, что фотография не только отсылает к прошлому, но и воссоздает утраченное время через эмоции и аффект. Вторая функция воплощает себя в конструировании травматического пространства, например когда фотография помогает говорить о потере близкого человека.

После теоретических докладов об опыте практического взаимодействия с автофикциональными текстами рассказала переводчица *Шаши Мартынова* (Салоники, Греция) в докладе «*To do: позвонить автору. Переводчик и его настройки на работу с автофикшеном*». Она подчеркивает, что в работе с текстами, которые опираются на персональный опыт и перерабатывают его, важно личное общение с автором. Говоря о работе над книгой Оливии Лэнг «Одинокий город», Мартынова обратила внимание, что иногда коммуникация с автором осуществляется не напрямую. Лэнг в своем тексте исследует тему одиночества в большом городе, анализируя как личный опыт, так и опыт известных художников, например Эдварда Хоппера и Энди Уорхола. Переводчица отмечает, что для лучшего понимания текста ей помогло множество документальных фильмов о персоналиях, которые упоминаются в книге.

## Автофикшен в русскоязычном литературном пространстве

В настоящее время жанр автофикшен широко представлен на книжном рынке. О стратегиях работы российских издательств с русскоязычными автобиографическими текстами рассказала в своем докладе «*Публикация и продвижение автобиографического творчества: как издатели работают с новыми жанрами*» *Наталья Ломыкина* (МГУ). В докладе исследовательница выделила три ведущие стратегии бытования автофикшена в издательской сфере. Первой и самой очевидной стала практика издания автофикшен-текстов уже известных в литературном мире писателей. Издательство «Согрус» опубликовало роман Анны Старобинец «Посмотри на него» (2017), опираясь на устойчивый интерес и доверие своих читателей. Когда речь заходит об издательствах со сложившейся репутацией, то в поиске новых авторов они намеренно следуют популярному у читателей тренду: в качестве примера Ломыкина рассказала о романе Светланы Павловой «Голод» (2023), вышедшем в «Редакции Елены Шубиной». Создание в редакторском портфеле целого автофикшен-направления, в рамках которого открывается все больше новых имен, можно считать важной стратегией, которой, например, следует молодое прогрессивное издательство «Polyandria NoAge».

Проблему субъекта в современном русскоязычном автофикшене рассмотрел в докладе «*“Способ почувствовать себя живой”: герменевтика субъекта в русскоязычном автофикшене 2000—2020-х годов*» *Алексей Масалов* (РГГУ, Москва).

Исследователь показал, как в фокусе проблемы субъекта в XX веке, поставленной Мишелем Фуко в работе «Археология знания» (1969), обозначился авторский жест высвобождения субъективности из властных диспозиций. По Фуко, субъект представляет собой совокупность исторически сложившихся дискурсов; ту же проблему разрабатывал концептуализм по отношению как к идеологии, так и к самому художественному дискурсу, зафиксировав исчерпанность художественных языков. Однако уже сам Фуко, а также Джорджо Агамбен в эссе «Автор как жест» (2022), намечают выход из дискурсивной обусловленности субъекта. В русскоязычной литературе эксплицитно эту проблему ставит поэзия в 1990—2000-е годы, используя модус правдивости, в рамках которого становится ясно, что «люди занимаются не поэзией, а своей жизнью» (Дмитрий Воденников), создавая в текстах поэтику «новой искренности».

Таким образом, автофикциональные практики письма (как в поэзии, так и в прозе) вырабатывают стратегии авторского жеста (по Джорджо Агамбену), которые способствуют субъективации и освобождению от власти дискурсов. В рамках концепции философа субъективация становится жестом «постановки жизни на карту», неминуемым затрагиванием ее этической стороны. Среди таких стратегий можно выделить «самодонос» в поэзии 1990—2000-х (Дмитрий Воденников, Кирилл Медведев) и «проговаривание травмы» в поэзии 2010-х (Галина Рымбу, Оксана Васякина). Как заключил докладчик, в современном русскоязычном автофикшене репрезентация травмы и сопутствующие ей аффекты страха, стыда, боли становятся таким жестом субъективации, попыткой выхода из дискурсивных обусловленностей.

В докладе «Взгляд и его роль в структуре субъективности: стратегии автомедиальности в русскоязычном автофикшене» Карина Разухина (МГУ) продолжила говорить о проблеме субъекта в современных автофикшен-текстах, вводя два вектора рассмотрения данной проблемы. Практики саморепрезентации исследовательница рассмотрела через понятие «автомедиальности», предполагающее использование в автонарративах различных медиа в широком смысле<sup>3</sup> (фотографий, кино, документов, изображений и т.д.). Вторым направлением доклада стало исследование феномена автофикшена через теорию селфи с опорой на работу Дмитрия Узланера «Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта»<sup>4</sup>.

Категория Другого (в терминологии Жака Лакана) имеет огромное значение для формирования автонарратива: в автофикшене построение идентичности всегда строится на взаимоотношениях с такими «другими» (например, в романах Оксаны Васякиной «Степь» (2022), «Рана» (2021) — это мать и отец писательницы). Однако взгляд Другого — это контролирующее письмо инстанции, с которой рассказчицы текстов Оксаны Васякиной, Марии Степановой и Натальи Мещаниновой вынуждены соотносить свой биографический образ в тексте. Ведущей практикой здесь служит акт саморазоблачения, прямое высказывание (искреннее обнажение фактов биографии), позволяющее ненадолго «приручить» «других», в чьей оптике оказываются повествовательницы, когда выстраивают образы своих героинь. Метасознательность<sup>5</sup> текстов служит поддержанию эффекта достоверности, а также

3 Moser C. *Automediality // Handbook of autobiography/autofiction / Ed. by M. Wagner-Egelhaaf: In 3 Bde. Berlin; Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019. Bd. 1. P. 247.*

4 Узланер Д. *Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.*

5 Подробнее об этой особенности: Hutcheon L. *Narcissistic narrative: The metafictional paradox. Wilfrid Laurier University Press, 2014.*

позволяет использовать другие медиа для прорисовки тех или иных сторон автобиографической идентичности. Отсутствие границы между миром текста и реальностью позволяет, таким образом, не замыкать нарратив о себе в четкие жанровые формы и поспорить с фикциональностью как качеством, присущим именно литературному тексту, сделав его более открытым к интермедийным экспериментам.

Конференция позволила прийти к заключению, что автофикшен — это проблематичное явление, которое нуждается в новом теоретическом инструментарии. В связи с переводом автофикшена на русский язык и его изучением была актуализирована проблема терминологической неопределенности, а также проблема соотношения жанровых границ. Отдельной исследовательской задачей можно считать применение «компаративного» подхода, который связан как с переводной природой автофикшен-текстов, так и со спецификой именно русскоязычного автофикшена. Автофикциональное письмо обладает своими особенностями, взаимосвязанными с контекстом сегодняшнего дня — они нуждаются в пристальном изучении не только теоретиками и историками литературы, но и критиками, переводчиками и авторами, экспериментирующими в модусе этого письма.

*Карина Разухина, Аделя Юсупова*



## Errata

В № 186 НЛО в статье Михаила Куртова «О значении числа 37 (73) в жизнетворчестве Бориса Останина» допущена ошибка. На с. 266 формулу в предложении «...разница между 7 и 3 составляет 4 ( $7 \times 3 = 4$ )» следует читать как «...разница между 7 и 3 составляет 4 ( $7 - 3 = 4$ )».

В № 187 НЛО в статье Юрия Мурашова «Экономика, язык и письмо в русском авангарде: Шкловский, Ленин, Малевич» не указан переводчик — текст перевел с немецкого Сергей Ташкенов. В статье Катрин Депретто «In memorem. Маризэтта Омаровна Чудакова (2 января 1937 — 21 ноября 2021)» не указан переводчик — текст перевела с французского Мария Карасева.

В № 188 НЛО в беседе с Уиллардом Сандерлендом «Обращение к имперскому прошлому: история и переосмысление» ошибочно указан переводчик — текст перевела с английского Анастасия Лысцова.

Приносим извинения авторам, переводчикам и читателям.

## Наши авторы

### **Владислав Аксенов**

(Институт российской истории РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) vlaks@mail.ru.

### **Сергей Алымов**

(Институт этнологии и антропологии РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) alymovs@mail.ru.

### **Дмитрий Арзютов**

(Университет штата Огайо, ассистент-профессор; кандидат исторических наук, PhD) arzyutov.1@osu.edu.

### **Владимир Булдаков**

(Институт российской истории РАН, главный научный сотрудник; доктор исторических наук) kuroneko@list.ru.

### **Павел Глушаков**

(независимый исследователь; доктор филологических наук) glushakovp@mail.ru.

### **Константин Годунов**

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, научный сотрудник; кандидат исторических наук) kgodunov@eu.spb.ru.

### **Сара Дикинсон**

(Университет Генуи, доцент; Ассоциация для женщин в славянских исследованиях, председательница) sara.dickinson@unige.it.

### **Андрей Дмитриев**

(ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Центр по изучению традиционалистских направлений в русской литературе Нового времени, заведующий; доктор филологических наук) ardspb@gmail.com.

### **Александр Житенев**

(Воронежский государственный университет, профессор кафедры издательского дела, доцент; доктор филологических наук) zhitenev@phil.vsu.ru.

### **Марина Загидулина**

(Челябинский государственный университет, факультет журналистики, кафедра журналистики и массовых коммуникаций, ведущий научный сотрудник, профессор; доктор филологических наук) mzagidullina@gmail.com.

### **Ярослава Захарова**

(Мюнхенский университет имени Людвиг и Максимилиана, Институт славистики, аспирантка) yaroslava.a.zakharova@gmail.com.

### **Сергей Кан**

(Дартмутский колледж, профессор; PhD) sergei.a.kan@dartmouth.edu.

### **Александра Касаткина**

(Институт лингвистических исследований РАН, научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), доцент; кандидат исторических наук) alexkasatkina@gmail.com.

### **Борис Колоницкий**

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) kolon@eu.spb.ru.

### **Игорь Кузнецов**

(Институт языкознания РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) i.kuznetsov@iling-ran.ru.

### **Денис Ларионов**

(независимый исследователь) vseimena79@gmail.com.

### **Джузеппина Ларокка**

(Университет г. Мачерата, доцент русской литературы и русского языка; PhD) giuseppina.larocca@unimc.it.

### **Александр Марков**

(РГГУ, профессор; доктор филологических наук) markovius@gmail.com.

### **Кирилл Маслинский**

(ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Лаборатория цифровых исследований литературы и фольклора, руководитель; кандидат исторических наук) maslinskyh@gmail.com.

### **Анна Нижник**

(ИФИ РГГУ, кафедра истории русской литературы новейшего времени, доцент; кандидат филологических наук) annnijnik@gmail.com.

**Федор Николаи**

(РГГУ, профессор / ШАГИ ИОН РАНХиГС, старший научный сотрудник; доктор философских наук) fvnik@list.ru.

**Анна Нuzhdина**

(литературный критик) nuzhdina\_anya@mail.ru.

**Юрий Орлицкий**

(РГГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории мандельштамоведения; доктор филологических наук) ju\_b\_orlitski@mail.ru.

**Алексей Павловский**

(ИТМО, Центр социальных и гуманитарных наук, ассистент / Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр изучения культурной памяти и символической политики, ассоциированный сотрудник) apavlovskiy-eu@yandex.ru.

**Надежда Плунгян**

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), преподаватель, независимый куратор; кандидат искусствоведения) nadia.plu1@yandex.ru.

**Николай Поселягин**

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), факультет гуманитарных наук, Школа филологических наук, доцент; кандидат филологических наук) poselyagin@gmail.com.

**Карина Разухина**

(МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра общей теории словесности (дискурса и коммуникации), аспирантка) karina.razuhina1301@mail.ru.

**Андрей Ранчин**

(МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор / Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, ведущий сотрудник; доктор филологических наук) aranchin@mail.ru.

**Абрам Рейтблат**

(журнал «Новое литературное обозрение», член редакции; кандидат педагогических наук) reitblat@nlobooks.ru.

**Евгений Савицкий**

(Институт всеобщей истории РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) e\_savitski@mail.ru.

**Сергей Сапожков**

(Московский педагогический государственный университет, Институт филологии, кафедра русской классической литературы, профессор; доктор филологических наук) servensap@yandex.ru.

**Михаил Сергеев**

(Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ имени С.И. Вавилова РАН, научный сотрудник; кандидат филологических наук) librorumcustos@gmail.com.

**Лаура Сирагуза**

(Университет штата Огайо, старший преподаватель; PhD) siragusa.8@osu.edu.

**Ольга Соколова**

(Институт языкознания РАН, отдел теории и практики коммуникации имени Ю.С. Степанова, старший научный сотрудник; доктор филологических наук) olga.sokolova@iling-ran.ru.

**Марк Стейнберг**

(Иллинойский университет в Урбане-Шампейне, исторический факультет, почетный профессор; PhD) steinb@illinois.edu.

**Константин Тарасов**

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, научный сотрудник; кандидат исторических наук) ktarasov@eu.spb.ru.

**Александр Уланов**

(Самарский государственный аэрокосмический университет, доцент; доктор технических наук) alexulanov@mail.ru.

**Сергей Филиппов**

(МГУ имени М.В. Ломоносова, научный сотрудник; киновед, кандидат искусствоведения) s\_a\_filiprov@mail.ru.

**Сергей Л. Фокин**

(СПбГЭУ, гуманитарный факультет, кафедра романо-германской филологии, профессор; доктор филологических наук) serge.fokine@yandex.ru.

**Цуёси Хасегава**

(Университет Калифорнии в Санта-Барбаре, факультет истории, заслуженный профессор; PhD) thasegawa@ucsb.edu.

**Хильде Хогенбом**

(Государственный университет Аризоны, доцент; PhD) hilde.hoogenboom@asu.edu.

**Александр Чанцев**

(критик, культуролог;  
кандидат филологических  
наук) semigoro@yandex.ru.

**Анна Швец**

(МГУ имени М.В. Ломо-  
носова, филологический  
факультет, старший  
преподаватель; кандидат  
филологических наук)  
apanke2009@mail.ru.

**Адель Юсупова**

(МГУ имени М.В. Ломо-  
носова, филологический  
факультет, кафедра общей  
теории словесности (дис-  
курса и коммуникации),  
магистрант программы  
«Теория и практика ком-  
муникации») yusupova.  
msu@yandex.ru.

# Summary

## Epistolary Connections of Researchers and the Production of Anthropological Knowledge

**Dmitry Arzyutov, Sergei Kan, and Laura Siragusa** in their article “*Res Publica Literaria* of Franz Boas, or How to Build Transnational Anthropology with Letters” aim to re-examine the history of relationships between the pioneer of American anthropology Franz Boas and his Russian colleagues and friends of the period between 1897 and 1942. For this purpose, they employ two epistemically intertwined concepts: the newly emerged notions of “paper tools” and “paper technologies”, and the well-established but rarely applicable to the history of anthropology concept of *Res Publica Literaria*. If the former has a very strong material and pragmatic dimension in understanding knowledge production, the latter adds to it a tendency to expand our horizons beyond national borders. As historians of science remind us, writing, sending and receiving letters were an essential part of producing scientific knowledge in intellectual circles of Renaissance and early modern Europe and remained the same in later epochs. By merging these notions together, the authors argue that the voluminous collection of letters of Franz Boas, Waldemar Bogoras, Waldemar Jochelson and some other American and Russian anthropologists materially constituted the pre-war Arctic and Siberian anthropology as a certain *Res Publica Literaria*. The careful reading of those letters by generations of historians of anthropology not only revealed the networks of friends and zones of tensions but also shaped the genealogy of the field. In other words,

the letters were a cosmopolitan means of transnational communication of like-minded scholars who epistemically constructed transnational ethnographic regions such as the Arctic. The very material meaning of knowledge production and circulation allowed the letters to intersect the public and the private, the national and the transnational and as a result to re-imagine the intellectual life of Arctic anthropology.

The article “Difficulties and Collisions of the Work on the Correspondence of Scholars from the Circle of Franz Boas (Ad Marginem)” by **Igor Kuznetsov** analyzes samples of incorrect, in the author’s opinion, interpretation of several cases from the history of anthropology, during the period of dominance of Franz Boas’s school in America. Attention is drawn to situations related to Russian-(Soviet-)American cooperation. The main source is the correspondence of the participants in those events, which is stored in the American Philosophical Society, the Archive of the Russian Academy of Sciences, etc. Among the general conclusions is the immaturity of this field of research. In conclusion, the author suggests making several adjustments in methodology of the history of anthropology.

**Sergei Alymov’s** article “The Second Marxism: The History of the Edited Volume ‘Problems of the History of Pre-Capitalist Societies’ in Letters and Documents” examines the history of the

edited volume “Problems of the History of Pre-Capitalist Societies”, which was conceived as a series, but only one issue was published. The author shows that in connection with the publication of this volume a circle around its editor-in-chief, Luidmila V. Danilova, developed a network of informal contacts and correspondence that brought together scholars of several disciplines interested in the theoretical constructions around

the notion of “primitive society”. The author concludes that this group is an example of the “Second Marxism” in the USSR, i.e. a group of scholars and “people of the 60s” who sought to rethink the Marxist understanding of history through a critical reading of the works of Marx and Engels, new scientific data, and a revision of the Stalinist version of historical materialism.

## The Literary Canon and Women’s Writing

While there has long been a good deal of feminist Russian history, feminist literary historians have had much less success recovering the reputations of nineteenth-century women novelists in Russia, when compared with the results of European and American feminist literary historians. The Russian canon of Dostoevsky and Tolstoy has been extremely satisfying, but today it is under a good deal of pressure to expand. The article “Rethinking the Meaning of Life: Nineteenth-Century Russian Literary

History and Women Writers” by **Hilde Hoogenboom** proposes fundamental ways to change that traditional literary history by examining literature in Russia, which was overwhelmingly foreign, in a European context.

This issue also features a questionnaire “New Perspectives in Gender Studies” in which **Sara Dickinson**, **Anna Nizhnik**, and **Nadia Plungian** present their views on the topic.

## Gennady Aygi: At the Boundaries of Speech

**Olga Sokolova’s** paper “*Of silent voice — I pray — take the position: Acts of Speech and Silence in the Gennady Aygi’s Poetry*” deals with speech acts, which are one of the most frequent pragmatic parameters in the Gennady Aygi’s poetry. The peculiarities of their functioning rely on the characteristics of the communication situation and the performative interaction with the addressee in his texts. The pragmatic feature of Aygi’s poetry is a shift from direct performatives to indirect speech acts, which is associated with poetic auto-communication. To achieve interactive communication, Aygi utilizes expressive speech acts that convey the speaker’s

emotions; directive speech acts with the functions of question and request; the verbs of speaking; as well as illocutionary acts that go beyond the boundaries of traditional classification, such as indirect speech acts of silence and speech acts of forgetting the language, similar to illocutionary suicide.

It is a meditative practice of concentration and selforganisation for Aygi to work with a draft. For a poet, it is essential not so much the result but the extended life with a text. Therefore, text-for-oneself and text-for-others often turn out to be different. A draft appears to be a more authentic form of a poem’s existence

than a published text. **Aleksandr Zhitenev** in his article “‘Graphography’ of G. Aygi’s Manuscript and the History of the Text ‘Untitled’ (1964)” studies the poem “Untitled” (1964) which is perhaps the most representative illustration of these points. A rare example of Aygi’s combination of verbal, visual, musical and performative components; this poem is built on the idea of the avant-garde word as “liminal” retreating into areas of silence. The ‘otherworldly’ existence of a word is associated with Suprematist forms, square, cross and circle. The context of the draft, which explicitly relates the ideas of P. Florensky, V. Khlebnikov and K. Malevich, does not make it into the final text. Thus, the poet

deliberately limits a reader’s possibilities for authentic understanding.

**Yury Orbitskiy’s** article “Vertical Composition of Gennady Aygi’s Lyrics”, based on the analysis of the features of the vertical structure of G. Aygi’s lyrics, proves the originality of the author’s poetics, which consists primarily in his creation of a particularly sophisticated system of fixation and delimitation of pauses that fix the author’s rhythm and intonation. In this, Aygi follows the principles of free (semantic) stanza, characteristic of masters of free verse, developing and detailing it. In this regard, the article also raises the question of the distinction between free and heteromorphic verse in modern Russian lyrics.

## Anthropology of Street Violence in the Early 20<sup>th</sup> Century

*Guest Editor: Boris Kolonitskiy*

This conceptual block opens with a preface by **Vladimir Buldakov** “Revolution or Riot, Class Struggle or Pogrom Hooliganism? View from Today” with a brief overview of the topic and the following articles.

**Vladislav Aksenov** in his article “‘The Red Woman is Coming’: Women’s Pogroms During World War I (From Base Emotions to Sociopolitical Violence)” analyzes the phenomenon of women’s revolts during the World War I period in socio-psychological and cultural contexts. The author pays attention to the birth in the early 20<sup>th</sup> century of the image of the “red woman,” which contemporaries considered a symbol of the revolutionary element. During World War I, this element manifested the archaization of consciousness and the outsize role of rumors as a factor of protest activity, the strengthening of

xenophobia and the ethnic stereotypes associated with it, and the accumulation of hatred towards local representatives of power. The violence of peasant and refugee women, which spread beyond the rural areas, turned cities into spaces of emotional, cultural, and sociopolitical conflicts and, in a sense, “uncultivated” the modern city. At the same time, the women’s pogrom movement cannot be explained solely by the economic factors of wartime; it revealed the social and role conflict between the traditional and modern statuses of women.

The article “Revolution or Hooliganism? Contemporaries’ Interpretations of St. Petersburg Street Violence in July 1914” by **Boris Kolonitskiy, Konstantin Godunov, and Konstantin Tarasov** investigates the various forms of violence that occurred during the St. Petersburg strikes and demonstrations in the sum-

mer of 1914. Using a range of sources including journalistic reporting, police accounts, leaflets, letters, and the diaries of those who witnessed these events, the authors analyze the rhetorical tactics of legitimizing and condemning violence. Special attention is given to the terms “hooligans” and “hooliganism,” which were used by people with differing perspectives to describe the instigators of these conflicts.

**Tsuyoshi Hasegawa**’s article “Samosudy in Petrograd and the Russian Revolution, March 1917—March 1918” attempts to examine people’s reactions to the catastrophic breakdown of the criminal justice system expressed in widespread samosudy. It analyzes where samosudy took place, who participated in them, at whom samosudy were directed, and how incidence of samosudy corresponded with political and social breakdown. This analysis underscores the importance of the urban poor that historians have neglected to examine. It further examines the political implica-

tions of samosudy. The Bolsheviks welcomed samosudy as the expression of people’s anger for the Provisional Government, exploiting them as a vehicle for their road to power. Samosudy, however, did not stop after the Bolshevik revolution, but further expanded in number and in scope. Unable to stop them, the Bolshevik regime considered samosudy to be counterrevolutionary, and assigned the Cheka to deal with them. Samosudy served as a springboard for the establishment of the Bolshevik authoritarian rule.

The article “Hooligan Stories: Street Violence, Street Emotions, and Street Morals in Odessa and Bombay in the 1920s” by **Mark D. Steinberg** examines the meanings of uses of the category “hooligan” in Soviet Odessa and colonial Bombay in the 1920s. This comparative study emphasizes commonalities in “moral storytelling” about street violence and its meanings — by journalists, police, state authorities, social elites, and “hooligans” themselves.

## **“Desiring-Machine”: Towards a History of the Script for the Film *Stalker***

From January 1976 to September 1977, Arkady and Boris Strugatsky wrote five complete and significantly different versions of the script for the film *Stalker*. **Sergei Filippov** in his article “A Stalker in Search of a Script” examines how the characters’ personalities and their evolution, the specifics of the setting and its relationships with the characters changed in different versions of the script. Changing each of these components inevitably entailed changing the

very basis of the script’s dramaturgy, the nature of its dramatic conflict. All this time, the Strugatsky brothers were transforming their own text into material that was organic to the film’s director Andrei Tarkovsky, but no longer particularly close to them. The article on the topic is also followed by the film’s script (January 1978 version) prepared for publication by Sergei Filippov.



## **Archival Materials: Archeology of Philological Knowledge**

**Giuseppina Larocca's** paper "Unpublished Letters by Lev Vasil'evich Pumpyanskiy to Boris Mikhailovich Eikhenbaum" presents and analyses six previously unpublished letters from L.V. Pumpyanskiy to B.M. Eikhenbaum, written between June 1937 and February 1940. These letters provide invaluable insight into the close relationship between the two scholars during the 1930s, highlighting their shared intellectual pursuits and the convergence of their theoretical interests. Pumpyanskiy, while maintaining his focus on the theory of prose, revisits and refines the categories he explored in his earlier symbolist works on Dostoevskii from 1919 and 1922. These categories include relativism, author, hero, judgment, and shedding of blood (in the context of crime in Dostoevskii's novels). Pumpyanskiy's approach in these letters is notably different from his previous

one of 1910s, that is, less metaphorical and imbued with less pathos, reflecting a matured perspective. During the same period, Eikhenbaum, despite starting from different theoretical premises, began to explore themes which paralleled Pumpyanskiy's interests. Eikhenbaum's focus shifted towards genre elements related to literary evolution, adopting a primarily historical approach. This typological convergence between the two scholars, despite their differing starting points, illustrates the dynamic and evolving nature of their intellectual engagement. By examining these letters, we gain a deeper understanding of the intellectual climate of the 1930s, particularly the ways in which Pumpyanskiy and Eikhenbaum influenced each other. Their correspondence not only documents their personal closeness but also illustrates the broader scholarly dialogues of their time.

Table of contents No. **189** [5'2024]

EPISTOLARY CONNECTIONS OF RESEARCHERS AND  
THE PRODUCTION OF ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE

- 7** *Dmitry Arzyutov, Laura Siragusa.* From the Compilers
- 10** *Dmitry Arzyutov, Sergei Kan, Laura Siragusa.* *Res Publica Literaria* of Franz Boas, or How to Build Transnational Anthropology with Letters
- 28** *Igor Kuznetsov.* Difficulties and Collisions of the Work on the Correspondence of Scholars from the Circle of Franz Boas (Ad Marginem)
- 45** *Sergei Alymov.* The Second Marxism: The History of the Edited Volume “Problems of the History of Pre-Capitalist Societies” in Letters and Documents

THE LITERARY CANON AND WOMEN’S WRITING

- 61** *Hilde Hoogenboom.* Rethinking the Meaning of Life: Nineteenth-Century Russian Literary History and Women Writers
- 72** New Perspectives in Gender Studies: Questionnaire (*Sara Dickinson, Anna Nizhnik, Nadia Plungian*)

GENNADY AYGI: AT THE BOUNDARIES OF SPEECH

- 82** *Olga Sokolova.* *Of silent voice — I pray — take the position:* Acts of Speech and Silence in the Gennady Aygi’s Poetry
- 95** *Aleksandr Zhitenev.* “Graphography” of G. Aygi’s Manuscript and the History of the Text “Untitled” (1964)
- 111** *Yury Orliitskiy.* Vertical Composition of Gennady Aygi’s Lyrics

ANTHROPOLOGY OF STREET VIOLENCE IN THE EARLY  
20<sup>TH</sup> CENTURY

*Guest Editor:* Boris Kolonitskiy

- 126** *Vladimir Buldakov.* Revolution or Riot, Class Struggle or Pogrom Hooliganism? View from Today
- 133** *Vladislav Aksenov.* “The Red Woman is Coming”: Women’s Pogroms During World War I (From Base Emotions to Sociopolitical Violence)
- 154** *Boris Kolonitskiy, Konstantin Godunov, Konstantin Tarasov.* Revolution or Hooliganism? Contemporaries’ Interpretations of St. Petersburg Street Violence in July 1914

- 170** *Tsuyoshi Hasegawa*. Samosudy in Petrograd and the Russian Revolution, March 1917—March 1918 (*transl. from English by Anastasia Evnushanova*)
- 183** *Mark D. Steinberg*. Hooligan Stories: Street Violence, Street Emotions, and Street Morals in Odessa and Bombay in the 1920s (*transl. from English by Stanislav Khudzik*)

“DESIRING - MACHINE”: TOWARDS A HISTORY  
OF THE SCRIPT FOR THE FILM *STALKER*

- 203** *Sergei Filippov*. *A Stalker* in Search of a Script
- 227** *Arkady Strugatsky, Boris Strugatsky*. *Stalker: Script of a Two-Part Film* (January 1978) (*published by Sergei Filippov*)

ARCHIVAL MATERIALS: ARCHEOLOGY  
OF PHILOLOGICAL KNOWLEDGE

- 256** *Giuseppina Larocca*. Unpublished Letters by Lev Vasil'evich Pumpyanskiy to Boris Mikhailovich Eikhenbaum

CHRONICLE OF CONTEMPORARY LITERATURE

- 275** *Anna Nuzhdina*. A Voice Resounding in the Void (Review of the book: Barskova, Polina. *Soskreb. Stikhi voyennykh let*. Kniga Sefer, 2023)
- 279** *Alexander Markov*. Locked House of Existence (Review of the book: Bordunovsky, Mikhail. *Osen' na ostrove Saturn*. Samizdat, 2024)
- 284** *Denis Larionov*. About Those Who Are Escaping and Overcoming (Review of the book: Kononov, Nikolai. *Noch', kogda my ischezli*. Individuum, 2022)
- 288** *Alexander Ulanov*. Between Person and Myth (Review of the book: Tavrov, Andrei. *Gimnazistka*. Knigi AT, 2024)

BIBLIOGRAPHY

- 292** *Feodor Nikolai*. Cultural History and Social Studies of Happiness (Survey)
- 304** *Marina Zagidullina*. History of Literature as a Social Institution (Review of the book: Bdovin, A.V. and K.Y. Zubkov, eds. *Instituty literatury v Rossiyskoy imperii*. HSE University Publishing House, 2023)
- 316** *Sergey Fokin*. Marcel Proust's *Contre Sainte-Beuve*: Contra aut pro? (Review of the book: Proust, Marcel. *Essais*. Édition publiée sous la direction d'Antoine Compagnon, avec la collaboration Christophe Pradeau et Matthieu Vernet. Gallimard, 2022)
- 324** *Sergey Sapozhkov*. “Invisible Magnitude” under the Magnifying Glass of Modern Criticism (Review of the book: Penskaya, E.N. and O.N. Kushchova, eds. *“Nevidimaya velichina.” A.V. Sukhovo-Kobylin. Teatr. Literatura. Zhizn'*. HSE University Publishing House, 2024)

- 331** *Alexander Chantsev*. Selin, contra et pro. (Review of the books: Kaminski, Hanns-Erich. *Selin v korichnevoy rubashke, ili Bolezn' nashego vremeni*; Lepetit, Patrick. *Puteshestviye na kray merzosti. Lui-Ferdinand Selin, antisemit i antimason*; trans. Y. Guseva. Chernyy kvadrat, 2023)
- 336** *Alexey Pavlovskiy*. Do Comics Need Literary Theory? Comics Studies and a “Marxist” Apologia of the Graphic Novel (Review of the book: Geczy, Adam and McBurnie, Jonathan. *Litcomix: Literary Theory and the Graphic Novel*. Rutgers University Press, 2023)
- 346** *Evgeniy Savitskiy*. The Cooks’ Revenge: Representations of Domestic Work and the Fate of Soviet Power (Review of the books: Klots, Alissa. *Domestic Service in the Soviet Union: Women’s Emancipation and the Gendered Hierarchy of Labor*. Cambridge University Press, 2024; Cucuz, Diana. *Winning Women’s Hearts and Minds: Selling Cold War Culture in the US and the USSR*. University of Toronto Press, 2023)
- 358** *Kirill Maslinsky*. On the Culture of Work with Data in Philology, or the Role of Open Data Depositories
- 371** *Pavel Glushakov, Andrey Dmitriev*. E.S. Bulgakova and L.Ya. Ginzburg in the B.F. Egorov’s Library
- 379** New Books

#### CHRONICLE OF SCHOLARLY LIFE

- 392** *Nikolay Poselyagin*. Collaboration, Conflict, Self-Reflection. International Conference “Theories and Practices of Literary Mastery: ‘Teacher and Students: Continuity and Competition’” (HSE University, Moscow, September 15—16, 2023)
- 405** *Aleksandra Kasatkina, Mikhail Sergeev*. Questions of Paratextology: The Meaning of Fields in the Organization of Information. International Research Conference “Around Text: Para-, Meta-, and Other Marginalia” (Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, October 19—21, 2023)
- 416** *Yaroslava Zakharova*. Guilty Pleasure: The Rhetoric of Shame and Guilt in Russian Culture. International Conference “Guilty Pleasures: Shame, Hypocrisy, Representation” (“Novoe literaturnoe obozrenie”, Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences, November 13—14, 2023)
- 424** *Karina Razukhina, Adel Yusupova*. Autofiction in the Context of Modernity: Theory and Practice. Round Table “Autofiction and New Autobiographical Practices in the Russian-Speaking Space” (Moscow State University, February 24, 2024)
- 429** Errata
- 433** Summary
- 438** Table of Contents
- 441** Our Authors

## Our authors

### **Vladislav Aksenov**

(Dr. habil.; Senior Research Fellow, Institute of Russian History, RAS) vlaks@mail.ru.

### **Sergei Alymov**

(PhD; Senior Research Fellow, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS) alymov@mail.ru.

### **Dmitry Arzyutov**

(PhD; Assistant Professor, The Ohio State University) arzyutov.1@osu.edu.

### **Vladimir Buldakov**

(Dr. habil.; Chief Researcher, Institute of Russian History, RAS) kuroneko@list.ru.

### **Alexander Chantsev**

(PhD; Critic, Cultural Studies Scholar) semigoro@yandex.ru.

### **Sara Dickinson**

(PhD; Associate Professor, University of Genoa / President, Association for Women in Slavic Studies) sara.dickinson@unige.it.

### **Andrey Dmitriev**

(Dr. habil.; Head, Center for the Study of Traditionalist Trends in Russian Literature of Modern Times, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), RAS) apdspb@gmail.com.

### **Sergei Filippov**

(PhD; Film Historian; Researcher, Lomonosov Moscow State University) s\_a\_filippov@mail.ru.

### **Sergey L. Fokin**

(Dr. habil.; Professor, Head of Romance Languages and Translation Department, Faculty of Humanities, Saint Petersburg State University of Economics) serge.fokine@yandex.ru.

### **Pavel Glushakov**

(Dr. habil.; Independent Scholar) glushakovp@mail.ru.

### **Konstantin Godunov**

(PhD; Research Fellow, European University in St. Petersburg) kgodunov@eu.spb.ru.

### **Tsuyoshi Hasegawa**

(PhD; Professor Emeritus, Department of History, University of California at Santa Barbara) thasegawa@ucsb.edu.

### **Hilde Hoogenboom**

(PhD; Associate Professor, Arizona State University) hilde.hoogenboom@asu.edu.

### **Sergei Kan**

(PhD; Professor, Dartmouth College) sergei.a.kan@dartmouth.edu.

### **Aleksandra Kasatkina**

(PhD; Research Fellow, Institute for Linguistic Research, RAS / Assistant Professor, HSE University (Saint Petersburg)) alexkasatkina@gmail.com.

### **Boris Kolonitskiy**

(Dr. habil.; Professor, European University in St. Petersburg / Head Research Fellow, St. Petersburg Institute of History, RAS) kolon@eu.spb.ru.

### **Igor Kuznetsov**

(PhD; Senior Research Fellow, The Institute of Linguistics, RAS) i.kuznetsov@iling-ran.ru.

### **Denis Larionov**

(Independent Researcher) vseimena79@gmail.com.

### **Giuseppina Larocca**

(PhD; Associate Professor in Slavic Studies, Department of Humanities, University of Macerata) giuseppina.larocca@unimc.it.

### **Alexander Markov**

(Dr. habil.; Professor, RSUH) markovius@gmail.com.

### **Kirill Maslinsky**

(PhD; Chief, Laboratory for Digital Research of Literature and Folklore, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), RAS) maslinsky@gmail.com.

### **Feodor Nikolai**

(Dr. habil.; Professor, RSUH / Senior Research Fellow, RANEPa) fvnik@list.ru.

### **Anna Nizhnik**

(PhD; Associate Professor, Department of History of Russian Literature of Modern Times, Historical-Philological Faculty, RSUH) annijnik@gmail.com.

### **Anna Nuzhdina**

(Literary Critic) nuzhdina\_anya@mail.ru.

### **Yury Orlitskiy**

(Dr. habil.; Leading Researcher, Laboratory of Mandelshtam Studies, Russian State University for the Humanities) ju\_b\_orlitski@mail.ru.

**Alexey Pavlovskiy**

(Assistant, Center for Social Sciences and Humanities, ITMO University / Associate Fellow, Center for the Study of Cultural Memory and Symbolic Politics, European University in St. Petersburg) apavlovskiy-eu@yandex.ru.

**Nadia Plungian**

(PhD; Independent Curator; Lecturer, HSE University (Moscow)) nadia.plu1@yandex.ru.

**Nikolay Poselyagin**

(PhD; Associate Professor, School of Philological Studies, Faculty of Humanities, HSE University (Moscow)) poselyagin@gmail.com.

**Andrey Ranchin**

(Dr. habil.; Professor, Lomonosov Moscow State University / Leading Researcher, Institute of Scientific Information for Social Sciences, RAS) aranchin@mail.ru.

**Karina Razukhina**

(PhD Student, Department of Communication Studies (Theory of Discourse and Communication), Lomonosov Moscow State University) karina.razukhina1301@mail.ru.

**Abram Reitblat**

(PhD; Editor, *New Literary Observer* Journal) reitblat@nlobooks.ru.

**Sergey Sapozhkov**

(Dr. habil.; Professor, Department of Russian Classical Literature, Institute of Philology, Moscow Pedagogical State University) servensap@yandex.ru.

**Evgeniy Savitskiy**

(PhD; Senior Researcher, Institute of World History, RAS) e\_savitski@mail.ru.

**Mikhail Sergeev**

(PhD; Researcher, St. Petersburg branch, S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS) librorumcustos@gmail.com.

**Anna Shvets**

(PhD; Senior Lecturer, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University) shvetsanval@gmail.com.

**Laura Siragusa**

(PhD; Senior Lecturer, The Ohio State University) siragusa.8@osu.edu.

**Olga Sokolova**

(Dr. habil.; Senior Researcher, Yuri Stepanov Centre for Theory and Practice of Communication, Institute of Linguistics, RAS) olga.sokolova@iling-ran.ru.

**Mark Steinberg**

(PhD; Professor Emeritus, Department of History, University of Illinois at Urbana Champaign) steinb@illinois.edu.

**Konstantin Tarasov**

(PhD; Research Fellow, European University in St. Petersburg) ktarasov@eu.spb.ru.

**Alexander Ulanov**

(Dr. habil.; Associate Professor, Samara State Aerospace University) alexulanov@mail.ru.

**Adel Yusupova**

(Master Student, Department of Discourse and Communication Studies, MSU) yusupova.msu@yandex.ru.

**Marina Zagidullina**

(PhD; Professor, Leading Researcher, Journalism and Mass Communication Department, Journalism Faculty, Chelyabinsk State University) mzagidullina@gmail.com.

**Yaroslava Zakharova**

(MA; PhD Student, Institute of Slavic Philology, Ludwig-Maximilian University of Munich) yaroslava.a.zakharova@gmail.com.

**Aleksandr Zhitenev**

(Dr. habil.; Associate Professor, Professor of Department of Publishing, Voronezh State University) zhitenev@phil.vsu.ru.

## Editorial board

- Irina Prokhorova** PhD (founder and establisher of journal)
- Tatiana Weiser** PhD (editor-in-chief)
- Arseniy Kumankov** PhD (theory)
- Kirill Zubkov** PhD (history)
- Alexander Skidan** (practice)
- Abram Reitblat** PhD (bibliography)
- Vladislav Tretyakov** PhD (bibliography)
- Nadezhda Krylova** M.A. (chronicle of scholarly life)
- Alexandra Volodina** PhD (executive editor)

## Advisory board

**Konstantin Azadovsky**  
PhD

**Henryk Baran**  
PhD, State University of New York at Albany, professor

**Evgeny Dobrenko**  
PhD, Università Ca'Foscari Venezia, professor

**Tatiana Venediktova**  
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

**Elena Vishlenkova**  
Dr. habil. HSE University, professor

**Tomáš Glanc**  
PhD, University of Zurich, professor / Charles University in Prague, professor

**Hans Ulrich Gumbrecht**  
PhD, Stanford University, professor

**Alexander Zholkovsky**  
PhD, University of South Carolina, professor

**Andrey Zorin**  
Dr. habil. Oxford University, professor / The Moscow school of social and economic sciences, professor

**Boris Kolonitskii**  
Dr. habil. European University at St. Petersburg, professor / St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences, leading researcher

**Alexander Lavrov**  
Dr. habil. Full member of Russian Academy of Sciences Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences, leading researcher

**Mark Lipovetsky**  
Dr. habil. Columbia University, professor

**John Malmstad**  
PhD, Harvard University, professor

**Alexander Ospovat**  
University of California, Los Angeles; Research Professor

**Pekka Pesonen**  
PhD, University of Helsinki, professor emeritus

**Oleg Proskurin**  
PhD, Emory University, professor

**Roman Timenchik**  
PhD, The Hebrew University of Jerusalem, professor

**Pavel Uvarov**  
Dr. habil. Corresponding member of Russian Academy of Sciences. Institute of World History, Russian Academy of Sciences, research professor / HSE University, professor

**Alexander Etkind**  
European University Institute (Florence)

**Mikhail Yampolsky**  
Dr. habil. New York University, professor